СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Станислав КУНЯЕВ

МОИ ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ

— Из языка нынешних политиков исчезло простое и древнее слово «народ». Они брезгуют этим словом, стесняются и не любят его.

— Но я бы предостерег вольных или невольных провокаторов от истошных криков о «русском фашизме». Все это уже было в нашей истории. И не только в 1988—1991 годах, но и гораздо раньше.

— Одно нас оправдывает: защищаем от лжи и клеветы не самих себя, грешных, а историю России, ее призвание, ее веру, ее великого сына — Александра Сергеевича Пушкина.

«С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству».

А. С. Пушкин

СТАРАЯ ГВАРДИЯ



СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Станислав КУНЯЕВ

МОИ ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ

МОСКВА
АЛГОРИТМ
2007

УДК 323(470+571)
ББК 66.3(2Рос)
К 91

Оформление серии *П. Ильина*

Куняев С. Ю.
К 91 Мои печальные победы / С. Ю. Куняев. — М.: Алгоритм, 2007. — 608 с. — (Старая гвардия).

ISBN 978-5-9265-0451-1

«Мои печальные победы» — новая книга Станислава Куняева, естественно продолжающая его уже ставший знаменитым трехтомник воспоминаний и размышлений «Поэзия. Судьба. Россия».

В новой книге несколько основных глав («Крупнозернистая жизнь», «Двадцать лет они пускали нам кровь», «Ритуальные игры», «Сам себе веревку намыливает») — это страстная, но исторически аргументированная защита героической и аскетической Советской эпохи от лжи и клеветы, извергнутой на нее из-под перьев известных еврейских борзописцев А. Борщаговского, М. Дейча, С. Резника. Более сложный и глубокий подход к этой теме содержится в одной из важнейших глав книги «Лейтенанты и маркитанты», в центре которой поэт Д. Самойлов и его современники по учебе в Институте философии, литературы, истории...

Однако автору пришлось защищать нашу великую историю и заодно честное имя своего друга, выдающегося русского мыслителя Вадима Валериановича Кожинова (а также и свою честь) не только от русофобов и диссидентов, но и от глумливых измышлений соратников по патриотическому лагерю: Ильи Глазунова, Владимира Бушина, Татьяны Глушковой, Валентина Сорокина... Отношениям с каждым из них посвящены отдельные главы книги.

В книге также присутствуют размышления автора о творчестве Георгия Свиридова, о разговорах с ним, воспоминания о встрече с Андреем Тарковским и речь о русофобии, произнесенная Станиславом Куняевым на Всемирном Русском Народном Соборе...

Завершается книга главой «Пушкин — наш современник», в которой дерзко, но убедительно доказана связь пушкинского журнала «Современник» с самым популярным журналом сегодняшней эпохи «Наш современник», которым вот уже 17 лет руководит Станислав Куняев.

УДК 323(470+571)
ББК 66.3(2Рос)

ISBN 978-5-9265-0451-1

I

КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ЖИЗНЬ

История человечества устроена так, что после любой великой революции новая молодая власть сводит с прежней эпохой безжалостные счеты — политические, экономические, нравственные, культурные...

Новый порядок вещей всегда утверждается в умах и сердцах одновременно с искоренением и очернением прежнего уклада. Однако после того, как проносится девятый вал разрушения, неизбежно наступает время, когда очередным хозяевам жизни приходится кое-что брать из старого миропорядка, с чем-то примириться, что-то реставрировать... И лишь в нашей «криминальной революции» за все пятнадцать лет ее развития было вылито на прошедшее семидесятилетие столько клеветы и лжи, было сочинено такое количество фальсификаций и подлогов, что ничего подобного во всей мировой истории припомнить невозможно. Впрочем, все понятно: чем крупнее масштабы ренегатства — тем выше градус ненависти к порядку вещей, которому ренегаты в прежние времена ревностно служили. В исторической науке этот «комплекс Талейрана» хорошо известен.

А потому некоторые особенно ценные крупицы истины о прошлом надежнее всего черпать не из сочинений нынешних историков, социологов, экономистов и прочего обслуживающего персонала, но из судеб и творчества талантливых людей, которые в советскую эпоху подвергались преследованиям, сидели в лагерях, жили в ссылках, лишались гражданских прав... Они лишний раз не похвалят время. Их слова не подольстят сильным мира

сего, обесславленным ныне, они не будут выслуживаться и изменять своему призванию за чечевичную похлебку. Все, что они сказали, уже принадлежит вечности.

Я попытаюсь восстановить некоторые особенности Советской цивилизации, вглядываясь в судьбы и творчество Осипа Мандельштама (две ссылки, арест и смерть в лагере), Николая Заболоцкого (семь лет тюрем, лагерей, ссылок), Даниила Андреева (двадцать пять лет тюремного заключения, из которых отсидел десять), Ярослава Смелякова — трижды судимого по политическим статьям. Все они выдающиеся поэты сталинской эпохи, а ведь Ярослав Смеляков как-то написал: «Ежели поэты врут — больше жить не можно...» Почему я выбрал их? Потому что для многих идеологов и «политтехнологов» нынешней власти, читателей, ими обманутых, и просто доверчивых наших телепотребителей ссылки на имена Твардовского, Шолохова, Алексея Толстого, Максима Горького, Леонида Леонова мало что значат. В их глазах они, в лучшем случае, всего лишь навсего талантливые «слуги режима». А нам сейчас страдальцев подавай, жертв политических репрессий, диссидентов... Ну что же. Поговорим о них.

«Я СЕРДЦЕМ ВИНОВАТ...»

С миром державным я был лишь ребячески связан.
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья,
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью, —

написал о себе Осип Мандельштам в 1931 году. И верно. Первую половину жизни бывший акмеист, баловень судьбы, инфантильный любимец Аполлона, жил в мире ветхозаветных сюжетов, царскосельских вольных забав, в мире античных теней и призраков Средневековья, в пространствах Валгаллы, развалинах Акрополя, на холмах Рима, в обществе Оссиана и Баха, Лорелеи и Персефоны. Он

действительно ничем «не был обязан» державному миру, сторонился его и разве что в революционное лихолетье с 1918 по 1923 год написал несколько стихотворений, в которых присутствовал шум времени: «Сумерки свободы», «Феодосия», «В Петербурге мы сойдемся снова...», «1 января 1924», стихи о Петрополе...

Настоящее гражданское возмужание пришло к нему позже, на грозном рубеже 20-х и 30-х годов. Кульминационными и роковыми мгновениями в его жизни были те, когда в 1933 году он написал и прочитал собеседникам стихотворный памфлет «Мы живем, под собою не чуя страны». Это был необратимый шаг на территорию державного мира, резко изменивший всю дальнейшую судьбу поэта, после чего связь с державным миром стала осью его творчества. Во время подневольных поездок на Урал и обратно, а потом в Воронеж, он, который раньше «на гвардейцев глядел исподлобья», цепко вглядывался в лица «славных ребят из железных ворот ГПУ», неожиданно для себя открывал, что любит «шинель красноармейской складки», и хотя с долей иронии, но понимал простую историческую истину: «чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов, грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов». Не мешает вспомнить, что эти строки были написаны в преддверии столетия со дня гибели Пушкина, которое вскоре прокатилось по стране как государственно-всенародные торжества, как чудесное освобождение поэта от идеологического, русофобского глумления с классовых позиций, длившееся над ним почти два десятилетия. И, конечно же, Мандельштам был признателен сталинской эпохе за это.

Неведомые дотоле картины жизни открывались ему во время его невольных путешествий на Каму, через Чердынь, Соликамск, Свердловск под присмотром «славных ребят». Вот как рассказывает об этом Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях:

«Ночи уже были белые, и перед нами мелькали уральские леса, станции и холмы. Дорога была проложена в

густом лесу, и О. М. не отрываясь смотрел в осень всю ночь напролет... Мы ехали в переполненных вагонах и на пароходах, сидели на шумных, кишащих народом вокзалах...»

«В дорогу я захватила томик Пушкина, и О. Э. читал «Цыган» вслух своим конвоирам».

«В Соликамске нас посадили на грузовик, чтобы с вокзала отвезти на пристань. Ехали лесной просекой. Грузовик был переполнен рабочими».

В сущности поэт, дитя дореволюционного Петербурга и нэповской Москвы, лишь в середине 30-х годов впервые увидел просторы глубинной России и услышал шум взбаламученного людского моря раскулаченных крестьян и подневольных переселенцев.

Нет худа без добра. Благодаря массе лишений, высыпавшихся на него словно из ящика Пандоры, он наконец-то познал внезапно явленный ему облик Родины, ее мощь и бесконечность, с ужасом и восторгом вглядеся в разливы великих рек, «подобные морям», в «хвойное мясо» лесов, отражающихся в водах Камы... И самое главное — в лицо простонародья:

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

С начала 30-х годов Мандельштам осознает, что наступило особое время, когда история сгущается, когда в недели и месяцы совершается столько событий, сколько в иные времена не совершалось за десятилетия. Это осознание — случайно или закономерно — совпало со знаменитыми словами Сталина, сказанными им в 1931 году: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

В то же время Осип Эмильевич «почти по-маяковски» определил свою новую сверхзадачу. Он уже далеко ушел

от своих прежних убеждений, выраженных в словах: «Нет, никогда ничей я не был современник». Как бы возражая «прежнему» Мандельштаму, поэт в 1931 году пишет:

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам: себе свернете шею.

Последний раз в 1931 году поэт иронически-печально попрощался с прошлой жизнью, с «военными астрами», с «барской шубой», с «маслом парижских картин» и «рыжей спесью англичанок», отряхнул со своих ног остатки акмеистической пыли и шагнул навстречу грозной судьбе, чтобы чувствовать себя не попутчиком, не небожителем, а летописцем эпохи и даже соучастником стремительного хода истории. Любимым его словом в стихах становится эпитет «крупный» и его разнообразные синонимы — «да будет жизнь крупна», «для укрупненных губ, для укрепленной ласки», «и вы, часов кремлевские бои, — язык пространства, сжатого до точки», «и не ограблен я, и не надломлен, но только что всего переогромлен».

Укрупнение жизни для поэтов эпохи строительства советской цивилизации, поиски «крупнозернистого добра» были общей целью, к которой каждый из них шел по-своему.

Я стал не большим, а огромным,
попробуй тягаться со мной,
как башни Терпения, домны
стоят за моею спиной.

Это Ярослав Смеляков, остро чувствовавший непомерную тяжесть строительства башен Терпения.

Для Бориса Пастернака величие социализма олицетворялось в эпически-былинном образе Сталина, и то, что стихи о нем были написаны и напечатаны в 1936 году (после ареста и ссылки Мандельштама!), лишний раз свидетельствует о фанатичной вере поэта в величие вождя:

А в те же дни на расстоянье,
За древней каменной стеной,
Живет не человек — деянье,
Поступок ростом в шар земной.

В поисках Мандельштама не было самоуверенной гордыни, свойственной Пастернаку, ощущавшему себя одним из полюсов «двухголосной фуги», вторым полюсом был «гений поступка» — человек, живший за стенами Кремля. Он с большей осторожностью, нежели Пастернак и Смеляков, искал свое скромное место летописца в «буднях великих строек». Спрашивал сам себя, размышлял, сомневался:

Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы, крупные до слез?

(Поскольку стихотворение написано в морозные дни 1924 года, иные историки считают, что речь идет о сталинской клятве над гробом Ленина.)

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать — для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги,
чтоб я теперь их предал?

Поэту, вышедшему из семьи еврея-торговца, естественнее всего было представлять себя как разночинца, человека четвертого сословия. Хотя до революции он был

одним из любимцев дореволюционной поэтической богемы, это не помешало ему, а скорее помогло принять как должное аскетический быт времен гражданской войны, коллективизации, карточной системы и коммуналок.

Он, конечно, знал стихи Пастернака о Сталине, написанные в 1935 году:

Я понял: все живо.
Векам не пропасть,
И жизнь без наживы —
Завидная часть.

Жизнь без наживы! Подобное состояние для Осипа Эмильевича, порвавшего еще в юности с «хаосом иудейским», с культом золотого тельца, ушедшего в русскую бескорыстную литературную жизнь, было вполне естественным. Дальше естественность продолжалась сама собой: безбытные скитания по пространствам Гражданской войны, поиски казенного или съемного жилья, корзина с немудреным скарбом, пачка папирос да стопка писчей бумаги на столе, крепкий чай да томик Данта под рукой — вот и все, чем без ропота довольствовался этот пролетарий умственного труда.

Да и все его знаменитые собратья были такими же, вспомним хотя бы Есенина:

Да, богат я. Богат с излишком —
Был цилиндр, а теперь его нет,
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиблет.

А Марина Цветаева, черпавшая из своей бедности целые пригоршни вдохновения:

И за сим, упредив заране,
Что меж мной и тобою — мили!
Что себя причисляю к рвани,
Что честно мое место в мире...

Она открыто объявляла, что «любит богатых» за «растерянную повадку из кармана и вновь к карману», «и за то, что их в рай не впустят, и за то, что в глаза не смотрят», и еще «за какой-то их взгляд собачий»...

А Владимир Маяковский, которому, хотя он и зарабатывал хорошие гонорары для содержания бриковской компашки, на деле была нужна лишь коммунальная комнатушка в Лубянском проезде, его рабочий угол, где он смежил очи и где написал:

Мне и рубля
не накопили строчки,
Краснодеревщики
не слали мебель на дом,
И кроме
свежевымытой сорочки,
Скажу по совести —
мне ничего не надо.

«Жизнь без наживы», русско-советское бессребреничество были по душе Мандельштаму. За небольшими исключениями, без которых история не обходится, это был общий стиль эпохи, в которой даже люди высшей власти довольствовались аскетическим бытом.

«Квартиры, в которые вожди революции въехали после того, как советское правительство перебралось из Петрограда в Москву, были довольно невзрачные, с низкими потолками, маленькими комнатами, обставленные старой мебелью, оставшейся еще от дореволюционных времен. Тогда эти квартиры занимала прислуга, поддерживавшая на должном уровне царские апартаменты в Кремле» *(Из воспоминаний личного переводчика Сталина В.Бережкова).*

Или еще один отрывок из той же книги, чтобы сравнить обеды высшей советской знати на даче у вождя с нынешними фуршетами и презентациями: «Обед был очень простой. На первое густой украинский борщ, на второе

хорошо приготовленная гречневая каша и много отварного мяса. На третье компот и фрукты».

И это на приеме у владыки полумира! Что же было говорить о бедных поэтах!

«За стеной обиженный хозяин ходит — бродит в русских сапогах», —сказано поэтом о воронежском съемном жилье, где рядом «нищенка подруга», где приходится спать, «укрывшись рыбьим мехом», а потому, когда тебе предлагают съехать, — «завязать корзину до зари»... Ничего своего — «полночный ключик от чужой квартиры», выходя из которой ты можешь «в роскошной бедности, в могучей нищете» утешаться «величием равнин и мглой, и холодом, и вьюгой...».

Но ведь в подобной же безбытности в то время жили и Анна Ахматова, и Павел Васильев, и Ярослав Смеляков, и Николай Клюев. Однако сознание того, что он живет во времена «сотворения» нового мира, для Мандельштама искупало все неудобства и несуразицы жизни. Знаменитые в то время слова Пастернака:

Напрасно в дни Великого Совета,
Где высшей страсти отданы места, —
Оставлена вакансия поэта.
Она опасна, если не пуста —

не были истиной для Осипа Эмильевича. Да, вакансия опасна. Но пустой — быть не может. Какой соблазн стать летописцем «дней Великого Совета», «крупнозернистой жизни», «большого стиля»! Он, в отличие от поверхностно-революционного Бориса Леонидовича, был человеком глубокой культуры и в 30-е годы с «лихорадочной радостью» ищет и находит сходство великих цивилизаций с цивилизацией, возникающей у него на глазах. Потому-то в его стихах возникают образы Гомера, Эсхила, Софокла, Данте, Ариосто. У каждой великой эпохи был свой великий летописец, и кто знает, может быть, именно ему подарит судьба счастье стать в их ряд! Жизнь обретала смысл. Лишь бы убедиться в громадности всего, что про-

исходит вокруг, в подлинности того, что поэт называет «укрупнением» жизни:

Я хочу, чтоб мыслящее тело,
Превратилось в улицу, в страну.

Такими гиперболами, модными разве что в первые годы революции — вспомним хотя бы «150 000 000» Маяковского, — в 30-е годы не распоряжался никто. И даже звуковой символ любой тогдашней стройки — гудок, заводской ли, паровозный, воспринимается поэтом как нечто мифологическое, былинное, как трубный глас, не просто призывающий идти на работу, но утверждающий вершину тысячелетней истории страны:

Гудок за власть ночных трудов
Садко заводов и садов,
Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов.
(Декабрь 1936)

А средняя по русским меркам Воронежская область в мандельштамовской «системе укрупнения» жизни становится чуть ли не материком, расположенным в центре мира:

Эта область в темноводье,
Хляби хлеба, гроз ведро
Не дворянское угодье —
Океанское ядро.
Я люблю ее рисунок —
Он на Африку похож...

Но не только «рисунок» Воронежской области полюбил в те годы опальный, ссыльный поэт.

Известный литературовед Михаил Гаспаров, вместе с которым я поступал на филфак МГУ еще в сталин-

ское время (1952 г.), опубликовал в 1996 году работу: «О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года». В ней мой однокашник, кстати, человек весьма либеральных взглядов, добросовестно изучил «сталинские» стихи поэта, написанные с 1935 по 1937 год, буквально «осязая» движение его мысли, и сделал честный вывод, что «ни приспособленчества, ни насилия над собой в этом движении нет».

Да, в стихотворении 1933 года, когда голод, как следствие принудительной коллективизации, опустошал черноземные области страны, Мандельштам писал:

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани…

В то же время или даже раньше Шолохов шлет в Кремль Сталину страшные письма о гибели крестьян, и Сталин вынужден принимать меры, распоряжаться, чтобы в голодающие села и станицы было отправлено из государственных запасов зерно.

Но через два года, в июле 1935-го, Мандельштам уже пишет в письме отцу:

«...Вместе с группой делегатов и редактором областной газеты я ездил за 12 часов в совхоз на открытие деревенского театра. Предстоит еще поездка в большой колхоз...» Совсем иные чувства, иные картины.

О вышеупомянутой поездке так рассказывает в письме от 31.7.1935 г. знакомый поэта С. Б. Рудаков: «Осип был весел. Там было так... Осип пленил партийное руководство и имел лошадей и автомобиль и разъезжал по округе верст за 60—100... Знакомиться с делом… А фактически это может быть материал для новых «Черноземов» (стихотворение, написанное в апреле 1935 г. — *Ст. К.*). Говорит: «Это комбинация колхозов и совхоза, единый район (Воробьевский) — целый Техас… Люди слабые, а дело делают большое — настоящее искусство, как мое со стихами. Там все так работают". О яслях рассказывает, о колхозни-

ках... Факт тот, что он... видел колхоз и его воспринял... как ребенок, мечтает поехать еще туда». (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1993 год. СПб., 1997, с. 78, 79).

Когда в советской деревне разрушение жизни сменилось созиданием, изменилось и отношение поэта к Сталину. Михаил Гаспаров честно и точно комментирует смысл знаменитой мандельштамовской «Оды» 1937 года, сравнивая ее с памфлетом «Мы живем, под собою не чуя страны...», написанным четырьмя годами ранее:

«В середине «Оды»... соприкасаются прошлое и будущее — в словах «Он свесился с трибуны, как с горы. В ряды голов. Должник сильнее иска». Площадь, форум с трибуной... Это не только площадь демонстраций, но и площадь суда. Иск к Сталину предъявляет прошлое за то злое, что было в революции и после нее (в том числе и за коллективизацию. — *Ст. К.*). Сталин пересиливает это светлым настоящим и будущим... Решение на этом суде выносит народ... В памятной эпиграмме против Сталина поэт выступил обвинителем от прошлого — по народному приговору он неправ...» (из работы М. Гаспарова, с. 94).

Жизнь, преодолевшая страшные раны коллективизации, налаживалась на глазах.

Уже в 1931 году ЦИК СССР начал возвращать избирательные права «лишенцам» — сократив их число до двух с небольшим миллионов человек (2,5% от численности взрослого населения). А летом 1936 года все они были восстановлены в политических правах, так же, как и 768 тысяч человек, репрессированных по закону от 7 августа 1932 года, известному как «закон о трех колосках».

30 декабря 1935 года «Известия» опубликовали постановление правительства «О приеме в высшие учебные заведения и техникумы», отменявшее все ограничения, связанные с социальным происхождением лиц, желающих получить образование.

А 21 апреля 1936 года власть отменила свои предыдущие постановления, ущемляющие казачество, восста-

новила казачьи части, с их традиционной формой, с правом на воинскую службу. В том же году было разрешено свободное проживание по всей стране многих тысяч людей, высланных из Ленинграда в связи с убийством Кирова, осенью 1936 года страна рассталась с карточной системой. С 1 октября была узаконена свободная продажа мяса, масла, рыбы, сахара, овощей. Страна готовилась принимать Сталинскую конституцию, в которой предполагалось нечто неслыханное: «... избирательные списки на выборах будет выставлять не только коммунистическая партия, но и всевозможные общественные беспартийные организации... Всеобщие, равные, прямые и тайные выбо́ры в СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти» (из интервью И. Сталина американскому журналисту Рою Уилсону от 1 марта 1936 г.).

(К сожалению, из-за мощнейшего сопротивления партийной бюрократии на местах эти планы Сталину осуществить не удалось.)

Все, к чему в это время прикасался поэт, вырастало как на дрожжах, обретало титанические объемы, входило всей громадой в историю:

«Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах», «На Тоболе кричат. Обь стоит на плоту. И речная верста поднялась в высоту», «Ты наслаждаешься величием равнин», «И плывет углами неба восхитительная мощь», «К ноге моей привязан сосновый, синий бор», «Дрожжи мира дорогие: звуки, слезы и труды», «В роскошной бедности, в могучей нищете» и т. д.

Изгнание и нищета не властны над жизнью духа, если речь идет об эпическом зрении, которым поэт видит «горловой Урал», «плечистое Поволжье». В это же время кинематографический эпос социализма — «Чапаев» становится любимым фильмом Иосифа Мандельштама и Иосифа Сталина.

Поэт счастлив во время грандиозных сталинских демонстраций созерцать в XX веке на Красной площади

картины величия, присущие легендарным временам Богов и Героев:

Я сердцем виноват — я сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.
Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми глазами....
Я обведу еще глазами площадь всей,
Всей этой площади с ее знамен лесами.
(11.2.1937 г.)

Не колонны «винтиков», механически марширующих по воле диктатора, видит он во время парада на Красной площади, но «бесчисленных друзей», участвующих в жизни более значительной, нежели жизнь Акрополя, Агоры, античного хора.

И, конечно же, вершиной этих поисков «укрупнения» жизни у Мандельштама явились стихи, прямо и открыто обращенные уже не к «кремлевскому душегубу и мужикоборцу», не к казнелюбивому «осетину», но к вождю, достойному того, чтобы о нем говорили губы Гомера, Софокла или Эсхила.

* * *

Ахиллесовой пятой всех профессиональных мандельштамоведов был и остается мистический страх перед тем фактом, что поэт был предельно искренен во всех своих стихах о советской эпохе, об укрупняющемся времени, о Сталине.

Им легче признать его двурушником, приспособленцем, спасавшим себя, в лучшем случае «умопомраченным» человеком, творившим в атмосфере своеобразного самогипноза и самообмана. Ну и, конечно, одновременно с такого рода рассуждениями мандельштамоведы усиленно занимаются мифологизацией Сталина.

«Если что Сталин умел в совершенстве, так это мстить — выжидать для мести удобного часа», — пишет

во вступлении к двухтомнику поэта Сергей Аверинцев и продолжает: «Мандельштам, какими бы противоречивыми ни были к этому времени его, может быть, уже не всегда вменяемые мысли, — должен был причинить себе при работе над «Одой» немалое насилие». «Работа над «Одой» не могла не быть помрачением ума и саморазрушением гения». (Выводы М. Гаспарова совершенно противоположны мыслям Аверинцева).

Б. Сарнов, пытаясь мыслить одновременно и за вождя, и за поэта, рассуждает как врач-психиатр из Института им. Сербского: «Узнав, что Мандельштам считается крупным поэтом, он (Сталин. — *Ст. К.*) решил до поры до времени его не убивать... Он хотел заставить Мандельштама написать другие стихи. Стихи, возвеличивающие Сталина».

Как будто Сталин только и был озабочен тем, чтобы его прославляли поэты и писатели, а не созданием армии и строительством Кузбасса, не авиацией и железными дорогами, не дипломатической борьбой и заботами о том, как отвести от страны приближающуюся войну.

Но какое до этого дело Льву Колодному, который в книге «Поэты и вожди» изображает Мандельштама заурядным ремесленником-стихоплетом:

«Мандельштам написал хвалебные стихи о Сталине в 1937 году, когда прищел конец ссылки, надеясь, очевидно, таким образом доказать, что он не «враг народа». Он пытался зарифмовать с огромными усилиями то, что, не уставая, твердила пропаганда: о сталинской клятве, побегах Сталина из ссылки, о том, что Сталин — это Ленин сегодня».

Ссылаясь на какое-то зарубежное издание поэта, Колодный, цитируя последнюю строку стихотворения «Если б меня наши враги взяли...», — совершает в сущности подлог и взамен подлинного текста: «будет будить разум и жизнь Сталин» — цитирует «губить».

Да и вообще, все разговоры о личной патологической мстительности Сталина — смердящий миф. Вождь жестоко относился лишь к тем, кто посягал на его Дело, на

его государство, на его цивилизацию, а не на его личное имя или на его честь... Он был жесток к близким людям своей семьи, если они не понимали грандиозности его Дела и мешали осуществлять его: к жене Надежде Аллилуевой, к сыну Василию, которого много раз наказывал, осаживал, ставил на место. А его знаменитый ответ: «Я солдат на фельдмаршалов не меняю» относительно судьбы сына Якова, находившегося в немецком плену? Разве это не говорит о почти полном отсутствии в натуре Сталина личного, кровного, естественного для большинства людей эгоизма?

Вспомним, какое наказание в разгар войны получил Алексей Каплер, киносценарист, сорокалетний одесский «дон Жуан», соблазнивший школьницу, шестнадцатилетнюю любимую дочь Сталина. Сначала сотрудники НКВД предлагали ему прекратить волочиться за Светланой, уехать из Москвы, но Каплер демонстративно играл с огнем, покамест Сталин не приехал к дочери, когда она «собиралась в школу», потребовал письма ее соблазнителя, а в ответ на то, что она Каплера любит, как всякий отец, вышел из себя, дал ей пощечину и закричал: «Ты бы посмотрела на себя — кому ты нужна?! У него кругом бабы, дура». Вечером, когда Светлана вернулась из школы, она увидела, что отец ищет в ее бумагах письма и фотографии Каплера и рвет их. Да, несчастный отец жестоко обошелся с дочерью, но как он, грузин, восточный человек, аскет, владыка полумира, поступил с негодяем-соблазнителем? Да ему стоило пальцем бы пошевелить, чтобы того сгноили, в порошок стерли. Однако дело было не государственное, а его, Сталина, личное, и человек, опозоривший его семью, посягнувший на честь его фамилии, отделался легким испугом. Не забудем и то обстоятельство, что эта история произошла во время Сталинградской битвы, когда все существо Сталина было занято одним — как устоять... Поистине, наверное, именно тогда, по словам Вертинского, — «над разорванной картой России поседела его голова»... А тут еще Каплер...

Вот что пишет в своих воспоминаниях Валерий Фрид, киношник, который несколько лет был в заключении вместе с Каплером в приполярном лагере:

«О своем деле Алексей Яковлевич рассказывал не очень охотно... Сначала он попал в Воркуту. Воркутинское начальство встретило новоприбывшего уважительно: срок и статья были по сравнению с другими пустяковыми, а кто такой Каплер, лауреат Сталинской премии, орденоносец, автор сценариев прогремевших фильмов, знали все. В первые же дни его сделали бесконвойным, предложили походить, присмотреться и, может быть, написать о горняках Заполярья. Алексей Яковлевич походил, осмотрелся и, собравшись с духом, объявил, что писать не будет: о лагере рассказать не позволят, а написать о Воркуте, как писали о Комсомольске-на-Амуре, что построили город исключительно энтузиасты-добровольцы, совесть не позволяет.

К удивлению Каплера, начальник Воркутлага отнесся к его объяснению с пониманием...»

Кстати, уязвленный отец потом прилагал немало усилий, чтобы устроить семейную жизнь своей дочери, выдал ее за сына Жданова, но она уже была поражена своеобразным «вирусом порчи» и продолжала светскую жизнь в мужском кругу друзей Алексея Каплера. Кстати, туда же входил и молодой поэт Давид Самойлов, который однажды прочитал мне несколько стихотворений, объединенных одним женским именем:

«А эту зиму звали Анной, она была прекрасней всех»; и далее «выросли деревья, смолкли речи, отгремели времена, но опять прошу я издалече: «Анна! Защити меня»; «Как тебе живется, королева Анна, в той земле, во Франции чужой? Неужели от родного стана отлепилась ты душой? Как живется, Анна Ярославна, в теплых странах, а у нас зима...».

Когда я вопросительно поглядел на него, маленький красноносый Дезик, похожий на клоуна, блудливой улыбкой уточнил, кому стихотворение посвящено:

— Светлане Сталиной...

Дочь Сталина в это время жила в Индии.

Именно тогда я понял, как эти немолодые сердцееды, соблазняя некрасивую, рыженькую дочку вождя, подхихикивали над ним, радуясь бессилию всемогущего человека. Наверное, они думали, что он из-за любви к дочери не посмеет взбунтоваться и поневоле смирится с унижением. Но они плохо знали Сталина...

* * *

Об этом предельно искреннем стихотворении Мандельштама его апологеты вспоминать не любят.

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях
Смотрит века могучая веха
И бровей начинает взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,
А потом куда хочешь, влеки —
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданье у мощной реки.

Вздыбленное народное море, разбуженное пространство, историческая мощь... И даже игра в грамматические, школярские спряжения глагола нужна поэту, чтобы вписать себя в мир, где «я», «ты», «он», «она» живут, как в детской считалке, и рифмуются со страной — «вместе целая страна».

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба.

Это воспоминание о путешествии в ссылку на Чердынь, на Каму... Меня самого как раз в эти годы бабушка везла из Калуги в Пермь к отцу с матерью. Когда я вырос, бабушка рассказывала мне, какие толпы народа в те времена штурмовали вокзалы и пристани, заполо-

няли палубы пароходов, где на одной из них моя Дарья Захаровна с трехлетним внуком на руках устроилась возле бака с кипяченой водой и кружкой на цепочке, которые, может быть, и запомнил поэт: «Тот с водой кипяченой бак, на цепочке кружка-жестянка». Может статься, что и он тогда с женой и двумя чекистами находился на той же палубе. Впрочем, нет. Он, как особый пассажир, был в каюте, потому что

Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы...

А со стены каюты на него смотрел человек, выполнявший волю истории, направляющий потоки народных масс, которые несли как щепку сухонького немолодого поэта:

И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журба.

За что же журил вождь своего подневольного поэта? За то, что тот три года тому назад написал легкомысленную хулу на него, да что там на него лично — на его Дело. За то, что выкрикнул, как бедный чудак Евгений: «Добро, строитель чудотворный. Ужо тебе...» За то, что по-мальчишески безрассудно и тщеславно попытался осудить в 1933 году строительство нового мира... Находясь в каюте под «журбой» всевидящих глаз, поэт искренне, наивно и косноязычно перечислял доказательства своего участия в жизни страны:

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...

Грешно иронизировать над этим простодушием, как и над тем, что в поистине сказочном финале стихотво-

рения гордец Мандельштам («нрава он был не лилейного»), смирив свою иудейскую жестоковыйность, приносит покаяние вождю, которого он ради красного словца не то чтобы обидел или оскорбил, а хуже: о котором написал неправду и с которым попытался обойтись столь же легкомысленно, как несчастный Евгений с «кумиром на бронзовом коне»:

И к нему, в его сердцевину,
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел.

В это же время Николай Алексеевич Клюев, находившийся в колпашевской ссылке, прислал своим друзьям, писателю Иванову-Разумнику и художнику Яру-Кравченко, — каждому по одной копии — поэму «Кремль», которая хранится в частном собрании и содержание ее до сих пор неизвестно. Мы только знаем из книги воспоминаний Иванова-Разумника, что это — поэма-покаяние Клюева перед Сталиным и что заканчивается она последней строкой: «Прости иль умереть вели»... Оба поэта перед смертью успели повиниться перед вождем.

* * *

Когда Осип Мандельштам написал памфлет о Сталине, Пастернак в отчаянье произнес слова, которые одесский писатель Аркадий Львов, ныне живущий в Америке, комментирует в книге «Желтое и черное» так:

«Борис Леонидович трепетал за свою жизнь, как трепетал на Руси всякий еврей, черт его знает, чего может ударить в голову православному человеку, но чего бы ни ударило — под Сталиным погрому не быть! А к тому и другое: при каком царе на Руси были евреям так открыты двери? А к тому и третье: кто с января того же тридцать третьего года забрал власть над Германией? Гитлер за-

брал. Вот и вышел от Бориса Леонидовича вопрос Осипу Эмильевичу: «Как мог он написать эти строки — ведь он еврей!».

Пастернак со Львовым правы, когда речь идет о «дверях», «открытых евреям» в 30-е годы.

Еврейское засилье во всех сферах жизни 20-х и 30-х годов доходило до трагического абсурда. Изнеженный наш литературовед, абсолютный шабесгой, женатый на еврейке, Петр Алексеевич Николаев, со скучнейших лекций которого в начале 50-х годов мы сбегали из Коммунистической аудитории МГУ на Моховой, в книге «Поэтический пантеон победной войны» (М., 2005) так пишет об этом историческом феномене:

«Известно, что в 1920—1930-е годы люди, желавшие идти во власть, стремились жениться на еврейках и даже пытались изменить имена своих жен с русских на еврейские. С такой женщиной (женой министра путей сообщения Ковалева) мне пришлось однажды откровенно разговаривать о том, почему она свое девичье имя Дарья сменила на Дору. Муж сказал, что он не сделает карьеру, если она оставит свое русское имя. И вдруг однажды все переменилось (может быть, дружба с Гитлером и одинаковые эстетические вкусы: в окружении Гитлера и Сталина писали одинаково — как под копирку — статьи о социалистическом реализме), вместо поклонения всему еврейскому в 1940-е годы в общественном сознании стало внедряться сверху, разумеется от вождя, антисемитское воззрение на мир».

Здесь все смешно: и то, что книжка, составленная Николаевым, вышла в издательстве «Русский импульс»; и то, что не просто «статьи», а книги, тома о социалистическом реализме в 50—60-е годы сам Петр Алексеевич пек, как блины; и то, что он сокрушается: почему *«вместо поклонения всему еврейскому в 1940-е годы»* (! — *Ст. К.*) наступила эпоха борьбы с космополитизмом, ликвидации еврейского антифашистского комитета, «дела врачей». Мордвин П. Николаев не понимал, что в России «поклоне-

ние всему еврейскому» не может длится вечно, и что рано или поздно история все поставит на свои места. Кстати этот бесталанный филолог, не написавший ни одной яркой и своеобразной книги, обслуживавший самым примитивным образом идеологию (до сих пор помню его злую и убогую статью о Михаиле Лобанове в «Литературной газете» начала 80-х годов, развивавшую русофобские положения яковлевской работы «Против антиисторизма») сделал немыслимую карьеру: он стал заслуженным профессором МГУ, вошел в состав Российской академии наук, стал вице-президентом Российской академии словесности и вице-президентом Международной ассоциации профессоров. А в 29 лет, еще при жизни Сталина, уже был председателем сценарной коллегии Министерства кинематографии. Ну как тут не вспомнить, что «важнейшим из искусств у нас является кино» и что женой Пети Николаева была Ирина Иосифовна, которой совсем не надо было притворяться еврейкой, как это делала русская жена министра путей сообщения Ковалева.

Весной 2003 года я выступал в одном из ленинградских залов. После выступления ко мне подошла женщина и протянула письмо с фотографией. В письме я прочитал:

«Передаю Вам ксерокс фото из архива моего мужа, православного человека. В центре — его отец, директор школы, осетин, и вокруг... вы видите сами — ни одного русского учителя, ни одного русского ученика.

Это фото опровергает домыслы о дискриминации в образовании. Получали аттестаты и шли в институты, а все остальные вкалывали на стройках коммунизма.

Людмила Короева».

С фотографии на меня смотрели учителя и ученики выпускного десятого класса 11-й средней школы Василеостровского района — 1939 год...

Из восьми преподавателей действительно лишь один директор был осетином — все остальные семеро: Шницер,

Розенблюм, Розенблат, Ленский, Михайловская, Домнич — были соплеменниками Пастернака.

Из двадцати четырех учеников лишь одна (!) круглолицая девочка носила русскую фамилию — Болотина. Остальные 23 были: Хейфиц, Нейштадт, Рывкин, Штерн, Гуревич, Вейсман, Рохлин и т. д. Всех перечислять не буду. Фотография сделана после 1937 года, якобы сломавшего еврейскую власть над русским народом, по мнению многих историков. Эту фотографию я передам в музей холокоста, если он когда-нибудь будет создан в России на деньги Березовского или Абрамовича.

Через несколько лет Мандельштам, знавший отзыв Пастернака о своем неумном стихотворении, своеобразно, но все-таки повинился перед будущим спасителем еврейства от окончательного холокоста, написав стихи о двух европейских диктаторах:

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь — сам друг, —
Я слышу в Арктике машин советских стук.
Я помню все — немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

1935

Это — о настоящем антисемите Гитлере. А еще через два года о Муссолини:

И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

Но советское общество середины 30-х годов еще не было монолитным, и трещина проходила на скрытой от глаз глубине. Многие «интеллигенты» эпохи готовы были на союз с кем угодно — с Троцким, с Пилсудским, с Гитлером — лишь бы не со Сталиным.

Я приведу несколько высказываний Анны Берзинь, жены известного писателя Бруно Ясенского, из «дела»,

которое мне удалось прочитать на Лубянке в 1990 году во время работы над книгой о Сергее Есенине.

«Нет, уж лучше открыть фронт фашистам, чем воевать»; «я воспринимаю эту власть как совершенно мне чуждую. Сознаюсь, что я даже злорадствую, когда слышу, что где-то плохо, что того или другого нет... Теперь мне воевать не для чего и не за что». «В свое время, в гражданскую войну, я была на фронте и воевала не хуже других. За существующий режим воевать? Нет уж, лучше открыть фронт фашистам»; «мы сами, это мы сами во всем виноваты. Это мы расстреляли наших друзей и наиболее видных людей в стране. В правительстве подбираются люди с русскими фамилиями. Типичный лозунг теперь — «мы русский народ». Все это пахнет черносотенством...».

Вот такие настроения перед войной были у части нашей творческой интеллигенции. В своей безумной «революционной», «интернациональной» гордыне она как черт от ладана шарахалась от единственно спасительного пути — ставки на русский патриотизм, сделанной Сталиным уже за четыре года до начала Великой Отечественной.

И Мандельштам в этом выборе был с вождем, а не с Берзинь, которая, впрочем, вполне могла восхищаться его стихами 1933 года о «мужикоборце»...

* * *

А между тем страна стремительно втягивалась в очередной виток политической борьбы, насыщенной арестами, митингами, открытыми и закрытыми политическими процессами, индивидуальными и массовыми репрессиями. Сталин решил окончательно и бесповоротно расправиться с явными и скрытыми сторонниками Троцкого, со всеми оппозиционерами, подобными Анне Берзинь, с противниками его плана строительства монолитного общества и могучего государства в преддверии неизбежной войны.

19—24 августа 1936 года страну потрясло «дело» «объединенного троцкистско-зиновьевского центра», 23—30 января 1937 года прошел процесс «параллельного» антисоветского троцкистского центра, 23—27 февраля последовал пленум ЦК ВКП(б), на котором рассматривались дела Рыкова и Бухарина.

Май — июнь 1937-го — «дело» о «заговоре военных» во главе с маршалом Тухачевским. И, наконец, это полутораговое землетрясение закончилось в марте 1938 года, когда в политическое небытие ушли Бухарин, Рыков, Радек.

Полтора года шло искоренение антисталинского крыла партийно-государственного и военного руководства, известнейшие люди страны исключались из партии, снимались с должностей, отдавались в руки прокуроров и судей. Рабочие собрания требовали кары для врагов народа, на улицах больших городов шумели демонстрации с призывами правосудия и расправы. Страницы газет выходили с заголовками: «Расстрелять убийц», «Врагов народа к ответу», «Стереть с лица земли», «К высшей мере!».

Писатели, знакомые и друзья Мандельштама — Шкловский, Катаев, Безыменский, Инбер, Олеша, Зощенко, Антокольский и другие (в большинстве своем евреи) подписывали письма с требованиями расстреливать двурушников.

А что же в это время делал Мандельштам, находившийся в воронежской ссылке и не имевший никаких гражданских прав, кроме права писать стихи? В самый пик накала идеологической и репрессивной температуры — зимой и ранней весной 1937 года — он чувствовал такой небывалый прилив творческих сил, что поневоле начинаешь думать о тайной глубинной связи эпохи Большого Террора с окончательным утверждением в поэзии Мандельштама Большого Стиля.

Январь — июнь 1937 года — решается судьба Бухарина, Радека, Пятакова, Сокольникова, Рыкова, Тухачевского, Корка, Якира, Примакова, а Мандельштам пишет, пишет и пишет стихи о расширяющемся времени, об укрупне-

нии жизни, об уплотнении пространства, о своей неимоверно быстро крепнущей связи с эпохой. Он не извлекает из этого творчества никакой выгоды, никуда не посылает стихи — ни в газеты, ни друзьям-поэтам, ни в Кремль, пишет в стол — то есть его творчество в это время лишено всякого прагматического смысла, всякой корысти... Он просто уясняет сам для себя свое понимание жизни, с возможной надеждой, что все написанное им в это роковое время когда нибудь прочитают в будущем. Именно в знаковом 1937 году он писал так вдохновенно, как никогда. В декабре 1936 года — шестнадцать стихотворений, в январе 1937-го — пятнадцать, в феврале — двенадцать, в марте — пятнадцать. Пятьдесят восемь стихотворений за четыре месяца! В иные дни по два-три стихотворения. И почти все стихи излучают не просто согласие с временем, но даже восхищение им...

21—22 января 37-го года он зовет на помощь в работе «по укрупнению жизни» своего любимого Данта:

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Бытовые неурядицы не помеха для творчества в эпоху борьбы Сталина и Троцкого, гвельфов и. гибеллинов. Если уж Дант мог говорить с «черствых лестниц» о новой жизни, то эти строки о нем были написаны через несколько дней после того, как поэт поставил молодые воронежские холмы рядом с легендарными холмами Тосканы. Голос Данта, слышимый «с площадей с угловатыми дворцами», перекликается в стихах с его голосом, несущимся из центра Третьего Рима с площади, где «круглей всего земля», простирающаяся «вниз до рисовых полей», «покуда на земле последний жив невольник». «Я обведу глазами площадь всей — всей этой площади с ее знамен леса-

ми». Может быть, это описание народного шествия, требующего расправы с врагами социализма?

А почему бы нет? Разве поэт через несколько дней, после сообщения о расстреле Тухачевского и его соратников, не написал:

Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, врастать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.

И далее о том, что всем патриотам страны должно сплачиваться в трудное время вокруг вождя:

Непобедимого, прямого,
С могучим смехом в грозный час,
Находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.

В воспоминаниях М. Чудаковой о встречах с вдовой Михаила Булгакова Еленой Сергеевной есть важные свидетельства того, что взгляды Булгакова и Мандельштама на события 1937 года были очень близки: «У него (Булгакова. — *Ст. К.*) было ощущение возмездия от этих арестов?

— Да, не скрою от вас, было! Он открывал газету и видел там имена своих врагов... Все эти люди — они же травили его!» Там же приведена запись Е. С. Булгаковой из дневника от 23.4.1937 г.: «Да, пришло возмездие. В газетах очень много дурного о Киршоне и об Афиногенове...» Фамилий Булгакова и Мандельштама нет под письмами, требующими кары, расстрела, наказания, о «сталинистских» стихах поэта никто не знает, они не напечатаны, но написаны «в стол», а потому их искренность — неопровержима в своем бескорыстии.

Словно бы бросая вызов робким душам, не знающим, куда деться от «грозных площадей» с «лесами знамен»,

Осип Мандельштам мужественно сравнивает трагедию своего времени, разыгрываемую в театре, не уступающем античному, с трагедиями великих греков:

Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.
(12 янв. — 4 февр. 1937 г.)

Он видит в этом театре искры бессмертия и глубоко запрятанный под покровами обоюдного политического словоблудия трагический смысл происходящего на мировой арене, коей в те времена стали московские суды и партийные пленумы. Вышинский говорит одно, Бухарин — другое, а Мандельштам, косноязычно бормоча, облекает в слова-символы свои прозрения:

Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны
И брони боевой — и бровь и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.

(Пророческие догадки о будущей войне и победе! — *Ст. К.*)

Все звонки Сталина Пастернаку (с разговором о Мандельштаме), Булгакову были отчаянной и рискованной попыткой объединить общество перед неизбежной войной «хоть лаской, хоть таской», хоть кнутом, хоть пряником. Бывший семинарист помнил ветхозаветную истину о том, что «царство, разделившееся само в себе», должно неизбежно погибнуть, и понимал, что после жесточайшей гражданской войны и мучительной коллективизации какая-то часть народа может отшатнуться от власти и даже перейти на сторону врага. Создать монолитное общество по всей вертикали — задача была почти невыполнимая даже и при всей сверхчеловеческой воле и организационном гении Сталина.

* * *

Воронежскую тетрадь поэт заполнял в здравом уме и твердой памяти, в привычной для него сложной, перетекающей из одного стихотворения в другое словесной ткани, из которой он выкраивал и шил свои лучшие вещи. А коли ткань того же качества, то и социально-исторические, или социально-философские, или в конце концов социально-патетические стихи его воронежской зимы бессовестно считать поделками второго или третьего сорта, некими жеманными извинениями или неумело-льстивыми одами. Не на таких дрожжах восходил его талант. Это был человек-кремень, готовивший себя всю жизнь к жертве за свои убеждения, и подозревать его в двуличии и трусости могут только ничтожные души или мелкие политические мошенники.

Одних только стихотворений о вожде в книге воронежской зимы — целых пять. И неужто они не перевешивают легкомысленную эпиграмму 1933 года, толкованием которой вот уже несколько десятилетий питаются мандельштамоведы, в упор не замечая трогательного признания поэта: «Я сердцем виноват»? Лучше бы честно вчитались в оду, написанную с державинской силой:

Если б меня наши враги взяли
И перестали говорить со мной люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет
И что народ, как судия, судит, —
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б, —
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,

Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом. —
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земле очи,
И — в легион братских очей сжатый —
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся в даль клятвы —
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.

(Февраль — март 1937 г.)

Обнюхивают эту глыбу и бормочут несусветное о том, что Осип Эмильевич был болен и не ведал, что творит, а потом раскаивался за неискренние стихи. Или второй вариант: Мандельштам сознательно написал хвалебные стихи тирану, чтобы избегнуть смерти; или же — он писал хвалебные стихи, но в них были зашифрованы слова, строки, в которых, если их разгадать, заключена ненависть и презрение к вождю народов. Словом — либо больной, либо приспособленец, либо хитрец, каких поискать.

Афанасий Фет, переводивший «Метаморфозы» Овидия, посвященные Цезарю, сделал однажды к переводам любопытный комментарий: «Смешно уверять, что такие вещи плод лести, лишенный внутреннего убеждения. Пусть любой льстец преднамеренно напишет что-нибудь подобное, и мы охотно согласимся с мнением, что люди, о личном существовании которых Цезарь никогда не узнает, сговорились из лести строить ему алтарь и заживо воздавать божеские почести. Не менее добродушна (видимо, Фет хотел, сказать «наивна». — *Ст. К.*) мысль, чтобы сердцевед, как Август, допустил в лицо себе такую преувеличенную лесть, если, не чувствовал себя действительно носителем всемирной римской власти» (*Овидий.* XV книг превращений в переводах с объяснениями А. Фета. М., 1887. Ст. VIII).

Одной из особенностей поэтического мира Мандельштама является присутствие в нем слов-символов, имеющих для поэта сакральное значение. Все стержневые, «позвоночные» стихотворения Мандельштама насыщены ими, держатся на словах-опорах, воплощающих для поэта некие узловые скрещения чертежей мира. Они — словно сгустки звездного вещества («звезды-карлики»), тяжелее и плотнее которого в космосе ничего до сих пор не обнаружено: «ласточка», «роза», «соль», «изба», «мед», «солнце», «сердцевина», «шерсть», «век», «кровь», — повторяются в стихах во много раз чаще, нежели «обычные» слова. Чаще всего — это существительные, но есть и любимые прилагательные: «хищный», «сухой», «жирный», «желтый», «смелый». Комментаторы, которые толкуют «Оду» и другие стихи о Сталине как написанные ради спасения, «страха ради иудейска», просто не умеют их читать. Но наличие сакральных слов-сгустков — «клятва», «очи», «желчь», «уголь», «спелый» и т. д. — первый и основной признак того, что стихи не вымучены с прагматической целью, но рождены в состоянии подлинного вдохновения, что они обладают энергией первородства. Именно эти слова-вспышки дают стихам подъемную силу, чтобы парить в воздухе.

Мандельштам вводит в одно из стихотворений — «там, где бушлатник шершавую песню поет» — тему ссыльного человека, и когда в «Оде» мы читаем: «Хочу назвать его — не Сталин, — Джугашвили», — то должно понять, что поэту изначально близок человек, сегодня ставший вождем, но вчера бывший таким же каторжанином, как и поэт, в «бушлате», знавший мир нищеты, жизни на чужих квартирах, мир случайных ночлегов, одиночества, радости разговора с незнакомым прохожим. Но — какое несовпадение! — Мандельштам опять поет «против шерсти мира». Сталин уже не любил, когда ему напоминали, что он Джугашвили. Не хотелось ему вспоминать на высотах своего величия о бездомной, кочевой, ссыльной жизни, в которой прошли чуть ли не двадцать лет. Обращался он

к ней лишь в исключительных случаях, когда эти воспоминания нужно было бросить на чашу весов политической борьбы. Тогда он немного приоткрывался, и однажды в 1931 году сказал в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом:

«Тех товарищей, которые не уезжали за границу, конечно, гораздо больше в нашей партии и ее руководстве, чем бывших эмигрантов, и они, конечно, имели возможность принести больше пользы для революции, чем находившиеся за границей эмигранты. ... Я знаю многих товарищей, которые прожили по 20 лет за границей, жили где-нибудь в Шарлоттенбурге или Латинском квартале, сидели в кафе годами, пили пиво и все же не сумели изучить Европу и не поняли ее».

Это сказано не только о многих соратниках Ленина, приехавших в 1917 году в Россию в «пломбированном вагоне», не только о тех, чьи фамилии через несколько лет будут знаковыми на знаменитых процессах и о ком так будет жалеть Анна Берзинь, но можно подумать, что это сказано и о самом Владимире Ильиче...

А стихи о «веке-волкодаве» — не так уж просты. Ну прежде всего поэт понимал, что волкодавы нужны для борьбы с настоящими волками, для защиты человека от волков. Поэт хочет объяснить своему веку, что «не волк он по крови своей», что не живет он по ветхозаветным кровным законам волчьего племени. Нежели жить по ним — лучше пусть уведут «в ночь, где течет Енисей»... И слова «я лишился и чаши на пире отцов» — тоже имеют особый смысл, если вспомнить моление о чаше... Все стихотворение, как развернутое моление из Евангелия — «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» — и «пронеси чашу сию мимо меня...».

Неизбежность самопожертвования и страх перед Голгофой, на которую и Христос пошел «за великое племя людей» и был обесчещен перед смертью грубой римской силой, спровоцированной ветхозаветной яростью фарисеев... Поэт понимал, что волкодавы нужны челове-

ку для обороны от волков, но — и это несчастный случай: произошла роковая ошибка — век-волкодав не узнал своего поэта. За месяц до ареста в письме к Б. С. Кузину из санатория в Саматихе поэт был уверен, что он пригодится своему веку:

«Здесь должно произойти превращение энергии в другое качество. «Общественный ремонт здоровья», значит, от меня чего-то доброго ждут, верят в меня. Этим я смущен и обрадован. Ставскому я говорил, что буду бороться в поэзии за музыку зиждущую. Во мне небывалое доверие ко всем подлинным участникам нашей жизни, и волна встречного доверия идет ко мне. Впереди еще очень много корявости и нелепости, — но ничего, ничего, не страшно!»

Но век-волкодав обознался...

«Дивная мистерия вселенной»

В 1948 году Заболоцкий, давно отошедший от обернутов, не любивший ни футуризма, ни акмеизма, написал стихотворение и демонстративно назвал его «Читая стихи».

Я уверен, что в нем он выразил свое отношение к поэзии Осипа Мандельштама, к его вдохновенному косноязычию, к ироническому легкомыслию, в которое нередко впадал собрат по призванию, к его «приступам жеманства» и «скомканной речи»:

Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти не похожий на стих,
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.

И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?

И возможно ли русское слово
Превратить **в щебетанье щегла**[1],
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не смогла?

Конечно же, это об Осипе Эмильевиче, много раз уподоблявшему себя щеглу — «мой щегол, я голову закину», «до чего ты щегловит», «когда щегол в воздушной сдобе», «это мачеха Кольцова, шутишь: родина щегла». Но, несмотря на понятную для нравственного максималиста Заболоцкого неприязнь к поэзии Мандельштама, судьбы обоих поэтов во многом были похожи одна на другую.

Обоих не понимала и преследовала вульгарная рапповская и соцреалистическая критика, обоих породнила тюремная и лагерная участь, оба поэта жаждали участвовать в исполинском социальном эпосе — строительстве советской цивилизации, оба, каждый по-своему, в годы страданий нашли опору в «Слове о полку Игореве»... «Как Слово о Полку струна моя туга», — гордо вещал Осип Эмильевич из Воронежа, а Николай Алексеевич, переводивший в неволе поэму на современный стихотворный язык, писал из Караганды в письме к Н. Степанову:

«Есть в классической латыни литые, звенящие как металл строки: но что они в сравнении с этими страстными, невероятно образными, благородными древнерусскими формулами, которые разом западают в душу и навсегда остаются в ней! Читаешь это слово и думаешь: — Какое счастье, боже мой, быть русским человеком!»

К Николаю Заболоцкому судьба была, пожалуй что, более несправедлива нежели к Мандельштаму. Он не дразнил власть, как Осип Эмильевич, не сочинял убийственных стихотворных памфлетов. Наоборот, в 1936 году Заболоцкий написал «Горийскую симфонию» — живое и вполне искреннее стихотворение, в котором воспел Грузию, ее народ и молодого юношу из Гори. И хотя раз-

[1] Выделено мной. — *Ст. К.*

личные критики-функционеры (А. Тарасенков, Е. Усиевич, О. Бескин, С. Розенталь, Д. Данин — в основном евреи) всячески пытались доказать, что его натурфилософские стихи 30-х годов враждебны социализму, ничто не предвещало внезапного его ареста в марте 1938 года. Лишь спустя много лет выяснилось, что органы НКВД задумали создать «ленинградское дело», в центре которого находился бы известный поэт Николай Тихонов, и ради этого были арестованы многие литераторы северной столицы. Из них следователи стали выбивать «показания». Обвинительное заключение Заболоцкому было подписано помощником Ленинградского управления НКВД, неким Хатеневером.

Поэта пытали бессонницей при круглосуточном ярком электрическом свете, бесконечными допросами, избивали дубинками, терзали мощными струями воды, но он не дал ни на Тихонова, ни на кого другого никаких показаний, а когда впал в полное душевное расстройство, то был помещен в институт судебной психиатрии, сначала в буйное, потом в тихое отделение... Такого, слава Богу, Осипу Мандельштаму испытать не довелось. В октябре 1938 года и Заболоцкий, и Мандельштам были отправлены в битком набитых теплушках на Восток.

Мороз. Вши. Голод. Жажда. Грязь. Вот как вспоминал сам поэт об этом пути:

«Два с лишним месяца тянулся наш скорбный поезд по Сибирской магистрали. Два маленьких заледеневших оконца под потолком лишь на короткое время дня робко освещали нашу теплушку. В остальное время горел огарок свечи в фонаре, а когда не давали свечи, весь вагон погружался в непроглядный мрак. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежали в этой первобытной тьме, внимая стуку колес и предаваясь безутешным думам о своей участи. По утрам лишь краем глаза видели мы в окно беспредельные просторы сибирских полей, бесконечную, занесенную снегом тайгу, тени сел и городов, осененные столбами вертикального дыма, фантастические отвесные

скалы байкальского побережья... Нас везли все дальше и дальше, на Дальний Восток, на край света...» («История моего заключения»).

Мандельштам умер в декабре 1938 года в пересыльном лагере под Владивостоком (его жена в «Воспоминаниях» благодарит судьбу за то, что из-за слабого здоровья он не доехал до Колымы). А эшелон Заболоцкого, который отправлялся в ту же самую пересылку, где поэты могли встретиться, был внезапно повернут на Север к Комсомольску-на-Амуре, в котором началась его трехлетняя лагерная жизнь.

Лесоповал на морозе, отчаянные попытки выполнить норму, чтобы не угаснуть от дистрофии, потом работа в каменном карьере — кайло, лопата, долбежка шпуров для взрывчатки, сторожевые собаки. Шло строительство довоенного БАМа... Словом, жизнь Ивана Денисовича, но во время которой поэт успевал увидеть многое:

«По ночам черное-черное небо, усеянное скопищем ярких звезд, висит над белоснежным миром. Лютый мороз. Над поселком, где печи топятся круглые сутки, стоит многоствольная, почти неподвижная колоннада дымов. Почти неподвижен и колоссально высок каждый из этих белых столбов, и только где-то высоко-высоко вверху складывается он пластом, подпирая черное небо. Совсем-совсем низко, упираясь хвостом в горизонт, блистает Большая Медведица. И сидит на столбе, над бараками, уставившись оком в сугробы, неподвижная полярная сова, стерегущая крыс, которые водятся тут, у жилья, в превеликом множестве...».

Три года такой жизни. А потом облегчение — работа чертежником, но начинается война, ужесточение режима, и опять земляные работы. В 1943 году лагерь перебрасывают на Алтай, где поэт вычерпывает со дна озера (там он, по собственным словам, «оставил свое сердце») содовый раствор. Затем его, уже вольнонаемного, но еще ссыльного, перевозят в Казахстан, где лишь в 1945 году он получает полное освобождение.

Семь лет неволи. Но какой силой духа нужно было обладать ему, если в письме жене в ответ на отчаянные женские жалобы о семи годах жестокой разлуки («жизнь так и прошла мимо») он со смиренным достоинством отвечает:

«Ты пишешь — «жизнь прошла мимо». Нет, это неверно. Для всего народа эти годы были очень тяжелыми. Посмотри, сколько вокруг людей, потерявших своих близких. Они не виноваты в этом. Мы с тобой тоже многое пережили. Но мимо ли нас прошла эта жизнь? Когда ты очнешься, отдохнешь, разберешься в своих мыслях и чувствах, — ты поймешь, что *недаром прошли эти годы*; они не только выматывали твои силы, но и в то же время обогащали тебя, твою душу, — и она, хотя и израненная, будет потом крепче, спокойнее и мудрее, чем была прежде.

Время моего душевного отчаяния давно ушло, и я понял в жизни многое такое, о чем не думал прежде. Я стал спокойнее, нет во мне никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми ее радостями и великими страданиями, которые выпали на нашу долю».

Да, до такой высоты мужественного смирения не подымались ни Солженицын, ни Шаламов, ни Домбровский, ни Волков...

И отношение к Сталину у Заболоцкого было своим, особым. Поскольку он не писал стихотворных фельетонов о нем, то не испытывал перед вождем никакой вины, и ему не было нужды впадать в истерическое покаяние. Сын поэта Никита Заболоцкий в книге «Жизнь Н. А. Заболоцкого» слишком самоуверенно решает за отца, что «никакого преклонения перед «вождем народов мира» поэт не испытывал». Но не случайно же, что имя Сталина появляется в первой редакции стихотворения «Творцы дорог», написанного уже после освобождения:

Кто днем и ночью слышал за собой
Речь Сталина и мощное дыханье
Огромных толп народных, — тот не мог
Забыть о вас, строители дорог.

И в этих строках я не слышу ни одного фальшивого звука. Жена Заболоцкого Екатерина Васильевна после его смерти вспоминала: «Он говорил, что ему надо два года жизни, чтобы написать трилогию поэм «Смерть Сократа», «Поклонение волхвов», «Сталин». Меня удивила тема третьей поэмы. Николай Алексеевич стал мне объяснять, что Сталин — сложная фигура на стыке двух эпох. Разделаться со старой этикой, моралью, культурой было ему нелегко, так как он сам из нее вырос. Он учился в духовной семинарии, и это в нем осталось».

Разговор происходил после 1956 года. Однако понимание эпохи социализма в творчестве поэта было еще более сложным, и сводить эту сложность к стихам о Сталине было бы легкомысленным упрощением.

* * *

В 1931 году Осип Мандельштам написал знаменитое стихотворение о «веке-волкодаве», в котором предъявлял счет эпохе. При всей вдохновенной экзальтированности текста в нем четко прописано, какие жертвы готов принести поэт на алтарь истории. «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей», «за жизнь без наживы» он готов отказаться «от чаши на пире отцов» (то есть от своего иудейского избранничества, от частицы племенного величия); он приносит эпохе и свою личную жертву — «честь и веселье». Это — договор со временем (своеобразный мандельштамовский Новый завет), гарантирующий ему личное поэтическое бессмертие, и за него можно заплатить самую дорогую цену.

Заболоцкий же не ставил никаких условий, не помышлял о стоимости билета в грядущее, без осуждения и гордыни принимая «все, что Господь ни пошлет», не сводя никаких счетов с «веком-волкодавом». Он нес крест самопожертвования с соборным чувством общей судьбы и со смиренным достоинством:

Нас ветер бил с Амура и Амгуни,
Трубил нам лось, и волк нам выл вослед.
Но все, что здесь до нас лежало втуне,
Мы подняли и вынесли на свет.
В стране, где кедрам светят метеоры,
Где молится березам бурундук,
Мы отворили заступами горы
И на восток пробились и на юг.
Охотский вал ударил в наши ноги.
Морские птицы прянули из трав,
И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.

Стихи написание 1947 году, уже после освобождения, так что поэта нельзя подозревать в корысти, что сочинял их в расчете на смягчение своей участи, на лагерные льготы либо на досрочное освобождение... Нет, он писал их как свободный человек, поражаясь своему собственному участию в сотворении мира:

Поет рожок приятно и уныло —
Давно знакомый утренний сигнал!
Покуда медлит сонное светило,
В свои права вступает аммонал.

Над крутизною старого откоса
Уже трещат бикфордовы шнуры.
И вдруг — удар, и вздрогнула береза,
И взвыло чрево каменной горы.

Поет рожок над дальнею горою,
Восходит солнце, заливая лес,
И мы бежим нестройною толпою,
Подняв ломы, громам наперерез...

Стихотворение называется «Творцы дорог» — и в нем никакой речи о «шмоне», о «пайках», о «вертухаях», ни-

каких номеров на лагерных бушлатах, никаких покойников с бирками на ногах, разборок с уголовниками, разговоров с «кумом» и прочих атрибутов низкого гулаговского стиля. «Громам наперерез», «сверкающие заступы подняв» — словно Боги, богатыри или титаны, а не какие-то Иваны Денисовичи.

В стихотворении нет и намека на мандельштамовский спор личности с эпохой, оно выражает (кощунственно сказать!) высшую героическую красоту общенародного артельного подвига, совершаемого ради будущих поколений, которым придется жить за счет рудников Норильска, освещать и обогревать жилье энергией волжских гидростанций, выходить к Охотскому морю по дорогам, пробитым через сопки руками поэта и его подневольных товарищей.

Самоотречение, подобное тому, которое живет разве что в древнегреческих трагедиях, в голосах античного хора...

Оба поэта и Заболоцкий, и Мандельштам, осмысливая XX век, не могли обойтись без постоянной оглядки на античные времена, когда рождалось понятие высокой трагедии. «Гомер степей на пегой лошаденке», «лысое темя Сократа», «читайте, деревья, стихи Гезиода», «Пифагорово пенье светил», «Одиссей и сирены» — это Заболоцкий. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», «Останься пеной, Афродита», «Когда бы грек увидел наши игры», «Ахейские мужи во тьме снаряжают коня» — это Мандельштам, уверенный в том, что «поэзия — это чувство правоты», тоскующий по «большому стилю», в который невозможно войти, минуя трагедию, и поэт с ужасом и восторгом призывает ее:

Где связанный и пригвожденный стон,
Где Прометей — скалы подспорье и пособье?
А коршун где — и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?

Тому не быть: трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы —
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Мандельштам жаждет глотнуть воздуха трагедии, чтобы приобщиться к ее древним тайнам, и призывает к себе на помощь тени ее отцов Эсхила и Софокла, дерзко пророчествуя о том, что сегодняшние ее творцы и герои могут быть грузчиками или лесорубами... Да, он угадал направление поиска, но не успел выразить в творчестве эпическую, свободную от своевольных лирических излияний, чистую суть трагедии. За него это сделал другой поэт в буквальном смысле Софокл-лесоруб советской эпохи, работавший не где-нибудь, а на таежном лесоповале:

За высокий сугроб закатилась звезда,
Блещет месяц — глазам невтерпеж.
Кедр, владыка лесов, под наростами льда
На бриллиантовый замок похож.

Посреди кристаллически-белых громад
На седом телеграфном столбе,
Оседлав изоляторы, совы сидят,
И в лицо они смотрят тебе.

Запахнув на груди исполинский тулуп,
Ты стоишь над землянкой звена.
Крепко спит в тишине молодой лесоруб.
Лишь тебе одному не до сна.

Обнимая огромный канадский топор,
Ты стоишь, неподвижен и хмур.
Пред тобой голубую пустыню простер
Замурованный льдами Амур.

И далеко внизу полыхает пожар,
Рассыпая огонь по реке,

Это печи свои отворил сталевар
В Комсомольске, твоем городке.

Это он подмигнул в ледяную тайгу.
Это он побратался с тобой,
Чтобы ты не заснул на своем берегу,
Не замерз, околдован тайгой.

Так растет человеческой дружбы зерно.
Так в январской морозной пыли
Два могучие сердца, сливаясь в одно,
Пламенеют над краем земли.

(Слова-то все какие эпические: «огромный», «исполинский», «могучие»!)

Судьба привела Заболоцкого туда, куда Мандельштам направил свое «моление о чаше»: «в ночь», где, правда, течет не «Енисей», но «Амур» и где «до звезды» достает не «сосна», а «кедр»; где над тайгой сияют не «голубые песцы» — а «за высокий сугроб закатилась звезда», но зато есть — льды Амура, лежащие перед глазами «голубой пустыней». Все эти совпадения и переклички слов и образов наводят на мысль, что Заболоцкий знал стихотворение Мандельштама и в известной степени обратился к знакомому сюжету, чтобы изложить его по-своему...

Героика повседневного и естественного самопожертвования досталась в удел Заболоцкому и стала сердцевиной его дальнейшего творчества. Сразу же после освобождения из ссылки он пишет стихотворение «Журавли», в котором еще раз воплощает свое понимание трагедии и философию героизма.

Да, «черное зияющее дуло», словно символ безымянного, безликого, слепого рока, посылает в сердце вожака журавлиной стаи «луч огня», да, это — высокая трагедия, но не только потому, что «частица дивного величья с высоты обрушилась на нас», но еще и потому, что горе утраты преодолевается в очистительном катарсисе, в причастии к бессмертию «стаи», «племени», «народа».

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.

Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе —
Все, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

У Заболоцкого его личная трагедия — победа — одновременно трагедия-победа артельная, коллективная или даже общенародная: «Срываясь с круч, мы двигались вперед», «Мы отворяли заступами горы», «И мы стояли на краю дороги». У него кроме двух сил — тиранической эпохи и его собственных — есть третья: античный хор, рок, судьба. Два старика замерзают «где-то в поле возле Магадана». Но, несмотря на все жестокие обстоятельства лагерного быта, естественные и главные у Солженицына или Шаламова («околоток», «наряды в город за мукой», «воровская шайка», «бандитские глотки» и т. д.), их смерть не бытовое явление, не лагерная обыденность, а величественная трагедия (подобная гибели вожака журавлиной стаи), последний акт которой завершается в таком театре и с такими «зрителями», что не снились никаким Софоклам и Эсхилам — чего уж говорить о наших лагерных бытописцах! На героев стихотворения взирают северные светила, сполохи полярного сиянья освещают необозримую сцену, вьюга отпевает последние мгновенья их жизни:

Дивная мистерия вселенной
Шла в театре северных светил,

Но огонь ее проникновенный,
До людей уже не доходил.
Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела...
Объяла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела...

Они уже неподвластны лагерной администрации, мирской власти, времени, истории, потому что уходят в вечность, в эпические миры, где блуждают души Антигоны и Эдипа, Гамлета и Отелло, Бориса и Глеба. Стихи звучат как гимн освобождения:

Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.

Заболоцкий совершает чудо, выходя в пространство мирового эпоса, в отличие от Мандельштама, который мечтал прорваться в мир трагедии вплоть до последних дней жизни, но не успел осуществить свой замысел и утвердил за собою право говорить всего лишь о своей судьбе: «Мне на плечи бросается век-волкодав», «Сохрани мою речь навсегда», «Я лишился и чаши на пире отцов», «Куда мне деться в этом январе», «Это какая улица? Улица Мандельштама». Закваска вечного протестантизма; суть которой выражена у него в стихах — «против шерсти мира поем», — была неизживаема.

Эпическая роль «вожака» стаи или племени, неестественная для Мандельштама, для Заболоцкого была органична.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно;
И заря над ним образовала —
Золотого зарева пятно.

Зарево, окаймляющее мученические и одновременно героические лики творцов лагерных дорог, магаданских стариков, которые умирают так же, как умирал Седов из стихотворения Заболоцкого, написанного в 1937 году:

Он умирал, сжимая компас верный,
Природа мертвая, закованная льдом,
Лежала вкруг него, и солнца лик пещерный
Через туман просвечивал с трудом.

И недаром стихотворение завершается мольбою автора судьбе, у которой он просит одного: «Так умереть, как умирал Седов».

Все тридцатые годы Заболоцкий неуклонно шел к героическому эпосу, под его пером даже обычные газетно-политические эпизоды советской жизни, имевшие, если говорить сегодняшним языком, лишь «пиаровское» звучание, преображались в сказочные картины:

Там тень «Челюскина» среди отвесных плит,
Как призрак царственный, над пропастью стоит.

Православное подвижничество Заболоцкого заключается в том, что его эпос не эгоистичен, но человечен. В нем, оттесняя автора на второй план, живет множество самых простых, земных, невеликих людей, в чертах которых поэт ищет и находит «образ Божий»: прачки из маленького русского городка, старухи, которая в ссылке протянула ему ломоть поминального хлеба, девочки Маруси, ходоков, пришедших к Ленину. Словом, «старые люди и дети».

Его демонстративно нравоучительные стихи о некрасивой девочке, пламень души которой «всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень», полны простого и высокого очарования. Но они и о себе. Душа поэта тоже перетопила все несправедливые обиды, все унижения в чистое вещество поэзии.

Однако я рискну сделать к этому бесхитростному стихотворению еще один комментарий.

Заболоцкий, — о чем Борис Слуцкий пишет в своих воспоминаниях, — «говорил, что женщина стихи писать не может. Исключений из этого правила не делал ни для кого».

Лидия Корнеевна Чуковская как бы подтверждает это, размышляя об отношениях Заболоцкого и Ахматовой в своих воспоминаниях:

«Бешеная речь Анны Андреевны против «Старой актрисы» Заболоцкого. Она вычитала нечто такое, чего там, на мой взгляд, и в помине нет:

— Над кем он смеется — над старухой, у которой известь в мозгу, над болезнью? Он убежден, что женщин нельзя подпускать к искусству — вот в чем идея! Да, да, там написано черным по белому, что женщин нельзя подпускать к искусству! Не спорьте! И какие натяжки: у девяностолетней старухи десятилетняя племянница. Когда поэт высказывает ложную мысль — он неизбежно провирается в изображении быта...

Она не давала отвечать, она была в бешенстве. Другого слова не подберу...

— Где там написано, что старухе девяносто лет, а девочке десять? — успела я только спросить. Ответом был гневный взгляд».

Но дело было не в том, «допускать» или «не допускать женщин к искусству»... Спор был мировоззренческим — с глубочайшими причинами. У Ахматовой есть стихотворение, написанное в 1942 году в Ташкенте.

Какая есть. Желаю вам другую —
Получше. Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики.
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки!

Над Азией — весенние туманы
И яркие до ужаса тюльпаны
Ковром заткали много сотен миль.
О, что мне делать с этой чистотою
Природы и с невинностью святою,
О, что мне делать с этими людьми!..

Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вклинялась
В запретнейшие зоны естества,
Целительница нежного недуга.
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих безутешная вдова.

Седой венец достался мне недаром,
И щеки, опаленные загаром,
Уже людей пугают смуглотой.
Но близится конец моей гордыне:
Как той, другой — страдалице Марине,
Придется мне напиться пустотой.

Однажды Александр Межиров, когда мы говорили об Ахматовой, прочитал вслух это стихотворение и сказал, что у нее «животное чувство красоты». Может быть. Но меня в стихотворении «Какая есть...» всегда задевало иное: чувство холодного высокомерия, почти презрения к миру простого человеческого бытия.

«Какая есть. Желаю вам другую» — неприятно-надменная интонация. «Пока вы мирно отдыхали в Сочи» — звучит как обвинение в том, что мирно отдыхающие и не подозревают, что за «ночи» ползут к ней. А от обычного, народного слова «люди» («добрые люди») — ее просто трясет, как нечистую силу от ладана: «о, что мне делать с этими людьми!», а заодно и с «чистотою природы», и с «невинностью святою»... Еще бы! Она приоткрывается как блюстительница «ночей» (уж не «египетских» ли?), во время которых «всегда вклинялась в запретней-

шие зоны естества», враждебные «святой невинности». Не эта ли тьма своими лучами опалила ее щеки до потустороннего загара, и они «уже людей пугают смуглотой»? Стихотворение звучит как вызов простой «людской», «святой и невинной» жизни, брошенный от имени «ночи» и «гордыни». И потому неизбежно ее обращение к образу Марины Цветаевой, которая была как бы ее сводной сестрой по жизни «в запретнейших зонах естества», в апофеозе и культе смертных грехов, столь родных творцам Серебряного века русской поэзии. «Седой венец достался мне недаром...».

А ведь умный циник Валентин Катаев, младший из сыновей порочного Серебряного века, тоже додумался до того, что рано или поздно и он будет увенчан таким же седым венцом, о чем и написал в книге «Алмазный мой венец»:

«Мне вдруг показалось, будто звездный мороз вечности сначала слегка, совсем неощутимо и нестрашно коснулся поредевших, серо-седых волос вокруг тонзуры моей непокрытой головы, сделав их мерцающими, как алмазный венец... звездный холод стал постепенно распространяться сверху вниз по всему моему помертвевшему телу с настойчивой медлительностью, останавливая кровообращение... делая меня изваянием, созданным из космического вещества безумной фантазией Ваятеля...».

Ну что ж, вполне допустима и такая картина Ада, где раскаленные сковородки заменены адским абсолютным холодом... Чует кошка, чье мясо съела.

Да и Анна Андреевна догадывалась, из рук какого «ваятеля» этого венца ей придется принимать «не людскую» награду:

И ты придешь под черной епанчою,
С зеленоватой страшною свечою,
И не откроешь предо мной лица.
Но мне недолго мучиться загадкой:
Чья там рука под белою перчаткой
И кто прислал ночного пришлеца?

Вот за эти-то ночные загадки, за темные тайны, за шашни с «ночными пришлецами», за жизнь «в запретнейших зонах», за высокомерное презрение к «обычному людскому естеству» Заболоцкий всю свою жизнь отворачивался от Ахматовой и старался не замечать ее, видимо, ощущая опасность темной, непросветленной нравственным светом, вызывающе-грешной, «животной» красоты ее поэзии. Не потому ли он демонстративно назвал одно из своих стихотворений «Некрасивая девочка». Оно — антиахматовское по замыслу, по идеям, по чувствам. Ахматова наслаждается жизнью в мире сатанинской, темной, чувственной красоты, Заболоцкий ищет спасения в мире красоты духовной, светлой, божественной. Его девочка, «напоминающая лягушонка», всего лишь «бедная дурнушка», у которой

Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.

Но она «ликует и смеется, охваченная счастьем бытия», для нее «чужая радость также, как своя», она не знает «ни тени зависти, ни умысла худого», а потому образ Божий запечатлен в каждой ее черте, в каждом движении куда явственней, нежели на лице, окаймленном «седым венцом» со «смуглотой», неизвестно почему пугающей людей.

«Придется мне напиться пустотой», — с надменностью, под которой прячется страх, говорит о себе героиня ахматовского стихотворения. Заболоцкий также не может обойтись без роковых слов «красота» и «пустота», но его вера в то, что душа человеческая хранит в себе свет, спасает его от соблазна игры с темными силами.

Стихи Заболоцкого — простые, нравоучительные, почти декларативные, но в их простоте сила молитвы и стилистика Евангелия. Проще молитвенных слов у человечества нет ничего.

И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье,
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

У поэта доставало смирения, чтобы вопросительной интонацией этих строк отдалить их от молитвы на почтительное расстояние... Жалко ему было искусства, которому он служил, но у него хватало сил ставить его в подчинение нравственному, то есть божественному чувству.

Разве девочка может понять до конца,
Почему, поражая нам чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства.

Две последние строки о старой актрисе, но они могли бы быть написаны и об Ахматовой, о той, которая не без кокетства признавалась в старости перед смертью:

Как вышедшие из тюрьмы,
Мы что-то знаем друг о друге
Ужасное. Мы в адском круге,
А может, это и не мы.

(1963)

Почему-то мы часто иронизируем над строчкой Маяковского «Товарищ Ленин — работа адовая...».

Но слова «адский», «адовый» в поэзии Ахматовой встречаются гораздо чаще, нежели у Владимира Владимировича.

Вдова поэта Даниила Андреева в предисловии к его книге «Русские боги», изданной в 1990 году, вспоминает: «На одном из допросов его спросили об отношении к Сталину. «Ты знаешь, как я плохо говорю».

Это была правда, он был из тех, кто пишет, но не любит и не умеет говорить — из застенчивости.

«Так вот, я не знаю, что со мной произошло, но это было настоящее вдохновение. Я говорил прекрасно, умно, логично и совершенно убийственно — как для «отца народов», так и для себя самого. Вдруг я почувствовал, что происходит что-то необычное. Следователь сидел неподвижно, стиснув зубы, а стенографистка не записывала — конечно, по его знаку».

Этот страстный монолог Андреева был для него тем же самым произведением, что и для Мандельштама роковые стихи о «кремлевском горце». Но на самом деле отношение Андреева к Сталину было куда более сложным, нежели оно изображено в воспоминаниях его жены.

В 1947 году поэт был арестован и получил 25 лет тюремного заключения. Сидел во Владимирской тюрьме, где встречался с Шульгиным, с академиком В. В. Лариным, с сыном генерала Кутепова. В тюрьме писал книги: «Роза мира», «Русские боги», «Железная мистерия»;

Поэт освободился в 1957 году, а умер в 1959-м в возрасте 52 лет. Он был сыном известного русского писателя Леонида Андреева.

Редкой особенностью его взгляда на русскую историю было то, что он, в отличие от большинства современников, считавших революцию и строительство социализма совершенно новым явлением в судьбе России, был убежден, что, несмотря на ее внешнюю ненависть к старому миру, несмотря на кровавый разрыв с ним — ее глубокое, скрытое от глаз неразрывное с ним единство все равно сохраняется. Впрочем, так же, как сохранялось это

единство во все катастрофические эпохи — во время перехода от феодальной Руси к России Третьего Рима, а от Третьего Рима Иоанна Грозного к императорской России Петра... Меняются династии, возникают новые сословия, льется кровь — но мистическое единство русской истории продолжается и остается живым.

Находясь в стенах Владимирской тюрьмы, поэт выразил это единство в стихотворении, посвященном Пушкину, который для Андреева был одним из вечных символов связи времен:

Здесь в бронзе вознесен над бурей, битвой, кровью
Он молча слушает хвалебный гимн веков,
В чьем рокоте слились с имперским славословьем
Молитвы мистиков и марш большевиков.

(1950)

Стихи, видимо, написаны в связи с торжествами великого пушкинского юбилея 1949 года — стопятидесятилетия со дня рождения поэта.

Этот образ становится для Даниила Андреева своеобразной «идеей фикс», к ней он так или иначе постоянно возвращается во все последующие годы жизни.

Этот свищущий ветр метельный,
Этот брызжущий хмель веков
В нашей горечи беспредельной
И в безумствах большевиков...

Строфа из стихотворения «Размах» (1950 г.), где путь России через жертвы «и злодеяния» все равно ведет (прямо по-клюевски!) к «безбрежным морям Братства, к миру братскому всех стран...» С особой страстью поэт нащупывал эти связи в начале Великой Отечественной войны, ибо только в них видел победный и кровавый путь Родины и ее спасение от очередного нашествия «двунадесяти языков» Европы, возглавляемого духом Германии:

Как призрак, по горизонту
От фронта несется он к фронту,
Он с гением расы воочью
Беседует бешеной ночью.

В то время так о мистической сущности войны не писал никто.

Но странным и чуждым простором
Ложатся поля снеговые,
И смотрит загадочным взором
И Ангел и демон России.
И движутся легионеры
В пучину без края и меры,
В поля, необъятные оку,
К востоку, к востоку, к востоку.

Но что может их остановить? Только союз двух сил — народной, русской стихии и воли строителя нового государства. И Даниил Андреев пишет жуткое и загадочное стихотворение об эвакуации мумии Ленина из Мавзолея осенью 1941 года. Тело вывезено «из Зиккурата» ... «в опечатанном вагоне» на восток, на берега Волги, а дух его, «роком царства увлекаем», как тень, поселяется в сердце Кремля, в стенах, где склоняется над картами небывалых сражений продолжатель ленинского дела, укрепляемый этим духом, который

Реет, веет по дворцу
И, просачиваясь снова
Сквозь громады бастионов,
Проникает в плоть живого —
К сердцу, разуму, к лицу.

Андреев проникает в сверхъестественные сферы жизни, когда показывает, откуда и как черпают энергию тираны, диктаторы, «вожди всех времен и народов», «чудотворные строители» — как они передают свою силу и

волю друг другу, что и случилось вовремя эвакуации тела Ленина на Восток:

И не вникнув мыслью грузной
В совершающийся ужас,
С тупо-сладкой мутной болью
Только чувствует второй,
Как удвоенная воля
В нем ярится, пучась, тужась,
И растет до туч над грустной
Тихо плачущей страной.

(1942—1952)

В сущности, Даниил Андреев проникает в тайну того события, когда Сталин во время знаменитого парада 7 Ноября 1941 года произнес ошеломившие мир слова о связи ленинского дела с деяниями Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова и поставил их всех — вождей и полководцев тысячелетней России — под одно Знамя, объединив, как по волшебству, враждующие времена. Перед такого рода картиной (если принять ее) становятся ничтожными и плоскими россказни нынешних историков о том, что минувшие 70 лет России — это «черная дыра», «тупиковый путь», бессмысленно потраченная эпоха. В этой мистической речи вождь повторил и предвосхитил поэтическое мировоззрение Андреева: поэт в те дни, когда Сталин стоял на заснеженном Мавзолее, писал стихи-молитву, обращаясь к Творцу:

Учи ж меня! Всенародным ненастьем
Горчащему самозабвению учи,
Учи принимать чашу мук, как причастье,
А тусклое зарево бед — как лучи!

Когда же засвищет свинцовая вьюга
И шквалом кипящим ворвется ко мне —
Священную волю сурового друга
Учи понимать меня в судном огне.

(1941)

Я не буду расшифровывать — кого это поэт называет «суровым другом»... Впереди его ждет «чаша мук». Но он смутно догадывается, что такого рода «чудотворные строители» — неподсудны обычному человеческому суду:

Как покажу средь адской темени
Взлет исполинских коромысел
В руке, не знавшей наших чисел,
Ни нашего добра и зла?

Это сказано обо всех сделанных из одного сверхпрочного сплава российской истории — об Иоанне, Петре, Иосифе, при котором страна уже была под стать диктатору: не «грустная и тихо плачущая», но яростная, гневная, подымающаяся на дыбы. Какой высшей волей можно было объединить анархическую многоликую, многоплеменную русскую вольницу для борьбы с орднунгом тевтонским, с его колоннами, сокрушившими дряхлую Европу?

С холмов Москвы, с полей Саратова,
Где волны зыблются ржаные,
С таежных недр, где вековые
Рождают кедры хвойный гул,
Для горестного дела ратного
Закон спаял нас воедино
И сквозь сугробы, судры, льдины
Живою цепью протянул.

Даниил Андреев рисует поистине апокалипсическую картину всенародного сверхнапряжения, мобилизованного и исторгнутого из народного чрева не просто «законом», но — и он понимал это — волей вождя, вдыхавшей энергию в ледовую «Дорогу жизни», единственную ниточку, соединившую Город Петра и Ленина с Россией:

Дыханье фронта здесь воочию
Ловили мы в чертах природы:

Мы — инженеры, счетоводы,
Юристы, урки, лесники,
Колхозники, врачи, рабочие —
Мы злые псы народной псарни,
Курносые мальчишки, парни,
С двужильным нравом старики.

Только такой «сверхнарод», как назвал его Даниил Андреев, мог победить жестокую орду «сверхчеловеков». Поэт, в те времена служивший в похоронной команде, видел вымирающий, но не сдающийся Ленинград, несколько раз проходил туда и обратно через Ладогу — по ледовой «Дороге жизни», — и он, конечно же, понимал, что мы устояли не просто благодаря закону или морозу:

Ночные ветры! Выси черные
Над снежным гробом Ленинграда!
Вы — испытанье; в вас — награда;
И зорче ордена храню
Ту ночь, когда шаги упорные
Я слил во тьме Ледовой трассы
С угрюмым шагом русской расы,
До глаз закованной в броню.

Образ императора и образ вождя, которые, каждый по-своему, заковывали «русскую расу» «в броню», у поэта сливаются, совмещаются, расплываются и снова накладываются друг на друга; и тот и другой подымают Россию «на дыбы», не позволяя народу расслабляться, жить по своей воле, разбойничать, проматывать наследие великих строителей России. Поэт всю свою жизнь слышал «глагол и шаг народодержца сквозь этот хаос, гул и вой».

Не просто «самодержца» — это грозное слово для Андреева не до конца выражает суть русской истории, и поэт усиливает его значение — «народодержца», чтобы потом найти еще один грозный синоним: «браздодержец».

О том же Петре поэт пишет как о преемнике не Алексея Михайловича, а Иоанна Грозного, потому что Петр унаследовал его созидательный голод, который:

Все возрастал, ярился, пух, —
И сам не зная, принял царь его
В свое бушующее сердце,
Скрестив в деяньях самодержца
Наитья двух — и волю двух.

Не так ли и Сталин у поэта, вбирая в себя волю Ленина, Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, становился осенью 1941 года вдвое сильнее, о чем Андреев говорит теми же словами: «Как удвоенная воля в нем ярится, пучась, тужась».

В такие исторические минуты все личные счеты исчезают, сгорают, испаряются в раскаленном чреве истории:

Страна горит; пора, о Боже,
Забыть кто прав, кто виноват.

Знаменательно, что буквально в то же самое время знатная петербурженка, внучка великого русского композитора Римского-Корсакова Ирина Владимировна Головкина в автобиографическом романе «Побежденные» — о жизни дворянской семьи в первые 20 лет советской власти, жизни, полной страха, унижений, гибели родных и близких, — выражает своими словами те же мысли и чувства о связи «имен и времен», которыми жил в 1941 году Даниил Андреев:

«Большевизм... процесс этот самобытен и глубоко органичен. Он слишком значителен, чтобы насильно — вмешательством извне притушить его. Я вынуждена прийти к мысли, что и в нем должны быть черты все того же дорогого мне лика, конечно, страшно искаженные... Но святое тело России все-таки здесь, и я не могу допустить даже в мыслях, чтобы его растерзали на части, как Господнюю

ризу. В случае войны я... с большевиками! Я не знаю, как у меня рука повернулась написать эти строчки, но я так прочла в своей душе! Сейчас нет другого правительства, которое могло бы охранить наши границы, а на большую страну неизбежно набрасываются хищники. Россия в муках рождает новые государственные формы и новых богатырей, для которых все классовое уже должно быть чуждо, как дворянское, так и пролетарское, одинаково. Я ошибалась в сроках великой битвы, я ошибалась в источнике новой силы. Никакой реставрации, никакой антанты! Россия спасет себя сама, изнутри».

Вот совершенная, святая формула патриотизма русской женщины, дворянки, безмерно пострадавшей от большевиков, рядом с которой ненависть к сталинской России еврейской революционерки Анны Берзинь кажется омерзительной и ничтожной.

Леонид Бородин в своих недавних воспоминаниях «Без выбора» предположил, что этот монолог «о большевизме» был вписан в текст романа «Побежденные» сотрудниками Лубянки. Но, во-первых, таким пламенным и высоким штилем вряд ли они владели. А во-вторых, он путает «руку Лубянки» с дланью русской истории. И в-третьих: как похожи трагические признания русской патриотки на выстраданные всей судьбой чеканные строфы Даниила Андреева о русских сверхцарях, сверхимператорах, сверхгенсеках, а говоря проще, о вождях, появляющихся в роковые минуты русской жизни:

Лучше он, чем смерть народа.
Лучше он;
Но темна его природа,
Лют закон.
....
Жестока его природа,
Лют закон,
Но не он — так смерть народа.
Лучше — он!

Даниил Андреев, умерший почти полвека тому назад, сегодня бросает нам, ослабевшим, опустившимся, готовым признать все нынешние обвинения в «имперском мышлении», в «великодержавности», в «тоталитаризме», бросает в наши растерянные, бледные лица яростное проклятье за то, что мы свернули с вечного пути России и предали ее историческое призвание, продиктованное Высшей Волей. Поэт в своей жертвенной страсти бесстрашно пытается разглядеть, чью волю — адскую или небесную — выполняют русские вожди-цари, вожди-императоры, вожди-генсеки, для которых он находит особое слово — «уицраоры», и молит Создателя о том, чтобы это слово означало, в сущности, то, что когда-то называли «Бич Божий».

Пусть демон великодержавия
Чудовищен, безмерен, грозен;
Пусть миллионы русских оземь
Швырнуть ему не жаль. Но Ты, —
Ты от разгрома и бесславья
Ужель не дашь благословенья
На горестное принесенье
Тех жертв — для русской правоты?

Пусть луч руки благословляющей
Над уицраором России
Давно потух; пусть оросили
Стремнины крови трон ему;
Но неужели ж — укрепляющий
Огонь твоей Верховной воли
В час битв за Русь не вспыхнет боле
Над ним — в пороховом дыму?

Написано не где-нибудь, а во Владимирской тюрьме при жизни Сталина. А в эти же военные годы Даниилу Андрееву и Римской-Корсаковой из далекой оккупированной Франции подает голос злейший враг советской власти Иван Алексеевич Бунин:

«Думал ли я, что сейчас, когда Сталин находится на пути в Тегеран, я буду с замиранием сердца переживать, чтобы с ним ничего не случилось».

И что бы ни говорил поэт во время допроса в 1956 году об «отце народов» («нечто убийственное», как вспоминает его вдова), высшее знание и высшая истина об «уицраорах России», и в их числе о Сталине, высказана не подследственным Даниилом Андреевым, но автором таинственных книг «Роза мира», «Русские боги», «Изнанка мира».

Бенедикт Сарнов в своих размышлениях об Осипе Мандельштаме с высоты своего исторического образования высокомерно упрекает поэта:

«Мандельштаму показалось, что Петербургский период истории продолжается». Но это «показалось» и Даниилу Андрееву, и Римской-Корсаковой, и Ярославу Смелякову («Петр и Алексей»), и Алексею Толстому («Петр Первый»), и Михаилу Пришвину («Осударева дорога»)... Одному Сарнову, видите ли, «не показалось»...[1]

«Строят и строят. Строят твердыню трансфизической державы на изнанке Святой Руси. Строят и строят. Не странно ли? Даже императрицы века напудренных париков и угодий с десятками тысяч крепостных крестьян строили ее и строят. И если время от времени новый пришелец появляется в их ряду, его уже не поражает, что карма вовлекла его в труд рука об руку с владыками и блюстителями государственной громады прошлого, которую при жизни он разрушал и на ее месте строил другую. Чистилища сделали его разум ясней, и смысл великодержавной преемственности стал ему понятен» («Изнанка мира»). Эти слова применимы к любому из властителей тысячелетней России. И к Сталину тоже.

---

[1] В завершение этого сюжета могу сказать Бородину, пытающемуся везде видеть «руку Лубянки», что рукопись «Побежденных» попала в журнал в 1991 году не из архивов КГБ, а от подруги уже умершей к тому времени Римской-Корсаковой, актрисы Янсон, которая живет до сих пор в Москве и может подтвердить «чистое» происхождение рукописи романа.

Даниил Андреев с его мистическими озарениями, в отличие от Осипа Мандельштама, от Николая Заболоцкого и Ярослава Смелякова, — был сосредоточен на одном: разгадать тайну «уицраоров», правивших «сверхнародом». Кто они, посланники тьмы или света? Разрушители или созидатели? И не из одного ли теста вылеплена их сущность, что косвенно всегда подтверждалось страстным интересом каждого из них к своим предшественникам, а также фатальным сходством их судеб и характеров... Первым в этой мистической родословной был Иоанн Грозный, в котором воплотился «и ангел и демон России»:

Так избрал он жертвой и орудием,
Так внедрился в дух и мысль того,
Кто не нашим — вышним правосудием
Послан был в людское естество, —
Браздодержец русских мириад,
Их защитник, вождь и родомысл,
Направляющий подъем и спад
Великороссийских коромысл.

(Февраль, 1955. Владимирская тюрьма)

Современник Даниила Андреева Ярослав Смеляков, трижды получавший тюремные сроки, как будто предвидя появление всяческих волкогоновых и сарновых, предупреждал их от пошлого легкомыслия и высокомерного амикошонства, когда создавал в своем воображении сцену, как якобы однажды он подошел в Кремле к креслу Иоанна Грозного.

И я тогда, как все поэты,
мгновенно безрассудно смел,
по хулиганству в кресло это
как бы играючи присел.

Но тут же из него сухая,
как туча, пыль времен пошла,

и молния веков, блистая,
меня презрительно прожгла.

....

Урока мне хватило слишком,
не описать, не объяснить.
Куда ты вздумал лезть, мальчишка?
Над кем решился пошутить?

Пошутить над уицраорами, над ангелами и демонами России, продолжавшими в русской истории во все времена одно и то же великое дело?! Нет, Смеляков не шутил, и все три имени — Иоанн, Петр и Иосиф — живут в его поэзии.

Даниил Андреев знал, что он, четвертьвековой узник сталинской тюрьмы, рискует быть не понятым грядущими поколениями, освободившимися от воли «русских уицраоров». Он как бы предчувствовал, что будущие люди не сумеют подняться до высот его мистических озарений, что они на пошлом газетно-телевизионном уровне оболгут всех вождей и императоров, с их «тоталитаризмом», «авторитарностью», с их «парадигмой несвободы», казармами, гулагами и смершами, и потому постарался оградиться от этой мелкой бесовщины меловой чертой:

О, я знаю: похвалу историка
Не стяжает стих мой никогда...

....

Пусть другие о столетьях канувших
Повествуют с мерной простотой
Или песней, трогающей за душу,
Намекнут о жизни прожитой.
Я бы тоже пел о них, когда б
Не был с детства — весь от глаз до рук
Странной вести неподкупный раб,
Странной власти неизменный друг.

(Апрель 1951)

«Песней, трогающей за душу» — ну, это почти провидчески сказано и о «Протопи ты мне баньку по-белому» Высоцкого, и об Алешковском с его «Товарищ Сталин, Вы большой ученый...», о псевдонародных песнях-фельетонах Галича и еще о многом, многом, многом... Но свидетельства Даниила Андреева для меня перевешивают все бытовые мелодраматические слюни подобного рода сочинений, написанных в безопасную для творцов пору, когда эра харизматических владык почти закончилась и всех мертвых львов стало дозволено лягать с наслаждением и немалой выгодой. Но всегда, как бы ни повернулась история, человечество будет рождать сыновей, которые с волнением прочитают:

Хочешь — верь, а хочешь — навсегда
Эту книгу жгучую отбрось,
Ибо в мир из пламени и льда,
Наклонясь, уводит ее ось...

Тоталитаризм, то есть всеобщее, предельное напряжение сил «сверхнарода», рождается только тогда, когда стоит выбор между жизнью и смертью. Пугать народ им во времена вялого, бессильного, безвольного течения истории — дело пустое и корыстное.

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ

Перебирая свой архив, я нашел недавно четвертушку бумаги, на которой было несколько строк:

«На днях бюро секции поэтов приняло в Союз писателей Станислава Куняева. Он человек одаренный, а в его книге «Землепроходцы» есть немало хороших современных стихотворений. Но, как мы говорили ему на бюро, у него нередко бывают формалистические игрушки, легкомысленная игра в слова. Когда эта игра идет вокруг незначительных тем, она еще более-менее терпима. А в

данном, стихотворении о Кубе она выглядит совершенно неуместно и погубила стихотворение. Не буду приводить цитат, так как для этого надо было бы разбирать почти все стихотворение целиком. Печатать стихи решительно нельзя.

Я. Смеляков».

Стихи мои были о кубинской революции, о лозунге «Родина или смерть». Из отзыва видно, что я не ходил в его любимцах. Что было чистой правдой.

Он, до последнего вздоха преданный эпохе социализма, истово верующий в ее историческое величие, никогда ни на йоту не сомневавшийся в ее правоте, умер 27 ноября 1972 года, в день моего рождения.

Нет, не прост был этот белорус, впервые арестованный «за моральное разложение» в конце 1934 года. Тогда при обыске в его квартире была найдена книга Гитлера «Моя борьба». А потом — финский плен, а после вызволения из плена подневольная работа на тульских шахтах, в 1951 году еще один арест и еще три года лагерной жизни в Инте. Но ему повезло больше, нежели его друзьям — Борису Корнилову и Павлу Васильеву: где они похоронены — не знает никто. Вроде бы проклинать должен был поэт это время, но вспоминаю, как его жена Татьяна Стрешнева на смеляковской даче в Переделкине незадолго до смерти поэта с ужасом и восторгом рассказывала мне:

«Я иногда слышу, как он во сне бредит, разговаривает. Так вы не поверите: однажды прислушалась и поняла, что он с кем-то все спорит, все советскую власть отстаивает!».

Впрочем, я это понял гораздо раньше, когда прочитал его некогда знаменитые 1947 года стихи, крамольные для нынешнего времени:

Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.

Я стал не большим, а огромным —
попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домны
стоят за моею спиной.

Я стал не большим, а великим,
раздумье лежит на челе,
как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.

Стихи не о выполнении каких-то хозяйственных планов, не о достижении успехов в личной судьбе, это — о строительстве небывалой в истории человечества цивилизации.

Конечно, Смеляков понимал, что ее созидание требует непомерных жертв, и главный вопрос, мучивший его всю жизнь, был таков: что определяло эти жертвы — принуждение или добрая воля? Если принуждение — то великая цивилизация строится на песке и рано или поздно ее домны и Башни Терпения пошатнутся. Если жертвы добровольны и над ними мерцает венчик священного, религиозного в полном смысле слова пламени, тогда они ни за что не канут в небытие и забвение...

Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя косынки
всегда освещало ее.

Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага —
осеннего вихря кумач.

В нем было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санкюлота
и черный венок моряка.

Когда в тишину кабинетов
ее увлекали дела —
сама революция это
по каменным лестницам шла.

....

Такими на резких плакатах
печатались в наши года
прямые черты делегаток,
молчащие лица труда.

(1940)

Но такими ли они были, эти лица, на самом деле? Ведь о том же времени и о тех же людях Андрей Платонов пишет свой «Котлован», где эти лица «стираются о революцию» и выглядят совершенно иначе. Но Смелякову я верю больше. В его стихотворенье нет ни одного фальшивого звука, никакого литературного штукарства, оно совершенно и самодостаточно, а если вспомнить еще две его строфы, не вошедшие в канонический текст, то глубина понимания поэтом народного самопожертвования в эпоху первой пятилетки покажется просто пророческой. Откуда возникла делегатка в нимбе красной косынки? Конечно же, из крестьянской избы.

Лишь как-то обиженно жалась
и таяла в области рта
ослабшая смутная жалость,
крестьянской избы доброта.

Но этот родник ее кроткий
был, точно в уступах скалы,
зажат небольшим подбородком
и выпуклым блеском скулы.

И опять ни одного лживого слова. Все — правда. Правда самопожертвования...

Когда наемные лакеи нынешней идеологической перестройки кричат о десятках миллионов крестьян, якобы ставших лагерной пылью, я перечитываю Смелякова и верю ему, говорящему, что крестьянское сословие в 30-е годы не легло в вечную мерзлоту, а стало в своей численной основе летчиками, рабочими, итээровцами, врачами, студентами, машинистами, рабфаковцами, партийными работниками, поэтами, солдатами новой цивилизации.

У моей калужской бабки, крестьянки, было четверо детей. Сын стал летчиком первого призыва, одна дочь врачом, другая — диспетчером железной дороги, третья — швеей и потом директором швейной фабрики. Читаешь, бывало, некрологи 70—80-х годов — хоронят академика, военачальника, секретаря обкома, народного артиста, известного писателя — и видишь, что все они — вчерашние крестьянские дети... Об этом трудном, но неизбежном для народного будущего превращении крестьянства в другие сословия Смеляков размышлял всю жизнь. Всю жизнь он жаждал точно определить, из какого материала создан жертвенный нимб, окаймляющий лики «делегаток» и «делегатов», лики чернорабочих социалистической цивилизации.

Чтоб ей вперед неодолимой быть,
готовилась крестьянская Россия
на голову льняную возложить
большой венок тяжелой индустрии.

Строки из предсмертного стихотворения 1972 года, демонстративно названного «Сотрудницы ЦСУ» — то есть Центрального статистического управления. Одна из аббревиатур грозного времени...

Я их узнал мальчишеской порой,
когда, ничуть над жизнью не печалясь,
они с моею старшею сестрой
по-девичьи восторженно общались.

Женские судьбы вчерашних крестьянских дочерей особенно трогали душу подростка, благоговевшего перед их наивным, почти монашеским аскетизмом.

Идя из школы вечером назад,
я предвкушал с блаженною отрадой,
как в комнатушке нашей шелестят
моих богинь убогие наряды.

Но я тайком приглядывался сам,
я наблюдал, как властно и устало
причастность к государственным делам
на лицах их невольно проступала.

Будущий поэт, отрок, школьник был счастлив тем,

что с женщинами этими делил
высокие гражданские заботы

и что в шкафах статистики стальных
для грозного строительства хранится
средь миллионных чисел остальных
его судьбы и жизни единица.

И опять в который раз поэт на склоне жизни требовал от судьбы ответа: чего больше было в «грозном строительстве» — подневольного жертвоприношения или добровольного самопожертвования. Нет, он не тешил себя риторикой лозунгов и социальными иллюзиями, он трезво, как сотрудницы ЦСУ, умел считать все победы и все утраты, он знал неимоверную цену, заплаченную народом за воплощение небывалой мечты, он видел, как ложатся в ее фундамент лозунги, люди, машины...

Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья.
Свинчены голоса.

Словно распад сознанья —
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.

Градусники разбиты:
цифирки да стекло —
мертвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.

Мертвым не нужно зренья —
выкрошены глаза.
Время вам подарило
вечные тормоза.

В ваших вагонах длинных
двери не застучат,
женщина не засмеется,
не запоет солдат.

Вихрем песка ночного
будку не занесет.
Юноша мягкой тряпкой
поршни не оботрет.

Больше не раскалятся
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки...

Великое стихотворенье эпохи!.. Эпоха родила нескольких замечательных поэтов: Заболоцкого, Твардовского, Мартынова, Слуцкого, Даниила Андреева, Павла Васильева. Но Ярослав Смеляков отличался от них всех какой-то особой, совершенно истовой, почти религиозной верой в правоту возникающей на глазах новой жизни. Его поэтический пафос был по своей природе и цельности родствен пафосу древнегреческих поэтов, заложивших осно-

вы героического и трагического ощущения человеческой истории с ее дохристианскими понятиями рока, личной судьбы и античного хора. В его взгляде на жизнь не было ни раздвоенности Маяковского, ни покаянных метаний Твардовского, ни иронии Заболоцкого, ни мировоззренческого надлома Бориса Слуцкого. Рядом с ними — уже в шестидесятые и семидесятые годы — будь они кто старше, кто моложе его, он казался каким-то не желающим сомневаться, эволюционировать и пересматривать свои взгляды «мамонтом пятилеток». Но что поразительно! В то же время, когда и Твардовский, и Ахматова, и Заболоцкий, и Мандельштам, и Пастернак, кто из «страха иудейска», кто искренне, создавали Сталину славословия космического размаха, Ярослав Смеляков, восхищавшийся героикой сталинской эпохи, посвятил вождю лишь одно стихотворение, да и то после смерти Сталина, да и то не назвав его даже по имени. А стихотворенье особенное, смеляковское, где вождь очеловечен особым образом.

На главной площади страны,
невдалеке от Спасской башни,
под сенью каменной стены
лежит в могиле вождь вчерашний.

Над местом, где закопан он
без ритуалов и рыданий,
нет наклонившихся знамен
и нет скорбящих изваяний,

ни обелиска, ни креста,
ни караульного солдата —
лишь только голая плита
и две решающие даты,

да чья-то женская рука
с томящей нежностью и силой
два безымянные цветка
к его надгробью положила.

(1964)

Вот так попрощался Смеляков со Сталиным.

К российской героической трагедии XX века он, как никто другой, прикасался бережно и целомудренно. Вот почему он останется в нашей памяти единственным и потому изумительным поэтом, подлинным русским Дон-Кихотом народного социализма, впрочем, хорошо знавшим цену, которую время потребовало от людей за осуществление их идеалов. Поэтом «не от мира сего» Смелякова не назовешь.

Строительство новой жизни по напряжению, по вовлечению в него десятков миллионов людей, по степени риска, по цене исторических ставок было деянием, которое сродни разве что великой войне. А кто, какой историк скажет о войне масштаба 1812 или 1941 года: подневольно ли в такого рода событиях приносятся в жертву миллионы людских судеб или они живут стихией добровольного самоограничения и самопожертвования? Естественно, что в такие времена над людским выбором властвует и та и другая сила, и принудительная мощь государства, и то, что называется альтруизмом, героизмом, аскетизмом.

И все-таки в конце концов именно свободная воля решает исход великих войн и строительств. Не мысли о штрафбате и не страх перед заградотрядами заставлял солдата цепляться за каждый клочок сталинградского берега, как бы ни тщился Виктор Астафьев доказать обратное. Мой отец погиб голодной смертью в Ленинграде, но сейчас, перечитывая его последние письма, я понимаю, что он был человеком свободной воли. Смеляков знал о таинственном законе добровольного самопожертвования, когда размышлял о судьбе своего поколения:

Шумел снежок над позднею Москвой,
гудел народ, прощаясь на вокзале,
в тот час, когда в одежке боевой
мои друзья на север уезжали.

Как хочется, как долго можно жить,
Как ветер жизни тянет и тревожит!

Как снег валится! Но никто не сможет,
Ничто не сможет их остановить...

Грань между принесением в жертву государством своих сыновей и дочерей и добровольным самопожертвованием зыбка и подвижна. Да, множество несогласных с жестокой дисциплиной и скоростью «грозного строительства» томились в лагерях великой страны, но десятки миллионов созидали ее, не щадя живота своего, понимая суровую истину слов вождя: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». И чуть было не смяли.

За несколько месяцев до смерти в стихотворении «Банкет на Урале» Ярослав Смеляков в последний раз безоговорочно поставил точку и благословил добровольную всенародную жертву, вспомнив о том, что первый в его жизни банкет случился в середине тридцатых годов — «в снегах промышленных Урала».

Я знал, что надо жить смелей,
но сам сидел не так, как дома,
среди седых богатырей
победных домн Наркомтяжпрома.

Их осеняя красоту,
на сильных лбах, блестящих тяжко,
свою оставила черту
полувоенная фуражка.

И преднамеренность одна
незримо в них существовала,
как словно марка чугуна
в структуре черного металла.

Пей чарку мутную до дна,
жми на гуляш с нещадной силой,
раз нормы славы и вина
сама эпоха утвердила.

Барельефы этих богатырей, отлитые словно бы из каслинского чугуна, не менее величественны, нежели мраморные статуи богов и героев Эллады. А по своей ли, по государственной ли воле вершили они подвиги, поэт различать не хочет, ибо понимает, что обе силы — и внешняя и внутренняя — двигали ими... Недаром же он, трижды попадавший на круги лагерного ада, ни в одном своем стихотворенье ни разу нигде не проклял ни эпоху, ни свою судьбу, ни Сталина, умело использовавшего для строительства оба могучих рычага истории: вдохновение и принуждение. А ведь в шестидесятые годы рядом со Смеляковым уже писали, уже издавались и Солженицын, и Юрий Домбровский, и Варлам Шаламов. Но как ни старалось поэтическое окружение Смелякова — Евтушенко, Межиров, Коржавин и другие искренние или фальшивые певцы революции и социализма добиться от Ярослава осуждения эпохи первых пятилеток, старый лагерник не пошел на самоубийственный шаг и не предал ни своего призвания, ни своей судьбы. А если и прикасался к «высоковольтным проводам» времени, то с какой-то своей, осторожной человечностью.

Когда встречаются этапы
вдоль по дороге снеговой,
овчарки рвутся с жарким храпом
и злее бегает конвой.

....

И на ходу колонне встречной,
идущей в свой тюремный дом,
один вопрос тот самый вечный,
сорвавши голос, задаем.

Он прозвучал нестройным гулом
в краю морозной синевы:
Кто из Смоленска? Кто из Тулы?
Кто из Орла? Кто из Москвы?

И слышим выкрик деревенский,
и ловим отклик городской,
что есть и тульский и смоленский,
есть из поселка под Москвой.

Ах, вроде счастья выше нету —
сквозь индевелые штыки
услышать хриплые ответы,
что есть и будут земляки.

Шагай, этап, быстрее, шибко,
забыв о собственном конце,
с полубезумною улыбкой
на успокоенном лице.

(1963)

А к евтушенковско-межировским крикам о тоталитаризме и культе личности Смеляков относился с плохо скрытой брезгливостью. Всем с нетерпением ожидавшим от него после XX съезда партии мазохистского осуждения истории, проклятий тоталитарному режиму, солженицынского, говоря словами Блока, «публицистического разгильдяйства», он неожиданно ответил публикацией стихотворенья «Петр и Алексей».

Петр, Петр, свершились сроки.
Небо зимнее в полумгле.
Неподвижно белеют щеки,
и рука лежит на столе.

Та, что миловала и карала,
управляла Россией всей,
плечи женские обнимала
и осаживала коней.

Как похож его «строитель чудотворный» на богатырей из Наркомтяжпрома, на Тараса Бульбу, приговорившего к смерти изменника — сына Андрея, на Иосифа

Сталина, отчеканившего: «Я солдат на генералов не меняю», когда ему предложили обменять попавшего в плен сына Якова на фельдмаршала Паулюса.

День в чертогах, а год в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, в слезах, в ожогах
императорская рука.

Слова вымолвить не умея,
ужасаясь судьбе своей,
скорбно вытянувшись пред нею,
замер слабостный Алексей.

Читаешь и словно бы видишь, как от столкновения мощных и противоречивых чувств из разгневанных очей Петра искры летят, как от стального лезвия, соприкоснувшегося с точильным камнем.

Тайным мыслям подвержен слишком,
тих и косен до дурноты.
«На кого ты пошел, мальчишка,
с кем тягаться задумал ты?»

Нет, не в петровской гордыне тут дело, не в сверхчеловеческом тщеславии. Все серьезней: Алексей — это угроза делу Петра, создаваемой его волей новой жизни, будущему России.

Не начетчики и кликуши,
подвывающие в ночи, —
молодые нужны мне души,
бомбардиры и трубачи.

Что происходит в этой сцене? Кто и чем жертвует? Кто идет на самопожертвование? И то и другое происходит одновременно. Ибо Алексей — плоть от плоти государевой, он его наследник, его продолжение, и, отправляя

сына на казнь, Петр как бы жертвует кровной частицей себя самого... В это мгновенье талант Смелякова взмывает до вершин мировой поэзии, где в разреженном горнем воздухе витают героические души протопопа Аввакума, эсхиловской Антигоны, гоголевского Тараса, пушкинского Медного Всадника:

«Это все-таки в нем до муки,
через чресла моей жены,
и улыбка моя и руки
неумело повторены.

....

Рот твой слабый и лоб твой белый
надо будет скорей забыть.
Ох, нелегкое это дело —
самодержцем российским быть!...»

И в это мгновенье человеческой слабости лик Петра становится похожим на лик крестьянки-работницы, пожертвовавшей льняным венком ради «стального венца индустрии», женщины, подавляющей свою жалость, которая все равно проступает в почти окаменевших от напряжения чертах:

Но этот родник ее кроткий
был, точно в уступах скалы,
зажат небольшим подбородком
и выпуклым блеском скулы.

По всем портретам и скульптурам видно, что у Петра, человека великой воли, был небольшой подбородок... Но главный трагический парадокс стихотворенья в том, что поэт жалеет не сына, не жертву, а Петра-жреца за его страшное отцовское решенье и за его отцовскую муку.

Зимним вечером возвращаясь
по дымящимся мостовым,

уважительно я склоняюсь
перед памятником твоим.

Молча скачет державный гений
по земле — из конца в конец.
Тусклый венчик его мучений,
императорский твой венец.

Опять и опять, в который раз Смеляков не может отделаться от искушения разгадать — какой же венец окаймляет головы его героев и есть ли в нимбах, осеняющих лики, отблеск святости... А потому столь навязчиво и постоянно возникает в его поэзии образ венка: «императорский твой венец», «тусклый», почти терновый «венчик его мучений», «красное пламя косынки», венок из цветущего льна на голове крестьянки, «красный колпак санкюлота», вдавленная морщина от «полувоенной фуражки» на сильном лбу богатыря из Наркомтяжпрома, «черный венок моряка», «большой венок тяжелой индустрии»...

...В смеляковские времена помню, как однажды я выступал в Медицинском институте вместе с поэтом Наумом Коржавиным. Сейчас молодое поколение литераторов, видимо, не знает его имени, а в те годы Коржавин был «широко известен в узких кругах». Иные критики считали его чуть ли не одним из крупнейших наших поэтов.

На вечере он прочитал стихи об Иване Калите. Якобы никакого объединения Руси он не желал, а просто был интриганом, травил соседних князей, науськивал на них татар, чтобы расширить свою вотчину. Словом, мелкий злодей, и нечего ему хвалу возносить...

Я вспомнил стихи о Калите, когда узнал, что Коржавин-Мандель уехал в Америку, и стыдно мне стало, что не понял я тогда всю меру ненависти к России, которую изливал в наивной студенческой аудитории этот тщедушный литератор, с брезгливым, высокомерным выражением лица, со всклокоченной головой, ушедшей в пиджачный воротник, густо облепленный перхотью.

Не понял — потому и промолчал или даже сам аплодировал. А вот Смеляков — тот понимал. Недаром, вспоминая лукавого князя, он писал:

Небритый, худой, бледнолицый,
уже не боясь ни черта,
по улицам шумной столицы
иду, как Иван Калита.

Великий русский философ нашей эпохи Алексей Федорович Лосев, сам, как и Смеляков, познавший в 30-е годы вкус лагерной баланды, размышляя о том, что такое в философском смысле понятие «жертва», писал в одной из своих работ на исходе 1941 года:

«Я многие годы провел в заточении, гонении, удушении: и я, быть может, так и умру, никем не признанный и никому не нужный. Это жертва. Вся жизнь, всякая жизнь, жизнь с начала до конца, от первого до последнего вздоха, на каждом шагу и в каждое мгновение, жизнь с ее радостями и горем, с ее счастьем и с ее катастрофами есть жертва, жертва и жертва. Наша философия должна быть философией Родины и жертвы, а не какой-то там отвлеченной, головной и никому не нужной «теорией познания» или «учением о бытии или материи». В самом понятии и названии «жертва» слышится нечто возвышенное и волнующее, нечто облагораживающее и героическое. Это потому, что рождает нас не просто «бытие», не просто «материя», не просто «действительность» и «жизнь» — все это нечеловечно, надчеловечно, безлично и отвлеченно, — а рождает нас Родина, та мать и та семья, которые уже сами по себе достойны быть, достойны существования, которые уже сами по себе есть нечто великое и светлое, нечто святое и чистое. Веления этой Матери Родины непререкаемы. Жертвы для этой Матери Родины неотвратимы. Бессмысленна жертва какой-то безличной и слепой стихии рода. Но это и не есть жертва. Это просто бес-

смыслица, ненужная и бестолковая суматоха рождений и смертей, скука и суета вселенской, но в то же время бессмысленной животной утробы. Жертва же в честь и во славу Матери Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, что единственное только и осмысливает жизнь».

Окружение Смелякова 50—60-х годов не зря относилось к нему и с подобострастием и с тщательно скрытым недоверием. Он тоже понимал, с кем имеет дело, знал сплоченную силу этих людей, помнил о том, как был повязан их путами в атмосфере чекистско-еврейского бриковского салона его кумир Маяковский, помнил, что духовные отцы тех, кто сейчас крутится возле него, затравили Павла Васильева за так называемый антисемитизм и русский шовинизм, до поры до времени молчал или был осторожен в разговорах на эту тему, но, как честный летописец эпохи, не мог не написать двух необходимых для него стихотворений, которые в полном виде были опубликованы лишь после его смерти.

ЖИДОВКА

Прокламация и забастовка.
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
комиссаркой гражданской войны.

Ни стирать, ни рожать не умела,
никакая не мать, не жена —
лишь одной революции дело
понимала и знала она...

В 1987 году демократы из «Нового мира» впервые опубликовали это стихотворение. Но они, всю жизнь, со времен Твардовского, воевавшие против цензуры, не смогли «проглотить» название и первую строфу: стихотворение назвали «Курсистка», и первую строфу чья-то трусливая рука переделала таким образом:

Казематы жандармского сыска,
пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала курсистка
комиссаркой гражданской войны.

Конечно, понять новомировских «курсисток» можно... «Ну хотя бы поэт «еврейкой» назвал свою героиню. Ведь написал же он дружеские стихи Антокольскому: «Здравствуй, Павел Григорьевич, древнерусский еврей!» А тут — «жидовка», невыносимо, недопустимо, в таком виде печатать нельзя!»

Брызжет кляксы чекистская ручка,
светит месяц в морозном окне,
и молчит огнестрельная штучка
на оттянутом сбоку ремне.

Неопрятна, как истинный гений,
и бледна, как пророк взаперти.
Никому никаких снисхождений
никогда у нее не найти.

....

Все мы стоим того, что мы стоим,
будет сделан по-скорому суд,
и тебя самое под конвоем
по советской земле повезут...

Две женщины. Одна — русская работница («прямые черты делегаток, молчащие лица труда»), все умеющая мать и жена, обутая в мужские ботинки, одетая в армейское белье, — и другая — профессиональная революционерка, фанатичная чекистка в кожанке с револьвером на боку, не умеющая «ни стирать, ни рожать», а только допрашивать и расстреливать... Два враждебных друг другу лика одной революции... Какой из них был Смелякову дороже и роднее — говорить излишне. После

смерти Смелякова это одно из лучших его стихотворений по воле составителей и издателей не вошло даже в самую полную его книгу — однотомник, изданный в 1979 году «Большой библиотекой поэта». Настолько оно было страшным своей исторической правдой так называемым «детям XX съезда партии». Впрочем, как и стихотворение о смерти Маяковского — о еврейских дамочках полусвета, о «лилях» и «осях», о «брехобриках», о «проститутках с осиным станом», которые, «словно вермут ночной сосали золотистую кровь поэта». Какой шабаш поднялся после его публикации! Как же! Смеляков замахнулся на святая святых — на нашу касту! Симонов бегал в ЦК и требовал наказания виновных, утверждал, что стихи написаны Ярославом Смеляковым в невменяемом состоянии, что автор сам был против их публикации, что они были опубликованы помимо его воли. Борис Слуцкий звонил вдове поэта Татьяне Стрешневой и угрожал, что она не получит больше ни строчки переводов, что все «порядочные люди отшатнутся от нее», что копейки больше нигде не заработает... Хорошо еще, что у Вадима Кузнецова, опубликовавшего стихотворенье в альманахе «Поэзия», сохранилась верстка стихотворения, завизированная Смеляковым. А сам поэт к тому времени был уже недоступен для гнева ничего не забывших и ничему не научившихся поклонников бриковского салона — он уже спал вечным сном под каменной плитой Новодевичьего кладбища.

О драматичной истории этого стихотворения так вспоминал в одной из книг Николай Старшинов:

«После выхода в альманахе «Поэзия» стихотворение не было ни разу опубликовано ни в одном издании. А с самим этим номером альманаха произошла непонятная история. Он мгновенно исчез с полок книжных магазинов. А поэт и прозаик Виталии Коржиков рассказал мне даже такое:

— Подошел я несколько дней назад к книжному магазину, который находится поблизости от моего дома. Смотрю: подъехала к нему легковая машина. Из нее вы-

шли несколько молодых людей. Они по-быстрому забежали в магазин, вынесли из него с десяток пачек каких-то книг. Я услышал их разговор: «Сейчас отъедем за город и сожжем...» Я зашел в магазин и поинтересовался у продавца: что за книги вынесли сейчас молодые ребята? А он мне: «Да это альманах «Поэзия».

Вот какой властью еще в начале 70-х годов обладал бриковский клан в литературе и политике!

Я в этой статье вспоминаю, конечно же, лучшие, «искрящиеся», истинные стихи Смелякова. Но «амортизация сердца и души» частенько настигала и его. В этом состоянии он написал множество стихов о Ленине, о комсомоле, о советской власти, о дружбе народов, чреватых многословием и политической риторикой. Сейчас они кажутся (да и раньше тоже казались) наивными, плакатными, нарочито повествовательными. Они не искрились, эти слова, с них сыпалась металлическая пыль, смешанная с крупицами точильного камня. Но даже в стихотвореньях, написанных поэтом с усталой искренностью, не было самого страшного для поэзии изъяна: истерического лицемерия, которым были отмечены деяния популярных стихотворцев, заискивавших перед Ярославом и пытавшихся делать имя и карьеру, сочиняя многометровые поэмы о Ленине и Революции. Кто сейчас их помнит, эти полотна диссидентского соцреализма в исполнении Евтушенко, Рождественского, Рыгора Бородулина, Вознесенского, Коротича, Олжаса Сулейменова? Целая Лениниана, которую нынешним ее зодчим, конечно, хотелось бы вырвать из своих книг, забыть, стереть из памяти историков. Ныне ее авторы, когда-то лебезившие перед Смеляковым, глумятся надо всем, что было свято для него. Он же и в те времена держал их на почтительном от себя расстоянии, поскольку верил в одну истину:

Ежели поэты врут,
больше жить не можно.

И не случайно, что Ярослав Васильевич в середине шестидесятых потянулся к новым поэтам.

Помню вечер в Доме журналиста. Выступали Анатолий Передреев и Белла Ахмадулина. Смеляков представлял их публике. Фамилия «Передреев» на рукописной афише в фойе была безжалостно переврана — «Переведреев» или что-то в этом роде. Открывая вечер, Смеляков не мог не сказать об этом.

— Внизу висит афиша, — с негодованием произнес он, — на ней изуродована фамилия поэта. Он — Анатолий Пе-ре-дре-ев! Пусть будет стыдно тем, кто переврал его фамилию. Скоро ее будут знать тысячи наших читателей. Это предсказываю вам я, Ярослав Смеляков!

Но будем смотреть правде в глаза: время сломало и опрокинуло многие устои смеляковского мировоззрения. Он верил, что Союз народов создан уже навсегда, что «дело прочно, когда под ним струится кровь», кровь самопожертвования. Он любил ездить на Кавказ и в Среднюю Азию, он любил Кайсына Кулиева и Давида Кугультинова и за талант, и за невзгоды, которые они перенесли вместе со своими народами. Он верил, что все эти кровавые противоречия — в прошлом.

Мы позабыть никак не в силах,
ни старший брат, ни младший брат,
о том, что здесь в больших могилах,
на склонах гор чужих и милых
сыны российские лежат.

Апрельским утром неизменно
к ним долетает на откос
щемящий душу запах сена
сквозь красный свет таджикских роз.

Я бродил по этим тропам Гиссара и Каратегина, не отдавая себе отчета в том, что лишь тридцать лет тому назад буденновские конники сходились здесь грудь на грудь с басмачами-душманами. Однажды, возвращаясь из гео-

логического маршрута по каменистой тропе, вьющейся над кипящим голубым потоком, я увидел под тутовым деревом холмик из камней, над которым свисали с зеленых веток разноцветные тряпичные ленты.

— Что это? — спросил я у сопровождавшего меня местного таджика.

Он внимательно посмотрел мне в глаза и не сразу, но ответил:

— Известный басмач тут похоронен. Из нашего рода.

Так что «на склонах гор чужих и милых» были зарыты и те и другие. И однако я с естественным спокойствием во время геологических маршрутов забредал в самые отдаленные кишлаки, где по-русски кое-как можно было объясниться лишь с чайханщиком, присаживался к чабанскому костру попить чаю с чабанами — потомками басмачей-душманов. Мы улыбались друг другу, в глазах моих собеседников не было ни затаенной злобы, ни коварства, только любопытство и радушие

— Кибитка Москва? — Москва!

— Баранчук бар? — бар!

— Кизинка бар? — йок!

(Дом в Москве? — В Москве! — Сын есть? — Есть. — Дочь есть? — Нет.)

Я прощался с этими темнолицыми белозубыми людьми, мы жали друг другу руки, не подозревая, что через тридцать лет их соплеменники будут отрезать головы русским солдатам на разгромленных заставах расчлененной страны. Но в те времена мир Средней Азии еще жил общим укладом, столь дорогим сердцу Ярослава Смелякова.

Правда, он предчувствовал, что после его смерти история может быть переписана, кое-какие опасения жили в его душе.

Мне говорят и шепотом и громко,
что после нас, учены и умны,
напишут доскональные потомки
историю моей родной страны.

Не нужен мне тот будущий историк,
который ни за что ведь не поймет,
как был он сладок и насколько горек
действительный, а не архивный мед.

Смеляков как будто бы предвидел появление различных волкогоновых, антоновых-овсеенков, александров яковлевых, но такого количества грязи, лжи и клеветы, которое выльется на его поколение и на историю отечества, он предвидеть не мог. Хотя и предупреждал их от наглого легкомыслия и тщеславного амикошонства, когда создал в своем воображении сцену, как якобы однажды он подошел в Кремле к креслу Иоанна Грозного в его царственной спальне:

И я тогда, как все поэты,
мгновенно, безрассудно смел,
по хулиганству в кресло это
как бы играючи присел.

Но тут же из него сухая,
как туча, пыль времен пошла,
и молния веков, блистая,
меня презрительно прожгла.

Я сразу умер и очнулся
в опочивальне этой там,
как будто сдуру прикоснулся
к высоковольтным проводам.

Урока мне хватило слишком,
не описать, не объяснить.
Куда ты вздумал лезть, мальчишка?
Над кем решился подшутить?

А нынешние — не просто играючи, не просто шутя, не по безрассудной смелости, а по глумливому расчету, за большие деньги, за карьеру и льготы, с напряженными от

страха и ренегатской ненависти лицами, хватаются за высоковольтные провода истории, корчатся, гримасничают, лгут до пены на губах. Им никогда не понять душу истинного поэта русского социализма; они жаждут заглушить его голос — «чугунный голос, нежный голос мой», стереть с лица земли его «заводы и домны», закрыть его шахты, разрушить его монументы, вывернуть с насыпи шпалы его железных дорог, осквернить его мавзолей. Мародеры истории... Впрочем, пусть они не забывают о судьбе еще одного мародера — Исаака Бабеля, который после октября 1917 года приехал в Зимний дворец, зашел в царские покои, примерил на себя халат Александра III, отыскал спальню и завалился в кровать вдовствующей императрицы. Все было на самом деле, и возмездье настигло его через 20 лет — в 1937 году... Да, видимо, можно разрушить материальную часть цивилизации Ярослава Смелякова. Но духовный мир, мир памяти, мир его героев и героинь с нимбами, венками, кумачовыми косынками, «венчиками мучений» живет по своим неподвластным для разрушителей законам. «В нем было бессмертное что-то...» Поэт знал об этой тайне бессмертия, когда, протягивая нить советской истории в глубь веков, писал:

Над клубящейся пылью вселенной,
над путями величья и зла,
как десницу, Василий Блаженный
тихо поднял свои купола.

Современная юность России
тут встречается с Русью отцов,
мерно движутся танки большие
по невысохшей крови стрельцов...

Написано в год восьмисотлетия Москвы.

А еще он чувствовал и завещал нам нелегкое бремя памяти обо всем русском крестном пути и знал, что сквозь всю пелену грядущего глума будут все-таки про-

ступать как бы начертанные тусклым пламенем его слова, которые он оставил на соловьевской истории России:

История не терпит суесловья,
трудна ее народная стезя.
Ее страницы, залитые кровью,
нельзя любить бездумною любовью
и не любить без памяти нельзя.

За полгода до смерти он, которого считали соперником Александра Твардовского, защитил честь своего собрата по поэзии от Солженицына, опубликовав в «Нью-Йорк таймс» следующее письмо:

«*Твардовский — человек и поэт*

Я только что прочитал статью А. И. Солженицына «Печаль по Твардовскому», опубликованную в Вашей газете (12 февраля).

Мы, читатели и друзья этого выдающегося поэта, тоже скорбим над его могилой, но по-другому — без политической истерики, без нелепого желания обратить к собственной выгоде даже смерть знаменитого писателя, признанного своим народом и правительством. Уверен, что Твардовского огорчила и возмутила бы похоронная патетика этого выступления Солженицына, что он бы воспринял это выступление как попытку посмертной политической дискредитации. Автор статьи стремится представить Твардовского противником не только правительства, но и нашей армии. В слепом запале он не замечает, что сам себе противоречит, когда пишет о том, что на гроб поэта были возложены венки от советских военнослужащих. Или он считает, что венки возлагали втайне от командиров и заодно с ним, Солженицыным?

Было бы очень кстати напомнить читателям о том, что незадолго до смерти поэта Воениздат выпустил в свет одному Богу ведомо какое по счету издание «Василия Теркина». Во время последнего съезда писателей Российской

Федерации «Теркиным» торговали в книжных киосках рядом с Колонным залом, и я видел, как Твардовский весело спустился со сцены, где сидел президиум Съезда, купить несколько книг, чтобы их раздарить.

Немного позже издательство «Советский писатель» выпустило двухтомник Твардовского, и я с радостью написал о поэте, по просьбе газеты «Известия», большую, исполненную признательности статью. Не так давно в издательстве «Художественная литература» вышло полное собрание сочинений Александра Твардовского, честь, выпавшая очень немногим писателям. В прошлом году ему в третий раз вручили Государственную премию. Разве это похоже на травлю? Солженицыну до смерти хочется превратить этого широкоплечего, умного и веселого человека в затравленного страдальца и причислить его, как и самого себя — именно, как самого себя, — к так называемым мученикам.

Я не хочу, чтобы у иностранных читателей сложилось с моих слов представление о моем старшем товарище как о счастливце с безоблачной биографией. Подобно всем большим писателям, он прожил жизнь трудную и деятельную; были у него свои огорчения, были ошибки, свои радости и свои иллюзии. Но он не разделял, да и не мог разделять иллюзии Солженицына о том, что в один прекрасный день советская власть рухнет и новая молодежь построит матренин мир на ее дымящихся руинах. Твардовский был олицетворением нашей социальной системы.

Современная советская поэзия берет лучшие стихи и поэмы Александра Твардовского за образец и будет, как и народ, всегда любить и почитать это имя.

Ярослав Смеляков.

Москва, 3 марта 1972 г.».

Как сказал сам Твардовский, «тут ни убавить — ни прибавить»...

В 1997 году молодой поэт Михаил Молчанов опубликовал в журнале «Наш современник» стихотворение о Смелякове, которое заканчивалось так:

При нем пленялись реки.
Он свято верил в труд.
Теперь его вовеки
У нас не издадут.

Неправда. У «них» не издадут. «Они» не издадут. Издадут «у нас». Издадим «мы».

Небольшую книжечку, тридцать-сорок стихотворений, но таких, у которых вечная жизнь.

* * *

Фальсификаторы истории утверждают, что Сталин наяву и во сне только и мечтал, чтобы люди искусства воспевали и прославляли его имя. Но вспомним, что он не разрешил в 1938 году постановку пьесы Булгакова «Батум», что запретил издание книги «Рассказы о детстве Сталина», а заодно и не позволил печатать апологетическую книгу о себе Михаила Кольцова-Фридлянда.

В 1949 году вождь остановил съемки фильма, запланированного кинорежиссерами к его 70-летию. В 1950 году то же самое произошло с книгой о вожде писательницы Л. Капанадзе.

Впрочем, это мелочи по сравнению с тем, что было написано, поставлено в кино и театрах, изваяно в мраморе. С людской страстью к сотворению кумиров никто и никогда не смог ничего сделать. Древних пророков, клеймивших еврейскую чернь за эту страсть, ветхозаветные евреи побивали камнями, но все без толку.

Однако если у русских поэтов Сталин — это вождь, отец, живой человек, к которому естественнее всего относиться с сыновьим почтением, как к главе народа-семьи или семьи народов, который наказует и милует, о котором

можно слагать легенды и песни, то поэты с еврейской душой делали из него сверхчеловека, хозяина, человекобога, «поступок ростом с шар земной», ветхозаветного Иегову, истово преклонялись перед ним, как их пращуры перед идолом, и также истово мстили ему за свои несбывшиеся надежды; сначала возводили, а потом разрушали его гигантские монументы, проходя привычный для себя путь от истерики поклонения до истерики глумления.

«С Божией стихией, — как сказано у Пушкина в «Медном всаднике» о наводнении, — царям не совладать». И пророкам тоже.

Однажды Сталин в разговоре с Шолоховым на вопрос, зачем ему такое почтение, столько портретов и славословий, недовольно проворчал: «Бошка им нужно». Шолохов не сразу понял, что не «башка», а «божка». Божок был слеплен, но не самим Сталиным, а двумя силами: снизу — инстинктом народа, и «сверху» — жрецами: Михаилом Роммом, Емельяном Ярославским, Матвеем Блантером, Михаилом Кольцовым, Павлом Антокольским, Фридрихом Эрмлером, Алексеем Каплером, Иосифом Хейфецем, Григорием Козинцевым, Александром Зархи, Сергеем Юткевичем, Дмитрием Шостаковичем, Исааком Дунаевским. В общей сложности вся эта компания получила за свое жертвенное служение то ли 25, то ли 30 Сталинских премий, именно Сталинских. Только не обвиняйте меня в антисемитизме, если я скажу, что почти все они евреи. Ведь кроме них «служителями культа» с русской стороны были Александр Твардовский, Михаил Исаковский, Василий Лебедев-Кумач... А для тех, кто хочет понять душевную тайну поклонения перед вождем, я приведу запись из дневника Корнея Чуковского о том, что они чувствовали с Борисом Пастернаком в 1936 году, 22 апреля, когда в президиуме X съезда комсомола появился Иосиф Сталин:

«Что сделалось с залом! А он стоял немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женствен-

ное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с каким-то разговором Демченко. И мы все равно ревновали. Завидовали — счастливая! Каждый его жест воспринимался с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: «Часы, часы, он показал часы» — и потом, расходясь, уже возле вешалки вновь вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко заслоняет его!..» Домой мы шли с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью».

10 апреля 1934 года Политбюро вынесло «выговор редакциям «Правды» и «Известий» за то, что без ведома и согласия ЦК и т. Сталина объявили десятилетний юбилей книги т. Сталина «Основы ленинизма» и поставили тем самым ЦК и т. Сталина в неловкое положение». 4 мая Политбюро постановило: «Принять предложение т. Сталина об отмене решения Заккрайкома о постройке в Тифлисе Института Сталина. Реорганизовать строящийся в Тифлисе Институт Сталина в филиал Института Маркса — Энгельса — Ленина»; 17 декабря еще одно суровое указание Политбюро: «Утвердить просьбу т. Сталина о том, чтобы 21 декабря, в день пятидесятипятилетия его рождения, никаких празднеств, или торжеств, или выступлений в печати или на собраниях не было допущено».

Все эти запреты вершились по воле самого вождя.

Ну что было делать Иосифу Виссарионовичу, как он мог остановить или запретить такой поток пастернаковско-чуковских изощренных чувств, по сравнению с которым стихотворные излияния вышеупомянутых русских поэтов выглядят либо по-сыновьи простодушными, либо официально-декларативными. Вклад же поэзии Мандельштама, Смелякова, Заболоцкого и Андреева в по-

ток славословия можно считать нулевым, поскольку их стихи в то время знали лишь близкие люди. Эта советская четверка шла к окончательному пониманию эпохи через страдания, неволю, истязания. Но не потому ли образ эпохи и ее демиурга, ими воссозданный, пережил все другие более поверхностные изображения и до сих пор понуждает нас жить страстями и мыслями отшумевшего века, века-волкодава...

2000—2005

ЛЕЙТЕНАНТЫ И МАРКИТАНТЫ

Тяжелая резная дверь отворилась со скрипом, и на пороге появился человек низенького роста, в махровом халате, в домашних шлепанцах, с выпученными веселыми глазами.

Его крупная облысевшая голова была обрамлена рыжеватым венчиком волос и весь он излучал приветливость.

— Заходите, Станислав! Слуцкий мне хвалил ваши стихи. Давайте знакомиться. Я буду вас называть Стахом, а вы меня — Дезиком...

Дезик Самойлов — впоследствии я обнаружил, что его никто почему-то не звал по отчеству — жил в громадном доме, видимо, выстроенном в начале XX века для того, чтобы сдавать квартиры в наем. Дом стоял на площади, именуемой Александровской, а в те времена, когда я пришел к Дезику, она именовалась площадью Борьбы.

Квартира Самойловых, в которую я вошел в сопровождении радушного и слегка хмельного с утра хозяина, показалась мне необъятной — многокомнатной с высоченными, потемневшими от времени потолками, украшенными то ли виньетками, то ли барельефами. Много лет спустя, уже после смерти Самойлова, в книге его воспоминаний «Перебирая наши даты» (М., 1999) я нашел особую главу, которую автор так и назвал: «Квартира».

Квартира на Александровской площади досталась нам вот таким образом.

С 1915 года в ней жил варшавский коммерсант Вигдорчик, муж маминой сестры. Помню старую фотографию, где изображен упитанный мальчик в форме бойскаута и девочка в кружевных панталонах — мои двоюродные брат и сестра.

Вигдорчики были беженцы, так назывались тогда люди, эвакуировавшиеся из Варшавы перед приходом немцев. После замирения с Польшей семья тетки, запихав в мыло бриллианты, отбыла в Варшаву, а квартира, обставленная мебелью красного дерева в стиле fin de siecle, досталась нам. Отец, как врач при действующей армии, получил охранную грамоту на жилплощадь и имущество бывших буржуев.

С нашим въездом в квартиру совпал распад провинциального гнезда. В Москву из Борисова приехали дед, тетка и дядька. Они заняли две комнаты, в двух других поселились мы».

Вот таким образом заселялась Москва после революции, крушения «черты оседлости» и Гражданской войны.

Еврейская родня Дезика, естественно, была не единственной, перелетевшей в Москву 20-х годов. В сущности, вся «одесская школа» русскоязычных литераторов перекочевала в столицу, не отставали от одесситов и киевляне, и харьковчане, и прочие деловые люди из западных и юго-западных местечек. Картина людских потоков была по своим масштабам грандиозной. Вот как об этом «переселении народа», начавшемся во время Первой мировой войны, пишет А. Солженицын:

«За счет беженцев, выселенцев, но и немалых добровольных переселенцев — война значительно изменила расселение евреев по России, образовались большие еврейские колонии в городах дальнего тыла, (...) да не меньше того в столицах. Тянулись в них к родственникам или покровителям, уж давно осевшим на новых местах. В случайных

мемуарах прочтем о петербургском зубном враче Флакке: квартира в 10 комнат, лакей, горничная и повар — таких основательных жителей евреев было немало, и в годы войны при крайнем жилищном стеснении (...) они открывали возможность вселения для приезжающих евреев». («Двести лет вместе»).

После революции ситуация с заселением Москвы «малым народом» стала просто катастрофической.

«Сотни тысяч евреев переселились в Москву, Ленинград и другие крупные центры», «в 1920-м в Москве проживало около 28 тысяч евреев, в 1923-м — около 86 тыс., по переписи 1926 года — 131 тыс., в 1933 — 226,5 тыс.» (Краткая Еврейская энциклопедия. Иерусалим. 1976—2001 гг. Т. 1. С. 235, 477—478.)

Миллионы евреев после страшных западно-европейских погромов Средневековья, Реформации и Возрождения, изгнанные из Англии, Испании, Франции и Германских княжеств (словом, после первого Холокоста XII—XVI веков), сгрудились в Восточной Европе — в Галиции, Австро-Венгрии, Польше. В начале XX века, в эпоху, о которой Осип Мандельштам писал:

Европа Цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта, —

они хлынули, окрыленные социалистическими идеями, в пошатнувшуюся Россию.

Александр Межиров в 60-х годах так вспоминал о своих родителях, прошедших этот маршрут:

их предки в эпохе былой,
из дальнего края (! — *Ст. К.*) нагрянув,
со связками бомб под полой
встречали кареты тиранов.

Впрочем в те времена подобные действия назывались не «международным терроризмом», а «борьбой за освобождение рабочего класса» или «национально-освободительным движением». Однажды, разглядывая какую-то подробную карту Восточной Европы, я наткнулся на обозначение маленького городка в Галиции — «Межиров» и сразу понял, откуда, из какого «дальнего края» «нагрянули» в Россию и Москву предки Александра Пинхусовича Межирова. А недавно — в январе 2006 года в какой-то телевизионной передаче известная писательница-феминистка Мария Арбатова рассказала, что во время Первой мировой войны оба ее прадедушки перекочевали в Москву — один из Литвы, а другой из Польши и, естественно, поселились на Арбате. Отсюда, видимо, у потомков и пошла первая «географическая» фамилия Арбатовы. Так же, как у Шкловского из Шклова, у Пинского из Пинска, у Варшавера из Варшавы, у Ржевской — из Ржева и т. д. и т. п. Да и поэма Павла Антокольского также неслучайно называлась «Переулок за Арбатом», как и роман Рыбакова «Дети Арбата». Место, так сказать, «намоленное»...

Столица перенаселялась, стремительно разбухала от потока, прорвавшего черту оседлости, уплотнялись многокомнатные квартиры, становившиеся коммуналками, на строительство новых жилищ у государства средств не было, и к концу 20-х годов в Москве образовалась громадная разветвленная метастаза, называемая квартирным вопросом, который, по словам Михаила Булгакова «испортил москвичей».

Но в то давнее посещение дезиковской квартиры (а было это в июне 1960 года) я ничего еще не знал о великом переселении семей и племен и с интересом слушал Дезика, который в халате и тапочках, похожий на героя одного из полотен русских художников (по-моему, «Свежий кавалер») с пафосом читал мне свои стихи о судьбе поэта, об одиночестве, о позднем признании, о стоицизме и терпении:

телеграфные столбы,
телеграфные столбы,
в них, скажу без похвальбы,
простота моей судьбы.

Однако простота эта, как я понял много позже, была ролью, которую разыгрывал всю жизнь Давид Самойлов. На самом же деле его жизнь была далека от аскетического идеала, нарисованного им в этом стихотворении.

* * *

В конце 20-х годов прошлого века мой отец и его брат Николай стояли в бесконечных очередях на бирже труда и перебивались случайными заработками на волжских пристанях Нижнего Новгорода. Им было уже по двадцать лет. Парни в расцвете сил. Время беспризорщины, наступившее после смерти обоих родителей от тифа, слава богу, они пережили. Но в нэповскую эпоху у них, как и у многих молодых людей, не было будущего. Биржа труда — и все. При нэпе индустриализация страны, без которой невозможно было дать работу и хлеб десяткам миллионов безработных, была невозможна. Частники не хотели, да и не могли вкладывать деньги в чуждые им планы.

А в материнской Калуге дела обстояли не лучше. Неграмотная бабка, вчерашняя крестьянка, после смерти моего второго деда от того же тифа в 20-м году, не знала, что станет с ее детьми. Слава богу, старшая дочь Поля выучилась на портниху и вышла замуж, следующая по возрасту Дуся пристроилась какой-то мелкой сошкой в управление железной дороги. Младший сын — дядя Сережа, будущий сталинский ас-летчик, бомбивший в 1941 году Берлин и награжденный в октябре 1941 г. (!) орденом Великой Отечественной войны II степени, чтобы прокормиться, в 13 лет начал сапожничать, и лишь моя энергичная и волевая мать, благодаря калужским почетным грамотам за спортивные успехи, поступила после рабфака в один из первых советских вузов в Москве —

в институт физкультуры. Да и то без бабкиных деревенских гостинцев — пирогов и бутылок с молоком — ей было бы трудно прожить в первые времена общежитской московской жизни.

Я рос в кругу своих родных, как дитя городского простонародья, и до сих пор ношу на себе болезненные печати того полуголодного быта, которым мы все жили до середины тридцатых годов, до отмены продовольственных карточек. Я родился в разгар коллективизации. У матери вскоре пропало молоко, и бабка выкормила меня, как выкармливали деревенских детей в голодные времена — пережевывала хлеб в тягучую клейкую массу, заворачивала в марлю — это была моя младенческая соска, к которой добавлялось разбавленное коровье молоко и сладкий холодный чай. Как тут было не заболеть ребенку разными недугами, следы которых я ношу на своем теле всю жизнь. Так что я с малых лет узнал цену куску хлеба и чугунку картошки, и до сих пор помню, с каким восхищением году в 36-м, после отмены карточной системы, попробовал первые лакомства: белый хлеб с маслом, шипучее ситро, чашку холодного густого кефира.

Иная жизнь была у настоящего баловня нэпа — Дезика, сына врача-венеролога и матери — сотрудницы Внешторгбанка. Вот как он вспоминает о своем детстве:

«*Папа консультирует на кондитерской фабрике Андурского. Он приносит громадные торты и плетеные коробки с пирожными. У папы лечится рыбник. Жирные свертки с икрой остаются в передней после его посещений. Приносят сало, ветчину, виноград, оливки, телятину, цветную капусту... Я испытываю отвращение к еде*».

Жаль, что воспоминания Дезика о том, как он жил и что он ел в голодную эпоху 20-х годов уже не прочитают его соратники по военному поколению — Михаил Алексеев и Виктор Кочетков, жившие в вымиравших от голода во время коллективизации поволжских селах, деревенские парни из «раскулаченных семей» — Виктор Астафьев, Федор Сухов, Сергей Викулов, Федор Абрамов, выросшие в беспаспортной колхозной жизни.

Но почему при таком роскошном питании Дезик вырос маленьким и тщедушным? Наследственность, что ли? Или городская жизнь с грязным воздухом? Да нет, была у них и прекрасная загородная дача, о которой Самойлов вспоминает:

«27-й год. На открытой террасе, выходившей прямо в поле, уже стоял готовый завтрак: яйца, лишь утром, снятые с лукошка, теплый ржаной хлеб, удивительно душистый, только что вынутый из печи, масло тоже душистое, желтое, пахнувшее ледником, со студеной слезкой, творог — синоним белизны, слоистый и тоже душистый, похожий на слоистые облака. Все было неповторимого вкуса и запаха».

Это похоже на гастрономические грезы Генриха Гейне из его «Мыслей, заметок, импровизаций», а может быть, даже и посильнее:

«Я человек самого мирного склада. Все, чего я хотел бы: скромная хижина, соломенная кровля, но хорошая постель, хорошая пища, очень свежие молоко и масло, перед окном цветы...» Даже Гейне только мечтал о такой жизни, которой жил Самойлов.

Я несколько раз бывал и на другой самойловской даче, построенной в модном дачном поселке Мамонтовка тестем Дезика врачом-кардиологом Лазарем Израилевичем Фогельсоном. Думаю, что эта дача была не хуже, чем дача Кауфманов, на которой у Дезика прошло безмятежное гастрономическое детство. Приехав в Мамонтовку в первый раз (кажется, в том же 1960 году) я поразился обширному саду, архитектуре и изысканности самой дачи, обильности угощения, которым хозяева встречали гостей, и главное, атмосфере — смеху, веселью и какому-то особенному устоявшемуся пониманию друг друга, конечно, с полуслова, а также обилию разнообразной выпивки, множеству анекдотов, и изощренному фрондерству, которое лилось рекой:

— Итак выпьем же, братья, за партию, — вдохновенно провозглашал Дезик, и, поднимая к подслеповатым глазкам вырезку из газеты «Вечерняя Москва» — с восторгом добавлял, вглядываясь в текст какой-то информации: — За партию лимонов, доставленную к нам из солнечной Грузии!

В ответ, конечно же, раздавался гомерический хохот, и все дружно выпивали — и Павлик Антокольский с очередной пассией, и Боря Грибанов — крупный издательский работник, и будущий уполномоченный по правам человека в Госдуме Владимир Лукин, и молоденький Юлий Ким, и чтец-декламатор Яков Смоленский, и поэт Виктор Урин с Вероникой Тушновой, а также полузабытое или почти забытое мною множество довольных жизнью представителей еврейской творческой интеллигенции.

Конечно, такие застолья, сохранившиеся несмотря на все тяготы эпох, можно было устраивать, имея немалые деньги и прочнейшие гастрономические традиции, корнями уходящие в нэповские времена...

...К середине дня народ разбредался по участку — кто на волейбольную площадку, кто к настольному теннису, кто в беседку, увитую хмелем... Ближе к вечеру часть гостей разъезжалась, а все отяжелевшие от общения располагались ночевать в комнатах и на террасах, чтобы утром снова сесть за стол, уже прибранный и вновь накрытый трудолюбивой русской домработницей Марфой Тямкиной.

* * *

В 60-е годы я еще не был столь суров и ожесточенно требователен к своим товарищам-современникам. Историческая трагедия, в которой мы живем, начиная с 80-х годов, еще не просматривалась на горизонте, а всякие частные разногласия? — да, они были, но чтобы из-за них отворачиваться друг от друга, не видеть в упор,

презирать, обличать... О том, что такое время наступит, я даже подумать не мог[1]...

В эти баснословные времена Андрей Синявский с Марией Розановой захаживали в гости к Кожинову, и Розанова дала Вадиму за шрам на переносице шутливое прозвище «штопанный нос», к нему прилипшее. В эти времена Анатолий Рубцов, работавший в Ленинграда на Кировском заводе, встречался с завсегдатаями питерской богемы Кузьминским и Юппом, ныне живущими в Америке, писал стихи, посвященные Глебу Горбовскому и Эдику Шнейдерману, который через полвека отплатил ему страницами воспоминаний, полными ядовитой зависти к посмертной рубцовской славе. Глеб же Горбовский вместе с компанией Евгения Рейна и Оси Бродского навещал Ахматову. Да и сам я безо всяких душевных колебаний застольничал в Тбилиси в кругу грузинских поэтов рядом с Евтушенко, вместе с ним летал в северные края на Бобришный угор к могиле Александра Яшина, где, впрочем у нас уже произошла первая серьезная размолвка.

* * *

— Стах! — Дезик встает из-за стола в Доме литераторов и радушно распахивает объятья... — Я поэму закончил. Хочешь прочитаю? Садись! Валя, еще триста граммов коньячку и по бутерброду с осетринкой. Я буду Стаху поэму читать!

Мы со вкусом выпиваем и в предвкушении чтенья раскрасневшийся, вдохновенный Дезик склоняется ко мне и таинственно шепчет:

— Поэма называет «Струфиан!»

---

[1] В те годы я подарил одному молодому человеку свой стихотворный сборник «Метель заходит в город», который выставлен на стенде, посвященном Иосифу Бродскому, в ленинградском музее Анны Ахматовой на Фонтанке с надписью: «Иосифу Бродскому с нежностью и отчаяньем книжку, совершенно чуждую ему. Станислав Куняев».

Откинувшись, он оценивает эффект, произведенный волшебным названием, и начинает чтенье:

Дул сильный ветер в Таганроге —
Обычный в пору ноября.
Многообразные тревоги
Томили русского царя.
Он выходил в осенний сад
От неустройства и досад.

Он читает, самозабвенно жестикулируя, счастливый от слов и звуков, от того, что написал, как ему кажется, нечто выдающееся, да еще и слушателя благодарного нашел. А поэма — о русской истории, загадочной смерти императора Александра Первого в Таганроге, о слухах, витавших вокруг этой якобы смерти, и, конечно, не мог Дезик обойтись без обаятельного ерничанья, когда, похохатывая, подошел к финалу, где речь шла о том, что император на самом деле и не умер, не скрылся в Сибири, а его похитили какие-то инопланетяне и увезли в космическом корабле под называнием «Струфиан».

С лукавым пафосом, щедро пересыпанным высокопарной иронией, Дезик прочитал «крещендо»: «А неопознанный объект летел себе среди комет», — и тут же потребовал выпить за успех своей гениально выдумки.

Я благосклонно хвалю поэму, разыгрываю искреннее удивление — поэты ведь не могут жить без похвалы, особенно Дезик, который первую книжечку стихов издал в сорок лет. Мне приятно его общество, и ежели выскажу нечто желчное, то потеряю обаятельного собеседника. И все-таки я чуть-чуть нарушаю правила нашей игры:

— Русская история посленаполеоновской эпохи, если верить «Струфиану», становится игровым абсурдом и обаятельным поэтическим фарсом, после которого о ней и рассуждать всерьез совершенно необязательно, — вот что я говорю Дезику. Говорю мягко, раздумчиво...

Он удивляется:

— Всякая история, Стах, достойна лишь иронии!

— Не всякая, Дезик, а русская — особенно.

— Ну прочитай что-нибудь антиироническое, — поддразнивает он меня.

Я читаю:

Россия, ты смешанный лес,
Приходят века и уходят,
то вскинешься до небес,
то чудные силы уводят
бесшумные реки твои,
твои роковые прозренья
в сырые глубины земли,
где дремлют твои поколенья.

Дезик на мгновение опускает глаза, задумывается и подводит черту под нашим осторожным спором:

— Ну ладно... Давай лучше, Стах, выпьем!

В очередную встречу, он был настолько возбужден, что сразу прижал меня к стойке буфета:

— Стах, слушай! — И развернул предо мной картину своего детства.

Я изобразил из себя само внимание, и стихи стоили того:

Помню — папа еще молодой,
Помню выезд, какие-то сборы,
И извозчик — лихой, завитой.
Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.

Помню — мама еще молода,
Улыбается нашим соседям,
И куда-то мы едем. Куда?
Ах, куда-то, зачем-то мы едем!

А Москва высока и светла.
Суматоха Охотного ряда.
А потом — купола, купола.
И мы едем, все едем куда-то.

Звонко цокает кованый конь
О булыжник в каком-то проезде.
Куполов угасает огонь,
Зажигаются свечи созвездий.

Папа молод. И мать молода.
Конь горяч. И пролетка крылата.
И мы едем незнамо куда, —
Все мы едем и едем куда-то.

Пафосные стихи редко удавались Дезику, он по натуре был печальный шут, талант вольтерианского склада, скептик, иронист, но это стихотворенье тронуло меня. Какими-то эпическими, почти величественными интонациями: лихой, завитой извозчик, горячий, звонко цокающий копытами конь, огонь и золото куполов, крылатая пролетка. И, конечно, красивая пара — родители. А главное — таинственность езды — «незнамо куда», в какое-то сказочное прекрасное будущее... Романтические стихи! И мне так захотелось в ответ прочитать Дезику стихотворенье о своем детстве — недавно написанное и не читанное еще никому:

Свет полуночи. Пламя костра.
Птичий крик. Лошадиное ржанье.
Летний холод. Густая роса.
Это — первое воспоминанье.

В эту ночь я ночую в ночном,
Распахнулись миры надо мною,
Я лежу, окруженный огнем,
темным воздухом и тишиною.

Где-то лаяли страшные псы,
А луна заливала округу,
И хрустели травой жеребцы,
И сверкали и жались друг к другу.

Дезик удивленно спрашивает:

— А что, Стах, ты жил в деревне?

— Да, детство прошло в калужской деревне, а отрочество — в эвакуации, в костромской...

Потом, прочитав новую стихотворную книгу Дезика, я понял его удивление: «Я учился языку у нянек, у молочниц, у зеленщика». Все, как у Ходасевича: «Не матерью, но тульскою крестьянкой я вскормлен был».

...Я был рад, что ему понравилось мое стихотворенье. Мы тут же выпили за оба наших шедевра и расстались довольные друг другом. К этому времени я уже знал, что можно читать Дезику, а что — нельзя. «Кони НКВД», где мелькает еврейская фамилия полковника Шафирова — нельзя. «Реставрировать церкви не надо» — о разорении церквей в 20—30-е годы — тоже лучше не читать, как и стихи об еврейском исходе — с последней строчкой «вам есть, где жить, а нам, где умирать». Не хотелось прерывать нашу увлекательную и почти искреннюю игру в ученика и учителя...

Много лет спустя, когда вышла посмертная книга воспоминаний Самойлова «Перебирая наши даты», в которой было несколько фотографий, я вгляделся в одну из них. 1927 год. Дезик с отцом и матерью. «Папа молод и мать молода»— летучая, вдохновенная строка. А на фотографии на вид немолодая толстая еврейка, сотрудница Внешторгбанка. Рядом такой же толстенький, короткорукий папа — врач-венеролог, стоят, словно пара пингвинов, и мальчик, упитанный, безмускульный, узкоплечий, на тоненьких слабых ножках с развернутыми в стороны ступнями. Такой чарличаплинской походкой — носки в сторону — Дезик и проходил всю жизнь, словно коверный в цирке. Никакой сказочности, никакой лихости, никакого полета на горячем коне и крылатой пролетке в таинственное будущее. Все — нэповское, заурядное, вышедшее из дореволюционного местечкового быта, но облагороженное до неузнаваемости стихотворной фантази-

ей Дезика. Земля эстонская ему пухом... Лучше бы я не видел этой фотографии.

По прошествии нескольких лет наши отношения с Дезиком изжили себя, истрепались, но поскольку он не мог пребывать в одиночестве, то окружил себя свитой молодых учеников — Сережа Поликарпов, Вадим Ковда, Алена Басилова, Олег Хлебников, да разве всех упомнишь! Он с наслаждением витийствовал в их кругу, читал стихи на «bis», чаще других — «Пестель, поэт и Анна» или «Не верь ученикам, они испортят дело», непрерывно хохмил, острил и дотягивал время до закрытия ресторана, когда его, маленького, обмякшего, красноносого, свита выводила на улицу, сажала в такси, и кто-нибудь из особенно преданных учеников отвозил его, но уже не на площадь Борьбы, а на Красноармейскую улицу или в его последнюю московскую квартиру — в Безбожный переулок.

Борис Слуцкий, как правило, проходил мимо этого шумного поэтического улья не задерживаясь. Его раздражало легкомыслие Дезика, он фыркал в усы и не подсаживался к застолью, несмотря на театральные жесты и призывы старинного друга.

Чаще других мэтром номер два в этом кругу появлялся Юра Левитанский, который после двух-трех рюмок по просьбе Дезика и всей прилипшей к нему молодежи, к их восторгу, читал свои знаменитые пародии. С особенным вдохновением вот эту:

А это кто же? — Слуцкий Боба,
А это кто? — Самойлов Дезик,
И рыжие мы с Бобой оба,
И свой у каждого обрезик.

Дальше — не помню, помню только восторги самойловского семинара и усатого Левитанского, который раскланивался и благодарил слушателей, как дама — сочинительница романов из чеховского рассказа «Ионыч».

* * *

«Сороковые, роковые» — благодаря именно этой буквальной цитате из Блока, до блеска замусоленной апологетами самойловского творчества, Дезик в истории советской поэзии, во всех учебниках и антологиях аттестуется, как один из главных поэтов Великой Отечественной. Однако и в его военной судьбе есть немало странностей.

Ближайший друг Дезика из довоенной юности Борис Грибанов, вспоминая о своих ифлийских[1] друзьях, писал: «Среди них был и пулеметчик, фронтовой разведчик Давид Кауфман. Как подшутил один из его друзей в те годы, когда шла оголтелая борьба за мир: вы главное берегите Дезика, а то он однажды вышел из дома и дошагал до Берлина»...

«До Берлина», конечно, Дезик «не дошагал» и вообще его «военные дороги» были совсем не такими прямыми и героическими, какими их изобразил журналист Грибанов.

16 октября 1941 года в роковой, в самый панический и позорный день бегства населения Москвы от наступающей на город немецкой армады, когда все московские обыватели были уверены, что город вот-вот падет, 22-летний студент, вполне здоровый молодой человек Давид Кауфман уплывает по Москве-реке пароходом на восток, в глубокий тыл. Из книги Д. Самойлова «Перебирая наши даты»:

«Пришла Л. и сказала, что есть билеты на пароход, отплывающий из Южного московского порта в Горький. Решили ехать. Необходимые вещи были уже связаны в большие тюки. Прогулочный пароход, куда нам удалось втиснуться, долго стоял у причала, и, наконец, отвалил. В небольшом салоне разместились все мы: мои родители и тетка, Л. с офицером и мачехой и, наконец, В. с теткой и другом детства Женей...»

---

[1] ИФЛИ — Институт философии, литературы, истории, куда в 1938 году поступил учиться Давид Кауфман (Самойлов).

...Я помню нашу эвакуацию из Ленинграда в августе 1941 года, помню в 1944 году обратный путь со станции Шарья на запад. Залезть в вагон с вещами было невозможно. А с детьми и подавно. Хорошо, что помогли офицеры, увидевшие женщину с двумя детьми на перроне. Избежать в то время мобилизации было непросто. Моя мать в 1941—1942 гг. работала врачом в призывных комиссиях при военкоматах — в первый месяц войны под Кингисеппом в Эстонии, а после эвакуации, в Костромском селе Пыщуг. Меня ей не с кем было оставить, и я порой сутками был при ней и ночевал на диванах, обтянутых коричневым дерматином рядом с призывниками, спавшими вповалку на полу на призывных пунктах. До сих пор помню, что всем более или менее здоровым молодым мужикам на этих медосмотрах ставился только один диагноз: «Годен»... Как за несколько первых тяжелейших месяцев войны Дезика не призвали в армию — можно только удивляться.

Да и погрузиться на «прогулочный пароход» для громадной семьи с вещами, «заранее связанными» в дни всеобщей паники, тоже было делом чрезвычайным и сказочным. Мы с беременной на шестом месяце матерью бежали из-под Кингисеппа в Ленинград, когда услышали, что немцы уже в двадцати километрах, бросив все имущество, «в чем мать родила». Точно так же уезжали в эвакуацию из Ленинграда с одним чемоданчиком — больше в последний эшелон, битком набитый детьми и женщинами, брать не разрешалось. И пропустили нас в этот последний эшелон только потому, что мать была «в положении». Но вернусь к Самойлову.

По пути в сторону от фронта впечатлительное нэповское дитя, видимо, насмотревшись на ужасы эвакуации, заболевает нервной горячкой настолько серьезно, что остается на лечение в Куйбышеве и догоняет после выздоровления отца с матерью и остальных родственников даже не в Ташкенте, а еще дальше от фронта —

в Самарканде[1]. И это в то время, когда все его ровесники или уже были на передовой или тряслись в воинских эшелонах, громыхающих на фронт.

Из воспоминаний Давида Самойлова: «Мы прибыли в Куйбышев, и там я свалился в болезни, которую в прошлом веке называли «нервной горячкой»; «недели через две, едва оправившись, принял решение следовать дальше — в Самарканд». «В Ташкенте неожиданно встретил Исаака Крамова...»

Вот где встречаются молодые 22-летние «ифлийцы», мечтавшие в стихах «*умереть в бою*» и «*дойти до Ганга*» — в глубине советской Азии. Поневоле, читая это, вспомнишь стихи Константина Симонова:

Хоть шоры на память наденьте!
А все же поделишь порой
Друзей — на залегших в Ташкенте
И в снежных полях под Москвой.

О своем тыловом периоде жизни Самойлов пишет в воспоминаниях так: «*Полгода в Самарканде оказались для меня большим везением*», «*вся моя жизнь сплошное везение*». В Самарканде он поступил в пединститут, быстро нашел близких по духу людей, из которых и в этой глубочайшей эвакуации образовалась дружеская компашка — художник Тышлер, еврейский поэт Моргентай, литераторша Надежда Павлович... Но уйти от войны полностью не

[1] Когда я писал эти строки в Калуге, по «Радио России» шла передача — беседа поэта Андрея Дементьева с композитором Оскаром Фельцманом. Я отвлекся от текста и услышал, как Фельцман рассказывает о страшной осени 1941 года и о своей судьбе, столь похожей на судьбу моего героя:

«Но тут началась война, и я уехал в Новосибирск, где вскоре в свои 26 лет стал председателем Союза композиторов Новосибирска. Меня показали Шостаковичу, я познакомился с Колмановским, Утесовым, Фрадкиным, Дунаевским и понял, что мое призвание — оперетта».

удалось — военкомат все-таки обязал студентов пединститута поступить в офицерское училище и, недоучившись в нем, Дезик через полтора года после начала войны, осенью 1942-го наконец-то попал в действующую армию под Тихвин. Как он сам пишет: «*Самые напряженные месяцы войны я провел на «тихом» фронте в болотной обороне*». В этой «болотной обороне» в марте 1943 года он и получил легкое ранение в руку, после которого попал в Красноуральский госпиталь, а, выздоровев, обретается в Горьком, служит писарем в Красных Казармах, выпускает стенгазету, сочиняет стенгазетные стихи, фельетоны и передовицы под псевдонимом Семен Шило. Стряпает стихотворные конферансы для праздников в Доме Красной армии, встречается то с друзьями, то с родственниками, даже к своим эвакуированным однокашникам ифлийцам приезжает повидаться в Свердловск. Все это изображено им самим в воспоминаниях, и об этом периоде его жизни Солженицын с иронией написал в «Новом мире», что Самойлов был «*отправлен на северо-западный фронт рядовым, там ранен в первом же пехотном бою, за госпиталем — полоса тыла, писарь и сотрудник гарнизонной газеты, в начале 1944-го по фиктивному «вызову» от своего одноклассника, «сына Безыменского (тоже эстафета литературных поколений), и вмешательством Эренбурга был направлен в разведотдел 1-го Белорусского фронта, где стал комиссаром и делопроизводителем разведроты («носил кожаную куртку» — тоже традиционный штрих)*».

Таким образом, этот «везунчик» дожил до нового, 1944 года, потом навестил Москву, встретился с родителями, благополучно вернувшимися из эвакуации в свою роскошную квартиру, и предался в их доме гастрономическим утехам, как в баснословные времена нэпа — (*«и уже мне несет довоенные блинчики и наливочку, и еще что-то жарят, пекут... бесконечные расспросы, я солдат-фронтовик со шрамом на левом предплечье»*).

Вскоре Самойлов встречается с Семеном Гудзенко, который ведет его к самому Эренбургу в гостиницу «Мос-

ква», где они пьют коньяк, закусывают трюфелями и где одновременно решается дальнейшая фронтовая судьба «везунчика» Дезика Самойлова.

На встрече с всемогущим Эренбургом следует остановиться особо, поскольку она проясняет мысль Грибанова о том, как Дезик «*вышел из дома и дошагал до Берлина*». Проницательный и расчетливый Эренбург спрашивает своего юного соплеменника, сознавая, что вечно такое волонтерство длиться не может — и на передний край загреметь недолго:

«*Ну что ж. Ведь вы туда проситесь, а не обратно, но куда именно вы хотели бы поехать?*» (прямо как во время студенческого распределения. — *Ст. К.*).

Дезик готов к ответу: «*У меня при себе было письмо, где товарищ мой Лев Безыменский прислал нечто вроде вызова из разведотдела 1-го Белорусского фронта. Я попросился туда*». (Желчный Солженицын назвал эту бумажку «фиктивным вызовом». — *Ст. К.*)

«*Эренбург снял трубку и запросто поговорил с начальником Главразведупра Генерального Штаба генералом Кузнецовым*»... Вот что такое связи, вот что такое «кому война, а кому мать родна». Что же случилось в итоге?

Из воспоминаний Самойлова: «*Вздохнув, возвращаюсь в февраль 1944. Эренбург мне помог* (! — *Ст. К.*) *уехать на фронт. В разведотдел штаба фронта*».

Из воспоминаний Самойлова о жизни весной и летом 1944 года:

«*Штаб фронта в ту пору представлял собою большое слаженное учреждение, располагавшееся километров в ста, а то и больше от передовой.*

Дня три я прожил в полном безделье. Валялся на койке, читая Гоголя, и поедал шоколад из домашних посылок запасливого Левы Безыменского», «*организовал самодеятельность, начал писать стихи...*», «*До лета 1944 года жили мы в прекрасном лесу среди сосен и орешников вместо занятий дремали полдня на полянках в отдалении от войны*».

Оставшиеся несколько месяцев войны поэт вместе со штабом фронта двигался на запад в ста километрах от передовой и докатился не до Берлина, конечно, а до Польши и Восточной Германии. Но его «нэповское», или «ифлийское» «инфантильное» состояние, в котором он прожил всю войну, за исключением нескольких месяцев «болотного сиденья» на Волховском фронте, наложило неизгладимую печать на все стихотворное наследие, посвященное войне. Этот отпечаток, это ощущение не «великой всенародной беды», а личного «веселья», некоего праздника жизни — *«война гуляет по России, а мы такие молодые», «да, это я на белом свете худой, веселый и задорный», «и я с девчонкой балагурю»* — позволило Татьяне Глушковой проницательно заметить:

«Гуляет», «гуляешь», «гулянье» — слова веселые. Они сопрягаются в русской речи и русском сознании с праздником, радостью, молодечеством, торжествующей раскованностью вольною, удалою силою... в них звучит увлеченье, некое восхищение тем, кто «гуляет» — и потому вряд ли проложимы к «священной войне» — как сурово пел народ о Великой Отечественной, ведь тут «смертный бой», а не «простор жизни».

Об этой суровой, но справедливой статье Самойлов отозвался в дневниках с крайним раздражением: «*Статья Глушковой против меня. Глупо, бездарно. Грязное воображение...*»

Но Глушкова была права, потому что каждым своим новым поэтическим свершением Самойлов подтверждал тезисы ее статьи.

В самой значительной своей поэме «Ближние страны» герой Самойлова с таким же «весельем» и «балагурством», так же «гуляючи» вслед за частями, взявшими город штурмом, входит в него и, как хозяин, диктует свою волю местным обывателям, крутит романы с немками, особенно податливыми, поскольку у победителя есть и «тушенка», и «водка», и «папиросы»... «*Инге нравится русская водка*». Роман развивается на глазах у жениха Инги — букиниста из Потсдама, Ингина тетка просит

«один бабироса» — *«Папироса! — цежу я с ухмылкой»; «мы сидим с женихом, словно братья»*... Но герой поэмы ухмыляется над глуповатым женихом, который очарован коварным хлебосольством «победителя», покупающего «фрейлину» разгромленного народа за банку тушенки и рюмку водки... А что записывает победитель в альбом барышне, услужливо преподнесенный ему? — нечто глумливое: *«Фроляйн Инге! Любите солдат, всех, что будут у Вас на постое»*...

Именно в этой поэме, написанной в 1954 году, у Самойлова окончательно прояснились подлинные черты его любимого героя, облик которого он в полный рост нарисовал в стихотворении «Маркитант», написанном в середине 70-х годов.

Фердинанд, сын Фердинанда,
Из утрехтских фердинандов,
Был при войске Бонапарта,
Маркитант из маркитантов.

Впереди гремят тамбуры,
Трубачи глядят сурово,
Позади плетутся фуры
Маркитанта полкового.

Бонапарт диктует венским,
И берлинским, и саксонским,
Фердинанд торгует рейнским,
И туринским, и бургундским.

Бонапарт идет за Неман,
Что весьма неблагородно.
Фердинанд девицу Нейман
Умыкает из-под Гродно.

Русский дух, зима ли, бог ли
Бонапарта покарали.

На обломанной оглобле
Фердинанд сидит в печали.

Вьюга пляшет круговую.
Снег валит в пустую фуру.
Ах, порой в себе я чую
Фердинандову натуру!..

Я не склонен к аксельбантам,
Не мечтаю о геройстве.
Я б хотел быть маркитантом
При огромном свежем войске.

Фердинанд имел реального прототипа. В своих воспоминаниях, рисуя родословное древо Кауфманов, поэт писал: «*За прадедом начинается некий генеалогический туман, откуда выплывает фигура Рафаэля Фердинанда, солдата или маркитанта наполеоновских войск. Маркитант сей, по легенде, отступал с Великой армией, застрял в городе Борисове, где осел, женился и прославился основанием обширного рода*»...

Но стихи — убедительней воспоминаний. Стихотворение «Маркитант» отозвалось в литературной судьбе Самойлова неожиданным образом и определило его взаимоотношения и с миром, и с Юрием Кузнецовым.

Вначале Самойлов принял появление Кузнецова с восхищением и опаской: «*Стихи Ю. Кузнецова в «Новом мире». Большое событие. Наконец-то пришел поэт. Если мерзавцы его не прикупят и сам не станет мерзавцем, через десять лет будет украшением нашей поэзии. Но что-то и темное, мрачное» (1975 г.)*.

Помню, как однажды, прочитав стихотворение Кузнецова «За дорожной случайной беседой», он в цэдээловском ресторане, схватив Юрия Поликарповича за грудки, начал чуть ли не со слезами на глазах уговаривать последнего:

— Юра, не пытайтесь быть сверхчеловеком!

Но у Кузнецова, к тому времени знавшего самойловское стихотворение «Маркитант», уже была написана отповедь всей философии и практике «маркитантства».

Чтобы не цитировать стихотворение целиком, напомню, что речь в нем идет о том, как сблизились на равнине два войска, ведомые лейтенантами («маркитанты в обозе»), как с обеих враждебных сторон навстречу друг другу тайно вышли разведчики-маркитанты, посланные на разведку лейтенантами:

Маркитанты обеих сторон,
Люди близкого круга,
Почитай с легендарных времен
Понимали друг друга.

Через поле в ничейных кустах
К носу нос повстречались,
Столковались на совесть и страх,
Обнялись и расстались.

Воротился довольный впотьмах
Тот и этот крапивник[1].
И поведал о темных местах
И чем дышит противник.

А наутро, как только с куста
Засвистала пичуга,
Зарубили и в мать и в креста
Оба войска друг друга.

А живые воздали телам,
Что погибли геройски.
Поделили добро пополам
И расстались по-свойски.

---

[1] «Крапивник», «крапивное семя» — «ярыжка», «приказной крючок» (словарь Даля), мелкий делопроизводитель, писарь, составитель кляуз; сюда же можно отнести и «желтых» журналистов, наемных газетчиков, «папарацци» и т. д.

Ведь живые обеих сторон —
Люди близкого круга,
Почитай с легендарных времен
Понимают друг друга.

То, что в стихах Самойлова было водевилем, то под пером Юрия Кузнецова стало всемирно-исторической драмой. Этого толкования Дезик простить Юрию Кузнецову не мог, и несколько его дальнейших записей, сделанных в дневнике, — тому свидетельство:

«Сотворив из Ю. Кузнецова кумира, эта шатия будет искать ему жертву. Скорей всего это буду я» (1979 г.).

«Злобный выпад Ю. Кузнецова против меня в альм. «Поэзия». Комплексы. Сальеризм» (1981 г.).

«Кажется, большего, чем он написал, не напишет» (1983 г.).

Но как бы то ни было, если перевести родовую фамилию Дезика «Кауфман» на более понятный язык, то она будет звучать, как «торговец», «рыночник»...

Да и, честно говоря, в предвоенные годы ифлийцы больше «играли в войну» в своих стихах и песнях о «флибустьерах и авантюристах», нежели были готовы к настоящим, а не выдуманным войнам. Вот почему они не выдержали первого испытания финской войной.

Из воспоминаний Самойлова, написанных в 80-е годы:

«В первый же раз в лоб предложенный историей вопрос поверг ***почти всех нас*** (выделено мной. — *Ст. К.*) *в смущение. Это было в начале незнаменитой финской войны. Почему на фронт пошел тогда без колебаний один Наровчатов? Кажется, Слуцкий был решительно лучше нас подготовлен к войне. А он, говорят, ушел из добровольческого батальона. Почему не пошел Павел* (Коган. — *Ст. К.*), *чья храбрость ярко проявилась в большой войне. Не пошел и Кульчицкий...»*

«Тогдашнее наше мировоззрение оказалось во многом слабым, ложным и постепенно распалось»; «Я поздно созрел для войны», — честно напишет о себе Самойлов. А об

ифлийце Михаиле Львовском говорит еще круче: «*А он не созрел никогда*». Михаил Львовский был автором многих военных песен. Писать восторженные оды грядущим боям оказалось легче, нежели принять общенародную судьбу, как свою. Эту судьбу сумели без лишних слов возложить на юношеские плечи призывники из простонародья, в основном из крестьянства, а не ифлийцы, которые по какому-то естественному отбору становились военными журналистами (Л. Безыменский), военными юристами (Б. Слуцкий), агитаторами (Л. Копелев), комсоргами при штабе фронта (Д. Самойлов) и т. д. Именно о таких, как они, Александр Твардовский в письме к Л. Разгону писал: «*Терпеть не могу, когда литераторы и журналисты, прошедшие войну в этом качестве, говорят: «Я воевал» — и т.п*».

* * *

В далеком 1987 году я опубликовал в журнале «Молодая гвардия» статью о поэтах, вошедших в литературу перед войной и в первые годы войны, где, отдавая дань их талантливости, их гражданскому и человеческому мужеству («отряд высокоодаренной поэтической молодежи», «бескомпромиссный талант», «абсолютная искренность поколения», «романтическое бесстрашие», «жертвенность» — характеристики из моей статьи), тем не менее, спорил с принципами романтизации войны, оспаривал книжные романтические схемы «земшарной республики Советов», абстрактно понятого интернационализма, ярче всего, пожалуй, выраженного в формуле М. Кульчицкого: «*Только советская нация будет и только советской расы люди*». Цитируя строки, воспевающие ход мировой революции:

Но мы еще дойдем до Ганга,
но мы еще умрем в боях,
чтоб от Японии до Англии
сияла Родина моя

(П.Коган);

Я — романтик разнаипоследнейших атак...

(М. Кульчицкий).

Выхожу двадцатидвухлетний
и совсем некрасивый собой,
в. свой решительный и последний
и предсказанный песней бой.

(Б. Слуцкий).

Песня — это «Интернационал», сущность которого выдохлась с первого же дня Великой Отечественной. Я доказывал, что именно такие агрессивно-романтические формулировки, унаследованные «ифлийцами» от поэтических учителей старшего поколения, помешали им понять характер начавшейся войны как Отечественной, «народной», «священной».

Выросшая на стихах крупнейших поэтов-романтиков революционного поколения — Маяковского, Антокольского, Багрицкого, Светлова, Сельвинского, — довоенная ифлийская молодежь жаждала продолжения мировой революции...

После моей молодогвардейской статьи по ней сразу же был выдан «артиллерийский залп». Меня заклеймили О. Кучкина в «Комсомольской правде», Е. Евтушенко в «Советской культуре», А. Турков в «Юности», Ю. Друнина и Л. Лазарев-Шиндель в «Знамени». Следом подали свои голоса «Книжное обозрение», «Огонек», «Литературная Россия».

Каковы же были главные аргументы моих критиков? Прежде всего, в ход шло простое житейское правило, действующее на читателя: люди погибли на войне, и потому их творчество не подлежит обсуждению. «*Если он способен поднять руку на павших*» (Л. Лазарев), «*клевета на честных писателей, павших на Великой Отечественной войне и не имеющих возможности защититься*» («Книжное обозрение»). Но житейская мудрость — «о мертвых или хорошо, или ничего» годится только на гражданских панихидах, тем более, что я не говорил ничего плохого о

личностях, а не соглашался лишь с идеями. Идеи переживают людей, и, когда изнашиваются, время сбрасывает их. Такое всегда происходит в истории культуры. Вспомним, какие споры бушевали, да и еще бушуют вокруг имен Достоевского, Маяковского, Есенина...

Я писал о том, что в стихах Кульчицкого «*Не до ордена — была бы родина с ежедневными Бородино*» меня коробит слово «ежедневными», как-то не укладывалась в моем уме эта лихость: ну, представьте себе желание видеть ежедневное взятие Берлина или ежедневную Курскую дугу? В ответ Л. Лазарев гневно упрекал меня: «*Для того, чтобы как-то объединить очень разных поэтов (иные из них и знакомы не были друг с другом), о которых он ведет речь, создать видимость группы, кружка или чего-то вроде масонской ложи, Куняев именует их «ифлийцами», все время говорит об «ифлийском братстве», «ифлийской молодежи», «ифлийцах старшего поколения», даже об «ифлийстве» как о некоем идейно-художественном направлении*»... Критик правильно понял мою мысль.

Но вот что писала о духовно-мировоззренческом единстве ифлийцев сама бывшая ифлийка Елена Ржевская, вдова Павла Когана, в статье «Старинная удача», опубликованной в «Новом мире», № 11 за 1988 год.

«*Что такое ИФЛИ? Произнесенная вслух одна лишь аббревиатура сигналит, что-то излучает. Незнакомые до того люди, обнаружив, что они оттуда, из ИФЛИ, немедленно сближаются. Может, оттого, что там прошла юность? Так, но не только. А может, ИФЛИ вообще иллюзия, хотя и устойчивая. Но тогда такая, о которой умный английский писатель сказал: иллюзия — один из самых важных фактов бытия.*

Мне кажется, ИФЛИ — это код, пока не поддавшийся раскодированию. ИФЛИ был новью, чьим-то неразгаданным замыслом, намерением, на краткий миг замерещившейся возможностью, коротким просветом в череде тех жестоких лет. И еще: ИФЛИ — это дух времени, само протекание которого было историей».

По-моему, характеристика Е. Ржевской сути ифлийства была куда ближе к понятию масонской ложи, нежели мое истолкование.

За истекшие 20 лет сущность ИФЛИ настолько раскодирована и разгадана, что все тайное, на что намекала Ржевская «посвященным», давно уже стало явным.

Из воспоминаний Д. Самойлова 80-х годов:

«ИФЛИ был задуман, как Красный лицей, чтобы его выпускники со временем пополнили высшие кадры идеологических ведомств, искусства, культуры и просвещения. Это осуществилось только отчасти. Помешала война, на которую пошло много ифлийцев, а также старомодный (сложившийся в 20-е годы. — *Ст. К.*) *подбор студентов, где почти не учитывался национальный признак...»*

Туманно выразился Д. Самойлов. С одной стороны национальный признак не учитывался, в том смысле, что об этом не принято было говорить. С другой стороны, он на деле присутствовал, поскольку добрая половина ифлийцев были еврейского происхождения. Об этом Самойлов, с присущей ему толерантностью, даже в дневниках не стал говорить открытым текстом, а написал так: «*Компанию сейчас кое-кто называет «ифлийцами»* (думаю, что он имел в виду меня. — *Ст. К.*), *вкладывая в это понятие оттенок социальной и даже национальной неприязни»*.

А вот уже совершенно открыто, безо всяких намеков, пишет об ИФЛИ в сентябрьском номере журнала «Знамя» за 2006 г. закадычный друг Давида Самойлова Борис Грибанов (1920—2005):

«Об ИФЛИ написано и рассказано многое. Этому способствовало то обстоятельство, что когда началась Великая Отечественная война, институт был ликвидирован, слит с Московским университетом. Уход в небытие такого известного и престижного института, каким был ИФЛИ, породил немало легенд.

Кое-кто даже сравнивал ИФЛИ с Царскосельским Лицеем. Впрочем, возможно, что такая параллель мелькала в мозгах тех немногих образованных людей, стояв-

ших у власти, которым была поручена организация этого института. Это были единицы в толпе малограмотных вождей, у которых за плечами было в лучшем случае два-три класса церковно-приходского училища...»

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что ИФЛИ, созданный в сентябре 1934 года, строился не по воле «*малограмотного вождя*» (Сталина. — *Ст. К.*). Но по чьей? Может быть, по чертежам «образованных» профессиональных революционеров — Зиновьева, Каменева, Бухарина? Или по разработкам деятелей Коминтерна Карла Радека, Бела Куна, Иосифа Пятницкого-Тарсиса?

Как бы то ни было, с первых же лет институт стал необычайно популярным. Из воспоминаний Бориса Грибанова:

«*Место для института нашли не в центре, а за городом, за Сокольниками, был отобран первоклассный профессорско-преподавательский состав — из числа тех, кто не был расстрелян в годы Гражданской войны и не уехал в эмиграцию* [...] (о любимом профессоре ифлийцев Л. Пинском Самойлов пишет в своих воспоминаниях так: «*В старину он стал бы знаменитым раввином, где-нибудь на хасидской Украине*». — *Ст. К.*). *Была в ИФЛИ еще одна отличительная черта — обилие среди студентов детей высокопоставленных партийных руководителей: институт был элитный, и в него поступали сыновья и дочери наркомов, деятелей Коминтерна, комкоров*».

А дальше Грибанов говорит вроде бы странные вещи — институт, созданный для воспитания государственной элиты, правящего сословия вдруг начинает уничтожаться самой властью: «*Расплата не заставила себе долго ждать. Родители исчезали в черной дыре Лубянки, а детям оставалась постыдная участь: подниматься на трибуну 15-й аудитории ИФЛИ, где проходили главные лекции и комсомольские собрания, и отрекаться от своих отцов и матерей*».

Кто же были эти «отцы и матери» и каким детям приходилось отрекаться от них? Об этом вспоминает еще

одна ифлийка, которую я знал по писательской жизни 60—70-х годов, Раиса Либерзон-Орлова, чьим последним мужем был известный публицист Лев Копелев. Их обоих уже нет на этом свете. Пламенные ифлийские революционеры 30-х годов, ставшие эмигрантами в 80-х, нашли успокоение в немецкой земле. Но их книги, недавно вышедшие в России, проясняют многое из жизни ифлийства.

«*В ИФЛИ поступали сыновья и дочери высокопоставленных тогда отцов — Лев Безыменский, Хана Ганецкая, Ирина Гринько, Муза Егорова, Наталья Залка, Марина Крыленко, Агнесса Кун, Олег Трояновский. Для сегодняшних читателей скажу без подробностей, что это были дети высших деятелей Коминтерна, наркомов, дипломатов*». А еще Орлова-Либерзон вспоминает Чаковского, Самойлова, Солженицына. Самойлов в своих воспоминаниях дополняет этот список именами Юрия Левитанского, Елены Ржевской, Исаака Крамова, Семена Гудзенко, Григория Померанца, Льва Осповата, Александра Крейна,Льва Копелева, Павла Когана, Игоря Черноуцана и тем самым подтверждает свое же наблюдение о том, что при наборе в ИФЛИ «*почти не учитывался национальный признак*», что можно понимать лишь таким образом: русских студентов в ИФЛИ или почти не было (по крайней мере, в «самойловском» списке) или они представляли в нем крохотное нацменьшинство.

«**У нас,** — вспоминает Раиса Орлова-Либерзон, **— царил культ дружбы. Был особый язык, масонские знаки, острое ощущение «свой». Сближались мгновенно, связи тянулись долго»...**

«Необъяснимо, чем влекли слова «флибустьеры», «веселый Роджерс», «Люди Флинта». Они перекликались с Гумилевым, Грином, Киплингом, но все это про нас».

Поразительно, что ифлийцы жили Киплингом и Грином, но не вспоминали ни о Шолохове, ни о Есенине, ни о Булгакове, ни о Платонове. Словно инопланетяне. Даже Блок и Ахматова, даже Клюев с Мандельштамом не интересовали их. Более того, как откровенничает Самойлов:

«У нас заканчивали образование Твардовский и Симонов, но не они нравились ифлийской элите. Больше нравились свои». (Вот так-то. Даже Симонова, видимо, за его «государственничество», ифлийцы не считали своим.)

«Марк Бершадский был принципиальным носителем ифлийского вкуса. В прозе это был Бабель, Олеша, Ильф и Петров, и Хэмингуэй. В поэзии Пастернак»... «В ИФЛИ знание Пастернака было обязательным признаком интеллигентности».

* * *

Выбор работы и условий жизни даже после 1937 года для уцелевших ифлийцев был просто роскошным. Из воспоминаний Р. Орловой-Либерзон: *«Выпускники 1939, 1940, 1941 годов не искали работы — работа искала выпускников. Я заполняла анкеты в десяти учреждениях, среди них ЦК, Наркоминдел, Совнарком. У меня, как и у большинства из нас, была возможность выбора».*

Условия жизни нэповского детеныша Самойлова не были для ифлийской элиты какими-то исключительными. Семья Раисы Орловой-Либерзон жила не хуже — в одном из лучших по тем временам домов Москвы (ул. Горького, д. № 6, напротив телеграфа). По словам Орловой, квартира была в *«сто квадратных метров»*, несколько комнат. В одной из них, естественно, жила русская няня-домработница.

«Звали ее классическим именем Арина, но для всех в доме она была просто «няня». Она прожила у нас 20 лет».

Конечно, обихаживать стометровые квартиры и дачи, накрывать яствами столы в Москве и за городом, а во время нашествия гостей с утра до вечера мыть посуду, что делала на моих глазах в Мамонтовке женщина в белом платочке, — было непосильным делом для матерей Дезика Кауфмана или Раисы Либерзон. А потому еврейские состоятельные семьи той эпохи обязательно имели домашних работниц. Их можно было выбирать из женщин, толпящихся в очередях на биржах труда, они сами бродили

по городу, стучались в двери хороших домов и, выброшенные, вытесненные из своих деревень железной метлой коллективизации, голодом 1931—1932 года, напрашивались на любую работу, даже за харчи... Да и многие девушки из дворянских фамилий, лишенные прав из-за классового происхождения, готовы были на все и становились няньками, кухарками, экономками, содержанками сначала нэповской, а потом и вообще советской чиновничьей знати. (Читайте роман «Побежденные» И. В. Римской-Корсаковой.)

Отец самой Раисы Орловой-Либерзон был крупным издательским чиновником. Ездил в 20—30-е годы для переговоров к Горькому на Капри, потом работал во Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей (знаменитом ВОКСе), куда к нему после окончания ИФЛИ пришла в сотрудники дочь. У него, как вспоминает она, **«был пистолет», «в период хлебозаготовок, куда его посылали, он получил право на владение оружием».** Последний муж Орловой Лев Копелев так же, как и еще один ифлиец Александр Чаковский, «раскулачивал» русское крестьянство и тоже **«имел право владеть личным оружием»** (Р. Орлова). Чувства вины перед своими собратьями по перу из раскулаченных семей — Михаилом Алексеевым, Александром Яшиным, Виктором Астафьевым — Копелевы и Либерзоны никогда не испытывали, ни до XX съезда партии, ни в «оттепель», ни в 60-е годы, ни в перестройку.

Честная исследовательница советской истории еврейка Соня Марголина в книге «**Конец Лжи: Россия и еврейство в XX веке**» писала об этой трагедии так: «**В конце 20-х годов впервые немалая часть еврейских коммунистов выступила в сельской местности командирами и господами над жизнью и смертью. Только в ходе коллективизации окончательно отчеканился образ еврея, как ненавистного врага крестьян — даже там, где до тех пор ни одного еврея и в лицо не видели**»[1].

---

[1] *Sonja Margolina.* Das End der Lьgen Rusland und Juden in Jahrhundert. S. 84.

«Раскрестьянивая» крестьянство, эти «комиссары коллективизации» вольно или невольно создавали армию беженок из русской деревни, которые и становились их бесправными домработницами. Одной из них была и моя мать Александра Никитична Железнякова, оставившая мне в наследство после своей смерти несколько страничек воспоминаний.

«Моему сыну Станиславу.

Это было трудное время. Первые годы после революции. 1920 год. У нас умер отец от сыпного тифа, а мать переболела им и стала разъезжать по России, и менять одежду и вещи на хлеб. Даже в Ташкент ездила. Нас было четверо детей. Мне в это время было 12 лет. Жили в Калуге. И вот однажды к нам приходит еврейка, молодая женщина, и просит мать отдать меня к ней в няньки. Эта еврейка была женой бывшего владельца кожевенного завода, Кусержицкая Евгения Александровна. Муж ее Яков Захарович уезжал из Калуги часто по каким-то делам в Москву. Моя мать обрадовалась, что меня не надо кормить дома, так как мы голодали, голодала вся страна, а у Кусержицких я за хлеб стала нянькой. Девочке Розе было три года, а Рите что-то около года, она еще не умела ходить. Мне приходилось рано вставать и бежать к Кусержицким, заниматься с детьми.

Кормили меня отдельно от детей, но я была и этим довольна, так как дома, когда мать уезжала на долгое время, у нас кроме картошки ничего не было. У Кусержицких же я даже узнала вкус сыра. Очень черствого, но вкусного. Я ходила с Розой к раввину, когда резали кур, но самое неприятное было в том, что Евгения Александровна всегда заставляла меня караулить квартиру из трех комнат, хорошо обставленную мягкой мебелью, с большими зеркалами, с очень красивыми кроватями, с подушками в кружевах. Она, видимо, боялась, что кто-нибудь залезет к ним, и потому я почти не гуляла по улице, а сторожила квартиру, сидя на большом сундуке, покрытом ковром. Иногда летом мне очень хотелось на ули-

цу, и тогда я, забрав Розу и Риту, отправлялась к себе домой, там мы играли во дворе вместе с моим братом Сергеем и двоюродным братом Васькой. Так продолжалось больше двух лет. За все это время я только завтракала и обедала у Евгении Александровны. Никакой платы она за меня моей матери не платила. В 1924 году они уехали в Москву. Яков Захарович был каким-то акционером. Евгения Александровна и я с тремя детьми (у них родился сын Илья) жили на даче в Мытищах. Занимали дом с мезонином из четырех комнат с террасой и садом. Иногда из Москвы приезжал Яков Захарович с какими-то мужиками, хорошо одетыми и долго о чем-то совещались, спорили. Я с Розой и Ритой занимала комнату, куда каждый вечер Евгения Александровна приносила большую шкатулку, очень тяжелую, и ставила ее на мою постель под подушку. Мне было неудобно спать, и я передвигала шкатулку выше подушки к стенке кровати. Но Евгения Александровна сердилась и говорила, чтобы я не трогала шкатулку.

Утром она убирала шкатулку в свою комнату. Однажды Роза, которой уже было около шести лет, открыла шкатулку, и я увидела в ней очень много золотых монет, цепочек, браслетов и колец. Откуда все это у них было — я не знаю. В Калуге этой шкатулки не было. И все же кто-то знал, что они живут богато. Однажды ночью к нам забрались жулики, украли из буфета все столовое серебро, что-то украли из комнаты Якова Захаровича. Вот тогда я поняла, под какой угрозой находилась моя жизнь. Ведь если бы жулики проникли в нашу комнату, то, конечно бы, могли найти шкатулку с золотом, которая находилась в моей кровати. После ограбления Евгения Александровна меня, девчонку, не знавшую дороги в Москву, послала на станцию Перловка, откуда я дала по ее записке телеграмму Якову Захаровичу в Москву. Но никаких украденных вещей они не нашли, а в сентябре месяце собрались уезжать в Германию и начали уговаривать меня поехать с ними, обещая меня учить и сделать членом своей семьи. Я разревелась — соскучилась по Калуге, по

своим домашним и отказалась ехать в Германию. Тогда Яков Захарович велел жене меня собрать, дал мне какое-то платье Евгении Александровны, несколько пар чулок, резиновый мяч — вот и все, и меня отвезли на Киевский вокзал, откуда я добралась до Калуги.

В 1928 году Кусержицкие вновь приехали в Калугу и сняли первый этаж из шести комнат на Смоленской улице.

Я уже была студенткой Института физкультуры. Они пришли к нам и опять начали уговаривать мою мать, чтобы мне ехать в Германию. Мать, конечно, отказала им, сказав, что я уже большая и учусь в институте, получаю стипендию и сама зарабатываю во время каникул деньги. Евгения Александровна стала мне рассказывать, как хорошо они живут в Германии, что Яков Захарович имеет собственную фабрику, но я была уже комсомолкой, и меня совершенно не интересовали ихние собственные фабрики в Германии. Прожив около одного года в Калуге, когда нэп пошел на убыль, Кусержицкие уехали в Германию, и я о них уже ничего не слышала. А вот откуда у них было столько золота в шкатулке — черт их знает. Видимо, оно осталось у них с дореволюционных времен, их совершенно не коснулись голод и разруха, которые испытывали в эти годы рабочие и интеллигенция России. И понятно, почему они сразу же после прекращения нэпа уехали в Германию. Те люди, которые приезжали к ним в Мытищи на дачу, по-моему, тоже были богаты. Они были хорошо одеты, с кольцами на руках, с золотыми цепочками и часами на жилетах. Помню, как однажды эти господа приехали даже на автомобиле. К сожалению, я не понимала, на каком языке они разговаривали, так как я кроме русского языка никакого другого не знала».

* * *

Однако «ифлийство» не было ни партией, ни масонской ложей. Оно было кастой. Когда Сталин узнал, что осенью 1941 года в «запасной столице» СССР — Куйбышеве для эвакуированных школьников из семей столичного

бомонда организуются такие же особые школы, как в Москве, он в сердцах произнес: «Каста проклятая!».

А между прочим, до 1937 года и даже после него «каста проклятая» надеялась, что власть рано или поздно естественно и автоматически перейдет к ней. Особые школы, особый «красный» лицей, — все, казалось, было «на мази», но закончилось, по словам Елены Ржевской, «неосуществившейся иллюзией».

Эти потенциальные управители государства во второй половине 30-х годов проглядели плавный поворот истории. Сталинская верхушка без громких деклараций отказалась от курса на мировую революцию, вполне резонно сообразив, что вместо «красной» Европы, во многом сочувствовавшей нам в 20-е годы, она, эта Европа, постепенно превращается в коричневый материк и готовится к «дранг нах Остен». А потому ставка на коминтерновскую часть советского истеблишмента бесполезна и даже опасна, учитывая, что она, эта часть, тайно молится на Троцкого. Отсюда следовало, что и дети «пламенных интернационалистов», сгрудившихся в ИФЛИ, лишены политического будущего. Когда политические процессы 1936—1937 года вызревали в чреве истории, Сталин в это время уже запустил механизм по созданию новой государственной элиты из простонародья и сделал ставку на людей дела — Жукова, Чкалова, Шолохова, Стаханова, Косыгина, Байбакова, Судоплатова и им подобных. Надежды ифлийцев на то, что они скоро получат рычаги управления идеологией в свои руки, рухнули. А надежды эти были, ими питались даже такие «неполитизированные» люди, как Давид Самойлов:

«*Чего мы хотели? Хотели стать следующим поколением советской поэзии, очередным отрядом политической поэзии, призванным сменить неудавшееся, на наш взгляд, предыдущее поколение*».

Далее Дезик перечисляет «неудачников» — Твардовского, Исаковского, Симонова, Смелякова, Павла Васильева. О Мартынове, Прокофьеве, Тихонове и даже Заболоцком — он не вспоминает. Ифлийцы не любили советских

поэтов с русской национальной прививкой: «*Все они для нас были одним миром мазаны,* — продолжает Самойлов свои воспоминания. — *Их мы собирались вытолкнуть из литературы. Мы мечтали о поэзии политической, злободневной, но не приспособленческой.*

Нам казалось, что государство ищет талантов, чтобы призвать, пожать руки и доверить. Мол, действуйте, пишите правду, громите врагов, защищайте нас. Те не годятся. Но теперь есть вы. Входите, ребята, располагайтесь в литературе. Вот как мы представляли себе схему ближайшего будущего и тщательно готовили себя к высокой службе государственных поэтов. Разочароваться не успели. С этими идеями ушли на войну»... «*В наибольшей готовности находился Слуцкий. И долго еще находился. Уже после войны сказал мне:*

— Я хочу писать для умных секретарей обкомов».

Конечно, эта программа уже была иной, нежели когановская — «*Но мы еще дойдем до Ганга*». Но тот же Слуцкий, написавший в 50-е годах: «*готовились в пророки товарищи мои*», вольно или невольно задним числом согрешил против исторической истины: «товарищи» готовились не к тому, чтобы пророчествовать, а чтобы управлять и властвовать. Они, в сущности, жили теми же чувствами, что и предшествующее поколение, о котором Аделина Адалис в 1934 году с восторгом писала: «*Мы чувствовали себя сильными, ловкими, красивыми. Был ли это так называемый мелкобуржуазный индивидуализм, актерская жизнь воображения, «интеллектуальное пиршество» фармацевтов и маклеров? Нет, не был. Наши мечты сбылись. Мы действительно стали «управителями», «победителями», «владельцами» шестой части земли*»[1].

---

[1] Однако в ту эпоху среди еврейства находились мыслители, на дух не принимавшие такого рода формулировки: «Все охамившиеся евреи, заполнившие ряды коммунистов, — все эти фармацевты, приказчики, коммивояжеры, недоучившиеся студенты, бывшие экстерны и вообще полуинтеллигенты — действительно причиняют много зла России и еврейству» (*Пасманик Д.* Русская революция и еврейство. Париж, 1923. С. 198—199).

Одним словом, самые «продвинутые» ифлийцы готовы были строить социализм в отдельно взятой стране, но с условием, чтобы этот социализм был только для них. Идея «дойти до Ганга» зашла в тупик, куда ее совершенно сознательно направил опытный стрелочник. А если кто-то из ифлийцев, к примеру, Кульчицкий еще приветствовал присоединение к СССР Прибалтики (*«Ведь на карте, оставленной Сталиным, на еще разноцветной карте за Таллином пресс-папье покачивается, как танк»*), то выглядела подобная картина историческим абсурдом. Место Троцкого в стихах Кульчицкого занял... Сталин: *«Так встанут над обломками Европы прямые, точно Сталина доклад, конструкции, прозрачные, как строфы, из неба, стали, мысли и стекла»*. Вот какими иллюзиями жили ифлийцы! Если не до Ганга, то хоть до Таллина дошли. Однако, когда самые умные из них поняли, что произошло, что Таллин — это не факт «мировой революции», то Сталину за подмену коминтерновской идеи идеей патриотической они отомстили задним числом всеми средствами, которые остались у побежденных.

* * *

Конечно, у вождя, как и у всех смертных, были слабые места. Какие? Об этом даже Иисус Христос сказал: «Враги человеку близкие его». Но понимать это надо в том смысле, что самые близкие человеку люди настолько отягощают человека своим кровным родством, что не дают ему осуществлять его высшее личное призвание в жизни.

Сталин, как человек, изучавший в духовной семинарии и Новый и Ветхий Заветы, знал эту истину. Но что он мог поделать, этот владыка полумира, если ни жена, ни дети не понимали его? Светлана Сталина, учившаяся в Московском Университете, где я не раз встречал ее в коридорах филфака, всем своим складом натуры, привычками и образом жизни была близка «ифлийству». К тому же в начале войны ИФЛИ объединили с Университетом, ифлийские нравы обрели новую территорию и новых нео-

фитов. Наверное, и роман 16-летней принцессы с сорокалетним режиссером Каплером завязался на этом фоне. Уязвленный отец после ссылки Каплера в Воркуту прилагал немало усилий, чтобы устроить семейную жизнь дочери, выдал ее за сына Жданова, но она уже была поражена «вирусом порчи» и тянулась к светской жизни в «ифлийском» кругу. Там однажды она ненадолго нашла себе мужа — соплеменника Каплера по фамилии Мороз, сына начальника одного из лагерей ГУЛАГа, но вскоре разошлась с ним. Дальше события развивались по законам детективного жанра...

Однажды — это были уже 70-е годы — Дезик в застолье прочитал мне несколько стихотворений, объединенных одним женским именем:

«*А эту зиму звали Анна, она была прекрасней всех*», «*Как тебе живется, королева Анна, в той земле во Франции чужой?*» «*Как живется, Анна Ярославна, в теплых странах? А у нас зима...*»

Когда я вопросительно поглядел на него, маленький красноносый Дезик с самодовольной блудливой улыбкой уточнил, кто такая Анна:

— Светлана Сталина... когда-то у меня с ней был роман.

Дочь Сталина в это время жила в Индии. Именно тогда я понял, как эти немолодые сердцееды, соблазняя некрасивую, рыженькую дочку вождя, подхихикивали над ним, мстя ему за крах своих ифлийских иллюзий, за «дело врачей», за гонения на космополитов, мстили, радуясь бессилию всесильного человека. Наверное, они думали, что он из-за любви к дочери не посмеет взбунтоваться и поневоле смирится с унижением... Но они плохо знали его. А подробности этого романа я узнал лет через тридцать после вышеупомянутого разговора с Дезиком, когда прочитал воспоминания Бориса Грибанова о Самойлове («Знамя», № 9, 2006). Грибанов рассказывает о том, как невестка Анастаса Микояна, с которой он работал в издательстве «Детская литература», пригласила его с Дезиком

на семейный праздник в Дом на Набережной. Именно там Самойлов и познакомился с «принцессой». Грибанов повествует о том, что минут через 15 после знакомства и Дезик и Светлана уже были влюблены друг в друга, не обращая внимания на Микояна, они уже «целовались взасос», потом Грибанов уехал, а дальше я цитирую отрывок из его воспоминаний, поскольку пересказывать такие откровения неловко:

«На следующее утро не успел я войти в свой кабинет, как раздался телефонный звонок, и я услышал хихикающий голос Дезика:

— Боря, мы его трахнули! (Дезик употребил другое слово, более емкое и более принятое в народе.)

— А я-то тут при чем? — возмутился я.

— Нет, нет, не спорь, я это сделал от имени нас обоих!»

Все это происходило в конце 50-х годов. Сталин уже несколько лет как покоился в могиле. Бояться было некого. Дезику было лет под сорок, его новой пассии чуть меньше. Что бы ни писал Грибанов — трудно поверить в истинность и стихийность вечерних чувств со стороны ифлийца Дезика, если утром он докладывает своему другу, тоже ифлийцу и убежденному антисталинисту:

«Боря, мы его трахнули... я это сделал от имени нас обоих...» Дезик мог бы еще добавить — и от имени всего нашего еврейского народа, поскольку ситуация копировала зеркально ветхозаветную историю о том, как еврейская девушка Эсфирь соблазняет персидского тирана Артаксеркса, чтобы тот раздавил антиеврейский заговор своего министра-антисемита Хамана, что и произошло, если верить Ветхому Завету. Но в этом сюжете роль соблазнительницы Эсфири играет поэт Дезик Кауфман, роль соблазненного царя Артаксеркса — принцесса Светлана Сталина. А роль грозного Антисемита — врага еврейского народа сам Сталин, уже лежащий в могиле, или тень его... Месть совершилась. «Мы его трахнули» — хоть посмертно, но отомстили, — докладывает Дезик-Эсфирь сво-

ему народу... Не только ее соблазнили, но через нее — ему отомстили.

В разведках всего мира есть агенты, которые работают «по женщинам». Соблазняют их, чтобы куда-либо внедриться, крутят романы, чтобы вызнать вражеские тайны. Вот так один наш знаменитый чекист по фамилии Эйтингон закрутил в 30-е годы роман с некой испанкой Долорес — матерью Раймона Меркадера — будущего убийцы Льва Троцкого. Потом он докладывал своему начальству о том, что задание выполнено. Акция возмездия — завершена. Так и Давид Кауфман доложил своим: символическое возмездие тирану свершилось. На другой день об этом знала вся еврейская Москва. Михаил Светлов глуповато шутил в рифму: «Трудно любить принцесс, ужасно мучительный процесс». То, что Самойлов на другой день после своей победы доложил о ней (не пощадив женской чести) друзьям соплеменникам, было его личным делом. Но знаменательно другое: окружение поэта восприняло его победу как общее торжество. Свидетельством тому был литературный вечер Самойлова, прошедший в Москве в конце 60-х годов. Когда один из выступавших (кажется, тот же Грибанов) сказал, что у Дезика в любовницах были три генеральские дочери и одна дочь Генералиссимуса, сидевший в президиуме Зиновий Гердт («печальный и умный», по словам Дезика) вскочил, как на пружинках, и бросил в зал торжествующую и, с его точки зрения, остроумную реплику: «*Этим генералиссимусом был отнюдь не Чан Кайши!*» И зал, наполненный, в основном, «малым народом», конечно же, взорвался аплодисментами... Пошлая сущность этого сюжета особенно стала явственна для меня, когда в воспоминаниях Самойлова я прочитал, как поэты двурушничали в начале 50-х годов — еще при жизни Сталина: «*подрабатывали мы более или менее регулярно на радио. Слуцкий создавал (?) политические композиции типа: «народы мира славят вождя». Это ему не в упрек, я, например, начинал переводческую карьеру албанской поэмой «Сталин с нами» Алекса Чачи*»... Ну, у

Самойлова дар артистического цинизма был естественен, а Слуцкого жалко. У него была репутация честного и не способного на циническую иронию человека.

В апологетических воспоминаниях Грибанова о Самойлове кроме достоверных сведений содержится, к сожалению, немало пошлостей, а порой и просто глупостей. Женой Самойлова в то время была ифлийка Ляля Фогельсон, дочь известного московского кардиолога Лазаря Израилевича Фогельсона. Этот брак породнил две известные медицинские семьи Москвы — кардиологов и венерологов, но Борису Грибанову дал пищу для следующих размышлений:

«В любви Дезика к Ляле присутствовал некий налет тщеславия: смотрите, какая у меня красавица жена! А может быть, где-то в подсознании мелькали тени Пушкина и Натальи Гончаровой? Отношение Давида Самойлова к Пушкину вообще требует особого разговора. Это были отношения сугубо личные, доверительные. Между ними всегда существовала духовная, поэтическая близость»...

Самойлов не раз амикошонски примерял себя к Пушкину — в стихах «Пестель, поэт и Анна», где Анна была одновременно и королевой Анной, чье имя перекликалось с именем «Светлана»; а вспомним еще его известное изречение о себе и своих друзьях, что они все «из поздней пушкинской плеяды»; есть у него и стихотворение о том, как Державин не желает никого рукоположить в «новые Пушкины» и думая, кому передать лиру, присматривается к некоему безымянному пулеметчику («с пулеметом я лежал своим»).

Это были все не такие уж безобидные шутки, коль его друзья начинали всерьез сравнивать Лялю Фогельсон с Натальей Николаевной Гончаровой... Но я, цитируя эти смешные пошлости, отвлекся от сюжета. О племяннике Лазаря Израилевича Фогельсона и, следовательно, двоюродном брате Ляли, «не уступавшей в красоте Наталье Гончаровой», Грибанов слагает целую оду как о *«челове-*

ке необычном, образованном, крупном строителе, возглавлявшем трест по намывке плотин и получившем за это Сталинскую премию, что было в те годы явлением исключительным, учитывая его еврейскую национальность».

Если бы Борис Грибанов был жив, я бы позвонил ему и сказал: «*Боря! Ну, зачем ты так унижаешь еврейскую нацию! Ничего исключительного в том, что Сергей Борисович Фогельсон получил Сталинскую премию в эпоху борьбы с космополитизмом, дела врачей и ликвидации антифашистского еврейского комитета нет, поскольку в 1949—1952 гг., то есть во время «разгула антисемитизма» лауреатами Сталинской премии стали писатели-евреи: А. Барто, Б. Брайнина, М. Вольпин, Б. Горбатов, Е. Долматовский, Э. Казакевич, Л. Кассиль, С. Кирсанов, Л. Никулин, В. Орлов (Шапиро), М. Поляновский, А. Рыбаков (Аронов), П. Рыжей, Л. Тубельский, И. Халифман, А. Чаковский, Л. Шейнин, А. Штейн, Я. Эльсберг... Их число составляло почти одну треть от общего количества сталинских лауреатов, пишущих на русском языке. Сюда же надо прибавить режиссеров, получивших в те же «антисемитские годы» (1949—1952) те же Сталинские премии: М. Ромм, А. М. Роом, Р. Кармен, Л. Луков, Ю. Райзман, Г. Рошаль, А. Столпер, А. Файнциммер, Ф. Эрмлер. А если вспомнить, что Эрмлер получил 4 Сталинские премии, Ромм — 5, Райзман — 6, — то лучше не поднимать разговора о том, что Сталинская премия еврею в ту эпоху была «исключительным явлением».*

* * *

Многие мои идейные противники в споре об ифлийстве пытались обвинить меня в том, что я зачисляю в эту семью литераторов, которые учились до войны в других вузах и не были студентами ИФЛИ. Но я всегда считал ифлийство не принадлежностью к знаменитому институту, а особым мировоззрением молодого поколения второй половины тридцатых и начала сороковых годов.

Александр Межиров (1924 года рождения), конечно, до войны не мог по возрасту учиться в ИФЛИ, но по мировоззрению он типичный ифлиец. Во-первых, он всегда боготворил пламенных рыцарей мировой революции. Даже в начале 80-х годов прошлого века Александр Петрович все еще клялся в преданности представителям этого клана:

Но сегодня Соня Радек,
Таша Смилга снятся мне...
Слава комиссарам красным,
Чей тернистый путь был прям...
Слава дочкам их прекрасным,
Их бессмертным матерям.

Стихи органически вписывались в кровавое романтическое полотно, на котором красовались окуджавские «комиссары в пыльных шлемах», палач казачества, евтушенковский Якир, протянувший в будущее «гранитную руку» из прошлого[1], где в дымке времени «маячила на пороге» целая когорта комиссаров — Левинсон из «Разгрома», Коган из «Думы про Опанаса», Штокман из «Тихого Дона», Чекистов-Лейбман из «Страны негодяев».

Да и светский быт предвоенной молодежной Москвы был у Межирова такой же, что у Самойлова, у Орловой-Либерзон, у Льва Копелева — кастовый, то есть «ифлийский». Об этом свидетельствует стихотворное воспоминание Межирова «Предвоенная баллада» с эпиграфом из Самойлова: «Сороковые роковые...» Вечеринка московской молодежи, своеобразного истеблишмента («на квартире замнаркома»), «рояль», «полумгла», «шелковые блузки десятиклассниц», «цыганский анапест» Ляли Черной, упоительный вальс Штрауса. И прямо с этого праздника

[1] Е. Евтушенко аж в 1988 году, в разгар перестройки, еще писал: «Продолжится революция и продолжится наш комиссарский род» (в стихотворной книге, вышедшей в Петрозаводске).

жизни «под вальс веселой Вены» дети Арбата или Дома на Набережной отправляются:

Шаг не замедляя свой,
Парами в передвоенный
Роковой сороковой.

И на войну межировский герой уходит от ипподромных страстей, от ифлийско-эпикурейского образа жизни («меня писать учили Тулуз-Лотрек, Дега», «изучен покер, преферанс и фрапп»), от отца с нэповскими привычками:

Отец ворчал, что отрок не при деле,
Зато колода в лоск навощена.
И папироски в пепельницах тлели
Задумчивым огнем... как вдруг война.

Разве не маркитантство (под стать самойловскому рассказу о «солдатах на постое») живет в так называемых военных стихах Межирова:

Мы на Верхней Охте квартируем,
Две сестры хозяйствуют в дому,
Самым первым в жизни поцелуем
Памятные сердцу моему.

Очерк сердца зыбок и неловок,
А стрела перната и мила —
Даты первых переформировок,
Первых постояльцев имена.

....

«Поселились. Пили. Веселились».
Вот и все. И больше ничего.

Картина эта полностью копирует сцену из поэмы Самойлова «Дальние страны», где герой соблазняет молодую немку «водкой», «папиросами», «тушенкой»... Да

и подобно ифлийцам у Межирова была няня, и стихи о ней, вырастившей в 20-е годы маленького заику и сына юриста, весьма знаменательны:

Все, что знала и умела
Няня делала бегом

....

Родина моя Россия.
Няня. Дуня. Евдокия.

Улавливавший в стихах даже самую малую фальшь, Анатолий Передреев, прочитав это стихотворение, холодно заметил:

— Россия-няня? Ну, слава богу, что еще не домработница.

Фальшивый романтизм, определявший перед войной и в самом ее начале характер нашей военной поэзии, быстро, чуть ли не в первые месяцы войны, потерял свой пафос, иссяк, и лишь отдельные его вкрапления иногда встречаются у поэтов самого последнего военного призыва. Любопытно, что Окуджава, лишь в конце 50-х годов дополнивший «обойму» поэтов фронтового поколения, качнулся в сторону этого романтизма, когда тот уже стал глубокой историей:

Но если вдруг когда-нибудь
Мне уберечься не удастся,
Какое новое сраженье
Ни покачнуло б шар земной,
Я все равно паду на той,
На той далекой на гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной.

С течением истории становится все яснее, что гражданская война не менее страшна и губительна для народа, нежели любая другая. Стихи написаны в 1957 году, а ка-

жется — по словам, интонации, настроению — будто они родились в предвоенное время. Поэт явно опоздал примкнуть к ифлийскому братству, но заменил его похожим понятием — «арбатство», посвятив, в сущности, своей малой родине — Арбату — все стихи о войне, в которых основательно смягчил духовный максимализм старших братьев. Его мальчики с Арбата, трогательные и чуть-чуть водевильные, уходят на войну иначе, нежели целеустремленные, поглощенные одной идеей герои Слуцкого и Когана, без эпохальных страстей и переживаний, симпатичной артистической походкой вчерашних десятиклассников, скорее «по-межировски», нежели «по-слуцки».

Наш король, как король,
Он кепчонку, как корону,
Набекрень — и пошел на войну.

Без романтического фанатизма, как бы уходя с театра жизни на театр военных действий, на опасную прогулку.

Вы слышите, грохочут сапоги,
И птицы ошалелые летят,
И женщины глядят из-под руки,
В затылки наши круглые глядят..

Мальчики Окуджавы равно далеки от глобальных идей книжных романтиков и от живой народной стихии, они уходят на войну, как молодые симпатичные солдаты всех времен и народов: «*На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат*», «*Нас время учило: живи по-привальному, дверь отворя, товарищ мужчина, а все же заманчива должность твоя*», — тревожное, эстетически впечатляющее действо, симпатичный маскарад, волнующий душу, это не флибустьерство, но арбатская хемингуэйщина — с обязательным присутствием не матерей, не жен, а «женщин» вообще. У солдат должны быть женщины. «*А где же наши женщины, дружок?*» А где женщины —

там и ревность, и неверность, и измены, — словом, все, что волнует солдата в последние часы перед разлукой.

Вы слышите, грохочет барабан,
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...

Для Окуджавы война не расширила понятие родины. Он остался верен своему Арбату, его замкнутому братству и после войны:

Ах Арбат, мой Арбат, ты мое отечество...

Любопытно сравнить обстоятельства, при которых уходят на войну герои Слуцкого, Самойлова, Межирова, Окуджавы, с проводами новобранца из стихотворения Федора Сухова. Уходит он на войну не от азартного наслаждения покером и преферансом, не от ипподромных страстей и арбатской радиолы... Нет, он прощается с другим миром:

Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.

Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, —
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.

А какая стояла пора!
Лето в полном цвету медовело.
Собирались косить клевера,
Рожь от жаркого солнышка млела.

Поспевала высокая рожь,
Наливалась густая пшеница,
И овес, что так быстро подрос,
Прямо в ноги спешил поклониться.

Заиграла, запела гармонь,
Все сказала своими ладами,
И платок с голубою каймой
Мне уже на прощанье подарен.

В отдалении гром громыхнул,
Весь закат был в зловещем пожаре...
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали...

Здесь мы видим совершенное иное отношение к жизни и войне: никакого энтузиазма, никакого лихорадочного возбуждения, никакой романтической жертвенности, никакого инфантилизма. Юноша, словно бы генами всех живущих в нем поколений, ощущает, что от полнокровной жизни, от счастливого труда на родной земле его оторвала сверхчеловеческая сила, несущая только гибель и горе. За душой у него нет никаких иллюзий, никаких теорий, которые помогли бы ему в страшный час разлуки с родиной, невестой, матерью. «Я прощался с родной стороной, сам с собою, быть может, прощался», «губы мои задрожали», и зарево войны для него никакой не отблеск мировой революции, а «зловещий пожар».

Ну что с них было взять, с питомцев нэпа и певцов Мировой Революции! Крестьянские же их ровесники, выжившие во время поволжского голода 21—22 года и последующего голода эпохи коллективизации, нервным горячкам подвержены не были, но шли, послушные долгу, на призывные пункты, а оттуда, уже мобилизованные, нестройными рядами вливались в действующую армию.

Всю войну Федор Сухов отвоевал как истребитель немецких танков: сначала с противотанковым ружьем, а потом как наводчик противотанкового орудия. Больше двух-трех месяцев, по статистике, эти смертники на фронте не жили. Сухову повезло: он дожил до победы.

А картина его ухода на войну — естественна и правдива, в отличие от высокопарных заклинаний ифлийцев.

Очень точно изложил суть стихотворения Ф. Сухова Вадим Кожинов:

«В чем тайна этого стихотворения? Именно в том, что перед нами не «картина», а цельное огромное переживание. Родина, народ провожают своего сына на войну. И отдельные лица уже неразличимы. Есть стихия Родины, в которой все слилось. Но если вглядеться, угадываешь и все слагаемые этой стихии: «Губы мои задрожали» и «Ничего б не случилось со мной, если б я невзначай разрыдался...» Сквозь это видишь идущую рядом плачущую мать и скорбное лицо отца. А вот и голос друга — гармонь, которая «все сказала своими ладами». И девушка, ибо, конечно, именно она подарила «платок с голубою каймой». И, наконец, рожь, пшеница — то богатство, то добро и красота, в которые веками укладывались и труд, и любовь односельчан, так что это как бы уже живые существа, кланяющиеся в ноги уходящему молодому хозяину.

Мальчишка, — а возраст героя отчетливо выражается в этих «вдруг задрожавших губах», — прощается с Родиной, уходит в зловещий пожар войны. Что ж, может, слаб и боязлив он, если готов невзначай разрыдаться? Герой не сияет на прощание показной белозубой улыбкой. Он по-русски откровенен и открыт и не соблюдает «форму». Но совершенно ясно: больше уже не дрогнут ни губы его, ни рука. Здесь, на пороге родного дома, он уже заранее как бы пережил и преодолел страх смерти, «попрощался сам с собою».

Это — юноша другой походки, другой породы, нежели герой самойловской либо окуджавской лирики. Откликнется ли сердце окуджавского солдатика на слова песни, от которой до сих пор, когда звучит трагическая и величественная мелодия, по спине идут мурашки.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.

Вспоминаю 60-е годы, московские вечера поэзии, где выступал Булат Окуджава («Булатик», как называла его

Белла Ахмадулина). Он выходил на сцену с гитарой наперевес груди и объявлял с тонкой, иронической улыбкой: «Песенка американского солдата»!

Возьму шинель и вещмешок и каску,
В защитное окрашенную краску.
Иду себе, играя автоматом,
Как славно быть солдатом, солдатом.

Совсем другая у него походка, нежели у крестьянских парней — артиллериста Федора Сухова, командира зенитной батареи Сергея Викулова, истребителя танков Михаила Борисова, сержанта пехоты Виктора Кочеткова и многих-многих других тружеников и смертников войны, которые в сумеречный снежный день 7 ноября 1941 года прошли тяжелой, гулкой поступью по Красной площади, навстречу непобедимой доселе фашисткой армаде...

Булатик извлекает из гитары аккорды и поет хриплым тенорком на подмостках Политехнического музея:

А если что не так — не наше дело,
Как говорится, родина велела,
Иду себе, играя автоматом...

Вроде бы симпатичный солдат, из какого-нибудь иностранного легиона. Помню на этих поэтических вечерах лица «детей XX съезда — улыбки, перемигивания, восторженные взгляды — «Во, как врезал наш Булатик этому милитаризованному чудовищу, этим роботам! И молодец, что цензуру обманул: песенка американского солдата! Но мы-то понимаем, о ком он поет, кого в виду имеет!».

* * *

А вот судьба еще одного классического стопроцентного ифлийца.

В 2006 году я вычитал из «Еврейской газеты» (№ 45—46) о том, что в Германии произошло «знаковое» литера-

турное событие: католическому пастору из Швейцарии Хансу Кюнгу была вручена международная премия с девизом «За мир и права человека» имени Льва Копелева. В этой же заметке сообщалось, что существует «Форум Льва Копелева»... Эх, знали бы немецкие правозащитники автобиографию Льва Залмановича, увековеченную им же самим в книге «Хранить вечно»!

В конце 20-х годов наш будущий европейский правозащитник распространял в Москве листовки, «*протоколы и резолюции подпольного центра (троцкистской) оппозиции, проекты воззваний, шифры, списки арестованных*» («Хранить вечно», с. 267).

Попал в ОГПУ, поскольку был молод — не осудили, отпустили. Во время коллективизации уже проводил «сталинскую линию партии» и раскулачивал русскую деревню. Перед войной поступил в ИФЛИ. В годы войны служил майором в политуправлении фронта в десятках километров от передовой и как «германист» сочинял опять же листовки, призывающие немцев сдаваться в плен, а когда мы вошли в Германию, ездил на агитмашине. В конце войны стал ярым поклонником Эренбурга, призывающего уничтожать «немецких самок», а после победы разрабатывал меры отмщения немцам: «*расстрелять придется, может быть, миллиона полтора*» («Хранить вечно», стр. 223). Во время наступления наших войск в Германии вел себя, как классический «маркитант» из стихотворения Самойлова: «*пили с какими-то бойкими паненками*», «*Все эти дни и ночи мы пировали, пели, танцевали*» (до окончания войны было еще несколько месяцев!); «*Горел костер, благоухало жареное мясо... На столике теснились разнообразные бутылки — вина, коньяки, шнапс, — коробки и банки консервов... Мы пировали не спеша*», «*мы ели до отвала, подолгу спали*» («Хранить вечно», стр. 183). А в перерывах между гульбой и застольями наш маркитант и специалист по германской литературе немного мародерничал: в немецких особняках «*обнаружил великолепную библиотеку... Часть библиотеки погрузил в кузов*».

Будущий гуманист и правозащитник, имени которого сейчас в Германии существует международная премия, обнаружив весной 1945 года в одном из взятых нашими войсками поселков тяжело раненную немецкую женщину и не подумал о том, чтобы помочь ей, разыскать медиков... Нет, он начинает осуществление своего плана по расстрелу «*полутора миллионов*» немцев. Ну, конечно же, как политработник, чужими руками, и отдает приказ своему подчиненному: «*Сидорыч, пристрели! — Это я сказал. Приказал от бессилья*». Таков автопортрет гуманиста, поклонника Гёте и Шиллера, выпускника «Красного лицея» — ИФЛИ... Так что, когда Самойлов писал о своих ифлийских товарищах, «мы в сорок первом шли в солдаты и в гуманисты в сорок пятом», — он по отношению к себе и Копелеву неточен: в сорок первом в солдаты он не пошел, а в какие гуманисты «в сорок пятом» пошел его друг Копелев — судите сами.

Кстати, так же, как и Копелев, идеями и лозунгами Троцкого и его соратников в конце 20-х годов был увлечен настоящий мученик и страдалец эпохи Варлам Шаламов. Но, в отличие от молодого Копелева «ифлийца» из Шаламова не вышло — в 1929 году его посадили всерьез и надолго. Три года лагерей и пять лет ссылки. Сам Шаламов об этом вспоминал так: «**Приговор был громовый, оглушительный, неслыханный по тем временам — Агранов и Черток решили не стеснятся с «посторонним»... Только концлагерь. Только каторжные работы. Только клеймо на всю жизнь, наблюдение на всю жизнь».**

Нет сомнений, что под словом «посторонний» Шаламов подразумевает слово «русский», потому что он знал, что все его «подельники» — молодые троцкисты «еврейского происхождения» (вроде Копелева) через полгода после процесса вернулись в Москву. И тем лживее воспринимаются кадры из недавно показанного по ТВ 12-серийного фильма «Завещание Ленина» о судьбе Шаламова, когда мы видим, что все его мучители: следователи, кон-

войные, инспектора ГУЛАГа — русские садисты, бьющие сапогами в лицо священников, насилующие женщин, расстреливающие в затылки заключенных... словом — вологодский конвой, куда ни глянь, русские держиморды. Один только на его лагерном пути встретился хороший начальник Эдуард Берзинь — да и тот латыш. Да еще один симпатичный зэк встречается Шаламову в лагере, конечно же, еврей. А то, что «постороннему», то есть русскому Шаламову два еврейских чекиста, стоявших на вершинах карательной власти, Агранов и Черток припаяли три года лагерей и пять лет ссылки, с чего и начались его круги ада, — об этом в сценарии, написанном сегодня их соплеменником Арабовым, конечно, ни слова.

Кстати, перед демонстрацией фильма в июне 2007 г. телевидение устроило встречу съемочной группы, куда был приглашен друг Самойлова по ИФЛИ Григорий Померанц, профессиональный диссидент. Так вот на этой встрече престарелый ифлиец громогласно на всю Россию заявил, что при Сталине сидело в лагерях 19 миллионов человек и 7 миллионов политических было расстреляно.

Все историки, изучавшие сталинскую эпоху после того, когда были обнародованы документы, касающиеся деятельности ЧК-ОГПУ-НКВД, организации ГУЛАГа, сходятся во мнении, что с 1921 по 1956 год было арестовано и сослано в лагеря по политическим мотивам не более 2,5 миллиона граждан, и что за этот период было вынесено около 700 тысяч смертных приговоров, но и они не все были приведены в исполнение.

Можно лгать, но не так чудовищно, преувеличивая число заключенных в 7 раз, а число расстрелянных в 10!

Когда я услышал этот ифлийско-диссидентский бред Григория Померанца, то подумал: евреи придумали в Европе закон, по которому все, кто ставит под сомнение сакральную цифру Холокоста — 6 миллионов уничтоженных в Европе евреев, — и пытается порой весьма убедительно доказать, что их было не 6 миллионов, а 5 или 3, все эти историки подлежат уголовному преследо-

ванию. И несколько таких процессов в Европе уже прошло. Нельзя, оказывается, искажать численность еврейских потерь во времена европейского фашизма и европейского антисемитизма.

А чем мы хуже? Мы тоже можем принять похожие законы, по которым за куда более чудовищное искажение цифр, обозначающих наши советские, российские и даже русские потери, должно преследовать клеветников и фальсификаторов. Прецедент — европейский закон о Холокосте, есть. Так почему же нам не воспользоваться этой юридической нормой? Но тогда на скамью подсудимых надо сажать «ифлийцев» Померанца и Солженицына, целую армию лжеисториков и журналистов, кучу шестидесятников...

* * *

Раиса Орлова-Либерзон в своей книге «Воспоминания о непрошедшем времени» с восхищением вспоминает, что когда началась финская война, имеющая лишь одну цель: отодвинуть перед грядущей страшной войной с объединенной фашистской Европой границу от Ленинграда — второй столицы страны, она в какой-то компании встречала новый 1940 год, и молодая девушка (имя ее Орлова не называет) подняла тост «за наше поражение!». Орлова восхитилась: *«ее»* (эту девочку. — *Ст. К.*) *воспитала собственная трезвая мысль, зрячие глаза, способность задавать вопросы».*

Такого рода настроения не были исключительными в кругах тайной антисталинской касты. Известная революционерка Анна Берзинь, с чьим уголовно-политическим делом я познакомился, работая над книгой о Есенине, уже в 1935—37 годах на сборищах «касты», происходивших на квартире у нее и ее мужа, польского еврея Бруно Ясенского, шла много дальше:

Из дела А. Берзинь: *«Как видно из агентурных данных, обвиняемая вела резкую пораженческую антисоветскую пропаганду. Она говорила: «Нет, уж лучше открыть*

фронт фашистам, чем воевать», «я воспринимаю эту власть, как совершенно мне чуждую. Сознаюсь, что я даже злорадствую, когда слышу, что где-то плохо, что того или другого нет... За существующий режим я воевать не буду», «В свое время, в гражданскую войну, я была на фронте и воевала не хуже других. Но теперь мне воевать не за что... Все мои товарищи по фронту арестованы, а я буду воевать? Нет, уж лучше открыть фронт фашистам...» «Мы сами, это мы сами во всем виноваты. Это мы расстреляли наших друзей и наиболее видных людей в стране... В правительстве подбираются люди с русскими фамилиями. Типичный лозунг теперь — «мы русский народ». «Все это пахнет черносотенством и Пуришкевичем».

Не случайно Р. Орлова в своей книге воспоминаний пишет об А. Берзинь:

«В 1956 году у меня возникли кратковременные приятельские отношения с Анной Берзинь — вдовой Бруно Ясенского, вернувшейся тогда из лагеря». Люди этого склада — независимо от того, какие поколения они представляли, — безошибочно находили друг друга.

Мысли Раисы Орловой-Либерзон порой почти дословно перекликаются со словами Анны Абрамовны Берзинь. И как бы продолжают их, хотя в 30-е годы они не знали друг друга:

«В годы войны закончился процесс, начатый раньше. СССР становился Россией — великой державой. Были введены погоны, офицерские звания, раздельное обучение, новый закон о браке, распущен Коминтерн, «Интернационал» заменен новым гимном... Гасли последние отблески костров семнадцатого года. Большинство людей, как-либо воплощавших революционные порывы, были еще раньше уничтожены во время большого террора» (из воспоминаний Р. Либерзон-Орловой-Копелевой).

А после войны в «Общество культурных связей с заграницей», где работала Орлова, по ее словам, *«пришли мужчины самоуверенные, невежественные, украшенные (?! — Ст. К.) боевыми орденами», «начальники но-*

вой формации», «они Европу завоевали, что им захудалый ВОКС», — иронизирует благополучная ифлийская функционерка... Да что там Орлова! И в наше время бывшие ифлийцы, сегодня 90-летние старики, даже побывавшие на фронте, до сих пор плачут, словно евреи на реках вавилонских, об утрате ифлийского счастья и о том, что после войны места, им предназначенные, начали занимать тупые, грубые, малообразованные аборигены, то есть русские. 23 февраля 2005 года я услышал по радиостанции «Свобода» беседу корреспондента с А. Черняевым — самойловским однокашником по московской элитной школе и бывшим помощником М. С. Горбачева. Передача была посвящена Дню Советской Армии (защитника Отечества) и будущему 60-летию Победы.

Вот что я успел записать за «ифлийцем», закончившим войну, естественно, в крупной должности:

«*Я не воспринимаю 9 Мая как национальный праздник... Школа у нас была особая. Из 15 человек нашего класса трое было на войне — Дезька — будущий гениальный поэт, Лева Безыменский — великий журналист и я — заместитель начальника штаба. Остальные работали в тылу.* (Не слабо! — *Ст. К.*).

Пришло пополнение, ребята с волжских берегов из мещанской среды, невежественные. Я не воспринимаю 9 Мая как национальный праздник, это сплошной пиар.

Таких, как наша — три спецшколы было в Москве, мы в вузы поступали без экзаменов».

Вот так относились ифлийцы к победившему народу и к людям простонародья. Это брезгливое нэповское барство в мировоззрении Давида Самойлова высмеял его ровесник и однокашник по ИФЛИ (заканчивал его экстерном) Александр Солженицын, после того, как прочитал посмертную книгу поэта «Перебирая наши даты». Самойлов, по словам А. Солженицына, «*очень обозлен на русских «почвенников», часто пользуется бессмысленной кличкой «руситы»: они* **«из города может быть, из провинциального, захолустного»**, *и именно там они* **«траге-**

дии (1937 года?) **пересидели».** *(Много же знает Самойлов о трагедии малых городов России за большевистское время. Сунься-ка туда, «пересиди»).* **«В 37-м году к власти рванулся хам, уже достаточно к тому времени возросший полународ».**

«И особенно выделяет именно **«ответственность за 37-й год»** *(не сопоставляя ответственность за 1929—1933), после которого утверждает, что* **«власть у нас народная» и «народ лучше всего сохранился»** (жирно выделенные фразы в этом отрывке принадлежат Самойлову).

Защищает Солженицын от злых и завистливых самойловских оценок В. Шукшина:

«Например, о В. Шукшине можем прочесть такое: **«злой, завистливый, хитрый (?), не обремененный культурой»** *(поживи его жизнью), отчего и* **«не может примкнуть к высшим духовным сферам города».**

Особенно возмутило Солженицына следующее рассуждение Давида Кауфмана о русском человеке:

«Мужик нынешний... спекулировать и шабашить готов и... делать это будет, пока не образуется в народ. А сделается это тогда, когда он [...] научится уважать интеллигенцию».

Этот самойловский высокомерный тон привел Солженицына в ярость: *«Мимоходом о словечке «шабашить». Столичный интеллигент, служа в любом идеологическом тресте, получал солидное в сравнении с мужиком вознаграждение — и это никогда не называлось «шабашить». Но стоит простолюдину искать заработать что-нибудь выше колхозных палочек или коммунальному слесарю попросить у хозяина квартиры троячок — это уже «шабашить». Так вот ныне «духовное начало» в изобилии извергается нами из телевидения — и, кажется, не «мужики» всю эту мерзость совершают. И не они убеждали нас в спасительности гайдаро-чубайсовского грабежа. И не мужики, большей частью, создавали коммерческие банки, гнали миллиарды долларов за границу, а сами — на Канарские острова отдыхать. Так кто же это — шабашит?»*

Немало неправды наговорил за свою длинную жизнь Александр Исаевич, но в данном случае спасибо ему, что заступился он, нынешний русский барин, за простонародье, оболганное Самойловым.

В конце своих размышлений о судьбе и творчестве Д. Самойлова Солженицын не оставляет камня на камне от его дилетантских размышлений о народе:

«Народ, утратив понятия, живет сейчас инстинктами, в том числе инстинктом свободы», — пишет Самойлов, а Солженицын комментирует: «*(Вот тут он сильно промахнулся: народ живет инстинктом устойчивого порядка жизни, а инстинктом свободы, «свободы вообще» живет только интеллигенция.)*»

На протяжении всей жизни Самойлов сохранил глубоко вошедшее в его мировоззрение «нэпманско-ифлийское» отношение к простонародью, к почвенникам, к деревенской прозе... Из осторожности он не высказывался на эти темы при жизни, и мы ничего не знали о такого рода его убеждениях, но в 2004 году вышла его переписка с Лидией Корнеевной Чуковской, которая проясняет многое.

В письме от 24.07.1977 Чуковская сообщает Самойлову свое впечатление о романе Валентина Распутина «Живи и помни»:

«Да ведь это морковный кофе, фальшивка с приправой дешевой достоевщины. Я никогда не была на Ангаре, но чуть не на каждой странице мне хотелось кричать: «Не верю!»— по Станиславскому.

Книга столь же мучительно безвкусна, как сочетание имени с фамилией автора: изысканного имени с мужицкой фамилией. Он, видите ли, Valentin! [...] «пейзане ломаются на сцене с фальшивыми монологами».

В ответном письме Самойлов — не только соглашается с Чуковской, но продолжает и по-своему дополняет ее «антираспутинские» заклинания:

«Это литература «полународа», «часть Вашего письма о Распутине читал нескольким друзьям. Они в вос-

торге». Фамилии друзей разбросаны на страницах писем: Копелевы, А. Якобсон, Вл. Корнилов. Конечно, эти — были в восторге...

«Об этой прозе, о «деревенщиках», я сейчас много думаю. И, кажется, приближаюсь к Вашей точке зрения. Что-то с их правдой не так» (февраль 1978 г.)

«Никто — ни Зощенко, ни Олеша, ни Бабель, ни Булгаков — не мог бы угадать, что лет через тридцать у нас возобладает литература «деревенская» и теперь уже «реакционно-романтическая».

Последняя фраза как будто бы взята из печально знаменитой статьи Александра Яковлева «Против антиисторизма»...

Лично у меня с Дезиком отношения были почти дружескими. Работая в 1960—63 годах в журнале «Знамя», я напечатал цикл его стихотворений, а в «Юности» рецензию на книгу «Второй перевал», и этот поступок Дезик оценил с благодарностью, тем более что велеречивых эпитетов я не пожалел: «*Самойлов — один из тех поэтов, которые пытаются найти в окружающем мире гармонические связи и сопротивляются распаду и бессмысленности жизни*». Такие вот были в рецензии красивые фразы. Дезик знал, что я увлечен стихами Слуцкого и благодарен ему за помощь в издании моей второй книги «Звено», редактором которой был Борис Абрамович. Однако Дезик, тем не менее, предложил мне игру, которая заключалась в том, чтобы увести от Слуцкого его способного ученика, то есть меня, к нему, к Дезику. Мы, похохатывая, обсуждали этот план нашей «измены» Борису Абрамовичу, и когда последний узнал об этом, то, улыбаясь в усы, подписал мне свою очередную книжку: «*Поэту Станиславу Куняеву — отпускная (согласно прошению), Борис Слуцкий*».

До этого все свои книги Слуцкий подписывал мне одинаково: «*В надежде славы и добра*».

Дезик же, узнав, что я избавился от «крепостной зависимости», обрадовался и на книге «Весть» поставил ав-

тограф: «*Стасику — от учителя, который не испортил дела*» (перефразировав свою строку: «не верь ученикам, они испортят дело»). А книгу «Равноденствие» сопроводил шутливой надписью: «*Стаху с Галей эту книжку непринужденную без излишку. С любовью. Д. Самойлов*».

* * *

Как мне помнится, на еврейские темы мы с Дезиком всерьез ни разу не говорили. Видимо, оберегая наши отношения. Я не знал, как он отнесется к такому разговору. В стихах его, в отличие от стихов Слуцкого, почти не было каких-либо прямых мыслей из этой сферы. И лишь сейчас, когда вышли книги, мною вышеупомянутые, многое проясняется. Весьма важны воспоминания Дезика о еврействе его отца:

«Он всегда удивлялся, когда его еврейские коллеги жаловались на преимущество русских при распределении должностей и званий. Еврей министр или военачальник казались ему явлением скорее неестественным, чем естественным. А мне он говорил неоднократно, что в русском государстве должны править русские, что это естественно и претендовать на это не стоит».

Одним словом, старорежимный умный еврей Самуил Кауфман при царе жил «по Розанову», который считал, что евреям в Российском государстве можно находиться лишь у подножия трона, но ни в коем случае не претендовать на него и на высшие государственные должности.

Дезик, видимо, понимал эту историческую реальность и по-своему даже осуждал соплеменников, ставших то и дело во время и после революции нарушать этот неписаный закон:

«Тут были и еврейские интеллигенты, или тот материал, из которого вырабатывались [...] многотысячные отряды красных комиссаров, партийных функционеров, ожесточенных, одуренных властью... Им меньше всего было жаль культуры, к которой они не принадлежали».

Здравые суждения. Но в поэзии этой темы Давид не касался. Солженицын был прав, когда написал: «*Еврейская тема — в стихах Самойлова отсутствует полностью*». Однако из совершающейся вокруг тебя истории, из окружения не выскочишь, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», как говорил классик. И конечно же, Самойлов не мог, то ли в силу давления среды, то ли из-за особенностей своей легкомысленной натуры обладать убеждениями отца. С волками жить — по-волчьи выть. Законы стаи, компашки, среды властно давили на гибкую психику поэта.

* * *

И тем не менее остаться в истории литературы русским поэтом Дезик жаждал. В середине 90-х годов я получил по почте из Америки книгу мемуаров моего бывшего знакомого литератора Давида Шраера-Петрова «Москва златоглавая». Я его помнил по 70-м годам и был с ним если не в дружеских, но и не во враждебных отношениях, и «Москву златоглавую», посвященную цэдэловской писательской жизни, прочитал с интересом. Поэтом Давид Петров был никудышным, но тщеславным, и сущность его воспоминаний заключалась в том, что советская власть не давала ему выразить полностью его еврейство и тем самым душила как поэта... В главе о Давиде Самойлове он подробно вспоминает, как пытался разжечь в душе Дезика огонек еврейского национального самосознания, как Дезик отчаянно сопротивлялся его оголтелому натиску и как в конце концов дело кончилось их полным разрывом и отъездом Петрова в Америку, где его «национальное самосознание» расцвело пышным цветом. А отношения Шраера с Самойловым в «Москве златоглавой» изображены так:

«*Я заговорил с ним о реальной возможности писать и публиковать в предполагаемом русскоязычном еврейском журнале стихи и прозу русских писателей еврейско-*

го происхождения... Самойлов сделался грустен и все оглядывался на Пушкина, хотя мы были почти у Никитских ворот. Я не унимался: «Ведь у каждого из нас, начиная с Маршака, Сельвинского, Алигер, Слуцкого есть такие стихи...» «У меня нет таких стихов, Давид», — сказал он и поспешил к остановившемуся троллейбусу...».

А когда Петров в 1979 году подал документы на выезд из СССР и его книгу вычеркнули из планов издательства, у него потребовали вернуть писательский билет и лишили права покупать книги в писательской лавке, то он бросился за помощью и советом к Самойлову. Но Дезик холодно сказал ему: «*А на что вы рассчитывали, Давид? Вы разорвали с системой. Система не прощает...*» Он проводил меня до порога».

Настоящий же момент истины в их отношениях произошел незадолго до отъезда Шраера на Запад. Он приехал попрощаться с Дезиком в Пярну, где в этот день проходил поэтический вечер Самойлова, после вечера они случайно встретились.

«В этот момент из кафе выкатился Самойлов в сопровождении актера Михаила Козакова. Я кивнул Самойлову, не желая останавливаться, потому что он был в тяжелом подпитии. Но, предупредив этот маневр, Дезик схватился за мой рукав и окликнул Козакова: «Миша, ты знаком с Петровым-Шраером?» Козакову было стыдно, он не хотел скандала. Мы были знакомы, хотя и шапочно: «Мы знакомы, Дезик», — уводил он Самойлова подальше от греха. «Вы знакомы? Прекрасно, Миша, может быть, ты знаешь, что этот поэт собирается печатать стихи в Израиле или Америке. Мало ему было России! Но поверь мне, Миша, у него и там не будет успеха! Слышите, Давид, у Вас ничего не выйдет, ни в Америке, ни в Израиле, как не вышло в России!» Козаков с трудом увел разбушевавшегося Дезика».

Но Дезик оказался прав. Ничего не вышло. Шраер был помешан на том, что искал у всех своих знакомых

по-человечески приветливо относящихся к нему, имевших неосторожность похвалить его стихи (порой просто из вежливости) каплю еврейской крови. А уж ассимилированных и желавших искренне вписаться в русскую литературу поэтов еврейского происхождения Шраер-Петров бесцеремонно пытался полностью окрестить в еврейскую веру, сделать отказниками, и даже убежденными сионистами. Мало того, что он решил поработать над подобным перевоспитанием Дезика, как явствует из его мемуаров, Шраер даже во мне заподозрил присутствие семитской крови только лишь потому, что моя мать — чисто русская женщина, дочь крестьянки из калужского села Лихуны Дарьи Щеголевой и отца из деревни Петрово Никиты Железнякова, показалась ему по внешнему виду еврейкой, и он даже воспел ее чуть ли не библейскую красоту в своей книжечке «Москва златоглавая», а меня осудил за то, что я после смерти матери «*освободился*» от ее «*влияния*»: «*Со смертью матери оборвалась его связь с чем-то очень важным*», «*Она лежала в гостиной на тахте, темноволосая, пожелтевшая, с красивым четких линий лицом, похожая чем-то на мать Василия Аксенова... Умирала от рака*».

Здесь все — больные фантазии Шраера. Красавицей моя мать не была; в Москве лежала в моей квартире после того, как сломала шейку бедра; на мать Аксенова Евгению Гинзбург она ничуть не была похожа; и не от рака она умерла, а потому что в Калуге мыла распахнутые окна, упала по неосторожности из окна со второго этажа и сильно разбилась. А что касается ее якобы еврейского происхождения, в чем уверен Шраер, то пусть он прочитает лучше, как калужская девочка служила домработницей в богатой еврейской семье во времена нэпа.

Но Петров-Шраер рвет на себе волосы с горя: как это Стасик, у которого мать похожа «*на мать Аксенова*», выступил на дискуссии «Классика и мы»: «Весь ЦДЛ гудел. Он выступил с шовинистических позиций. Я встретил Куняева через несколько дней в коридоре секретариата СП СССР.

«Стас, что ты такое там говорил! До чего ты дошел! Вспомни о своей матери!»— закричал я». «Вы не понимаете моей позиции, — ответил мне Стасик, — пришиваете мне вульгарный антисемитизм, а это — защита русской литературы». — «От кого?» — «От тех, кто ее разрушает вот уже 60 лет!» — «Ты был лучше защитил ее от цензоров», — закричал я...»

По глупости своей Шраер переживал случившееся горько и безутешно.

* * *

Но отвергнуть притязания Шраера Самойлову было легче, нежели стать подлинно русским поэтом, хотя он многое понимал умом, о чем свидетельствует одна из его дневниковых записей.

«Сионисты или космополиты со своим эгоцентризмом в сто раз честнее, чем наши евреи-диссиденты со своими клятвами в любви к России и русской культуре и со своими жалкими словами о том, что не хотят, чтобы обижали их детей.

Для русского еврея обязанность быть русским выше права на личную свободу...»

Однако ум умом, а кровь кровью, и окружение окружением.

Вот как он вспоминает о своем школьном дружеском окружении 30-х годов:

«Феликс Зигель, Лиля Меркович», «У Лили бывал Юра Шаховской, Люся Толалаева, Илья Нусинов, заходила красивая и очень большая Мила Польстер, Анна Пóльзен, заглядывал Лева Безыменский».

Предвоенный круг самойловских товарищей-ифлийцев я приводил выше. На его фоне русский Сергей Наровчатов и украинец Михаил Кульчицкий выглядели, как две белые славянские вороны.

После войны состав самойловского окружения в силу естественных причин сменился. Не сменились только главные принципы — национальный подбор кадров и кастовая замкнутость.

Дезик с нежностью перечисляет несколько обновленный состав «ифлийцев», которому не удалось в полной мере осуществить довоенную программу единения с властью: известный радиожурналист Юра Тимофеев с женой поэтессой Вероникой Тушновой; драматурги А. Зак и Исай Кузнецов, писавшие дуэтом. Был еще один дуэт — Коростелев и Михаил Львовский. «*Обе эти пары насмешливый Борис Слуцкий называл полудраматургами*». В радушной богемной квартире Юры Тимофеева завсегдатаями были старые друзья — издатель Борис Грибанов с женой Эммой, переводчик Леон Тоом тоже с женой Натальей Антокольской, дочерью поэта, в просторечии именуемой просто Кипсой. Вся эта тусовка собиралась в центре Москвы, рядом со снесенной сейчас закусочной «Эльбрус» и с Литературным институтом. Из «арийцев» был один эстонец — Леон Тоом, который вскоре покончил жизнь самоубийством. Об этой тусовочной компашке Дезик вспоминает так: «*В годы разобщения она была островом дружбы и доверительности*» для деморализованной ифлийской касты.

Мы пели из солдатской лирики,
и величанье лейб-гусар —
что требует особой мимики.
«Тирлим-бом-бом», потом — «по маленькой».
Тогда опустошались шкалики;
мы пели из блатных баллад
(где про шапчонку и халат)
и завершали тем домашним,
что было в собственной компании
полушутя сочинено...

Конечно, туда заходил и мэтр — Павел Антокольский, высоко ценимый средой своих почитателей. Самойлов выделяет его, как одну из опор их духовной жизни.

«Он был умен, высоко одарен, открыт, щедр, прост. Он являл собой удивительный тип интеллигента, уцелевшего в самые страшные годы».

Не знаю, лукавил Дезик или не знал, что Павел Антокольский вложил свой весомый вклад в создание атмосферы еще более страшных для ифлийцев годов — 37-го и 38-го, когда издал книгу стихотворений «Ненависть».

В ней что ни стих — то «антиифлийский» политический перл: Сталин произносит клятву над гробом Ленина, Сталин — лучший друг пионеров, Сталин — избранник народа, и все это завершается поэмой «Кощей», в которой поэт объясняется в любви к НКВД, в ненависти к врагам народа и требует:

Чтобы прошел художник школу
Суда и следствия и вник
В простую правду протокола,
В прямую речь прямых улик,

Чтоб о любой повадке волчьей
Художник мог сказать стране,
И если враг проходит молча,
Иль жмется где-нибудь к стене,

Чтоб от стихов, как от облавы (! — *Ст. К.*)
Он побежал, не чуя ног,
И рухнул на землю без славы,
И скрыть отчаянья не мог.

Не мог этого Дезик не знать, но, как водится, корпоративно-племенные отношения оказались сильнее принципов, и то, что еврейские интеллектуалы не прощали Грибачеву, Софронову или Кочетову, то всегда сходило с рук Симонову, Антокольскому или какому-нибудь Арону Вергелису. Одному только человеку своей крови Дезик не мог простить прегрешения. Я-то думал, что Самойлов не

любит эту известную поэтессу М., как тип местечковой экстремистки. Однако дело было в другом. Она увела его друга Леона Тоома от Кипсы Антокольской. Ну увела и увела — дело обычное. Но Тоом вскоре погиб, и о его гибели Дезик вспоминает так:

«*Тоом откровенно рассказал мне о себе...*

— Я никогда не был так несчастен... — несколько раз повторял он.

Похороны его были немноголюдны... Никто не произносил речей. Не было и поминок. Погиб он, упав из окна своей квартиры, при неясных обстоятельствах. Слуцкий собирался опросить свидетелей его смерти. Но Наталья Павловна (первая жена Тоома. — Ст. К.) просила этого не делать». Самойлов не написал в дневниках ничего больше о смерти Леона, но однажды в минуту хмельной откровенности рассказал мне, что Тоом незадолго до смерти был совершенно измучен тем, что был должен то и дело доставать для своей новой жены очередную дозу наркотиков, а это в советской Москве было делом и безумно дорогим и просто преступным. Не всегда это удавалось Леону, но тогда молодая жена не давала ему пощады. Многие думали, что из-за этого он и покончил с собой. Вот так попрощался Дезик с одним из редких своих друзей неевреев и возненавидел свою одноплеменницу.

Увидев в ресторане ЦДЛ ее сутулую фигуру с горбоносым профилем, обрамленным гривой прямых черных волос, Дезик всегда отворачивался от нее и с ужасом, чуть не плача шептал:

— Ты, Стах, держись от этой ведьмы подальше! Она и поэтесса плохая. И стихов ее не читай!

И все-таки для него друзья-литераторы из своей кровной компашки были ближе, дороже, роднее, нежели «не свои» — талантливые русские люди, в которых он всегда отмечал какую-нибудь червоточинку.

Вот характеристики из его дневниковых записей и писем: «*Приятный умный Эйдельман*»; «*Клейнер читает хорошо. Он вообще один из самых лучших чтецов у*

нас, если не самый лучший»; «приезжал Кома. Славный разговор с взаимопониманием», «Копелев переводит гениально»; «Лева Адлер... умный, хороший, думающий человек»; «Марк Бершадский был талантливый, обещающий юноша, добрый, обаятельный, храбрый»;·«Гердт печален и умен»; «умер Наум Гребнев. Большое огорчение. Это был умный одаренный человек. Он жил закрытой ненавистью и, кажется, никогда не мог подняться над антисемитизмом»; О Л. Я. Гинзбург: «*Она очень умная»;* о Ю. Дикове: «*Он очень мил и любит, кого надо, и не любит, кого надо»;* о Михаиле Козакове: «*умен, незлобив, интеллигентен»;* О. Л. Чуковской: «*Какая она хорошая, точная, умная и наивная»;* о Науме Коржавине: *«Говорили тепло. Он Милый»;* об Иосифе Бродском: «*Скрупулезен в мелочах, иногда в них пронзителен и гениален»; «славный мальчик Леонид Фельдман»; «А. Володин очень талантливый драматург»...* Подобные выписки «о своих» можно продолжать без конца.

А вот что писал Самойлов в дневниках о нас, русских: О Кожинове: «*Он энергичный, честолюбивый ненавистник... Всегда ощущение от его высказываний, что за ними таится еще что-то грубое, корыстное, тревожное и непрошибаемое».*

Вадим Кожинов, находившийся с Дезиком в нормальных человеческих и литературных отношениях, незадолго до смерти обнаружил, что со стороны последнего отношение к нему было фальшивым. Кожинов написал послесловие к сборнику «Свет двуединый», составленному поэтами М. Грозовским и Е. Витковским из стихотворений еврейских поэтов о России, в котором была такая запись:

«Дезик, в свое время, преподнес мне свою лучшую, на мой взгляд, книгу «Дни» с порадовавшей меня надписью: «Вадиму — человеку страстей, что для меня важней, чем человек идей, — с пониманием (взаимным). Где бы мы ни оказались — друг друга не предадим. 1.03.71. Д. Самойлов».

Но прошли годы, и мне показали публикацию «поденных записей» Дезика, где именно 1.03.71 начертано:

«Странный темный человек Кожинов»... И еще одна — не датированная запись: «фашист — это националист, презирающий культуру... Кожинов, написавший подлую статью об ОПОЯЗе — фашист (Д. Самойлов. Памятные записи. — М., 1995 г., стр. 431)».

Кстати, благожелательная дарственная запись Кожинову, которую Самойлов оставил на книге «Дни», была сделана при мне в квартире Вадима, где мы, по приглашению хозяина, выпивали, закусывали и дружески рассуждали о литературе... А ночью после этого Дезик пишет о Кожинове, как о фашисте. Тут поневоле поверишь заповедям «Шулхана Аруха» о том, что гоям можно говорить неправду, обманывать их и что это для еврея не грех...

Приведу еще несколько записей Дезика о русских писателях: «**Чалмаевщина**» — ну это абсолютная терминология ренегата Александра Яковлева; «**балалаечники (Тряпкин, Фокина)**»; «**Печенеги (Глушкова, Куняев)**», об Александре Блоке: «**Человек он был страшноватый**»; «**Перечитываю «Дневник писателя за 1876 год», никак не могу полюбить эту книгу, хотя мыслей там уйма. «Мальчик на елке», «Марей» и «Столетняя», уж очень натужны, как вообще наиграна у Достоевского вера в бога и любовь к народу**»; «**Карантин» В. Максимова. Книга пестрая и невежественная**»; «**Палиевский, Куняев и Кожинов выкинули фортель на обсуждении темы «Классика и современность. Честолюбцы предлагают товар лицом. Люди они мелкие. Хотят куска власти. Интеллигенты негодуют и ждут конца света. Стасик прислал мне книгу с трогательной надписью**».

Я помню, что сделал это сознательно, не без оснований надеясь, что Самойлов внимательно отнесется к дискуссии «Классика и мы» и поймет ее сущность. Однако, судя по дневниковой записи, сделанной по горячим следам, рассчитывать на понимание у него мне не приходилось. Правда, в письме от него, полученном мной после дискуссии, он обо всем высказался гораздо дипломатичнее, мягче, нежели в дневниковой записи тех времен:

«Дорогой Стасик!

Спасибо тебе за книгу, за добрую надпись и за письмо.

Я думаю, что между нами ничего дурного не происходит и ничего дурного не произойдет. Просто по российской привычке все путать, мы путаем мировоззрение и нравственность. Французы уже это превзошли во времена Гюго.

Может быть, нравственный обскурант и безнравственный либерал. Я это хорошо понимаю, и в своих отношениях с людьми исхожу из нравственного, а не из мировоззренческого.

А нравственное, по-моему, состоит в неприятии крови. Слишком много ее пролилось за последние десятилетия. И ради чего угодно нельзя допустить новых кровопролитий.

Кровь ничего не искупает. Она противна культуре. Только тот, кто участвовал в кровопролитии, может это понять.

Свою единственную задачу я вижу именно в этом: утверждать терпимость, пускай я это делаю без должного таланта и понимания искусства. Бог с ним, с искусством.

Призываю и тебя быть терпимее и не возбуждать себя до крайностей.

Будь здоров. Привет Гале.

Твой *Д. Самойлов*».

Я-то думал, что он, гуманист и философ, поймет мой бунт против Багрицкого, осудит вместе со мной страшные идеи местечковых чекистов: *«Но если век скажет «солги» — солги, но если век скажет «убей!» — убей»*. Нет, Дезик ничего не сказал о кровопролитии, которое воспевал и прославлял Багрицкий-Дзюбин: *«Их нежные кости сосали грязь. За ними захлопывались рвы. И подпись под приговором вилась, струей из простреленной головы»*.

Дезик промолчал о той крови, как будто ее и не было. Но осудил меня за то, что якобы мое выступление на дискуссии призывает к кровопролитию.

А в дневнике он сделал совсем уж непотребную запись: «**Апокалиптические слухи. Письмо Куняева, письмо Рязанова. Возбуждение и растерянность, экстремисты требуют крови, и она будет. Провинция прет на Москву, а там некому сопротивляться, кроме узкого круга «столичной интеллигенции»** (Запись от 11.02.1981 г.). Он тогда же написал стихотворение, строки из которого процитировал Давид Шраер-Петров в своей книге: «*А все ж дружили и служили, и жить мечтали заново. И все мечтали. А дожили до Стасика Куняева*».

Постепенно Дезик терял способность к поиску истины, к мужественной мысли, к настоящему спору. Его дневник стал фиксировать всякую мелочь, касающуюся его или его единомышленников:

«*Поносная статья Куняева в «Нашем современнике» против Чупринина», «выпады против меня и Левитанского», «М. Алексеев в «Москве» отказался печатать поносную статью Глушковой против меня». (А между прочим, эта статья — одна из самых умных и глубоких, написанных о творчестве Д. Самойлова.)*

«*Приходил Мезенцев, рабочий из Северодвинска, одержимый поклонник Высоцкого. Ненавидит Куняева, презирает «Наш современник» (1987 г. 17.05).*

«*Статья Глушковой против меня. Глупо. Бездарно. Грязное воображение. Против жидомасонства — шизомасонство*».

Года за два до смерти от страха что ли, когда наши СМИ и ТВ запугивали еврейских обывателей скорыми погромами, у Дезика совершенно явно ожили все еврейские комплексы и в истерической форме выплеснулись на страницы дневника:

«**Если меня, русского поэта и русского человека погонят в газовую камеру, я буду повторять: «Шма исроэл! Адонай элэхейну, Адонай эхад!». Единственное, что я запомнил из своего еврейства»** (4.08.1988 г.). В переводе — начало еврейской молитвы: «Слушай Израиль! Господь — наш Бог, Господь один!» Существуют воспоминания,

что начальник сталинской охраны Паукер, рассказывал Сталину, будто бы когда Зиновьева повели на расстрел, то он читал на древнееврейском слова этой молитвы... Бедный Дезик...

Все последние годы жизни он был тесно окружен идейными диссидентами. Многие из них позже уехали из Советского Союза — Копелев с Орловой в Германию, Григорий Померанц — кажется, во Францию, Дина Каминская и Константин Симис — его старейшие друзья — в Америку, Анатолий Якобсон, которого Дезик почему-то считал чуть ли не первой фигурой нашей литературной критики — в Израиль.

Но выше всех друзей своей второй, «теневой жизни», Дезик ценил Юлия Даниэля.

«31.01.1989 г. (дневниковая запись в Пярну):

«По радио услышал о смерти и похоронах Даниэля. Большое горе. Юлика привел ко мне Андрей Синявский в самом начале 60-х — послушать стихи. Даниэль сразу мне понравился. Юлик был наделен умом, дарованием и обладал приятным нравом. Но главное его свойство — умение точно и безошибочно поступать, как будто без размышлений и колебаний, не вдаваясь в подробности, не мучась сомнениями. Это было нечто вроде абсолютного слуха на нравственный поступок. Я всегда прибегал к его советам по сомнительным вопросам. Он отвечал кратко и сразу: «Я бы так не сделал» или «Я бы сделал так». Это всегда было просто, убедительно и исполнимо. [...] Стихи его не казались мне талантливыми, но всегда были нравственно точны, как и его поступки и все поведение.

Во время процесса Синявского и Даниэля я подписал письмо в их защиту [...] После лагеря он переводил стихи под псевдонимом Петров. Делал и негритянскую работу. Под моим именем напечатана переведенная им поэма Кайсына Кулиева и «Уманские истории» Бажана...»

Нинель Воронель, которую я хорошо помню по 60-м годам, обретшая известность в литературных кругах после перевода «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда,

была близко знакома и с Дезиком, и с Юликом. В своей книге «Без прикрас», вышедшей в Москве в 2003 г. (изд. «Захаров»), она опубликовала целую главу с названием «Дезик и Юлик». И вообще книга любопытна для понимания нравов всей нашей «диссидентуры», внутри которой вращалась Нинель Воронель. К Дезику в Опалиху, где он жил с новой семьей, она приехала по делу.

«Неожиданно — уже не помню по чьей инициативе, — он предложил мне стать его «негром»: то есть писать под его именем халтурные сценарии для радиопьес [...] Для переговоров об этом мы с Сашей и поехали в Опалиху, где у Дезика тогда был собственный дом».

Оказывается, у переводческой мафии в те времена было обычным делом набирать в издательствах огромное количество заказов, распределять их «своим неграм», подписывать переводы своим именем, получать гонорары, видимо, какой-то процент гонорара оставлять себе и т. д. Этим занимался не только Дезик, но и Тарковский, и Аркадий Штейнберг, да и, наверное, многие популярные переводчики.

После таких признаний и даже судебных разбирательств, случившихся, как мне помнится, между Арсением Тарковским и Аркадием Штейнбергом, трудно быть уверенным, что переводы Самойлова или Межирова, Гребнева или Козловского принадлежат именно им, а не их «литературным неграм». Но речь о другом. В своих дневниках Самойлов восхищается *«абсолютным слухом»* Юлия Даниэля *«на нравственный поступок»*. Однако Нинель Воронель, нынешняя гражданка Израиля, с упоением рассказывает в своей книге о нравах, бытовавших в доме Даниэля и его жены Ларисы Богораз. Впрочем, это, видимо, вообще были нравы всей тогдашней диссидентуры, в том числе и героев похода на Красную площадь, совершенного в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию.

Из книги Н. Воронель «Без прикрас»:

«Дом его заполнили толпы какого-то проходящего мимо народа, — собеседников, собутыльников, сексо-

тов, соглядатаев и переменных подружек. Временами начинка его запущенных комнат, обклеенных этикетками выпитых бутылок спиртного, которых становилось все больше, напоминало мне видения из картин Иеронима Босха. Нетрезвые существа обоего пола кучно валялись на полу, свисали со столов и диванов и сплетались в гирлянды. Стайка харьковских поэтов и поэтесс игриво проплывали из дверей в окна, совокуплялись по пути то друг с другом, то с хозяином, то с кем-нибудь из гостей. И всем им, без разбора Юлик читал свои крамольные повести, опубликованные заграницей» (с. 222).

Вот такой «нравственной» жизнью жил похотливо тщеславный герой дневников Давида Самойлова.

Не случайно, конечно в годы либерально-еврейского реванша, именуемого перестройкой, были предприняты отчаянные усилия, чтобы реанимировать, и героизировать ИФЛИ и его питомцев, «вживить» эту касту в общественное сознание, изобразить ифлийцев предшественниками не только либералов-шестидесятников, но и демократов. Не где-нибудь, но именно в «Еврейской газете» (№ 47 — 48 за 2006 год) на полосе под названием «Еврейская улица» была опубликована статья Ларисы Белой «Жил Александр Григорьевич» о литературном критике, ифлийце Александре Когане, посвятившем чуть ли не половину своей жизни созданию сборника об истории «Красного лицея». «*Тридцать пять лет из-за издательской осторожности застойной поры прошло от замысла до выхода в свет книги «В том далеком ИФЛИ»*, «*Александр Коган, — пишет автор статьи, — говорил, как заклинание: не умру, пока не выпустим ИФЛИ. Книга в 1999-м вышла в свет*».

Состоит она, как сообщает «Еврейская газета», из «*собрания замечательных документов эпохи — воспоминаний, писем, фотографий, стихов и прозы ифлийцев*». К сожалению, я не знал об этом издании, но другую книгу, возможно не менее интересную, изучил вниматель-

но. Называется она «Поэтический пантеон победной войны» (изд. 2005 г.). Стихи в этот пантеон собрал и переложил своими статьями и размышлениями Петр Алексеевич Николаев. На страницах сборника сказано, что он «фронтовик», «литературовед», «заслуженный профессор МГУ», «член-корреспондент РАН», «вице-президент Российской Академии Словесности», «вице-президент Международной ассоциации профессоров», «секретарь Союза писателей СССР» и т. д. Я же помню его скучнейшие лекции по истории литературы, с которых в 1952 — 53 годах, мы, студенты 1 и 2-го курса филфака МГУ сбегали из Коммунистической Аудитории целыми группами и оставалось нас от всего курса слушать лекции «Петруши» — как мы его звали — не больше, чем остается депутатов в нынешней Госдуме, во время самых никчемных и пустых ее заседаний.

Однако карьеру при полном отсутствии способностей, выходец из мордовской провинции Николаев сделал удивительную. Цитирую из предисловия к книге: «По многим своим качествам: соединению интереса к прошлому и настоящему, широкой эрудиции, блестящей памяти, он близок академику Д.С. Лихачеву, которого называли совестью нации. Именно Д.С. Лихачев рекомендовал в свое время П.А. Николаева в состав Российской Академии наук. Сегодня Петр Алексеевич продолжает многие научные и просветительские проекты выдающегося ученого, лидера русской культуры в 80 — 90-е годы XX века: руководит изданием многотомной антологии «Шедевры русской литературы», является главным редактором многотомного энциклопедического словаря «Русские писатели, 1800 — 1917 г. г.). П.А. Николаев автор 620 печатных работ, в том числе 18 книг; читал лекции в 48 университетах мира. [...] сближает двух великих русских ученых (Д. Лихачева и П. Николаева — *Ст. К.*) и острое чувство причастности ко всему происходящему». Читал я этот панегирик и глазам своим не верил: вот в кого вырос наш скучнейший аспирант Петруша —

в нового Ломоносова, в советского Белинского, в фигуру под стать гигантам эпохи Возрождения! Как же это произошло? — Но, перелистав книгу до конца, я понял, что помогло Петру Алексеевичу. Конечно, он мог бы сделать вполне приличную карьеру после того, как в начале 80-х выступил в газете «Правда» и показал «идейную порочность» взглядов Юрия Селезнева, а потом проделал ту же операцию с Михаилом Лобановым, опираясь на принципы соцреализма и требования «**Коммунистической партии... в активном формировании нового человека**» (статья «Освобождение» от чего? «ЛГ», 5.1.1983). Но такого рода шельмование честных русских писателей было делом рутинным, больших дивидендов не давало, и Петр Николаев нашел для карьеры более крупные козыри: выгодную женитьбу и любовь к ИФЛИ. О первом факторе Николаев пишет с редким, мягко говоря, простодушием, а вернее с той простотой, которая по русской пословице «хуже воровства»:

«Известно, что в 1920 — 30-е годы люди, желавшие идти во власть, стремились жениться на еврейках и даже пытались изменить имена своих жен с русских на еврейские. С такой женщиной (женой министра путей сообщения Ковалева) мне пришлось однажды откровенно разговаривать о том, почему она свое девичье имя Дарья сменила на Дору. Муж сказал, что он не сделает карьеру, если она оставит свое русское имя» («Политический пантеон» стр.)

Женой мордовского паренька Петра Николаева стала женщина по имени Ирина Иосифовна, дочь медика сталинской эпохи в генеральском звании. Ей не нужно было, как русской жене министра путей сообщений, притворяться еврейкой, с этим — у нее все было в порядке. Недаром ее Петруша еще до необыкновенных карьерных успехов в профессорских, академических и прочих сферах уже в 29 лет, как пишет сам «**великий российский ученый**» «**участвовал в Заседании Центрального Комитета партии в январе 1953 года, где обсуждался**

вопрос с ошеломляющим названием «О трагическом состоянии Советского кино». Мне было 29 лет, я уже работал председателем сценарной коллегии министерства кинематографии и потому был приглашен на это высокое собрание». Ирина Иосифовна занимала крупные посты в Государственном Комитете по печати СССР и все у Николаева было в ажуре, когда бы не одно горестное обстоятельство послевоенных лет:

«И вдруг однажды все переменилось (может быть, дружба с Гитлером и одинаковые эстетические вкусы: в окружении Гитлера и Сталина писали одинаково — как под копирку — статьи о социалистическом реализме), вместо поклонения всему еврейскому в 1940-е годы в общественном сознании стало внедряться сверху, разумеется от вождя, антисемитское воззрение на мир».

Забыл Петр Алексеевич, сколько он сам налудил статей о соцреализме. Да и о «дружбе» Сталина с Гитлером, уже раздавившем в мае 1945 г. во рту ампулу цианистого калия, могут всерьез писать лишь олигофрены. Но поразительнее другое: наш второй Лихачев сокрушается о том, что в 40-е годы **«вместо поклонения всему еврейскому»** начинает **«внедряться сверху... антисемитское воззрение на мир»**. Скучнейший и вреднейший был этот литературный функционер, но чтобы верить, будто **«поклонение всему еврейскому»** в России будет продолжаться до Страшного Суда — это уж слишком...

Впрочем, этих глупостей в его «пантеоне» не счесть: **«У нас в общежитии каждую ночь арестовывали по несколько человек. Начали с тех фронтовиков. Кто имел больше всех орденов. Было такое чувство, что Сталин хотел избавиться от всех участников войны»; «Сталин был трусом, боялся героев войны, победителей»; «Русская литература XX века страдает комплексом неполноценности... Ни одна строка Пушкина, касающаяся Полтавской битвы, или строки Лермонтова о Бородино не могут даже претендовать на сравнение со строками, созданными поэтами — участниками войны**

в 40-е годы XX века» (естественно, это в первую очередь строки Самойлова, Левитанского, Окуджавы, Евтушенко); **«Сталинская эра была эпохой культа безличности»** (Сталин, по его мнению, личностью не был — *Ст. К.*). **«Успели же карательные органы отыскать в Ленинграде более 50 тысяч немцев, родившихся и поживающих в городе и возле него. Большинство из них было вывезено за Урал и потоплено в Иртыше»; «Николай II был гораздо умнее Сталина и советского руководства: в 1914 году он призвал в русскую армию немцев, родившихся в России, и даже назначал их командирами дивизий»; «Решение Сталина выслать всех евреев на Дальний Восток... было продолжением политики царской власти в отношении гонимой нации»; «Генералы везли вагонами немецкий фарфор и другие трофейные ценности и понастроили гигантское количество дач, куда и поместили этот фарфор»** и т. д.

Естественно, что чуть ли не на каждой странице книги прославляется «Красный лицей»: **«До войны она училась в знаменитом МИФЛИ», «Среди погибших поэтов, как уже отмечалось, были немало студентов МИФЛИ. Образ защищаемой родины выступал в образе их любимого института».**

Родина — **«в образе любимого института»**, история которого прославляется на страницах «Еврейской газеты»... Это нечто новое в литературоведении (это сильнее, чем у Вознесенского: «Политехнический — моя Россия»). Да и весь идейно-эстетический багаж нашего академика — ифлийский. И ненависть к Сталину — «ифлийская», и **«поклонение всему еврейскому»** — ифлийское, и любимые строки о войне — **«война гуляет по России, а мы такие молодые»** (Самойлов) или **«мы все войны шальные дети»** (Окуджава) — у него ифлийское, то есть залихватски-маркитанское, **«флибустьерское», «прогулочное»**... Да и Отечественную войну, в которой он сам участвовал, наш мордовский шабесгой сомневается, можно ли называть Великой...

* * *

Последние 15 лет своей жизни Дезик с семьей прожил в эстонском городе Пярну. Как высокопарно пишет о его литературной судьбе вдова поэта Г. Медведева, в это время *«кончился моцартианский период жизни и творчества»* (с кем сравнить Д. Самойлова? Разве что с Пушкиным или Моцартом! — *Ст. К.*). *Поэт осваивает дневниковую прозу, жанр воспоминаний. «Образцом, с постоянной поправкой на недосягаемость,* — по словам Медведевой, — *служили «Былое и думы»*.

Как Герцена в Лондонской эмиграции, его навещают только свои: диссиденты эпохи 70—80-х годов, будущие «демократы», отказники, будущие эмигранты. Круг его общения крайне сужается, говоря современным языком, до «тусовки». Он теперь питается только слухами: «*Приехал Феликс Зигель. Рассказывал о русском фашизме*».

Иногда Дезик делает робкие шаги в сторону активных и настоящих врагов советской жизни, но каждый раз останавливает себя, комплексует, ему и власть уязвить охота и страшно чего-то лишиться. Словом, «и хочется, и колется», а сидеть на двух стульях трудно.

«*Меня, кажется, лишают квартиры за общение с А. Д. Сахаровым*» (роскошную пятикомнатную квартиру он получил через четыре месяца. — *Ст. К.*), «*много говорят о моем вечере на телевидении*», «*не сказать ли мне на вечере речь, после которой меня закроют*» и т. д. Вот красноречивые примеры этих комплексов.

Приняв на себя роль маленького эстонского Герцена, он постепенно утрачивает трезвый взгляд на историю, справедливую оценку прошлого, то есть многое из того, что у него было до эстонского периода жизни, когда, к примеру, он мог записать в дневнике: «*Диктатура Сталина в известной мере сдерживала претензии «нового класса»*. Или о том, как Сталин остановил волну мстительного кровопролития, к которому призывал Эренбург, когда наши

войска вошли в Германию: «*Тут только один Сталин мог удержать нас огромным своим авторитетом*». Или запись о диссидентах-отказниках, объявивших голодовку: «*Плевать им на историю. Сталину было не плевать. Он знал, как с ней обращаться*». А через десять лет как будто совсем другой человек пишет: «*Ясно, что страной управлял маразматик. Но страна этого не знала*».

Отшатнувшись от меня, Кожинова, Палиевского, он не то чтобы впал в «русофобию» — но как будто прививка «русскости» в его существе «рассосалась». Ни одного русского поэта не осталось рядом с ним. Даже о Чухонцеве Дезик сделал несправедливую запись: «*Его слегка русопятит. Как бы совсем не срусопятился*». Не срусопятился...

Валентин Курбатов, к которому по пути в Пярну он часто заезжал в Псков, стал ему тягостен: «*Думал Курбатову писать серьезно. А потом понял, что это бесполезно. «Самородки» сейчас самая безнадежная часть литературы*».

И Рубцова, как «самородка», он тоже не понял и писал о нем в дневнике с неизменной и, возможно, завистливой иронией: «*Его тоже верстают в гении*», «*У нас классиками будут Бажов или Рубцов*».

...Умер он в 1990 году в Пярну на вечере, посвященном поэзии культового поэта всех ифлийцев Бориса Пастернака, среди своих, на глазах у «прекрасного Гердта», умер в звании «*заслуженного деятеля культуры Эстонии*». Будучи одновременно принятым незадолго до смерти в Пен-клуб.

Дезик любил иронизировать над судьбой, а она подшутила над ним: убегая от «русского фашизма» в эстонскую эмиграцию, он оказался похороненным в одной из самых фашизированных стран современной Европы.

«*Родина — это не там, где хорошо или плохо, а без чего нельзя жить*», — писал он в лучшие для себя времена. Но не получилось остаться в России. Не устоял в истине.

Так же, как Александр Межиров, который однажды неосторожно пообещал мне в письме: «*Я прожил жизнь и умру в России*». Доживает он жизнь в Америке, где и будет похоронен. Впрочем, все это «обыкновенная история», как говорил Гончаров. То же самое произошло и с Бродским: «*Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать*». Поклялся, забыв, что в Священном Писании сказано: «не клянись»... Три клятвы. Трое поэтов, над которыми подшутила судьба, выбравших место для последнего успокоения в Италии, в Эстонии, в Америке, в эпоху, когда маркитанты победили лейтенантов. Надолго ли?..

РИТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

А. Солженицын в своей книге «Двести лет вместе» дал такой комментарий к делу Бейлиса: «*Да как возможно было в XX веке, не имея фактически обоснованного обвинения, вздувать такой процесс в угрозу целому народу*». И чуть ниже добавил: «*Странное трагическое убийство мальчика осталось неразысканным, необъясненным*».

Но даже эти осторожные мысли Солженицына вызвали настоящий приступ гнева у еврейского журналиста с ритуальной фамилией Резник, живущего в Америке. Резник бросился оспаривать Солженицына, утверждая, что на процессе Бейлиса «*тайное стало явным. Все убийцы были названы... Все это запечатлено на десятках страниц трехтомной стенограммы процесса. Солженицын этот основной документ игнорирует, что и позволяет ему делать вид, будто убийство осталось нераскрытым*» (*Резник С.* Вместе или врозь. Заметки на полях книги А. И. Солженицына. Захаров, М., 2003 г.)

Не менее страстную отповедь дали журналисты Марк Дейч и Валерий Каждая историку Михаилу Назарову, посмевшему в Интернете предположить, что убийство пя-

терых подростков в Красноярске, случившееся за неделю до иудейской Пасхи, может носить ритуальный характер. Дейч и Каждая обвиняют Назарова в историческом невежестве, в том, что *«стенограмму процесса Бейлиса некто Назаров явно не читал — никаких доказательств «практикования евреями ритуальных убийств» в стенограмме нет»* («Московский комсомолец», 24 июня 2005 г.). В этой же статье, обращаясь к «Письму 500», направленному в прокуратуру РФ, авторы пишут: «Главный пафос «письма 500» — в требовании «официально возбудить дело о запрете в нашей стране всех религиозных и» национальных еврейских объединений, как экстремистских»...

Здесь, надо сказать, Дейч сотоварищи в запальчивости привирают, поскольку в «письме 500» сказано иначе: *«на основании ст. 282 УК РФ, закона О противодействии экстремистской деятельности» (2002) и ст. 13-5 Конституции РФ («запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели которых направлены на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни») мы требуем официально возбудить дело о запрете в нашей стране всех религиозных и национальных объединений, основанных на морали «Шулхан Аруха», как экстремистских».*

Одним словом, о запрещении не всех поголовно, а только тех, которые основаны на морали «Шулхан Аруха» — средневекового иудейского свода законов, который даже его издатели — Конгресс еврейских организаций и объединений в России (КЕРООР) — не решились напечатать на русском в полном объеме. Во вступлении к книге председатель Исполнительного комитета КЕРООР раввин Зиновий Коган откровенно признает: «... *Редакционный Совет КЕРООР счел необходимым опустить в этом переводе некоторые галахические указания, помещение которых в издании на русском языке было бы воспринято населением России, не придерживающимся иудаизма, как неспровоцированное оскорбление».* Как видим, раввин признает оскорбительный характер текста, однако советует иудеям ознакомиться с ним в «Ешиве» (духовном училище).

Споря с Солженицыным, Резник с театральной патетикой восклицает: «*Русский народ в лице двенадцати присяжных заседателей не принял чашу с отравой, а содержимое ее выплеснул в лицо самим отравителям*».

Таким напыщенным стилем Резник хочет сказать, что присяжные оправдали Бейлиса[1], но при этом утаивает гораздо более важное обстоятельство: умерщвление отрока Ющинского на еврейском заводе с синагогой было признано «изуверским, с подробно перечисленными признаками ритуального».

Естественно, что для большой части российского общества дело Бейлиса казалось «кровавым наветом», заговором черносотенцев и ретроградов против еврейства, образ которого в начале XX века связывался с понятиями «либерализма», «добра», «разума», «прогресса», «свободомыслия»...

Движимые этими представлениями о еврействе, русские либералы 30 ноября 1911 года в петербургской газете «Речь» опубликовали обращение «К русскому обществу» — по поводу «дела Бейлиса».

«Во имя справедливости, во имя разума и человеколюбия мы поднимаем голос против вспышки фанатизма и темной неправды. Исстари идет вековечная борьба человечности, зовущая к свободе, равноправию и братству людей, с проповедью рабства, вражды и разделения...»

Вот такими не совсем грамотными, напыщенно либеральными и фальшивыми словесами изобиловало письмо в защиту Бейлиса, составленное В. Короленко и подписанное Горьким, Мережковским, Струве, Милюковым и прочими прогрессивными деятелями той эпохи. В их числе была и Зинаида Гиппиус, та самая, которая через 7 лет записала в дневнике: «**На днях всем Романовым**

---

[1] В действительности голоса присяжных в вопросе о вине Бейлиса разделились пополам: шесть на шесть. Так что половина чаши была выплеснута в лицо «черносотенцам», а другая — в лицо сторонникам Бейлиса, который был оправдан лишь потому, что равенство голосов трактовалось в пользу обвиняемого.

было повелено явиться к Урицкому, зарегистрироваться. Явились. Ах, если бы это видеть! Урицкий — крошечный, курчавенький жидочек, самый типичный. И вот перед ним — хвост из Романовых, высоченных дылд, покорно тянущих свои паспорта. Картина, достойная кисти Репина».

И не надо бы радоваться Дейчу и Каждая, что Александр Блок подписал это письмо, как и другое, осуждающее Розанова за книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», потому что после подобного рода коллективных акций Блок в своем дневнике каялся: «**27.11.1911.** ***Дважды*** (у Блока подчеркнуто. — *Ст. К.*) **приходил студент, собирающий подписи на воззвании о ритуальных убийствах (составленном Короленко). Я подписал. После этого — скребет на душе. Да, Клюев бы подписал, и я подписал — вот последнее».**

Достали Блока. Дважды приходили. «Скребет на душе», оглядка за помощью на Клюева... Не выдержал великий поэт давления «либерального террора» и признался сам себе в своей слабости...

Мало кто тогда из российских либералов понимал, что еврейский мир весьма разнороден и противоречив, и что его представляют не только ассимилированные знаменитости вроде скульптора Антокольского, художника Левитана, мецената Гинзбурга и подобных им персон... Кроме этого привилегированного и европейски воспитанного слоя еврейства в эпоху Бейлиса — Ющинского, оказывается, существовали ветви еврейского племени, сохранившие в своем быту традиции, обычаи и предания чуть ли не из доисторических времен.

В 1979 году советское издательство «Прогресс» издало мемуары крупной функционерки из ГДР Мишкет Либерман: «Из берлинского гетто в новый мир. Мемуары антифашистки». Это был живописный и подробный рассказ о том, как еврейская община из Галиции, совершенно не затронутая прогрессивными веяниями и жившая в изоляции, после начала Первой мировой войны, спасаясь от ее ужасов, переселилась не просто в глубь Германии, а

в Берлин, и не просто в Берлин, а в его центр — в район Александерплатц и знаменитой Линденаллеи, в течение полутора лет (в 1915-1916 годах) вытеснив из центра немецкое население. Евреи-беженцы организовали в сердце Германии свое добровольное гетто и начали жить в нем по законам и обычаям, о которых и не подозревали ни Томас Манн, ни Семен Резник. Вот несколько отрывков из этой откровенной книги: «**Да, и в Берлине было гетто. Добровольное... У гетто было свое продовольственное снабжение... Евреи-иммигранты сами отрезали себя от внешнего мира. Они жили, как Моисей на Синайской горе: строго следовали десяти заповедям и сотням запретов... Большинство ортодоксальных евреев — и старых, и молодых — не умели читать и писать по-немецки... Девочкам приходилось совсем плохо. Они сидели дома и ждали, когда наступит брачный возраст. Смешанный брак считался у верующих евреев самым большим грехом. О нем вообще не могло быть и речи...» О матери: «Какие были у нее волосы, не знала она сама. Она их просто не имела со времени свадьбы. Ее заставили сбрить их, прежде чем идти к алтарю. Так требовал ритуал. Теперь она стригла их каждый месяц. Почти до лысины. Она носила парик, который делал ее старше и еще некрасивей. Мужчинам ритуал запрещал стричь волосы. Они носили длинные бороды и пейсы почти до плеч. Безумный мир...»**

О сестрах: «...они накрывали праздничный стол. Все было приготовлено еще в пятницу. Еда стояла в печи. Ее накрывали перинами, чтобы она держала тепло целые сутки. Еда действительно не остывала, но прокисала, особенно летом. Отсюда столько страдавших желудком из числа фанатичных».

«Участвовать в пирушке женщинам не позволялось. Ни молиться в одной комнате с мужчинами, ни сидеть за одним столом».

«Пурим был очень веселым праздником. Как ночь карнавала. Пурим основан на легенде о прекрасной Эстер, еврейской жене персидского короля Артаксеркса.

Эстер удалось удержать министра Хамана от убийства евреев. В этот день в гетто царили дети и молодежь. Они наряжались, ходили от дома к дому и разыгрывали эту легенду. Вечером они шли гурьбой в синагогу, захватив с собой трещотки. Как только раввин произносил имя Хамана, они начинали трещать. Возникал оглушительный шум, все смеялись и радовались». Вот и дали же мы антисемиту Хаману!» «Птице связывали ножки, крутили ее над головой и при этом произносили молитву. Малышам надо было все время повторять: «Тебе на смерть, а мне для жизни». Мой маленький братик тоже шепелявил эти слова, в то время как отец крутил петуха над его головой. Затем животных доставляли еврейскому мяснику, чтобы они были зарезаны по ритуалу». О свекре: «Устроился на бойню, где можно было подкормиться. Как и другие на бойне, он пил кровь забитых животных».

Впрочем, нравы нашей Одессы, да и Киева в начале XX века, едва ли далеко ушли от нравов этого ветхозаветного (или талмудического?) гетто. Вспомним хотя бы сцену из одесских рассказов Бабеля, в которых он со знанием дела изображает сакральный ритуал обрезания еврейских младенцев мастером кровавого обряда Нафтулой Герчиком:

«Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший. Медвежьи глазки его сияли весельем. [...] одной рукой Нафтула опрокидывал в заросшую кривую огнедышащую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка. На ней лежал ножик, обагренный младенческой кровью, и кусок марли... мужья бросали деньги в его тарелку. Жены вытирали салфетками кровь с его бороды».

Прочитав такое, любой обыватель всплеснет руками: «Дикие люди, пьющие горячую кровь животных или чистейшую кровь обрезаемых младенцев!» Не все евреи по-

хожи на Эйнштейна, на Ойстраха или на Марка Дейча. Среди них, оказывается, жива ветвь, цивилизованная не более чем племя таджикских огнепоклонников, с которыми я встречался в горах Памира, или африканская народность тутси...

Видимо, ассимилированный европеец Марк Дейч не читал ни Бабеля, ни Мишкет Либерман, поскольку уверяет читателей «Московского комсомольца», что **«правоверным иудеям строжайше запрещено употребление крови — даже животных»...** Может быть, и запрещено, но, как мы видим, не все следуют этому запрету.

Кстати, ничего постыдного в этом нет: и чукчи с якутами пьют горячую кровь оленей, и в русском народе время от времени находятся семьи, вроде знаменитых Лыковых из Восточной Сибири, жившие и живущие в наше время по архаическому ритуалу в отрыве от всякой цивилизации. Нехорошо стыдиться, Марк, грешно стыдиться, Семен, своих диковатых соплеменников. Не зря же мудрец Василий Васильевич Розанов в своем фундаментальном исследовании «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (СПб., 1914 г. — сразу же после «Дела Бейлиса») с ужасом восхищался еврейской ветвью, сохранившей свои первобытные обычаи и привычки в XX веке. Просвещенные евреи-адвокаты, журналисты, меценаты, бросившиеся на защиту слабоумного Бейлиса, не поняли смысла этой книги и объявили Розанова антисемитом, просвещенные русские либералы исключили великого религиозного философа из «Философского общества»... А Розанов просто-напросто изумлялся в этой книге еврейской способности хранить свои ритуалы и продолжать жить по ним. А «Дело Бейлиса» — до предела политизированное — ему подгадило. Исторический фон для Василия Васильевича оказался несчастливым.

Действие бабелевского рассказа «Карл Янкель» происходит в те же годы, что и процесс по делу Бейлиса, но именно от такого первобытно-дохристианского обряда, как от «хаоса иудейского», в те же времена бежали Осип

Мандельштам и Эдуард Багрицкий, Борис Пастернак и Лев Троцкий.

Такого рода ритуалы, конечно же, создавали фон, на котором присяжные заседатели по делу Бейлиса все-таки пришли к выводу, что умерщвление отрока Андрея Ющинского было ритуальным... Кстати, слово «ритуал» (в его сакральном, древнейшем значении) и поныне является фундаментальным в размышлениях о судьбах еврейства самых что ни на есть интеллектуалов сионистского склада.

В недавно изданной в Америке на русском языке книге «Из глубин» израильский профессор, доктор физико-математических наук и философ Герман Брановер ставит это понятие в центр современного еврейского самосознания, с презрением и негодованием отзываясь о всякого рода ассимиляционных веяниях не только в Израиле, но и во всем мире: **«Там, где социолог предсказывает полную ассимиляцию, вечный жид веками существует в своей неприкосновенной обособленности» (ну разве не об этом же пишет Мишкет Либерман?). «...Мы должны дорожить ритуалом уже и потому только, что он служил тысячелетия нашей защитной стеной, [...] был главным средством нашего сохранения». «Исполняющий ритуал наслаждается высшими удовольствиями... через саму душу». «Вся сложная система нашего ритуала была необходима прежде — тысячи и сотни лет назад [...] без этого нас давно бы не было»... «Только через ритуал лежит путь ребенка к сохранению его в пределах народа».**

Культ тысячелетнего (каким бы архаичным он ни был) ритуала в XXI веке, через сто лет после «Дела Бейлиса»!

Впрочем, человечество, утрачивая универсальные религиозные гуманистические системы — христианство, подлинный ислам, расставаясь с временно заменившими их идеологиями социализма, расставшись с мощной тоталитарной системой фашизма, хватается за любую соломинку, излучающую дыхание сакральности, какой бы ар-

хаической, какой бы отжившей и нежизнеспособной ни казалась она, эта сакральность, еще вчера...

А на фоне существования или даже оживления этих культов, вплоть до шаманизма, становится возможным все — расцвет любых сект, любых ритуалов. Тем более таких, которые, возможно, на самом деле никогда не умирали...

Итак, как сказали бы в советское время, «по просьбе трудящихся евреев» Марка Дейча, Семена Резника, а также грузина Валерия Каждая, уличивших Солженицына и Назарова в том, что последние плохо знакомы (или даже вообще не читали) с «Делом Бейлиса», мы публикуем основные главы из стенографической записи знаменитого процесса 1913 года.

«САМ СЕБЕ ВЕРЕВКУ НАМЫЛИВАЕТ...»

> Процесс [...] готовили вовсе не мои «однoплеменники», а большевистский интернационал, и в первую очередь — русские.
>
> *М. Дейч*

> По одной еврейской или подозрительно звучащей фамилии на область, край или целый регион набрать, конечно, не трудно.
>
> *С. Резник*

В августовском и сентябрьском номерах нашего журнала за 2005 г. была опубликована сокращенная стенограмма «Дела Бейлиса», переданного в журнал бывшим сотрудником радиостанции «Свобода» И. О. фон Глазенапом, который переписал страницы стенограммы из киевской газеты, попавшей во время Отечественной войны из киевских архивов в фашистскую Германию.

В своем кратком вступительном слове к публикации я изложил солженицынскую точку зрения на процесс Бейлиса из книги «Двести лет вместе», вспомнил о де-

путатском скандале, спровоцированном изданием средневекового иудейского свода законов «Шулхан Арух», многие положения которого с современной точки зрения разжигали расовую и религиозную рознь, сделал несколько исторических примечаний к самому процессу и привел из книг, написанных евреями И. Бабелем, М. Либерман, Г. Брановером, примеры, свидетельствующие о том, что в ортодоксальной еврейской среде (особенно хасидской) живут дикие обычаи и ритуалы, дошедшие до сегодняшних дней из глубокой ветхозаветной древности. Статья Марка Дейча «Кровавый навет»[1] появилась в газете «Московский комсомолец» 23.8.2006 года, ровно через год после стенограммы «Дела Бейлиса» в «Нашем современнике». Чтобы лишний раз не привлекать внимание широкого читателя к нашей публикации, Дейч побоялся указать, в каком журнале и когда она напечатана, но получилось глупо: полемизирует с какой-то неизвестно где опубликованной работой. Однако промолчать не мог и начал с того, что сочинил лживую историю о том, что в 60-х годах я, «*будучи членом партбюро секции поэтов Московской писательской организации, исправно голосовал за изгнание из Союза писателей Солженицына, Галича, Некрасова, Аксенова, Копелева... и готовил партсобрания, на которых происходили эти изгнания*». Матерый лжец даже не сообразил, что Солженицына исключали из Союза писателей не в Москве, а в Рязани, Виктора Некрасова в Киеве, Аксенова и Копелева партбюро поэтов исключать из Союза писателей не могло, потому что они состояли в секции прозы и стихов не писали. И вообще, парт-

---

[1] Почему-то многие книги и статьи, написанные евреями на эту тему, как по заказу, имеют почти одинаковые заголовки: *Кацис Л.* Кровавый навет и русская мысль. М.,-Иерусалим, 2006; *Самюэл Морис.* Кровавый навет: странная история дела Бейлиса; *Резник Семен.* Растление ненавистью. Кровавый навет о России. М.,-Иерусалим; *Он же.* Кровавая карусель. 2001; *Гессен Ю.* Кровавый навет. М., 1912; *Бонч-Бруевич.* Кровавый навет на христиан. Петроград, 1918. Все заголовки у них под одну пропагандистскую гребенку.

бюро могло исключать не из Союза писателей, а только из партии, в которой ни Аксенов, ни Галич не состояли. Истины ради скажу, что если бы от меня зависело исключать этих ренегатов и разрушителей моего Отечества из Союза писателей или из партии — я бы без колебаний проголосовал «за».

И ничего во всем этом горестного для диссидентов не было. Советское гражданство и членство в Союзе писателей было им ненавистно, но расстаться с тем и другим следовало с максимальной выгодой: с громким скандалом, с воплями мировой прессы, под гвалт всех зарубежных и отечественных правозащитников. Только при этом условии они были бы встречены на Западе с распростертыми объятиями, с гарантией славы, денег, изданий, должностей на радиостанциях и т. д. Как граждане СССР и члены СП СССР они там были никому не нужны, и для новой жизни «исключение» и «лишение» были необходимыми и желанными процедурами.

Тем не менее я не исключал их — это мелкая ложь Дейча, которую можно было бы не заметить, но в его сочинениях присутствует ложь куда более крупная. О ней-то и пойдет речь впереди.

Вспоминая о деятелях культуры, которые в 1911 году поставили свои подписи под обращением в защиту Бейлиса, Дейч пишет, что среди них были «*знаменитые писатели: Горький, Леонид Андреев, Алексей Толстой, Сергеев-Ценский, Федор Сологуб, Куприн... А также Немирович-Данченко, академик Вернадский, ведущие профессора Московского и Санкт-Петербургского университетов... Почти все они в скором времени оказались под ножом большевистской гильотины*»[1]. Чего в этом утверждении больше — брехни или беспамятства, — не знаю: боль-

---

[1] «Под обращением подписалось более 500 человек», — пишет Дейч. Семен Резник, правда, в книге «Вместе или врозь» сообщает, что обращение было подписано «двумястами ведущих деятелей русской культуры» (М. 2003, с. 69). Что это? Образованные евреи считать разучились?

шего почета, чем тот, которым были окружены Горький и Алексей Толстой в советское время, представить немыслимо, да и Сергеев-Ценский (как и Алексей Толстой) стал лауреатом Сталинской премии. Куприн возвратился в Советскую Россию и умер своей смертью в 1939 году, Леонид Андреев, Федор Сологуб, Немирович-Данченко и Вернадский также умерли своей смертью, и никакой «*нож большевистской гильотины*» ни при Дзержинском, ни при Менжинском, ни при Ягоде не прикоснулся к ним.

Что же касается «ведущих профессоров Московского и Санкт-Петербургского университетов», а среди них были ученые с мировыми именами (В. В. Виноградов, М. Н. Сперанский, А. Дурново, А. М. Селищев, Н. К. Гудзий, П. Д. Барановский и многие другие), то они, в количестве 70 человек, в 1933—1934 годах действительно подверглись жестоким репрессиям. 28 из них были расстреляны или погибли в лагерях, словом, оказались «под ножом большевистской гильотины» по «делу Российской национальной партии». Следствие вели начальник 2-го секретного политического отдела ОГПУ Каган, начальник 4-го отдела ОГПУ Коган, следователь Альтман, допрашивал академиков и профессоров оперуполномоченный 2-го отдела СПО ОГПУ Шульман, следственное дело вел уполномоченный Иоселевич, направления в ссылку подписывал зампред ОГПУ Агранов (*Ашнин Ф., Алпатов В.* Дело славистов. М., 1994).

Я написал об этих процессах заметки и опубликовал их в газете «Завтра» с таким выводом: «*Так что «гильотина» была не только большевистской, поскольку строили ее одноплеменники Дейча*».

Марк снова впал в истерику, прочитав список еврейских фамилий, задействованных в процессе «славистов», и ответил мне очередной статьей в «Московском комсомольце» (14.12.06), в которой стоял на своем: «*Безусловно, это от начала до конца сфабрикованное «дело славистов» было одним из звеньев большевистской кампании против старой русской интеллигенции [...] И никакого заведомо антирусского процесса не существовало. Процесс*

был против невинных людей, подобранных сотрудниками «органов» прежде всего по социальному признаку. И готовили его вовсе не мои «соплеменники», а большевистский интернационал, и в первую очередь русские. Вот характерный пример. Весной 1934 года «дело славистов» было закончено и подготовлено обвинительное заключение. Его подписали начальник 2СПО ОГПУ Коган и его заместитель Сидоров. А визировал — заместитель начальника СПО ОГПУ Люшков, утвердил — начальник СПО Молчанов».

Словом, процесс организовали «*в первую очередь русские*» и «*никакого заведомо антирусского процесса не существовало*»... Ах, Марк, внимательней надо было Вам читать книгу «Дело славистов», написанную историками Ф. Д. Ашниным и В. М. Алпатовым. Кстати, ответственным редактором книги являлся академик Никита Ильич Толстой, с которым я был хорошо знаком и с которым не раз разговаривал о большевистском терроре и «одноплеменниках». Так вот, в самом начале книги, где речь идет о списке арестованных по делу, есть такой абзац: «*на одну особенность списка обратил внимание С. Б. Бернштейн: «среди арестованных не было лиц с нерусскими фамилиями (Бернштейн, 1989, с. 80), точнее говорить о неславянских фамилиях»* (*Ашнин Ф., Алпатов В.* Дело славистов, с. 7).

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: авторы утверждают, что арестовывали ученых только с русскими и только со славянскими фамилиями, а это значит, что процесс можно именовать как «*антирусский*» или, в крайнем случае, «*антиславянский*»... А чего добивались от арестованных ученых следователи? Историки Ф. Ашнин и В. Алпатов и академик Н. Толстой комментируют это так: «*Недолго сопротивлялся следствию и Андрей Дурново [...] он дал обширные показания на допросе, которые вели не рядовые следователи, а «сами» заместитель начальника Секретно-политического отдела (СПО) Г. С. Люшков и начальник непосредственно отвечающего за дело 2-го отдела СПО Каган. А. Дурново подтвердил все, что от него*

требовалось, и назвал ряд имен. В частности, он заявил: «До моего ареста я входил в контрреволюционную организацию русских фашистов (**не российских, г-н Дейч, а «русских». —** *Ст. К.), объединившую различные националистические элементы (русские, украинские, белорусские) на платформе борьбы с Советской властью».*

В обвинительном заключении по «делу славистов» есть следующие формулировки, прямо указывающие, что обвинение строилось не по «*социальному*», как утверждает Дейч, признаку, а по национальному, и главное — антирусскому: «*Установлено, что в Москве, Ленинграде, на Украине, в Белоруссии* [...] *существовала* [...] *национал-фашистская организация, именовавшаяся «Российская национальная партия»; «В основу программных установок организации были положены идеи, выдвинутые лидером фашистского движения за границей — князем И. С. Трубецким. Сущность их сводилась к следующему:*

1) *[...] установление* **национального правительства;**

2) **истинный национализм**, *а отсюда борьба за сохранение самобытной культуры, нравов, быта и исторических традиций* **русского народа;**

3) *сохранение религии, как силы, способствующей подъему* **русского национального духа»...** (с. 56, 70—71).

Как видим, наибольшую ненависть у следователей в каждом пункте вызывало присутствие в любой форме «*русского*» начала.

Так что следователи глядели прежде всего не на «социальный признак», что пытается доказать Марк Дейч, а на «национальный». Понимая это, историки добавляют: «*Почти при каждой фамилии характеристика: «националист», «ярый шовинист». Есть и похлеще: «махровый антисемит», «ярая антисемитка», «черносотенец», «великодержавный шовинист».* Марк Дейч, посчитав, что я привел в газете «Завтра» целых 5 фамилий огэпэушников-евреев, завопил в «Московском комсомольце», что Куняев, мол, утаил тот факт, что русских тоже было много, гораздо больше, чем евреев. Но в своем раже он не учел одного: я ведь не всех его соплеменников из карательных ор-

ганов, причастных к этому делу, перечислил. Могу добавить к «еврейскому» списку палачей, готовивших «дело славистов», сотрудника ОГПУ Халемского, сотрудника ОГПУ Финкельберга, сотрудника НКВД Фельцмана, прокурора Рогинского, прокурора Розовского, помощника прокурора Лурье, прокурора Глузмана, директора Института языкознания Бочачера Марка Наумовича, сотрудника НКВД Апетера. А с какой стати в ряд «русских чекистов» рядом с Молчановым и Сидоровым Марк Дейч ставит заместителя начальника СПО ОГПУ Люшкова? Чекиста этого, якобы русского, по утверждению Дейча, звали Генрих Самойлович, в 1935 году ему, видимо, за расправу над русскими учеными было присвоено генеральское звание комиссара госбезопасности III ранга, впоследствии он стал начальником управления НКВД по Дальневосточному краю, а в 1938 году, подобно еврейским зарубежным чекистам троцкистской ориентации Вальтеру Кривицкому (он же Самуил Гинзбург), Александру Орлову (он же Лейба Фельдман), Игнатию Райсу (он же Натан Порецкий), сбежал, но не на Запад, как они, а куда поближе — на Восток к японцам, которым этот «русский Генрих Самойлович» выдал важнейшую информацию о состоянии наших войск на Дальнем Востоке. Неблагодарные самураи в августе 1945 года, понимая, что проигрывают войну, прикончили перебежчика в Дайренской военной миссии, а иудины телеса сожгли. Недавно шел по TV какой-то фильм о Ежове — и в нем показали фотографию «русского», как считает Дейч, чекиста Люшкова. На кого он похож, этот ярко выраженный... говорить не буду, а то в расизме меня обвинит тот же «Московский комсомолец». Но глубинная суть процесса «славистов» заключалась не в том, даже, кого из сотрудников было больше задействовано: русских или евреев, а в том, как пишут историки, *«методы следствия по данному делу были типичны для первой половины 30-х годов, когда во главе карательных органов стоял Г. Ягода»*. Именно благодаря этим методам академик А. Дурново быстро признался на допросе в том, что он «русский фашист».

А сколько было в 20—30-е годы подобных процессов местного масштаба против дворян, старых спецов, священнослужителей, «русских фашистов», «антисемитов» — не счесть! Полных масштабов всех этих антирусских чисток, замаскированных фразеологией о классовой борьбе, мы, видимо, не узнаем никогда.

В 1928 году Ленинградское ГПУ арестовало членов так называемой Космической академии наук. Следствие установило, что организация КАН являлась частицей существовавшего тогда в Ленинграде полутайного «Братства Преподобного Серафима Саровского», о котором вспоминает в романе «Побежденные» И. Головкина (Римская-Корсакова).

В него входили профессора, преподаватели литературы, учителя истории, студенты. Всего по делу проходило более 30 человек, заключенных после следствия в Соловецкий и другие лагеря. Многим из них следователем А. Строминым (Геллером) было предъявлено обвинение в антисемитизме. Чуть позже в том же Ленинграде чекисты А. Мосевич и Л. Коган внедрили через провокатора в студенческую группу, которая шла у них под названием «Союз возрождения России», ими же разработанную антисоветскую программу и тут же произвели аресты студентов. Естественно, дело было названо «фашистским». Несколько десятков студентов ушли в лагеря.

В 1995 году мы с сыном издали книгу «Растерзанные тени». Это был сборник документов из дел 20–30-х годов ВЧК — ОГПУ — НКВД, заведенных на друзей, родных и литературных соратников Сергея Есенина, на писателей из «Сибирской бригады» — Павла Васильева, Леонида Мартынова, Сергея Маркова. Кто же начинал и заканчивал такого рода дела? Конечно же, главные ордера на арест выписывали Г. Ягода и Я. Агранов. Следователей и сотрудников по всем этим делам перечисляю подряд: «дело русских фашистов» — Алексея Ганина с товарищами — вел начальник 7-го отдела СО ОГПУ Славатинский; Сергея Маркова по делу «Сибирской бригады» разыскал в степях Казахстана и этапом направил в Москву алма-

тинский гэпэушник пом. нач. УСО Гринбаум; Иванова-Разумника в 1933 году допрашивал Л. Коган (Коганов было несколько — эта фамилия буквально рассыпана по разным делам). А кому пишет прошение о возвращении в Москву из астраханской ссылки несчастный Иван Приблудный? Опять же единоплеменнику Марка Дейча: «*Обращаюсь непосредственно к ОГПУ и, в частности к Вам, т. Фельдман, как к одному из вождей его. Выручайте меня из Астрахани*». Дело Павла Васильева вели оперуполномоченный Павловский, начальник 4-го отдела ГУГБ старший майор Литвин, капитан госбезопасности Журбенко. Последний вроде бы русский или украинец, но не всякую фамилию можно принимать на веру. В 1956 году 30 марта военный прокурор майор Ожигов, занимаясь процессом реабилитации, допрашивал следователя Илюшенко, фамилия которого встречается в делах русских крестьянских поэтов. Из протокола допроса: «*С 1926 по 1941 год работал в органах ОГПУ НКВД, подполковник запаса, национальность — еврей...*»

Так что неизвестно, кем был капитан Журбенко: то ли большевиком, то ли евреем.

В 1920 году Есенин с братьями Кусиковыми был арестован ЧК в одном из арбатских домов. При аресте и обыске присутствовали местные жители, понятые, так сказать. Фамилии их цитирую по протоколу: «В. Вильд, товарищ Карпович и жилец Фонер». Словом — дети Арбата. Оформлял дело об аресте Есенина и братьев Кусиковых следователь В. Штейнгардт.

* * *

В своем вступлении к публикации стенограммы «Дело Бейлиса» я повторил два широко известных вывода: 1) «*голоса присяжных в вопросе о вине Бейлиса разделились пополам: шесть на шесть*», и 2) «*умерщвление отрока Ющинского на еврейском заводе с синагогой было признано изуверским с подробно перечисленными признаками ритуального*».

Прочитав это, Марк Дейч окончательно вышел из себя: «*Этот г-н* (это обо мне. — *Ст. К.*) *почти сто лет после* (так у автора. — *Ст. К.*) *печально знаменитого процесса по делу Бейлиса решил уверить современных читателей в том, что убийство мальчика [...] было ритуальным, а евреи пьют кровь христианских младенцев... Пришлось немного разоблачить поэта*». «*Присяжные на процессе, будто бы признавшие ритуальный характер убийства Ющинского, а в вопросе о виновности Бейлиса якобы разделившиеся поровну «шесть на шесть», — все это злонамеренная и подлая ложь*». (Из второй статьи М. Дейча «Правда от сивого мерина или кое-что о «поэтических аргументах». «Московский комсомолец», 14.12.2006). В одно и то же время с Марком Дейчем взвизгнул ему в унисон Семен Резник в «Международной еврейской газете» № 43-44 за 2006 год, статья «Ритуальные игрища нацификаторов России». «*Из трехтомной стенограммы процесса Бейлиса он* (это обо мне. — *Ст. К.*) *выудил обвинения евреев и иудейской религии в ритуальных убийствах. На процессе эти обвинения были изобличены как злобные бредни, что отражено в той же стенограмме, но не в куняевских извлечениях*».

Но я отвечаю за свои слова, поскольку опираюсь не на вымыслы «черносотенных» публицистов той эпохи, а на солидные исследования историков, в том числе и еврейских, и сам никогда не утверждал того, что мне приписывает Марк Дейч. Я всего лишь пытался обнародовать разнообразные оценки процесса, но во время этой работы убедился, что Дейч, Резник и иже с ними или не знают многих суждений о процессе Бейлиса, в том числе и тех, которые имеются в стенограмме, или знают, но скрывают их.

В 1995 году в израильском издательстве «Гешарим» был издан сборник «Дело Бейлиса. Исследования и материалы» (Москва — Иерусалим, 1995 г. Серия «Памятники еврейской исторической мысли»).

Книга составлена из многих исследований знаменитого процесса, среди которых центральное место и по объе-

му и по значению занимает работа А. С. Тагера «Царская Россия и дело Бейлиса». На нее, как на образец объективности, практически ссылаются авторы всех других работ. Впервые она была опубликована в Советском Союзе с предисловием А. В. Луначарского в 1934 году, как раз во время процесса над «Российской национальной партией»...

Вот как А. С. Тагер описывает момент вынесения приговора М. Бейлису:

«Наконец в оцепленном войсками зале суда появились присяжные заседатели. Вердикт присяжных включал ответы на два вопроса. Первый вопрос: доказано ли, что 12 марта 1911 г. Андрея Ющинского заманили в одно из помещений кирпичного завода, где ему были нанесены раны, сопровождавшиеся мучением и полным обескровлением?

Старшина присяжных объявляет: «Да, доказано». Первая партия за черной сотней. Ритуальный характер убийства признан судом [...] доказана ли вина Менделя Бейлиса?[...] ответ присяжных гласит: «Нет, не доказана».

Многие газеты той эпохи обнародовали результаты голосования. Вот один из примеров:

«Сами присяжные, не согласные с оправданием, не скрывали затем перед матерью Андрюши и ее представителями, что их голоса разделились поровну: «шесть голосов были за признание вины, шесть стояло за оправдание» («Заметки по поводу процесса об убийстве Андрюши Ющинского», «Мирный труд», Харьков, 1913, № 1).

Современный харьковский исследователь иудаизма, хасидизма и секты «Хабад» Эдуард Ходос в книге «Между Спасителем и Антихристом» (Харьков, 2005 г.) так комментирует это оправдание Менделя Бейлиса:

«При вынесении вердикта голоса двенадцати присяжных заседателей разделились поровну: шестеро признавали вину Бейлиса, шестеро ее отрицали. В соответствии же с законодательством того времени при равном разделении голосов присяжных решение принималось в пользу обвиняемого [...]

Итак, что мы имеем: признание судом присяжных ритуального характера убийства А. Ющинского и оправдание Менделя Бейлиса... То есть изуверское убийство было совершено с ритуальной целью, но не Бейлисом, а кем-то другим. Кем? Ответ на этот вопрос до сих пор не найден» (стр. 29, 30).

Спустя 100 лет после процесса современный историк Эдуард Ходос утверждает, что «*не найден*» убийца. А Семен Резник с пеной у рта пытается доказать, что «*на процессе Бейлиса тайное стало явным. Все убийцы были названы*». Но этого в судебном приговоре не было, и происходит это все — обнародование имен якобы убийц Ющинского с русскими и украинскими фамилиями — лишь в воспаленном воображении Резника, до сих пор живущего страстями того процесса.

Даже богословы, защищавшие Бейлиса, когда дело доходило до вопроса о ритуальности убийства, путались и сдавались пред доводами обвинения (хотя Дейч пишет, что они «*подвергли уничижительной критике вымыслы о «ритуальных убийствах»*). Профессор Троицкий: **«Допускаю даже убийства с целью издеваться над религией христиан... я допускаю это хотя бы и относительно младенца Гавриила Белостокского».** (Стенографический отчет Киевского судебного процесса. Т. II, стр. 375.) Представитель защиты профессор Тихомиров был вынужден признать по поводу цитат из Талмуда, которые приводила в речах обвинительная сторона: **«Действительно, в Талмуде такой разнообразный материал, что кто хочет найти что-нибудь — все найдет»** (Стенографический отчет, т. 2, стр. 402).

В то время, когда раввины России в коллективном письме торжественно заявили, что во всех священных еврейских книгах «*нигде не содержится ни малейшего намека, который давал бы повод к подобному обвинению*», раввин Мазе, участвовавший в процессе, заявил о тех же книгах: **«За литературу он [еврейский народ] совершенно не отвечает и ответственность с себя снимает...»** (Стенографический отчет, т. 2, стр, 404). Это обо всех ра-

систских обычаях по отношению к гоям, акумам, шабесгоям и т. д. При подобных оговорках и признаниях защиты самому популярному защитнику Бейлиса Маклакову оставалось лишь с досадой выдавить из себя в конце процесса: **«Может быть, и были изуверы, они могли быть везде, могли быть и у евреев»** (Стенографический отчет, т. 3, стр. 124).

Марк Дейч, высмеивая экспертизу профессора Сикорского, показания архимандритов Амвросия и Автонома, цитаты из книги монаха Неофита, выступление ксендза Пранайтиса, с торжеством повторяет слова адвоката Грузенберга: «*Среди православных священников, среди православных ученых не было ни одного, который явился бы и своим именем священника, или православного христианина, или русского ученого поддержал бы эти мучительные сказки, этот кровавый навет*».

Между прочим, гонорары знаменитых адвокатов, участвовавших в процессе, в несколько раз превышали годовой оклад министра. «Грузенбергу 30 000 руб., а Карабчевскому 25 000 руб. и по 100 000 руб. каждому в случае полного оправдания евреев в кровавом навете» (из письма чиновника особых поручений Любимова директору Департамента полиции Белецкому. ГАРФ. Ф. 1407. Оп. 1. Д. 1059. П. 19). Вот какие деньги исподволь управляли ходом процесса.

Однако надо бы напомнить Дейчу о том, что «ритуальную версию» комментировали и другие, куда более известные представители русской церкви. Знаменитый ныне священник и богослов о. Павел Флоренский, сосланный в 30-е годы на Соловки, в том числе и по обвинению в «русском фашизме» и «национализме», сидевший на Соловках при начальниках лагеря, носивших фамилии Эйхманс, Дукис, Сенкевич, Бухбанд, и расстрелянный там при одном из них, писал о «деле Бейлиса» так:

«Я нисколько не сомневаюсь в существовании ритуальных убийств вообще».

«Если на всем протяжении истории Израиля, даже в период великих царей и богодухновенных пророков,

при сильной власти и живом, строго централизованном культе, всегда существовали всякие виды идолослужения, и в частности магические волхования, в основе которых лежит убийство человека, то почему современные иудеи и их поклонники так запальчиво отвергают даже возможность существования чего-либо подобного в нынешнее время, когда нет никаких сдерживающих начал?.. Если на всем протяжении истории Израиль так жадно тянулся к крови, и ритуальным убийствам, и черной магии, если всегда был кровожаден и жестоковыен, то где же гарантии того, что в рассеянии, без обличающего голоса, без суровых кар со стороны своих царей — в господстве своем над міром — он сделался чист и беспорочен? Если были ритуальные убийства даже тогда, то почему же не может быть их теперь?» (цитирую по книге: Розанов В. В. Сахарна. М., изд. «Республика», 1998, стр. 360, 438).

Полемизируя с гебраистом Хвольсоном, великий православный богослов Павел Флоренский писал:

«В своей книге «О некоторых средневековых обвинениях против евреев» [...] проф. Даниил Абрамович Хвольсон яростно нападает на самую мысль о возможности ритуальных убийств среди евреев»... «с адвокатски жаргонным нахальством рассуждает о том, что он внутренне не понимает и не желает понимать. Он с торжеством орет на весь мир, что еврею-де запрещено даже глотать слюну при кровотечении из десен, и, значит, немыслимо употребление христианской крови»[1].

Неграмотный еврей Мендель Бейлис, который был на волосок от обвинения в ритуальном убийстве, — это обвинение многие считали справедливым — киев-

---

[1] Свящ. П. Флоренский. «Проф. Д.А. Хвольсон о ритуальных убийствах» — приложение к книге В.В. Розанова «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови»; из письма о. Павла Флоренского, цитируемого В. Розановым в статье, «нужно перенести все дело в другую плоскость (к делу Ющинского)». *Розанов В.* Сахарна. М., 1998. С. 314, 356—360.

ский протоиерей Григорий Прозоров писал митрополиту Флавиану: «**Оправдали несомненного участника в ритуальном мучении Андрюши Ющинского только потому, что злодей не захвачен на месте**» (РГИА СПб, ф. 796 [Канцелярия Святейшего Синода]. Оп. 205. Ед. хр. 739), — закончил свою жизнь в Нью-Йорке, окруженный почитанием соплеменников, в комфорте и холе, а великий русский человек Павел Флоренский за свои убеждения был распят на Соловках, и его страстное слово проповедника об этом деле мы, его духовные дети, забывать не вправе. Да не будет предана забвению эта жертва.

А вот как высказался о «ритуальной дискуссии» архиепископ Антоний (Храповицкий) в газете «Жизнь Волыни» от 2.09.1913 г.

«В 1903 и 1905 ко мне приходил раввин Скоморовский и просил сказать слово против погрома в церкви и упомянуть в этом слове или в печатном заявлении о том, что евреи не повинны в ритуальных убийствах. Как враг погромов, я в обоих случаях сказал слово против избиения евреев. Но в обоих упомянутых случаях моей беседы с раввином я решительно отказался заявлять о своем непризнании ритуальных убийств, совершаемых евреями, а, напротив, выразил своему собеседнику убеждение в том, что эти убийства существуют [...] **случаи ритуальных убийств несомненно бывали и за последнее время истории и в древности».**

Более того, Антоний Храповицкий (будущий первоиерарх Русской Зарубежной Церкви) в том же интервью вообще готов был даже посчитать ритуальное убийство не самым страшным преступлением в начинающемся XX веке. Как бы предвидя все грядущие, в том числе и наши времена, он сокрушался:

«Я в значительной степени извиняю этот ужасный обычай и, во всяком случае, считаю патриархальных евреев не столь вредными для русских, как новый тип еврея-нигилиста, потерявшего всякую веру. Те изуверы убьют одного мальчика из десятка миллионов, а эти

развращают и нравственно убивают все наше юношество посредством нигилистической и порнографической печати и тому подобными средствами».

* * *

Вот так-то. Но Марку Дейчу, как гласит русская пословица, хоть плюй в глаза — все Божья роса. Он по-прежнему будет бессовестно лгать о «Процессе Российской национальной партии», о том, что «никакого заведомо антирусского процесса не существовало», что «готовили его (...) в первую очередь русские». А то, что ГУЛАГом — главным управлением лагерей, трудовых поселений и мест заключения, куда отправили «славистов», руководил квартет в составе М. Бермана (начальник управления, сменивший Л. Когана) и трех его заместителей: Я. Д. Раппопорта, Н. И. Плиннера и З. Б. Кацнельсона, — его не смутило, потому как — какие же это евреи?! — это же, по Марку Дейчу, «большевистский интернационал». Но почему же тогда чекистов Молчанова и Сидорова из этого «интернационала» он называет не просто «*большевиками*», а «*русскими*»?

Ну что ж, постараемся отплатить ему той же монетой.

Пока академиков М. Н. Сперанского и В. Н. Перетца, а также профессора В. В. Виноградова перегоняли из одной тюрьмы в другую, остальных 70 славистов развезли по исправительно-трудовым лагерям.

Члена-корреспондента Академии наук СССР Н. Н. Дурново с другим членкором Ильинским доставили на Соловки, где начальниками лагеря один за другим в те времена были Ф. Эйхманс, К. Дукис и Бухбанд (без имени). Эйхманс, насколько я знаю, был латыш, остальные — «нерусские большевики», думаю, что Дейч догадается, кто они были по национальности.

Сотрудника Русского музея Б. Г. Кржижановского отправили в Беломоро-Балтийский лагерь, где в начале 30-х годов начальником был Э. Сенкевич, а его сменил Семен Григорьевич Фирин.

Известный профессор ЛГУ Б. Л. Личков попал в Дмитлаг, где начальствовали Б. Кацнельсон и Е. Раппопорт — опять же люди с *«большевистскими фамилиями»*.

Думаю, что это были другие Кацнельсон и Раппопорт, нежели заместители начальника управления ГУЛАГа, поскольку у них были другие инициалы. А чего удивляться? В конце концов, и начальником секретариата НКВД был некий Я. А. Дейч, но уверен, что нынешнему Марку Дейчу он не был родственником и, возможно, не был даже однофамильцем. Профессора МГУ П. А. Расторгуева и членкора АН СССР лингвиста А. М. Селищева загнали в Карагандинский лагерь — вроде бы там казахи были титульной нацией, но лагерной жизнью руководил Коринман, которого сменил О. Линин. Кто из них был из одного колена с М. Дейчем и С. Резником — пусть они догадаются сами. Профессор Литинститута В. Ф. Ржига, по учебникам которого я занимался в 50-х годах на филфаке МГУ, вместе с научным сотрудником Исторического музея А. Д. Сидельниковым отправились отбывать срока в Свирьлаг, где с 1932-го по 1937 год начальниками побывали А. Я. Мартинелли, Н. М. Лапидус, Э. Ю. Тизенберг. Пусть Марк Дейч, если у него совершенно нет совести, попытается доказать, что это были русские люди.

Знаменитый главный специалист Центральных реставрационных мастерских П. Д. Барановский, спасший собор Василия Блаженного от посягательств «русского большевика» Л. М. Кагановича, вместе с академиком П. И. Нерадовским поехали в Сиблаг, которым в те годы командовал некий человек неизвестной национальности с характерной древнерусской фамилией И. М. Биксон.

Двоих профессоров — А. И. Вознесенского, А. Н. Дурново (брата того, который попал на Соловки) загнали в среднеазиатский лагерь — Сазлаг. Начальниками лагеря были кто угодно, но только не таджики или узбеки. К. Озолс и И. Литвин — фамилия «географическая», если вспомнить наркома иностранных дел Литвинова — он же Меер Генох Мовшевич Валлах.

Ленинградского профессора А. А. Автономова загнали дальше всех — в БАМлаг, под присмотр двух начальников с фамилиями С. Мрачковский и Н. Френкель. Итак — в семь лагерей разъехались слависты, и в каждом из них как на подбор были начальники с изысканными для России фамилиями. А всего лагерей в системе ГУЛАГа было несколько десятков, и в каждом из них «кадровый состав» высшего звена был приблизительно такой же, как в семи лагерях, куда сослали славистов. Так что подследственные после суда из одних «большевистских» рук попадали в такие же «большевистские» руки.

Кстати, данные эти взяты не из эмигрантских «черносотенных» сочинений А. Дикого или князя Н. Д. Жевахова, а из вполне демократических исторических исследований, сделанных при участии «Мемориала» и «Солженицынского фонда». Назову некоторые из них: «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923—1960», «Звенья». М., 1998; «Россия. XX век. Документы. Гулаг (Главное управление лагерей) 1918—1960 г.», М., 2002. Международный фонд «Демократия», изд. «Материк»; «Империя Сталина». Биографический энциклопедический словарь». М., Вече, 2000; *Роговин В.* Партия расстрелянных. М., 1997; *Солженицын А. И.* Двести лет вместе. М., Вагриус, 2006; *Петров Н. В., Скоркин К. В.* Кто руководил НКВД в 1934—1941 гг. М., Звенья, 1999.

К 1938 году почти все эти начальники Главного управления и непосредственно лагерей по непреложному закону всех революций, пожирающих своих отпрысков, были уничтожены. И я вспоминаю сцену из замечательного романа «Факультет ненужных вещей» честного писателя Юрия Осиповича Домбровского, с которым я имел честь не только быть знакомым, но и вести разговоры и который вдохновенно читал мне многие свои лагерные стихи. Особенно запомнилось его потрясающее чтение баллады — «Выхожу один я из барака — месяц словно желтая собака»... Но в «Факультете ненужных вещей» есть сцена почище этой баллады.

К следователю ОГПУ Якову Нейману приезжает по делу из Москвы его двоюродный брат — крупный чин прокуратуры Роман Штерн. (Заметим, что оба брата не русские люди, что должно очень огорчить Дейча, силящегося доказать, что в те времена репрессии «готовили в первую очередь русские».)

Братья радостно восторгаются, выпивают, вспоминают местечковую трудную юность, черту оседлости, и, уложив старшего брата спать, Яков Нейман произносит внутренний монолог, обращенный к их отцу, ортодоксальному, патриархальному еврею:

«Посмотрел бы ты сейчас, Абрам Ноевич, какой я мундир ношу, с какими он у меня нашивками, значками, опушечками, в каком кабинете я сижу, чем занимаюсь! Небось расстроился бы, замахал бы руками, заплакал: «Ой, Яша, зачем же ты так? Разве можно!» Можно, старик, можно! Теперь уж не я перед людьми виноват, а они передо мной. И безысходно, пожизненно, без пощады и выкупа виноваты! Отошли их времена, настали наши. А вот к лучшему они или к худшему, я уж и сам не знаю, ну ничего, торопиться нам некуда — подождем, узнаем. Все скоро выяснится! Все! Теперь ведь до конца рукой подать. Я чувствую, чувствую это, папа!».

Чувствует еврейский чекист, что скоро стать ему лагерной пылью. Отольются ему слезы загубленных им славистов!

Юрий Домбровский не случайно изобразил двух братьев, работающих в карательных органах: в те времена евреи шли во власть, и в первую очередь в ЧК-ОГПУ-НКВД, семьями. История сохранила фамилии двух **братьев Леплевских — Израиля и Григория**. Первый дослужится до комиссара ГБ 2-го ранга, второй через коридоры ОГПУ дойдет до должности заместителя генерального прокурора СССР. **Братья Берман Матвей** и **Борис** сделают карьеру не хуже. Первый станет начальником всего ГУЛАГа, второй — заместителем начальника иностранного отдела НКВД.

Семья гомельских хасидов **Нехамкиных:** в каком родстве они состояли друг с другом, трудно сказать. Известно, по словам Давида Азбеля, одно: «**Не случайно свела судьба питомцев этого славного рода в ЧК, ГПУ, НКВД, прокуратуру. Один из этой семьи, Рогинский, достиг даже «сияющих вершин» — был заместителем прокурора СССР»**. (Журнал «Время и мы», Нью-Йорк, 1989, № 105, с. 204.)

Беленькие... Тут не разберешься — кто родные, кто однофамильцы, поскольку их шесть человек! Точно известно, что трое — Абрам, Ефим и Григорий — были братьями. В ЧК служил Абрам, Ефим был в Наркомфине, Григорий в Коминтерне... Остальные (с другими отчествами) — кто где: Захар — в совконтроле, Марк — в наркомснабе, Борис — в торгпредстве.

Дейчи... Тут картина очень серьезная. Самый успешный Дейч Я. А. — комиссар ГБ 3-го ранга, Макс Дейч — председатель правления треста «Уголь», Мендель Дейч — деятель Бунда, Л. Г. Дейч — профессиональный революционер. Если к ним прибавить моего нынешнего оппонента Марка Дейча, то Дейчей будет пятеро, они на почетном втором месте после Беленьких.

Сольцев — всего двое: А. Сольц, которого звали «совестью партии», в «расстрельные» 1934—1938 гг. был помощником Вышинского. А Исаак Сольц — служил в юстиции.

Мироновых — два. Но, видимо, не братья, поскольку один, С. Миронов-Король, начальник Днепропетровского НКВД, а другой, Л. Миронов-Каган, — комиссар ГБ 2-го ранга. Были еще братья по фамилии **Бак — Аркадий и Соломон**. Первый — председатель Губчека в Иркутске, второй черт знает кто, но тоже чекист. **Эпштейнов было пятеро, как Дейчей**. Можно было бы «братские списки» продолжать, но нет сил рыться по справочникам и выяснять, кто есть кто. Картина и без того впечатляющая.

Семен Ефимович Резник может быть спокоен, его фамилия встречается в справочниках лишь однажды: в

историю вошел российско-американский революционер И. Резник.

Ну а о **Кагановичах** с тремя расстрелянными братьями я уж писать не буду. Это все знают. Кстати, почти все упомянутые мною здесь родственники и однофамильцы были расстреляны (кроме Дейча и Резника) в 1937—1938 гг. Словом, настоящая братская могила.

* * *

В новейшей истории образовались, грубо говоря, два враждебных друг другу подхода к освещению репрессий 20—30-х годов. Кто — русские или евреи задавали тон в карательных органах?

В начале перестройки мне попалось на глаза стихотворение Фазиля Искандера, опубликованное в «апрелевской» газете «Литературные вести», редактируемой Оскоцким. Искандер нарисовал в стихотворении образ, как это ему виделось, «типичного» чекиста: русского, русоволосого, который к тому же был **«синеглазый, дерганый слегка»**. Словом — парень из «вологодского конвоя», жестокость которого писатели-демократы попытались сделать сущностью ЧК-НКВД. Такие же усилия предпринимала Л. К. Чуковская, когда, вспомнив, что одним из следователей по делу академика Вавилова был чекист по фамилии Хват, писала:

«Десятки тысяч потенциальных хватов, мучивших Вавилова [...] сломавших на следствии 2 ребра Ландау — всегда подспудно таились в нашем народе? Каково их социальное происхождение?» (Д. Самойлов — Л. Чуковская. Переписка. М., 2004, стр. 285).

Особенно меня трогает это «*в нашем народе*» и о «*социальном происхождении*». Думаю, что она была достаточно информированной женщиной, чтобы знать, кто руководил НКВД и ГУЛАГом в те времена. Но о своих — молчок. Во всем виновны русские хваты.

Особенно подробно и тщательно тема «вины русских» разработана в воспоминаниях бывшего энкавэдэшника и

литератора, зятя одного из главных чекистов Г. Бокия, Льва Эммануиловича Разгона. Блистательно проанализировал все эти разгоновские комплексы Вадим Валерианович Кожинов в работе «Загадка 1937 года». Лучше, чем он, не скажешь о мемуарах Разгона, изданных в 1988—1989 гг. трехмиллионным (!) тиражом. Кожинов подробно анализирует главу из воспоминаний Разгона, которая называется «Корабельников». В ней речь идет о рядовом энкавэдэшнике, занимающем низшее место в служебной иерархии. Корабельников попал в тот же лагерь, где сидел Разгон, представлял из себя тип человека-лакея, подобострастно глядящего на начальство. Даже о свергнутых генералах ЧК — Бокии, Бермане, Паукере — он говорил в лагере с восхищением. Никакого зла он Разгону не сделал, был его постоянным собеседником, но Разгон признается: «**Из множества злодеев, которых мне пришлось встретить, Корабельников произвел на меня особо страшное впечатление», «его прямые пшеничные волосы... снились по ночам, и я стонал во сне и просыпался, покрытый липким потом... И сейчас** (то есть полвека спустя! — *Ст. К.*) **я совершенно отчетливо вижу его круглое и плоское лицо... Когда я думаю о нем, меня начинает бить дрожь от неутоленной злобы»**. Не начальников Корабельникова, чьи кровавые приказы он исполнял, а именно этого ничтожного винтика ненавидит патологической ненавистью энкавэдэшник Лев Эммануилович Разгон.

«**И это,** — пишет Кожинов, — **может иметь только одно объяснение: Бокий и ему подобные все-таки «свои» (пусть даже они приказывали убивать и «своих»!); напомню, что Бухарина-Лурье, по ее признанию, не смогла дать пощечину «своему» Андрею Свердлову»** (Андрей Свердлов — человек их клана и друг детства — первым допрашивал жену Бухарина). **Однако мысль Кожинова идет дальше: «Но вернемся к «сюжету» с Корабельниковым. По-видимому, одна из причин (или даже главная причина) его появления в книге Разгона — попытка как бы «переложить» на него «вину» за 1937 год. Ведь в заключение своего рассказа**

о Корабельникове Разгон заявляет: «В моих глазах этот маленький и ничтожный человек... стоит неподалеку от главного его бога — от Сталина»... Что ж, может быть, Разгон с определенной точки зрения прав? Вот, мол, наверху вождь, диктатор, в конце концов, «царь», «самодержец» Сталин, внизу — «представители народа», рядовые Корабельниковы, а посредине разгоновский «клан», обреченный быть раздавленным сближающимися друг с другом «вождем» и «народом» (с. 471).

Многие соплеменники Разгона и Дейча занимались коллективным подлогом, пытаясь сделать русских ответственными за кровь 1937 года. Энкаведешник Хенкин (племянник популярного юмориста 30-х годов), ставший в 70-х и 80-х годах сотрудником радиостанции «Свобода» («своих» энкавэдэшников даже туда на работу брали), писал в воспоминаниях почти то же самое, что его старший товарищ Разгон о замене «кадров» в «органах»: «**...На место исчезнувших пришли другие. Деревенские гогочущие хамы. Мои друзья** (по НКВД. — *Ст. К.*) **называли их «молотобойцы»** (Хенкин К. Охотник вверх ногами. М., 1991, стр. 36).

Поэту Фазилю Искандеру полезно было бы знать, кто создавал культ ЧК в эпоху Ягоды, Агранова, Бермана. **«Чекисты, механики, рыбоводы»... «веселые люди моих стихов» — Э. Багрицкий (Дзюбин); «Пей, товарищ Орлов, председатель ЧК» — М. Светлов (Шейнкман); «Чтобы прошел художник школу суда и следствия и вник в простую правду протокола, в прямую речь прямых улик» — П. Антокольский; «Меч большевистского Марата» — А. Безыменский; «Довольно! Нам решить не ново. Уже подписан приговор» — М. Голодный (Эпштейн); «Во имя чекистской породы» — П. Коган и т. д. Словом, чекисты-евреи руководили ГУЛАГом, а евреи-поэты восхваляли их подвиги.** У русских поэтов той же эпохи — Твардовского, Исаковского, Смелякова, Заболоцкого — таких пафосных строчек в честь чекистов мы не найдем. А у евреев не только поэты, но и критики дули в ту же дуду. Откроем, к примеру, «Литгазету» от

1 мая 1937 года. В ней статья Э. Дельмана — отца Натана Эдельмана. Такой пахучий панегирик Волго-Балту — концлагерю, руководимому Л. Коганом, С. Фириным, Я. Раппопортом, Н. Френкелем, хоть нос зажимай. Пусть это знает Марк Дейч. Так что честь советского еврейства в разборках на тему «Кто виноват» спас из писателей, может быть, единственный праведник Юрий Домбровский. Да еще в какой-то степени Валентин Катаев, если вспомнить «Уже написан Вертер» (после чего он был объявлен антисемитом). Остальные — Борщаговский, Гроссман, Чуковская, Хенкин, Галич, Разгон (да несть им числа!), ну и, конечно же, Дейч с Резником — эти десятилетиями надрывались, чтобы всю кровь 1930-х годов взвалить на русского человека, на «вологодский конвой»... Но никто (кроме Разгона) из них не сидел. Сидел, и много — Юрий Домбровский. И его показания никаким ихним гевалтом не заглушить. Он единственный понял, что евреям надо покаяться. Низкий поклон его памяти за мужество.

* * *

В 1990 году историк Фаттей Шипунов опубликовал в «Нашем современнике» цикл очерков «Великая замятня». В одном из очерков он привел список фамилий руководителей ЧК — ОГПУ — НКВД разного уровня. В этом списке были и латыши, и евреи, и украинцы, и русские (Никишов, Иванов, Рыбкин, Лебедь и т. д.). **«Полный список погромщиков и палачей еще предстоит раскрыть народу»**, — писал Шипунов. Он не уточнял, «кто есть кто» в списке, и не подсчитывал, сколько в этом перечне еврейских фамилий. Но, как говорится, «чует кошка, чье мясо съела». Прочитав список палачей и наткнувшись на еврейские фамилии, Семен Резник впал в истерику: **«Другие оставлены за кадром: их имена еще «предстоит раскрыть народу»**, — с негодованием цитировал он Шипунова. — **А пока селекция: по одной еврейской или подозрительной фамилии на область, край, целый регион набрать, конечно, нетрудно. Тем более без ссылок**

на источники». И завершает Резник сей гневный пассаж традиционной, можно сказать, ритуальной пропагандистской фразой, которая звучит, как заклинание: «**Так создается новый кровавый навет, перед которым бледнеют средневековые обвинения в употреблении христианской крови»** (*Резник С.* Красное и коричневое — книга о советском нацизме. Вашингтон, 1990). Итак, дело Менделя Бейлиса Семен Резник сам сравнивает с делами 30-х годов, когда была расстреляна, к примеру, вся верхушка ГУЛАГа, которой не повезло, как Бейлису, быть оправданной и которая подверглась в 1990 году «кровавому навету». Значит, одно обнародование фамилий евреев-чекистов надо считать таким же «кровавым наветом», как обвинение Бейлиса? Зачем же такие фрейдистские проговорки, Семен Ефимович? Вам нужны «ссылки на источники»? Пожалуйста. Только не обижайтесь. Для начала прочитайте итоговый вывод из книги популярного историка Г. В. Костырченко «Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм», М., 2001, изд. «Международные отношения», книга издана при финансовой поддержке Российского еврейского конгресса» — это вам не «Алгоритм» и не «Вече»!

«**С 1 января 1935 г. по 1 января 1938 г. представители этой национальности** (какой — уточнять не буду. — *Ст. К.*) **возглавляли более 50% основных структурных подразделений центрального аппарата внутренних дел»** (с. 110).

Есть любопытные свидетельства, доказывающие, что большевики тех времен придавали весьма важное значение тому, какой национальности чекисты работают в тех или иных республиках, краях, областях. Подлинные справки из отделов кадров на эту тему в книге «Россия. XX век. Документы. Гулаг (Главное управление лагерей)» существуют. Все их разбирать не буду, но в связи с «делом славистов» скажу только, что справки эти свидетельствуют, например, что в белорусском ОГПУ служило 397 белорусов и 182 еврея, в Украинском 1518 украинцев и 925 евреев... Может быть, поэтому и голодомор, организованный

на Украине во время коллективизации, был столь фантастически жестоким... Конечно, и русских людей в органах было немало, но, думаю, соотношение их с евреями правильно отражено в статье С. Н. Семанова «Сталинская чистка конца тридцатых годов и национальный вопрос» — «Наш современник», № 4, 2007 г.

Справки эти (насчет национального состава по всем республикам и областям) подписывал начальник сектора кадров НКВД Я. М. Вейншток. Он же оперативный секретарь наркома МВД, он же, ранее, начальник тюремного отдела Главного управления государственной безопасности. Матерый чиновник. Опытный. Думаю, что Вейнштоку верить можно.

* * *

А вот передо мной книга историка Е. Лукина «На палачах крови нет» (изд-во «Библиополис», С.-Петербург, 1996), в которой автор исследует кадровый состав Ленинградского управления НКВД в 30-е гг.

В 1934—1937 гг. начальником управления был **Леонид Михайлович Заковский (он же Штубис Г. Э.).**

В 1938 г. его сменил **Михаил Иосифович Литвин**[1]. Первым заместителем обоих в 1937—1938 годах был **Натан Евнович Шапиро-Дайховский**. Просто заместителем — **Арон Меерович Хатаневер**. Секретарем парткома и одновременно начальником секретно-политического отдела являлся **Кирилл Борисович Гейман.** Начальником контрразведки служил **Яков Ефимович Перельмутер**, начальником дорожно-транспортного отдела числился **Михаил Израилевич Брозголь.** В должности заместителя начальника экономического отдела состоял **Яков Ржавский**. Начальником секретно-оперативного управления, работавшего в основном с интеллигенцией, был **Вячеслав Ромуальдович Домбровский**. Его ближайший соратник **Альберт Робертович Стромин (Геллер)** фабриковал дела

[1] Подписавший ордер на арест поэта Николая Заболоцкого.

академиков С. Платонова, Е. Тарле, Д. Лихачева, а также дело «Братства Преподобного Серафима». Начальником водного отдела был **Мирон Исаакович Мигберт**, экономическим отделом ведал **Григорий Яковлевич Раппопорт**. В так называемой «бригаде смерти» (следователи, которые вели допросы, пытали, выбивали показания) состояли **Дмитрий (Манасия) Фигур и Софья Гертнер («Сонька Золотая Ножка»).**

Чтобы было ясно, «кто есть кто», жизнеописания вышеперечисленных фигурантов снабжены фотографиями хорошего качества. Без фотографий в книге помещены справки о жизни и смерти начальника восточного отделения контрразведывательного отдела **Наума Абрамовича Голуба**, начальника отделения (не сказано какого) **Аксельрода** (ни имени, ни отчества, ни рода), начальника отделения **Якова Меклера**. Чтобы успокоить **Марка Дейча**, сообщаю, что русские в аппарате тоже были: комендант ленинградского УНКВД **Александр Поликарпов** и рядовые сотрудники **Михаил Матвеев** и **Петр Мелюхов**. Рядовым сотрудником числился также бывший одесский шулер **Израиль Яковлевич Чоклин** (удостоен фотографии в фас и профиль — в 1938 г.). Этот список фамилий и должностей кроме Резника полезно будет прочитать Дейчу, считающему, что процессы 30-х годов организовывали «русские».

Вопреки цифрам, фактам, документам Марк Дейч и Семен Резник с пеной у рта каждый раз начинают свой очередной гвалт, свою психическую атаку — лишь бы никому не позволить разобраться в том, кто и в какой степени ответственен за чекистский террор 20—30-х годов.

Именно про таких, как они, писал Г. Штурман в работе «Шульгин и его апологеты» («Новый мир», 1994, № 11, с. 224): **«Поразительно единодушие, с каким мои соплеменники отрицают какую-либо свою провинность в русской истории XX века».**

Именно таких, как Дейч и Резник, имел в виду Солженицын во втором томе работы «Двести лет вместе». Вспоминая о том, что 5 августа 1933 года в газете

«Известия» был опубликован указ о награждении в связи с завершением строительства Беломорканала высших руководителей ОГПУ Г. Ягоды, М. Бермана, С. Фирина, Л. Когана, Я. Раппопорта и Н. Френкеля высшей правительственной наградой — орденом Ленина, Солженицын пишет: «**Все их портреты опять крупно повторены были в торжественно-позорной книге «Беломорканал», формата, как церковное Евангелие, как на тысячелетнее царство впереди.**

И вот, 40 лет спустя, я повторил эти шесть портретов негодяев в «Архипелаге», — с их же выставки взял, и не выборочно, а всех управителей, кто был помещен. Боже — какой всемирный гнев поднялся: как я смел?! Это — антисемитизм! Я — клейменый и пропащий антисемит. В лучшем случае: приводить эти портреты был «национальный эгоизм» — то есть русский эгоизм! И — поворачивается язык, когда на соседних страницах «Архипелага»: как покорно замерзали «кулацкие» пареньки под тачками.

А где же были их глаза в 1933-м, когда это впервые печаталось?»

Из 34 советских писателей, создавших это «Евангелие», 22 были евреи и лишь 12 русские. Пропорции, как видим, у писателей были даже «покруче», нежели у чекистов.

...Время прошло. Много книг издано, раскрывающих эту тему. Сегодня евреи, кто поумней, даже израильские, уже не поднимают гвалт в таких случаях. Остались последние защитники безнадежного дела: Дейч и Резник. Еврейские камикадзе. Но такие защитнички лишь наносят вред представителям честного еврейства вроде вышеупомянутых Азбеля, Пасманика, Штурман, Ходоса...

* * *

Впрочем, патологическая страсть что-либо приврать, сочинить, передернуть у Марка Дейча и у Семена Резника черта профессиональная. Помню, как Семен Резник в 1990 году встретил группу советских писателей статьей

«Десант нацистов в Вашингтоне». Резник тогда заявил, что делегацию возглавляет член президентского Совета Валентин Распутин — **«антизападник и антисемит».** Что в составе группы член редколлегии «Литгазеты» Светлана Селиванова, которая пытается в газете проводить «**нацистскую линию**»; что вместе с писателями в Америку приехала нанайка **Евдокия Гаер, которая борется «против рыночной экономики и за «равноправие» русского народа, якобы угнетаемого евреями и другими инородцами»...** Все вышесказанное было «геббельсовской» ложью: Евдокии Гаер и Распутина с нами не было. А уж утверждать, что при главном редакторе еврее Чаковском Светлана Селиванова проводит в «Литгазете» **«нацистскую линию»** — для этого надо было быть либо идиотом, либо профессиональным лжецом... Впрочем, можно быть и тем и другим одновременно. В одном из номеров «Огонька» за 1990 год, издеваясь над газетой «Русское воскресенье», утверждавшей, что одним из первых декретов Советской власти был декрет об уголовном наказании (вплоть до смертной казни) за антисемитизм, Дейч выступал адвокатом чекистов и юристов революционной эпохи: **«Декрет опять же выдуман. Правда, в уголовном кодексе 1926 года существовала статья 59, пункт семь, который гласил: «пропаганда или агитация, направленная к возбуждению национальной или религиозной вражды или розни, а равно распространение, изготовление и хранение литературы того же характера влечет за собой лишение свободы на срок до двух лет».**

Вот такая либеральная 59-я статья. Нет в ней ничего об антисемитизме, ничего о смертной казни... Вот, мол, какие добренькие, по словам Дейча, были эти самые его соплеменники.

Но я думаю, что А. В. Луначарский лучше знал суть дела, когда в брошюре «об антисемитизме» (Госиздат, М.-Л., 1929) на странице 38-й писал: **«Когда этот декрет был написан Я. М. Свердловым (! —** *Ст. К.*) **и принесен Ленину, Ленин его прочел и красными чернилами и своей собственной рукой на этом документе припи-**

сал: «Совнарком предписывает всем совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона».

А сам официальный текст декрета, опубликованный в газете «Известия ВЦИК» от 27 июля 1918 года, гласил с торжественностью ветхозаветных скрижалей:

«Декрет Совета Народных Комиссаров
о пресечении в корне антисемитского движения

По поступившим в Совет Народных Комиссаров сведениям, контрреволюционеры во многих городах, особенно в прифронтовой полосе, ведут погромную агитацию, последствием которой были местами эксцессы против трудового еврейского населения. Буржуазная контрреволюция берет в свои руки то оружие, которое выпало из рук царя.

Самодержавное правительство каждый раз, когда ему нужно было отвести от себя гнев народный, направляло его на евреев, указывая темным массам, будто все их беды от евреев. При этом еврейские богачи всегда находили себе защиту, а страдала и гибла от травли и насилия еврейская беднота.

Теперь контрреволюционеры возобновили травлю против евреев, пользуясь голодом, усталостью, а также неразвитостью наиболее отсталых масс и остатками вражды к евреям, которая была привита народу самодержавием.

В Российской Советской Федеративной Республике, где провозглашен принцип самоопределения трудовых масс всех народов, нет места национальному угнетению. Еврейские буржуа враги нам не как евреи, а как буржуа (логика Дейча: «не евреи, но большевики-интернационалисты». — *Ст. К.*). *Еврейский рабочий нам брат.*

Всякая травля какой бы то ни было нации недопустима и позорна.

Совет Народных Комиссаров объявляет антисемитское движение и погромы евреев гибелью для дела рабочей

и крестьянской революции и призывает трудовой народ Социалистической России всеми средствами бороться с этим злом.

Национальная вражда ослабляет наши революционные ряды, разъединяет единый, без различия национальностей, трудовой фронт и на руку лишь нашим врагам.

Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Ульянов (Ленин)
Управляющий делами Совнаркома Вл. Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Н. Горбунов».

Иосиф Сталин, которого все еврейские политологи от Гроссмана до Борщаговского считают «биологическим антисемитом», как разумный государственник никогда им не был, и долгое время, пока ему позволяли исторические обстоятельства, придерживался ленинской политики в еврейском вопросе, о чем свидетельствует следующий документ:

ОБ АНТИСЕМИТИЗМЕ

Ответ на запрос Еврейского телеграфного агентства из Америки

Отвечаю на ваш запрос.

Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма.

Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последователь-

ные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма.

В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью.

И. Сталин

12 января 1931 г.

Впервые опубликовано в газете «Правда» № 329, 30 янв. 1936 г.

Семен Резник пограмотней Марка Дейча, потому что он слышал о существовании ленинского декрета и так писал о нем в книжице «Красное и коричневое», признавая, что декрет действовал на всю катушку:

«Вскоре после революции в связи с разгулом еврейских погромов советское правительство приняло декрет, запрещавший антисемитскую деятельность». Смягчил Семен формулировку, опустил самое главное: **«ставить вне закона»** (это все равно, что ставить к стенке). Ну да ладно... Не в этом дело, а в том, что еврейские погромы — любимый пропагандистский конек Семена Резника. В этой же вашингтонской книге жалкую фарсовую ссору на сцене Центрального Дома литераторов, где писателю Анатолию Курчаткину то ли разбили очки, то ли он сам их уронил и разбил, Семен ухитрился поставить в ряд знаменитых **«еврейских погромов».** Но это — глупость хотя бы потому, что Анатолий Курчаткин — русский. В той же книге Резник, видимо, заболевший манией преследования, пишет: **«О том, как патриоты собирают адреса евреев в Москве, Ленинграде, Киеве и других городах, хорошо известно».**

Для чего собирают адреса? Конечно, для погромов! И Резник с геббельсовским размахом нагоняет страх на слабонервных евреев: **«Среди еврейского населения России давно уже царит паника...», «Азербайджанцы могут бежать из Армении в свою республику или в**

Москву», «Армяне могут бежать из Азербайджана [...] **А евреям бежать некуда»**, — восклицает матерый провокатор и добавляет, обливаясь слезами: **«Нет для них безопасного места на всей Руси великой!»** Но почему же бежать некуда? Убежал ведь Невзлин в Израиль, Гусинский в Испанию, Березовский в Англию. Есть куда бежать! Да сам Резник в Америку в свое время «от погромов» едва-едва успел драпануть. (Один Ходорковский за всех отдувается.) Сколько воды утекло с тех пор! Сколько армян погибло, азербайджанцев, таджиков, осетин, чеченцев, ингушей, абхазцев, русских... Словом, тех, кому **«было куда бежать»**. А погромов все нет и нет. И все евреи целы. И Радзиховский в знаменитой статье «Еврейское счастье» пишет: **«Евреи сегодня в России оказались сильнее, чем 20 лет назад. Больше того, рискну предположить, что евреи имеют больший удельный вес в политике и бизнесе, чем в политике и бизнесе любой другой христианской страны»**.

Впрочем, Резник может со злорадством вспомнить Копцева, психически нездорового юношу, который в одиночку, как самоубийца, бросился с ножом на еврейскую толпу в синагоге и сумел нескольким мужчинам нанести какие-то поверхностные порезы. Но его тут же скрутили и посадили на 16 лет. А совсем недавно судили кингисеппскую банду абсолютно здоровых грабителей и убийц. Отправили они на тот свет около десятка граждан и получили каждый от 10 до 12 лет. Так что декрет об антисемитизме, написанный рукой Свердлова, у нас действует до сих пор. В следующем году юбилей будем праздновать — 90 лет декрету.

Этот документ, на мой взгляд, принес евреям больше вреда, чем пользы, потому что, будучи сформулированным в таком виде (борьба только с антисемитизмом, а не с любым шовинизмом или расизмом), он поставил еврейское население в исключительное, привилегированное, особо охраняемое государством положение, которым в то жестокое и неправовое время можно было легко воспользоваться и для внесудебных расправ, и для устройства в

общественной пирамиде и в пирамиде власти. Напомню, что за антисемитизм предусматривались самые тяжкие наказания, вплоть до смертной казни. Расстреливали и ссылали, как при Сталине, даже за анекдоты. Но благодаря этому волна антиеврейских настроений опять и опять начала нарастать уже в 20-е годы.

Из частного письма академика В. И. Вернадского в 1927 году: «**Москва — местами Бердичев; сила еврейства ужасающая — а антисемитизм (и в коммунистических кругах) растет неудержимо**»[1].

Вот почему Серго Орджоникидзе в том же 1927 г., на XV съезде партии, пришлось в своем отчете ЦК и РКИ уделить немало места национальному вопросу. В партии, видимо, к тому времени (еще «досталинскому») началось брожение по поводу еврейского засилья в партийном и государственном аппарате. Чтобы пресечь подобные настроения, Орджоникидзе привел в своем выступлении цифры, свидетельствующие о том, что на Украине в советских и партийных органах, в госаппарате «...в столице русских 33,4%, евреев 30,3%, украинцев 30,5%, по всей республике русских 17,2%, украинцев 54,3%, евреев 22,6%».

«По Белоруссии в столице русских 6,7%, коренной национальности 46,3%, евреев 38,3%»

«По всей республике русских 4,9%, коренной национальности 60,5%, евреев 30,6 проц».

«По Крымской республике в столице русских 57,6%, евреев 23,8%, коренной национальности 12,7%»[2].

Кстати, участники съезда, судя по докладу Орджоникидзе, отнюдь не ощущали себя однородной массой «большевистского интернационала» (как считает Марк Дейч), но прекрасно понимали, кто из них русский, а кто еврей. Видимо, поэтому главная роль докладчика по национальному вопросу была поручена именно грузину.

---

[1] Из письма И.Н. Петрукевичу 14.6.1927 г. («Новый мир», 1989, № 12, с. 219).

[2] Из стенограммы XV съезда ВКП(б).

Несмотря на то, что процентные выкладки в докладе Орджоникидзе содержат данные по всем национальностям в административно-бюрократической системе, свою речь он специально закончил следующими словами, которые вошли в полное противоречие с цифрами: **«Отсюда, между прочим, видно, что всякие разговорчики о еврейском засилье и т. д. не имеют под собой никакой почвы».**

Какова все-таки была тяга к власти у неразумных сынов Израиля! Напомню, что это был 1927 год. «Еврейские большевики» не вняли первому предостережению, и через десять лет бунт против их чрезмерного присутствия во всех властных структурах государства от партии до НКВД наберет такую силу, что станет подобным цунами, которое получит имя Большого Террора, или Репрессий 1937 года.

Я не понимаю одного: зачем врать Дейчу и Резнику? Ведь на каждое их очередное вранье неизбежно находятся опровержения: в исторических исследованиях, в архивных документах, в первоисточниках. Рано или поздно всегда выплывают «аргументы и факты», обличающие ложь. Когда я поделился этими мыслями с историком Сергеем Николаевичем Семеновым, тот мрачно усмехнулся:

— Чем больше они упорствуют, кричат, что ни в чем не виноваты, — тем быстрее все проясняется. Сами себе веревку намыливают...

Другой, более взвешенной и более христианской точки зрения придерживается Вадим Кожинов в заповеди, которая завершает его работу «Загадка 1937 года».

«И все же, подводя итоги, необходимо сказать о другой — и очень важной стороне проблемы. Конечно же, охарактеризованные выше попытки возложить ответственность и вину за 1937 г. на так называемых деревенских хамов несостоятельны чисто фактически и безнравственно-лживы. Однако те из моих читателей, которые попросту переложат ответственность и вину на «друзей» Хенкина и Разгона, по сути дела, поставят себя в один ряд с этими авторами».

Конечно, хорошо бы покаяться Дейчу и Резнику если не за преступление своих единокровных предков и однофамильцев («сын за отца не отвечает», как сказал товарищ Сталин), то хотя бы за отчаянные попытки сокрытия этих преступлений, то есть за ложь. Хорошо бы вспомнить евангельские слова Христа, обращенные к фарисеям: «Ваш отец диавол», «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи»... Что остается, Марк? Разве что покаяться. Все-таки у Вас имя евангельское...

«ЛЕТ ДВАДЦАТЬ ОНИ ПУСКАЛИ НАМ КРОВЬ»

Исполняется 60 лет со времени известных всему миру событий — кампании против критиков-космополитов и дела Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). Не за горами и юбилей так называемого «дела врачей».

По поводу этих событий написано и издано в последние годы немало книг самого разного достоинства — от поверхностно-пропагандистских, а порой и просто лживых до объективных и научных в полном смысле этого слова. Однако время идет, и находятся все новые и новые свидетельства, проясняющие и уточняющие исторический контекст той эпохи.

В середине 90-х годов прошлого века мне позвонила одна женщина, отрекомендовалась как секретарша Константина Симонова, доверительно сообщила, что у нее остались после его смерти некоторые литературные документы эпохи конца сороковых — начала пятидесятых годов из симоновского архива и предложила журналу «Наш современник» приобрести их с правом публикации. Мы повстречались, договорились о цене и вскоре я держал в руках эти интереснейшие бумаги.

Одновременно с ними я раздобыл неизвестные исследователям письма из наследия Анатолия Софронова, Всеволода Вишневского, Арона Вергелиса и других деятельных участников давней исторической драмы. Пусть

они свидетельствуют и говорят сами за себя, а мы предварим их лишь небольшим историческим комментарием, чтобы освежить в памяти масштабы и характер репрессивных процессов против интеллигенции не только в послевоенные, но и в 20—30-е годы.

...Осень 1924-го. По распоряжению одного из главных чекистов страны Агранова-Сорензона ОГПУ арестовывает группу в 14 человек молодых поэтов, художников, журналистов во главе с другом Сергея Есенина Алексеем Ганиным. Дело об «Ордене русских фашистов» закончилось расстрелом семерых молодых людей. Остальные получили длительные сроки тюремного и лагерного заключения. Все они были русские люди.

1931 год. Органы госбезопасности арестовали несколько десятков человек из технической интеллигенции. По всей стране прокатилась пропагандистская волна, связанная с печально знаменитым «шахтинским делом» и процессом над участниками «промпартии».

Но пойдем дальше. 1933—1934 годы.

«Дело Российской национальной партии», или «дело русских фашистов», оно же «дело славистов», когда были репрессированы крупнейшие этнографы, археологи, реставраторы, директора музеев, а среди них лингвисты и литературоведы академик М. Сперанский, чл.-корр. АН Н. Дурново и А. Селищев, профессора В. Виноградов, А. Седельников, Н. Туницкий и многие, многие выдающиеся русские интеллигенты. Всего в Москве и Ленинграде органы арестовали 76 человек, из которых было расстреляно и погибло в лагерях 28. Русская наука на много лет была обезглавлена.

А сколько было в 20—30-е годы подобных процессов местного масштаба против дворян, старых спецов, священнослужителей, «русских фашистов», антисемитов — не счесть! Полных масштабов всех этих антирусских чисток, замаскированных фразеологией о классовой борьбе, мы, видимо, не узнаем никогда.

Все эти катаклизмы, которые заканчивались расстрелами, ссылками, лишениями в правах русских лю-

дей в 20—30-е годы, вспоминаются еще и потому, что во многих нынешних книгах период сталинского правления изображается как вечное преследование еврейской интеллигенции, и сам Сталин не как суровый и расчетливый строитель государства, а всего лишь как патологический антисемит, изначально жаждавший преследования и уничтожения бедных евреев. Особенно вульгарно и поверхностно эта точка зрения изложена в книгах А. Борщаговского «Записки баловня судьбы», «Обвиняется кровь» и в воспоминаниях Я. Рапопорта «На рубеже двух эпох». Наиболее объективно и доказательно еврейская проблема той эпохи освещена в книге Г. Костырченко «В плену у красного фараона».

«Свирепый закоренелый антисемитизм Сталина»; Сталин — «заурядный уголовный пахан» «ненавидел их плоть, врожденные их способности», «даже их имена», «обвиняется кровь и ничто другое» (из книги А. Борщаговского «Обвиняется кровь»).

Все репрессии, по убеждению этого автора, «**определены изначальным недоверием к крови, презрением к крови, ненавистью к крови»...** Зато соперники Сталина, какие бы кровавые злодеяния ни стояли у них за спиной, остались в истории, по мнению А. Борщаговского, достойными любых комплиментов. «**Троцкий с его искусным ораторством, беспощадным ироническим умом», «Каменев — образованный, хорошо пишущий, так легко располагающий к себе людей», «Зиновьев, — пышноволосый вития, покоритель партийных толп»...** Вот как он превозносил «своих по крови!».

В отличие от «исследователей» типа Борщаговского Г. Костырченко анализирует события тех лет с трезвой объективностью историка. По Борщаговскому и Рапопорту, Михоэлса убили из-за того, что Сталин был политическим антисемитом. (А поглупевший от ненависти покойный Зиновий Гердт договорился до того, что «**Сталин заревновал к его** (Михоэлса. — *Ст. К.*) **популярности»** и потому «**кончилось убийством»).**

Г. Костырченко пишет о драме Михоэлса и Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) совсем иначе: «**Лидеры ЕАК в какой-то момент, особенно после поездки Михоэлса и Фефера на Запад, пребывали в эйфории. Им стало казаться, что, подобно элите американского еврейства, они могут «в свою очередь» влиять на правительственные круги, участвуя в формировании государственного политического курса в интересах советских евреев. Однако наивно было думать, что Сталин, не считавшийся ни с чьими интересами, включая ближайших родственников и соратников, пойдет на это**».

А. Борщаговский пытается изобразить дело так, что изначальным импульсом кампании против «критиков-космополитов» был государственный антисемитизм, помноженный на личную ненависть Сталина к евреям. Но причины антикосмополитической кампании куда более заурядны, нежели оно кажется Борщаговскому.

Г. Костырченко в книге «В плену у красного фараона» убедительно, на документах доказал, что дело было прямым завершением номенклатурного противостояния и борьбы в недрах самого ЦК КПСС.

Будущих «критиков-космополитов» в ЦК поддерживал и опекал отдел пропаганды и агитации во главе с Шепиловым. «**Высокое покровительство,** — пишет Г. Костырченко, — **окрыляло критиков, порождало в них иллюзии широких возможностей и права на смелые оценки и суждения. Их статьи часто публиковались на страницах престижных и массовых периодических изданий**».

Скрытая цель борьбы этого в основном состоящего из евреев партийно-идеологического клана была в том, чтобы свергнуть генсека СП СССР А. Фадеева и посадить на его место более подходящего им К. Симонова. Включив все рычаги партийного Агитпропа, Борщаговский со товарищи начали борьбу с фадеевским окружением — А. Софроновым, В. Вишневским, А. Суровым, Н. Виртой и другими русскими драматургами; наверняка их целью было вытеснение из репертуаров советских театров пьес этих драматургов, чтобы заменить их иными

(Галич-Гинзбург, Масс и Червинский, бр. Тур, Шейнин, Ласкин и т. п.). Словом, разыгрывалась скрытая борьба одной волны посредственной драматургии с другой, может быть, еще более посредственной. И неизвестно, чем могла бы закончиться война, если бы опытный аппаратчик Александр Фадеев, почуяв опасность, заручившись поддержкой Георгия Маленкова, не нанес своим противникам упреждающий удар. Защитники еврейского лобби — Шепилов в ЦК КПСС и Симонов в Союзе писателей, почувствовав, что Сталин не сдаст Фадеева, молниеносно перебежали в лагерь побеждающей стороны.

Тут-то и началась в январе 1949 года официальная развязка исторической драмы. Что делать, раз проиграли в партийно-аппаратной схватке бульдогов под ковром! Не рассчитали сил, видимо, памятуя, как легко их соплеменники расправились в 20—30-е годы с «орденом русских фашистов», с почетными академиками-славистами, со старыми русскими спецами из Промпартии. А тут не учли, несмотря на весь свой изощренный ум, что после войны и партия, и Лубянка, и идеология получили мощную русскую патриотическую прививку.

И негоже сейчас, спустя полвека, пожилому человеку А. Борщаговскому кликушествовать о гонениях на кровь и о страданиях своих сотоварищей по достаточно грязной, полной интриг и коварства партийно-идеологической возне, окончившейся их поражением. Будет проще считать, что это сверхчеловеческий реванш истории за дело Ганина, за смерти и расстрелы славистов, за мучения на Соловках ленинградских студентов из «Братства преподобного Серафима». Кстати, никого ведь из критиков-космополитов не расстреляли и в лагеря не сослали. Даже из Союза писателей никого не исключили, кроме старого партидеолога Альтмана. Словом, отделались они легким испугом. Ну кое-кого с работы сняли, из редколлегии вывели. Впрочем, самый ловкий из пострадавших, тот же Борщаговский, молниеносно сориентировался и вскоре настрочил ура-патриотический роман «Русский флаг». Мощные силы в ЦК любили и поощряли кульби-

ты такого рода. Легко отделались. Не то, что русские интеллигенты на процессах 20—30-х годов, когда были и жертвы, и сроки, и кровь лилась настоящая.

А документы, которые мы публикуем, любопытны еще и тем, что они опровергают расхожие домыслы мемуаристов о том, что главными застрельщиками антисемитских кампаний были русские «шовинисты» и «черносотенцы» вроде Софронова, Грибачева, Сурова. Да, они выступали на пленумах и партсобраниях, писали статьи в газетах и журналах, пользовались словами «антипатриоты», «космополиты», «западники»! — но никогда не опускались (или, скажет кто-нибудь, «не поднимались») до мазохистско-патологического анализа литературной жизни, который содержался в поистине антисемитских служебных письмах-доносах К. Симонова и А. Вергелиса.

Несмотря на то, что, наверняка, цифры, факты, проценты, приведенные в них, фактически правдивы, нельзя же было организовывать и провоцировать столь тотальные гонения на скромных, не хватающих звезд с неба еврейских писателей, пишущих на своем идише. Поистине это сравнимо лишь с отношением вождей сионизма к «сухим ветвям» — ассимилированным европейским евреями, принесенным в жертву фашизму. (Заметим, кстати, что письмо Симонова на имя Хрущева о необходимости исключения евреев из СП СССР написано уже после смерти Сталина!)

Впрочем, бегство в стан победителей и побеждающих — обычное дело в мировой истории, и евреи в этом смысле не исключение. Недаром же во время антикосмополитической компании «евреев-космополитов» (Антокольского, Субоцкого, Юзовского) громили «евреи-антисемиты» Я. Эльсберг, Л. Дымшиц, Г. Маргвелашвили, Зяма Паперный, В. Волькенштейн. Уж как они могли, по Борщаговскому, «обвинять» ту же самую «кровь», которая текла в их жилах — необъяснимо...

Достаточно будет добавить, что многие из тех литераторов, которых позднее объявили «космополитами», самым активным образом выступали в издававшейся с 1946

года и как бы специально предназначенной для идеологических «погромов» газете ЦК ВКП(б) «Культура и жизнь». Одним из «главных космополитов», а до того погромщиком был А. С. Гурвич. Поэт С. И. Липкин, которого никак нельзя заподозрить в искажении существа дела, вспоминал позднее, как в 1930-х годах «клевреты» начальства «начали топтать Платонова...».

«Среди них мне запомнился Гурвич, впоследствии — несчастный, преследуемый космополит. Ветхозаветный бог мести наказал Гурвича» (Семен Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана... М., 1990, с. 12). То есть литератор, которого пытаются представить поборником подлинного искусства, «топтал» одного из замечательнейших писателей XX века Андрея Платонова! И подобных фактов множество. Так, объявленные впоследствии «космополитами» критики С. Д. Дрейден и В. Я. Кирпотин в свое время беспощадно травили крупнейшего драматурга послереволюционной России Михаила Булгакова (который, кстати, включил их имена в составленный им перечень своих главных гонителей).

Наконец, об очевидной лжи насчет пресловутого «антисемитизма» тех, кто резко критиковал в то время Гурвича и других, неоспоримо свидетельствует публикуемое письмо В. В. Вишневского, горячо выступавшего против «космополитов». В этом письме к одному из тогдашних руководителей Союза писателей он просит предоставить бесплатные путевки трем еврейкам, сотрудницам редактируемого им журнала «Знамя», притом называет их «святыми людьми...»

В конце 1940-начале 1950-х годов шла острая борьба не просто между русскими и евреями, а между двумя идеологическими тенденциями — условно говоря, патриотической и «интернационалистской», пытающейся гальванизировать послереволюционную антирусскую направленность, которая была решительно подорвана во время Великой Отечественной войны. И публикуемые письма дают возможность приблизиться к пониманию действительной сути событий конца 1940-х — начала 1950-х годов.

I. Из архива К. М. Симонова

Записка К. Симонова А. Фадееву.

Дорогой Александр Александрович!

Посылаю тебе сделанную по твоему поручению работу.

В понедельник в 10.30 утра как и условились — буду у тебя.

Твой *К. Симонов.*

19.3.53

(Речь шла о следующем письме в ЦК КПСС, составленном К. Симоновым на имя Н. Хрущева. — *Ст. К.*)

ТОВАРИЩУ ХРУЩЕВУ Н. С.
О мерах Секретариата Союза писателей по освобождению писательских организаций от балласта

В настоящее время в Московской организации Союза Советских Писателей СССР состоит 1102 человека (955 членов и 147 кандидатов в члены Союза Советских Писателей СССР).

Свыше 150 человек из этого числа не выступают с произведениями, имеющими самостоятельную художественную ценность, от пяти до десяти лет.

Эти бездействующие литераторы являются балластом, мешающим работе Союза Писателей, а в ряде случаев, дискредитирующим высокое звание советского писателя. Согласно Уставу ССП СССР они подлежат исключению из Союза Советских Писателей вследствие «прекращения литературно-художественной и литературно-критической деятельности в течение целого ряда лет» (раздел 3, п. 5. «г»).

Большинство из этих лиц и в прошлом не имело достаточных оснований для вступления в Союз писателей; многие из них были приняты в Московскую писательскую организацию в 1934 г. при создании Союза писателей, — в условиях массового приема.

Поблажки, допущенные при массовом приеме, в дальнейшем вошли в практику работы Союза писателей, ко-

гда в ряде случаев при приеме в ССП снижались требования к вновь вступающим, благодаря плохому изучению вновь принимаемых, а зачастую и их непринципиальных, приятельских отношениях.

Много случайных людей, не имеющих самостоятельных литературно-художественных произведений, попало в Союз писателей в годы войны и в первые послевоенные годы — в силу стремления большого числа лиц, имевших косвенное отношение к литературе, проникнуть в Союз для получения материальных преимуществ, связанных с пребыванием в нем. (Снабжение, литерные карточки и т. д.)

Среди этого балласта — немало людей, которые, не имея возможности существовать на свои литературные заработки, иждивенчески относились и относятся к Союзу писателей и добиваются по всяким поводам материальной поддержки из средств Литературного Фонда.

Вот несколько примеров.

Из числа исключенных из Союза за последнее время:

А. Г. РЖЕШЕВСКИЙ (сотрудник ВЧК, затем киносценарист и драматург. По его сценариям ставили кинофильмы сами Эйзенштейн и Пудовкин; в период, когда написан текст Симонова, в театрах успешно шла его пьеса «Олеко Дундич»; наконец, он был «отцом-героем»: вырастил семь сыновей и три дочери (это хотя бы отчасти «оправдывает» его долги. Так что Симонов вряд ли был прав в своем гневе.— *Ст. К.*) — с 1934 года числился драматургом. В соавторстве с другим лицом написал одну поставленную в театре пьесу и несколько сценариев. С 1946 года Ржешевский с новыми печатными (или поставленными в театре, или кино) литературно-художественными произведениями не выступает, целиком перейдя на «иждивение» Литфонда, ВУОАПа» да и некоторых театров. Заключенные договоры с театрами Ржешевский не выполнял, направив свою деятельность, главным образом, на получение авансов, попрошайничество и другие, недостойные советского писателя, способы «заработка». К моменту исключения из Союза общая задолженность

Ржевского Литфонду, ВУОАПу и др. организациям достигла 150 тыс. рублей.

Д. М. ХАИТ — был принят в Союз Писателей в 1944 году. Последний раз выступил в печати в 1943 году с антихудожественными рассказами. Исключался в 1944 г. из Союза на один год за дискредитацию звания советского писателя. Исключен из Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний за неэтическое поведение и выступления с халтурными лекциями. Ко времени исключения из Союза писателей (1953 г.) остался должен Литературному Фонду 11,5 тыс. руб.

М. ШОЛОК — был принят в Союз писателей в 1934 году, на основании одной пьесы, написанной для цыганского театра. После этого вплоть до своего исключения из Союза не написано ни одного художественного произведения. Вел себя, как авантюрист: при поездке по стране пытался выдавать себя за писателя М. А. Шолохова.

Из числа еще не исключенных из Союза:

Т. Л. ДУБИНСКАЯ — состоит в Союзе писателей с 1934 года. До 1939 года написала несколько рассказов и две повести на весьма невысоком художественном уровне. С 1934 года не напечатала ни одной строчки. Разъезжая по стране с чтением неполноценных лекций, пыталась вымогать деньги у различных местных организаций. В течение ряда лет получала пособия от Литфонда: только за последние два года получила пособий на сумму в 6 тыс. рублей.

М. С. ХЕНКИНА — принята в Союз писателей в 1934 году. В 1929 и 1936 гг. выпустила две книжки стихов на еврейском языке. С тех пор нигде не печаталась. Рукописи, которые она представляла за последние годы в Союз писателей, не имеют никакой художественной ценности. Ничего не создавая и нигде не работая все эти годы, осаждает Союз требованиями материальной помощи.

Д. Ш. ХОРОЛ — принята в Союз писателей в 1935 году, будучи автором нескольких стихотворений для детей, опубликованных в еврейских журналах. С тех пор ее

произведения нигде не публиковались. (Здесь Константин Михайлович снова дал маху: книги Двойры Хорол издавались в 1928, 1939, 1940 и др. годах.— *Ст. К.*) Нигде не служа и не работая, только за последние два года получила из Литфонда пособий на сумму 7.679 рублей.

Б. В. БОБОВИЧ — кандидат в члены Союза писателей с 1934 года; принят на основании нескольких эстрадных скетчей, написанных для «Синей блузы». Ничего не напечатал с 1941 года. За последние два года получил из Литфонда в виде всякого рода пособий — 11.200 рублей.

Приведенные примеры характерны в той или иной мере для всего балласта, составляющего в московской организации, как отмечалось выше, более 150 человек.

Значительную часть этого балласта составляют лица еврейской национальности и, в том числе, члены бывшего «Еврейского литературного объединения» (Московской секции еврейских писателей), распущенного в 1949 году.

Из 1102 членов московской организации Союза писателей русских — 662 чел. (60%), евреев — 329 чел. (29,8%), украинцев — 23 чел., армян 21 чел., других национальностей — 67 чел.

При создании Союза советских писателей в 1934 году — в московскую организацию было принято 351 чел., из них — писателей еврейской национальности 124 чел. (35,3%). В 1935—1940 гг. принято 244 человек, из них писателей еврейской национальности — 85 человек (34,8 %); в 1941—1946 гг. принято 265 чел., — из них писателей еврейской национальности 75 человек (28,4 %). В 1947—1952 гг. принято 241 чел., из них писателей еврейской национальности — 49 чел. (20,3 %).

Такой искусственно завышенный прием в Союз писателей лиц еврейской национальности объясняется тем, что многие из них принимались не по их литературным заслугам, а в результате сниженных требований, приятельских отношений, а в ряде случаев и в результате замаскированных проявлений национали-

стической семейственности (особенно в период существования в Союзе писателей еврейского литературного объединения, часть представителей которого входила в состав руководящих органов ССП СССР).

Следует особо сказать о членах и кандидатах в члены Союза писателей, состоявших в бывшем еврейском литературном объединении. Все руководство этого объединения и значительная часть его членов были в свое время репрессированы органами МГБ. После ликвидации объединения и прекращения изданий на еврейском языке, входившие ранее в это объединение, занялись литературной работой и эпизодически выступают в печати на русском языке. Остальные — являются балластом в Московской организации Союза писателей. Среди них есть отдельные лица, вообще изменившие свою профессию (например, О. Дриз, уже несколько лет работающий гранильщиком в одной из строительных организаций).

Приводя изложенные выше факты по Московской писательской организации, руководство ССП СССР располагает сведениями, что близкое к этому положение существует в Ленинградской организации. Не вполне благополучно обстоит дело с состоянием творческих кадров и в Союзе писателей Украины.

Полностью сознавая свою ответственность за такое положение с творческими кадрами, — руководство Союза советских писателей СССР считает необходимым, путем систематического и пристального изучения членов и кандидатов в члены Союза писателей, последовательно и неуклонно освобождать Союз писателей от балласта.

Руководство Союза писателей считает, что было бы политически неправильным проводить это мероприятие в порядке «чистки» или «перерегистрации». Эта работа должна проводиться постепенно, опираясь на пристальное изучение кадров. Вместе с тем мы считаем необходимым добиться того, чтобы в течение 1953—52 годов существующее ненормальное положение с составом творческих кадров писателей было бы решительно исправлено.

За последнее время Секретариат и президиум Союза советских писателей СССР приняли первые меры в этом направлении. За ряд месяцев Президиумом Правления ССП СССР исключено из Союза писателей 11 чел.; Секретариатом ССП внесена в Президиум рекомендация — исключить еще 11 человек. Работа эта будет продолжаться.

Мы считаем необходимым довести до сведения ЦК КПСС об этих мероприятиях, учитывая, в частности, и то обстоятельство, что исключенные будут обращаться с жалобами в руководящие партийные и советские организации.

Генеральный секретарь
Союза советских писателей СССР
А. Фадеев
Заместители Генерального секретаря
Союза советских писателей СССР
А. Сурков
К. Симонов

Советское еврейство конечно же знало об этом «антисемитском» служебном письме К. Симонова. Но, тем не менее, все еврейские идеологи и историки литературы, а также всяческие мемуаристы сделали вид, что ничего не ведают об этом документе. Им было выгодно выставить на общественное порицание в 50—70-е годы русских писателей и драматургов — А. Софронова, Н. Грибачева, В. Кочетова, но никоим образом не Симонова, который пользовался громадной популярностью в еврейских кругах, у которого все жены были еврейками, который был вхож во все властные кабинеты сталинской и послесталинской эпохи. Слишком он был нужен еврейскому лобби, и потому оно всеми силами защищало репутацию знаменитого поэта, шестикратного лауреата Сталинской премии и одного из главных деятелей хрущевской оттепели. Прагматизм евреев в такого рода ситуациях не имеет пределов. Поистине «цель оправдывает средства».

В ПАРТБЮРО ССП[1]

Партийное бюро ССП поручило мне дать отзыв о творчестве еврейского поэта М. Штурмана[2].

Откровенно говоря, это поручение поставило меня в затруднительное положение.

Что писать о Штурмане? Что писать о поэте, который на протяжении многих лет не функционирует в печатной литературе, а известен лишь тем, что ревностно посещает Дом литераторов?

Правда, Штурман сейчас пытается объяснить свои неудачи плохим отношением к нему со стороны врагов народа, ранее стоявших во главе еврейской литературы. Но это — спекуляция. Если бы еврейская литература не была засорена врагами Советского народа, она, конечно, не дошла бы до нынешнего состояния полного идейного и художественного падения. Но что касается лично таких «писателей», как Штурман, Альбирт и пр., то я осмелюсь сказать, что они не стали бы от этого талантливыми. Фефер, Гофштейн и др. не только всячески защищали буржуазных националистов в еврейской литературе, но и засоряли ее неудачниками, случайными людьми, графоманами — и тем самым подрывали ее жизненные силы.

Я не говорю, что Штурман вообще плохой человек, но я вполне уверен в том, что он в годы своей молодости напрасно возомнил себя писателем и таким образом на протяжении двух десятков лет приучал себя к жизни паразита, не приносящего обществу никакой пользы и имеющего только чувствительные претензии к издательству и к Литфонду. Действительно, неужели удачный сотрудник многотиражки, или, скажем, удачный электромонтер менее удачен, чем неудачный писатель? Мне гово-

---

[1] Письмо принадлежит перу Арона Алтеровича Вергелиса — еврейского советского поэта, пишущего на идише. Родился близ Житомира в 1918 г. Начал печататься в 1935 г.

[2] Матвей Штурман в 1930-х гг. издал три сборника стихов.

рят, что я проявляю чрезмерную строгость, советуя таким, как Штурман, оставить писательское ремесло и приняться за посильное дело. Но такая постановка вопроса кажется мне единственно справедливой, ибо она обеспечивает, как чистоту литературных рядов, так и полезность каждого советского человека в жизни общества. Ведь подумать только, что здоровый нормальный человек каждое утро — и так на протяжении двадцати с лишним лет — встает с постели не для того, чтобы приняться за какое-нибудь дело, а лишь для того, чтобы сходить в клуб писателей, отнести туда сплетню, побывать на собрании. И это «право» он за собой утверждает, пользуясь тем, что когда-то ему по ошибке выдали членский билет ССП! При этом он забывает, что писатель имеет право на свое высокое звание только благодаря своим произведениям.

Что же касается произведений, то Штурман читал мне, начиная с 1945 года, примерно 20-30 своих ненапечатанных стихов на еврейском языке. При этом он жаловался, что его «затирают», что «можно отобрать сборничек», что «нельзя забывать о его тяжелом материальном положении» и т. д. Но я, к сожалению, не мог согласиться со Штурманом. Его стихи не имеют искры поэзии, они написаны не поэтом, а человеком с выражением местечкового уровня развития, научившимся посредственно рифмовать строчки. Лучшие из них имеют логический смысл, но ведь этого недостаточно, чтобы считать их поэзией. Что же касается материального положения, то кому не известно, что забота о его устройстве не должна быть положена в основу писательской деятельности?

К сказанному о Штурмане мне остается добавить следующее. Несмотря на настояния секретаря партбюро, я бы не согласился написать эти строки, ибо, повторяю, писать о писателе-неудачнике, только изредка добивавшемся у слабонервных редакторов напечатания какого-нибудь случайного и малозначительного, к тому же целиком переделанного редактором стихотворения — задача неприятная и неблагодарная. Я бы не стал писать о Штурмане эти строки, если бы не следующее обстоятельство.

Известно, что за прошедший год еврейская литература пережила потрясающий по силе кризис. Положение работающих ныне еврейских писателей усугубляется тем, что не мы, еврейские писатели, а органы Госбезопасности первые обратили внимание на орудовавшую в еврейской литературе кучку активных буржуазных националистов, врагов Советского народа. Эту свою тяжкую вину еврейские писатели переносят с понятной болью, перед которой материальные трудности, связанные с полным отсутствием печатных органов на еврейском языке, вопросы престижа и другие подобные вопросы совершенно теряют какое-либо значение. Остается одно желание — не жалея сил — трудиться и трудиться; неустанно работая над собой, учитывая уроки последнего года, достигнуть во что бы то ни стало той ясной высоты, когда человек совершенно освобождается от теснившей его на протяжение многих лет душной и нездоровой атмосферы, полностью переоценить все прежние понятия в еврейской литературе, стряхнуть с себя даже воспоминания о мерзавцах, доведших еврейскую литературу до ничтожества — и новыми произведениями, написанными в упорном трудовом усилии всей воли, снова занять место среди советских писателей.

Такое чувство владеет сейчас честными еврейскими писателями. Но есть и такие еврейские «литераторы», жизнь которых стала поразительно легкой и веселой именно в связи с тяжелым кризисом в еврейской литературе. Это — спекулянты. Меня охватывает чувство стыда, когда я узнаю о похождениях проходимца Альбирта. Под благовидным предлогом помочь «бедным евреям» не только русские поэты «переводят» совершеннейший бред Альбирта и поэтический лепет Штурмана, не считаясь даже с еврейским текстом и создавая новые, не имеющие адекватного с оригиналом, стихотворения. Таким образом получается, что Альбирт, например, который в своем творчестве на еврейском языке является воплощением стопроцентного графоманства, в настоящее время имеет 30-40 переводов на русский язык, и эти переводы далеко не лишены элементарных качеств поэзии. Если к это-

му добавить, что хорошие еврейские поэты сейчас почти не переводятся, что возникает комическая, но печальная перспектива, что именно Альбирт, Штурман и пр. в силу своего «организаторского таланта» будут в какой-то степени говорить от имени еврейской поэзии. Мне кажется, сказать товарищам, переводящим графоманов из побуждения «помочь бедным евреям», что эта уродливая форма как раз и придумана заядлыми еврейскими буржуазными националистами в литературе, и что она глубоко оскорбительна для достоинства советских людей, советских писателей. Суровая товарищеская критика — вот что сейчас крайне необходимо еврейским писателям.

Я воспользуюсь настоящей, хотя и очень затянувшейся, запиской для того, чтобы, далее, высказать некоторые соображения общего характера. Кажется, чрезвычайно важным разобраться в порочных особенностях еврейской литературы вообще, в тех причинах, которые привели еврейскую литературу к ее сегодняшнему состоянию.

Не претендуя на всестороннее и исчерпывающее освещение этого сложного вопроса, я мог бы указать, по крайней мере, на три основные порочные особенности еврейской литературы.

Первой порочной особенностью еврейской литературы является то, что она за тридцать лет существования в качестве еврейской советской литературы, развиваясь на благодатной почве советской действительности, не смогла стать подлинно советской литературой. Старшее поколение еврейских писателей, составлявшее на протяжении всех тридцати лет основной костяк литературы на еврейском языке, ушло своими корнями в прошлое, бережно оберегало традиции мелкобуржуазного, мелкоместечкового прошлого. Начав свою литературную деятельность еще в дореволюционные годы, такие еврейские писатели, как Гофштейн, Дер Нистор, Бергельсон, Маркиш[1] во-

---

[1] Ведущие еврейские писатели, арестованные в 1948—1949 гг. и расстрелянные в 1952-м, кроме Нистора (Нистера), который умер в 1950 году в тюремной больнице — по сфабрикованным политическим обвинениям (русских писателей расстреливали по таким обви-

шли в литературу как носители буржуазных и националистических идей. Еврейская литературная общественность глубоко повинна в том, что она легко простила этим писателям их бегство от революции, их белоэмигрантскую деятельность за границей[1] в самые тяжелые для советской власти годы. Националист и сионист Гофштейн, бежав из Советской России, совершил демонстративную пропагандистскую поездку в Палестину, Маркиш, находясь в эмиграции, писал националистические и анархические пасквили, Бергельсон выступал на страницах херстовского американского листка «Форвертс» со злостными антисоветскими статейками. Вернувшись в СССР, эта группа долгие годы всячески раздувала так называемые «трудности перестройки», «перестраиваясь», наносила тяжелые удары советской литературе, сдерживала развитие еврейской советской литературы. Эти люди всячески восхваляли свои собственные произведения, создавали себе дутую славу, объявляли себя «живыми классиками» и т. п. Второе и третье поколение еврейских советских писателей, пришедших в литературу в 30—40 годы, должны были в интересах своего творческого роста, творческого и идейного роста всей литературы, сорвать грим с этих людей, разоблачить их перед читателями и перед руководством всесоюзной литературы. Мы этого не сделали своевременно, и поэтому Бергельсон, Маркиш, Нистор, Гофштейн, Добрушин и иже с ними до последнего дня претендовали на роль законодателей в современной литературе, поэтому еврейская литература на протяжении всего послевоенного периода не оказалась способной создать хотя бы одно сколько-нибудь значительное послевоенное произведение о советской действительности, отстала от жизни на десятилетия и, следовательно, отсутствовала в хоре многонациональной советской литературы.

нениям с 1921 года). Утверждение А. Вергелиса об «антисоветской» настроенности этих писателей ложно и пр.

[1] Этого не было...

Второй порочной особенностью еврейской литературы является то, что она, развиваясь в семье братских советских литератур, рядом с литературой великого русского народа, тем не менее, жила национально-обособленной, национально-ограниченной жизнью. Отсюда ее в основном националистическая суть. В самом деле, перелистав книжную продукцию еврейских писателей за последние тридцать лет, особенно книжную продукцию старшего поколения еврейских писателей, приходишь к выводу, что еврейская литература отображала советскую действительность по принципу «евреи и советская действительность». Еврейская литература понимала свои задачи узко-националистически. Не широкий и правдивый показ советской действительности, а изображение исключительно роли еврейского народа в этой действительности, недостойная возня с разными надуманными и давно отпавшими в нашей стране «еврейскими проблемами». Если кто-нибудь пожелает составить себе представление о жизни и борьбе советского народа по еврейской литературе — я ему это не советую — то он подумает, в СССР строили социализм в основном только люди еврейской национальности[1]. В таком именно духе написаны книги Маркиша, Бергельсона о гражданской войне, книга Альбертона о Донбассе, поэма Фефера о Днепрострое, поэмы Маркиша о восстановительном процессе, книга Стельмаха об Урале, произведения Нистора, Персова, Ошеровича, Гофштейна и др. о периоде Отечественной войны. Оголтелый сионист Гофштейн наводнял еврейскую литературу националистическими и псевдофилософскими творениями. Именно он уже в годы войны выдвинул омерзительно-декадентскую теорию о целебных свойствах плесени, плесени, разумеется, идеологической. Маркиш начал свое шествие по советской литературе грубо-националистической и декадентской поэмой о погромах «Куча» и пасквилем на советскую действительность «Товарищи кустари». Уже в

[1] Вергелис противоречит самому себе: ведь ранее он «отлучил» известнейших еврейских писателей от социализма.

последние годы, в годы войны и после войны, Маркиш, все еще «перестраиваясь», написал декадентско-националистический цикл о разбитом зеркале, отождествляющий еврейский народ во время войны разбитому зеркалу. Почитайте последний «труд» Маркиша, 25.000 строк его поэмы «Война» — если, конечно, у вас хватит для этого терпения. Опять старая националистическая тенденция: основы событий Великой войны проходят в основном только через еврейский типаж. Это — ложь, поклеп на действительность, бесстыдное издевательство над элементарными фактами. Конечно, еврейский народ, как и все народы Советского союза, принимал активное участие в Великой Отечественной войне. Но можно ли написать эпическое произведение о войне 1941—1945 г., не уделив девяносто девять процентов труда и вдохновения великим подвигам и организующей силе великого русского народа и Коммунистической партии?

Третьей порочной особенностью еврейской литературы является то, что она за тридцать лет существования в качестве еврейской советской литературы, получая всемерную помощь со стороны советского народа, не оправдала его доверия и в основном — я опять говорю преимущественно о творчестве старшего поколения писателей — ориентировалась на зарубежного читателя, являясь таким образом литературой космополитической, раболепствующей перед иностранщиной.

Национализм и космополитизм не противоречат друг другу, а друг другу сопутствуют. Националист И. Кипнис окольным путем напечатал свой пошлый рассказ в иностранной еврейской газете. Дер Нистор, все творчество и весь моральный облик которого, были как бы перенесены искусственно в советскую жизнь из другого века, из глубин еврейской «черты оседлости», еврейского гетто, Дер Нистор существовал как «крупный писатель», его националистический бред печатался и восхвалялся — только в угоду американским почитателям «искусства для искусства», которые обожествляли Нистора и с

помощью Еврейского антифашистского комитета издавали его произведения, порочащие имя советского писателя раньше, чем они издавались издательством «Дер Эмес». Перец Маркиш и Давид Бергельсон никогда не порывали своих преступных связей с антисоветскими писателями Лейвиком, Апатошу и др., проживающими в США. Они с ними переписывались и всячески их восхваляли как «выдающихся писателей еврейского народа». Они восхваляли Лейвика и Апатошу, этих опустившихся людей, людей без рода и племени, без чести и совести, оторвавшихся от своего народа и давно уже переставших быть писателями. Впрочем, долг платежом красен. Лейвик и Апатошу в свою очередь восхваляли в своих листках Бергельсона, Маркиша, Нистора, Гофштейна и др., объявляя их «единственными еврейскими писателями в СССР, которые заслуживают внимания». Это единство еврейских буржуазных националистов было только одним из многочисленных проявлений их основного космополитического и антинародного принципа «всемирного единства еврейского народа», принципа, которым они руководствовались в своей литературной и общественной деятельности и который, кстати, был лейтмотивом в работе Еврейского антифашистского комитета.

Мне кажется, что всякие второстепенные и малозначительные вопросы, как-то вопрос о Штурмане, об Альбирте, вопросы навязчивые в такой же степени, в какой сами Штурман и Альберт назойливы, должны решаться быстро и без лишней траты энергии. Основное внимание должно быть уделено на полное раскрытие причин нынешнего положения в еврейской литературе, на беспощадное разоблачение всех ее пороков, на ликвидацию идеологического и политического вреда, нанесенного ей многочисленной агентурой врага и на оказание помощи честным еврейским писателям в деле их скорейшего включения в созидательную жизнь советской литературы.

А. Вергелис

16/XII.1949

А вот этот сюжет с письмом А. Вергелиса, на мой взгляд, куда более любопытен, нежели сюжет симоновский. Во-первых, Вергелис, в отличие от Константина Симонова, стопроцентный еврей. Во-вторых, в его письме-доносе много конкретной правды, много точных характеристик, немало любопытных оценок и сведений о творчестве своих, в основном, бесталанных современников... И, конечно же, после 1956 года или после августовского переворота в 1991 году Вергелис должен был подвергнуться осуждению и отлучению со стороны еврейских либералов...

В 1949-м году в разгар борьбы с космополитизмом молодой, еще малоизвестный поэт, пишущий на идише выступает против евреев, добавляет масла в «антисемитский» сталинский костер — да кому бы это сошло с рук в дальнейшем? Никому. А Вергелису — сошло... Ибо он показал такие способности к перевоплощению, к смене убеждений, к идеологическому хамелеонству, что евреи, читавшие изданную в 1979 году его книгу «16 стран, включая Монако» — думаю, что аплодировали ему. Все дело в том, что объехавший полмира Арон Вергелис в конце семидесятых годов, будучи уже главным редактором еврейского литературного журнала «Советише Хаймланд», продемонстрировал в своих путевых очерках такую любовь к мировому еврейству, такое восхищение его успехами в политике и бизнесе, такое воспевание своих соплеменников — сильных мира сего, что трудно было поверить: неужели это тот же самый Арон тридцать лет тому назад выступавший как профессиональный обличитель и гонитель своих литературных противников?!

Вот несколько отрывков из книги Арона Вергелиса «16 стран, включая Монако». («Сов. писатель», 1979 г.)

«Когда же пресс-конференция, которая велась на английском и на русском языках, закончилась, чуть ли не половина корреспондентов неожиданно заговорила на еврейском.

— О, — воскликнул я, — уважаемые, вы еще не забыли язык ваших прабабушек?!»

...Слово берет профессор Мостовец.

— Просто уму непостижимо, — говорит он, — как в определенных кругах не желают прислушаться к фактам. А факты таковы, что в Советском Союзе евреи играют большую роль в экономике, в науке, в литературе и искусстве, в медицине. Посудите сами: возможно ли это в стране, где официальная политика — антисемитизм? Возможно ли в таком государстве, чтобы евреи, занимающие одиннадцатое место по численности среди других народов, были на третьем месте по количеству студентов в высших учебных заведениях. На третьем месте среди ученых... Возможно ли было бы, чтобы евреи, составляющие немногим более одного процента населения страны, составили четырнадцать процентов врачей и писателей, двадцать три процента музыкантов и так далее?

Вечером в гости к нами пришел известный американский писатель Альберт Кан, Альберт Кан отвозит нас в своей машине на ферму богатого адвоката и дельца Галона, подвергающегося за непокорность бойкоту со стороны местных реакционных кругов.

Майкл Голд, знаменитый американский писатель, смотрит на меня, а я смотрю на него, мы обнимаемся, как старые друзья, хотя лично не знакомы. И разговор у нас идет такой, словно он начался давно:

— Недавно московская «Литературная газета» сообщила...

— ...что я пишу вторую книгу моего романа «Евреи без денег»,— продолжает он.

— Значит можно ожидать, что «Советише Хаймланд»...

— ...получит тот кусок романа, который журналу подойдет.

Так мы несколько минут ведем наш деловой разговор...

Второй мой приезд в Париж был связан с приглашением Ицхока Шнеерсона. Года полтора назад советский генерал Драгунский рассказал мне интерес-

ную историю об этом богатом парижском фабриканте, который до революции был казенным раввином города Чернигова. Драгунский тоже по приглашению Шнеерсона ездил в Париж на открытие мемориального музея в честь евреев — жертв фашизма — и евреев-участников Сопротивления. Президент и основатель Мемориала — восьмидесятилетний Ицхок Шнеерсон.

Входишь в здание Мемориала, опускаешься по ступенькам в полуподвал и попадаешь в зал, где возложен камень на символической могиле шести миллионов мучеников. Шесть прожекторов рассекают тьму над шестью углами шестиугольного камня... На белой, ярко освещенной стене надпись на древнееврейском языке: «Смотрите и вы увидите, есть ли еще такая боль, как моя боль. Млад и стар, мои дочери и сыновья пали от этого меча».

«Здесь, в крохотной комнате, размером не больше каюты на старом речном пароходе, Владимир Ильич Ленин редактировал в 1902—1903 годах большевистскую «Искру». Семнадцать номеров вышли именно здесь.

— Вы должны это знать: из семнадцати номеров шестнадцать набрали еврейские наборщики, — говорит Эндрью Ротштейн и внимательно насмотрит, какое впечатление произведут на меня его слова.

Думаю о том, как бесхозяйственна у нас, евреев, историческая наука.

Узнаю, что соратники Ленина печатали некоторые свои статьи в Еврейском «Векере» («Будильнике») и что сам Владимир Ильич — его конспиративное имя здесь было Якоб Рихтер — в 1903 году выступил с речью о Парижской коммуне на собрании еврейских рабочих в «Рабочем союзе».

«Подсчитано, что десять миллионов евреев, уцелевших после Второй мировой войны, превратились в четырнадцать миллионов тридцать восемь тысяч на сегодняшний день», (через 23 года после окончания войны?! Или рождаемость у них была, как у таджиков, или с цифрами о холокосте что-то напутали... — *Ст. К.*).

* * *

Конечно же не только идеологические вожди еврейства, но и широкие круги еврейской интеллигенции и в Советском Союзе и в Америке не могли не знать о политическом доносе Вергелиса на еврейских писателей в 1949 году. Но почему же тогда через 20 лет после выхода книги «16 стран включая Монако» никто его не упрекнул в ренегатстве и фарисействе, а во время перестройки и гласности никто (как и в случае с Симоновым) не вспомнил его погромной антисемитской декларации? Предполагаю, что здесь все дело в одной уникальной особенности еврейского менталитета. Евреи могут простить ради тактических соображений своим соплеменникам все — политические наветы, антисемитские выпады, объединение с властью во время «борьбы с космополитизмом». Все кроме одного. Они не прощают соплеменникам, когда те покушаются на «святая святых» еврейской истории — на сакральную сущность еврейства, на ветхозаветную или талмудическую сущность еврейского бытия. Простить Симонова, Вергелиса, Паперного, Эльсберга, Дымщица и других евреев, стоявших во время борьбы с космополитизмом в одном ряду с Софроновым и Грибачевым, еврейству не представляло никаких сложностей. Забыли, как по приказу свыше, — и все. Но простить предателей веры вроде еврея выкреста Якова Брафмана, написавшего в XIX веке «Книгу Кагала» — о темных сакральных тайнах еврейства — этого евреи ни забыть, ни простить не могут вот уже полтора века. Недавно в России вышла книга американского (бывшего советского) журналиста Семена Резника, «Вместе или врозь?». Заметки на полях книги А. И. Солженицына, в которой автор пишет о Брафмане и ему подобным, как о предателях еврейства, которым никогда и ни за что не может быть никакого прощенья:

«Крещения по конъюнктурным соображениям вряд ли можно было считать морально безупречным поступ-

ком; тем не менее таких выкрестов не следует ставить на одну доску с выкрестами другого ряда —теми, кто порвав с еврейством, превращался в злобных юдофобов, снабжавших врагов породившего их народа клеветническими «знаниями» о еврейской жизни, религии, Талмуде и т. п.». Вот так-то. У них даже выкресты свои, особенные.

II. Из архива А. В. Софронова

8.V.48.

На бланке журнала «Знамя»

Москва.

Ан. Софронову

Дорогой Анатолий Владимирович!

Привет! — С днем Победы... (В этот день я из Берлина прилетел в Москву.) Начинаю от маеты последнего десятилетия — приходить в некую норму... Читаю и думаю только об искусстве. Никуда не лечу; никого не бомблю; не срываюсь ночью с койки...

— Вчера был у меня А. Фадеев... — Бодрый, оживший от перегрузок, с рядом новых планов, живых мыслей... Чудесно поговорили... — Литература идет впереди всех отрядов худож. фронта страны — и это мы можем скромно констатировать — и усилить свою работу... — Мы много должны сделать...

— Читали ли № 5 «Знамени»?.. — Готовим интересные № 6-й и № 7-й... При личной встрече расскажу ряд интересных, нужных вещей... — (Что-то я от воздуха и устремленных раздумий очень взбодрился...) Прошу Вас помочь нашим знаменцам: старейшим, работающим десятки лет, но которых не коснулось повышение зарплаты... — Я прошу 3 бесплатных путевки больным моим работникам — **зав. редакцией Л. Коган; зав. отд. очерка Ц. Дмитриевой и лит. секретарю «Знамени» Ф. Левиной... — (Это реальные работяги и святые люди: сидят в мороз, в сырость, в зной, живут литературой...).**

— Я надеюсь, что вы поможете нашему общему делу и людям большого труда.

Крепко жму руку

Вс. Вишневский[1]

10/111 1950

А.В. Софронову

Барвиха

ССП СССР. Москва

Привет, Анатолий Владимирович!

Благодарю Вас за телеграмму. Сталинская награда[2] обязывает к новым делам... Продумываю детали работы с Чиаурели[3]; мы с ним в конце марта поедем на Балтику, я его покрепче «окуну» во флотский мир. Затем — за новую пьесу: набор образов, персонажей силен; «остается» собрать их, «построить» и повести... Настроение бодрое и сосредоточенное... Этот год для меня вообще знаменателен: в декабре стукнет 50 лет; 30 лет регулярной литпублиц. работы (первый очерк о парт. Подполье в Крыму напечатал в дек. 1920 г. — после разгрома Врангеля; редактором был Федор Гладков)...

Тронут многочисленными письмами и телеграммами писателей, военных моряков, артистов и пр. — Рад успеху ЦТКАЗ[4]; думаю, что и Малый встрепенется...

---

[1] Всеволод Витальевич Вишневский (1900—1951) — видный драматург, автор «Оптимистической трагедии» (1933), сценария кинофильма «Мы из Кронштадта» (1936), «романа-фильма» «Мы, русский народ» (1937) и т. д. С 1944 г. и до кончины был главным редактором журнала «Знамя».

[2] В 1950 году В. В. Вишневскому была присуждена Сталинская премия; одновременно были удостоены Сталинских премий (вопреки пропагандируемому сейчас мифу о тогдашнем государственном антисемитизме») многие евреи: А. Л. Барто, Е. А. Долматовский, Э. Г. Казакевич, А. Н. Рыбаков (впоследствии сочинял «антисталинские» романы), «братья Тур» (Л. Д. Тубельский и П. Л. Рыжей), А. Б. Чаковский и др.

[3] М. Э. Чиаурели — знаменитый в то время кинорежиссер.

[4] Центральный театр Красной Армии.

Слежу за «Лит. газетой». «Контрабандой» — (мимо врачей) — уже дал им статью о «Кубан. казаках»[1]... — Нужно в газете смелее развертывать тему литературы и искусства. — Лебедев[2] подробно рассказал мне о заседании 6 111 о Ст.(алинских) премиях. Раздумываю над замечаниями т. Сталина. Они в наш адрес...

Нужно достойно провести годовщину смерти В. Маяковского. Пока идут скрытые и полуявные споры; они вот-вот м. б. и прорвутся... — Желательно поэтому внести в проблемы поэзии ясность. А. Тарасенков сообщил мне о своей статье и готовящемся докладе. М. б. и получится нужный разговор. — А. Тарасенков после жестокого моего удара в 1946 г. за пастернаковщину и т. п. — очень задумался над своими путями и, видимо, выбирается на дорогу. Но ему полезно проанализировать свои ошибки, а не полагаться на субъективную окрыленность и пр. — (я полностью в курсе его дел).

Как Ваши дела? Как обсуждение нового варианта «Бекетова»[3]. Впервые пьеса была напечатана в журнале «Новый мир» в 1949 году, в № 4. Разрешение опубликовать эту пьесу в журнале попросил у автора Константин Симонов, в то время главный редактор «Нового мира». «Старик, ты сам знаешь, что написал», — вспоминал Анатолий Софронов сказанные ему симоновские слова.

Премьера спектакля состоялась 26 апреля 1949 года в Киевском русском драматическом театре имени Леси Украинки. Постановщик — В. Нелли. Премьера спектакля в ленинградском Театре комедии состоялась 10 мая того же года. Постановку осуществил Николай Акимов.

По этой же пьесе готовили спектакль в Москве — Малый театр и театр Моссовета. Но вскоре в «Правде»

---

[1] Романтический кинофильм, снятый в 1950 году И. А. Пырьевым и с успехом демонстрируемый в наши дни.

[2] Влиятельный в то время литературный критик.

[3] Имеется в виду пьеса Анатолия Софронова «Карьера Бекетова», с первоначальным вариантом которой ознакомился Вс. Вишневский.

появилась разгромная статья Давида Заславского, выдвинувшего в адрес автора пьесы обвинение в поклепе на нашу действительность, в которой нет места карьеризму, и констатировавшего шаг назад в творчестве драматурга, успешно дебютировавшего пьесами «В одном городе» и «Московский характер» (1948 г.), которые были удостоены Сталинской премии...

Из неофициальных источников стало известно, что с «Карьерой Бекетова» был ознакомлен Лаврентий Берия, после чего и появилась статья в «Правде», а после нее была прекращена работа над готовящимися спектаклями по этой пьесе в выше названных театрах и был снят спектакль в акимовском театре сразу же после первого премьерного его показа.]?.. Как с новыми планами? Что вообще в драмкомиссии? Будет ли работать Б. Ромашов[1]?.. (Басаргин[2], полагаю, вряд ли нужен)...

Нет, обо всем тут не напишешь...

Лучшие приветы!.. А как превосходно, что мы в лепешку «рассадили» космополитов: всех этих Гурвичей, Юзовских и К°[3].

---

[1] Б. К. Ромашов — широко известный тогда драматург.

[2] Басаргин, видимо, — персонаж А. В. Софронова, пьесы в первом ее варианте, с которым ознакомился В. Вишневский, в опубликованном тексте пьесы этого персонажа нет.

[3] А. С. Гурвич (1897—1962) и. И. Юзовский (1902—1964) — критики, громившие «на убой» драматургов, вступивших на драматургическое поприще в первые послевоенные годы, — годы, озаренные нашей победой в Великой Отечественной войне, пронизавшие сердца наших людей обостренным чувством гордости и любви к своему Отечеству. Целенаправленный разнос вышеназванными и им подобными критиками отечественной драматургии, вышедшей на театральную сцену во имя утверждения этих чувств и соответствующих им деяний наших современников, получил со стороны драматургов и официального руководства Союза писателей СССР не менее жесткий и «убойный» отпор. Кампания по борьбе «с антипатриотической группой» критиков была проведена в конце 40-х годов. На Пленуме по драматургии в декабре 1948 года с докладами по этой теме выступили Константин Симонов, Анатолий Софронов и др. Активное участие в ней приняли и критики, среди которых были Александр Григорь-

...Вот тоже нашлись «наставники» для русской литературы... Жаль только, что лет 20 они пускали нам кровь, и безжалостно[1]... Ну, кончено!..

Крепко жму руку.

Всеволод Вишневский.

Дорогой Толя!

У меня к тебе большая просьба: прочти прилагаемую рукопись»[2], если можно не откладывая в долгий ящик. Пьеса мне нравится, но так как, во-первых, автор мой ближайший друг, а во-вторых, я на разных этапах рабо-

---

евич Дементьев, впоследствии заместитель главного редактора «Нового мира» — Александра Трифоновича Твардовского.

Не оправдывая обоюдоострую жесткость и даже жестокость этой развязанной театральными критиками идеологической борьбы, следует признать правомерность твердого отпора, данного им: последующие десятилетия идеологической и политической жизни, а точнее — борьбы, лишь подтвердили, что то наступление антипатриотически настроенных театральных критиков представляло собой лишь «разведку боем» и явилось провозвестником исторически глобальных — идеологических и политических — противостояний второй половины XX века не только внутри нашей страны, но и за ее пределами. Сегодня, когда «с легкостью неимоверной» был разрушен Советский Союз и уже протянуты щупальца к цельности самой России, кажется, доказывать это нет надобности, как и подчеркивать непреложную истину — такие акции не совершаются по мановению руки, без тщательной и последовательной к тому подготовки. Время все расставило по своим местам, и сегодня позволяет нам взглянуть на те, вроде бы чисто литературные, события сороковых годов в их исторической перспективе. И можно только поражаться тому, что даже такой, казалось бы, умудренный в боях (правда, иного толка) человек, как Вс. Вишневский, не ощутил всей опасности начавшегося, а главное — далеко устремленного глубинного процесса по разрушению нашего Отечества и мог умиротворенно воскликнуть в конце публикуемого письма: «Ну, кончено!..»

[1] В одном из своих писем к А. Софронову Вс. Вишневский писал, что в свое время ему не дали сделать фильм по его сценарию «Мы, русский народ» (1937), и тогда он не понял почему. «Оказывается, многого мы не знали...» — заключил Вишневский.

[2] О какой рукописи идет речь, установить не удалось. Но письмо ясно показывает, каковы были действительные взаимоотношения А. В. Софронова и К. М. Симонова в те годы (их теперь обычно пытаются представить в виде противников).

ты помогал ему и давал советы, то я боюсь быть необъективным. А между тем, если пьеса действительно удачная, мне бы очень хотелось подумать о ее судьбе.

Жму руку.

Твой *Константин Симонов.*

7 июня 1948 года.

Тов. Софронов!

Мне кажется, что упоминание моего имени в числе критиков, не выразивших своего отношения к осуждению их ошибок партийной орг.(анизацией) Союза и нашей печатью, — основано на недоразумении.

В 6 книжке «Знамени» в довольно большой статье «Пути романтики» я абсолютно четко определил свое отношение к эстетизму, декадансу, формалистической поэзии и т. п.

В другой форме я сделал это и в статье о Кирсанове и еще в ряде статей, напечатанных после августа 46 г.: — «Жизнь — действие — страсть» (в «Литгазете»), «Первые поиски» (в «Л. Г.»), «Главное в этой книге» (в «Л. Г.»), в рецензиях, помещенных в «Знамени», и, наконец, в книжке, посвященной творчеству Симонова, которую я закончил только что и сдал в из-во.

Думаю, что вся моя работа после августа показывает, что критику метода подхода к оценке лит. явлений, метода, который проявился в статье о Смелякове, я усвоил. А ошибки методологические ведь не изживаются в один день?!

Что же я должен был сделать, кроме практических усилий, творческих усилий критика?! Ведь это главное.

А в какой мере удачны были мои усилия, это другой вопрос. Тут я уже судить не могу.

С приветом *Д. Данин*[1].

Письмо без даты. По-видимому, 1947 или 1948 год.

---

[1] Д. Е. Данин (Плотке, р. 1914 г.) — критик, причисленный к «космополитам». Ему приписывают теперь несгибаемую «принципиальность», но это письмо говорит и о малодушии и о приспособленчестве ко всякого рода обстоятельствам.

12.1.61.

Дорогой Анатолий Владимирович!

Может быть, Вы и правы, что последняя моя поэма не для «Огонька». Обиды нет. Письмо не об этом.

Прочитал я здесь ваш журнал от 7-го января. Это прекрасный номер. Великолепные до слез стихи Дм. Ковалева. Яркие, как всегда, талантливейшие — Цыбина. Изумительное, абсолютно правильное, боевое выступление Коненкова[1].

---

[1] Имеется в виду статья народного художника СССР С. Коненкова «Дорогое родство», опубликованная в журнале «Огонек» в 1961 году, в № 2. Глубина и принципиальность убеждений одного из ведущих деятелей нашей культуры делает эту статью актуальной и по сей день, а точнее, еще более актуальной, чем в дни ее появления. Нам показалось резонным дать возможность познакомиться нашему читателю с отдельными выдержками из нее.

«Мои современники — наследники богатой многовековой истории народа, наследники великой русской культуры. На необъятных просторах нашей Родины находятся многочисленные очаги древней культуры... Ведь это живая книга нашей отечественной истории! Но часто ли мы заглядываем в эту книгу? Бережем ли память предков? Учим ли любви к родной земле, ее истории и культуре молодежь? Надо прямо ответить: редко заглядываем, плохо бережем, мало учим.

...сколько еще совершается непоправимых потрав в бесценном наследии страны!

...Тем более странно и больно слышать, что в наши дни ради проведения «красных линий» довольно устаревшего Генерального плана реконструкции Москвы 1935 года в Москве собираются сносить многие уникальные здания храмового и гражданского строительства.

Центр Москвы должен быть архитектурным заповедником!

...Возможно, наши беды в архитектуре происходили от забвения многовековых традиций, неумной ориентации на Запад.

...Насквозь казенная Петербургская Академия художеств изгоняла из стен своих все живое, все национальное по форме. Она наставляла молодых художников на путь схоластики, эклектического толкования религиозных догм и сюжетов. Эта академия не знала и не хотела знать великого искусства Древней Руси. Она боялась его животворящей мощи, его ликующей приподнятости, его народного духа. Не пристало нам, современникам грандиозных исторических свершений советского народа, держать на положении девки-чернявки бесценные духовные богатства предков. Не пристало нам быть Иванами, не помнящими родства!

... Я готов стать членом этого общества, ежели там будут принимать поэтов. Сам я этой нашей драмой теперь особенно болею.

Кстати. В музее реконструкции Москвы, на пл. Дзержинского, есть изумительная — в красках — панорама старой Москвы. И там — во всем блеске — чудо русского искусства — храм Христа Спасителя.

(Панораму совсем недавно прислал музею один доживающий эмигрант из Франции. Очень советую заехать... взглянуть).

Совершенно же ясно, что новая, коммунистическая Москва не должна стирать с лица земли древнюю русскую столицу. В этом смысле идея Коненкова об архитектурном заповеднике в центре Москвы — прекрасная, конкретная, совершенно реальная идея, которую с великой благодарностью оценят все поколения.

И напротив. Снесение в 1932 г. Храма Христа — страшное и мерзкое преступление. Это все равно, что снести Исакий или Василия Блаженного. Сейчас есть все возможности не допускать ничего подобного впредь.

Сам я вот уже месяц в больнице... Скоро выхожу и еду в санаторий.

Большой привет!

В. Котов[1].

Предисловие и комментарий к служебным запискам К. Симонова и А. Вергелиса — Ст. Куняева.

Комментарии к письмам А. Софронова, К. Симонова, В. Вишневского, В. Котова — В.А. Софроновой.

Мы обязаны вступить «в святой и правый» бой с людьми, забывающими, что Родина — это история народа, его искусство и зодчество, его песни и обряды, его танцы и уклад жизни. Пора, давно пора переходить от слов к делу... Почему не доводится до конца прекрасная инициатива обществ охраны памятников старины?..».

[1] Владимир Петрович Котов (1928—1970) — автор ряда стихотворных книг, не принадлежащих, к сожалению, к значительным явлениям поэзии, но — что ясно из письма — достойный человек и гражданин России.

«ПРЕДАТЕЛЬСТВО – ЭТО ПРОДАЖА ВДОХНОВЕНИЯ»

В 1959 году, отработав после университета свой долг перед государством, я вернулся из Сибири в Москву и после некоторых мытарств устроился в молодежный журнал «Смена». Главным редактором «Смены» тогда был Анатолий Васильевич Никонов, который впоследствии возглавил «Молодую гвардию» и сделал ее знаменитым журналом 60-х годов.

Однажды в «Смене» появился молодой человек, модно одетый, обаятельный, пышноволосый. Под мышкой он держал картину, завернутую в полотно. Он смело вошел в кабинет Никонова, а вскоре туда позвали и нас, сотрудников журнала.

— Знакомьтесь! Это — талантливый русский художник Илья Глазунов. Он принес нам портрет Владимира Ильича Ленина и предлагает напечатать его к 90-летию вождя. Портрет интересный. Прошу всех внимательно посмотреть.

Ленин на портрете был действительно необычен. Его живое лицо на фоне алого зарева как будто вылезало из рамы. Громадный лоб, печальные умные глаза. Глубокие трагические морщины. Портрет никак не вписывался в привычную официальную Лениниану. Не было в нем никакой плакатной риторики, но и никакого ерничества, ничего глумливого...

Художник стоял возле портрета и смотрел на нас таким же печальным, как у Ленина, взглядом усталого человека, завершившего большое дело...

Через 30 лет в знаменитых «Мистериях» этот же персонаж будет изображен Глазуновым в карикатурном стиле, а в его воспоминаниях фигурировать как «палач», «русофоб», «тиран» и даже «сифилитик»... Но тогда! Тогда это был другой Ленин, которого я видел лишь один раз, поскольку таинственный портрет не вошел ни в один из

многочисленных альбомов художника. И, как мне помнится, лишь однажды выставлялся в Манеже к 100-летию Ленина в 1970 году. Видимо, художник вовремя понял, что совершил ошибку, сотворив человечный образ вождя русской революции. Анатолий Васильевич Никонов, по-моему, не решился тогда опубликовать в журнале необычного Ленина. К сожалению. Потому что куда делся портрет — пылится ли где-нибудь сегодня на дачном чердаке в Жуковке или в глазуновской Академии, — известно лишь одному автору. А может быть, портрета уже не существует? Ведь не только поэты жгут свои стихи, а прозаики романы...

Такова была моя первая встреча с Ильей Глазуновым весной 1960 года.

* * *

Неожиданно для меня самого мои воспоминания о Вадиме Кожинове из июльского номера «Нашего современника» за 2002 год отозвались драматическим эхом. Может быть, я весьма опрометчиво вспомнил о том, как Илья Глазунов искал у Кожинова понимания и не нашел его, поскольку Вадим считал, что «работы художника последних лет — это китч». Как бы то ни было, но, прочитав «кожиновский номер», Илья Сергеевич позвонил в редакцию и заявил, что больше не желает сотрудничать с «Нашим современником». Конечно же, я огорчился, но потом понял, что иначе и быть не могло: как я умудрился позабыть о его славе, о его рейтинге, о его дворянском гоноре! С моим заместителем Геннадием Михайловичем Гусевым мы сразу же вспомнили, что в 1996 году, когда печатали в журнале глазуновскую книгу «Россия распятая», то в первой же строчке редакционного предисловия к книге (написанного, кстати, самим художником) исправили один эпитет: слово «гениальный» заменили на «знаменитый». Илья Сергеевич прочитал вступление, прожег каждого из нас поочередно негодующим взором и сказал:

— Не пойдет!

— Что не пойдет?

— «Знаменитый» — не пойдет. Другое слово нужно.

— Ну, давайте скажем «выдающийся»!

Глазунов посмотрел на меня как на идиота...

— Ну «великий», — дрогнул я, не веря, что Глазунову придется по душе такая грубая лесть.

— Нет, — отрезал художник, — только гениальный!

Мы переглянулись и поняли, что он не шутит. Дело серьезное. Седовласый мэтр гневно щурил глаза, торопливо затягивался сигаретой, желваки на его породистом лице ходили ходуном.

«Как бы не забрал рукопись! — мелькнуло в моей голове. — Надо соглашаться на «гениального».

И, словно прочитав мои мысли, Илья Сергеевич процедил сквозь зубы:

— Вы не понимаете, что, печатая мою книгу в десяти номерах, вдвое или даже втрое поднимете тираж своего умирающего журнала!

Забегая вперед, скажу, что тираж после публикации «России распятой» не то чтобы поднялся, но даже немного упал, однако, щадя самолюбие художника, ни Гусев, ни я не решились сказать ему впоследствии о таком казусе. А в тот вечер мы все-таки уговорили его остановиться на «великом», потому что — не хуже, чем «гениальный», а народу понятнее. Но в конце разговора я все-таки не удержался и съязвил:

— Илья! Вот когда умер Суворов и собрались царедворцы, чтобы решить, какую надпись сделать на могильной плите полководца, то многие предлагали все титулы придворные и воинские выбить на мраморе и высочайших эпитетов советовали не жалеть... Но поэт Гавриил Державин вдруг произнес три простых слова: «Здесь лежит Суворов». И все пришли в восторг, сообразив, что имя Суворов само по себе значительнее всех титулов и званий!

Однако на мякине провести Глазунова не удалось.

— Когда помру — тогда и пишите: «Здесь лежит Глазунов», а покуда жив — только «гениальный» или, в крайнем случае, «великий»!

Глаза его сверкали, дым от «Мальборо» валил изо рта, щеки дергались. Он не шутил...

И такого искренне и беспредельно уверенного в своем величии человека я посмел уязвить несколькими легкомысленными суждениями?! Впрочем, они принадлежали не мне, а покойному Кожинову, и утаить их я тоже не имел права.

Однако надо было искать пути к примирению, при этом не теряя лица, и я сочинил в очередной номер журнала краткое объяснение для читателей.

ОТ РЕДАКЦИИ

Многие читатели нашего журнала, получив августовский номер, будут разочарованы: они не смогут познакомиться с новой главой из мемуаров И. С. Глазунова, которую мы обещали опубликовать. Дело в том, что Илья Сергеевич прочитал в предыдущем июльском выпуске журнала воспоминания Станислава Юрьевича Куняева о Вадиме Валериановиче Кожинове, в которых на странице 159 есть несколько абзацев о том, как Кожинов относился к творчеству Глазунова, с небольшими пояснениями Ст. Куняева. Эти, на наш взгляд, объективные полстранички текста настолько расстроили знаменитого художника, что он срочно прислал в редакцию телефонограмму, в которой «категорически» потребовал снять публикацию из номера.

В связи с этим нам хочется напомнить читателям, что сделал журнал, в последнее время, сотрудничая с «народным художником СССР, профессором, действительным членом Академии художеств» (так подписана телефонограмма).

В течение почти всего девяносто шестого года «Наш современник» в девяти номерах печатал книгу «Россия распятая», хотя многие исторические и политические размышления автора, мягко говоря, противоречили позиции журнала. Глазунов как литератор состоялся, без всякого преувеличения, на страницах «Нашего современника».

В 2000 году мы опубликовали к 70-летию мастера фундаментальную статью искусствоведа В. Новикова о его жизни и творчестве.

В 2002 году в третьем номере журнала появились размышления его талантливого ученика, художника М. Шанькова, о педагогическом даре своего наставника и его деятельности в Академии, им созданной.

Более того, нами заказана статья А. Проханову о «феномене Глазунова», которую мы обязательно опубликуем, как бы ни складывались дальнейшие отношения столь ревнивого к своей славе художника с журналом.

Но мы не теряем надежды на то, что, вспомнив о нашем плодотворном сотрудничестве, вспомнив о своих читателях, Илья Сергеевич все-таки изменит свое решение...

«Изменит решение!..». Куда там! Великий художник закусил удила, и вскоре в «Литературной газете» под зловещей рубрикой «К барьеру!» появилось письмо.

НАШ СОВРЕМЕННИК ЖДЕТ ДРУГОГО

Дорогие мои зрители и читатели! Я заканчиваю первую часть моей книги «Россия распятая», переработанную в сравнении с уже вышедшим изданием в «Роман-газете». В ней рассказывается не только о моей реальной, никому не известной во многом жизни художника, но и выражается мое мировоззрение и понимание искусства, русской и мировой истории, что показано в моих работах. Я счастлив, что миллионы зрителей у нас и за рубежом посетили мои выставки. Редакция журнала «Наш современник», возглавляемая Станиславом Юрьевичем Куняевым, обратилась ко мне с просьбой напечатать мою главу «Киев», в которой я рассказываю о восстановлении мной могилы Столыпина, закатанной под асфальт уже в хрущевские времена. Глава моей книги должна была быть опубликована в восьмом номере сего года. Однако, прочтя отрывок из мемуаристики С. Куняева о В. В. Кожинове, будучи возмущен ложью, отказался печататься.

Я, как и многие, был знаком с «широко известным в узком кругу» литературоведом В. Кожиновым, ныне покойным, который был во многом идеологическим цензором-комиссаром органа Союза писателей. О Кожинове мнение было разное. Я был удивлен ложным утверждением Куняева, что мне для «полного счастья» не хватало признания Кожинова, которого я якобы приглашал на свои выставки, мечтая услышать его восторженное мнение. Должен сказать, что у меня даже не было никогда его телефона, и я не стремился к общению с ним, не считая его для себя авторитетом в литературоведении и тем паче в живописи, а также в истории, которой он начал заниматься последние годы своей жизни, став яростным норманистом. Для объективности добавлю, что подаренное мне одним приятелем сочинение Кожинова о «Черной сотне» нахожу достаточно скрупулезным исследованием. В свою очередь, Кожинов не раз обращался ко мне, а в начале 90-х, несмотря на наше шапочное знакомство, попросил быть его представителем на предстоящих выборах в какие-то городские или районные депутаты. Несмотря на удивление моих знакомых, я согласился, чтобы еще и еще раз утвердить взаимную поддержку русской интеллигенции, а не смертельную зависть и рознь. Мне безразлично и абсолютно неинтересно мнение покойного литературного критика В. Кожинова о моих работах, но меня поразило хамство посредственного поэта, автора скучнейшей книги о Есенине С. Куняева, которого я знаю очень давно. Я понимаю, что, унижая меня и других этим, он думает возвысить своего друга и учителя Кожинова. Очень недостойный и низкий прием, свидетельствующий о мелкости души редактора «Нашего современника».

Судя по обложке журнала, его символами являются Минин и Пожарский, спасители России в страшное лихолетье Смутного времени.

Этот образ, как и само название журнала, обязывает вас, Станислав Юрьевич, не скатываться в болото склок на кухне вашей коммунальной квартиры. И когда

же закончится мышиная возня самолюбий и амбиций в так называемом русском патриотическом стане? Наш современник ждет от вас другого!

Илья Глазунов,
народный художник СССР, профессор,
действительный член Российской
академии художеств, академик,
лауреат Государственной премии
Российской Федерации,
почетный член Королевских Академий
художеств Мадрида и Барселоны,
кавалер награды ЮНЕСКО
за вклад в мировую культуру
«Золотой медали Пикассо»,
лауреат премии Дж. Неру

Забавнее всего было то, что Глазунов ни в грош не ставил Пикассо, считая его авантюристом, атеистом и неисправимым модернистом, о чем я слышал из его уст много раз. В своей только что вышедшей книге «Россия распятая» он с восторгом вспоминает, как президент Академии художеств Александр Герасимов на встрече с молодыми художниками получил записку: «А что Вы думаете о Пикассо?» — и ответил так: «А что о нем думать? Единственно, что могу сказать хорошего, что он наш человек-коммунист. А все его работы могу сделать за один вечер. Это безобразие! Шарлатан он, хоть и коммунист. Еврейские штучки!». Но поскольку испанец (или еврей, по утверждению Герасимова?) убедил весь мир в своей гениальности, как не козырнуть, что ты «*кавалер награды ЮНЕСКО за вклад в мировую культуру «Золотой медали Пикассо»*!

Десятилетиями Глазунов страдал из-за того, что его долго не принимали в Академию художеств, но недавно, помирившись с Зурабом Церетели, стал академиком и с удовольствием подписался этим званием, и «народным художником СССР» подписался, забыв на время о всей

своей сегодняшней ненависти к советской эпохе и всем ее официальным титулам.

Прочитал я письмо и почесал свою седую голову: опять невольно ввязался в рукопашную — да с кем? С единомышленниками! Ну почему мы такие, что слово правды, если она против шерсти, не скажи! Пришлось садиться за стол и сочинять письмо «униженным и оскорбленным» для «Литгазеты».

ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ НЕ БЫВАЕТ...

«К барьеру!» Да упаси Господи! Ноги подгибаются и руки дрожат, как подумаю, что придется сражаться с художником — почетным членом Королевских Академий художеств Мадрида и Барселоны, с кавалером «Золотой медали Пикассо».

Нет, я заранее стреляю в воздух!

Да и не вызывал я Вас, Илья Сергеевич, на дуэль. Моей задачей в воспоминаниях было воссоздать объемный облик Вадима Кожинова, а Вы (впрочем, как и я сам) стали просто персонажами этой главы, каковых в ней немало. Меньше всего я думал о Вас.

Вы же, Илья Сергеевич, лукавите, когда пишете, что «мне безразлично и абсолютно неинтересно мнение покойного литературного критика В. Кожинова о моих работах». С чего бы тогда Вам столько лет держать в памяти его слова из какой-то польской газетенки о том, что иные Ваши работы исполнены в жанре «китча»? Да и ничего обидного в этом нет. Вадим Валерианович неглупые мысли не раз высказывал о Вашем творчестве. Ну, например, помните: «Картины Ильи по-своему хороши, и вот если бы их размножитъ и вывесить, как плакаты на железнодорожных станциях, эффект был бы великолепен!».

Зря Вы пишете, что «у меня даже не было никогда его телефона, и я не стремился к общению с ним, не считая его для себя авторитетом в литературоведении и тем паче в живописи, а также в истории». Да были у Вас всегда все наши телефоны: и мои, и Кожинова. Не такой Вы

человек, чтобы не иметь их. А если «не считали авторитетом», зачем тогда (позвонив по телефону) приглашали его читать лекции в Суриковском институте? Зачем, когда технари из города Королева уговорили Вадима в 1989 году баллотироваться в народные депутаты СССР (а не «в какие-то городские или районные», как язвительно пишете Вы), подписали предвыборную листовку, гласящую о том, что Кожинов «выдающийся деятель нашей культуры», «честный человек», борец за «свободу церкви» и «свободу совести» и т. д. Вот кем был он для Вас в те времена, а теперь стал «цензором-комиссаром» и «яростным норманистом»...

Что же касается Вас, Илья Сергеевич, то не гневите судьбу, говоря, что я «унижаю» Вас. В течение всего девяносто шестого года «Наш современник» в девяти номерах печатал книгу «Россия распятая». Вы как литератор состоялись, без всякого преувеличения, на страницах «Нашего современника».

Этой весной по настоятельной Вашей просьбе я пошел на то, чтобы мой заместитель Г. М. Гусев на три месяца оставил работу в журнале и поступил в полное Ваше распоряжение для редакторской работы над очередным томом «России распятой «. (Так что и Вы в нас нуждались.) Ну разве все это не есть свидетельство того, что и журнал, и его главный редактор ценили Ваше многогранное творчество?

А какие слова мы нашли, анонсируя в злополучном июльском номере Ваши будущие главы, подготовленные Гусевым к печати: «великий художник», «патриот-подвижник», «мыслитель», «историк», «страстный публицист». Ну разве без ощущения масштаба человека, глядящего с обложки журнала в будущее, возможно, было напечатать такое?

А тот английский галстук (за 50 долларов), который Вы мне подарили во время работы над «Россией распятой», я уже четыре года не перевязываю, памятуя о том, что к узлу прикасались Ваши гениальные руки.

Скажу то, чего до сих пор никому не говорил. Вы даже не знаете, что в начале 90-х годов, когда в редколлегию журнала вошел Владимир Солоухин, он сразу же предложил мне опубликовать повесть «Последняя ступень», в которой главный герой — талантливый фотохудожник, «мыслитель»« и «историк» — является в то же время человеком, тайно связанным с КГБ, чуть ли не провокатором.

Когда из разговора с Солоухиным, да и из самой повести мне стало ясно, что прототипом этого обаятельного героя является знаменитый русский художник, ужас объял меня.

— Я не верю! — закричал я Солоухину. — И никогда не буду этого печатать! Возьмите рукопись назад, и, умоляю, никогда не публикуйте ее!

К сожалению, Солоухин не послушался меня, и рукопись в несколько смягченном варианте все-таки стала книгой.

Прочитали Вы, Илья Сергеевич, мои воспоминания о Кожинове, и я сразу стал для Вас «посредственным поэтом». Пришел я домой расстроенный, «посредственный», достал Ваш альбом, некогда подаренный мне, открыл — а на титульной странице слова, греющие душу: «Дорогому Стасу Куняеву, прекрасному поэту, с давней дружбой, с уважением и благодарностью за все доброе! Твой И. Глазунов. Надо держаться! 1989 год, декабрь».

Читаю, чуть ли не плачу и думаю: авось, и Илюша оттает.

Ну нельзя так круто менять мнения, Илья Сергеевич! Мы же люди публичные...

А наша с Вами распря не политическая, не идеологическая и, что чистая правда, не национальная. Просто Вам, Илья Сергеевич, всегда были нужны не соратники и товарищи, а исполнители Вашей воли и верные слуги. Каких всегда было много вокруг Вас. Но в этом кругу не могло быть ни Вадима Кожинова, ни меня...

Но самое скверное в этой истории то, что Вы не столько на меня негодуете, сколько пытаетесь принизить литературное и историческое значение Вадима Валериановича. «Широко известный в узких кругах». А из-

вестно ли Глазунову, что в мае этого года в Армавирском пединституте состоялся съезд филологов и историков многих провинциальных институтов и университетов России, и за несколько дней буквально участники съезда, посвященного Кожинову, собрали и издали два тома воспоминаний о нем и размышлений о его значении для русской культуры? Так что у Вадима тоже была своя академия, может быть, не менее значительная, чем Ваша Академия художеств.

А если совсем серьезно, то меня меньше всего сейчас волнуют всякого рода картины нашей прошедшей жизни, надписи на книгах, небольшие творческие победы. Мы на данном историческом отрезке (верю, что не навсегда!) проиграли русское дело. И рядом с этой трагедией наши достижения в жизни вроде росписи Кремлевского дворца, право, кажутся такими частностями. Полного признания, как и полного счастья, не бывает. Особенно в России. А потому — что нам остается? Разве что быть независимыми от кого бы то ни было и со спокойствием и бесстрашием поведать потомкам, на каком фоне происходила эта самая русская трагедия. Что я стараюсь делать в меру своих сил. Хотелось бы следовать есенинскому завету:

Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что сталось в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.

* * *

А таинственная солоухинская рукопись о фотохудожнике заканчивалась так: автор, проезжая на машине по Лубянской площади, с ужасом и отвращением случайно видит, как его кумир Кирюша («Илюша»), «ленинградец, петербуржец, с какими-то древними дворянскими предками, чуть ли не потомок Брюллова», воровато оглянувшись по сторонам, входит в подъезд знаменитой на весь мир цитадели — Комитета государственной безопасности.

В книге «Последняя ступень», опубликованной Солоухиным в 1995 году, финал несколько смягчен: монах Троице-Сергиевой лавры отец Алексей в доверительной беседе с писателем открывает ему глаза на их общего приятеля фотохудожника Кирюшу:

«Хорошие люди уверяют нас, что Кирилл Буренин со всех сторон окружен чекистами и провокаторами... Я не хочу сказать (а это пришлось бы доказывать), что он сам... этого, может быть, и нет... Но он «под колпаком», и, следовательно, каждый, кто оказывается рядом с ним...».

«Не может быть!» — восклицает писатель.

«Может, Владимир Алексеевич, все может быть. К сожалению, так и есть», — отвечает ему отец Алексей.

«Но как же так? — хватается за голову Солоухин. — Понять и узнать всю правду. И все же служить неправде? Но ведь если так, то ведь это чудовищно, так чудовищно, как никогда еще не бывало на свете!».

В дополнение к этому можно добавить еще вот что. Когда у Глазунова были какие-то сложности с организацией выставок в Москве, он звонил не кому-нибудь, а всесильному председателю КГБ Ю. В. Андропову. Результат был поразительный: «*После первого же звонка мне была назначена аудиенция на Лубянке*», пишет художник в «России распятой». Принимал его, естественно, сам Андропов. Это много круче ситуации с Евтушенко, который, протестуя против высылки Солженицына, мог всего лишь позвонить напрямую Андропову и сказать все, что он думает по этому поводу. Но чтобы позвонить Андропову, надо было иметь его личный телефон. Так что они стоили один другого.

Летом 1991 года я получил разрешение для работы в архивах КГБ над уголовными делами, заведенными в 20–30-е годы на Есенина, на его родных, на близких ему писателей и поэтов. Такая возможность представилась мне и моему сыну, поскольку мы должны были написать к столетию со дня рождения поэта книгу о нем для знаменитой серии «Жизнь замечательных людей».

Офицеры Комитета, доставлявшие нам дела из архива, были люди образованные и умные. Отношения между нами сложились доверительные. Поэтому я сразу же после событий 19—21 августа 1991 года попросил одного из них:

— Сергей Федорович! В писательском мире давно блуждают слухи о тайном сотрудничестве с Комитетом некоторых наших собратьев по перу... На дворе революция. Что произойдет завтра с кадрами и структурами ведомства — никому не известно. Пока в государстве безвластие, пока не уничтожены списки осведомителей, их личные дела — можно подержать их в руках, заглянуть в них?

— А какие имена вас интересуют? — спросил полковник.

— Имена тех, кто ездит за границу когда угодно и куда угодно, как мы с вами в Рязань или Калугу. Ну, к примеру, Евгений Евтушенко, Юлиан Семенов, Генрих Боровик, Виталий Коротич, Андрей Вознесенский... Ну не может быть, чтобы они не работали на ваше ведомство... Пока не поздно! Дайте мне в руки хоть какие-нибудь факты, списки, документы. Ведь вы патриот-государственник, а эти люди сейчас все делают, чтобы разрушить наше государство! Надо показать их двуличие!

Лицо полковника потемнело.

Я увидел, как тяжело ему было слышать мои слова.

— Нет, это невозможно, — после тягостного взаимного молчания сказал он. — Какими бы они ни были, как бы ни повернулась история, у нашего ведомства есть основной закон: своих информаторов, своих секретных сотрудников не сдавать и не рассекречивать никогда и ни за что...

С рукописью книги Владимира Солоухина «Последняя ступень» тогда я еще не был знаком...

* * *

Время от времени я беру в руки громадный, в сафьяновом одеянии, альбом Глазунова (полпуда весом), подаренный им после публикации его мемуаров не только мне, но всей редакции.

— Пятьсот долларов стоит! — с гордостью сказал художник, передавая альбом из рук в руки.

Листаю тяжелые страницы, вглядываюсь в блистательно выполненные репродукции... На одни гляжу с восхищением, на другие с недоумением, на третьи — с брезгливостью. Размышляю, удивляюсь, негодую, спрашиваю сам себя: что случилось с ним, столь одаренным от природы цепким зрением, точным чувством цвета, уверенным рисунком, смелостью и размахом в замыслах?

Слава и деньги... Сколько талантов русских изловили два этих соблазна! Больше сгубила только водка. Глазунов не пьет водку, но без наркотического напитка славы, который куда крепче «Смирновской», он жить не может. Им, этим напитком, ему надо похмеляться каждый день.

В Советском Союзе 60—70-х годов славу и деньги можно было получить двумя путями. Один — медленный, но честный: работа на Родине, постепенно расширяющееся признание, общественное поощрение, выставки, государственные награды.

Каждый член Союза художников, даже безвестный, даже в провинции, имел право на творческую мастерскую и, как правило, получал ее. Словом, выбор был: хочешь — получай госзаказы и работай для денег. Хочешь — твори для души. Есть силы — совмещай и то и другое. В наше время многие обнищавшие художники выжили благодаря этим мастерским; кто-то их приватизировал и продал. Кто-то сдал квартиру и переселился жить в мастерскую, которые сегодня у художников начинают отбирать.

Второй путь к деньгам и славе был более рискованным, но и более соблазнительным. Поиски противостояния с государством, «бульдозерные выставки», а для страховки — опора на дипломатические и журналистские круги в Москве; связи на Западе с сильными мира сего, с королями и президентами, с масонскими ложами, издательствами, кино- и поп-звездами, «голосами»...

Виртуозно шантажируя советскую верхушку, такими возможностями пользовались Евтушенко и Юрий

Любимов, Вознесенский и Аксенов, Эрнст Неизвестный и Солженицын...

А из патриотов на этом поприще блестящих успехов добился единственный: Илья Глазунов.

* * *

Я не был в 1957 году в Москве, когда в ЦДРИ проходила первая выставка Глазунова, после которой он сразу стал знаменитым. Но его портреты, сделанные им в молодости, помню хорошо. Как живые стоят они перед глазами.

Листаю знаменитый альбом стоимостью в 500 долларов с дарственной надписью от самого Глазунова: «Дорогому Стасу Куняеву, поэту, издателю русского журнала, его соратникам и товарищам по работе с сердечными пожеланиями удачи и счастья во всем. Русский художник Илья Глазунов».

Вглядываюсь в портреты: «Нина» — 1955 год, «Старик» — 1952 год. «Портрет писателя Вржосека» — 1951 год. Искренне восхищаюсь. Душевная глубина образов, власть над светом и тенью, свобода в работе крупными мазками, рисунок — все в лучших традициях мировой и отечественной живописи. И в то же время молодой художник нигде не опускается до натуралистического копирования, до рабского подражания природе.

А портрет учительницы Трубчевской (1948 г.) или «Деревенской женщины» (1949 г.)! Трудно поверить, что они принадлежат кисти девятнадцатилетнего юноши. Поистине, как говорил Гёте, «образование к избранным приходит во сне».

И вся его натура той поры — незнаменитая, простонародная, почти безымянная, в которой живопись говорит сама за себя. О такого рода даре Николай Васильевич Гоголь писал в повести «Портрет»:

«*Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копии-*

ста. Видно было, как все, извлеченное из внешнего мира, художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданием и простой копией с природы».

* * *

Следующий этап творческой судьбы Глазунова — 60—70-е годы — противоречив и спорен. Художник познал вкус и славы, и денег, и власти над публикой. Он уже обслуживает дипломатический корпус, объясняя это необходимостью ускользнуть от идеологических пут и партийного «досмотра»; преподает азы живописи бесталанным женам влиятельных послов, «лудит», как любил говорить Фирсов, их портреты; те заступаются за него перед высшими партийными кругами, которые хочешь, не хочешь, но вынуждены отпускать его по вызовам за границу. Сегодня к шведскому королю, завтра к президенту Италии, послезавтра к Индире Ганди или Джине Лоллобриджиде. Словом, началась судьба солоухинского «Кирюши». Да и не ускользнул он окончательно от опеки Суслова и Фурцевой: время от времени ему вменяют в обязанность изобразить жизнь революционеров Чили, Вьетнама, Кубы, нарисовать их вождей, что он делает легко и умело. Все равно приходится платить за льготы, данные властью! Платит же Евтушенко стихами об острове Свободы, о Кастро, о том же Вьетнаме. Но одновременно художнику приходится расплачиваться у себя на родине за рекламу, за издания альбомов, за роскошную мастерскую, за выставки... Разве тут обойдешься без портретов Брежнева, Суслова, Громыко, Косыгина, Щелокова, Сергея Михалкова, Анатолия Софронова. Это была скрытая или явная плата за услуги. «Ты мине, а я тибе». Наши вожди, видимо, сообразили: «Зачем его перевоспитывать? Лучше — позировать, пусть пишет наши парадные портреты. При всех наградах».

Илья Глазунов, когда заходила речь о его бесконечном, создаваемом на протяжении всей жизни сериале, посвященном сильным мира сего, всегда говорит, что, выполняя заказные портреты, он пишет историю. Недавно, перед открытием своей московской галереи на Волхонке, он пошел дальше и честно признался в том, что его талант всегда подчинен воле заказчика.

«Художник создан для того, чтобы откликаться на предложения, и, допустим, если ваш банк закажет портреты ваших президентов, конечно, это будет очень интересно. Я с удовольствием соглашусь». («Московский комсомолец». 30 августа 2004 г.) Однако не так прост был Глазунов, чтобы в расцвете сил легкомысленно и бескорыстно растрачивать свой талант на небогатую и бесперспективную натуру. Я помню, с каким восторгом молодые русские патриоты 70-х годов обсуждали в Манеже его исторические картины... Куликово поле, зловещий закат над Русью, князь, дланью указующий отроку-сыну путь победы, синеглазая девочка с бабушкой на фоне древних церковных стен и лазурных куполов.

Картины, в которых был заложен мощный национальный, идеологический и даже политический пафос, будоражили молодые сердца, звали к борьбе — за что? — трудно сказать! — но все чувствовали: за Россию... Правда, в них уже присутствовал элемент не то чтобы «окон РОСТа», но пропагандистского китча, в них уже были заложены зерна «упрощения», зерна будущих, на короткое время ставших знаменитыми, однообразных многофигурных полотен. Но кто тогда глубоко задумывался над сущностью живописи? Кто решился бы провести в митинговую эпоху грань между вечным и временным в искусстве? Не до этого было молодым людям с их жаждой немедленного действия. И Глазунов, как никто другой из художников, обладал способностью уловить и выразить эту жажду.

Но одной древнерусской истории для него уже было мало. Он, снискав себе лавры патриота и в официаль-

ных, и в культурных кругах, ищет и находит людей, судьба которых еще окончательно не раскрылась, чей путь еще загадочен и неясен, он чувствует, что за ними есть некое историческое будущее... Даже за бывшим членом Государственной Думы В. Шульгиным, за писателем, вышедшим из того же сословия, что и Глазунов, — Олегом Васильевичем Волковым. Но одновременно художник ищет опору в нарождающемся движении «Память», приближая к себе «Дим Димыча» — Дмитрия Васильева, не гнушаясь «плебейским» происхождением вождя «Памяти» и его соратников. Своим чутким слухом он уже слышит зловещие скрипы в железобетонных конструкциях социализма и осторожно ищет поддержку и понимание у русских патриотов с «диссидентским уклоном» — Шафаревича (1977 г.), Л. Бородина (1974 г.), Иванова-Скуратова (1976 г.), Солоухина (1983 г.)... Не зря в это же время он пишет портрет В. Распутина (1982 г.)

Талантливо угадывал натуры Илья Сергеевич!.. Все они останутся в истории. Все его персонажи.

И что правда, то правда — Илья Сергеевич в 70—80-е годы, сделав ставку на русских националистов, предпочел не связываться с диссидентами еврейскими. Никаких портретов Бродского и Щаранского из-под его кисти не вышло. Он знал, что русские патриоты их не любят...

Помню, как на свое 60-летие в ресторане гостиницы «Россия», где собралось сотни три гостей и где Борис Брунов был конферансье и тамадой одновременно, Глазунов подошел к столу, за которым сидели мы с Фирсовым, и, хитро улыбаясь, вполголоса сказал:

— Видишь, как я заставляю евреев работать на себя!

Но как он ни заставлял их работать на себя, в конце концов стал работать на них, потому что еврейские лица в галерее его портретов, отразившей борьбу и смену власти, появятся (в изобилии!) в качестве победителей сразу после 1991-го и особенно после 1993 года. С победителями обязаны считаться все, даже «великие», даже «гениальные»...

* * *

После первого свободного, реалистического периода, после второго, замешанного на русской национальной идее с приправами из плаката и китча, портретная галерея Глазунова стала официальной галереей победителей Великой криминальной революции и новых хозяев жизни.

Постепенно имена мировой и отечественной номенклатуры вытеснили из глазуновского творчества образы Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Ивана Грозного, а заодно с ними Распутина, Шафаревича, Солоухина, Бородина. А уж никому не известные, естественно вошедшие в мир юного Глазунова представители натуры простонародной, окончательно остались в далеком, вдохновенном прошлом.

Объяснить все это, к сожалению, достаточно просто: портретный ряд мировой элиты обеспечил его баснословными средствами, на которые можно было приобретать редчайшие картины старых мастеров, бесценные иконы, содержать квартиру-башню над новым Арбатом, построить загородный дворец в Жуковке, а уже в демократическое время открыть галерею на Волхонке, рядом со знаменитой галереей Шилова, и заиметь особняк между двумя полюсами власти — Московской мэрией и американским посольством.

В этом особняке я побывал в 1995 году. За узорчатой чугунной оградой стоял охранник в бронежилете, с автоматом. У его ног сидела овчарка... В обеденном зале, обрамленном мраморной лестницей и портретами российских императоров (в подлинниках!), меня встретил хозяин с Дмитрием Васильевым, вождем общества «Память», ныне, как некий морок, исчезнувшим из нашей политической жизни.

— Что, старичок, — набросился на меня Илья Сергеевич, увидевший, как я ошеломлен всей этой роскошью. —

Художник должен быть богатым. К черту эту русскую нищету, эту пьянь в грязных рубахах и валенках!

При этом он картинно перекосил лицо, растрепал ладонью волосы и вытаращил глаза, как бы изображая русскую пьянь — бедную, немытую, завистливую.

— Все эти ваши поэты — рубцовы, тряпкины, пупкины!..

Я хотел было прервать эту много раз разыгрываемую на моих глазах мизансцену и сказать, что да, среди русских писателей и художников были люди богатые — Лев Толстой, Иван Тургенев, Василий Суриков, Сергей Аксаков, но была и «русская нищая пьянь» — Мусоргский, Саврасов, Аполлон Григорьев, Сергей Есенин... Да и Гоголь умер в бедности и безбытности. Но Глазунов не дал мне ни на мгновение вклиниться в поток его негодующей речи.

— Напьются, бородами в винегрет упадут, языки высунут (Глазунов высунул язык набок) и плачут о судьбе России! Упиваются своей независимостью от денег! Нет! — сверкнул очами Илья Сергеевич. — Художник должен быть богат! Знатен! Должен хорошо жить, хорошо одеваться! Ты что пришел в каком-то рабоче-крестьянском костюмчике? И ворот нараспашку!

Он потащил меня в соседнюю комнату — спальню, распахнул дверцы какого-то немыслимого по красоте шифоньера, вывалил из него груду галстуков, хищно впился в них взглядом и точным движением руки, словно заклинатель змей, вытащил один из них из клубка за хвост.

— Вот тебе на память! Носи каждый день! Шелковый! Пятьдесят долларов стоит!

После такой сцены мне только и оставалось, что, придя домой, снять с полки томик Гоголя и прочитать размышления из повести «Портрет» о художнике, который «*сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды... щегольски одеваться и утверждать гласно, что художники одеваются, как сапожники, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности*».

Но если говорить серьезно, то в глазуновских монологах вольно или невольно прорывалась чудом уцелевшая

за десятилетия жизни в общенародной советской цивилизации кастовая, если хотите классовая, дворянская неприязнь к простонародью, некий социальный расизм, который преодолели Толстой, Достоевский и Блок, но всю жизнь лелеяли в своей душе Иван Бунин или Владимир Набоков. Социальная спесь, меняя обличья, в самых причудливых формах сохранялась в советском обществе даже в 30-е годы, тонкой трещинкой проходя по бытовым и даже культурным территориям, чтобы расцвести ядовитым и пышным цветом во время перестройки, с ее комически уродливыми попытками возродить дворянство, купечество, аристократию. По себе знаю, насколько заразен соблазн гордыни своим происхождением.

Когда я в конце 80-х годов узнал, что мой прадед по отцовской линии дослужился до чина коллежского асессора и что его потомство имеет право считать себя выходцами из служивого дворянства, я испытал некоторое душевное удовлетворение (слаб человек!) и в каком-то интервью сболтнул об этом. Вскоре ко мне пришла (в 1990-м или 91-м году) девица с предложением вступить в московское дворянское собрание, но, слава ,огу, у меня хватило ума отшутиться и поблагодарить князя Голицына за столь лестное предложение.

Многие мои товарищи по литературной судьбе стали писателями, выбившись из полной бедности, нищеты, безотцовщины. Борьба за кусок хлеба, за крышу над головой, за одежку и обувку были для нас обычным и необходимым делом. Мы повторяли горьковский, народный путь в литературу — из детдома, русской колхозной избы, рабочего общежития, солдатской казармы, учительской семьи, коммунальной квартиры. Вспомним хотя бы Василия Белова, Владимира Личутина, Валентина Распутина, Николая Рубцова, Игоря Шкляревского, Александра Вампилова, Анатолия Передреева, Виктора Лихоносова, композитора Валерия Гаврилина, скульптора Вячеслава Клыкова, народную певицу Татьяну Петрову и многих других ныне славных наших современников.

Что и говорить: их судьба, их путь к признанию и честной славе были несколько иными, нежели судьба детей из партийной номенклатуры (Юлиана Семенова, Булата Окуджавы, Василия Аксенова), или из высокой кэгэбэшной среды (поэтессы Беллы Ахмадулиной, кинорежиссера Сергея Соловьева), или из семьи карьерных дипломатов (Виктора Ерофеева). Да и Михалковым-Кончаловским с Ильей Глазуновым куда легче было обрести себя, нежели Василию Шукшину или Сергею Бондарчуку. А если вспомнить военное поколение писателей? Оно резко делится на крестьянских детей (Федор Сухов, Виктор Астафьев, Виктор Кочетков, Владимир Солоухин, Михаил Алексеев, Федор Абрамов, Николай Тряпкин) — и детей юристов (Александр Межиров), врачей-венерологов (Давид Самойлов), директоров магазинов (Александр Галич), нэпманов (Александр Чаковский)... Конечно, в целом «вышли мы все из народа» и «без меня народ неполный», но, как сказал крестьянский сын Александр Твардовский, «и все же, все же, все же...». У одних общенародные боли и заботы, у других если не классовые, то сословные или кастовые интересы.

Сталин очень хорошо чувствовал желание советской бюрократии стать над народом, отделиться от него, превратиться в новое дворянство и не раз повторял: «Каста проклятая!» И, как это ни парадоксально, порой русские таланты, выраставшие в атмосфере «сословного», «кастового» воздуха, насыщенного вирусами социального расизма, легче сближались с родившимися в 20–30-х годах еврейскими сверстниками, нежели с родными по крови Беловыми, Шукшиными, Рубцовыми. И вполне закономерно, что в наше «новорусское» время бывшие еврейские или космополитические диссиденты вроде Войновича или Аксенова и потомки дворянских родов Глазуновы и Михалковы стали людьми общей касты, которую, условно говоря, можно назвать сегодняшними новыми «детьми Арбата». Отныне их объединяет общая неприязнь к русскому простонародью. У одних социальная, у других — национальная.

Особенно наглядно история продемонстрировала этот феномен, когда молодой русский парень из окружения Лимонова на какой-то пресс-конференции или презентации, проводимой русским человеком Никитой Михалковым, чем-то возмущенный, бросил в знаменитого режиссера то ли яйцо, то ли помидор. Охранники Никиты Сергеевича тут же схватили наглеца, заломили ему руки, а к обидчику подошел лощеный, элегантный отпрыск дворянского рода и без замаха, как хороший футбольный форвард, вонзил ему свой остроносый модный ботинок в низ живота... Словом, поступил с простолюдином по-дворянски... И миллионы людей видели по телевидению эту позорную сцену.

Слепая сословная ненависть к низам не раз выплескивается на страницы глазуновской книги «Россия распятая»: *«Шудры — рабы, слуги общества»; «именно из шудр, черни — отбросов сословного общества, всегда готовых грабить и убивать, во все времена формировались легионы «сознательных пролетариев», рушащих алтари и троны»; «пролетарии и шудры — это фактически одно и то же».*

А что, разве с этой точки зрения нынешние несчастные скинхеды, выброшенные из общества, не являются шудрами? Так же как нищие подростки, которых на знаменитых бразильских пляжах Копакобана время от время отстреливают специальные отряды, как бы очищающие от этих париев город, как от бродячих собак. Молодая, но уже известная поэтесса Марина Струкова — крестьянская дочь из Тамбовской губернии, любимица ребят из РНЕ и сегодняшних скинхедов, на мой взгляд, куда более русский человек, нежели дворянин Илья Глазунов, потому что она знает: нынешние шудры — это дети народа:

Пляшет облако гари
по ночным городам.
Я из партии парий
и ее не предам.
Искры на пепелищах
загораются вновь.

Я за злых и за нищих,
за бунтарскую кровь.

Да, время от времени Илья Сергеевич проклинает новое время в своих мемуарах, в картине «Рынок русской демократии», но это — для публики. Для элиты же он работает честно, добросовестно, профессионально, создавая галерею ее отцов-основателей, ее идеологов и лидеров, увековечивая победу элиты над народом.

Забыл Илья Сергеевич, называющий себя христианином, что все окружение Христа — от апостолов до Марии Магдалины и разбойника, висевшего на Кресте рядом со Спасителем, — было для римской и иерусалимской знати своеобразными «шудрами» той эпохи; забыл о том, что мы все равны перед Богом... Забыл великую картину Александра Иванова «Явление Христа народу»: вокруг Спасителя почти все—шудры, «мир голодных и рабов», у одного даже обрывок веревки на шее...

Но зато каков у Ильи Сергеевича в его книге инстинкт социального расизма! Поглядел на человека и все понял: «В нем сразу угадывалась дворянская кровь».

* * *

В новорусской жизни спрос на Глазунова поднялся до фантастических высот. В результате завершившейся Великой криминальной революции настало его подлинное время. Зачем ему теперь послы с их женами, европейские короли и президенты, если у нас в России появились свои миллионеры и миллиардеры, способные платить за портреты не меньше любого шведского короля!

Им не нужно никакой рембрандтовской игры тени и света, никаких психологических нюансов, присутствующих в аскетическом, со впавшими щеками, лике Леонида Бородина, или пышущем русским кустодиевским здоровьем портрете синеглазого Солоухина, или в образе Шафаревича — полном трепета и колебания перед выбором судьбы.

Нет. Образы из новой галереи — это прежде всего золоченые резные кресла, в которых восседают хозяева жизни. Это перстни и кольца, сверкающие на их пальцах, это тщательно изображенные костюмы, шляпки и галстуки от самых что ни на есть знаменитых кутюрье. Это дотошно выписанные кружева и складки нарядов. Это натуралистически отточенные, предельно узнаваемые, безошибочно схваченные лица, руки, глаза, лысины, ордена, фуражки, мундиры. Впечатление таково, что сначала персонажи были вылеплены из воска и выставлены в салоне мадам Тюссо. Потом с восковых фигур сделаны цветные фотографии. И только потом художник с этих фотографий писал парсуны.

«*...Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положенье и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросить только кое-как одну голову, а остальное давал заканчивать ученикам [...] Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских немного представляли поля для кисти...*» (*Гоголь Н. В.* Портрет).

Листаешь тяжелые, глянцевые страницы, и перед тобой проходят лики сильных мира сего. Назарбаев (1990 г.) и Павел Бородин (1991 г.), папа римский (1995 г.) и бывший начальник «Росвооружения» генерал Котелкин (1994 г.). Следом за ними московский мэр. И — жена (1998 г.). Становится понятным, о чем писал Гоголь.

Рядом с Лужковым, конечно же, должны быть портреты его вернейших соратников — и действительно, вот они: Олег Толкачев, бывший хозяин московского имущества, и главный строитель Москвы Владимир Ресин, тут же и бессменный помощник мэра господин Ким (1996 г.)... Целыми номенклатурными ульями уснастил художник свой знаменитый альбом. В советское время до помощников генсеков ни он сам, ни кто-либо другой из художников не опускались...

Затем следует клан персонажа, оплатившего художнику работы по реставрации интерьеров Кремлевского дворца: Виктор Столповских (1997 г.) в окружении портретов жены, матери и, видимо, двоих детей, которые, как два цесаревича, красуются в овальных золоченых рамах.

А сколько политиков, совершавших криминальную революцию, обрели «вечную жизнь» от прикосновения к холсту кисти Ильи Глазунова! Шохин с супругой. Чета Собчаков. Он в наполеоновской позе со скрещенными на груди руками, она в туалетах, не снившихся Екатерине Великой. А Валентина Матвиенко, вся в золоте и кружевах!

Персонал, обслуживающий элиту (певцы, журналисты, поэты), тоже необходим в альбоме. Круг деятелей культуры неширок, поскольку с обнищавшими, когда-то славными именами русских патриотов давным-давно покончено. Общественная их роль — отыграна. А больших гонораров за свои портреты они платить не могут. То ли дело Иосиф Кобзон с супругой Нелли (1990) или знаменитый поэт современности Илья Резник с бабочкой на шее и с книгой бессмертных стихотворений в холеных руках (1999).

Ну и, конечно, в альбоме скромно, но все-таки представлены люди из демократической империи СМИ, подновившие вокруг головы художника ореол славы, который на переломе эпох начал было тускнеть. Это и журналист Лев Колодный, попавший в альбом, видимо, за книгу о И. С. Глазунове; здесь же начальник российских журналистов Виталий Игнатенко, любимый собеседник Юрия Лужкова на телеэкране — Павел Горелов и другой Павел — главный редактор «Московского комсомольца» по фамилии Гусев. Первый удостоен кисти Глазунова за организацию телепередач с Ильей Сергеевичем, второй за то, что напечатал в 1997-м или 1998 году в нескольких десятках номеров своей популярнейшей газеты целую книгу воспоминаний художника.

Особо нужно остановиться на портрете забытого журналиста-международника (была такая профессия) Томаса Колесниченко. В «России распятой» Глазунов тепло вспоминает о нем:

«На всю жизнь я сохранил дружбу с Томом Колесниченко, умным, обаятельным, исполненным глубокого юмора, талантливым человеком. Он тогда предоставил мне свою квартиру... К нему заходили его друзья по университету Женя Примаков и Степа Ситарян... Его отец был в то время заместителем министра... Он (Т. Колесниченко. — *Ст. К.*) **знакомил меня со сменяющимися редакторами «Правды» — Сатюковым, потом с Зимяниным и Афанасьевым... стремясь помочь мне, мой друг познакомил меня с дочкой Булганина и дочкой зам. министра иностранных дел Ритой Фирюбиной. Портреты их были написаны...».**

Так что с молодых лет дворянский отпрыск И. Глазунов жаждал стать своим в высшем слое советской элиты.

Лишь один из писателей-патриотов — единственный за последние 15 лет — был запечатлен Ильей Сергеевичем. Случилось это после того, как Проханов сам написал и напечатал в газете «Завтра» роскошную полосу с фотографиями под шапкой «Империя Глазунова». Его портрет маслом с бабочкой на лацкане пиджака, сделанный тут же в самые короткие сроки, весьма выразителен...

Дядя Ильи Сергеевича — академик медицины и страстный любитель русской живописи Михаил Глазунов говорил племяннику в пору его студенческой молодости: «*И Репин твой фигура многоликая, чтоб не сказать продажная, то царя бичует, то его рисует, а после него этого прощелыгу Керенского...*» Можно только гадать, что он сказал бы сейчас Илюше, нарисовавшему столько «продажных прощелыг» нашей криминальной эпохи!

Умный и честный советский человек, обладавший хорошим художественным вкусом, «дядя Миша» не раз советовал племяннику уходить «*от дешевой социальной критики, лежащей в основе многих работ передвижников*». Слава богу, что он не успел увидеть «Мистерию XX века», «Разгром церкви в пасхальную ночь», «Костры Октября» и прочие аляповатые полотна, замечательные разве только гигантскими размерами...

* * *

Но дело не только в том, что у нашей новой элиты, из грязи попавшей в князи, в результате того, что она все «захапала и поделила», появились громадные деньги. Все несколько сложнее.

Какими бы монстрами-прихватизаторами или хищниками ни были эти «новые русские», но все равно ведь хочется в глазах детей и внуков, в памяти грядущих поколений остаться хоть в каком-нибудь ореоле благородства, благолепия, порядочности. А что для этого надо? Самое простое — пожертвовать на храм, что с успехом делали олигархи, «отстегивая» на строительство храма Христа Спасителя, о чем в храме говорит памятная доска, запечатлевшая их имена, или заказать парадный портрет великому русскому художнику-патриоту. Глядишь, сиянье его патриотической харизмы их грешные лики подсветит... Они ведь тоже люди. Помню, как однажды зашел я на кладбище Александро-Невской Лавры поклониться митрополиту Иоанну Санкт-Петербургскому и Ладожскому. Заодно прошел мимо могилок Собчака и Галины Старовойтовой, закономерно убиенной, поскольку, согласно мировому закону, всякая революция рано или поздно пожирает своих детишек... А наша-то революция — криминальная... Неподалеку от Собчака и Старовойтовой увидел монументальное надгробие, сверкающее отполированными гранями мрамора и базальта, и понял, что передо мной эпохальное захоронение еще одного дитятки, пожранного чудовищной матерью-революцией. Эпитафия на мраморе гласила:

Филиппов Дмитрий Николаевич.
1944—1998.
Великий гражданин, за Отчизну убиенный.
Память о тебе и делах твоих
навсегда сохранится в благодарных сердцах
народа России

Под надгробием покоился один из бывших комсомольских функционеров Ленинграда, ставший в 90-х годах то ли нефтяным магнатом, то ли владельцем морских портов и застреленный своими друганами-соперниками...

Но как хотелось его близким изобразить покойного русским патриотом, любимцем народа, «великим гражданином» (почти как Сергея Мироновича Кирова посмертно назвали!). Нет, неизбывна тоска у русских грешников по идеалу, по благодати, по святости, потому и становятся в очередь к Глазунову и просят: «Илья Сергеевич, сделай парсуну, за ценой — не постоим!..».

Люди сильны, но ход времени сильнее. Даже таким крупным и на словах независимым фигурам, как Илья Сергеевич, приходится склонять перед ним голову, соответствовать новой рыночной идеологии, присягать новым отношениям художника с властью.

А то, что за эти парсуны художник получал гонорары из ваучерных, украденных у нищей шудры грязных денег — ну и что? Деньги не пахнут. Но требуют от художника благодарности за переустройство жизни, осыпавшее его всяческими благами. И эта благодарность следует. Не прямо. Не по-лакейски подобострастно, а изощренно, по-глазуновски. Ведь главная отработка даже не в постоянной готовности изготовлять лики хозяев жизни, а в том, чтобы советскую эпоху унизить и «коммуняк опустить» как можно ниже. Размашисто и страстно выполняет эту социальную задачу потомственный дворянин Илья Сергеевич.

То заявит в телепередаче у Караулова, что в первые два месяца войны 5 миллионов советских солдат попали в плен[1]. То объяснит нам, что «*реформы Столыпина дали возможность нам выиграть войну 1941 года*» (а по-

---

[1] Из речи А. Гитлера в штабе группы армий «Центр» 4 августа 1941 года: «...При наличии 900 тыс. пленных после шести недель боев» (*Дашичев В.* Банкротство стратегии германского фашизма). Ну хотя бы прочитал своего любимого фюрера!

чему же тогда не выиграли войну 1914-го?). То чтобы мы не очень-то гордились «сталинским выкормышем» Георгием Жуковым, ошарашит доверчивых телезрителей историческим открытием — будто бы «*Жуков, мне говорили* (кто? — *Ст. К.*), *не начинал сражения, если на одного немецкого солдата у него не было десяти советских*». Особенно смешно было смотреть, как художник во время телеэфира вдруг ни с того ни с сего, прерывая разговор с дотошным Карауловым, вскидывал руку и вскрикивал не своим голосом: «Слава России!» Я говорю «не своим», потому что приветствие это с эсэсовским театральным выбросом прямой руки и воплем «Слава Украине!» было узаконено как ритуальное у бандеровцев и оуновцев на Западной Украине. Впрочем, идеологу единой и неделимой России и русскому монархисту простительно не знать таких мелочей из советской истории...

К истории у Глазунова свое, трепетное отношение. Во время телефонной беседы с читателями «Московского комсомольца» 30 августа 2004 года он так скажет учителю истории из средней школы: «Я считаю себя, после художника, профессиональным историком, который оперирует не идеологическими постулатами, а реальностью, фактами и документами».

Каковы же «факты и документы», на которые опирается профессиональный историк Глазунов?

Вот несколько отрывков из его книги:

«Уже с февраля—октября по 1923 год были уничтожены 18 миллионов человек».

Но этого Глазунову показалось мало, и на стр. 184 он пишет: **«Подсчитано, что в XX веке около двухсот миллионов человеческих жизней, включая победоносную войну Сталина и его союзников против Гитлера, потерял русский народ и народы России». «Подсчитано»[1]...**

«Говорят (кто говорит? — *Ст. К.*), **однажды Сталин ночью вызвал к себе Ягоду и приказал создать тюрьму для личных врагов Сталина».**

---

[1] Перед войной все население СССР составляло 170 млн. человек.

«Рассказывают (кто рассказывает? — *Ст. К.*), **что годами позже Берия и Сталин любили вызывать из «зверинца» гигантского роста шведа Валленберга... Кто-то** (кто именно? — *Ст. К.*) **из бывшей обслуги «Сухановки» видел его, превратившегося в скрюченного, словно от ревматизма, старика».**

«В конце 40-х годов в бериевском корпусе, по слухам (! — *Ст. К.*), **еще существовала каптерка, где висели костюмы и маршальские кители с бирками фамилий врагов народа».**

И так — до бесконечности: «говорят», «рассказывают», «по слухам», «как пишут военные историки», «у западных исследователей» — вот они все факты и документы «профессионального историка» Глазунова.

А вот еще один исторический перл:

«Многие историки (кто? — *Ст. К.*) **доказывают, что он** (Керенский.— *Ст. К.*) **родился в тюрьме, будучи сыном цареубийцы Геси Гельфман [...] и казненного народовольца Александра Ульянова»** — то есть Керенский — прямой племянник В. И. Ленина.

Когда я писал эти строки, то услышал, как по «Радио России» некий доктор Дубровин рекламирует чудодейственные капли «Князь Серебряный», лечащие от всех болезней: «**препарат проверен во многих ведущих клиниках**», и понял, что «во многих ведущих клиниках» — фраза, родная глазуновской — «многие историки»; от обеих пахнет вольным или невольным мошенничеством.

Об уничтоженных Сталиным «60 миллионах» русских людей Глазунов вычитал у Солженицына. «Исторический факт», свидетельствующий о том, что в 30-е годы из ленинградской Лубянки с Литейного спускали по канализации столько крови расстрелянных за ночь жертв, что «**с моста в Неве было видно красное пятно, которое разгонял специально прибывший катер**», Глазунову по секрету сообщил еще один «профессиональный историк» — Аркадий Райкин.

Обо всех ужасах «сталинского зверинца» в подмосковной Сухановке, где сидели якобы только высокопо-

ставленные враги народа, личные враги Сталина, художнику рассказал некий реставратор-архитектор, который тоже пользовался слухами:

«**Меня уверяли** (кто? — *Ст. К.*), **что еще до войны были живы Зиновьев, Рыков, Каменев, Бухарин и другие. В подземелье сделали железные клетки, приблизительно в высоту один, а в ширину два метра... Отсюда и определение Сталина «мой зверинец». «Бывших наркомов и товарищей по партии приводили из клеток, и Сталин любил с ними беседовать за роскошным столом»**.

«**Рассказывали** (кто? — *Ст. К.*) **также, что Сталин любил через глазок в стене наблюдать за допросами»**.

Вся восьмисотстраничная книга воспоминаний И. Глазунова наполнена слухами, сплетнями, анекдотами, фантастическими сюжетами. Один из его главных информаторов — тот же Аркадий Исаакович Райкин — поведал ему о некоем таинственном человеке, который в довоенные годы за пять минут до отхода «Красной стрелы» появлялся на перроне Московского вокзала, — дальше цитирую по книге Ильи Сергеевича:

«**Проводники с затаенным ужасом смотрели, к какому вагону он направляется. Называли они его между собой «товарищ Смерть». Он садился, предъявив проводнику билет на одно из мест мягкого двухместного купе. Заказывал чай, читал газету, с улыбкой беседовал со своими визави по купе. Но проводник знал, что на станции Бологое, единственной остановке между Москвой и Ленинградом, он постучится в дверь к проводнику и скажет, что с его соседом по купе плохо. И самое удивительное,** — внимательно посмотрел на меня Аркадий Исаакович, — **что всякий раз санитары с носилками уже ожидали на перроне. Они аккуратно клали умершего человека на носилки, покрывали простыней, а поезд продолжал стремительно мчаться в ночи...**». Эту жуткую историю Райкину рассказал какой-то «последний из могикан» — старый проводник, естественно, безымянный...

Ну как не расписать подобный сюжет, достойный фильма ужасов, о палаче сталинской эпохи, лицо и деяния которого якобы знали проводники всех поездов, уходивших с Московского вокзала!

Но даже эта история бледнеет перед событием, которое, по словам Глазунова, сохранилось в памяти еще одного безымянного очевидца.

«**Позволю себе**, — пишет Илья Сергеевич, — **впервые опубликовать для нашего широкого читателя леденящую душу статью «Венец злодеяния» из журнала «Двуглавый орел» (№ 24, январь 1924 года), издававшегося русской эмиграцией в Париже. Скажу откровенно: лично мне содержание этой статьи представляется наиболее достоверным. В основу ее положен рассказ очевидца, записанный немецким пастором Купч-Ризенбургом и опубликованный в газете «Войхсель цайтунг» 16 ноября 1928 года»**.

Суть истории состоит в том, что большевистская верхушка через 10 дней после расстрела на Урале царской семьи решила устроить на одной из кремлевских кухонь ритуальное сожжение головы Николая Второго.

«**По приказанию Ленина**» все вожди якобы собрались в Кремле, подписали протокол, в котором голова была признана подлинной, и большинство проголосовало в ночь с 27 на 28 июля 1918 года эту голову сжечь.

Безымянный очевидец, сохранивший историю злодеяния в своей памяти, сообщает, что помимо вождей свидетелями события было множество народа: «**комендант**», «**караульный начальник**», «**у входа сидит часовой**», «**куча людей**» рядом с кухней «**курит, разговаривает вполголоса...**».

В «**небольшой комнате**» с «**растопленной печью**» сидели «**около двадцати человек, в их числе Эйцух, Смирнов, Бухарин, Радек с сестрой и некоторые другие. Потом Петерс с Балабановой; за ними следуют: Коллонтай, Лацис, Дзержинский и Каменев**».

Коллонтай стало жарко, и она вскоре исчезла. «**Появились зато другие любопытствующие. Среди них**

я видел Крестинского, Полякова, несколько матросов и женщин». И наконец наступил торжественный момент: Троцкий приказал перенести сосуд с царской головой «**к пылающей печи».**

«Пламя охватывает голову царя Николая, и невыносимый запах горящего человеческого тела наполняет душную комнатку».

С этой историей может соперничать только следующее повествование, не менее мистическое, о том, куда исчезали после убийства Кирова из Ленинграда остатки несчастного дворянства:

«**Говорили** (кто? — *Ст. К.*), **что путь «дворянских поездов», идущих из бывшего Петербурга в Азию по специально построенным (! — *Ст. К.*) веткам железной дороги, обрывался в песках Кара-Кумов. Заключенных выкидывали на раскаленный песок, а пустые составы возвращались за новыми жертвами в Ленинград...»** («Россия распятая», с. 121).

Вот такими бульварными «двуглавыми утками» и сплетнями, почерпнутыми из самых что ни на есть желтых эмигрантских изданий 20-х годов таких же «профессиональных историков», как и сам Илья Сергеевич («Сатанисты XX века» З. Шабельской, «КПСС у власти» Н. Рутченко, «Крестный путь» Ф. Винберга), изобилует эпохальный труд художника. Глазунов горюет по поводу того, что эти книги до сих пор не изданы в нынешней России. Но почему? Столько антисоветских «исторических исследований» пылятся ныне на книжных развалах! И, однако, всему есть предел: истории, подобные той, что произошла на кремлевской кухне, даже нынешние «отвязанные» демократические издательства, видимо, стесняются печатать.

Феноменальное невежество знаменитого художника сыграло с ним злую шутку. Каждую бульварную антисоветскую книгу, каждый разговор с каким-нибудь эмигрантом первой или второй волны, каждую кухонную политическую сплетню о Сталине он встречал с экзальтированным восторгом, как великую истину, ему открывшуюся.

Именно ему, великому художнику, человеку голубой крови, отпрыску славной фамилии, поклонники и единомышленники доверяли сокровенные тайны:

«*Слова старого Вржосека* [.. .] *потрясли до основания мою душу*» (старый писатель Вржосек, знавший Ленина, поведал Глазунову свои впечатления о нем):

«*Придя домой, я долго не мог заснуть, потрясенный словами друга*» (друг его юности Костя рассказал Илье Сергеевичу о том, какой негодяй Сталин).

«*Меня потрясло стихотворение никому не известного поэта Н. Воробьева «Кадету*» (Н. Воробьев — поэт первой эмиграции).

«*Его книга ошеломила меня, я дотоле не читал ничего подобного... Вот почему, рискуя многим, я провез ее через границу под рубашкой на животе...*

Она ответила на многие мои исторические вопросы» (речь идет о книге эмигранта Н. Н. Рутченко «КПСС у власти»).

И такими гимназическими эмоциями — «*потрясло*», «*ошеломило*», «*поразило*» — переполнены страницы повествования И. Глазунова.

Еще бы! Ведь с ним доверительно разговаривали не кто-нибудь, а Василий Шульгин, сын Петра Столыпина Аркадий, активист Народно-трудового Союза Николай Рутченко, основатель журнала «Вече» Олег Красовский. Как тут не «потрясаться»!

А может быть, просто психика у него была такая внушаемая, непрочная, болезненная...

* * *

«Профессиональный историк» Илья Глазунов был так же потрясен, прочитав «кодекс чести белого движения», написанный В. Шульгиным, который он коленопреклоненно цитирует в книге:

«*Белые честны до донкихотства. Грабеж у них несмываемый позор... Белые убивают только в бою. Белые рыцарски вежливые с мирным населением... Белые твер-*

ды, как алмаз, но так же чисты... Карающий меч в белых руках неумолим, как судьба, но ни единый волос не спадет с головы человека безвинно. Белые имеют Бога в сердце. Белых тошнит от рыгательного пьянства, от плевания и от матерщины... Они рассматривают врага холодными, бесстрастными глазами... и ищут сердце... И, если нужно, убивают его сразу... чтобы легче было для них и для него...

Разве это люди?.. Это почти что святые».

Ну что тут сказать? Почитал бы лучше историк Илья Сергеевич дополнительно к шульгинской характеристике этих святых или почти ангелов страницы из книги члена поместного Собора Православной Российской Церкви, епископа Севастопольского, епископа армии и флота при Врангеле владыки Вениамина, который в своих воспоминаниях «На рубеже двух эпох» пишет о своих впечатлениях участника гражданской войны и белого движения:

«Слышу, как он самой площадной матерной бранью ругает и Бога, и Божью Матерь, и всех святых. Я ушам своим не верю. Добровольцы, белые — и такое богохульство!..

Везде матерная брань висела в воздухе... Генералы говорили, будто бы без этой приправы не так хорошо слушают солдаты их приказания...

Помню, как в Александровске при крестном ходе в штабе стояли офицеры за окном и небрежно курили, смотря на процессию с абсолютным равнодушием, думали, что их никто снаружи не замечает».

Это писал не «профессиональный историк», а выдающийся церковный деятель, свидетель и участник белого движения и трагического русского исхода, просто честный русский человек. Но, может быть, Глазунов не поверит митрополиту Вениамину, выходцу из крестьян, из народных низов?

Тогда надо будет его познакомить с дневниками человека его сословия — барона Будберга, министра в правительстве Колчака, которому недавно демократическая власть Иркутска поставила памятник на берегу Ангары:

«Год тому назад население видело в нас избавителей от тяжкого комиссарского плена, а ныне оно нас ненавидит так же, как ненавидело комиссаров, если не больше; и, что еще хуже ненависти, оно нам уже не верит, не ждет от нас ничего доброго... Мальчики думают, что если они убили и замучили несколько сотен и тысяч большевиков и замордовали некоторое количество комиссаров, то сделали этим великое дело, нанесли большевизму решительный удар и приблизили восстановление старого порядка вещей... Мальчики не понимают, что если они без разбора и удержу насильничают, грабят, мучают и убивают, то этим они насаждают такую ненависть к представляемой ими власти, что большевики могут только радоваться наличию столь старательных, ценных и благодарных для них союзников».

Если это не убедит Илью Сергеевича в том, что белые не ангелы Божии, то советую ему прочитать страничку из воспоминаний штаб-ротмистра Фролова, командира драгунского эскадрона в корпусе Каппеля:

«Развесив на воротах Кустаная несколько сот человек, постреляв немного, мы перекинулись в деревню. Деревня Жаровка и Каргалинск были разделаны под орех, где за сочувствие большевикам пришлось расстрелять всех мужиков от 18 до 55-летнего возраста, после чего «пустить петуха». Убедившись, что от Каргалинска осталось пепелище, мы пошли в церковь... Был страстной четверг. На второй день Пасхи эскадрон ротмистра Касимова вступил в богатое село Боровое. На улицах чувствовалось праздничное настроение. Мужики вывесили белые флаги и вышли с хлебом-солью. Запоров несколько баб, расстреляв по доносу два-три десятка мужиков, Касимов собирался покинуть Боровое, но его «излишняя мягкость» была исправлена адъютантами начальника отряда поручиками Кумовым и Зыбиным. По их приказу была открыта по селу ружейная стрельба и часть села предана огню».

Ну и напоследок отрывок из книги Николая Росса «Врангель в Крыму», изданной эмигрантским издатель-

ством «Посев» еще в 1982 году, которую Илья Сергеевич так же, как книгу Н. Рутченко, мог бы тайно провезти в СССР на животе под рубахой:

«...грабежи, разбои и другие имущественные преступления не подвергались надлежащему преследованию, стали в войсках обыденным явлением. Честный солдат обращался в гнусного мародера, исчезала всякая идейность и даже простая порядочность, и на смену им приходили низкие корыстные мотивы и грубый произвол.

Население, восторженно встречавшее войска, вскоре с ужасом отшатывалось от грубых пришельцев...».

Владыка Вениамин в своей горестной и правдивой книге честно признался: *«Мы не белые, мы — серые».* Может статься, что и Вы, Илья Сергеевич, совсем не белый, как Вам это кажется, а серый историк?

* * *

Главная историческая фигура, вызывающая у Глазунова судорожные приступы ненависти, — конечно же, Сталин.

«Я всей своею генной и жизненной памятью ненавижу пресловутого Кобу, а затем Сталина».

Чего только не наговорил «профессиональный историк» о Сталине, собрав в своей книге все слухи, всю ложь, все сплетни прошлых времен. И о том, что гражданской женой Сталина была Роза Каганович; и о том, что рост его был всего лишь 165 сантиметров; и о том, что, по сообщению «Вестника Бнай-Брит» от 3 марта 1950 года, Сталин был евреем; и о том, что Сталин, произнесший в 1945 году знаменитый тост за здоровье русского народа, тут же добавил на грузинском языке какому-то безымянному *«своему соплеменнику»: «Если хочешь, чтобы шакал съел свое говно, надо его похвалить».*

«Сталин расстрелял замечательного актера Михоэлса...». Историк даже не знает, какой смертью погиб Михоэлс.

Эти исторические изыскания недостойны того, чтобы их опровергать. Но когда Глазунов пишет о Сталине: «*Его обращение к памяти великих предков было, когда немцы стояли под Москвой и под Ленинградом*», то он, как гоголевская унтер-офицерская вдова, сечет сам себя, потому что в своей же книге пишет о том, как его поразили идеологические перемены предвоенных лет: «*Вспоминается, как впервые в жизни еще до войны, после увиденных мною спектаклей «Суворов» и «Иван Сусанин», я был потрясен...*».

Потрясен был и его отец: «*Придя однажды домой, помню, сказал, что его просили сделать доклад о «Науке побеждать» Суворова. «Странно, — комментировал он. — Десять лет назад за такой доклад с работы бы сняли и в Соловки отправили. Вспомнили о Суворове, когда Гитлер пол-Европы отхватил. Удивительно, что и Эйзенштейн после лжи «Броненосца Потемкина» получил социальный заказ на «Александра Невского». Воображаю, какую агитку состряпает...*».

Так что Сталин обратился «*к памяти великих предков*» не тогда, «*когда немцы стояли под Москвой и под Ленинградом*», а за два, а то и за три года до начала войны.

Только после того как из высших эшелонов власти — политической, военной, чекистской — ему удалось вычистить всех идеологов мировой революции, всех воспитанников Троцкого, в том числе из генералитета и высшего офицерства, всех фанатиков-интернационалистов, страна смогла вспомнить Александра Невского, Ивана Сусанина, Александра Суворова... Отец Глазунова удивился этой перемене, но не понял ее смысла. А сын до сих пор не понял и все талдычит о том, что Сталин вспомнил о героях русской истории лишь в ноябре 1941 года.

Где корни этой ненависти? В происхождении? Может быть... Родня, так или иначе, была ущемлена в правах, особенно в первые послереволюционные годы, кто-то сидел, кто-то был сослан. Роптали. Осуждали. Терпели.

Но время делало свое дело. В тридцатые годы отец художника, несмотря на то, что в гражданскую воевал с красными, получил серьезную должность в наркома-

те пищевой промышленности, без защиты диссертации был удостоен ученой степени кандидата наук, читал лекции по истории и экономике России в институте имени Энгельса, был доцентом географического факультета Ленинградского университета.

Его старший брат Михаил после Военно-медицинской академии служил во время гражданской войны на стороне красных, а в 1941—1945 годах был патологоанатомом Красной Армии. Даже в партии состоял и умер в звании академика медицины.

Так что дворянское происхождение Глазуновых в 30-е годы, которые хорошо помнит Илюша, уже не мешало им жить и работать.

Откуда в таком случае взялась его патологическая ненависть к Сталину и когда она сформировалась?

Сам Глазунов умеет и любит властвовать над людьми — тому я свидетель. Он знает, как подчинить их своей воле, обладает обаянием и почти мистической силой внушения. То есть он — человек авторитарного склада, умеющий во что бы то ни стало добиваться своих целей, человек, создавший, по словам Проханова, свою «империю». «*Я люблю*, — пишет Глазунов, — *время Грозного царя Ивана. Оно требует глубокого изучения, а не идеологических ярлыков*». Он преклоняется перед деспотом Петром Первым. И, по всей логике, должен понимать Сталина. Ан нет! И у меня есть некоторая догадка — почему...

Однажды, лет двадцать тому назад, мы втроем — хозяин, Татьяна Доронина и я — ужинали на Арбате в глазуновской башне, в главном ее зале, обрамленном бесценными иконами.

Разговор шел о разном, но хорошо помню страстные речи Ильи Сергеевича об арийских корнях европейской культуры, о сакральных смыслах свастики, о расовых тайнах человечества и о трагической ошибке истории — войне двух великих народов Европы: немецкого и русского.

Много раз до и после этого вечера Глазунов, когда прямо, а когда таинственными намеками, обозначал

свой пиетет перед автором книги «Майн кампф». Свято место пусто не бывает. Там, где оно занято Адольфом Гитлером,— там нечего делать его победителю Иосифу Сталину. И недаром в бессильном желании отомстить истории Глазунов в «Мистерии XX века» поместил в гробу на катафалке у Бранденбургских ворот Сталина, а не Гитлера, обгоревшие останки которого рядом с этими воротами были закопаны в воронке из-под советского снаряда.

Глазунов восторгался замыслом Гитлера, который распорядился после взятия Парижа сделать в столице Франции выставку, на которой были выставлены портреты художников-авангардистов и тут же — фотографии больных из европейских психиатрических клиник.

Он с восхищением отзывался о романах писателя первой эмиграции Петра Краснова, который прославил до небес и фюрера, и великую историческую миссию Третьего рейха. Откуда у русского монархиста такие взгляды? Это личное или семейное? Не буду гадать. Но знаю из глазуновской книги: больше всего интереса и внимания Глазунову оказывала антисоветская русская эмиграция еще и потому, что один из старших братьев его отца, Борис Федорович, будучи в оккупации в Царском Селе, пошел в услужение к немцам и стал работать в комендатуре переводчиком и делопроизводителем. Он был и одним из активных деятелей Народно-трудового союза.

«*В семье при мне не поднимали тему, где семья дяди Бори — его жена и две мои двоюродные сестры, Таня и Наташа, хотя я и знал, что он, как и многие тогда, ушел в потоке отступавшей немецкой армии на запад*». Когда Илья Глазунов встретился в Париже с историком-эмигрантом Н. Н. Рутченко и тот узнал, что Борис Глазунов — родной дядя художника, то воскликнул: «*Дорогой Илюша, я хочу поздравить тебя, что у тебя такой дядя. Он был яростный антикоммунист и великий патриот России*».

В нашей калужской семье была похожая беда. Сестра моей матери тетя Дуся до войны вышла замуж за дядю Женю — сына церковного старосты.

Брат дяди Жени Валентин во время короткой двухмесячной оккупации Калуги пошел работать помощником к калужскому бургомистру, назначенному немцами... Калугу освободили под новый, 1942 год внезапно, и почти все, кто сотрудничал с оккупантами, убежать не успели. Валентина поймали и расстреляли безо всякого суда на опушке Калужского бора.

Тетя Дуся, вернувшаяся из эвакуации, узнала о семейной драме и тут же развелась с братом расстрелянного предателя. Помню, как мы забивали дверь, ведущую в комнату, где остался муж тети Дуси. В нашей семье к этому времени уже погибли двое мужчин — мой отец и дядя Сережа — военный летчик, младший брат моей матери... Быть в родственных отношениях с семьей пособника фашистов наша семья не пожелала.

В декабре 2004 года я приехал на несколько дней в родную Калугу и встретил своего старого товарища, которого знаю — страшно сказать! — более шестидесяти лет, с десятилетнего возраста.

Он рос, как и я, без отца, но его отец, как я помню по рассказам, в начале войны то ли проворовался, то ли растратил казенные деньги, был осужден и сгинул в северных краях... Мой друг, встретив меня, неожиданно разволновался, сказал, что ему надо срочно поговорить со мной, и буквально затащил меня в гости. И рассказал душераздирающую историю о том, что его отец не проворовался и не присвоил никаких денег. А случилось то, что осенью 1941 года он, семилетний мальчик, с отцом и матерью выехал из Калуги в маленький областной поселок, куда вскоре вошли немцы, и его отец сам пришел к ним наниматься на работу в управу.

Через два месяца его расстреляли так же беспощадно и скоро, как и нашего Валентина, на опушке леса. Где их могилы — неизвестно.

Мой однокашник с матерью вернулся в Калугу, где никто не знал, что случилось с его отцом. На всякий случай они придумали историю об уголовном деле и всю

жизнь хранили семейную тайну. Мать моего друга несколько лет тому назад умерла.

— Что мне делать, Станислав?! — с надрывом спросил меня мой ровесник, прораб-пенсионер, небритый беззубый старик с провалившимся ртом. — Я один знаю правду. Я для внучки всю жизнь свою описал: как рос, как учился, как в армии служил, как для родины газовые трубы по полям и болотам прокладывал... Но она вдруг спросит: «Дедушка, а кем был твой отец?» Да и дочь моя тоже о нем ничего не знает. Что мне им сказать? Правду писать стыдно — к немцам пошел служить, решил, что они нас завоюют... А неправду писать — не хочу... Но ты о нашем разговоре никому ни слова!

Мы задумались, выпили молча по одной и по другой. И тогда я сказал:

— Напиши, что во время войны, когда поселок освобождали наши, он вышел из дому и не вернулся. И все... Пропал!

Мой друг закурил, выпил третью рюмку и благодарно обнял меня.

— Спасибо, друг! А ведь так оно и было. Вышел и не вернулся.

Сотрудничество с оккупантами считалось в наших семьях позором. Подобного рода факты люди скрывали не только потому, что это было опасно, но потому что — стыдно...

Борис Федорович Глазунов в 1945 году был выдан союзниками нашему СМЕРШу, получил всего лишь десять лет (по горячим следам расстреливали на месте!), в лагерях работал по специальности на инженерно-технических работах и вопреки всем ужасам ГУЛАГа, о которых пишет его племянник, отсидел свой срок весьма вольготно. Получал с воли от родных книги, «*заказывал папиросы, чай, печенье, консервы и т. п. обязательно определенных сортов и в определенной упаковке*» (*«Россия распятая», стр. 427*), занимался математикой — решал теорему Ферма, изучал астрономию, увлекся физикой — развенчивал теорию относительности, посылал свои работы в

Академию наук и даже на имя Сталина, после чего *«к нему в лагерь приезжали специалисты с воли»*.

Вышел на свободу после смерти Сталина.

А тщеславный племянник дяди-коллаборациониста посвятил ему в книге воспоминаний целую главу, где, по словам поэта, «не отличая славы от позора», попытался изобразить дядю борцом с тиранией и чуть ли не героем. Совершить такой подлог в стране, которая до конца света будет считать Девятое Мая самым великим днем своей истории, по-моему, дело не только постыдное, но и безнадежное.

* * *

Мою родную Калугу немцы захватили в первых числах октября 1941 года. Думали, что навечно. А потому через месяц начали при помощи наших коллаборационистов издавать еженедельную городскую газету «Новый путь». Девизом газеты в левом верхнем углу были слова: «Против большевизма за свободу и хлеб». В противоположном углу стояло многозначительное клише: «1-й год издания». Но, увы, этот «1-й год издания» закончился через двадцать дней. Строители тысячелетнего рейха успели издать лишь 4 номера, а 30 декабря наши войска вышвырнули их из города.

Я внимательно изучил ксерокопии этих номеров, подаренных мне калужскими архивистами. Газетенка убого-пропагандистская. Геббельсовская. На первой полосе победоносные реляции фашистского Верховного командования. Даже в номере от 6 декабря, когда наши опрокинули немцев и погнали на запад, газетка все еще пишет: *«В окрестностях Москвы германские войска продолжают дальнейшее наступление»*. Ну конечно, здесь же рассказы о том, как великая и гуманная немецкая армия освобождает русский народ от *«жидов и большевиков»*, прославление великого фюрера, поношение изверга и палача Сталина, душераздирающие исповеди сдавшихся в плен советских солдат и офицеров о том, как ужасно они жили

в колхозах, как голодали во время учебы в военных училищах... Заодно газета предупреждает крестьян, что землю еще делить рано, что пока нужно весеннюю страду продолжать по-колхозному, засевать не частные наделы, а общественные поля.

Я вспомнил этот непотребный листок, когда прочитал «книгу-исповедь» Ильи Глазунова. Наш «профессиональный историк» с пафосом сообщает, что за два первых месяца войны в немецкий плен попали 5 миллионов наших солдат и офицеров.

Но даже сам фюрер, хвастая победами на Восточном фронте, был скромнее. В своей речи от 11 декабря 1941 года, произнесенной в рейхстаге и напечатанной в калужской газетке, он с восторгом заявил, что за пять с лишним месяцев войны *«к 1 декабря было взято 3 806 865 пленных»*.

Это тоже большая ложь, но все же не глазуновского масштаба. Что же касается Сталина, то проклятья на страницах оккупационной прессы (*«изверг», «главарь кремлевской банды», «Сталинские лесные банды»*) и в глазуновской «исповеди» написаны как бы одной и той же рукой. Да и по части всяческих сплетен, исторических анекдотов и вымыслов оба издания стоят друг друга.

Аналогичная картина возникает, когда и у Глазунова и у Бунескула (главный редактор «Нового пути», предложивший, как и дядя Глазунова, немцам свое сотрудничество и расстрелянный СМЕРШем) речь заходит о сталинском ГУЛАГе. Глазунов, ссылаясь на Солженицына, считает, что в советских лагерях до войны отсидело более 60 миллионов человек. Более объективная фашистская газета ограничивается 30 миллионами.

На самом же деле настоящие, профессиональные историки (и советские, и российские, и зарубежные) сходятся на том, что с1921 по 1950 год в наших лагерях побывало от двух с половиной до трех миллионов заключенных, из которых по политическим статьям сидело 900 тысяч. Для сравнения скажем, что на сегодня в Российской Федерации (а населения в ней почти в 2 раза меньше, чем в СССР) содержится более миллиона ЗК.

Оба издания возносят до небес столыпинскую реформу и проклинают колхозы.

В газетной колонке под названием «Тройник Сталина» автор сообщает о том, как он встретился на территории освобожденной России с приехавшим из Парижа русским эмигрантом N. И тот рассказал ему потрясающую историю, объясняющую секрет немецких военных успехов.

Оказывается, в 1935 году в Париж приехал советский чекист. Его задачей было найти двойника Сталина. Одного уже нашли на Кавказе. Но этого было мало. Нужен был еще один, чтобы три машины с тремя Сталиными (один настоящий — два фальшивых) одновременно выезжали из трех разных ворот Кремля и сбивали с толку террористов, готовивших покушение на Сталина. Нашли «парижского Сталина» — полковника дикой Кавказской дивизии. Заключили с ним контракт, привезли в Москву. Дальше цитирую: «*И что же происходит? Через два месяца убивают первого двойника, того кавказского... месяца через три — новое покушение, и ухлопывают, как вы думаете, кого? Да! Самого настоящего Сталина! Остается, значит, наш полковник! Что же он делает? Поставил к стенке Тухачевского, Егорова и тысячу разных там краскомов. Всех самых опасных! Ворошилова и Буденного он оставил... Ведь они опасны не для врага, а для своей же армии... Гениально? Потом рубанул с плеча по головке компартии... А когда Германия справилась на Западе, толкнул в войну с ней Советскую Россию. Ну, результат вы знаете... Вот голова! Немцы к Москве подошли...*»

Ну, чем это слабее, нежели рассказы Глазунова и Аркадия Райкина о ритуальном сожжении царской головы на кухне Кремля, или о поездах смерти в Каракумах, или о сталинском «зверинце» в Сухановке?

А вот еще сюжет из калужской газетки. Якобы сын Молотова Георгий Скрябин попал в немецкий плен 2 ноября 1941 и выступил «27 ноября в Берлине перед представителями мировой печати», и обратился по радио к русскому народу.

Несколько отрывков из его выступления: «*Дорогой мой народ! От всего русского сердца я хочу передать вам братский, чисто русский привет. Я, сын Молотова, понял, что такое счастье жизни, которая не отдается за этих поганых жидов и большевиков...*».

«Нам усиленно вдалбливали в голову, что Гитлер идет истреблять русский народ. Это ложь большевиков и жидов... Жидам у нас было хорошо... жиды России сговорились с жидами всех стран, с английскими капиталистами. Вместе они хотели напасть на Германию... Теперь жиды в страхе бегут за Урал в Сибирь. И там они будут беспощадно раздавлены».

Вот в такого рода антисемитском жанре наши калужские коллаборационисты, конечно, недосягаемы. В своей «исповеди», несмотря на всю ненависть к сталинской эпохе, Илья Сергеевич, когда речь заходит о евреях, тушуется и держится в пределах здравого смысла или, может быть, интернационального воспитания, так или иначе повлиявшего на него в социалистическую эпоху. И не переходит запретную для каждого «порядочного человека» черту.

И еще об одном парадоксе уходящей истории. Интересно было бы понять: почему с этой геббельсовской, зоологической, антиеврейской ненавистью к Сталину и к советской эпохе по своим аргументам и, главное, по яростному накалу чувств один к одному совпала через шестьдесят с лишним лет после победы ненависть многих нынешних фанатиков-русофобов.

Насмотрелся и наслушался я в апреле-мае 2005 года теле- и радиовыступлений Марка Розовского, Василия Аксенова, Мариэтты Чудаковой, Алексея Германа, Валерии Новодворской. Забавно, а временами и страшновато было видеть их перекошенные от ярости лица, когда в состоянии чуть ли не припадочном, они с пеной на губах пытались доказать, что нельзя ставить памятники Сталину, ибо он уголовник, интриган, бездарный полководец и ничтожный исторический деятель.

Им вторили по радиостанции «Свобода» в те же дни Даниил Гранин, Эмиль Кардин, Александр Даниэль и ка-

кой-то историк тоже еврейского происхождения, которые обвиняли Сталина во всех наших двадцатисемимиллионных людских потерях во время войны, где бы они ни совершались: на оккупированных землях, в лагерях советских военнопленных, среди мирного населения, угнанного на работы в Германию, в польском Освенциме, в австрийском Маутхаузене, в латвийском Саласпилсе, в немецком Биркенау...

А я слушал и думал, вспоминая призывы геббельсовской калужской газетенки уничтожить «всех жидов», что было бы с ними, если бы мы проиграли войну, а если бы СССР рухнул подобно цивилизованной Франции, словно карточный домик... При таком весьма возможном зигзаге истории пепел, в который превратились бы все нынешние сталинские хулители, до сих пор кружился бы в небе тысячелетнего рейха.

А еще я думал о том, что чем больше, господа, горячей слюны слетает с ваших уст, чем искаженнее и безобразнее становятся ваши лица на голубом экране во время подобных представлений, тем глубже овладевает сознанием десятков миллионов наших людей одна простая мысль: независимо от того, поставят ли Сталину новые памятники или нет—он величествен и бессмертен, а вы...

Чего только я не наслушался в эти апрельские и майские дни! И что Ленинград надо было сдать врагу, и что руины Сталинграда не стоили того, чтобы их защищать насмерть, и что побежденная Франция хорошо и спокойно жила при Гитлере... Все эти вопли были каким-то актом коллективного безумия, наверное, схожего с тем, которое овладело еврейской толпой две тысячи с лишним лет тому назад, когда она, беснуясь, кричала: «Распни Его!» Только те жаждали увидеть распятого Христа, а нынешние — распять нашу Победу.

Из двадцати семи миллионов наших людских потерь около восемнадцати миллионов — это безоружные, беспомощные граждане — дети, женщины, старики, военнопленные... Если бы, войдя в фашистские страны

Восточной Европы и в Германию, мы, как требовал любимый либералами Илья Эренбург, «уничтожали немецких самок», а после каждого выстрела в спину советского солдата расстреливали заложников; если бы мы в преддверии Победы бомбили немецкие города с той же жестокостью, как англичане и американцы Дрезден (где в конце войны от бомбежек погибло четверть миллиона мирных жителей); если бы Сталин организовал лагеря для военнопленных по фашистскому образцу как лагеря уничтожения (а в наших лагерях после войны содержалось более чем 3 миллиона пленных), то наши общие человеческие потери могли бы сравниться с потерями фашистской Европы. И тогда бы у Глазунова и у Новодворской вкупе с Александром Яковлевым не было бы оснований кричать, что мы вымостили дорогу к победе трупами. Но Иосиф Сталин отказался от поголовного ветхозаветного мщения, называемого в наши времена геноцидом. Он даже не потребовал от фашистских государств-сателлитов (Италии, Венгрии, Румынии и т. д.) настоящих репараций. А зря, если вспомнить, что сегодня венгры хотят, чтобы мы заплатили им некую компенсацию за подавление их мятежа в 1956 году, при этом забывая, что полмиллиона венгерских солдат (более жестоких, как говорят современники, нежели солдаты немецкие) остались после войны в наших лагерях для военнопленных... А латышские и эстонские эсэсовцы во времена оккупации жестоко расправлялись с нашими людьми в белорусской Хатыни, на Псковщине и Новгородчине. (Это к тому, что прибалты тоже начинают от нас требовать какие-то компенсации.)

Поистине мы живем в страшные времена, похожие на те, о которых писал Тютчев во время Крымской войны 1854 года:

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное...

Ложь воплотилася в булат;
Каким-то Божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем.

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы.
Во имя света и свободы!

Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, —
Ты — лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!

О, в этом испытанье строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед Богом...

Во время нашей совместной работы над журнальным вариантом книги «Россия распятая» Илья Сергеевич, не раз обращаясь ко мне и Геннадию Гусеву, воздевал руки к небесам и трагически восклицал:

— Ну скажите мне, за что меня патриоты не любят? — А за что любить? За глумление над памятью великого полководца Георгия Жукова? За повторение солженицынской лжи о «шестидесяти миллионах», уничтоженных при Сталине? За «галерею» приватизаторов и олигархов? За то, что в разговоре с полковником Ю. Петровым, сказавшим, что Чубайс — «это же главный преступник», наш «профессиональный историк» ответил: «*Нет, я так не считаю. Государственные преступники появились в 1917 году*». («Московский комсомолец», 30.08.2004. Может быть, готовится писать или уже написал портрет Чубайса?) За клевету на великое государство? (*«СССР стал действительно тюрьмой для народов».*— «Россия распятая», с. 209.)

Да под такими словами с радостью подпишется любая Новодворская и любой Сванидзе. Так что, как бы ни проклинал Глазунов «рынок демократии», когда речь заходит о Советском Союзе — он всегда рядом с идеологами и основателями этого рынка.

* * *

В 1996 году, к восьмидесятилетию Георгия Васильевича Свиридова, мы напечатали на обложке фотографию композитора, сидящего на скамейке в валенках, в старом поношенном пальто, с палкой в руках на чужой даче, которую он снимал в Подмосковье.

Под фотографией были слова Распутина и заголовок: «Повелитель мелодий». Я подарил этот журнал Глазунову.

Художник буквально впился в распутинский текст: «Повелитель мелодий!», «Рожден в курской деревне, обновленной революцией!».

Лицо его налилось гневом, в словах и междометиях кипела ревность художника, который жизнь свою всегда соотносил с властью, рассчитывал и выстраивал отношения с ней, обслуживал ее, одновременно ненавидя, торговался, выкраивал льготы и вдруг увидел, что есть и другая слава — слава художника, равнодушного к власти, поглощенного лишь творчеством, не жаждущего скандалов и денег, сидящего на скамейке в старом пальто, в валенках, без галстука...

— Да как он смеет быть таким! — слышалось мне в яростных восклицаниях Глазунова. — Этот образ жизни, его аскетизм, независимость, простонародное, плебейское происхождение — все, все — вызов мне, вызов таким, как я!

В 2002 году издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет книгу заметок, дневниковых записей, рабочих тетрадей композитора Георгия Васильевича Свиридова «Музыка как судьба». Эти записи композитор вел с 1972 по 1994 год.

Замечателен «Указатель личных имен», завершающий восьмисотстраничную книгу. В нем около ста страниц и около полутора тысяч имен. Поскольку Свиридов не замыкался в узкопрофессиональном музыкальном мире, а жил в пространстве всей русской и мировой культуры, то указатель изобилует именами политиков, историков, кинематографистов, актеров, писателей, поэтов.

Среди них на многих страницах книги встречаются имена Сергея Есенина, Николая Рубцова, Василия Шукшина, Василия Белова, Валерия Гаврилина, Вадима Кожинова, Юрия Казакова, Владимира Крупина, Юрия Кузнецова, Владимира Личутина, Анатолия Передреева, Алексея Прасолова, Владимира Кострова...

Иных из нас он разыскивал сам, писал нам письма, приглашал к себе в гости, часами беседовал с нами, желая, как я сейчас понимаю, передать «в хорошие руки» свой опыт понимания жизни, истории, русской судьбы.

Любая возникшая на патриотическом горизонте творческая судьба интересовала его. Он читал наши книги, постоянно сам, не обращая внимания на разницу в возрасте и общественном положении, звонил многим из нас, писал письма, поздравлял с какими-то нашими успехами, с днями рождений, словом, собирал и объединял русских людей, но не как мэтр, а как старший наш друг и товарищ.

Не надо думать, что Георгий Васильевич источал своим младшим соратникам только слова восторга, любви и похвалы. Он и гневался, и язвил, и высмеивал, и горевал, и переживал за нас, за наши слабости, заблуждения, неудачи.

Но почти все мы, кого я перечислил выше, были русскими людьми именно такого склада, над которыми издевался Глазунов: «*пребывают в нищете и пьянстве*», «*падают бородами в винегрет*»...

Все или почти все творческие люди русской патриотической судьбы (даже малоизвестные, второстепенные таланты) были замечены Свиридовым, все они присутствуют в тысячеименном свиридовском «указателе имен»,

завершающем книгу «Музыка как судьба»... Но удивительно то, что там нет имени Глазунова. Ни одной записи, ни одного упоминания о нем нет в свиридовских двадцати тетрадях, которые он вел более четверти века. А о художниках—вспоминал. О Борисе Кустодиеве, о Павле Корине, о Гелии Коржеве.

Когда же однажды я спросил Георгия Васильевича о Глазунове, то Свиридов помрачнел, что-то буркнул себе под нос и сделал вид, что не расслышал моего вопроса. Однако ему было что сказать мне...

* * *

Если отказываешься верить в высшую цельность мира, то вступаешь на стезю духовной и эстетической неполноценности, неизбежно кастрируешь, «упрощаешь» мир и себя — до эротических видений, плывущих в воздухе (Дали и Шагал), до демонстративно разъятых обломков бытия («Герника») и в конце концов до тотального в своем пошлом пессимизме «Черного квадрата», до последней мертвенной формы, разложить которую дальше уже нельзя. Такого рода драму поэта в свое время пережил Осип Мандельштам:

> Там, где эллину сияла красота, —
> Мне из черных дыр зияла срамота.

Подобная «упрощенная срамота» живет (если у нее есть жизнь) и в китчевых громадных полотнах позднего Глазунова. Она имеет лишь одну особенность: в отличие от запредельной антиэстетической «срамоты» Малевича и Пикассо, эта «срамота» имеет человекообразные формы, хотя, в сущности, являет собой механический хаос истории, который невозможно спасти никакими искусственными вкраплениями лика Спасителя, никакими религиозными сюжетами («Разгром церкви в пасхальную ночь»)...

Вот почему творчество Глазунова гораздо ближе к творчеству Пикассо, нежели это кажется самому художнику. Благими намерениями вымощена дорога в ад. В сущности, «Мистерия XX века» — это та же «Герника», только «недоношенная», недоразвитая. Эта действительность «разложена» («музыку я разъял, как труп») не до конца, чтобы советский массовый зритель от нее не отвернулся... Словом, ни Богу свечка, ни черту кочерга.

Цельная сложность бытия — зрительная, музыкальная, словесная («цветущая сложность», как говорил Константин Леонтьев) — всегда была дивной тайной, которую пытались разгадать и выразить Рембрандт и Моцарт, Рублев и Шекспир, Мусоргский и Пушкин.

Но роковая особенность талантов, творивших в XX веке, заключается в том, что многие самые одаренные из них были изначально поражены сатанинским вирусом скепсиса, распада, апостасии. Однако, в отличие от Глазунова, они по-своему были предельно бесстрашны, доходя в «разъятии музыки» до самого дна. Никто из них не избежал этого эпохального соблазна: ни Пикассо, ни Сальвадор Дали, ни Маяковский, ни Марк Шагал, ни Генри Мур, ни Диего Ривера. Каждый из этих или им подобных закомплексованных суперменов шарахался в объятья к кому угодно — к фашистам, к анархистам, к троцкистам, к сионистам, к коммунистам и т. д. Жажда скороспелой и обязательной прижизненной мировой славы заменяла им всем жажду истины. Но если у патриархов модернизма в творчестве еще присутствовал какой-то «честный поиск», то у их преемников все выродилось в откровенное массовое искусство и в «прозрачный бизнес». Одновременно всех персонажей этой творческой породы объединяло мировоззрение, которое с ошеломляющей откровенностью выразил в 1935 году Пабло Пикассо:

«Нужна тотальная диктатура... диктатура художников... диктатура одного-единственного художника... чтобы... уничтожить очарование, уничтожить историю и всю остальную кучу хлама. Но здравый смысл всегда

побеждает. И нужно прежде всего совершить революцию против него».

В патриархальные времена такой путь художника назывался просто: «продал душу дьяволу», «подписал с ним договор кровью» — все, как в «Фаусте» Гете или в «Портрете» Гоголя. Сегодня такими наивными и простодушными аргументами ничего не объяснить. Нужен другой язык, которым, как никто другой в конце XX века, владел Георгий Свиридов: «**Искусство нашего века несет большую ответственность за то, что оно настоятельно и талантливо проповедовало бездуховность, гедонизм, нравственный комфорт, кастовую, интеллигентскую избранность, интеллектуальное наслажденчество и еще того хуже: упоенно воспевало и поэтизировало всякого вида зло, служа ему и получая от этого удовлетворение своему ненасытному честолюбию, видя в нем освежение, обновление мира. Все это, несомненно, нанесло огромный вред человеческой душе...»**

* * *

Впрочем, в «России распятой» есть немало замечательных страниц.

Прежде всего это скорбное повествование о великой ленинградской блокаде, которая стала и моей трагедией. Родители Глазунова похоронены на Серафимовском кладбище, а мой отец, умерший от голода в феврале 1942 года, — на Пискаревском.

Нельзя без волнения читать письма, посланные одиннадцатилетним мальчиком своей умирающей матери в Ленинград из новгородской деревни Гребло.

Полны чистой и печальной правды его воспоминания о сиротской жизни среди крестьян этой деревни.

Подлинностью суровой эпохи дышат страницы дневников двоюродного деда художника—генерал-лейтенанта Ф. А. Григорьева.

И конечно же, интереснейшее чтение представляют главы «России распятой», в которых речь идет о великих русских и европейских художниках, о сущности искусства.

Я жалею лишь о том, и даже раскаиваюсь, что когда в 1996 году первая книга «России распятой» публиковалась в журнале, мы с моим заместителем Геннадием Гусевым, не выдержав «торга» с Глазуновым, его истерического напора, его артистического шантажа, иногда сдавались и позволили ему на страницах «Нашего современника» опубликовать две-три пошлые и лживые сплетни о советской эпохе.

Впрочем, именно после таких яростных идеологических споров мы решили публиковать главы из «России распятой» в конце журнала, после его последней страницы, в виде приложения, как бы показывая читателям, что мы во многом не согласны с автором. И все равно чувствую себя перед читателями виноватым.

Не могу в заключение не процитировать отрывок из пролога к монументальному первому тому книги «Россия распятая»:

«Говоря о предательстве, я имею в виду самую страшную суть этого понятия: когда человек, а мы говорим о художнике, предает в силу тех или иных обстоятельств самого себя.

Предательство страшно тем, что художник, попирая святые и незыблемые истины творчества, перестает быть художником, меняя на чечевичную похлебку свой Божий дар...

Предательство — когда художник, изменяя себе, на деле становится рвущейся к карьере и материальным благам проституткой. Предательство — это продажа вдохновения...».

Все ведь понимает однако...

2001—2005 гг.

«ПАТРИОТ ПОВЕСИЛ ПАТРИОТА»

В который раз за последние годы я вспоминаю историю-притчу о том, как полвека с лишним тому назад профессор Сергей Михайлович Бонди обратился к нам, первокурсникам Московского университета, с трибуны Коммунистической аудитории на Моховой.

— Вы филологами хотите стать?

— Да! — дружно загудели мы.

— А вы «Капитанскую дочку» читали?

— Читали! — с воодушевлением выдохнула аудитория.

— А скажите мне, Пугачев — патриот?

— Патриот!

— А капитан Миронов патриот?

Несколько слабее, но все-таки хором мы ответили:

— Патриот!

— Но в таком случае, если вы желаете стать настоящими филологами, — коварно завершил профессор свой иезуитский разговор с нами, — вам придется ответить на главный вопрос гениальной повести: почему один патриот повесил другого патриота?!

И торжествующий пушкинист ушел на перерыв, оставив вчерашних десятиклассников в полной растерянности. А на дворе еще стояло сталинское время...

* * *

Когда вершатся и особенно когда завершаются исторические времена революций, государственных потрясений, социального распада жизни, то в обоих враждующих станах — и победителей и побежденных неизбежно начинаются разборки, особенно тяжелыми и бессмысленными они бывают в стане побежденных. Взаимные упреки в предательстве, в роковых ошибках, в тайном сотрудничестве с врагами — вот обвинения, сопровождающие всякую историческую неудачу. Наша эпоха — не исклю-

чение. И наш русский патриотический стан, заразившийся с начала 90-х годов (особенно с октября 1993 года) подобным вирусом, до сих пор не переболел им. Горько, но приходится признаться, что борьба с прямыми врагами из лагеря демократической интеллигенции не требовала от меня стольких жизненных сил, сколько пришлось за эти годы истратить на защиту своих убеждений, своего имени, чести журнала от генетических патриотов — Владимира Бушина, Ильи Глазунова, Татьяны Глушковой, Виктора Астафьева. Даже с Александром Прохановым, с Леонидом Бородиным, с Юрием Бондаревым приходилось вступать в распри, ратуя то за историческую истину, то защищая своих покойных друзей... Правда, надо оговориться: прямым врагам я объявлял войну, как правило, первым по своей воле, а от соратников по патриотизму лишь защищался. И только тогда, когда, как говорится, доставали и другого выхода уже не было, и промолчать было невозможно.

В этой внутривидовой борьбе волей-неволей мне пришлось выработать несколько правил. Во-первых, для меня всегда было крайне важно знать: бросающий тебе обвинение или даже оскорбление твой недавний соратник — не отказывается ли при этом от своих прежних убеждений? Не запамятовал ли он — вольно или невольно — свои слова и взгляды, которые исповедовал вчера? Атмосфера ренегатства в нашу эпоху стала настолько естественной, что измена убеждений почитается чуть ли не за доблесть, которой не гнушались гордиться самые известные люди советской эпохи — от Александра Яковлева до Михаила Ульянова, от Виктора Астафьева до Сергея Залыгина.

Все политические обвинения в мой адрес, вышедшие в середине 90-х годов из-под пера вчерашних соратников, вызывали у меня сначала лишь горестную усмешку. Я вспоминал при этом то Заболоцкого — «нет на свете печальней измены, чем измена себе самому» — то народную мудрость: «что написано пером — не вырубишь топором». А сейчас, когда случается нечто подобное, все

чаще вспоминаю Сталина, любившего повторять мудрую пословицу античных времен: «Даже Боги не могут бывшее сделать небывшим».

Печальным драматическим эпизодом в моей жизни последних 15 лет была рукопашная война с Владимиром Бушиным. Началась она в 1989 году и была куда более тяжелой, нежели распря с Глушковой. В отличие от нее Бушин никогда не давал повода упрекать его в том, что он поменял взгляды, оценки, убеждения. Да и полемист он незаурядный. Но у него были и остаются другие уязвимые места: в яростном желании победить соперника во что бы то ни стало он не брезгует ничем. Может поглумиться, передернуть цифры, даты, факты; может выдумать для себя удобный образ соперника и триумфально расправиться с ним, как расправляются с чучелами своих врагов шаманы диких племен. К тому же у него никогда не было литературного ореола — прозаик он никудышный, впрочем, как и стихотворец, что объективно делает его нападки на Распутина, Кожинова или даже Солоухина легковесными и сомнительными. Он не способен осознать значение творчества для русской культуры тех, кого делает мишенями своего язвительного остроумия, часто переходящего в прямое глумление.

В свое время ненависть к Есенину на мгновение объединила двух непримиримых политических противников — «белого» Бунина и «красного» Бухарина, объединила настолько, что оба низвергали одинаковую хулу на великого русского поэта, говоря о его пьянстве, хамстве, о простонародной грубости его поэзии.

Как будто это главное в Есенине, а не его великая, бесконечная русская сущность.

Иногда неистовые ревнители патриотизма бывали настолько и явно несправедливы, что мне казалось, будто ими руководит некая третья сила, мечтающая о нашем взаимном самоистреблении. Вспомним стихотворение Юрия Кузнецова о том, как два отважных войска (а в отваге Бушину не откажешь!), на радость маркитантам, сошлись на поле брани:

А наутро, как только с куста
Засвистала пичуга,
Зарубили и в мать и в креста
Оба войска друг друга

Если бы только один я был мишенью патриотических снайперов! Конечно, я был более других на виду, потому что пытался объединить вокруг журнала патриотов всех мастей, пытался свести коммунистов с монархистами, националистов с демократами-государственниками, писателей великого таланта и скромных тружеников пера. Задача была почти утопическая, но бывали времена, когда на страницах «Нашего современника» одновременно соседствовали Бондарев и Астафьев, Кожинов и Глазунов, Бушин и Вячеслав Клыков.

Юрий Кузнецов публиковал свою поэму о Христе, и в тех же номерах присутствовали священники, осуждавшие поэму, или Михаил Лобанов, выражение лица которого менялось, когда разговор заходил об авторе «Атомной сказки». Но я насколько мог терпел все эти русские раздоры, смирял гордыню то одной то другой стороны, помня, что в такое время нельзя допускать, чтобы «один патриот повесил другого патриота». Худой мир лучше доброй ссоры, а все ссоры к тому же были недобрыми.

Я никогда не упрекал Распутина в его политических иллюзиях — в излишней доверчивости к Горбачеву или Солженицыну, потому что он для меня прежде всего творец «Последнего срока» и «Прощания с Матерой».

Можно выставить счет Владимиру Бондаренко за его безнадежную попытку изобразить Бродского русским поэтом-патриотом, но грешно забыть о его прекрасных портретах Николая Рубцова, Глеба Горбовского, Алексея Прасолова.

Если же следовать рапповским рецептам патриотической стерилизации талантов, то придется выкинуть из литературной жизни Владимира Крупина, Веру Галактионову, Владимира Личутина с их прозой, Михаила Лобанова и актера Александра Михайлова с воспомина-

ниями, Марину Струкову с ее русским патриотическим неоязычеством и Нину Карташеву с культом православного воинства, Юрия Кузнецова с его последней поэмой. И что же у нас тогда останется? Пейзаж после битвы — громадное до горизонта смертное поле, усеянное телами лейтенантов, на поле стоит в оцепенении Владимир Бушин, а вокруг него хлопочут истинные победители сражения — маркитанты-мародеры.

* * *

В августе 1989 года, когда я стал главным редактором журнала, то первым делом мы поменяли обложку. Вместо желтой она стала белой. Профиль Горького был заменен мартосовской композицией Минина и Пожарского. Сразу же после этого я получил негодующее письмо от В. Бушина. Оно, к сожалению, было потеряно мною, но сохранился мой ответ Бушину.

«*Володя!*

Очень жаль, что мне приходится тратить время на бесплодные споры. Ты думаешь о Горьком так, а я иначе. Горький за свою долгую жизнь порусофобствовал вволю (я уж не говорю, что во многих статьях 10 годов он прямо объявлял себя сионистом). Русскую деревню он ненавидел непонятной мне патологической ненавистью, российскую историю считал пустой и бездарной. А работая над книгой о судьбах крестьянских поэтов, я лишний раз убедился в том, что крестьянство он вообще считал навозом истории. Да, воспоминания о Есенине он написал, ты прав. Но на первом съезде, когда уже после кровавой коллективизации всякого рода ораторами от Бухарина до Безыменского Есенин и есенинская линия стиралась в порошок, объявлялась враждебней социализму и т. д., наш патриарх все это слушал, благословлял и не опроверг ни одного слова распоясавшихся русофобов. Не случайно он же был вдохновителем, редактором и шефом страшной книги о Беломорканале. Не случайно же через два года после

этого, он, в сущности, определил судьбу Павла Васильева, назвав его фашистом и антисемитом[1]*. Ты что, не знаешь этого, Володя? Ты что не знаешь, как он писал о русских крестьянах; «Вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень — все те, почти страшные люди, о которых говорилось выше, и их место займет новое племя! — грамотных, разумных, бодрых людей...» Вот и вымерли, согласно его желанию, в голод 30—32 годов... Как же мог такой человек с такими убеждениями не благословить Беломорканала и Соловков? Ну да ладно, хватит о нем. Поговорим о нас. (Естественно, что так понимая взгляды Горького я твое письмо печатать у себя не буду.) Давай разговаривать честно. Я хотел напечатать твою статью о Сахарове, но Сахаров осенью наговорил столько*[2]*, что стало ясно: все это нуждается также в оценке. Словом, как сказал Шафаревич, «если уж бить по Сахарову, то чтоб наповал...»*

Я предложил тебе расширить твою статью, доказать политический авантюризм осенних выступлений

---

[1] «От хулиганства до фашизма расстояние короче воробьиного носа» — это о П. Васильеве из статьи А. М. Горького «О литературных забавах». Сразу же после этой статьи 24.V.1935 г. в «Правде» появилось письмо за подписью В. Инбер, М. Голодного, Д. Алтаузена, С. Кирсанова и других литераторов, в котором Павлу Васильеву после горьковского «выговора» в сущности выносили политический приговор: «Павел Васильев, исключенный из Союза писателей за систематическое хулиганство, игнорировал и суровое предупреждение А. М. Горького в статье «Литературные забавы», «устроил дебош в писательском доме по проезду Художественного театра, где он избил поэта Алтаузена, сопровождал дебош гнусными антисемитскими и антисоветскими выкриками». Васильев уже давно прошел расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма» (это дословно из Горького). «Необходимо принять решительные меры». Вот какую кампанию вскоре закончившуюся арестом Павла Васильева, спровоцировала статья А. М. Горького. «Решительные меры» были приняты.]

[2] Осенью 1989 года А. Сахаров заявил, что в Афганистане советские вертолеты расстреливают наших солдат, у которых нет шансов выйти из окружения афганских душманов.

Сахарова, это лишь усилило бы нашу аргументацию... Ты сначала вроде бы соглашался, но потом раздумал. Я тебя понимаю: тебе не захотелось дописывать и доделывать уже на твой взгляд законченную статью. А журналу нужно было, чтобы она была более убедительной и абсолютно неотразимой по аргументации. Тебе не хотелось ее дорабатывать, ибо ты знал, что она уже публикуется в «Военно-историческом журнале», в 11 номере. А мы ее хотели ставить в 12-й, так что ты в известной степени поступил с журналом некорректно.

Ты зря упрекаешь меня во лжи, говоря, что Кожинов был за публикацию твоей статьи. Кожинов считал, что статья о Сахарове должна появиться в «Н С.», но не в твоем варианте, который он считал весьма поверхностным. Можешь позвонить ему, и он подтвердит то, что я пишу.

Зря ты упрекаешь меня, что я вычеркнул тебя из списка авторов (мы приводили только тот перечень авторов, чьи работы уже имеются в редакции), что я отринул тебя от вечеров «Н. С.» А как я мог звонить тебе и куда-то приглашать, когда ты весьма по-хамски дважды с криком набрасывался на меня за то, что я вернул тебе статью о Сахарове, за то, что я имею свое мнение о Горьком? Зачем мне нарываться на твой скандальный темперамент?

Впрочем, я ссориться не хочу, ценю тебя как критика, предлагаю тебе поехать в конце февраля с журналом в Ленинград; прочитал твою статью в «Кубани» о Лермонтове и готов ее перепечатать в журнале, если ты дашь на то свое согласие.

Время на дворе трудное. Давай объединяться.

10 сентября 1989 г.

Ст. Куняев.

Сразу же после этого письма я получил от Бушина еще одно, в котором были мелкие претензии к журналу и одна серьезная мысль: «*Появилось много русских патриотов, главный пункт патриотизма которых — жидо-*

едство. И за пятикопеечное удовольствие в этом занятии они готовы заплатить золотыми червонцами русских талантов. О таком отношении к одному из самых драгоценных наших талантов я и веду речь»...

Это было сказано о Максиме Горьком.

Владимир Бушин не согласился с моим суждением о нем. Но я ведь имел в виду отнюдь не Горького — автора «Моих университетов», «Дела Артамоновых» — или создателя «Вассы Железновой» и великой пьесы «На дне».

В своем утраченном письме Бушину я рассуждал о крайне непоследовательном и слабом поведении великого писателя в годы революции, гражданской войны и эмиграции. Сначала в «Несвоевременных мыслях» — он осуждал Ленина и революцию; потом через несколько лет сотворил апологетический портрет Ленина. Испугавшись ужасов великой революции, уехал (а попросту малодушно сбежал) на Запад, много лет жил там в окружении антисоветской интеллигенции. Но когда понял, что слава его проходит, что деньги на счетах в западных банках — тают, решает вернуться на Родину, где совсем недавно Маяковский в стихах клеймил «буревестника революции» за то, что он предал ее... Слабый человек, несамостоятельный. А приняв ради возвращения в Россию условия Сталина, лишний раз подтвердил то, что своих глубоких убеждений у него не было. Хотя пользу для культуры молодого государства он все-таки принес немалую, но и вред от него был — что очевидно из истории с травлей П. Васильева. Вот все, что я имел в виду, ввязавшись в спор с Бушиным. Не более того.

Ответ В. Бушина мне:

«Я не могу и не хочу спорить с тобой, Станислав, о Горьком. Перечитай лучше разговор князь Андрея с отцом в Лысых Горах о Наполеоне. Это тебе многое объяснит гораздо убедительный, чем я. Но меня поражает твое непонимание сложности судьбы Горького, сложности его времени и огромности его таланта, за который прощается многое. А цитат я тебе могу надергать даже из

Пушкина, из коих будет ясно, что он ненавидел Россию. Одну коротенькую из «Несвоевременных мыслей» все же приведу: «Да, я мучительно и тревожно люблю Россию, люблю русский народ... Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта, русский народ для них — та лошадь, которой прививают тиф...»

И почему ты за все мерзости взваливаешь ответственность на Г.? Ну, а мы с тобой всегда бросались грудью на негодяев? Вот два года назад меня бешено травили. В трех лит. газетах появилась порочащая меня публикация. Секретариат СП подал на меня в суд. Да еще и В. Карпов — 1-й секретарь, депутат, лауреат, член ЦК и т. п. Ведь меня могли в пыль стереть. Ясно же, что суд оказался бы на стороне Карпова и секретариата. И вот ты хоть ободряющим звонком помог мне? Ведь все-таки давно знаем друг друга, соседи, в одном, так сказать, лагере. Нет, ты ничем не помог, а другие помогали. Но я тебя не виню, я знаю, что жизнь сложна, что все в ней перепутано до чертиков. Почему же ты не хочешь взять в расчет старость Горького, его недуги, смерть сына, да мало ли что еще!

Ты пишешь, что Вадим Кожинов считает мою статью «весьма поверхностной». Возможно. Но в своем отзыве от 10 октября он прямо писал: «Я за публикацию». В. Распутин 11 октября писал: «Я «за». Пора публично говорить, кто есть кто» и т. д. Так что звонить В. К. у меня нет никакой необходимости. А замечания у них, конечно, были. У меня есть замечания даже к «Анне Карениной».

За приглашение ехать в Л. спасибо, но не уверен, что могу воспользоваться. В «Кубани» ты читал только первую часть статьи. Она состоит из трех. Пожалуйста, могу предложить. Ведь она лежала в «Н. С» несколько лет. Хотел бы еще ответить А. Гулыге, там есть веши нетерпимые.

И чтобы ты еще раз убедился в моем двоедушии, скажу тебе: как можно было из 15 премий 7 дать членам редколлегии? А статью Глушковой и печатать-то не надо было, у нее же есть отличные работы, но не эта.

Не буду с тобой спорить о русофобстве и сионизме Горького. И еще добавлю, что однажды он назвал себя не русским даже, а мордвином. Но согласись, что сионизм среди русских вещь не такая уж частая, как и юдофобство среди евреев. Я тут знаю одного только Вайнингера («Пол и характер»). Замечу только, что Г. знал старую русскую деревню несколько лучше, чем ты. И все это заслуживает размышлений.

Ты пишешь о «кровавой коллективизации». Это у тебя от избыточного чтения «Огонька»[1]*. А я коллективизацию видел, и помню, как дед отводил в колхоз обеих своих лошадей — белую кобылу и каурого жеребенка по кличке Мальчик. Позже, в 32 году, деда посадили, и мой отец, бывший царский офицер, но в это время уже член партии, каким-то образом его очень легко освободил.*

Вообще в своем безизъянном проклятии прошлому ты и другие смыкаетесь с рыбаковыми, сарновыми и прочими. Читал ли ты в «Горизонте» № 12 интервью А. Зиновьева? Этот костромской колхозник, а ныне выдающийся ученый, талантливый писатель сказал: «Сталинская эпоха была страшная эпоха, но и великая, м. б., одна из самых великих эпох человечества. Сталин был злодей и все прочее, но и великий политический деятель. На мой взгляд — величайший политический деятель XX столетия. ...Моя мать работала в колхозе. Я сам там работал, и знаю, что это такое Вместе с тем я оцениваю коллективизацию как выдающееся историч. явление» и т. д. Чтобы сейчас говорить такие вещи, надо иметь большое мужество. И этому мужику, лишенному советского гражданства, мне хочется пожать руку, а не профессорскому сыну И. ША[2] *или книжнику и вралю А. С.*[3] *Да, это*

---

[1] Прочитал бы лучше В. Бушин переписку М. Шолохова со Сталиным о коллективизации на Дону, или воспоминания М. Алексеева «Драчуны», или беловские «Кануны», может быть, тогда и устыдился бы своей иронии.

[2] Имеется в виду И. Шафаревич.

[3] Речь идет о А. Солженицыне.

кажется невероятным, но он до мозга костей книжник. Он и язык себе выдумал, сочинил, выучил по Далю, — даже язык! Писал: «Я всю войну командовал батареей». Во-1-х, не всю, а с весны 43-го, т. е. два самых страшных года войны он не знал. Во-2-х, он командовал батареей, в которой не было ни одной пушки — батареей звуковой разведки. Моя любимая пословица: «У бога всего много».

Вчера я прочитал воспоминания Ходасевича о Горьком в «Знамени» № 5 за прошлый год. Очень рекомендую. Г. предстает с совершенно неожиданной стороны.

Ты считаешь естественным, что не печатаешь мою статью. Нет, это противоестественно, ибо ты упускаешь шанс показать свою редакторскую широту и человеческое благородство. Таких черт репутации тебе не дают ни статья Глушковой, ни ублюдочная статья Гулыги.

Еще замечу. Ты пишешь: «Журналу нужна была статья абсолютно неотразимая по аргументации». Кто-то, кажется, Лихтенберг, сказал: значение поступка порой определяется не его масштабом, а своевременностью. Думаю, это именно тот случай.

В. Бушин.

1.11.90.

* * *

Я-то думал, что мы с Бушиным объяснились — и наш разлад в прошлом. Но оказалось, что все только начинается. Газеты «Правды» и «Советская Россия» в начале 90-х годов несколько раз в статьях подписанных В. Бушиным предъявили мне жестокий идеологический счет. Я вынужден был ответить на все упреки статьей в «Литературной России».

НАШ ВДУМЧИВЫЙ БИОГРАФ

В тридцатых годах поэт Леонид Мартынов написал емкую стихотворную строчку: «ОГПУ наш вдумчивый биограф». ОГПУ давно нету. КГБ развалился. В МБР — «перестройка». ЦРУ перестало интересоваться русски-

ми писателями Отдел кадров и спецотдел при Союзе писателей ликвидированы. Кто же теперь «наш вдумчивый биограф»? Остался только один Владимир Сергеевич Бушин. Говорят, что у него есть подробное досье — толстенные папки с газетными вырезками, письмами, документами, цитатами, собранными за несколько десятилетий не только на всех нынешних политических деятелей, но и на писателей всего бывшего Союза. Некоторые из этих папок я видел собственными глазами, пока мы были в хороших отношениях с Бушиным и захаживали друг к другу в гости.

Оговорюсь сразу. Я всегда читаю статьи Бушина, попадающиеся мне на глаза, хохочу, негодую, печалюсь и считаю его блестящим публицистом, вложившим немало труда и своеобразного таланта в «срывание всех и всяческих масок» с крупнейших демагогов от демократии. Но хочу заметить, что удачи сопутствуют Бушину лишь тогда, когда его саркастический дар прочно опирается на истинные факты и документы. Когда же Бушин сочиняет нечто художественное и дает волю своему раздражению и личным обидам, то становится жаль газетной площади, щедро предоставляемой ему «Правдой» и «Советской Россией».

Неожиданно для меня и для людей, хорошо меня знающих, Бушин в течение последних нескольких месяцев трижды, казалось бы, без всякого повода в «Советской России» и в «Правде» обращался к моему давнишнему выступлению на забытом большинством писателей пленуме Московской писательской организации, который состоялся аж в конце 1972 года. (Бушин пишет — «еще вчера».) Незадолго перед этим пленумом в «Лит. газете» вышла отвратительная статья Александра Яковлева «Против антиисторизма», и главная цель критика сегодня — доказать, что: «Еще вчера, участвуя в идеологическом радении, устроенном с размахом в московской писательской организации вокруг знаменитой своим злобным убожеством статьи А. Яковлева «Против антиисторизма», С. Куняев развивал и конкретизировал идеи заведующего

отделом пропаганды ЦК, доказывая, например, несостоятельность поэзии, «проливающей слезы над обломками старых храмов, убегающей от жизни под сень хат, крытых соломой, под своды церквей и мечетей, за частокол языка; на котором не говорят ни в городе, ни в деревне», а сегодня сам проливает слезы над обломками храмов и мечет эти обломки в бывшего зав. отделом пропаганды» («Правда», 10.03.93 г.). Словом, выходит, что Станислав Куняев, столько лет бывший яковлевским лакеем, осмелел только сейчас, когда его патрон стал частным лицом. Обвинение слишком тяжелое и ядовитое, чтобы я промолчал, но отвечаю, что Бушин в своих выводах допустил вольный или невольный подлог. Ошибка Бушина заключается в том, что он единственную короткую цитату из моего выступления двадцатипятилетней давности привел по изложению материалов пленума, опубликованному в «Лит. России», не заглянув в подлинную стенограмму, хранящуюся в архиве Московской писательской организации.

Я прекрасно помню этот пленум, помню тяжкое впечатление от напечатанной накануне антирусской статьи Яковлева, прочитав которую я понял, что перед нами сильный, опасный и коварный враг, владеющий всеми приемами демагогии. Но бороться с ним тогда было нелегко, и даже не потому, что он сидел в аппарате ЦК. Иезуитство Яковлева заключалось в том, что он, пытаясь сокрушить «русскую идею», цитировал беспомощные строчки многих слабых, начинающих, а то и просто бесталанных русских поэтов патриотического склада, часто провинциальных, часто наивно и однообразно «проливающих слезы над обломками старых храмов». В моей четырехстраничной речи действительно была эта четырехстрочная фраза, единственная попавшая в отчет «Лит. России» и сладострастно цитируемая Бушиным. Понимая, что слабые стихи невозможно защитить от яковлевского сарказма, я произнес ее — и тут же сказал следующие слова: «Легко Александру Николаевичу Яковлеву расправляться с примерами такой художественно неубедительной, слабенькой поэзии, но пусть бы попробовал он поспо-

рить с мощным, живым, талантливым осмыслением тех же картин жизни в поэзии Николая Рубцова. Анатолия Передреева, Анатолия Жигулина, Игоря Шкляревского Владимира Соколова. Я уверен, что спор с такими поэтами А. Яковлеву выиграть бы не удалось».

В заключение я прочитал талантливое стихотворение Шкляревского «Швейцарцы в Могилеве», объясняющее, почему в Могилеве осталось так мало храмов: большинство из них было разрушено во время боев за город:

В нем старины заветной мало,
Зато земля моя горда
Тем, что без боя не сдавала
Свои седые города!

«Что толку плакать над такими руинами, когда ими нужно гордиться». Вот в каком открыто антияковлевском контексте были произнесены злополучные четыре строчки, которыми уже дважды спекулирует Бушин, не находя в своем досье на меня никакого другого «компромата». Конечно же, главные мысли, ради которых я тогда вышел на трибуну, были опущены в изложении журналиста, писавшего отчет, да и не могла себе позволить в то время газета процитировать мою жесткую насмешку над яковлевской концепцией. Вот и процитировали меня так иезуитски, будто бы и я вместе с Оскоцким и Ал. Михайловым поддерживаю партийного идеолога.

Я не виню Бушина. Просто хочу дать ему добрый совет: досье Ваше на меня (а, может быть, и на других) несовершенно. Если уж хотите быть «вдумчивым биографом», то знайте — не всем газетным источникам той эпохи можно верить, а потому перепроверяйте их по стенограммам.

Еще более неумным является предположение Бушина, что Куняев стал антияковлевцем лишь сейчас. Со времен 1972 года я просто жаждал публично раздеть партийного русофоба и его товарищей по кремлевским кабинетам. В 1978 году, когда Бушин сочинял роман с восхва-

лением крупнейшего русофоба Европы Фридриха Энгельса, я распространял по России рукописное «письмо в ЦК» о засилье сионистских сил в средствах массовой информации и в самом идеологическом отделе ЦК, за что меня вскоре «проработала» яковлевская команда — Зимянин, Севрук, Альберт Беляев, Игорь Бугаев — в беляевском кабинете и за что убрали с выборной должности секретаря Московской писательской организации. Я никогда не «разделял» политики партии по национальному вопросу, особенно русскому. Как в это время защищал русскую литературу Бушин, никому не известно. Во всяком случае, на знаменитой дискуссии «Классика и мы» его не было.

В 1989 году, когда Яковлев «достиг высшей власти», став членом Политбюро, я почувствовал всю опасность, от него исходившую, и написал статью «Обслуживающий персонал»— о шефе горбачевской идеологической службы и его клевретах. Несколько месяцев я метался по газетам и журналам — все боялись Яковлева, ставшего всесильным фаворитом Горбачева. Тогда я пришел на заседание секретариата СП РСФСР и буквально заставил секретарей выслушать статью — прочитал ее вслух, потребовал помочь мне, и вскоре ее решился напечатать Николай Дорошенко в «Московском литераторе». Это был первый настоящий удар по Яковлеву, жаль только, что несколько запоздавший. Меня поздравляли многие с отважным по тем временам поступком, поздравлял и Бушин. Зачем же сейчас тень на плетень наводить, Владимир Сергеевич?

Вам мало было одного ложного обвинения в придуманном Вами моем «угодничестве» перед Яковлевым, так Вы в той же «Правде» желчно заметили, что как только Федор Бурлацкий, бывший редактор «Лит. газеты», убрал портрет Горького с первой полосы, «так тотчас по пятам великого демократа кинулся писатель и редактор журнала К. и тоже смахнул портрет с титульного листа своего журнала». Чего же так стыдливо на этот раз Вы скрыли мою фамилию под прозрачным инициалом? Или, может быть, работникам «Правды» стало неудобно дважды в месяц клеймить мою скромную персону? Да,

я снял профиль Горького с титульного листа «Нашего современника», Почему? Объясняю.

Во-первых, выяснилось, что журнал не был основан Горьким. Горький основал альманах «Год 1933», который очень условно, для того чтобы повысить статус и возраст «Нашего современника», был объявлен как бы его прародителем. Для пущего престижа. А «Наш современник» родился в 1956 г.

Во-вторых, и это главное. К 1989 году, изучая объективную историю советской литературы, я пришел к выводу, что Горький при всем своем писательском таланте был чрезвычайно непоследовательным человеком, менявшим до неприличия быстро свои гражданские и литературные взгляды. Словом, когда я задумался обо всем этом, то мне стало ясно: в борьбе за завтрашнее возрождение России Максим Горький символом и знаменем журнала «Наш современник» быть не может. Нужно чистое, легендарное имя, не запачканное вчерашней политической грязью, нужен символ безо всяких сомнений отражающий неизбежный подъем русского патриотизма. Подумали все вместе — члены редколлегии, крупнейшие русские писатели — Белов, Распутин, Солоухин, Бондарев, Юрий Кузнецов, Кожинов — и выбрали новую эмблему журнала, силуэт монумента Минину и Пожарскому И заменили Мининым и Пожарским профиль Алексея Максимовича. И правильно сделали, без всякой указки Федора Бурлацкого. А ныне без этого строгого силуэта на обложке журнал «Наш современник» и представить себе невозможно.

В заключение хочется спросить, а почему же Бушин с таким упорным раздражением за последние два года хает журнал и его главного редактора?

Я привел далеко не все примеры его фанатизма. Но, к сожалению, есть причины более мелкие и более личные. Помнится, что на первых порах моего редакторства я отказал Бушину в публикации весьма поверхностного и потому неинтересного памфлета о Евгении Евтушенко. Я не уважаю этого поэта-хамелеона и не «считаю его коммунистом», несмотря на его заклинания и требова-

ния («Считайте меня коммунистом!»), но если бы статья Бушина была блестящей и свежей, как его лучшие памфлеты! Автор, видимо, думает, что из-под его пера выходят только шедевры! Увы...

И самое последнее. Бушин сейчас вошел в ЦК возрожденной компартии России. Не дай бог, чтобы он со своей инквизиторской хваткой, со своим начетничеством, с пухлыми томами досье станет завтра ее идеологом! Что делать тогда мне, рядовому члену партии, под недремлющим его оком? О каком возрождении партии может тогда идти речь? А симптомы, и довольно зловещие, к тому, что Бушин будет беспощаден к инакомыслящим коммунистам, есть. Несколько раз Бушин злорадно и торжествующе уличал Станислава Куняева в том, что он, воспользовавшись горбачевскими демократическими свободами, впал в религиозность, чего он, мол, раньше из-за страха перед КПСС не делал. Объясняю. Бушин просто не читал моих книжек, изданных в 60—70-е годы. Иначе бы он знал, что на моей родине — в Калуге — до революции возвышалось сорок церквей. С детства я их все (за исключением разрушенных) знаю «в лицо». Многие из них, закрытые, полуразваленные и нашими, и немецкими варварами, высятся над городом до сих пор. Они не только часть моего города — они часть моей судьбы, впечатления моего детства, юности, всей жизни. Я помню, как трогали наши юные души торжественные службы в родной моей церкви Святого Георгия, как волновали мое воображение величественные остовы Оптинского и Шамординского монастырей, ныне восстанавливающихся, как я любил бродить вокруг грандиозной колокольни в Тихоновой Пустыни. Естественным образом эти картины, разговоры бабки и ее товарок, красота темных икон и вечно повторяющиеся праздники Благовещенья, Рождества и Пасхи требовали осмысления, становились чистейшей частью моего поэтического мира с той поры, как я себя помню. Начиная с конца пятидесятых годов в каждой моей книге щедрая дань была отдана этим мыслям, чувствам, картинам, воспоминаниям. Так что не надо бы врать, что я стал

слагать «стихотворные псалмы», как Бушин презрительно выражается, лишь тогда, когда мне это «разрешили» Горбачев и Яковлев. Ортодоксальной марксистской натуре Бушина непонятны подобные чувства, но тогда не следует влезать в чужую душу и топтаться в ней.

Правда, Бушин не чужд наитиям свыше, похожим на религиозные озарения. Он пишет в «Правде» от 30.03.93 года: «И тут мне был голос самого Горького», «и тут мне был голос, кажется, старухи Изергиль». При такой спиритической способности критика общаться с потусторонними мирами не исключено, что завтра он услышит «голос» старухи Фурцевой или родного ему по взглядам на Церковь Емельяна Ярославского, а то глядишь, и Николай Бухарин навестит критика в обнимку с Андреем Ждановым и поощрят его партийную волю для воспитания непоследовательных и капризных баловней музы.

Вот как покрикивали на них три идеолога трех наших эпох, толкая поэтов и писателей в атеистическую казарму:

«Причудливая смесь из «кобелей» «икон» «жарких свечей», господа бога — вот что такое есенинщина» (Николай Бухарин. «Злые заметки». 1926 г.)

«Во многих стихах мы встречаемся с воспеванием церквей и икон, а это уже вопрос далеко не поэтический» (Александр Яковлев. «Против антиисторизма». 1972 г.)

«Вот большой цикл стихов одного известного поэта. Что ни строчка, то «мощи святого Амвросия». «Оптинский храм», «голос святости»: «К тому же слагает стихотворные псалмы о святых мощах» (В. Бушин. Из статей в «Правде» и «Советской России» 1991—1993 гг.)

Православные крестятся троеперстием. Старообрядцы верны двуперстию. Бушин строит свои отношения при помощи одного пальца — перста указующего. Дайте ему отдохнуть, Вашему бедному персту, и очистите от лишнего мусора, Владимир Сергеевич, Ваши уникальные досье, которые Вы собирали всю Вашу долгую писательскую жизнь.

Раньше таких людей, как Вы, называли просто и скромно — «совесть партии».

Можно было бы не тратить ни сил, ни времени на этот ответ, но ведь в наше время «клевета все потрясает». А тем более — подпитанная фанатической верой в какую-то свою особенную правоту

«Литературная Россия» № 18—19, 1993 г.

* * *

Наша рукопашная схватка то затихала, то разгоралась вновь...

УДОСТОВЕРЕНИЕ ГЕНИЯ, или ПСИХ СО СПРАВКОЙ

Письмо редактору «Дней литературы» В. Бондаренко

Дорогой Володя Бондаренко! Ну что ты ко мне пристал, как банный лист: напиши да напиши в газету о книге Солженицына «Двести лет вместе». Ну зачем мне о ней писать? Опять погружаться в выгребную яму истории — в еврейский вопрос, разбираться в его трагедии, в его истерике, в его фарсе, в его демагогии? Надоело! Удивляюсь, зачем Солженицын взялся за эту неблагодарную работу, с пафосом первооткрывателя выставляя себя чуть ли не единственным защитником русской исторической идеи: «Я не терял надежды, что прежде меня найдется автор...» — пишет он. Намекает как бы, что не нашлось, приходится ему самому, нашему богатырю, подымать тягу земную. Кстати, этим автором он мог стать еще тридцать с лишним лет тому назад, когда, как сообщали многие газеты, уже была им сотворена книга о пресловутом «вопросе», но, понимая, видимо, что с репутацией автора подобной книги на Запад уезжать нельзя, Александр Исаевич не решился тогда публиковать ее или даже выпустить рукопись из рук. Понимал, что такого западные люди ему не простят. Однако все тайное становится явным, и каким-то образом книга недавно вышла в Донецке, и, право, написана она куда более страстно и талантливо, нежели нарочито информативные «Двести лет вместе».

А серьезно говоря, не до Солженицына мне сейчас. Тут со своими патриотами никак не могу закончить разборки. Ты знаешь, Володя, что Бушин в еженедельнике «Патриот» в одиннадцати (!) номерах опубликовал целую книгу, «антигероями» которой кроме Солженицына оказались В. Распутин, В. Ганичев, В. Кожинов, А. Бобров, В. Кожемяко, ну и мы с тобой, конечно. Отвечать Бушину — дело муторное, но куда деваться, если мы все вымазаны грязью, замешанной на его слюне? Конечно, он человек, ну как бы это сказать помягче, у которого крыша поехала. Думаю, что во время такого состояния он сам не всегда понимает, что говорит. Ну вот, например, что сочинил Бушин обо мне и о моей книге «Поэзия. Судьба. Россия»:

«Тут перед нами уже не просто партрасстрига и лжекоммунист, прикрывшийся партбилетом, а прихвостнень ельцинского режима, дрожащий за его судьбу, как до сих пор дрожат Явлинский, Немцов, Новодворская при виде победы или просто успеха коммунистов в Туле, в Молдавии, в Нижнем Новгороде, в Иркутске, наконец, в Польше... Есть основания думать, что вместе с ними синхронно дрожит и наш великий борец за русскую идею...»[1]*. Володя, ты же помнишь, что я разорвал в августе 1991-го распоряжение Музыкантского о закрытии Союза писателей России, заявил в те дни в «Независимой газете», что я поддерживаю ГКЧП и что подписал бы «Слово к народу». Не знаю, где в эти дни был и что говорил Бушин, и как он читал книгу, где обо всем этом рассказано.*

По-моему, Володя, как это ни смешно, причина бушинской истерики весьма банальна. Он — завистник. Надо

---

[1] На протяжении 17 лет (с 1989 по 2006) моего редакторства в «Нашем современнике» в нем непрерывно публиковались все самые искренние и бесстрашные борцы с ельцинским режимом: и писатели, и политики, и патриоты-коммунисты, и патриоты-националисты — В. Белов, В. Распутин, Г. Зюганов, Ю. Кузнецов, В. Алкснис, С. Кара-Мурза, Л. Ивашов, А. Проханов, Э. Лимонов, А. Казинцев, Т. Глушкова, С. Глазьев, М. Лобанов и многие другие. Да и сам Бушин за это время опубликовал в журнале более десятка статей. Как же можно ради лживого «красного словца» забывать такое?

же — перелопатил все библиографические сборники и установил, что с 1960 по 1982 год я издал двадцать поэтических книжек. «Сколько книг навыпускал!» — в отчаянье вскричал Бушин. «Каждый год книга!» — и со скрежетом зубовным сокрушенно добавил: «Книги Куняева издавались не только в родной Калуге и в Москве, но еще и в Иркутске, Тбилиси, Душанбе, Фрунзе... Вся держава хотела читать поэта-авантюриста».

Что правда, то правда. Любители поэзии знали и читали мои стихи по всей стране. Писали мне письма. Критики спорили о моих стихах. Я жил полнокровной писательской жизнью. И я горжусь этим. А вот Бушин был никому не нужен, о чем он сам жалуется с глуповатой откровенностью:

«Просил В. Ганичева издать мою книгу в «Роман-газете» — обещал, но прошло уже двенадцать лет; на протяжении 35 доперестроечных лет предлагал статьи и рецензии «Правде», «Новому миру», «Вопросам литературы». «Знамени», «Москве», «Нашему современнику», «Северу», «Байкалу», «Неману», «Литературной Грузии» — напечатали две рецензии; за последние 10—15 лет просил издательства «Современник», «Воениздат», «Советская Россия» издать книги моих критических работ — не издали... И был период с 1979 года по 1987-й, когда редактора так мне «мешали», что за эти восемь лет — вся творческая жизнь Добролюбова! — я не смог напечатать ни одной новой строки». («Патриот» № 45/2000 г.)

Добролюбов после таких рыданий, наверное, в гробу перевернулся. И даже мне. Володя, жалко стало злопыхателя: оказывается, в «Нашем современнике» он начал только при Ст. Куняеве печататься. Но что делать! Литература — дело суровое. Когда бесталанный неудачник тщетно околачивал пороги стольких редакций — в эти же годы выходили блистательные статьи и книги Кожинова, Палиевского, Лобанова, Селезнева, Олега Михайлова, проза Распутина, Белова, «Драчуны» Алексеева... Нелегко было им публиковаться, но истин-

ный талант в те времена не заметить и замолчать уже было невозможно.

Значит, не своим делом занимался наш друг, если самые разные журналы брезговали его услугами. Конечно, от этого озлобиться на весь мир можно!

А то, что Ганичев не издал его в роман-газете («Обещал, но прошло уже двенадцать лет...»), так это вполне естественно, потому что сколько можно переиздавать одно и то же! Вот выписка об изданиях книг Бушина из библиографического справочника «Писатели Москвы»:

«Ничего, кроме всей жизни»: страницы жизни Карла Маркса и Фридриха Энгельса, рассказы. М. 1971 г.», «Его назовут генералом», — страницы жизни Фридриха Энгельса, повесть, М. 1978 г., «Эоловы арфы», роман в новеллах, М. 1982 г.» От себя добавлю — «Арфы» — тоже об Энгельсе. Вот и все. Кстати, когда Бушин в 1982 году в очередной раз переиздал «Энгельса», он потребовал от директора издательства «Современник», Г. Гусева, чтобы тот заплатил ему не 40 или 60 процентов гонорара, как полагалось по закону за переиздание, а все 100, как за новое произведение. Решил, что, коль об основоположнике, то директор издательства дрогнет. А тот уперся. Тогда шантажист стал сочинять гневные жалобы в ЦК КПСС — как так, роман о классике марксизма, нужный народу, и вдруг всего лишь 40 процентов! Цековские чиновники советовали Гусеву подумать, но он был тверд. Словом, позорная была история, лжекоммунистическая... Вот каков у тебя, Володя, тезка. Славы ищет до сих пор. Надеется, что Ганичев все-таки переиздаст «Энгельса» пятым изданием.

Раньше, защищая свою честь, я частенько прибегал к пощечинам. Быстро и хорошо. И никаких ответов печатать не надо. Но как вспомню, что у бедолаги за душой только три или четыре издания «Энгельса», что талантом Бог обидел! Вспомню свою строку «давайте спокойной душою прощать талантливость и бесталанность», есенинское: «И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове»— и руки опускаются.

После того как осенью 2001 года в редакции журнала мы с Бушиным окончательно разругались, он вышел на Цветной бульвар «и — как пишет сам, — нетвердой от возбуждения походкой направился в метро». Но тут его, заподозрив, что человек пьян, задержал милиционер и попросил предъявить документы. Бушин полез в карман и — дальше предоставляю слово самому задержанному: «... предъявил «Удостоверение гения», которое купил у одного предприимчивого шутника на Арбате. А там все чин-чинарем: печать какая-то была, а старую фотографию сам наклеил и «расписался за Ганичева... «Что ж, сказал милиционер, — гения штрафовать неудобно... Можете быть свободны...» («Патриот» № 34/2001 год).

В послевоенные времена таких «гениев с удостоверениями» частенько можно было встретить на калужском базаре. Только называли их тогда проще: «псих со справкой». Когда разговор заходил о них, нормальные граждане крутили пальцами у виска, а стражи порядка, памятуя об их особенности, относились к ним снисходительно, как отнесся к Бушину сотрудник милиции возле Цветного бульвара. Вот каков наш гений — врет и не краснеет, чужие подписи подделывает, про Федю Сухова пишет, что тот «не отличался стабильностью психики»... А ты, Володя, говоришь «Солженицын». Наш много круче!»

«День литературы» № 13, 2001.

* * *

Вот еще одно мое письмо В. Бушину после цикла его статей, опубликованных в еженедельнике «Патриот» в 2000—2001 годах, посвященных книге моих воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия».

Бушин, друг сердечный!

Прочитал очередное продолжение твоего сочинения и понял: не сердиться мне надо, а радоваться. Наконец-то у меня появился личный дотошный биограф, который

живет и дышит каждым моим словом, каждым фактом моей писательской судьбы. Спасибо тебе за это и еще за то, что после каждого очередного номера «Патриота» поток желающих приобрести мой двухтомник заметно увеличивается. Уже продано с весны более трех тысяч комплектов. Думаю, что потребуется второй тираж.

Дабы мысль твоя не ослабевала, а перо двигалось дальше, посылаю тебе несколько свежих читательских откликов на мою книгу, думаю, что их тоже следует подвергнуть твоему тщательному исследованию, не исключаю, что со временем ты напишешь и издашь целую книгу, посвященную моему творчеству и я готов всячески содействовать тебе в этом.

Только вот ты зря издеваешься над «блаженным» Федором Суховым. Понимаешь ли, Володя. Федор прошел всю войну командиром батареи противотанковых орудий, то есть смертником и, наверное, много немцев отправил на тот свет. Так что он имел право после войны написать любые стихи об этом, в том числе и о том, что «убивал обманутого брата». Ну, ты понимаешь в каком смысле, в том, что мы все «от Адама и Евы». А Симонов с Эренбургом вместо того, чтобы встать в один ряд с такими, как Федор, и защитить свою Родину, как солдаты, лишь покрикивали да приказывали из безопасных штабных укрытий да из редакций военных газет: «Убей его! Убей его». А Сухов и без их науськиваний знал, что их надо убивать, что и делал. Я понимаю, почему он назвал их в сердцах «преступниками»: вот за эту подлую манеру взывать к убийству и возмездию, но так, чтобы самим не рисковать своей жизнью. А еще назвал и потому, что даже диктатор Сталин осадил в конце войны Эренбурга, распоясавшегося в своих статьях и призывавшего в приступе ветхозаветной ярости убивать «мерзких немецких самок» на германской земле... так что все сложнее было, Володя, нежели ты думаешь.

Ст. Куняев

5.12.2001 г.

* * *

То, что глумливая ярость Бушина в его сочинениях, посвященных мне, — это примитивная зависть, я окончательно понял из его письма, полученного по почте в начале 2002 года. Письмо — громадное — на десяти страницах, поэтому процитирую лишь самые красноречивые отрывки, подтверждающие мою мысль. Чтобы успокоить и привести в чувство распалившегося до предела завистника, я послал ему несколько читательских писем и газет, в которых авторы положительно оценивали мои воспоминания.

Посылая, думал: он же понимает, что сейчас никаких откликов на книгу, что иногда делалось в советское время, организовать (особенно в далекой провинции) невозможно, что все эти письма и статьи из местных газет — это стихийные, искренние читательские чувства. Почитает эти отклики Володя, и глядишь, вдруг поймет, что если в наше нечитающее время люди находят силы и время написать письма, а местные журналисты печатать свои рецензии в областных газетах, то, наверное, книга «Поэзия. Судьба. Россия» стоит того. Наверное, это не случайно, глядишь — остынет и осознает свою неправоту.

Но не на того напал. И вскоре получил от жестоковыйного и «упертого до предела» — ультимативный ответ: Наплевать ему было на читателей:

«Всего ты прислал мне в связи с моей статьей в «Патриоте» около дюжины конвертов, в которых оказалось 12 восторженных читательских писем объемом 4—5 страниц. 4 газеты с великими похвалами тебе порой на две полосы... Выходит, что на каждый фрагмент моей статьи — почти три твоих инъекции. Лихо! Но что это — избыток творческой энергии или «крыша поехала»...

И дальше пошел поток проклятий мне, порожденный черной завистью: «*Тебе удалось написать огромную книгу безо всяких препятствий* (а то, что я готовился к ее написанию всю жизнь — об этом бедный Зоил даже и не по-

думал. — *Ст. К.*), *даже под восторженные клики напечатать ее в своем журнале, а потом издали двухтомником с ворохом больше, чем у Евтушенки своих портретов... Уже само по себе такая книга — редкая в наши дни удача и безмерное моральное удовлетворение. А тут же — и материальное! Да притом опять весьма существенное... Как сказал мне Ю. Бондарев, ты получил в собственные патриотические руки отменную премию в размере то ли 8, то ли 10 тысяч колониальных долларов. Отменный довесок к премии за «Есенина», который к тому же опять переиздан. А ведь и воспоминания уже переизданы, как сообщила «Лит. Россия». Мы с тобой литературные антиподы, и два противоположных не только политических, но и человеческих образа. Мы прожили жизнь в разных литературных мирах, на разных планетах. Вот почему эта схватка такая ожесточенная»*[1].

Да, действительно мы прожили жизнь «*в разных литературных мирах*». Когда я учился в школе в провинциальной Калуге, я не был знаком ни с одним писателем, печатал первые стишки только в школьной стенгазете. А Бушин в это время был уже столичной штучкой. Учился в послевоенное время в Москве, сразу в двух институтах — юридическом и знаменитом Литературном имени Горького. Его друзьями, однокашниками по Литинституту и товарищами по фронтовому братству были многие писатели, в скором времени ставшие известными и даже знаменитыми — Ю. Бондарев, Е. Исаев, Н. Старшинов, М. Алексеев, С. Наровчатов, С. Викулов, М. Львов, Ю. Прокушев, А. Никонов, С. Баруздин и многие-многие другие. Все фронтовики, все русские, все патриоты и все при деле: кто возглавляет журнал, кто из-

---

[1] Без комментария не обойтись. Двухтомник «Поэзия. Судьба. Россия» я с великим трудом издал за собственный счет. Большую Литературную премию кроме меня в 2001 году получили литературовед Николай Скатов и якутский прозаик Н. Лугинов. А то, что наша с сыном книга «Есенин» (серии ЖЗЛ) была переиздана, так патриотам радоваться бы по этому поводу, а не злобствовать.

дательство, кто редакцию поэзии, кто отдел прозы, кто состоит в редсовете, кто — в руководстве Союза писателей РСФСР, или Союза писателей Москвы, или даже Союза писателей СССР, а кто и бери выше — в руководстве Российского Госкомитета по печати!

Как же они так своего родного однокашника, фронтовика, орденоносца, выпускника Лит. института столько лет в черном теле держали? Всего лишь две рецензии за несколько доперестроечных десятилетий опубликовал, за 15 лет ни одной критической книги! С 1979 по 1987 год — «*не смог напечатать ни одной новой строки!*. И это при любимой Бушиным советской власти, когда каждая рукопись тщательно рассматривалась, достойные издания ставились в план и через 2—3 года выходили в свет. Взять, к примеру, меня. Я же по сравнению с Бушиным, выросшим в московском литературном истеблишменте, выученным лучшими преподавателями Литинститута — «лимита», самоучка. После трехгодичной работы в далеком Тайшете вернулся сначала в родную Калугу с рукописью стихов, пришел в местное издательство, смотрю, сидит там фронтовик, поэт Николай Панченко. Отдаю ему рукопись. Через неделю встречаемся. Панченко говорит: «молодец, книгу уже поставили в план, я сам буду редактором. Издадим через полгода». Как на крыльях прилетаю в Москву. Звоню Слуцкому[1], он был тогда моим любимым поэтом. Встречаемся. Слуцкий прочитал рукопись и отвел меня в «Советский писатель» к Егору Исаеву. Егор Исаев прочитал и говорит: «Ставим в план». Через год у меня вышла вторая книга «Звено». Да, действительно разные у нас судьбы с Бушиным. Даже не знаю, как объяснить, что меня, человека с улицы, так радушно принимали везде, а Бушина все его литинститутские товарищи отфутболивали. Одна причина могла тому быть. В те 60—70-е годы книжечку поэзии или прозы даже средних достоинств издать было нетрудно. Ну разве что лишних год-два подождать приходилось. Значит, все, что писал и предлагал к

[1] Телефон узнал в «Мосгорсправке».

изданию Владимир Сергеевич было ниже средних достоинств. Или без достоинств вообще. Могу предположить, что ему не дано было стать ни прозаиком, ни поэтом. А нашел он себя и свое литературное призвание лишь на старости лет, в годы перестройки, как яростного фельетониста, памфлетиста, газетного сатирика. Словом, «не нужно мне звенящей лиры, вручи мне ювеналов бич»... И от такого счастья и неожиданно обретенной, долгожданной популярности голова у Владимира Сергеевича закружилась. Вот и все.

Позвонил мне в феврале месяце 2001 года Володя Бушин и говорит:

— Поздравляю тебя, Станислав с публикацией в журнале дневников твоей матери. Она — настоящий советский человек. Не то что ты. Это — лучшая глава из твоих воспоминаний!

На душе у меня, несмотря на оговорку, тепло стало. Угодить самому Бушину! Чтобы он похвалил! Это великая радость для каждого из нас.

А через неделю я от него же получаю очередной приятный сюрприз. Публикует он статью в газете «Завтра» № 9 о покойном Вадиме Кожинове и похвально отзывается о работе моего сына Сергея про Павла Васильева («Русский беркут»), цитирует ее, называет «содержательной». А я так волновался, принимая решение о публикации. Но Бушин похвалил и от души отлегло. Слава богу, опять удача!

Но, как говорится, «недолго музыка играла». Прошло еще две недели, и Володя Бушин резко сменил милость на гнев. В трех апрельских номерах еженедельника «Патриот» он напечатал огромную статью «Как на масленой неделе я гостей ждал», в которой мишенями его язвительного сарказма стали Валентин Распутин, Владимир Бондаренко, Михаил Назаров, Владимир Крупин, Александр Бобров, Виктор Кожемяко. Словом, чуть ли не добрая половина патриотического фланга нынешней русской литературы. Я не хочу разбираться в том, где он прав, где не прав, говоря о них, все они люди взрослые, захотят — ответят.

С Владимиром Сергеевичем шутки плохи, не до жиру, быть бы живу, себя бы только защитить... А защищать есть от чего. Вот что пишет он, лишь недавно ободрительно похваливший мои воспоминания, после этого приступа альтруизма:

«Главный редактор печатает в пятнадцати номерах свои воспоминания, перемежая их главами сочинения своего родного сына, а также воспоминаниями родной матушки. И еще не окончилась публикация, как уже одиннадцать полос журнала отводятся для хора из шестнадцати голосов, поющих автору аллилую под заголовком «Хочется низко поклониться». И тут же Александр Бобров возглашает в «Советской России»: «Духовный подвиг!» Ну в чем тут подвиг?» — «...Может автор писал свои воспоминания, как писал «Город Солнца» Кампанелла, сидя 27 лет в темнице? Или как Некрасов свои первые стихи — в пучине нищеты и голода? Или как Николай Островский — прикованный болезнью к постели? Или, наконец, как Лермонтову за «Смерть поэта», грозила ему ссылка под чеченские пули?.. Да ничего подобного! Здоровый сытый мужик в тепле и холе писал себе и писал. И когда хотел, тогда и печатал в своем журнале безо всякого постороннего вмешательства в текст. А тут еще и премию какую-то с ходу огреб. Подвиг!»...

Да, недолгой была моя радость от недавнего признания Владимиром Сергеевичем! Не выдержало его сердце ретивое...

Вконец удрученный, сел я писать ему жалостное письмо обиженного человека:

«Дорогой Володя! Вот ты пишешь, что я «здоровый сытый мужик». А ты что, мой личный врач? Ты в мою медицинскую карточку заглядывал? Может быть, ты знаешь, какие операции я перенес, на каких таблетках живу? Или ты навещал меня в кардиологическом центре, где в 1998 году я лежал с тяжелейшим приступом стенокардии, и врачи спорили делать ли мне операцию на сердце или погодить, где, кстати, я и начал в больничной пала-

те писать свои воспоминания? На всякий случай. Мало ли что... Может быть, ты всегда бываешь рядом со мной, когда мне приходится вызывать «скорую» или когда меня в обморочном состоянии увозили в больницу? А ты пишешь «здоровый мужик»! И не стыдно? Недавно пришел ты в редакцию, чтобы взять майский номер журнала со своей статьей о Радзинском, и когда я упрекнул тебя за слова о «здоровом мужике»— в ярости закричал: «Но ты же чемпион Калуги по плаванию!» Володя, окстись, чемпионом я был в 1951 году, полвека назад, с тех пор столько суперменов и Олимпийских чемпионов померло... Ты тогда ушел из редакции, а я расстроенный вконец подумал: «Ну вот дали только что Бушину премию им. Шолохова. Я рад за него и никогда не скажу, что он ее «огреб»... А может быть, поразила меня мысль, все дело в том, что он не литературный критик, а просто литературный хам? Или даже «окололитературный?» Подумал и как-то на душе легче стало.

А что же ты так яростно, Володя, набросился на Сашу Боброва? Ну назвал он книгу «Поэзия. Судьба. Россия» литературным подвигом. Слава богу. Бобров не сравнил в отличие от тебя мою скромную судьбу с судьбой Кампанелы или Николая Островского, может быть, в избытке дружеских чувств чуть-чуть переборщил в эпитетах, но зачем же тебе так неистовствовать? В конце мая в газете «Российский литератор» вышла большая статья Михаила Чванова о моем двухтомнике и называется она «Три подвига Станислава Куняева». Не «один», как у Боброва, а целых «три». Ну что ты теперь будешь делать — проклинать Мишу Чванова, хорошего писателя, русского патриота из города Уфы? Отравлять свою душу завистью? Или, наконец, порадуешься если не «подвигу», то хотя бы успеху собрата по литературе. А не дай бог о моих воспоминаниях еще несколько статей появятся и на каждую из них, тебе придется отзываться во гневе? Да побереги здоровье! Мне жалко тебя, Володя, твой незаурядный дар полемиста и темперамент гражданина. Ты пишешь, что в «Нашем современнике» было аж шестнадцать отзывов (в подборке из 50 читательских писем)

на мою книгу («хор» из шестнадцати голосов. Поющих автору аллилуйю»)... А может быть, сердце твое свербит от ревности, что появляются книги в наше «не читающее время», которые все-таки находят своего читателя? Эти отзывы, Володя, интересны в первую очередь не тем, что они о книге главного редактора, а тем, что в них проявляется облик, характер, сознание современного читателя. Каков он? Письма отвечают: «Выжил. Не сдался, не превратился в рыночную пыль. Сопротивляется. Понимает. Живет надеждой на победу».

Вот что интересовало журнал в первую очередь, когда мы печатали эти письма, а не «аллилуйщина». Умного читателя, Володя, надо уважать и ценить и поощрять. Особенно в наше время. Кстати, опубликованных писем о моей книге могло быть много больше, чем шестнадцать (как все точно ты подсчитал — «пятнадцать номеров», «одиннадцать полос», «шестнадцать откликов» — чистый бухгалтер!), поскольку журнал получил более 300 положительных откликов на «Воспоминания и размышления». Однако, жалея твою ранимую психику мы напечатали всего лишь малую толику из этого моря писем. Надо все-таки в условиях информационной блокады журналу демонстрировать, что несмотря ни на что нас читают и любят.

Вот и все, Володя. Кто старое помянет тому глаз вон. И ты можешь мне это сказать, но и я тебе. Я один раз в 1993 году дал тебе в «Лит. России» резкую отповедь в статье «Наш вдумчивый биограф». За передержки, за истерическую демагогию, за недобросовестное цитирование. Но тебе неймется. Урок не пошел впрок. Видимо раны зажили... Что же касается твоих упреков за публикацию журналом в 1990 году Солженицына, то «Новый мир» публиковал чуть ли не полное собрание его сочинений, а «Молодая гвардия» не печатала ни строки, воюя с ним. А теперь и у «Молодой гвардии», и у «Нового мира» читателей значительно меньше, чем у «Нашего современника», и «Новому миру» не помогла любовь к Солженицыну, и «Молодой гвардии» не пошла впрок ненависть к нему. Таковы главные итоги этого десятилетия. Подумай по-

чему. Однако все равно поздравляю тебя с публикацией в «Нашем современнике» замечательной статьи о Радзинском. Я печатаю тебя, когда ты того достоин. Ради дела. Так же, как ради дела печатал Солженицына в 1990 году... Не злобствуй.

Твой Ст. Куняев

15 июня. 2001 года.

* * *

В последние 10—12 лет мы продолжали нашу полемику в различных изданиях, в личной переписке, и в телефонной перебранке. В одной из такого рода статей, опубликованной в еженедельнике «Патриот», Бушин писал: «*Я сказал немало язвительных слов, но они же все правдивы и потому не могут считаться оскорблениями*». И вот в издательстве «Алгоритм» осенью 2006 года вышла книга Бушина («пламенного критика и публициста, известного своей бескомпромиссностью» — как сказано на обложке») с завлекающим названием «Огонь по своим»... «Язвительных слов» там много, но давайте посмотрим «правдивы» ли они...

Я не буду говорить о мировоззренческих спорных оценках и толкованиях в работах Бушина. Гораздо полезнее для дела показать, что его саркастический, экзальтированный стиль изобилует фактическими ошибками, подтасовками, недостоверными сведениями, а порой и просто клеветническими измышлениями. Поскольку самая объемная глава в книге посвящена мне — я без труда их обнаружил и с огорчением подумал: «Если он обо мне нагромоздил столько выдумок и неправды, то, значит, и о других позволяет себе то же самое. Значит, и тем работам, которые я читал с интересом, тоже верить нельзя...»

Бушин, желая во что бы то ни стало доказать, что Куняев при советской власти на фоне того, как других литераторов преследовали, был сверхпреуспевающим дельцом, издававшим книгу за книгой, пишет:

«В 1965 году, когда, скажем, Синявский был арестован, Куняев отмечал пятую годовщину пребывания в КПСС и выход десятой по счету своей книжечки» («Огонь по своим», с. 284. Далее все сноски сделаны по этому изданию).

Врет Бушин. К тому времени у меня вышли лишь две книги стихов: «Землепроходцы», 1960 (г. Калуга), и «Звено», 1962 г. («Советский писатель»). А при чем здесь Синявский? Для красного словца? Чтобы оттенить на фоне его ареста литературную «карьеру» С. Куняева? Какая дешевая демагогия...

«В 1967 году, когда, допустим, Бородин получил пять лет лагерей строгого режима, Куняев отмечал выход пятнадцатой книги» (с. 284, там же).

Опять брехня. К двум предыдущим книгам у меня прибавилась за эти два года еще лишь одна: «Метель заходит в город». 1966 г.

А как выход этой книжки связан с арестом Бородина? Видимо, наш лживый болтун решил поглумиться и над Бородиным, и надо мной. Но глупо у него все получилось.

«В 1974 году, когда Бородин радовался обретенной свободе, а исключенный из Союза писателей Максимов сушил сухари, собираясь на Запад, Куняев стал секретарем Союза писателей...» (там же, стр. 284). Опять мелкая ложь. В секретари, да и не Союза писателей, а Московской организации СП РСФСР, меня избрали не в 1974 году, а в 1977 году. Что же касается имен Максимова и Бородина, то высокопарный пафос автора заставляет вспомнить пословицу: «в огороде бузина, а в Киеве дядька».

Но фельетонист окончательно входит в раж:

«В 1979 году, когда меня Баруздин и Оскоцкий вышибли из «Дружбы народов», Куняев отмечал в «Национале» выход своего «Избранного» и получение ордена «Знак Почета» (там же, с. 285).

Бедный закомплексованный клеветник! Даже такую микроскопическую ложь (про «Националь») ему приходится придумывать, чтобы заодно сообщить миру, что он тоже подвергался гонениям, подобно Бородину и

Максимову! А получение ордена «Знак Почета» я, конечно, отпраздновал. Тут он прав. Но не в «Национале»... И не в 1979-м, а в 1980 году.

«В 1983 году Куняев обмывал в ЦДЛ выход двадцатой книги...» (там же, стр. 285). Во, какой дотошный биограф! В НКВД бы ему служить! Пришлось мне тщательно пересчитывать: к 1983 году книг у меня вышло порядочно, но не 20, а всего лишь 12. Опять соврал Бушин.

По-хлестаковски врет он, когда пишет, что я *«лет десять был рабочим секретарем Союза писателей»* (стр. 182). Все хочет намекнуть, как, мол, Куняев за кресло держался. На самом деле рабочим секретарем Московской писательской организации я был с 1977-го по 1980 год, и меня убрали с этой должности за выступление на дискуссии «Классика и мы» и за «Письмо в ЦК КПСС по поводу альманаха «Метрополь».

А вот еще один, уже более серьезный пример бушинского вранья:

«В двух томах мемуаров почти не упоминает никого из товарищей по работе, всюду он и только он! Всюду его личные успехи и персональные победы» (там же, с. 289).

В трех томах моих воспоминаний 36 глав. Из них 18 персонально посвящены: Анатолию Передрееву, Борису Слуцкому, Николаю Рубцову, охотнику Степану Фаркову, геологу Эрнсту Портнягину, Ярославу Смелякову, Виктору Астафьеву, нескольким поэтам из республик, а еще Шкляревскому, Межирову, Евтушенко, композитору Георгию Свиридову, Федору Сухову, Глушковой, кемеровскому поэту Николаю Колмогорову, моим калужским друзьям и т. д.

Но зачем же так нагло и глупо врать-то?

Желая уличить меня в деляческих интригах, Бушин пишет:

«Хочет издать в Калуге первую книгу. Естественно, в издательстве есть свои редакторы, но дебютант настаивает на привлечении редактора со стороны, из Москвы. Кого? Того же еврея Слуцкого. Книга вышла» (там же, с. 278).

И опять мелкий лжец садится в лужу. Книга действительно вышла в Калуге. Но Слуцкий не имел к ней никакого отношения. Редактировал ее поэт Николай Панченко, который в 1960 году работал в Калужском издательстве. Его фамилия и стоит в выходных данных моей первой книги «Землепроходцы».

А вот что еще сочинил Бушин о моей книге «Поэзия. Судьба. Россия», найдя в ней такие фразы (они выделены жирным шрифтом):

«После тридцати лет пребывания в партии он (это обо мне. — *Ст. К.*) ликует в 1991 году: **«На КПСС надели намордник. Победа!»**. Кто же он, как не партрасстрига и лжекоммунист, очень мягко выражаясь? Тем более что тут же сказано: **«Сегодня Ельцин, а если завтра Лигачев?»** То есть, сегодня американский холуй Ельцин, и это прекрасно, это сбывшаяся мечта, но вдруг опять придет Лигачев... это кошмар! Тут перед нами уже не просто партрасстрига и лжекоммунист, прикрывшийся партбилетом, а прихвостень ельцинского режима» (там же, стр. 252).

Две выделенные фразы из моей книги Бушин процитировал точно, но вот беда: они принадлежат не мне. Он, как азартный шулер, сознательно все передернул. Отрывок, взбесивший Бушина, из которого он взял эти две фразы, вызвавшие струю клинического глумливого красноречия, в книге напечатан так:

«Из моего дневника тех времен (1991 г.): «В декабре получил письмо от своего однокурсника Виктора Старостина. Работает учителем в Тульской области. Филфак МГУ вместе кончали, литературу преподает, мои стихи любит. Пишет в письме: «читал ученикам твои «Русские сны». Какая сердечная боль в главе о внуках! Читал вслух и сам чуть не разревелся... Через литературу пытаюсь объяснить детям то, что сейчас происходит в обществе. Куда пришли? К чему идем? Дело не только и не столько в пустых полках магазинов. Меня страшит другое — пустые души. У меня трое внуков, и они лишены даже того, что естественно было в детст-

ве их пап и мам... Скоро Новый год, но жаль, что нет шампанского, впервые такое. На КПСС надели намордник. Да, это победа. Но рабская психология в крови людей. По-прежнему всего боятся. Сегодня Ельцин, а если завтра Лигачев?»

Дальше идет такой мой комментарий:

«Бедный Виктор! Недавно он помер, так и не поняв коварства времени, поймавшего его в капкан. Сам же писал о том, что его внуки лишены всего, что имели их отцы и матери в 50—60-х годах, когда на КПСС еще не «надели намордник». Бедный запутавшийся русский человек! Почему даже на склоне жизни ему не стало ясно, что мы, люди из простонародья, дети учителей, врачей, служащих и даже уборщиц, могли достойно существовать и учиться в лучшем вузе страны — в Московском университете — лишь потому, что были защищены от всех мировых рыночных ветров «железным занавесом» советской власти?..» («Поэзия. Судьба. Россия». Т. 2, стр. 352-353).

Когда я упрекнул Бушина в этом подлоге, впервые опубликованном в еженедельнике Патриот», (№ 41, 2001 г.) он, пойманный за руку, понял, изворачиваться бесполезно и написал мне в личном» письме от 5.1.2002 г.: «*Да, это ошибка, а не злой умысел. Я признаю ошибку и принесу за нее извинения*»... Вместо извинений клевета через 4 года перепечатана слово в слово в книге «Огонь по своим» на с. 233.

Ну разве можно, не проверяя писаний Бушина, печатать их? И меня оклеветал и издательство подставил. Тем более что глумление — обычный и естественный прием его фельетонов.

Он им пользуется, как правило, тогда, когда фактов не хватает.

«*Вся держава хотела читать поэта-авантюриста*» (о том, что я слишком много издавался при советской власти — с. 252).

«*Куняев целый месяц гулял на дармовщинку по Америке, таким же макаром объездил Китай, Австралию, купался в Арафутском море*»... (там же, с. 182).

(В Америку я вместе с другими писателями ездил за счет американцев, в Китай и Австралию — за свои деньги. Что такое Арафутское море — не знаю).

«В припадке антисоветской падучей» «оба автора — Куняев и Яковлев [...] делают одно общее дело: обеляют фашизм» (там же, с. 255).

Пытаясь уличить меня во лжи и невежестве, Бушин пишет: *«Куняев может говорить все, что хочет, но утверждать, что Герцен — человек, «родившийся эмигрантом»... — значит нарушать приличие в особо крупных размерах. И что это за садистский патриотизм — не читая вытаптывать писателей родной литературы»* (с. 220).

На обложке бушинской книги «Огонь по своим» рядом с его портретом есть биографические сведения: «окончил Литературный институт им. Горького и Московский юридический институт». Человеку с двумя высшими гуманитарными образованиями, следовало бы знать, что слова о Герцене, «родившемся эмигрантом», принадлежат не мне, а Федору Михайловичу Достоевскому, и они сотни раз цитировались в отечественной критике из «Дневника писателя за 1876 год (XI-6-II); откуда я их и процитировал:

«Герцен не эмигрировал... Он так уж и родился эмигрантом. Они, все ему подобные, так прямо и рождались эмигрантами».

Закончить два знаменитых московских института и не знать Достоевского? Поневоле согласишься, что это какой-то «садистский патриотизм». Да если бы только о Достоевском речь!

В своих воспоминаниях о встречах с Георгием Васильевичем Свиридовым я привел слова композитора, записанные мною сразу после разговора с ним. Свиридов рассказывал о том, как после тяжелых для русских патриотов тридцатых годов, когда еще не была изжита антирусская идеологическая риторика, когда Рахманинова называли «фашистом», когда официальная пропаганда в упор не видела Есенина, в первые месяцы войны вдруг все переменилось: **«во время войны в эвакуации**, — взволнованно сказал Свиридов, — **когда на каком-то плакате**

я встретил слова «Россия, родина, русский», у меня слезы потекли из глаз»...

Прочитав эту сцену в книге моих воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия», Бушин как с цепи сорвался: **«Это упертые глаза Куняева. Это он, а не Свиридов рисует лживую картину, в которой нет места тому, что задолго до войны у нас выходили огромными тиражами романы, поэмы, во всех театрах шли фильмы, спектакли об Александре Невском, Дмитрии Донском, Кутузове, Суворове, Петре Первом... Или во всех этих произведениях не допускались слова «Россия», «Родина», «русский»?»** («Огонь по своим», стр. 230) Бушин может сочинять и выдумывать все, что его хамской душе угодно. Одна только промашечка выходит в его рассуждениях. Он пытается размышлять за Свиридова. Но как автор много раз переиздававшихся романов об Энгельсе, он был не нужен и неинтересен великому композитору, и Свиридов никогда о нем не вспоминал, к себе не приглашал и не разговаривал с ним. А я у Георгия Васильевича бывал часто, и мы с ним разговаривали часами. Мне было ясно, что в наших разговорах великий человек излагает свои выношенные мысли. Мне и в голову не могло придти, чтобы в своих воспоминаниях о Свиридове что-то «досочинить», додумать за него. И когда Бушин попытался обвинить меня в этом, я поступил просто: взял свиридовскую книгу «Музыка, как судьба», перелистал несколько глав и вскоре нашел его записи почти дословно совпадающие с моими воспоминаниями: Вот что пишет он в тетради 1978—80 гг. об искусстве предвоенного времени: **«После смерти Горького наступило совсем другое время [...], господствовал дух Утесова. Дунаевского. Хенкина [...]Руководство Ленинградского союза композиторов: председатель Фингерт, ответственный секретарь — Иохельсон, 2-й секретарь — Кессельман. То же было всюду. Слова: Россия, русский, Русские — не существовали: Впервые я услышал это слово в названии пьесы Симонова «Русские люди» уже во время войны, когда потребовалась (и обильно!) кровь»** (с. 210).

Вот вам и «садистский патриотизм», оснащенный дипломами двух институтов. И как Бушин закончил их, не читая ни Герцена, ни Достоевского, ни Свиридова!

Я бы не стал писать это письмо, тратить силы, нервы и время, если бы не одно соображение. Журнал «Наш современник» — самый популярный и многотиражный из «толстых» литературных журналов. Он объединяет вокруг себя все лучшие литературные силы России и десятки тысяч читателей. Многие из них читают и книги, изданные в «Алгоритме», и верят им. Я не могу спокойно относиться к тому, что читатель, любящий журнал «Наш современник», вдруг прочитает писания Бушина и поверит хоть бы малой доле клеветы, льющейся с его пера... Мы — люди не частные, живем общественной жизнью, и это обязывает нас заботиться о своей чести и защищать ее.

А репутацию издательства «Алгоритм» — жалко.

Судиться с издательством, издавшим немало замечательных книг В. Кожинова, С. Семанова, О. Платонова, как-то не хочется. Но и промолчать глупо. А издательству надо бы понять, что «факты», приводимые Бушиным в его книгах — надо проверять через лупу. А то ведь какой-нибудь непокладистый автор призовет к ответу за «публикацию сведений, не соответствующих действительности», доведет до суда и будет прав. И не дай бог издательство разорится. Где тогда буду издавать свои книги я? Где будет издаваться Бушин, человек отчаянной отваги, поскольку он не боится нести ответственность за ложь, которую изрыгают его уста?

* * *

P. S. Поскольку В. Бушин так и не принес мне никаких извинений за явные, бесспорные, неопровержимые факты лжи и клеветы в мой адрес, сорвавшиеся с его пера, я понял, что все дискуссии и объяснения с ним — дело пустое. Распрю надо заканчивать по-другому. А то на сочинения Бушина, как на истину в «последней инстанции, ссылаются и другие авторы. Недавно

в «Московском литераторе» была напечатана статья о книге критика Николая Федя «Литература мятежного века», где сказано: «Касается Николай последних публикаций Владимира Бушина, главным образом тех, где бесстрашный публицист вскрывает подлинную суть нынешнего редактора «Нашего современника».

(М.Л. № 2003 г.)

... Мы с Бушиным живем рядом и осенним днем однажды встретились на узкой асфальтовой дорожке нашего двора.

Разом вспомнив всю ядовитую слюну, исторгнутую на меня во многих его статьях, я подошел к нему вплотную и со словами «Ну, мерзкий клеветник, ты дождался!» — размахнулся, чтобы дать лжецу пощечину. Но — то ли у него подкосились ноги от страха, то ли он неудачно отпрянул от меня (главное, что я почти не задел его!) но, отшатнувшись, клеветник наткнулся на низенькую железную ограду оказавшуюся у него под коленками и через нее рухнул задницей на свежевскопанный газон. Потом он перевернулся и пополз на четвереньках подальше от меня, оборачиваясь, сверкая глазами, изрыгая оскаленным ртом всяческие ругательства в мою сторону, общий смысл которых сводился к тому, что «я еще с тобой поквитаюсь...». А пока он полз, я подумал, что именно так надо было мне поступить в самом начале нашей расприи: сколько было бы сбережено сил, нервов, времени для нас обоих...

Слава богу, теперь от души у меня отлегло. Окончательную сатисфакцию я получил. Пусть несчастный лжец сам решает: клеветать ли ему дальше или остановиться. Повторить воспитательную процедуру я всегда смогу, если понадобится.

Но самое забавное заключалось в том, что именно на этом же заколдованном месте десять лет тому назад от меня получил пощечину еще один мой клеветник, но уже из стана демократов — Станислав Рассадин, о чем я

писал в книге своих воспоминаний. Невнимательно читал Бушин мою книгу, иначе был бы поосторожнее и не докатился бы до такого позорного финала...

«И все же, все же, все же» — как писал Александр Твардовский...

Едва только вспомню отползающего от меня на четвереньках Володю Бушина, бывшего фронтовика, бывшего нашего автора и даже в известной степени моего единомышленника — муторно становится на душе. «Возмущенный разум» кипит: он же тебя оболгал, унизил, обесчестил своей клеветой! Чего ты переживаешь? Так и надо поступать с отвязанными и глумливыми борзописцами! Помнишь, как у Некрасова? «Взрослые люди — не дети. Трус кто сторицей не мстит. Помните: нету на свете неотразимых обид».

А все равно душа и сердце тоскуют и саднят от твоей очередной печальной победы...

1989—2006 гг.

«НО ИСТИНА – ДОРОЖЕ...»

Бедный Вадим! Целые четверть века — с середины 60-х до начала 90-х годов приходилось ему за свои русские убеждения, которые он чуть ли не контрабандой протаскивал на страницы «Нашего современника» или «Москвы» (а чаще высказывал их в предисловиях к поэтическим сборникам и антологиям, им составленным), терпеть высокомерные проработки и окрики от русскоязычных идеологов вроде членкора академика Петра Николаева, выпускника партийной академии Валентина Оскоцкого, ныне закономерно забытых теоретиков от марксизма Юрия Суровцева и некоего доктора общественных наук Калтахчана. Они трепали его в «Правде», «Коммунисте», «Лит. газете», «Лит. России».

А иногда и тяжелая артиллерия по нему лупила в лице новомировского комиссара Александра Дементьева и даже Александра Яковлева... Во какой у Вадима был список врагов — русофобов, а впоследствии ренегатов социализма! Гордиться можно... Но, увы! Сколько я слышал в те же годы разговоров из уст наших русских патриотических главных редакторов и секретарей о том, что, мол, опять Кожинов кого-то из них подставил, опять напечатал нечто, что они до конца не разглядели, опять наговорил лишнего, опять там наверху на Старой Площади им недовольны.

А когда он организовал дискуссию «Классика и мы», то все «сильные мира сего» из патриотического стана — Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Петр Проскурин, Анатолий Иванов, Сергей Михалков, Феликс Кузнецов, Анатолий Софронов, Юрий Прокушев взволновались, что наше восстание нарушит их спокойную жизнь, что не дай бог, власть заподозрит, будто бы и они каким-то боком к нему причастны... Об этом не писали, но говорили. В такие времена книги и статьи Кожинова, лежащие в издательствах и журналах, заворачивались, снимались из планов, отодвигались, откладывались в долгий ящик не какими-то евреями, а нашими, родными русскими соплеменниками. А бывало, что с языка иных литературных чиновников, желающих оправдать свое благополучное бездействие, по поводу Вадима слетало язвительное словечко «провокатор». И даже теперь после его смерти некоторые русские патриоты, которые были, как говорится, тише воды и ниже травы, ныне задним числом осуждают Вадима за какие-то мифические измены русскому делу, за антипатриотизм и чуть ли не за обслуживание еврейской литературной мафии. Горько все это читать и слышать, особенно из уст или из-под пера людей, у которых есть реальные заслуги перед русской патриотической жизнью. Но я пока жив — никому не дам извратить либо оболгать судьбу и взгляды моего покойного друга, из каких бы благих побуждений эта неправ-

да ни исходила. Вот почему на яростную антикожиновскую статью В. Сорокина «Путь в одиночество», опубликованную в «Московском литераторе» в 2003 году, я не мог не ответить... Вот он, мой ответ...

* * *

Щедрое наследство оставил после себя Вадим Кожинов. Кроме книг о поэтах пушкинской и тютчевской плеяды, о поэзии Николая Рубцова, о великом Федоре Тютчеве, он в последнее десятилетие своей жизни переосмыслил и древнюю, и новейшую эпоху Отечества в трудах «История Руси и русского слова», «Черносотенцы и революция», «Победы и беды России», «Сталин, Хрущев и госбезопасность»... Эти книги он, как оружие, вложил перед своей смертью в руки русских патриотов. Вроде бы по большому счету жизнь удалась. И все-таки, раздумывая о его судьбе, нет-нет да и вспомнишь горькую евангельскую истину о том, что «нет пророка в своем отечестве».

Нет, я не об антикожиновских статьях покойной Татьяны Глушковой вспоминаю. Защищая своего друга, я успел сказать ей все еще при жизни обоих. Кроме нее, приходилось оберегать его имя от облыжных и несправедливых выпадов В. Бушина, Л. Котюкова, В. Сахарова, И. Глазунова. Вроде бы патриоты, а вот поди-ка... А совсем недавно и Валентин Сорокин наконец-то решился окончательно перечеркнуть литературную судьбу Вадима и опубликовал с благословения Владимира Гусева в «Московском литераторе» статью под названием «Путь в одиночество».

Тяжело мне было ее читать не только потому, что она пытается утвердить неправду, но и потому, что Валентин мой давний товарищ. Нас с ним породнила и общая боль о России, и общая борьба, и общая любовь к Сергею Есенину и Павлу Васильеву. Но, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. С твоей неправдой, Валентин, я примириться не могу и сделать вид при встрече, что как будто ничего не произошло, — тоже не сумею.

Перечитай внимательно сам, что ты пишешь:

«Не знает Кожинов нас, поэтов русских, кто живет далеко от Москвы. Не знает ни сибиряков, ни уральцев».

«Не вина, а беда Кожинова, что он не задержался в саду поэтов: Владимира Луговского, Александра Прокофьева, Бориса Корнилова, Дмитрия Кедрина, Павла Васильева, Бориса Ручьева, Василия Федорова, Николая Благова, Бориса Примерова и многих отважных русичей слова и дела, просверкавших перед ним...

Кожинов не осилил, не опроверг поэта Льва Котюкова, а Лев Котюков своим творчеством опроверг неопровержимого Кожинова».

Вот так высокопарно хлещет наотмашь уральский казак московского любомудра. И отчасти, ты, Валентин, прав. Знать-то Вадим знал и читал всех, кого ты вспоминаешь, но любил и ценил по своему выбору только тех, кто западал ему в душу. Да, к именам поэтов, тобой перечисленных, он относился равнодушно. У него были свои пристрастия, он не считал значительным явлением поэзию Татьяны Глушковой, не включил в свою антологию современной лирической поэзии ее и твои стихи, хоть я за них настойчиво ратовал. Ну что из того? Всех любить невозможно и смешно. Любовь избирательна. Вот он и выбирал Николая Рубцова, Анатолия Передреева, Глеба Горбовского, Анатолия Жигулина, Алексея Прасолова, Василия Казанцева, Юрия Кузнецова, Виктора Кочеткова, Николая Тряпкина... Что — мало? Или они, на твой взгляд, — не русские поэты? Осмыслить их значение — задача непростая, и низкий поклон Вадиму за это. Неправ ты и в том, что он якобы не знал и не любил «*русских поэтов, живущих далеко от Москвы*». Неужели ты забыл, что он всегда помогал словом и делом нижегородцу Федору Сухову, Виктору Лапшину из Галича, Борису Сиротину из Самары. Много раз в последнее десятилетие Вадим с завидным упорством разыскивал и публиковал в «Нашем современнике» со своим вступительным словом стихи вологжанина Михаила Сопина, омича Аркадия Кутилова, а то вдруг обнаружил в Казахстане за-

мечательного русского поэта Евгения Курдакова. А Юрия Селезнева из Краснодара он перетащил в Москву и просто-напросто вырастил.

Зачем же обвинять его в каком-то столичном снобизме?

А сколько страниц его книг посвящено творчеству Александра Твардовского, Михаила Пришвина, Николая Заболоцкого, Михаила Шолохова, Василия Белова?! И все они — наши коренные русские таланты.

Очень тебе хочется убедить и себя, и читателя в том, что Кожинов был всего лишь скучным теоретиком и бесталанным литератором:

«Книгу Вадима Кожинова «Как пишут стихи», изданную недавно, читать невозможно... такая в ней лишаистая архивная скука».

«Но чего он-то лез в русскую поэзию? Ведь исторические и философские его работы не менее скучны, чем работы его о поэзии».

«Туго слыша громы и разливы песенного русского моря, категорически отвергая разинские буйства русского стиха, он постепенно внедрял во вкус учеников и соратников равнодушие»...

Ты до того уже договорился, Валентин, что якобы кожиновская практичность *«сковала и вроде приостановила крылатость и высоту поэта»* (это про Юрия Кузнецова), а *«дарование Анатолия Передреева пострадало от одесских мироощущений и словопонимания Вадима Валериановича».*

Мне, Валентин, непросто писать этот ответ тебе еще и потому, что ты выводишь меня из числа поэтов, якобы покалеченных тяжелой дланью Кожинова. Я, по твоим словам, твой *«любимый поэт», «большой русский поэт»*, не поддавшийся *«кожиновской порче»* и т. д. Но я не радуюсь твоим похвалам, поскольку никогда не ощущал, что Кожинов вольно или невольно портил вкус, мировоззрение и поэтический голос таких самобытных и самодостаточных поэтов, как Николай Рубцов, Юрий Кузнецов, Анатолий Передреев. Ты путаешь дружеские отношения с

комиссарскими. Никогда я не слышал, чтобы он их чему-то учил, наставлял, что-либо диктовал им. Да и невозможно было себе такое представить! Слишком уж каждый из них был уверен в правоте своего пути, чтобы кого-то слушаться. А Вадим просто был лишь одним из нас, рядом с ним были друзья, а не *«салонная орава»*, как пишешь ты. Он просто любил наши стихи бескорыстно и с радостью, которую многие из нас сегодня утратили, восхищался прозрениями и удачами своих друзей-поэтов, восхищался непосредственно, восторженно, почти по-детски, а не с *«философской нахохленностью»* и *«противно-надоедливой очкастой широтою»*, как это кажется тебе.

Его *«скучные»* книги, отмеченные, по твоим словам, *«архивной скукой»*, в наше рыночное время выходили и при жизни Кожинова, и после его смерти одна за другой. Ты думаешь, сегодняшние издательства издают их себе в убыток и не ведают, что они жадно раскупаются, что их пристрастно читают — с не меньшим интересом, нежели наши с тобой сочинения? Спроси у Анатолия Яковенко, твоего поклонника, ведущего книжную торговлю в Союзе писателей России, и он тебе подтвердит, что книги Вадима — нарасхват, поскольку нужны сегодня русскому человеку, как живая вода.

Ты размашисто иронизируешь над несколькими наукообразными фразами Кожинова, но каким литературным языком ты выносишь ему приговор? — вчитайся сам еще раз в свои собственные слова:

«Хотя суждения его весьма ограниченны и совершенно не снабжены порывами ощущений русского характера...», или *«Я начал возражать его симпатиям...»*. Прости меня, но если бы я не знал, что ты от макушки до пят русский человек, то, прочитав такое, имел бы полное право заподозрить, что эти пассажи вышли из-под пера «пахнущего чесноком» одессита.

Ты пишешь о том, что Ю. Кузнецов, ушибленный Кожиновым, настолько утратил поэтический слух, что написал: «Как Иванушка во поле вышел»:

«Русский же, русский поэт, — негодуешь ты, — *русскую сказку в ладони взял и «каки», — где же слух русский?!»*

А где же слух русский, когда ты в той же статье, цитируя свое стихотворение: *«Зверя не буди, не гневай бога»*, не боишься, что к тебе придерется какой-нибудь словесный законник и скажет: *«По-русски, Валентин Васильевич, надо писать «не гневи», да и «Бога» — с большой буквы, как раньше все большие русские поэты писали».*

Русский язык — такой бесконечный то темный, то светлый лес, что даже мы, его родные дети порой в нем плутаем... Если уж великий Лермонтов позволил себе: «с свинцом в груди», — то будем хотя бы в мелочах снисходительнее друг к другу. Впрочем, я и сам сейчас к тебе по пустякам придираюсь, в то время, когда в твоей статье есть просчеты посерьезнее.

Очень уж неприятно поразила меня твоя уверенность в неполной русскости или вообще в нерусскости или шабесгойстве Кожинова. *«Кожинов пишет, как ест в благородной еврейской кухне», «кожиновская еврейская проницательная практичность», «конечно, Френкеля и Глезера, Рейна и Левинзона, Кушнера и Пресмана, коими он зело озолотил, но раньше том «Евреи и Россия в современной поэзии за 1996 год, выпущенную* (так у автора. — *Ст. К.*) *в Москве. Значит, с юности мутили его гениальный ум историка и философа, поэта и критика...».* Трудно понять смысл этой темной фразы, но я догадался, что речь идет об участии Кожинова в сборнике «Свет двуединый», составленном не Кожиновым, а М. Грозовским и Е. Витковским из стихотворений в основном поэтов-евреев (впрочем, и неевреи в сборнике тоже есть — А Жигулин и Б. Чичибабин), живущих и в России, и в Америке, и в Израиле.

Кожинов всего лишь навсего написал послесловие, озаглавленное «Короткая реплика в русско-еврейском диалоге». Ты, Валентин, возмущен участием В. Кожинова в сборнике «Свет двуединый». Но я позволю тебе процитировать одно место из послесловия Кожинова, ради которого, на мой взгляд, оно и написано.

«Дезик в свое время преподнес мне свою лучшую, на мой взгляд, книгу «Дни» с порадовавшей меня надписью: «Вадиму — человеку страстей, что для меня важней чем человек идей, — с пониманием (взаимным). Где бы мы ни оказались — друг друга не предадим. 1.03.71. Д. Самойлов». Но прошли годы, и мне показали публикацию «поденных записей» Дезика, где именно 1.03.71 начертано: «Странный темный человек Кожинов»... И еще одна — не датированная запись: «фашист — это националист, презирающий культуру... Кожинов, написавший подлую статью об ОПОЯЗе — фашист». (*Самойлов Д.* Памятные записи. М., 1995. Ст. 431).

Так что, вопреки твоему утверждению, Валентин Васильевич, будто Кожинов своим послесловием «зело озолотил» имена еврейские, я считаю, что он не озолотил участников сборника «Свет двуединый», а наоборот — обнародовал (в примере с Самойловым) такое свойство еврейского менталитета, что этот сборник уместнее было бы назвать «свет двоедушный».

Кожинов часто повторял, что евреи спокойно и равнодушно относятся к нашим кухонным ругательствам по их адресу, даже провоцируют нас, но по-настоящему опасаются лишь глубокого нашего понимания их разрушительной воли, их умелой фальсификации истории их способности, когда надо перевоплощаться и якобы ассимилироваться. Он блестяще владел искусством полемики с ними, поскольку учился этому искусству у Достоевского и Розанова, у Карсавина и Шульгина, у Блока и Михаила Меньшикова.

Вот почему еврейские интеллектуалы одновременно и опасались и по-своему уважали его, как достойного соперника. Но, когда надо было, Вадим в открытом споре мог стереть в порошок Бенедикта Сарнова (что и сделал в 80-е годы на страницах «Литгазеты»), мог не пожать протянутую ему Нуйкиным руку во время открытого телеэфира, добавив что рука его оппонента, подписавшего позорное письмо о необходимости репрессий в октябре 1993 года, запятнана кровью... Словом, он умел выступать

и с открытым забралом, по-русски, «по-разински», говоря твоими же словами, Валентин Васильевич. Вспомни, что именно он организовал и осуществил опять же «по-разински» наш первый бунт против еврейского засилья в культуре в 1977 году — дискуссию «Классика и мы», которая сорвала табу с русско-еврейского вопроса. Он умел укрощать агрессивные еврейские импульсы, объясняя их носителям, что, не считаясь с русской историей и развязно русофобствуя, они играют с огнем. Он всегда предостерегал их от попыток властвовать в России и старался поставить еврейскую элиту на свое место в нашей истории. Потому и написал исследование о расцвете и гибели Хазарского каганата, потому и не оставил камня на камне на еврейском лживом мифе о русском черносотенстве. В конечном счете, все его творчество есть доказательство того, что русский ум хоть и медлительнее, но глубже и свободней ума еврейского, что наши таланты органичнее и ярче, что наши убеждения замешаны на совести и справедливости, а не на расизме и корысти. Он имел мужество не зависеть ни от кого, кроме истины, он не дорожил своим положением в ИМЛИ, своей научной карьерой ради того, чтобы идти туда, «куда влечет тебя свободный ум». Тебе, Валентин, всю жизнь занимавшему всяческие должности, трудно понять человека такого типа. Ты всю жизнь не мог себе позволить быть совершенно свободным. Я тебя понимаю: ради общих интересов надо оставаться в номенклатурном кресле, надо думать об очередном однотомнике, о литературной премии, о новой квартире. А должность всегда помогает. А отношение к еврейскому вопросу при советской власти, ох как влияло на обретение должности или на потерю ее! Ты всегда умел быть осторожным и расчетливым. Помнишь, как после дискуссии «Классика и мы» я принес тебе, главному редактору издательства «Современник», статью (о Есенине и Багрицком), написанную после дискуссии «Классика и мы» именно на основе дискуссионного выступления? Мне позарез надо было опубликовать ее в книге «Огонь, мерцающий в сосуде» ради доказательства своей правоты.

Редактор Женя Лебедев подписал книгу в печать, но ты своей волей снял из нее статью о Багрицком. Я тебя тогда не осуждал. Какое право я имел настаивать на своем, если эта публикация грозила и твоему положению, и твоей должности? Напечатать эту главу было крайне трудно, цензура наверное бы ее сняла, но мне было досадно, что снял ты, о чем я и написал тебе печальное письмо, если ты помнишь. Написал, но не обиделся.

Обидно другое: что ты сейчас хочешь, говоря о Кожинове, показать себя более смелым человеком, нежели он. А это не так. Он был свободным человеком и много раз рисковал, распутывая опасный «еврейский узел», не считаясь с указаниями партийных чиновников, с мнением официальных и неофициальных русских и еврейских функционеров. Его надолго переставали печатать, но он все равно объяснял общественному мнению разницу между еврейским националистом Агурским, уехавшим в Израиль, и еврейским ассимилированным совком Сарновым, оставшимся в России, и доказывал, что последний гораздо опаснее для нас, нежели открытый сионист Агурский.

А ты, Валя, в отличие от Кожинова, зависел от цензора Солодина, от председателя Госкомитета по печати Свиридова, от Сергея Михалкова и т. д.

Постоянно ощущая эту зависимость, ты просто не мог позволить себе быть всегда смелым человеком, каким ты от природы являешься.

Потому-то ты в 1983 году снял из моей книги стихотворений одно из самых важных для меня в ту пору. Вот оно:

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Народ, когда-то бросивший отчизну
ее пустыни, реки и холмы,
о ней, обетованной, правит тризны,
о ней глядит несбыточные сны.

Но что же делать, если не хватило
у предков силы родину спасти
иль мужества со славой лечь в могилы,
иную жизнь в легендах обрести?

Кто виноват, что не ушли в подполье
в печальном приснопамятном году,
что зубы стиснув не перемололи,
как наша Русь монгольскую орду?

Кто виноват, что в мелких, униженьях
как тяжкий сон тянулись времена,
что на изобретеньях и прозреньях
тень первородной слабости видна?

И нас без вас, и вас без нас убудет,
но, отвергая всех сомнений рать,
я так скажу: что быть должно — да будет,
вам есть, где жить, а нам где умирать!

Помнишь, что было дальше? Стихотворение могло пройти цензуру и вскоре было опубликовано в моем гослитовском «Избранном», но тогда ты взял в руку беспощадное редакторское стило и на полях стихотворения начертал суровую резолюцию: **«Снять! В. Сорокин».** Я сохранил этот листок в своем архиве. Не хотел я вспоминать эту историю в двухтомнике своих воспоминаний, но сейчас ты вынудил меня рассказать все до конца. Что было — то было. И в заключение — еще об одном событии.

Весной 2002 года в Армавирском государственном педагогическом институте в течение нескольких дней проходила научная конференция под длинным названием: «Наследие В. В. Кожинова и актуальные проблемы критики, литературоведения, истории, философии». На конференцию съехались около ста сотрудников, аспирантов и студентов из Краснодара, Ставрополя, Калуги, Твери, Волгограда, Тюмени, Кузнецка, Тольятти, Славянска-на-Кубани, города Горячий Ключ, а также из

Украины, Узбекистана, Кореи и Китая. Темы докладов, отражающих различные стороны творчества Кожинова, были разнообразны: «Срединный русский литературовед и мыслитель — опыт прочтения книги В. Кожинова о Тютчеве», «Семейная хроника С. Т. Аксакова в осмыслении Кожинова», «Осмысление В. Кожиновым голосов автора и персонажей в творчестве В. И. Белова», «В. Кожинов о беллетристике и моде в литературе»... И подобного рода исследований были десятки, из них участники конференции даже сумели составить и издать, хотя и небольшим тиражом (100 экз.), настоящий двухтомник, ставший как бы скромным памятником Кожинову-педагогу. Все авторы — настоящие русские (а не русскоязычные!) интеллигенты. А конференция эта с той поры стала ежегодной.

Завидная судьба — остаться жить после смерти в исследованиях, спорах, поисках истины своих учеников, которых он так естественно и незаметно воспитывал и образовывал на протяжении нескольких десятилетий чуть ли не на всем литературном пространстве страны в ее советском масштабе, если вспомнить его связи с Грузией, Арменией, Абхазией.

Вот так-то, Валентин Васильевич, а ты придумал для Вадима какой-то «путь одиночества»...

Если помнишь, когда мы прощались с Вадимом, то обширный зал в ИМЛИ был переполнен. Слова благодарности Вадиму за яркую подвижническую жизнь произнесли Петр Палиевский, Владимир Крупин, Феликс Кузнецов, Игорь Шафаревич, Леонид Бородин, Валерий Ганичев и я. Дай Бог, чтобы над нами подобные слова были сказаны. До сих пор в «Наш современник», членом редколлегии которого много лет был Вадим вместе с тобой, идут письма читателей, почитателей, учеников Кожинова, раскрывающие все новые стороны его разнообразной деятельности во славу русской культуры и русской истории. Путь его жизни — это путь к Родине, к ее сыновьям и дочерям, а не в одиночество, как в наивной полемической запальчивости показалось тебе. На вечере, посвященном его памяти (2002 г.), Большой зал ЦДЛ был переполнен,

люди стояли вдоль стен целых три часа. Воспоминания об «архивном», «скучном» да еще и «русскоязычном» — с такими чувствами и терпеньем слушать не будут...

...Пишу я тебе сейчас ответ, сидя в родной Калуге, и время от времени включаю российское («настоящее!») радио и слышу по нему «настоящую поэзию». Позавчера слушал стихи Сапгира, вчера — Гандлевского, сегодня какого-то Пригова вперемешку с выступлениями Андрея Дементьева и Бенедикта Сарнова. Ни Передреева, ни Тряпкина, ни Рубцова, ни Юрия Кузнецова, ни тебя, ни себя не услышал. Не «настоящие», значит, мы поэты. Сижу и думаю: как нам Вадима не хватает, чтобы он шуганул всю эту шушеру. Нам с тобой заниматься этой борьбой — нет времени: оба мы на важных должностях, ты тратишь силы на развенчание Кожинова, а я на его защиту. Так и живем.

А автограф моего стихотворения с твоей резолюцией «**Снять! В. Сорокин**» теперь могу подарить тебе на память, он мне уже не нужен.

P. S. Потом мы с Валентином Сорокиным встретились, объяснились, и он — отдаю ему должное — мужественно признался, что, так пристрастно оценив судьбу и книги В. Кожинова, был не прав... Слава богу, все по-русски разрешилось... Вроде бы я опять победил — и опять почувствовал, сколько печали в этой победе...

2004 г.

«ЗМЕЯ, УКУСИВШАЯ СОБСТВЕННЫЙ ХВОСТ...»

Славный город Марбург, в котором в разные времена побывали Мартин Лютер, Михаил Ломоносов, Борис Пастернак и Булат Окуджава, встретил меня и моего коллегу по «Новому миру» Андрея Василевского весьма радушно. Его кривые улочки, вымощенные брусчаткой, тя-

нулись к вершине холма, увенчанного темным средневековым замком некоего ландграфа. На улочках — куда ни глянь — стояли разноцветные пластмассовые столики, выползшие из пивных баров, пиццерий и разнообразных кафешек. Марбургская университетская молодежь вкупе с туристами поглощала пиво, кофе, пиццу, салаты, курила травку, слушала музыку, хохотала — словом, жила беспечной потребительской жизнью, о которой Европа с ее религиозными войнами и священными камнями мечтала целое тысячелетие...

Литературный институт имени Горького и Марбургский университет время от времени посылают друг к другу своих преподавателей и студентов. Вот почему мы с главным редактором «Нового мира» Андреем Василевским летом 2003 года очутились в Марбурге.

Наша хозяйка, у которой мы устроились на постой, — глава громадной и добропорядочной немецкой семьи, занимающей трехэтажный средневековый домик на главной городской улице. У нее несколько взрослых детей, часть которых живет в этом же доме, бесчисленное количество внуков и внучек, и муж — двухметровый грузный немец весом не менее полутора центнеров, да и она сама белокурая, крупная, овальная женщина, похожая на громадный белый гриб, весит чуть поменьше своего Зигфрида, которого, впрочем, зовут Альфред.

В первый же день пребывания в их сказочном средневековом доме с крутыми дубовыми лестницами мы были удостоены торжественного обеда, плавно перешедшего в ужин. Хозяйку звали Фрау Урфф, что восхитило меня. Сочетание этих слов и звуков таило в себе некую причастность к древнегерманскому, легендарному бытию, и превращало заурядную немецкую домохозяйку в могучую, голубоглазую и белокурую Брунгильду из немецкого эпоса. Когда я обращался к ней и с наслаждением, вращая языком, выговаривал — «Фрау Урфф-ф!» — то тут же вспоминал пушкинское — «Европы баловень Орфей»... Зеркальность словосочетаний, отражавшихся друг в друге, восхищала меня.

А еще восхищало то, что на столе во время торжественного обеда в нашу честь перед каждым из присутствующих стоял глиняный горшочек для яичной скорлупы, колбасных кожурок, корочек сыра, словом для всех отходов, чтобы они не портили внешний вид стола. Да только ли одни глиняные горшочки?! Сколько всяческих удобных приспособлений для принятия пищи присутствовало на дубовом столе фрау Урфф! Крупное куриное яйцо, к примеру, перед тем, как поместить в фаянсовую рюмочку и разбить коричневую скорлупу специальной мельхиоровой ложечкой, сначала надо было извлечь из позолоченного разъемного пластмассового футляра, долго сохраняющего тепло только что сваренного всмятку яйца! Да что там футляры, ложечки, ножики, прозрачные, толщиной в пергаментный лист ломтики испанской ветчины и коллекции всяческих сыров на столе! «Delikates» — как сказал громадный Альфред, похожий на княжеский замок, венчающий Марбургский холм... Это все ерунда по сравнению с тем, что во время нашего пиршества каждое очередное блюдо сопровождалось особым гарниром, мы поглощали салаты — а из музыкального центра, включенного пухлым пальчиком фрау Урфф, лились музыка. Когда я «угадал мелодию» и произнес — «Кармен»! — Зигфрид-Альфред и фрау Урфф с удивлением переглянулись. В их взглядах я прочитал: «О! Русский поэт знает, какую музыку мы слушаем!»

Потом я определил, что отбивные, поглощенные нами после салата, шли под сопровождением мелодий из Шуберта, а во время десерта хозяева были окончательно очарованы моей осведомленностью в европейской музыке: еще бы — я узнал, что прозвучал хор из малоизвестной оперы Верди «Набука»! Фрау Урфф и Адольф не могли знать, что в последние несколько месяцев, когда я часто приезжал в родную Калугу, то постоянно слушал на кухне по российскому радио передачи, посвященные какому-то круглому юбилею Верди. «Настоящее радио» то и дело рассказывало об этой самой «Набуке» — опере о борьбе евреев за свои права во времена вавилонско-

го пленения... Да еще комментаторы подробно поясняли, что центральная хоровая партия оперы стала в XIX веке национальным гимном Италии, о чем я на ломаном немецком языке просветил хозяев. Хотел было добавить, что знаменитый композитор, по моим предположениям, написал «Набуку» по заказу богатых итальянских евреев за большие деньги, но построить такую сложную фразу уже не смог — словарного запаса не хватило.

Но как бы то не было — восторгу хозяев по поводу моих музыкальных знаний не было предела. Растроганный Альфред распорядился, чтобы фрау Урфф принесла вишневой водки («Киршен вассер») — и это после трех бутылок вина, выпитых под Бизе, Шуберта и Верди. Тосты стали следовать один за другим. А когда я вспомнил, что еще в 1951 году, будучи учеником 10-го класса в калужской железнодорожной школе № 9, выучил наизусть и перевел на русский язык несколько стихотворений Генриха Гейне и, стараясь не потерять в произношении ни одного «умляута», прочитал из «Путешествия на Гарц»:

Auf die Berge will ich steigen,
Wo die frommen Hьtten stehen,
Wo die Brust sich frei erschlisset
Und die freie Lufte wehen

(«Я хочу подняться в горы,
В миры невзрачных хижин,
Где грудь свободно дышит,
Где свежий ветер веет») —

то супруги захлопали в ладоши, обволокли меня какими-то нечленораздельными восклицаниями и, разгоряченные музыкой, вишневым напитком, стихами Гейне, предложили подняться по лестнице на открытую веранду верхнего этажа, откуда все Марбургское княжество с его лесами, полями и реками было видно, как на ладони. При виде такой неожиданной красоты я потребовал еще одну бутылку «Киршен вассер», фрау Урфф, кокетливо поиг-

рывая крупным телом, быстро спустилась по лестнице и принесла на стол сосуд темного стекла, да еще с какими-то орешками в придачу... Словом, немецкий регламентированный ужин естественным образом перешел в русское застолье до той поры, когда в древнегерманскую летнюю полночь под звездным небом, освещенным на горизонте огнями далекого Франкфурта, мы все, бережно поддерживая друг друга, кое-как спустились по крутым деревянным ступеням к своим спальням и, прокричав друг другу «гутен нахт!», рухнули в мягчайшие бюргерские постели...

Утром, когда фрау Урфф постучала нам в дверь и мы с Василевским вышли с легкой головной болью к завтраку, я увидел ее покрасневшее лицо и заплаканные глаза

— Что случилось, дорогая фрау Урфф? — с искренним сочувствием спросил я — и напрягая все свои познания в Deutsche Sprache, кое-как понял из ответа, что Альфреду ночью стало плохо, он попытался выйти в туалет, но у него отнялись ноги, пришлось вызывать скорую помощь, и что сейчас бедняга находится в госпитале (befindet in Hospital!). Его жизнь и здоровье кое-как поддерживаются капельницей, подключенной к громадному и неподвижному телу. В конце взволнованного разъяснения фрау Урфф даже всплакнула, но когда я неуверенно предложил, что коли дело обернулось таким образом, то полезно было бы выпить за здоровье Альфреда, внезапно оживилась и с грацией, неожиданной для ее нордической фигуры, побежала на кухню... В оставшиеся три-четыре дня мы каждое утро с немецкой педантичностью выпивали за здоровье больного, что очень нравилось фрау Урфф даже несмотря на то, что здоровье Альфреда ничуть не улучшалось.

* * *

Все время пребывания в Марбурге мы постоянно встречались с официальными лицами, бывали в частных домах, где пили вино и чай, закусывая сладкими кексами, и везде (что я быстро понял) попадали в особую атмо-

сферу «толерантности и политкорректности», неофициальный культ которых воцарился в нынешней Германии. Говорить можно было о многом: о снижении уровня жизни в эпоху Евро, о растущей безработице, о европейском футболе, о школьном воспитании, о детях и внуках, но только не о немецкой истории. После катастрофы 1933—1945 годов немецкая нация по какому-то негласному договору как бы забыла свою историю. И славную, и позорную...

Мы гостили в Марбурге целую неделю, и один из дней этой недели выпал на 22 июня... В этот день мы повидались с журналистами, с сотрудниками одного из крупнейших архивов Германии, естественно, с нами был наш переводчик Вилли, — к хозяйке заглядывали какие-то знакомые, которым она представляла нас... но никто не вспомнил о том, что произошло 62 года тому назад. Немецкая интеллигенция не желала вспоминать прошлое. Она вольно или невольно чувствовала, что эта дорожка приведет сначала к 20-м годам прошлого века, потом к 33-му году, потом к 1945-му... Неизбежно, что этот разговорчивый русский, начав с размышлений о Гёте и Бисмарке, о Вагнере и Ницше, перейдет к совсем запретным вещам — к «Майн кампф», к Гитлеру, к евреям. Все упомянутые выше немецкие гении, с точки зрения современного мышления, — натуры, начисто лишенные «толерантности и политкорректности, как, впрочем, и великий Мартин Лютер, запустивший в черта чернильницей и проклинавший еврейских ростовщиков. Каждый раз, пытаясь расшевелить собеседников и вспоминая «неблагополучные имена» немецкой истории, я наталкивался либо на невнятные ответы, либо на нежелание продолжать разговор. Даже о нобелевском лауреате, покинувшем гитлеровскую Германию, Томасе Манне немецкие собеседники вспоминали неохотно, потому что знали, что два самых знаменитых романа великого писателя — «Иосиф и его братья» и «Доктор Фаустус» — посвящены двум опасным темам — истории еврейства и эпохе «тысячелетнего рейха» — нет, нет, об этом не надо, это — не актуально, это в прошлом, — не раз говорил мне наш перево-

дчик Вилли, школьный учитель, человек средних лет, не живший при Гитлере, не могущий нести ответственность за события фашистской истории, но тем не менее ощущавший на себе давление всяческих «табу». Впечатление от всего этого было такое, словно ты попал в общество «опущенных» людей, где была произведена целенаправленная кастрация образа мыслей, знаний, воспоминаний о прошлом...

Думаю, что мировое сообщество хочет то же самое проделать и с нами, с утра до ночи обрабатывая наши головы рассуждениями о «парадигме несвободы», о порочности русской истории, о «рабстве и тоталитаризме», о Сталине...

Да, мы проиграли историческое противостояние миру западной тьмы, но в нашей воле ни на шаг не отступить на поле метафизической битвы. Если мы сдадим в своем сознании советскую эпоху и позволим приравнять ее к Третьему рейху, а Сталина к Гитлеру, то нам придется до Страшного Суда жить, как нынешним немцам, в духовно оскопленном состоянии. Как они стесняются вспоминать о Вагнере и Ницше только потому, что их имена были почитаемы при Гитлере, так и нам придется опускать глаза при разговорах о Горьком и Шолохове, о Есенине и Твардовском. А коготок увяз — всей птичке пропасть: придется сдать и Циолковского с Королевым, и Жукова с Гагариным, словом одного за другим всех строителей советской цивилизации... У немцев есть хоть некоторое утешение — они «опущенные», но богатые, а мы будем и «опущенными» и бедными.

* * *

Время от времени на улочках Марбурга появлялись персонажи из прошлого — состарившиеся битники с лысинами и космами нечесаных волос на затылках, худосочные, голенастые, в шортах и стоптанных кроссовках, с потрепанными рюкзаками за спиной... Их подружки — бывшие девочки 60—70-х годов похожие на состарив-

шихся сморщенных обезьянок, обмотанных разноцветными тряпками... Они еще пытаются из последних сил продлить образ жизни, столь милый их сердцу, курят марихуану, пьют пиво, жуют хот-доги, но безжалостное время уже превратило их некогда нежные руки и стопы ног в коричневые конечности, разукрашенные темными венами, волосы поредели, глаза глубоко провалились в темные глазницы...

Бунтари и ниспровергатели буржуазных нравов минувшей эпохи, превратившиеся к старости в среднеевропейских бомжей, о таких в России говорят — ни Богу свечка, ни черту кочерга. Я вижусь с ними каждое утро, когда надеваю кроссовки, и бегу вдоль мутнозеленого Ланна, утопающего в зарослях одичавших вишен, пробегаю под бетонными пролетами мостов, где спят бездомные дети Европы. Они выползают из своих спальников, пекут на костерках картошку, обнимаются скорее не ради секса, а просто держась друг за друга, чтобы не упасть. Одинокий пожилой человек, продвигающийся медленной трусцой вдоль реки по асфальтовой дорожке, вызывает у них некоторое любопытство и они, приветствуя меня со своих лежбищ, выкрикивают что-то немецкое и добродушное.

Иногда я замечаю какие-то листовки, наклеенные на заборах, останавливаюсь возле них, пытаюсь прочесть, понимаю, что речь идет о преимуществах социализма над капитализмом... Авторы листовок вспоминают о Розе Люксембург, цитируют какие-то ее слова... Эх, Роза, Роза, плохи наши дела и в России, и в Германии... Всюду, куда ни плюнь, попадешь либо в бомжа — российского и европейского, либо в политкорректность и толерантность. Скука для таких, как мы с тобой, — смертная!

Но, отказавшись от истории, немцы берут реванш, создавая в бытовой жизни всяческие немыслимые усовершенствования и удобства.

Марбургские горожане настолько постарались обустроить свою жизнь, что даже в той части города, которая стоит на вершине холма, пробурили шахту и устрои-

ли в ней лифт, чтобы не подыматься по крутым улочкам в гору утомительным шагом... Устроили этакое вертикальное метро — садишься на станции у основания горы и возносишься к вершине на полторы сотни метров.

На стенках туалетов в кафе и кондитерских всяческие приятные изображения: глянцевые фотографии тортов, пирожных фруктовых горок, даже — пасхи. Писсуары пахнут корицей, лимоном, яблоком. В этом желании подменит действительность, замаскировать запахи, скрыть сущность чего-то неприятного, неблагопристойного заключено некое извращение, нежелание видеть действительность такой, какая она есть. Когда-то Гегель сказал: «Разумно то, что действительно». Нынешние немцы — не соглашаются с ним, когда стараются сделать «толерантными» не только прошедшую историю, но и обычные отхожие места. Впрочем эта национальная особенность у немцев наблюдалась даже в обустройстве концлагерей с их порядком-орднунгом, бюрократическим расписанием внутренней жизни и смерти, с умиленными плакатами о том, что «труд делает человека свободным»

На прощальный обед, который перед отъездом из Марбурга дала в нашу честь фрау Урфф, пришел журналист из городской газеты, какой-то бывший знаменитый спортсмен, университетский профессор, две-три активистки из литературного общества и переводчик Вилли.

— Сегодня, — сказала сказочная фрау Урфф, — у нас на обед будут блюда старой германской кухни! — Я оживился: еще бы, отведать пищу Нибелунгов и обитателей Валгаллы! Вино, правда, к столу было подано какое-то, отнюдь не древнегерманское: кисленькое, дешевое, современное.

А на закуску фрау выставила салат из свежей капусты и красного перца, ничем не сдобренный, поскольку майонеза и кетчупа в легендарные времена не было. На первое фрау Урфф разлила из пузатой супницы весьма безвкусный суп, в котором плавали яичные волокна. Увидев на моем лице некоторое разочарование, активистка, сидевшая рядом, шепнула: «Он на мясном бульоне!»

Но зато на второе... Фрау Урфф в сопровождении двух подруг внесла в гостиную громадное блюдо, на котором высился холм, исходивший паром. «Капустная голова!» — воскликнула фрау и поставила поднос в центр дубового стола.

Капустная голова оказалась исполинским голубцом, который плавал в мясном отваре, издавая древнегерманские ароматы. Я за свое неумеренное любопытство к немецким национальным ценностям тут же был наказан: фрау схватила громадный нож, отрезала килограмма полтора капустной головы и водрузила на тарелку саксонского фарфора... Мой лепет насчет того, что «чересчур много», был сразу подавлен, и мне не оставалось ничего другого, как под вдохновенные тосты гостей, прихлебывая плохонькое винцо, отчаянно бороться с капустной головой. Однако я вспомнил про вишневую водку, и громко заявил хозяйке, что без «Kirsten wasser» я с этим могучим древнегерманским блюдом не справлюсь. Фрау Урфф, не желая огорчать дорогого гостя, поставила персонально передо мной бутылку крепкого напитка, и обед благополучно продолжался. Однако вскоре то ли от моих стараний одолеть капустную голову, то ли от смены напитка, я оживился и попросил слова, забыв про толерантность и политкорректность. А может быть, просто захотелось сказать нечто значительное и похвалить немцев, чтобы они больше уважали себя

— Друзья, — сказал я, обращаясь к цвету марбургской интеллигенции. — Глядя на наш стол, я понял, почему Германия дважды побеждала Францию — в 1870 году при Бисмарке и в 1940-м. — Ума хватило не уточнять, при ком это произошло.— Ведь французы всемирно известные гурманы и громадную долю ума и национального гения они тратят на изобретение изысканных блюд — из улиток, устриц, лягушек, певчих птичек, на соусы и подливки, а у немцев кухня очень здоровая и простая, потому у них всегда оставались силы для более крупных забот — на государственное устройство, на философию, на укрепление армии, на необходимые войны... И тут я

осекся, кожей почувствовал, как за столом, после каждой моей фразы, дословно переведенной честным Вилли, увеличивается какое-то напряжение. «Господи! — мелькнуло у меня в голове — зачем же я о войнах? Надо закругляться и как-то исправить положение, вернуться к тому с чего начал — к разговору о еде...» Но вишневая водка сыграла-таки со мной злую шутку, и я в завершение неожиданно для самого себя произнес:

— Я хочу поднять этот бокал за немецкий здравый образ жизни, за могучую простоту немецкой кухни.

И тут, как будто не я, а какой-то чертик во мне сидевший, добавил последнюю роковую фразу:

— А у нас, у русских, еда еще проще!

Потом я понял, что это была моя стихийная месть немцам за то, что они забыли о том, что такое 22 июня...

Гробовое молчание, воцарившееся после моих слов, длилось несколько секунд, и положение спасла та же фрау Урфф, — закричав о том, что на десерт будет мороженое. Все облегченно вздохнули. А мороженое оказалось скверным — сделанным, как мне показалось, из совершенно обезжиренного, снятого молока. Белая хрустящая ледышка, и ничего более...

На другое утро мы попрощались с милым городом Марбургом и переехали на поезде из Южной Германии в Пруссию, в Потсдам. Всего за несколько часов... Игрушечная страна.

* * *

Не счесть в наше время самых разнообразнейших проектов, направленных на создание так называемого «демократического образа мыслей», «рыночного менталитета», «наднационального сознания». Тут и книжные ярмарки, и международные премии, и бесконечные встречи «в рамках» различных форумов, фондов, диалогов в галстуках и без. Машина по созданию нового упрощенного человека, щедро смазываемая громадными правительственными и частными деньгами, крутится во всю мощь в самых различных уголках земного шара.

После недельного пребывания в Марбурге мы переехали в Потсдам, на так называемый Германо-Российский форум. В бумагах, полученных мною, форум описывался подробно:

«*Всего лишь за несколько лет «Потсдамские встречи» превратились в прочный элемент многообразной системы германо-российских отношений. Ту роль, которую «Петербургский диалог» играет для обмена между гражданскими обществами наших стран, Потсдамские встречи играют для большого, многогранного мира культуры*». Не слабо сказано...

Впрочем и другие характеристики звучали не менее загадочно и многообещающе: «*Потсдамские встречи выходят за стандартные рамки встреч на уровне экспертов*», «*Интеграция в Потсдамские встречи формирует новые импульсы для живого диалога*» и т. д.

Список гостей от России, участвовавших в предыдущих четырех Потсдамских встречах был интересен и со «звездной», и с национальной точки зрения: Андрей Битов, Виктор Ерофеев, Владимир Каминер, Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Павел Панерштейн, Евгений Асс, Юрий Гнедовский Борис Гройс, Юрий Афанасьев, Игорь Клямкин, Михаил Рыклин, Марлен Хуциев, Юрий Любимов...

В этом году в него прибавились главные редактора литературных журналов — С. Чупринин («Знамя»), Л. Лазарев («Вопросы литературы»), И. Барметова («Октябрь»), А. Эбаноидзе («Дружба народов»), мы с Андреем Василевским и новые «звезды» отечественной критики и социологии — Михаил Берг, Катя Деготь, Борис Дубин, Марина Коренева, Катя Метелица, Гала Наумова...

Особым украшением встреч были три всемирно-известные женщины — Татьяна Толстая, Полина Дашкова и Ирина Прохорова. О последней следует написать особо.

Когда я просматривал список участников, то прежде всего обращал внимание на деловые и профессиональные характеристики, приведенные в их коротких биогра-

фиях. Они были составлены в таинственном и изощренном стиле:

«Автор и ответственный редактор работ о нормативных аспектах русской и советской литературы»; «номинатор литературных премий Букера и «Северная Пальмира» (то есть был выдвинут — но не получил. Так, что ли?); *«Колумнист газеты «Коммерсант»; «независимый писатель и литературовед»; «Куратор выставок «Память тела, нижнее белье советской эпохи»; «свободный лектор», «ведущий научный сотрудник», «свободный сотрудник» «свободный журналист», «приглашенный доцент», «координатор конкурса», «эксперт по Восточной Европе. Живет во Франции, Германии и России», «Выступает в саунд-перфорансах», «в сферу ее компетенции входит часть программы издательства, охватывающей таких писателей, как Виктора Ерофеева и Людмилу Петрушевскую»...*

Узнать в этом гибриде советско-демократического словоблудия, чем же реально занимается человек и каковы его заслуги перед культурой, было невозможно

Когда же я дошел до биографии Ирины Прохоровой — главного редактора «Нового литературного обозрения», то окончательно впал в недоумение: сведения о ней были напечатаны на английском языке. Даже о немцах рассказывалось на русском, а о нашей Прохоровой на английском. Это обстоятельство заинтересовало меня, и я стал осторожно расспрашивать своих знакомых, кто она такая. Сведения оказались противоречивыми. Кто-то говорил, что Ирина — сестра русского олигарха из империи Потанина, другие утверждали, что не сестра, а жена одного из совладельцев «Норильского никеля»[1]. Как бы то ни было, но когда она шла в ресторан к роскошному

[1] Через несколько лет выяснилось, что она все-таки сестра одного из богатейших наших олигархов, действительно совладельца «Норильского никеля» Михаила Прохорова, так нелепо попавшего в сети французской полиции вместе с эскортом из несовершеннолетних проституток во время новогодних праздничных оргий на французском курорте Куршавель.

шведскому столу, или к уютным креслам в вестибюле с чашечкой кофе в руке, лица и взоры окружающих поворачивались в ее сторону. От нее исходили магнетические запахи дорогой косметики и больших денег. А это бессознательно учитывалось всеми, кто подходил и заговаривал с этой женщиной постбальзаковского возраста, косящей под девочку.

Даже породистая внучка графа Алексея Толстого — Татьяна, опуская свои надменно выпученные глаза, с невольным подобострастием склонялась к новорусской Прохоровой своим грузным телом, почтительно протягивая сестре миллиардера свою очередную гениальную рукопись. Важные немецкие профессора, чиновники и писатели с почтением трясли узкую руку Прохоровой, украшенную кольцами и синеватыми жилами, гораздо горячее нежели длань главного редактора «Знамени» Сергея Чупринина, или даже Полины Дашковой, чьи тиражи, как свидетельствовала ее биографическая справка, превышали на тот день 30 миллионов экземпляров. Но миллионы Ирины и Полины были, видимо, разного качества.

Руководитель Потсдамской встречи седовласый профессор Вольфганг Айхведе, открывая нашу дискуссию на тему «Литература между властью и маргинализацией», определяя ее ход, повороты, возникающие споры и противоречия, чаще, нежели к кому-либо, обращался к как третейскому судье и главному арбитру к Ирине Прохоровой, и она, потряхивая рыжеватыми кудрями, вещала столпам отечественной демократической словесности о том, что *«мышление в рамках национальных культур становится недостаточным»*, что *«Набоков для русской литературы, как Пушкин, стал нашим всем», что «опыты Набокова и Бродского вывели русскую литературу из интеллектуализированного гетто», а также «кто не знает чужих языков — не знает ничего о своем»*... Услышав последнюю ее мысль, я подумал о том, что профессор философии, искусствоведения, теории СМИ в институте дизайна г. Карлсруэ, сотрудник международного исследовательского центра культуроведения г. Вена, сотрудник музея

искусств Гарвардского университета в Кембридже, изучавший философию и математику в Ленинградском университете, выехавший из СССР в 1981 году — Борис Гройс, полиглот, свободно трекающий на нескольких европейских языках, знает о русском языке, конечно же, гораздо больше — Есенина, Шолохова, Твардовского, Распутина, Шукшина и прочих «одноязычных»... Именно эту язвительную реплику я хотел ввести в обращение после фразы Прохоровой о языке, но седовласый Вольфганг скользнул равнодушным взглядом по моей поднятой руке, и я понял, что слова мне не дадут, вышел из зала заседания покурить, сел за низенький столик в вестибюле и стал перебирать какую-то прессу. В одной из русскоязычных газет увидел фотографию Прохоровой и панегирик в ее честь, как великому издателю, просветителю и красивой женщине, а чуть ниже ее небольшую речь на какой-то тусовке, которая заканчивалась четверостишием в жанре частушки а ля рюс с хорошим матерным словом в последней строке. Тут-то я окончательно поверил, что она действительно жена либо сестра российского олигарха, а также истинная просветительница не слабее Екатерины Дашковой. К сожалению, я эту газетку не догадался взять с собой и потому не могу матерную частушку процитировать дословно, но вспомнил, что журнал «Новое литературное обозрение» Прохоровой, издающийся вот уже 10 лет на великолепной бумаге и бесплатно рассылающийся по библиотекам, давно уже легализовал грязную матерную речь на своих страницах под видом научного лингвистического анализа нецензурных произведений русской литературы, а также по причине необходимого изучения ненормативной лексики русского языка. То ли за эту отвязанность, то ли за ее идеи и мысли, которые я процитировал выше, но в сентябре 2003 года Ирина Прохорова получила одновременно две престижных премии: — американскую «Либерти» «за упрочение идеалов открытого общества» и Российскую Государственную. До этого на высшую государственную награду России наш Союз писателей выдвигал покойного Дмитрия Балашова, Владимира Личутина,

Юрия Кузнецова, меня за книгу о Есенине, вышедшую в серии ЖЗЛ, но ни один из нас, как говорится рылом не вышел, а потому придется нам всем радоваться успехам сестры (или жены) норильского миллиардера, получившей на булавки какие-то несчастные 300 тысяч рублей.

* * *

Со стен зала заседаний, где начался наш исторический форум, на меня смотрели громадные фотопортреты Татьяны Толстой, Дмитрия Пригова и Полины Дашковой.

Заседание открыл посланник нашего посольства Владимир Поленов. Говорил он с пафосом и долго, но я записал из его речи лишь одну ключевую фразу:

«Возникают комплексные мировые литературы». Что это такое — я не понял (в свое время у нас были комплексные обеды), но во всяком случае я догадался, что национальным литературам в мире комплексных делать нечего.

Седовласый профессор Айхведе, руководивший дискуссией, поклонившись Пригову и Татьяне Толстой («Вас в Германии знают») заявил, что, несмотря на усилия Германо-Российского форума и на многие другие подвижки, «Россия все еще не принадлежит Европе». Я поднял руку, чтобы сказать, что ничего страшного в этом нет, напомнить им пушкинское: «Европа в отношении России была всегда столь же невежественна, сколь и неблагодарна», но режиссер форума посмотрел поверх меня и дал слово знаменитому в Германии Виктору Ерофееву. Тот сообщил присутствующим, что приехал из Франкфурта, где от Российской стороны он работал кем-то вроде комиссара (я так понял. — *Ст. К.*), книжной ярмарки и выдал несколько своих идеологических постулатов:

«*Русской литературы больше не существует. Зеркало разбито*» (при этих словах аудитория довольно зашумела, зашелестела, обмениваясь взглядами, улыбками, репликами. Очень им этот приговор понравился). «*Мы наследники ксенофобской литературы*»

«Литература на Западе обладает понятием самоцензуры, инстинктом политкорректности и толерантности и основывается на рыночных ценностях»... (ну чем не идеолог!)

Он говорил, а в моей памяти всплывали мысли и строки из великой русской поэзии:

Ты царь! Живи один, дорогою свободной
Иди туда, куда зовет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный...

(А. Пушкин)

Отдам всю душу октябрю и маю
Но только лиры милой не отдам...

(С. Есенин)

Нам внятно все — и гальский острый смысл,
И сумрачный германский гений...

(А. Блок)

Вас положат на обеденный,
А меня на письменный...

(М. Цветаева)

Никакой самоцензуры и политкорректности, никаких рыночных ценностей и толерантности, никакой ксенофобии... Страсть, духовная жажда, широкие объятья миру, чувство величайшего достоинства... Что случилось? Почему все с такими довольными рожами лезут в загон самоцензуры и толерантности? Может быть, просто ощущая свое духовное бесплодие, свою творческую импотенцию? К силе им всем хочется прислониться, к деньгам, к Ирине Прохоровой, потому и долдонят одно и то же, что, мол, в наше время литература потеряла свое суверенное значение и может существовать лишь как второстепенное подразделение империи СМИ, смиренно и покорно

обслуживая ее. Ну и обслуживайте, а мы еще что-нибудь напишем. Пока я думал обо всем этом, социолог Борис Дубин с уверенностью заявлял, что *«худшие враги литературы — это «будущее» и «прошлое»*, то есть *«нетерпение»* и *«ностальгия»*, что литература должна жить только сиюминутным настоящим. Словом, как поется в шлягере, *«есть только миг между прошлым и будущим»*. Бедный Блок, веривший в то, что *«прошлое страстно глядится в грядущее»*! Нынешним конформистам страстно хочется, чтобы история закончилась и наступил вечный кайф, с бесконечными форумами, пятизвездочными отелями, шведскими столами и шумными тусовочными фуршетами, а вокруг чтобы никаких национальных литератур, никаких народов, исторических бурь и страстей...

Под эту сумятицу моих мыслей в уши залетали обрывки ихних приговоров истории:

«Слово «русский» определяется, как «русский человек». Это высокомерие заложено в языке» (Марина Коренева).

«Появились космические бастарды, которые лучше нас понимают будущее. Будущее литературы за ними» (Гала Наумова).

«Провокация в современной литературе совершенно необходима» (Борис Гройс).

«Нынешний писатель работает на компьютерах, и это заранее обусловливает его внедренность в рыночные отношения» (он же).

А я только что получил письмо от Василия Белова, о том, что он свою книгу о композиторе Валерии Гаврилине уже переписал от руки дважды, но, возможно, и еще перепишет.

Да и Распутин, несмотря на болезнь глаз, до сих пор пишет от руки своим мельчайшим бисерным почерком.

Георгий Свиридов всю свою книгу «Музыка как судьба» написал на блокнотах, нотных тетрадях, листочках бумаги, а порой и просто на клочках — когда вдохновение приходило. Юрий Кузнецов до конца дней своих писал собственной дланью стихи и поэмы с черновиками, перебеливал их, сжигал черновики и пепел пускал по вет-

ру со своего балкона во Внуково. Я сам испытываю подлинное наслаждение, когда переписываю и правлю свои рукописи. Книги о Есенине и «Поэзия. Судьба. Россия» написаны от руки с первой до последней страницы. Все книги Вадима Кожинова рождались из рукописей.

Цветаева права: «**Вас положат на обеденный**» (на шведский), а нас «**на письменный**».

* * *

В конце концов, осатанев от постоянной присяги моих коллег в толерантности и политкорректности, я поднял обе руки и Виктор Ерофеев, сменивший на председательском месте немецкого профессора, дал мне слово. Понимая, что слушать меня будут невнимательно, я прибег к своего рода провокации и произнес магическое для аудитории имя — «Мандельштам». Ушки на макушках встрепенулись, а мне только этого и надо было.

— *Все крупнейшие поэты и писатели России советской эпохи, — сказал я, — были творцами авторитарного склада. Они страстно искали истину в последней инстанции. «Поэзия есть чувство правоты», — говорил Осип Эмильевич. «Трагедий не вернуть», — горевал он в воронежской ссылке, — но, мечтая о причастности к Большому стилю эпохи, продолжал: — «...но эти шевелящиеся губы, но эти губы вводят прямо в суть Эсхила — грузчика, Софокла — лесоруба...»*

России своими, — продолжал я, — историческими и географическими просторами естественно и неизбежно делает своих сыновей и пасынков великими, укрупняет чувства всех чужестранцев, прикасающихся к ее тайнам. К Василию Белову в его родную Тимониху время от времени приезжает известный японский литературовед, профессор, интеллектуал. Первые день-два он просто сидит на лавочке возле избы, молчит, крутит головой, вглядывается в бесконечные лесные дали, пересеченные реками и ручьями, исчезающие из глаз за горизонтом, за краем земли... Вживается в иной мир, как водолаз на глубине посте-

пенно, — чтобы кессонная болезнь не настигла. — приспосабливает душу к иному, нежели в перенаселенной Японии, давлению среды... Этакий японский маркиз де Кюстин... Разве что не может сказать словами Мандельштама: «Уведи меня в ночь, где течет Енисей, где сосна до звезды достает».

Кстати, у Мандельштама есть стихотворение «К немецкой речи», где поэт вспоминает бога по имени Нахтигаль — соловья, своеобразного покровителя немецкой поэзии:

Бог Нахтигаль — дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык, он мне не нужен!

Поэт, который жаждал быть пророком, мечтал о судьбе античного героя, повторявший вслед Пушкину слова о «вырванном языке»... что сейчас бы с ним случилось, если бы он услышал наши филистерские размышления о «толерантности и политкорректности» — да он бы проклял нас либо умер от огорчения «за великое племя людей»...

Произнеся все это в микрофон я поднял глаза и оглядел аудиторию. Мои слушатели смотрели на меня с недоумением и жалостью. В их глазах было какое-то брезгливое сочувствие, как будто я публично совершил некий неприличный поступок: и согласиться со мною нельзя, и сделать вид, что ничего не произошло, — невозможно... Словом, история, происшедшая во время прощального обеда у фрау Урфф, как бы повторилась.

Совсем недавно, увидев, как в какой-то телевизионной программе Виктор Ерофеев, уже весьма немолодой человек, с усилием (видимо, преодолевая остатки совести и стеснительности) прочитал отрывок из своего сочинения, наполненный развязной порнографической лексикой, я плюнул и выключил телевизор. Но в этот раз выступление пожилого отморозка заинтересовало меня.

— *Мы, представители масс-медиа,* — начал он, — *очень обеспокоены в последнее время всяческими угроза-*

ми со стороны власти. Вроде бы не зависим от нее, а все равно на душе кошки скребут. А вдруг она замыслила что-то недоброе? Но я хочу для вашего успокоения рассказать одну историю.

У меня на даче есть сосед, а у соседа громадная злая собака. У меня тоже есть собачка, но маленькая. Между нашими участками натянута сетка и собаки, когда увидят друг друга, бросаются к сетке и начинают отчаянно облаивать друг дружку, рычать до хрипоты — аж слюни у них текут... Собаки бегут вдоль сетки, бросаются на нее, скребут лапами, и так до конца забора, потом обратно, пока не устанут. И такое впечатление, что если бы не было между ними преграды — вцепились бы в глотку друг другу и, конечно бы, большая собака разодрала на куски маленькую. Смотрел я на них как-то и подумал: соседский пес — это власть, а мой — это мы, масс-медиа. Он бы несдобровал.

...Но однажды проводились у нас земляные работы, — разгородили наш забор в дальнем углу. Собаки, как всегда, утром вышли к сетке и понеслись вдоль нее, исходя лаем. Я ужаснулся: они мчались к тому углу, где сетки уже не было! Ну, думаю, пропал мой любимец — бегом за ним, а он уже столкнулся носом к носу со своим страшным врагом. Я задыхаюсь, бегу — и что же вижу: они обнюхали друг друга, потерлись носами и стали лизаться, удовлетворенно повизгивая. Забор кончился, и обнаружилось, что взаимная ненависть у них — притворная!

Ерофеев торжествующе оглядел аудиторию.

— Вот и мы с властью лаем друг на друга лишь потому, что между нами некий забор для порядка установлен. Но если его убрать, не беспокойтесь, с глазу на глаз мы всегда найдем общий язык и рвать глотку друг другу не будем!..

Аудитория одобрительно загудела, захлопала в ладоши... Лица Сергея Чупринина, Татьяны Толстой и Дмитрия Пригорова озарились радостью от неожиданного открытия: мы с властью не враги, мы всегда с ней договоримся, мы лаемся с нею лишь тогда, когда на нас смотрят непо-

священные! Выступавшие после Ерофеева ораторы один за другим восхищались ерофеевской притчей, так изящно развеявшей их тревогу. Многие стали рассказывать свои истории из собачьей жизни. Критик Саша Михайлов, вспомнил, правда, невпопад, что не всегда такие распри кончаются миром: при подобных же обстоятельствах его громадный пес откусил кусочек носа у соседнего пуделя, который просунул мордочку между штакетин. Пришлось заплатить хозяевам за нанесенное пуделю увечье. Однако никто не придал ни малейшего значения этому несчастному случаю. Всем хотелось, чтобы, когда окончится забор, вильнуть хвостом перед властью и увидеть в ответ одобрительное движение ее хвоста...

Я тоже вспомнил судьбу одной собаки, и на другой день подошел к Ерофееву.

— Однажды, господин Ерофеев, я поехал рыбачить и охотиться на Север, добрался до деревни, где жил мой давний знакомый помор Виктор, переночевал у него а утром он собрался забросить меня на лодке в верховье реки, за сотню километров... Там мне было суждено прожить две недели, по истечении которых за мной должен был прилететь вертолет.

Мы перед отъездом выпили на посошок и хозяин щедро предложил гостю, глядя на нескольких своих собак, лежащих во дворе:

— А возьми с собой старого Музгара!

Я обрадовался подарку, но потом засомневался:

— А как я тебе его верну? Меня же «вертушка» с озер заберет... А в Москву собаку я взять не могу.

— Да застрели, а шкуру снимешь и в Москве шапку себе сошьешь.

— Ты что, Витя! — возмутился я. — Две недели буду жить с Музгаром бок о бок, кормить его, разговаривать с ним, а потом застрелю и шкуру сниму?

— Да он у меня зря только хлеб ест, остарел уже — лося не облает, нюх потерял... Не рабочая собака!

Я видел в окно одряхлевшего Музгара, к которому приставал молодой щенок. Музгар, покрытый бурой шер-

стью, отворачивался от молодого нахала, тряс своей добродушной мордой и не подозревал, какие речи мы ведем о его судьбе.

В разговор вступила Ольга, жена Виктора.

— А у нас мужик, который не может старую собаку застрелить, — не мужик, — простодушно сказала она, подавая на стол отварную щуку...

Через час мы погрузили шмотки в длинную деревянную лодку. Виктор свистнул Музгара, который с радостью вспрыгнул на нос, мотор взревел и мы мимо желтых берез и лиственниц, разрезая черную мегорскую воду, понеслись к далеким озерам... Время от времени Виктор выбрасывал Музгара на берег, и тот бежал за лодкой по прибрежным браконьерским тропам, а когда выбивался из сил, то хозяин благосклонно разрешал ему вспрыгнуть в лодку...

— А то разъелся, отяжелел от домашней жизни, пусть в охоту втягивается!

Две счастливые недели я прожил с Музгаром бок о бок в палатке. Мы рыбачили, добывали рябчиков и тетеревов, разговаривали друг с другом у костра, а когда в небе загудела «вертушка» и села на клюквенное болото, я обнял старого пса:

— Прощай Музгар! Беги обратно в деревню! Не поминай лихом!

Музгар лизнул меня в щеку, — и когда вертолет сделал круг над озерами, я в иллюминатор увидел, как брошенная собака уже потихоньку бежала на север — к Белому морю, к родной деревне...

Вернувшись в Москву я написал Виктору письма, в конце которого спрашивал о Музгаре...

Вскоре получил ответ, где было написано, что Музгар худой, с разбитыми в кровь лапами, все-таки прибежал через несколько дней после моего отлета домой...

— Вот так, Ерофеев, — завершая свой рассказ, сказал я старому плейбою. — Кроме собаки-власти и собачонки, которую олицетворяете вы и ваши партнеры по масс-медиа, есть еще собака — народ. Если ее не застрелишь,

она обязательно рано или поздно вернется на свой двор, в свою деревню, на свою землю.

Возле нас возникла внучка Алексея Толстого: дымя сигаретой, она с высокомерной страстью сообщала Ирине Барметовой из «Октября»:

— Я ни за что не летаю на наших внутренних линиях, там у всех самолетов выработанный ресурс!

Когда я вернулся в Москву и прочитал книгу Георгия Свиридова «Музыка как судьба», то с особым интересом остановился на его записи от 30 июля 1989 года:

«Сегодня днем слушал по радио литературную передачу из Лондона, беседа английского корреспондента с какой-то женщиной из Советского Союза. Дама эта говорила очень возбужденно, очень агрессивно, тон — своего рода интеллигентская вульгарность, нечто похоже с одной стороны, на московскую лит. даму, с другой на торговку с Киевского подола... Высокомерие... всезнайство... не описать моим бледным пером.

Смысл беседы: лучшая литература (всех времен) создавалась эмигрантами. Пушкин вообще с детства не знал русского языка, Гоголь «Мертвые души» сочинял в Риме, Тургенев — весь в Европе (с моей точки зрения, даже и в ущерб творчеству).

Все это говорилось необыкновенно наглым тоном. В конце концов выяснилось, что это была советская писательница Толстая, внучка Алексея Толстого... Говорили, что писатель когда-то поучал своего старшего сына: «Бойся коммунистов, сионистов и педерастов!» Сын и принес ему вышупоминаемую внучку. И в этом есть возмездие»

* * *

В реферате, составленном немкой Зигфрид Лефлер для «Пятых потсдамских встреч», я нашел несколько любопытных и поучительных мыслей.

«Заметки с немецкого книжного рынка»

«Немецко-говорящие книжки издательства страдают от перепроизводства, ежегодно издавая 90 000 книж-

ных новинок. Это порождает беспощадную конкуренцию и ведет к искусственному старению новых книг в течение нескольких месяцев».

«Больше всего любят писать о том, что обеспечивает рыночный успех. Яркий пример тому «Гарри Поттер». Освещение этого события масс-медиями самодостаточно. Единственное, чему оно служит, это масс-медийный культ, ими же созданный и прорекламированный. Коллективно воспеваются — и таким образом повышаются — чисто экономические показатели. И в этом круговороте мнение литературной критики не в счет, поскольку излишне. Критика как инстанция совершенно бессильна. Ее классические императивы более не действуют, а ее категории обращены в никуда. С помощью традиционных для литературной критики методов критическая оценка книг наподобие «Гарри Поттера» просто невозможна, от критики они защищены, иммунитетом, поскольку благодаря завоеванной ими доле рынка они утверждают по всему миру собственные критерии массовой развлекательности. Критику остается только исполнить роль зазывалы, пропагандиста и трубадура успеха массовых продаж».

«Кто сегодня определяет в Германии, какие книги писать, издавать, распространять, продавать, обсуждать и читать? Традиционный ответ — авторы, издатели, редакторы, книготорговцы и критики — более не соответствует положению вещей. И на немецком книжном рынке с начала девяностых годов возросло значение литературных агентов. За кулисами они превратились в могущественных стратегов книжного рынка. Это они определяют тенденции, диктуют литературную моду. К незримым новым дирижерам книжного рынка можно причислить и начальников закупочных отделов крупных сетей книжных магазинов. Они обладают правом определять, что будут читать, поскольку при закупке и размещении книг на прилавках самолично решают, какие названия книг в магазине попадутся на глаза потребителю. Как показывает статистика, все больше людей читают книги так

же, как смотрят телевизор. Щелкают тексты, как телепрограммы»

«Для печатных органов совершился тайный переворот читательского круга. Очевидно, что их адресатом уже не является хорошо информированный, внимательный, терпеливый, образовывающийся читатель. Они молча переключились на другой тип, на мечущегося, нетерпеливого, рассеянного читателя, читателя от случая к случаю, быстро листающего, не располагающего ни временем, ни вниманием. Такому читателю нужны совершенно иные раздражители, резкие сигналы, короткие тексты... Разве способна классическая литературная критика с ее требованиями к качеству дойти до подобного читателя?»

«Все торопливее скороговорка, с которой провозглашается новая литературная мода. Создание литературной моды это, прежде всего рекламное предприятие и одновременно крик, чтобы привлечь внимание на безнадежно перенасыщенном книжном рынке. Чем больше литературной продукции по своему характеру приближается к массовой и тонет в ней, тем больше изобретательности приходится проявлять, приклеивая ярлыки, чтобы постоянно подновлять инсценировку одного и того же и утверждать, что возникают новые волны, даже если они почти не существуют или отсутствуют... Изображение расхожих ярлыков стало важнее открытия хороших литературных текстов».

Вот до чего довело нынешнее племя европейских интеллектуалов великую литературу Томаса Манна и Гарсии Лорки, Вальтера Шубарта и Кнута Гамсуна... Поистине мертвый хватает живого: сами выродились и ждут не дождутся, чтобы и мы стали такими же бесполыми, толлерантными и политкорректными, как все ихнее племя, погружающееся в энтропию, в небытие, в скуку смертную...

Вот почему на Франкфуртскую книжную ярмарку поехали книги Ирины Денежкиной и Бориса Акунина, Пелевина и Пригова, а не Валентина Распутина, не Георгия Свиридова, не Владимира Личутина и Юрия Кузнецова.

Сначала я было расстроился, а потом подумал и решил: «Тусуйтесь, так вам и надо. Пусть змея наконец-то укусит собственный хвост!»

Спасибо немке Зигфрид Лефлер, сделавшей честные и глубокие выводы о рыночной болезни и смерти западной литературы. Спасибо немецкому писателю Мартину Вальзеру, так сказавшему о свободе слова в Германии: «*Говорить свободно в атмосфере морально-политического линчевания? В наше время царит террор добродетельной политкорректности, который всякое свободное выражение мнения уподобляет смертельному риску*».

Сегодня Зигфрид Лефлер и Мартин Вальзер спасли остатки чести немецкой литературы от натиска тех, имя которым — легион.

* * *

— Нам надо возвратиться в историю, — заявил в завершении форума главный редактор российского издательства Ad Marginem Александр Иванов. «Нам — это русским». И сказаны эти слова были в Потсдаме. Устав от подобного словоблудия, я вышел из отеля на улицу. Над городом в синем небе плыл звон. Плыл над казармами из красного кирпича, построенными Фридрихом Великим, над громадными вязами и платанами парка Сан-Суси. Звон доносился с колокольни собора Петра и Павла, в котором мирно и поочередно шли то протестантские, то католические службы. За собором в тени развесистых вековых лип находилось советское воинское кладбище. Ровные ряды каменных досок, фамилии, пятиконечные звезды, пустые углубления, в которых некогда были фотографии.

В темных липовых кронах щебечут птицы, жужжат пчелы... Я отворил тяжелую железную дверцу ограды и вошел в Царство Мертвых. В центре кладбища возвышался обелиск из грубо отесанных каменных плит. С гербом Советского Союза и четырьмя бронзовыми фигурами, глядящими на четыре стороны света — пехотинец, летчик, танкист, моряк. Русские скуластые лица, автоматы, шле-

мы, пилотки, бескозырки. На это кладбище нас в первый же день пребывания в Потсдаме сводил немецкий экскурсовод. Заодно он рассказал поучительную историю о том, как в XVIII веке прусский король выменял то ли у Петра III, его то ли у Екатерины II роту двухметровых русских гренадеров. Великаны были нужны Фридриху, потому что с таким ростом они гораздо быстрее малорослых немцев умели заряжать с дула длинноствольные ружья того времени. А взамен русский императорский двор, оказывается, получил от немцев Янтарную комнату. Что было делать крепостным подневольным солдатам? Поселились в Потсдаме, построили бревенчатые рубленые избы, поженились на немках, улучшили прусскую породу, назвали в тоске по родине свое поселение русской деревней, состарились и полегли в чужую землю. Грустная история, которую нынешнее время обволокло покровом мелкой политической лжи. В те дни, когда мы были в Германии, Россия праздновала 300-летие Санкт-Петербурга. Наш президент и его высшие чиновники, выступавшие по телевидению, не раз вспоминали о Янтарной комнате. Но, желая угодить немецким гостям, говорили одно и то же, что немцы, мол, подарили ее России, что потом во время войны она неизвестно куда исчезла, но благородные немцы за свои деньги восстановили ее и подарили во второй раз. И ни слова о том, что роту крепостных мужиков мы отдали за нее в XVIII веке, а в XX за вторичное «дарение» — целое государство отдали — Германскую Демократическую Республику.

Думая обо всех этих подлостях истории, я бродил по кладбищу. Чугунная доска со словами на немецком и русском: «*Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей родины*».

На каменных плитах, ушедших в плотный травянистый дерн бесхитростные надписи, сочиненные боевыми товарищами погибших солдат:

«*Младший лейтенант Никитин Александр Михайлович. 24.4.1945 года*». И все...

«Солдат Киляков. Погиб в боях за родину 5.1.45 г.» А вот эпитафия, короче которой не бывает: *«Измайлов Абандула»*.

Бои в Потсдаме, видимо были столь жестокими, что не всегда у живых находилось время и силы, чтобы похоронить павших достойно, выяснить все имена и фамилии. Потому-то на кладбище чуть ли не каждая третья могила — *безымянная. «Здесь похоронены 3 бойца советской армии, погибшие в боях за свободу и независимость нашей родины»*. Или: *«Солдат Дельнов Иван Сафронович, с ним 4 человека»*.

Множество солдат похоронено уже после победы — в Потсдаме были громадные военные госпитали, в которых умирали наши тяжело раненные победители: *«Шаповалов Алексей Филиппович. Погиб 13.6.1946 года»*... И все равно — не *«умер»*, а *«погиб»*!.. *«погиб на боевом посту»*, *«погиб при выполнении служебных обязанностей»*... А вот плита с датой 7 августа 1945 года, война три месяца как закончились, но слова звучат все с той же торжественностью: *«Погиб в боях за родину»*...

Всего их здесь больше тысячи человек... Среди них есть и женщины. Связистки, медсестры.

Липы роняют семена с крылышками на могильную землю, в их зеленом чреве курлычат голуби, часы на колокольне со звоном отмеряют время. Оно идет, оно плывет над Потсдамским дворцом, где хранятся великие хартии, подписанные сталинской дланью. Время бесшумно парит над развалинами берлинской стены и над богатырским изваянием солдата с ребенком на руках в Трептовпарке. Оно, как вечерний воздух, мерцая, струится над русской деревней, где жили в XVIII веке наши солдаты, заложники Янтарной комнаты...

Лежат крепостные мужики-гренадеры в прусской земле, лежат рядом с ними их потомки, «гул забвения и славы», сливаясь с медным боем часов, плывет над могилами... А в это время жрецы толлерантности и политкорректности талдычат о том, что России следует «возвра-

титься в историю Европы». И это они говорят в Потсдаме, где сыны России в 1945 году определили на несколько поколений ход этой самой пресловутой истории...

...А Франкфуртская книжная ярмарка прошла, как и было ей положено. От России туда приехали за государственный счет аж целых сто тридцать писателей, поэтов, редакторов, литературных агентов, воспитанных в духе политкорректности и толерантности... Среди них не было ни одной души, представляющей патриотическое крыло русской литературы. Развлекалась делегация на халяву во все тяжкие. Художник Гриша Брускин в кампании с Дмитрием Приговым, Ириной Прохоровой и Львом Рубинштейном организовали перформанс: «Гуд Бай СССР» Как пишет «Российская газета» от 10 октября 2003 года Брускин смастерил из Пригова космонавта, *«загипсовал своего друга в полосы бумаги, ткани, какие-то тряпицы и обрывки войлока. Космонавта чуть-чуть раскрасили, а Ирина Прохорова в белом фартуке и красном галстуке начала обучать новорожденного грамоте... Космонавт изображал СССР. Замысел художников понятен: глупое гипсовое создание заслуживает только смеха и безжалостного изгнания из сердец».*

Вот так поглумились на мировой тусовке наши мародеры над прошлым, поплясали на Потсдамском кладбище, на могилах всех погибших в новой гражданской войне — карабахской, абхазской, приднестровской, чеченской, порадовались нашествию на их родину СПИДа и наркотиков, умилились заказным убийствам, вымиранию народа, беспризорщине. Посмеялись над вымерзающим людом Камчатки... Вот что такое перформанс по-франкфуртски.

Словом, как сказал гениальный немецкий поэт: «Нет великого Патрокла, жив презрительный Терсит»...

2003—2007 гг.

«СЕБЯ ГУБЯ, СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧА...»

Турецкая Анталия встретила нас с женой горячим песком, нежным рокотом Средиземного моря и лающей немецкой речью, которая звучала всюду — на пляже, в сауне, в ресторане. Я сразу вспомнил, что писал Осип Мандельштам о немецкой речи:

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный.

Немки были, как и положено им, крупными и мясистыми, а в немцах при желании можно было увидеть выродившихся потомков древних тевтонов, либо сподвижников Мартина Лютера, либо даже сыновей прославленных асов из люфтваффе. Гуляя по песчаным дорожкам, они трясли грузными животами, их плечи и груди были разукрашены татуажем — временными фальшивыми татуировками, изображавшими то каких-то хищных птиц, то чертей и другую устрашающую нечистую силу. Ходили немцы надменно и даже спесиво, но было видно, что у многих из них одышка, у кого-то больные коленные суставы, у кого-то пальцы, скрюченные отложением солей. Их лица с тяжелыми подбородками были разукрашены багровыми, а то и синими склеротическими прожилками, видимо, от неумеренного потребления пива.

Кстати, о пиве. Его, а также другие местные напитки в нашем клубном отеле наливали даром. Впрочем, может быть, и не даром, поскольку называлась эта услуга в переводе на русский язык очень завлекающе: «все включено». Вроде бы, поскольку все оплачено, пей с утра до вечера, цеди из бочонков вино, подставляй бармену стакан под янтарную пивную струю, показывай пальцем на бутылки с местным коньяком... Все включено!

От курортной скуки и ежедневного наблюдения за немцами я быстро заскучал и вспомнил, что прихватил с

собой из России жуткую и знаменитую книгу, о которой много слышал всю жизнь, но так и не удосужился прочитать до сей поры. Она лежала у меня в чемодане, на самом дне, старательно завернутая в спортивные штаны, и называлась «Майн кампф»...

Дело в том, что за неделю до отъезда я пошел на траурный митинг, которые ежегодно устраиваем мы, «красно-коричневые», на задах Белого дома в память обо всех убиенных Ельциным осенью девяносто третьего... Народ медленно стекался от метро к стадиону, на ограде которого были прилеплены портреты погибших. Под портретами горели свечи, кое-где лежали бумажные цветы и осенние астры. Прямо на тротуаре шла бойкая торговля свежими газетами и патриотической литературой. Многие из торговцев знали меня и то и дело предлагали свой товар:

— Станислав Юрьевич! Есть новое издание Солоневича! Станислав Юрьевич! Брошюра Юнга о холокосте! Станислав Юрьевич! «Молния» — газета настоящих коммунистов!

Я улыбался, благодарил и медленно шел дальше. Но книгоноши не унимались:

— Станислав Юрьевич! А что бы вы хотели?

— Да разве что «Майн кампф», — отшутился я, понимая, что едва ли у кого-то из них сохранилась эта книга, изданная, по слухам, несколько лет тому назад каким-то отчаянным издательством.

Но через минуту я почувствовал на плече чью-то руку. Худой, изможденный человек моего возраста, отвернув борт капроновой куртки, показал мне черную обложку, на которой золотыми, готическими немецкими буквами было пропечатано роковое название «Mein Kampf».

— Только для вас, Станислав Юрьевич, — оглядываясь по сторонам, полушепотом сказал коробейник. — Только для вас за двести рублей!

Делать было нечего — сам напросился. Я достал две бумажки, сунул книгу в сумку, но, когда принес ее домой и показал жене, та пришла в ужас:

— Ну вот, и так тебя вся демократическая пресса фашистом называет, а теперь, если узнают, вот уж возрадуются!

— Ничего, Галя, я эту книгу в дорогу возьму, там, в Турции, делать нечего, вслух тебе читать буду.

Но мои слова, естественно, подлили масла в огонь.

— Ты что, с ума сошел? А если на таможне обнаружат?

— Ты, Галя, до сих пор живешь советскими страхами, а у нас сейчас свобода слова. Что хочешь читай, хоть на Родине, хоть за границей. И «железного занавеса» нету никакого!

— Да ну тебя с твоими глупыми шуточками! — сказала жена и, поджав губы, вошла на кухню, откуда все-таки тут же раздался ее голос: — И не думай эту книгу брать за границу. Отнеси ее обратно, туда, где взял...

Я, однако, промолчал и, когда мы собирали вещи, украдкой сунул мрачный черный томик на самое дно чемодана. Всю неделю, пока мы жарились на песке и по нескольку раз в день залезали в теплое соленое море, жена была озабочена, чтобы соседи, загоравшие вокруг нас на лежаках, никоим образом не заметили бы, что я читаю книгу, проклятую во всем цивилизованном мире.

— Галя, послушай, что этот мерзавец писал аж в 1924 году!

— Да тише ты, труба иерихонская! — Жена испуганно приподымала голову, озираясь на немцев, которые неподвижно лежали вокруг нас, как моржи или котики на Командорских островах.

— Нет, — переходя на полушепот, продолжал я, — этот австрийский ефрейтор, пока ему Розенберг мозги не запудрил, соображал о конце истории не слабее высоколобого Френсиса Фукуямы. Американский интеллектуал дошел до подобных мыслей лишь через шестьдесят лет! Слушай, что сочинил этот недоучка в баварской тюрьме:

«*В дни моей зеленой юности ничто так не огорчало меня, как то обстоятельство, что я родился в такое время, которое стало эпохой лавочников и государственных*

чиновников. Мне казалось, что волны исторических событий улеглись, что будущее принадлежит только так называемому «мирному соревнованию народов», т. е. самому обыкновенному взаимному коммерческому облапошиванию при полном исключении насильственных методов защиты. Отдельные государства все больше стали походить на простые коммерческие предприятия, которые конкурируют друг с другом, перехватывают друг у друга покупателей и заказчиков и вообще всеми средствами стараются подставить друг другу ножку, выкрикивая при этом на всех перекрестках каждое о своей честности и невинности. В пору моей зеленой юности мне казалось, что эти нравы сохранятся навечно (ведь все об этом только и мечтали) и что постепенно весь мир превратится в один большой универсальный магазин, помещения которого вместо памятников будут украшены бюстами наиболее ловких мошенников и наиболее глупых чиновников. Купцов будут поставлять англичане, торговый персонал—немцы, а на роль владельцев обрекут себя в жертву евреи (...)

В эту мою молодую пору я частенько думал — почему я не родился на сто лет раньше. Ах! ведь мог же я родиться, ну, скажем, по крайней мере, в эпоху освободительных войн, когда человек, и не «занимавшийся делом», что-нибудь да стоил и сам по себе».

— А? Каков романтик, каков честолюбец!

— Пошли лучше купаться! — не желая обсуждать опасную тему, предлагала жена. — Да книгу-то переверни заголовком вниз или лучше в песок зарой... Дай-ка я ее в сумку спрячу! — И она совала книгу в сумку, зорко оглядываясь на добропорядочных и законопослушных тевтонов, дремлющих, сопящих, округлых, как ржавые цистерны, налитые халявным пивом.

...Изомлев от безжалостного солнца, лучи которого пробивали защитные ткани, натянутые над нашими головами, мы бежали к морю. Иногда вслед за нами медленно сползали со своих лежбищ немецкие пары. Как ластоногие, они добирались до воды, плюхались в пучину,

которая тут же выходила из берегов, переворачивались на спины, и я наблюдал, как на волнах, возвышаясь над уровнем моря, колышутся их животы, словно обтекаемые рубки небольших подводных лодок. И тогда Зигфрида от Брунгильды можно было отличить лишь по тому, что на верхней губе мужской особи топорщилась, как у моржа, аккуратная щеточка подстриженных жестких усов... А когда они, фыркая и отряхиваясь от соленой воды, выползали на берег к лежакам, то каждая Брунгильда тут же посылала своего Зигфрида к соседнему бару, откуда он вскоре возвращался с кружкой, увенчанной белой шапкой пены, и дымящимся блюдом спагетти.

— Галя! А послушай, что будущий фюрер писал о немецких журналистах той эпохи. Ну это же были чистые энтэвэшники!

«Какую умственную пищу давала германская пресса нашему населению до войны? Разве наша пресса не внушала народу сомнения в правоте его собственного государства? Разве не наша пресса расписывала народу прелести «западной демократии» настолько соблазнительно, что в конце концов благодаря этим восторженным тирадам народ наш всерьез поверил, что он может доверить свое будущее какому-то мифическому «союзу народов».

Разве не наша пресса всеми силами помогала воспитывать народ в чувствах ужасающей безнравственности? Разве не высмеивала она систематически всякую мораль и нравственность, как нечто отсталое, допотопное, пока в конце концов и наш народ усвоил себе «современную мораль». Разве не подтачивали они систематически и неуклонно все основы государственного авторитета до тех пор, пока не стало достаточно одного толчка, чтобы рухнуло все здание. Всеми способами эта пресса боролась против того, чтобы народ воздавал государству то, что государству принадлежало. Какую угодно критику готова она была пустить в ход, чтобы унизить армию. Она систематически саботировала всеобщую воинскую повинность. Она направо и налево призывала к отказу в военных кредитах (...) Недаром ненависть всех врагов

Германии направлялась прежде всего против нашей армии, главной защитницы нашей свободы и национального самоутверждения. Что армия наша являлась главным оплотом свободы и главной нашей защитой перед властью биржи, видно уже из того, с какой жадностью версальские ростовщики набросились прежде всего на германскую армию. (...) Армия наша была той школой, в которой немец учился видеть благо народа в его силе и единстве, а не в лживых фразах об интернациональном братстве с неграми, китайцами, французами, англичанами...»

Прочитав не переводя духа эту длинную тираду, я сел и огляделся. Рядом с нами облюбовали кусочек пляжа три немецкие семейные пары. Представители сильного пола в этих парах были весьма колоритны. Каждый из них воплощал как бы своеобразный архетип нации. Один — самый маленький, весивший не более центнера, в профиль выглядел как чистый Бисмарк. Во время войны после возвращения в освобожденную Калугу в моем альбоме появились фашистские марки — писем из Германии оккупанты оставили в городе предостаточно. На трофейных конвертах, адресованных гансам и фрицам, часто попадалась марка с Бисмарком: волевое лицо с крупным подбородком, с густой, зачесанной назад шевелюрой и скобкой усов...

Второй, тянувший килограммов на сто двадцать, смахивал на Геринга залысинами и невысоким лбом, убегающим назад.

Третий, которого я назвал Колем, весил не менее полутора центнеров и мог в одной руке принести на пляж три кружки пива, захватывая каждую из них пальцем толщиной в сардельку... «Вырождаются европейские народы», — с горечью подумал я. О чем говорить, если гордые и некогда свободолюбивые сербы сдали своего Слободана Милошевича какой-то ничтожной бабе из Гаагского трибунала! И это сербы, которые 8 февраля 1942 года в стенах Острожского монастыря всем миром принимали на себя такую присягу:

«На этом месте, где наши деды приносили клятву свободе и возмездию, мы, продолжатели дела черногорских и бакешских родолюбов, клянемся, что останемся преданными духу своего народа, который в мужественной борьбе за свободу выковал своих героев, поэтов и священников, воздвиг свои крепости и монастыри. Клянемся, что не выпустим из рук винтовок, пока не уничтожим последнего фашиста на нашей земле, пока не победим, пока не завоюем счастья для детей наших, пока не спасем могилы наших предков».

Запись эта, некогда сделанная мною в Острожском монастыре, была в моих рабочих блокнотах, которые я взял с собой в Турцию, чтобы потихоньку продолжать книгу «воспоминаний и размышлений».

Надо сказать, что о немцах у меня было свое представление, и оно сложилось в 1982 году, когда мы с Галей поехали в Германскую Демократическую Республику, но не в многолюдной группе туристов, а по индивидуальной программе. Я с университетских времен кое-как мараковал по-немецки, и потому мы решили путешествовать по Германии без переводчика. Оно и дешевле и свободней. Однажды мы добирались из Лейпцига в Дрезден и в нашем сидячем купе познакомились с радушным немцем. Он в отличие от моих анатолийских оковалков был худеньким, подтянутым, разговорчивым. Словом, социалистическим. Я вскоре выяснил, где он служит, сколько у него детей, представился ему сам, объяснив, что я Schriftsteller (писатель) или даже Dichter (поэт), прочитал ему на память по-немецки одно стихотворенье Гейне из цикла «Путешествие в Гарц», — мой сосед пришел в восторг, который особенно разгорелся, когда я вытащил из чемодана бутылку армянского коньяку и предложил ему выпить за встречу. Жена, конечно, пыталась остановить меня взглядом, но безуспешно, и мы с воодушевлением выпили за сына (Sohn), за дочь (Tochter), за Deutsche Demokratische Republik, а потом вышли покурить в тамбур. Немец, видимо, потрясенный щедростью, с которой известный советский поэт (Dichter) распил с ним, ма-

леньким государственным служащим, бутылку дорогого коньяка, робко предложил мне зайти в поездной буфет и намекнул, что мы там выпьем за его счет знаменитого баварского пива. Пивом, конечно, не обошлось, поскольку наступил мой черед угощать, и я потребовал бутылку какого-то напитка под названием Doppel. Напиток был отвратительным, и чтоб сгладить впечатление от него, я придумал залакировать все то, что произошло, бутылкой немецкого вина с вычурным названием «Liebfraumilch» («Молоко любимой женщины»). После всего, поддерживая спутника под мышки, я привел его в купе, и слава Богу, что поезд уже подходил к Дрездену и у жены не оставалось времени на расправу. Мы выгрузили чемоданы на перрон и собирались уже идти в гостиницу, но укол совести остановил меня:

— Галя! А как же наш немецкий друг?

— Ах вы уже друзьями стали! — сказала жена — А я-то думала, что ты всех своих друзей хоть на две недели оставил в России.

— Галя! Ну неудобно человека оставлять в таком положении, — робко возразил я. — У него неприятности по службе могут быть.

— Ну иди, иди! — смилостивилась жена. — Выводи своего алкоголика. Но только до этой скамейки. Посадишь на скамейку и уходим. Никакой доставки на дом! Никакого такси!

...Мой немец, когда я вернулся за ним в купе, спал на скамье, свернувшись калачиком, счастливо улыбаясь каким-то сновидениям и грезам, жившим в его светловолосой голове. Наверное, он видел во сне Frau, Tochter und Sohn... Я приподнял его, вывел из купе. Послушно переступая ножками, он с моей помощью, даже не открыв глаз, вышел на перрон. Я посадил его на скамью со спинкой, на которую жена указала «слабым манием руки», немец тут же прилег, подтянул коленки к животу, прикрылся воротником плаща, и безмятежная улыбка снова просияла на его лице.

— Прощай, друг, — сказал я ему, и мы пошли к гостинице.

...Да, много воды утекло с тех пор! И Германская Демократическая Республика исчезла, и таких вот немцев — разговорчивых и общительных — я уже на турецком пляже не увидел. Нет уже среди них ни социалистов, ни национал-социалистов, ни тевтонов, ни штази — одни какие-то этнические муляжи с фальшивыми татуировками... Впрочем, через неделю я как-то смирился или даже почти подружился с нашими соседями, стал улыбаться им, кричать при встречах «гутен морген!» и уже без раздражения смотрел, как они, не дотерпев до обеда, каждые полтора часа плетутся к бару, а потом, дымя дорогими сигаретами, садятся за карты.

И, однако, это благостное времяпрепровождение в последний день нашей жизни в Анталии было нарушено самым неожиданным образом.

В этот день, с утра раскрыв черную книгу, я наткнулся на размышления, которые заставили меня задуматься.

— Галя! Смотри, что он пишет о своем немецком народе. Ты только послушай, как он беспощадно его бичует:

«*Сдавшись на милость победителя в ноябре 1918 г., Германия вступила на путь политики, которая неизбежно должна была привести к полному подчинению врагу. Все исторические примеры говорят за то, что если народ без самого крайнего принуждения сложил оружие, то он в дальнейшем предпочтет претерпеть какие угодно оскорбления и вымогательства, чем снова вверить свою судьбу силе оружия.*

Это можно понять. Если победитель умен, он сумеет предъявлять свои требования побежденному по частям. Победитель правильно рассчитает, что раз имеет дело с народом, потерявшим мужество, — а таким является всякий народ, добровольно покорившийся победителю, — то народ этот из-за того или другого нового частичного требования не решится прибегнуть к силе оружия. А чем большему количеству вымогательств побежденный народ по частям уже подчинился, тем больше будет он убеж-

дать себя в том, что из-за отдельного нового вымогательства восставать не стоит, раз он молча принимал на себя уже гораздо большие несчастья.

«Позорного пятна трусливого подчинения не отмыть никогда, — говорит Клаузевиц, — эта капля яда отравит кровь и будущих поколений...» «Другое дело, — говорит Клаузевиц, — если данный народ потерял свою независимость и свободу после кровавой, но почетной борьбы. Сама эта борьба обеспечит возрождение народа. Подвиг борьбы сам по себе послужит зернышком, которое даст в свое время новые богатые ростки». Те народы, которые помнят такие уроки, вообще не могут так сильно пасть. Лишь те, кто позабывает о них или не хочет их знать, — терпят полный крах. Вот почему от защитников такой безвольной покорности нельзя и ожидать, что они внезапно прозреют... Умный победитель нередко далее удостоит таких лишенных характера людей должности надсмотрщиков за рабами, которую они охотно возьмут на себя, выполняя эту должность в отношении собственного народа еще более безжалостно, чем это сделала бы чужая бестия, поставленная победителем».

Я читал, в голове мелькали имена — Горбачев, Ельцин, Павел Грачев, Михаил Барсуков, Александр Коржаков... Это ведь не «чужие бестии», это —наши... Но сам народ — разве он не виноват в бедах и несчастьях, выпавших на его долю? Немцы в свое время заслужили свою судьбу:

«С тех пор как народ наш пошел по пути самоунижения, он не выходил из нужды и забот. Единственным нашим надежным союзником является сейчас нужда. Судьба не сделала и в данном случае исключения: она воздала нам по заслугам. Мы не сумели защитить свою честь, и вот судьба учит нас теперь тому, что без свободы и самостоятельности нет куска хлеба. Люди научились у нас теперь кричать о том, что нам нужен кусок хлеба, — придет пора, и они научатся также кричать о том, что нам нужна свобода и независимость...»

Да. Это о нынешних сербах. Это, как ни горько, о нынешних русских...

Я с печалью закрыл книгу, положил ее на песок, не стал закрывать полотенцем черную обложку с золотыми буквами.

Пусть кто хочет — смотрит, все равно сегодня улетаем. Мы искупались в последний раз, уходя с пляжа, я помахал рукою Бисмарку, Колю и Герингу, которые в ответ дружно вскинули свои могучие длани, и эти движения, видит Бог, были похожи на приветствия, которыми обменивались их предки во времена Третьего рейха...

С сознанием исполненного долга — здоровье поправлено, деньги истрачены, «Майн кампф» прочитана — мы с женой пошли в обеденный зал — перекусить перед отъездом в аэропорт, выпить пива, поскольку «все включено».

Я втерся в небольшую очередь к турку, цедящему пиво в кружки, и вдруг услышал от молодого немца, стоявшего рядом со мной, фразу, ко мне обращенную, в которой были явственны слова «книга», «Гитлер», «Майн кампф». Я насторожился, поскольку понял, что все наши ухищрения на пляже, где мы прятали книгу в сумку, закапывали в песок, укрывали полотенцем, ни к чему не привели. Молодой золотоволосый идеально сложенный немец лет двадцати пяти от роду — ну просто манекен из какого-нибудь берлинского супермаркета! — смотрел на меня, улыбался белозубой улыбкой, и все его лицо, обращенное ко мне, излучало радушие. Деваться было некуда. Сообразив, что он спрашивает меня, не я ли это читал на пляже книгу Гитлера «Майн кампф», я сделал серьезное лицо и деловым тоном проинформировал его на ломаном немецком:

— O ja! Ich lese dieses interessante Buch! (О да! Я читаю эту интересную книгу!)

Немец с восторгом обратился к своим друзьям того же возраста, окружавшим его, и что-то быстро стал говорить им, показывая на меня. Немцы загалдели по-басурмански, заволновались, но подошла наша очередь наливать пиво. Все наполнили свои кружки и, снова обступив меня, стали что-то предлагать, и я кое-как понял, что золотовласые Зигфриды рады тому, что я прочитал книгу, и

желают выпить за мое здоровье. Мы выпили по кружке, тут же наполнили их, и мой немец задал мне еще один вопрос, суть которого состояла в том, где именно я приобрел книгу (wo haben Sie dieses Buch gekauft?). Чувствуя себя в центре внимания, я приосанился, напряг свою лингвистическую память и медленно, чуть ли не по складам, гордо произнес:

— Dieses interessante Buch habe ich in freien Russland gekauft! («Эту интересную книгу я приобрел в свободной России!»)

Мой ответ поразил немцев, как удар грома. Они, ошеломленные, переглянулись, потом снова дружно залаяли на своем швабском наречии, снова наполнили кружки и выпили за мое здоровье и за мой отъезд в свободную Россию, так как поняли, что я прощаюсь с Турцией.

«Не нужен мне берег турецкий...»

...Когда я вернулся к столу, где мой обед уже остыл, жена грозно спросила: «Где ты был?» — «Пиво пил!» — ответил я, видимо, с тем же идиотским выражением на лице, которое так нравится мне у актера, рекламирующего отечественное пиво «Толстяк». «С «Толстяком» время летит незаметно». Потом я в лицах изобразил жене, что произошло в пивной очереди и почему я задержался. Она тяжело вздохнула:

— Слава богу, через полчаса уезжаем!

В самолете я продолжал перелистывать злополучную книгу и время от времени бормотал:

— Галя! А вот скажи мне, почему все крупнейшие диктаторы XX века — Гитлер, Муссолини, Сталин, Саддам Хусейн, Тито, Кастро, Каддафи, Мао Цзэдун — вышли из бедноты? Из рабочих, крестьян, ремесленников. Может быть, их — этих вождей «голодных и рабов» — богатые элиты мира и ненавидели за то, что они из бедноты. Бедные не должны приходить к власти! А куда деваться бедным народам? Может быть, диктатура и социализм для них единственный путь к жизни и спасению? Кстати, смотри-ка: Гитлер называет русских «великим народом».

— Где? Не может быть! — оживилась Галя.

— Ну вот, читай здесь, где он размышляет о том, что случается с народами, власть над которыми захватывают евреи:

«Самым страшным примером в этом отношении является Россия, где евреи в своей фанатической дикости погубили 30 миллионов человек, безжалостно перерезав одних и подвергнув бесчеловечным мукам голода других, — и все это только для того, чтобы обеспечить диктатуру над великим народом за небольшой кучкой еврейских литераторов и биржевых бандитов».

Конечно, он не понимал, что не было никаких биржевых бандитов, а были «пламенные революционеры», что в 1937 году их постигла катастрофа, но все-таки он назвал русских «великим народом».

— Подлец! — сказала жена. — Свой народ довел до ручки. Наших загубил тридцать миллионов, а про евреев и говорить нечего. А ты все его читаешь!

И она была права. «Себя губя, себе противореча...» Это стихотворение Мандельштама о немецкой речи заканчивается словами:

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен...
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

Стихотворение написано в 1932 году, когда Гитлер еще не был у власти. Осип Эмильевич пишет о немецкой речи Гете, Шиллера, фон Клейста. О том, что человека снова «вербуют» для нового средневековья, для новых эпидемий чумы, но «слова» не согласны с насилием («шипят, бунтуют»); о том, что он «спокоен», пока ему покровительствует бог немецкой поэзии Нахтигаль («соловей»),

Однако какое жуткое противоречие заключено в немецкой истории, если Гитлер, еще не отравленный расовой теорией Розенберга, в 1924 году, с отвращением отзываясь о порнографических немецких пьесах тех лет, витийствует: *«Как пламенно вознегодовал бы по этому поводу Шиллер! С каким возмущением отвернулся бы Гёте!»*

А завершился немецкий романтический пафос тем, что имя «Нахтигаль» было присвоено одной из элитных эсэсовских дивизий Третьего рейха. Но Осип Мандельштам не успел об этом узнать. Иначе он «вырвал» бы соловьиный язык своему пророческому стихотворению. А то, что оно было попыткой пророчества, свидетельствует его почти буквальная перекличка с пушкинским «Пророком»:

Когда я спал без облика и склада...
(Как труп в пустыне я лежал...)

Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык, он мне не нужен.
(И вырвал грешный мой язык...)

P. S. Двадцатый век дал человечеству несколько имен, навсегда вошедших в его историю: религиозные вожди и проповедники махатма Ганди и аятолла Хомейни, организаторы народных масс художники и поэты Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Мао Цзэдун, Иосиф Броз Тито и Радован Караджич, трибуны и публицисты Фидель Кастро, Муамар Каддафи и Саддам Хусейн, строители новых государств Кемаль Ататюрк, Ясир Арафат, Слободан Милошевич, Уго Чавес, Александр Лукашенко... Какое разнообразие национальных характеров, человеческих типов, судеб, поступков, трагедий. Их называли и называют по-разному: вожди, тираны, экстремисты, кумиры, харизматики, герои, пророки, авантюристы, террористы.

Почти все они из бедных семей — дети сапожников, бедуинов, солдат, домашних работниц, крестьян, рабочих. Люди простонародья.

Славой и величием они обязаны не происхождению, не наследственным богатствам, не клановым связям, а только своей собственной воле, своей вере, своему гению, своей путеводной звезде.

Особый свет этих звезд падал даже на лидеров демократических государств XX века—Рузвельта, Черчилля, де

Голля, лица последних чуть-чуть начинали светиться отраженным мерцанием, и выборные чиновники начинали немного походить на своих великих современников. Черчилль даже приличным литератором прослыл.

А разве не были пророками и писателями отцы-основатели современного Израиля — Теодор Герцль, Ахад Хаам, Владимир Жаботинский?

Но во второй половине века общество цивилизованного Запада стало возносить на вершины власти не героев и пророков, не священников и пламенных революционеров, а каких-то созданных акционерами от политтехнологии администраторов, имена которых, как только они выходят в отставку, погружаются в небытие, как будто они его чада. «Чада праха», как сказал Пушкин. Все эти мейджеры, старшие и младшие буши, хавьеры соланы, бутросы гали, олбрайты и карлы дель понты, после которых не остается ни собраний сочинений, написанных собственной рукой, ни стихотворений, ни дневников, ни проповедей, ни легенд, ни даже анекдотов. Пустое место

Бывают эпохи, во время которых тоталитарные режимы, ведомые вождями, находят пути спасения и для своих народов, и для человечества, а демократические общества с президентами чреваты бессилием и даже опасны. Недемократический Китай в интересах всей земной цивилизации решился на великую жертву, не позволяя своим семьям заводить второго ребенка, а демократические Соединенные Штаты в ту же эпоху выбрасывают в околоземное пространство около половины мировых промышленных отходов и отвергают все разговоры о самоограничении, приближая тепловую смерть земной Вселенной.

В XX веке окончательно развеялся лживый американский миф о том, что мальчишка, чистильщик сапог с Бродвея, может стать президентом. Теперь в Америке президентом может стать только сын президента либо администратор, за спиной которого несколько вышколенных поколений делового, финансового либо политического истеблишмента.

Такая искусственная порода естественным образом ненавидит подлинных, внезапно возникающих вождей и запрограммирована на то, чтобы изгнать их из истории человечества.

Бюрократы мировой элиты загоняют титанов, как живых и редких зверей, под прицел продажных СМИ, под выстрелы платных киллеров, в тюрьмы, в кабинеты своих прокуроров, пытаются вытравить и стереть из истории человечества имена, окруженные ореолом славы, трагедии, жертвенности, подвига, удачи.

Они и Христа молча ненавидят за то, что он, вождь бедноты, был как никто способен к самопожертвованию. Обо всей нынешней мировой тусовке очень точно сказал в начале 90-х годов великий русский композитор Георгий Васильевич Свиридов:

«Наше время вообще характерно небывалой, неслыханной ранее концентрацией власти в руках совершенно заурядных людей. В их руках находятся целые страны, их власть чудовищна. В руках этих клерков, бюрократов, ничтожных марионеток, избранных ареопагом мировой финансовой власти, и бомбы, и смертоносные бактерии, и газеты, и медицина, и, наконец, воздух, вода, хлеб...

Недиктаторской власти теперь вообще нет. Она лишь чуть-чуть замаскирована театральным механизмом выборов, «свободой» абсолютно несвободной печати. Все эти марионетки — ставленники концерна богачей — отравлены ядом властолюбия. За «место в истории» мать родную продадут. Народ предадут, от Бога откажутся»...

2000—2006 гг.

II

ЧЕРНЫЕ РОЗЫ ГЕФСИМАНСКОГО САДА

«Без копирки я пишу только Вам (Т. Глушкова, из письма).

Время от времени, перебирая свой архив, я каждый раз задумывался: а стоит ли печатать свою переписку с Татьяной Михайловной Глушковой? Неестественный финал наших дружеских отношений, завершившихся к середине 90-х годов прошлого века полным разрывом, всякий раз мешал мне осуществить это намерение.

Но время идет, и в который раз перелистав эту «особую папку», я окончательно решил: письма надо печатать. Слишком много в этой эпистолярной драме блистательных прозрений и пророчеств с ее стороны, глубоких и неожиданных оценок Пушкина и Гоголя, Блока и Белинского, Заболоцкого и Шагала. А если еще вспомнить размышления о Моцарте и Сальери, о Ницше и Константине Леонтьеве! А что уж говорить о беспощадных и точных характеристиках еще живущих (или недавно живших) участников литературной распри 60—90-х годов, предавших родину вместе с ее историей, с Пушкиным, с русской поэзией, сменивших и кожу и душу. Как никто другой во внешне благополучные времена она, подобно Кассандре, прозревала их низменное будущее.

Но надо быть справедливым: в то же время ее письма изобилуют утомительными бытовыми подробностями текущей литературной жизни, язвительными и часто несправедливыми оценками и приговорами в отношении друзей и соратников. Насколько точна и проницательна была она, когда писала о врагах России, настолько же

слепо и желчно было ее перо, когда Глушкова размышляла о писателях-патриотах. И эта закономерность — жестокий урок всем нам. Любая спорная мысль, любая оговорка, любое сомнение каждого из нас, противоречащее ее взглядам, вызывали у нее не просто обиду, но неистовый гнев. Особенно эта черта ее натуры обнажилась к концу жизни, когда Глушкова с восхитительным высокомерием поставила себя среди бывших единомышленников в положение изгоя и не жалела ни чувств, ни слов, чтобы заклеймить их.

Поистине она писала о них не чернилами, а, по ее собственным словам, соком «черных роз Гефсиманского сада». Там, где нет любви — нет полной истины.

Становясь на эти трагические котурны, она застывала в своей гордыне, чувствуя себя единственной хранительницей моцартианства в русской литературе, ну, в крайнем случае, наследницей ахматовской судьбы; и это убеждение давало темную силу ее неправедному гневу:

«Для укрепления духа вспоминаю судьбу Ахматовой. Сколько лет ее не печатали? ...большой опыт непечатания был у меня и в советское время».

Впрочем, надо сделать одну оговорку: стоило кому-то из ее «жертв» покаяться перед ней, признать полную правоту ее обвинений, склонить голову, признав себя побежденным, — и Глушкова тут же меняла гнев на милость, возрождала все безнадежно разорванные, казалось бы, до конца жизни связи и как ни в чем не бывало снова допускала в свою свиту вчерашнего отступника. Это подтверждало мои догадки о том, что ее вражда, или, как она любила говорить, «распря» с кем бы то ни было, в глубине всегда скрывала не только мировоззренческие, а чисто личные причины, что естественно для женской природы.

Однако надеюсь, что умный читатель сумеет отделить зерна от плевел, эгоистическую, капризную «женскую» ноту от многих истинных прозрений. Я в свое время печатно объяснился с нею еще при жизни в мемуарной главе «Волк и муравей». Мы тогда обменялись тяжелейшими взаимными ударами и обвинениями на ратном поле,

предоставленном нам и «Молодой гвардией», и газетой «Завтра». Но должен признать, что эта распря даже в малой мере не отражала всего объема плодотворных мыслей и чувств, который был заложен в нашей двадцатилетней переписке, начатой Глушковой еще в 1976 году.

Кое-что важное из нашего эпистолярного наследия потеряно и, может быть, утрачено безвозвратно. Но то, что осталось — должно быть прочитано и осмыслено. Хотя бы потому, что она была страстным творцом, создателем «образа жизни в письмах», и эти письма не менее глубоки и замечательны, нежели ее лучшие статьи. Она их писала не только мне одному... И нам надо сделать все, чтобы началась посмертная жизнь этого своеобразного наследия...

Вот почему я перешагиваю через все наши прошлые распри, вспоминая умиротворяющие слова пушкинского летописца Пимена:

«На старости я сызнова живу. Грядущее проходит предо мною...».

Ее письма (впрочем, как и всякие другие, вводимые в литературный обиход) требуют немалых комментариев. Я попытаюсь обойтись лишь самыми скупыми и необходимыми из них...

* * *

С первого письма, полученного мною в декабре 1976 года, начались наши взаимоотношения.

В начале письма речь идет о том, что давний приятель Татьяны Михайловны И. Мазнин вступился за ее литературную репутацию и личную честь, на которую посягнул в каких-то своих высказываниях некий ничтожный стихотворец В. Савельев, память о котором если еще и жива, то лишь потому, что 19 августа 1991 года он, опередив всех будущих ренегатов, сделал заявление в «Комсомольской правде» о поддержке руководством Союза писателей «путчистов» из ГКЧП... С этого начался разгром Союза писателей хунтой Евтушенко и Черниченко... Но случи-

лось это много позже, а в 1976 году дело, как мне помнится, дошло чуть ли не до рыцарского рукоприкладства со стороны Мазнина.

Савельев, спровоцировавший скандал, побежал жаловаться в секретариат Московской писательской организации, где я только начал работать. Глушкова написала мне письмо с просьбой защитить своего друга. Я, как мог, эту распрю уладил, но жалею сейчас, что, получив ниже публикуемое письмо, не обратил внимания на то, как Татьяна Михайловна относится к своему другу и к самой сущности дружеских отношений: «*он поклонялся каждой мысли моей*», «*он был мне другом, просто другом, несчастным другом, замученным мною*», «*это вспышки черных роз Гефсиманского сада, — как в таких случаях «адской верности» говорю я*»,— «*бунт*» *от безмерной слабости...*».

Если бы я тогда внимательно вчитался в эти слова, в их своевольную и высокомерную ноту, если бы понял, что именно так заканчиваются все отношения Т. М. с друзьями и подругами, то, конечно, помогая этой умной и талантливой женщине во всех литературных и житейских делах, никогда бы не допустил той опасной степени сближения, которое привело впоследствии к взаимному отчуждению и полному разрыву. Но я не разгадал ее невольного предупреждения о «черных розах Гефсиманского сада», о чем сожалею до сих пор.

Вторая половина письма — существеннее. В ней изложены взгляды Т. М. Глушковой на русско-еврейский вопрос, а также ее впечатления о нескольких моих статьях. С некоторыми мыслями ее интеллектуально-кокетливого письма я не согласился и ответил ей. Ответ свой также привожу здесь целиком.

«20 декабря 1976 г.

Дорогой Стасик!

Я вряд ли могу совершенно защитить несостоявшихся мужчин!

Я скорблю, когда, красуясь передо мною, они принимаются защищать мою — неугрожаемую — честь, п. ч. у

меня есть собственные («тайн не выдаю своих»!) средства защиты, хотя не всегда — немедленные.

Тот, что нынче — обвиняемый, административно-судимый, — был, ВОПРЕКИ всем видимостям и слышимостям, просто другом моим давним (как и — еще давнее — Сережиным[1]), и ничего, кроме робкой почтительности, у него ко мне не бывало. Он поклонялся каждой мысли моей (литературной) и работе (и подбирал для меня журналы и книги, и подыскивал мне мелкие заработки, когда я нищала) — и за все это, в конце концов, сам не заметил, как тайно возненавидел меня.

Два его поступка надрывных — о которых Вы знаете — это знак, это вспышка черных роз (масличного) Гефсиманского сада, как в таких случаях «адской верности» говорю я. Это дичь високосного года; тайные тяготы его (не моей!) жизни, «бунт» от безмерной слабости.

(И еще: он начитался оскорбительных текстов, присланных мне... И думал с минуту, что за моим смехом над ними — только слезы...)

В общем: он был мне другом, просто другом, несчастным другом, замученным мною, он — не виноват; это я — избалована жизнью...

(На Савельева же — я и буквы сейчас не истрачу: этот жалобщик — ниже ничтожества.)

Если Вы не поверите моим словам, если еще не знаете, что правда редко бывает (выглядит) правдоподобной, мне будет грустно, п. ч. пишу я это — Вам, частно, приватно, добровольно. И тогда останется мне просить Вас просто забыть о факте этого письма.

Между тем, между тем я читаю (прочла) Ваши статьи с наслаждением, у меня множество мыслей о них, как печатных, так и (мыслей) непечатных. Но у меня сильная была ангина; только 1-й день я без температуры и потому не сразу увижу Вас, чтоб сказать это.

---

[1] Сергей Козлов — в 60-е годы муж Т. Глушковой, известный детский писатель («Ежик в тумане», «Львенок и черепаха», «Трям, здрассте и др.)

Статья о Винокурове столь блестяща[1], что даже если бы Вы были и неправы, она сама по себе есть правота — и невозможно удержаться: не написать о ней (даже если бы два черных кота пробежали по снегу между нами!).

Что до рукописи[2], то она заставила меня, целую — одну из — ангинную ночь, перечитать Багрицкого, и ко мне подкрадывался физический, болезненный, ну — настоящий, прямой страх...

В этой рукописи есть вещи прелестной верности, неподкупного ума (так, прекрасно, прекрасно — о «дичке» — Ходасевиче: это словно бы Вы у меня, в сне, «украли»!..), да она и вся мне понятна, родственна, понятна.

Но — если бы мы могли «убрать» (ослабить) ноту (окраску) ответной ненависти, которая — вдруг, на взгляд противный либо вообще сторонний — покажется все-таки воплем, криком побежденного! Как бы сохранить иронию силы, интонацию храброго бесстрашия?..

Наверное, первое, что для этого требуется, — уметь последовательно (с сообразной последовательностью) презирать, когда — заслужили, своих же; носить в крови каплю «чаадаевскую» в том числе; несколько и ненавидеть любимую родину (вообще все — любимое)... Должно сохранять всю диалектику лиризма. Не боясь утратить свою (личную даже, единичную) самобытность, помнить, сколь необходимы были евреи нам: для становления нашего национального характера, имея в виду культуру духа, русскую культуру вообще... И разумея — то есть, — что ненависть (к ним) оправдана, главным образом, как ненависть к победителям. Подозревая, подразумевая в себе уменье при иных обстоятельствах (обратных) милость к падшим призывать и даже быть — как разночинец Чехов...

Я думаю, что только с каплей «еврейства» («гамлетизма») в нашей пестрой, в нашей бесценной или неповторимой крови мы можем быть самостоящей нацией.

---

[1] Речь идет о моей статье «Упорствующий до предела», напечатанной в «Нашем современнике».

[2] Статья «Легенды и время», написанная на основе моего выступления на дискуссии «Классика и мы» в декабре 1977 г.

(Я говорю сейчас — Вам покажется — банально или «плохо»... Но думаю я обо всем этом давно, много, в разных связях. Вот, например, я пишу — иногда — свои «Заметки о лирике «русской хандры»: она начинается от Пушкина и есть чувство — одновременно — личности, национально само-осознающей, и — «имперское»...) Исполнимо ли: сохранять спокойно твердую дистанцию «старшинства», оставаться человеком породистым; а ведь нужно — именно это!

В плане литературном: надобно обязательно показать кроме мировоззрения род, степень, качество самого поэтического дарования Багрицкого, неустранимую — никакими ПОБЕДАМИ «идей» — гадковатость «утенка» в собственно поэзии. Органическое отсутствие интонации (поэтической) собственной (и т. д.), национальную неспособность (обреченность) выпрыгнуть за пределы способностей (творческих), закодированное, «в крови», недорастанье до таланта (исключения ибо — скандально редки! Потуги — повсеместны. В прозе же русской их не было, не будет никогда!).

То есть надо всегда сохранить и взгляд чисто профессиональный: показать несостоятельность т в о р ч е с т в а.

Кстати, если о Багрицком: показать и муляжность его («фламандского») быта в стихах: ведь многие помнят еще его «краски», «фактуру», «метафоры»...

Что воистину: «нельзя написать хорошо то, что дурно» (*Л. Т.*).

(Не приходило ли Вам в голову — в связи с проблемой взрываемого, выкорчевываемого быта — Кустодиев: 18-го — 27-го года? Эта фигура также, быть может, героическая — в данном аспекте...)

Очень важна Ваша последовательность — с Есениным! Ведь многие его «не за то» любят, любя — не видят...

Летом я написала — погибшую, не напечатанную никем — статью о С. Липкине. Она — далеко не ругательная; но даже и при этом в ней оказалась нечаянная, самочинная правда, которая позволила одному читателю остроумно сказать: «Все-таки Ваша мысль в том, что нельзя

быть русским национальным поэтом не будучи им!» А я как будто и не об этом писала!..

В общем: спасибо, спасибо Вам за все это мое чтение!

Я надеюсь, нам удастся еще, хоть бы и односложно, устно поговорить про него.

Ваша *Т. Глушкова.*

Ну, теперь уж совсем непонятно, какая часть моего письма — откровенней!..

Но ведь любую — трудно (грешно) понять иначе. Как знак уважения к Вам?!

(Если ж Вам нужно — все-таки — Ваше сознанье моей виновности, греховности, то — вот: я (очень) не люблю Шкляревского: я боюсь, он — врожденный злорадный раб, и потому из него никогда не выйдет Лермонтов и проч. Он — поэт-пакостник, бедняга!.. Но Вы никому не говорите этого — хотя дружите с ним даже? — потому что я сама это, «семь раз» проверив — еще, ему скажу: т. е. печатно (гласно), даст Бог, скажу, если жива буду.)

Иногда мне кажется, что чтобы нам (людям) по справедливости поверить друг другу, нужно только представить на миг, что мы не так взрослы, как мы есть... (На что Вы ответите, что Вы — старше меня и Вам — трудно ?.. Но разве ж это — умный ответ?!)»

Теперь — мое ответное письмо. К сожалению, одно из немногих сохранившихся, потому что, за исключением нескольких ответов Т. Глушковой, я не делал и не сохранял копии со своих писем, о чем сейчас очень жалею.

«Здравствуйте, Таня!

С большой радостью я прочитал бы только вторую половину Вашего письма. Но, увы... Впрочем, не беспокойтесь. Я все понимаю. Поступаю же, как человек казенный, с холодными понятиями о справедливости (элементарной), потому что в этой ситуации иначе нельзя: запутаешься в страстях и комплексах человеческих — и рукою

не сможешь двинуть. К тому же я с уважением отношусь к слову «казенный», с тех пор как прочитал у Розанова рассуждения о казне (помните? Кажется, в «Литературных очерках»), о том, что казна-матушка «разносолами не накормит, но и с голоду пропасть не даст...» А рыцарь Ваш хоть и пылок, но глуповат...

Благодарю за то, что Вы поняли, что я хочу сказать в своих статьях. Убрать нашу «ответную ненависть»? Пожалуй, это не просто ненависть, а несколько иное чувство горечи и презрения, замешанных на конечном ощущении превосходства. От этого чувства избавиться я не в силах: характер не тот. Именно в этом дело, а не в «крике побежденного». «Крик побежденного» я не стал бы выносить на люди...

Чего-чего, а «презирать своих» (что Вы советуете) мы умеем как никто. Допрезирались. Сто лет баловались «чаадаевщинкой», столь милой Вам, и докатились до полного самоуничижения. Отчаянно раздували угольки, в золе копались, пока не увидели — горим... Путь этот пройден до предела, до последнего шага. Второй раз начинать его по пепелищу?

О «победителях». На мой взгляд, «победители» делаются из материала несколько иного. Таковы были норманны для Британии, мавры для Испании, турки для Сербии, татары для России, русские для татар. Вот истинные победители, дававшие взамен независимости побежденным приток молодой крови, свои мифы, свою религию, гены своей плоти и духа... Свои скулы и раскосые глаза, свою тоску по мировому господству, дворцы Толедо и Альпахары, государственность и Великую Хартию, завыванье ямщицкой азиатской песни и кодекс рыцарства! И подчинение таким победителям, и сопротивление им — одинаково обогащало побежденных. К таким победителям я отношусь, «как аттический солдат, в своего врага влюбленный»... А эти?! Тьфу, нечистая сила, как говорила моя бабка. Вы думаете, Блок не понимал нашего диалога? Понимал, потому-то и написал «Скифы», а не что-либо иное. Потому-то около двухсот отрывков из его за-

писных книжек и дневников не опубликовано до сих пор. Победителям — страшно, Блок шутить не любил. А ведь у него-то чувство историческое — связи, зависимости, взаимооплодотворяемости — было феноменальным. Однако он любил называть вещи своими именами. А этого «победители» боятся как черт ладана. Инстинкт слабых все время заставлял их скрывать свои победы, маскировать их, делать их якобы анонимными. Один Багрицкий проговорился... Какое уж искусство может быть при этой жалкой анонимности, о каком плодотворном кровосмесительстве может идти речь!.. Все это стало достоянием гласности — не государственной (поскольку завоевание тоже было негласным, скрытым, постепенным), а общественной — лишь в последние годы. Если бы эта гласность приняла какие-то государственные формы, наш диалог был бы невозможен: я не стал бы в нем участвовать. Но, слава богу, видимо, государство не станет вмешиваться в эти дела. Да и инструментов для этого у него нет. Так что это — наше дело. Внутреннее, постепенное, естественное. Как завоевание шло тайными путями, так же скрытно от глаз (чтобы не приобрести безобразные формы) должна идти и реконкиста...

На каплю «гамлетизма» согласиться можно. Беда только в том, что русский человек на капле не остановится.

Ну, вот мой сумбурный ответ. Дабы он не стал историческим и у Вас не появился соблазн положить это письмо в свой архив, я его обрываю, чтобы пожелать Вам в Новом году Скорпиона — чего? Счастья? Но ведь его, как мы знаем, «на свете нет», поэтому что хотите — покоя или воли.

Еще раз благодарю за письмо. *Станислав*».

* * *

«3 сентября 1977г.

Здравствуйте, Стасик!

Шлю Вам статью «После улыбки»[1], относительно которой Межиров, не читая ее, объявил, что это (по теме

---

[1] Статья Т. Глушковой, посвященная творчеству поэта Юрия Смирнова.

самой, мол) — мой «провал», «позор», «проигрыш» (обронение — моего — «имени «), ну, и был скандал; а сам Юра — удручен, удручен и еле сдерживается, но сдерживается, ибо горд...

34 же «рассерженных мужчин», составляющие правление Литфонда, дружно в двухстах (тех) рублях мне отказали[1]. Т. е. ни копейки не выдали, не проголосовали. О содержании дебатов мне доложили так: что я — «молодая, здоровая, обеспеченная, конечно, — вот и недавно большую статью опубликовала и вообще постоянно печатаюсь». Под хлебной статьей разумели, наверное, Кузнецова[2]...

Я думаю, что даме неловко отрицать, что она — «молодая, здоровая, обеспеченная». И я сказала даже в Литфонде, что просьба была в шутку. (П. ч. Светлана Николаевна огорченно говорила, что вообще-то по просьбе, идущей не лично, а от Союза, не отказывают; ну разве что снизить могли бы: не 200, а 150.)

Вот, Стасик, будете знать, каково мне помогать! «Нелегкая это работа...»)

Сижу я в деревне сейчас (хотя мой бюллетень еще нерасчетливо течет: я опять выйду в этом году из лимита литфондовского — 104 дня). Там очень хорошо. И это — самое лучшее место на свете — чтоб «в злобе напрасной прекрасные локти кусать».

Я написала Вам — в августе — 2 неотправленных письма: 1) о Ваших стихах в «ЛГ»; 2) О нашем старшем товарище — А. П. 3) Я их не отправила, т. к. совсем не выходила, а потом — душой устарела, и они лежат дома.

Когда совсем рассвиреплю — то начну новое сочиненье (к выходу 2-х томника) о Межирове так:

---

[1] Глушкова часто болела, иногда превышала «квоту», которую Литфонд оплачивал по больничным листам, и мне не раз приходилось заступаться за нее перед сотрудниками Литфонда.

[2] Имеется в виду статья Т. Глушковой «Призраки силы и вольности в поэзии Ю. Кузнецова».

[3] А.П. — Александр Петрович Межиров.

«В субботу после обеда Передонов шел поиграть на биллиарде. Мысли его были тяжелы и печальны, он думал: «Скверно жить среди завистливых и враждебных людей. Но что же делать — не могут же все быть инспекторами!..»

У меня в деревне, на меже там одной, тоже — сейчас — «Тысячелистник цветет...»[1]

Вообще, все — ничего, ничего; только бы перестать болеть — а то некогда работать.

Я позвоню Вам, когда приеду, — числа 18—20-го.

Спасибо Вам.

Ваша *Т. Глушкова*».

* * *

«Здравствуйте, Стасик!

Я прочла в журнале «Америка» слово; «дислексия». Это такая болезнь, не лучше язвы, означающая всякую там затрудненность речи. «Вот чем я страдаю!» — в очередной раз подумала я, п. ч. речь устная клеится у меня все хуже и хуже... Правда, я знаю еще — про это же — чудную фразу из «Города Глупова», об одном градоначальнике: «При не весьма обширном уме был косноязычен» — и это тоже несколько про меня, хотя я и не градоначальник.

Клоню ж я сейчас к своему дислексическому высказыванью — по телефону — про Ваши стихи в «Литгазете». Я хотела сказать нечто хорошее (как и про 80 процентов книги «В сентябре и в апреле»), а получилось у меня черт знает что. Хотя одна строчка:

Тысячелистник цветет... —

способна неделю уже вертеться в моем туманном сознании, вызывая то состояние созерцанья отрадного, со-

---

[1] Строчка из моего стихотворения.

зерцанья воспоминательного и бесконечно длящегося, на которое ушла и уходит у меня, кажется, вся (бездеятельная) жизнь.

Я сказала о «ковре стихотворений»... Это — и хорошо, и «плохо», п.ч. читатель поспешен: он спешит — подобно тому, как не в состоянии он пройти по обочине луга живого внимательно и аккуратно, не лезя задней лапой в цветущую траву, когда есть тропа или дорога. Он, читатель, спешит, и его нельзя баловать больше, «чем одним»: 1) муравьем, 2) шмелем, 3) тысячелистником (и т. д.). Тогда он, быть может, споткнется — и подумает: «А ведь это— шмель!» или: «Ведь это — какой-то цветок...»

А иначе он не может, он разучен смотреть медленными глазами.

Этим и исчерпывается то «плохое «, что есть в слове «ковер». Только этим!

Я и себе часто думаю про «ковры». П. ч. каждая из пяти моих книг (лежащих дома), кажется, — именно «ковер», и я не знаю, как надергать из них нити, чтобы сплести одну, пригодную для издания.

«Ковры» бывают снежные, ледяные, зимние, а бывают — любовные, а бывают — луговые... Но это все равно — ковры, и объединяет их, т. е. придает им «ковровость», некая степень медленности (неуместной), разглядыванья и прислушиванья, которые кажутся праздностью и прозой читателю, привыкшему к драме, рукотворной сюжетности или ораторству...

...Как золотое — ку-ку! —

видно, не может звучать, оно, обиженное, скрылось, — и надобно огромную силу спокойствия — верить, что запах «драмы, миндаля, измены»[1] (например), — это запах бакалейщиков духа, а не самобытно высящейся светозарной (или хоть бы и «чернокрылой «) Музы...

---

[1] Строка их стихотворения А.П. Межирова, он же ниже — «старший товарищ», «бакалейщик духа».

Наш «старший товарищ» объявил мне на днях, что у него — Божий дар и что, мол, я это, конечно, в душе понимаю, что он «отмечен Богом».

(Дословно.)

Я сказала, что у него теперь пошли уже чисто передоновские бреды[1].

(Между прочим, я ничуть не шучу: его мания преследованья и величия выражает себя — передо мной, во всяком случае, — именно передоновскими речами, ну, почти совершенно текстуально точно!)

Говорит он только-только-только о СЕБЕ, и чудеса нарастают. И все это — не веселое вранье (хвастовство там разное), а мрачная ненависть.

Меня он обвинил в «зоологическом антисемитизме» (дословно). Аргумент:

— Я годами слежу, что, цитируя Ходасевича, Вы пропускаете, нарочно пропускаете, «таки»: «Привил-таки классическую розу...» — надо говорить! А Вы — назло...

Далее: что я «семимильными шагами обгоняю Палиевского».

— На ковре-самолете! — сказала я (п. ч. молча думала о коврах).

Что бы я ни сказала, приводит его в ненависть. Суворина помяну — скандал. (Что «Капитанская дочка» лучше «Хаджи-Мурата» — антисемитизм! И т. д.)

Логики ни в чем — никакой, п. ч. тут же переходы к возвеличиванью себя. Это неописуемо и непересказываемо, и «диалектика» размышлений и чувств — чисто передоновская».

* * *

«8 октября 1977 г.

«Стасик...

тут пролетели лемуры и смешали несколько карт...

Вообще — никакого покоя, и вместо того чтобы плавать в осеннем море (и все такое), думаю: вдруг и прав-

[1] Передонов — герой романа Ф. Сологуба «Мелкий бес».

да эпицентр пресловутого землетрясения будет в просторах Москвы, это очень упраздняет квартирно-денежные поскуливанья (вообще), это упраздняет меня, и я не знаю, как к этому отнестись, то есть что успеть сделать и что успеть отменить до этого парада планет и всяческого парада сатаны...

Но пока я, возможно (?), совершила «неосторожность», о чем Вам, может быть, донесут, и надо признаться.

Я плохо Вам рассказала; но дело в том, что я написала этому индийскому типу[1] не просто «письмо» (ну, там резкое всякое: это бы чепуха...), но из тех, что, например, «г-ну барону Геккерену» (старшему).

Так все сложилось: от Леонтьева до Киплинга... Так все сложилось, что гнев сильнее меня, то есть, нет: совершенно заела совесть (очень она меня ела, что, мол, правду не говорю из самых мелких льгот и усталости).

Так вот: если он будет Вам жаловаться, то Вы знайте, что это в самом деле письмо Геккерену — оно очень страшное, и мира не может быть больше.

(Может быть сказано, что я — разная там антисемитка и также: сумасшедшая. На это всегда можно отвечать, что Вы, мол, и сами замечали...)

За всем тем: Вас я не выдаю ни капли, об этом не может быть речи. Перед Шкляревским я виновата (обозвав его.... — Вам), п. ч. мне было неловко его потом встретить: его все-таки жаль, он точно темный младенец: почти «невиновный». И его неприлично всерьез обижать (мне).

Все остальное хорошо.

Книгу «Рукопись»[2] не читаю, п. ч. лемуры летают и очень пестрит в глазах. Мне надо утренней ясности, а она вся осталась в деревне.

Что, если поехать на Цейлон, чтобы увидеть океан (п. ч. там «до полюса открыто море»)?

---

[1] Письмо продолжает разговор о А. Межирове — он же «индийский тип» (поскольку недавно побывал в Индии), он же «поэт Большого Суррогата», «Военизированная баллада» и т.д.

[2] Название моей стихотворной книги.

Но для этого надобно хуже, чем деньги: уметь отвечать нищим английское «нет «, в то время как я — не Киплинг. Как быть с этими нищими и прокаженными, я не знаю. И вообще, когда начинаю думать, куда б я поехала, так вечно оказывается, что стыдно, т. е. как-то даже больно. Нет слов.

Вы всегда говорите, что Ваша голова занята «не тем», но ведь всякие головы всегда заняты «не тем» — в сравнении со всякой другой головой.

Моя голова — всегда занята «черт знает чем!», а иными словами: нет ни капли «стратегических мозгов», — и я это слышу с малого детства, так что даже думаю: как это им всем не надоело говорить одно и то же? Я говорю не совсем одно и то же.

Вот, я еще изобрела нечто — подзаголовком:

Поэт Большого Суррогата.

Но это очень страшный рассказ. «Большой Суррогат» — это такое царство, историко-географическая данность. И там всякое происходит. А этот поэт — это такой «среднеевропейский провинциал» — и все вытекающее отсюда самомненье, несчастье. Ну, например, Киплинг — вечный герой русской тыловой крысы (и т. д.). Интересно: как воется он по-английски?

По-русски это такое захолустье: скулы сводит, скрипуче ребра трещат. (Гнусь жалкая, а не Империя!)

Он такой же поэт Империи, как я — балерина.

Вот проза — хороша, но все-таки мальчик, наверно[1], уйдет от ламы и пойдет в «британскую разведку», и только в лучшем случае его убьют прежде, чем он продаст Г. Бога, вот я, на всякий случай, и не дочитываю. [Но я хочу, чтобы он также вернул мне мои изумительные вещи: некие литературные письма, п. ч. он и так (я видела) уже перепечатал их на большой машинке и списывает их в какие-нибудь «Записки про Индию», п. ч. он вообще уверен, что «Записки» — это то, что списывают. Мне, конечно, ни

---

[1] Строка из стихотворения А. Межирова «Коммунисты, вперед!».

капли не жаль бы, да очень противно все, что делает эта военизированная баллада!] (Хотя надо — типу — отдать, как и все прочее отдать, п. ч. я очень-преочень пронзительно наоскорбляла, у меня к этому ослепительный бывает талант — и ни капли способности к прощенью, «просветленью»...)

Когда наступит конец света (К. С), мы, должно быть, не встретимся. Но за Вас может предстательствовать тысячелистник, например, — а что успею я за оставшиеся дни, когда одно лишь яростное созерцанье?..

Зачарованно-дурацкая, но какая-то очень интересная жизнь, —

и вот уже:

При дверех...

(?)

Ходите ли Вы в церковь — или, как я: вечно собираюсь и все представляю, как «будет тепло мерцать...»?

Я зову — письмом Геккерену, п. ч. главное, что я там говорю: что эта страна — моя, а не его, и речь идет о всей гнусности его литературного пути, и я казню всю свою прежнюю любопытствующую слабость. Что бесы лишены дара творенья (творчества). Что бесконечная личная низость, жадность и ложь его делают уж невозможным совсем — общаться, даже ради книг (которые — все — «давно отняты «народными поэтами» и диссидентами»); что нарочно, нарочно все подменяется: варварской диктатурой — Империя, ибо каждый буржуа в душе непременно мечтает об Империи — как о праве на родовитость. Что он понятия не имеет о том, что такое родина, если галдит — из всех телевизоров — о ней только одно:

Индевеют штыки в караулах Кремля[1], —

весь этот пафос индевения и склочной драмы в «демократических» сюжетах...

Ну, и целый каскад о жадности...

---

[1] Речь идет о романе Киплинга «Ким», который А. Межиров дал почитать Т. Глушковой.

Да не перескажешь...

Я совершенно не могла уже больше терпеть.

Вот Вы — можете, а я больше не могу.

Я совсем не раскаиваюсь и пишу Вам потому, что скоро будет Очень Большое Одиночество, и от этого, конечно, страшно.

Собственно, оно давно началось, но обступает все больше, и я не могу не только себя переменить, но даже себя остановить (из «опаски»)... «Терпеть ненавижу!» — вечно восклицала (в одно слово) моя бабка, и я, на каждом шагу, тоже терпеть ненавижу — потому: хорошо бы, чтобы Вы — некоторое время — меня кое-когда дальней тенью защищали — не потому, что я того стою, а только потому, что как будто некому...

Пока еще не очень страшно, п. ч. эта «родина» все-таки, покуда еще, кажется, моя, но ведь могут отнять все[1].

(У тысячелистника дела тоже не очень хороши: его вырастает значительно меньше под Москвой, чем надо и чем было. Вы живете далеко на севере и, может быть, этого не знаете. Вообще надо очень все беречь.)»

* * *

«9 октября 1977 г.

Конечно, мне не место в Пицунде. П. ч., как справедливо вопросил Лавлинский[2], «Кто же будет работать???». И вот я написала сейчас 2 трудных странички о Блоке, новых. Про «ненавистные восторги»... (И, кажется, «Вальсингам»[3] приобретает убедительность.)

Стимул: появленье Барыги[4], к-й продал мне за 15 р. книжку Иванова-Разумника, куда входит и Ваша кни-

---

[1] Одно из осуществившихся пророчеств Т. Глушковой.

[2] Л. Лавлинский — главный редактор журнала «Литературное обозрение», где печаталась Т. Глушкова.

[3] Имеется в виду ее работа над статьей о «Пире во время чумы».

[4] Книжный спекулянт, продавший нам в те годы редкие книги за большие деньги.

жица (так что теперь — отдам), — которую читать мне пока некогда, но я посмотрела эпиграф («Нет исхода из вьюг...») — и написала 2 странички про свое...

[Леонтьев стоит мне ровно столько, сколько стоит Барыга. Я ему это сказала и что — «давайте, пожалуйста, расстанемся, Саша!» Тогда он гордо ответил, что может давать мне «почитать — бесплатно» то, что мне надо. И оставил — даром, почитать, на месяц — «Из истории русск. идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский» Сакулина... Так что — «разлуки — нет», «покой нам только снится». А Барыга стоил — за год (почти ровно) — бешеных денег. Я считаю его двойником Межирова, которого он ужасно презирает и очень вульгарно говорил много раз: «Нашли себе ассистента!», — п. ч. индийский тип часто ассистировал, ибо этого (Сашу-шершавого, — как, по голосу, я прозвала) нельзя, мол, «пускать в дом»...]

Ну, а в Пицунде я бы сейчас, пожалуй, думала бы одну дрянь: какой халат — к какому купальнику надеть... А ведь — глупо и вздорно, ибо:

Все миновалось — молодость прошла.

И вообще: перед лицом Конца Света...

И, главное, там — «писатели»... (А я — читатель!)

Нет нервов!

Теперь надо сочинить страниц 12 про то, что новаторство — обнимает собою все, что есть в поэзии преходящего.

Затем, в ноябре, разразится скандал с Лавлинским (не дай Бог!!!) — и я услышу родную фразу: «Что Вы мне принесли???!!!»

И тогда:

«С улыбкой мимоходом
Распрямлю я грудь...»[1]
(чтобы не повеситься).

Вы не думайте, что я «не жалею»... Я просто: не раскаиваюсь. (А это — разные вещи!)

Мне жаль, что Военизированная Баллада — такая гнусная и унизительная! Мне очень жаль, что —

[1] Стихи С. Есенина.

«Нет исхода из вьюг!..»[1]

Но я не могу, когда читают («наизусть») Блока лоснящимися колониальными устами... И, следовательно, я — антисемитка.

И 10 колен — за мною — по-старому вопиют: «Между домом Пушкина и домом Геккерена (барона) не может быть ничего общего» (и все такое).

Я б все равно написала свое письмо — ну, через полгода. Но к чему полгода длить унижение?

(Он[2] скажет Вам, м. б., что я — «пантера, черная пантера, бросающаяся на советскую поэзию», п. ч. его метафоры будут вывезены из джунглей. А цель будет прежде всего, — «рассорить»: он всегда ее следил потихоньку...)

Перед тем как ехать на Цейлон, следует купить в ЦДЛе, с наценкой, пуд сухой колбасы копченой для нищих, п. ч. там все — голодают.

Мне б эта поездка была полезной: чтоб не скулила я впредь, на поприщинский манер:

«Достатков нет. Вот беда».

Но лучше — пусть никто не едет туда, пусть все рассыплется; хотя там —

«до полюса открыто море...».

(Это все — мой цейлонский бред — это такая игра перед концом света...)

Унижение — это когда ПОСТОЯННАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ГОРДОСТИ (чтоб «не заметить» то или иное кощунство), то есть безбожная «героичность».

Ваша *Т. Глушкова*

Я — дивный, редкостный читатель! В этих 2-х страничках я — т. е. я, обратила внимание на то, что Вальсингам говорит: «...мой падший дух».

А ведь — обычно: «Бессмертья, может быть, залог...» (только). Дурак был бы Пушкин, когда б не накаркал Блока![3]. И все это — вовсе не формально (мое чтенье,

---

[1] Стихи А. Блока.

[2] А. Межиров.

[3] Т. Глушкова обдумывала статью о Блоке, как о прямом преемнике и «пасынке» А. Пушкина.

«прочтенье»), уверяю Вас! Это — какая-то генетическая «начитанность», наверно... А м. б., тоже — «цейлонский бред»?

Ну, мы посмотрим...

(Вы сочинили мне очень добрую надпись на «Рукописи», — она радует и печалит, и хорошо, что она случайна...)

Совершенно невозможно понимать, что совсем ушло уменье (т. е. возможность историческая) — сочинить

...та-ра-ра. Вещь славную...

И также — легко, легко:

«Благодарим, задумчивая Мери,
Благодарим за жалобную песню...»

В XX веке легкость стала тесниться только в коротких, трехстопных, размерах, в хореях коротких, например. (Которые похожи на ритм еврейского танца — фрейликс; как пишется?..)

Теперь осталось «переговорить» м-ль де Теруань[1]. Так зову я М. Цветаеву (революционную). П. ч., пока писала вот это письмо, вижу, что впала в беспризорное противоречие с Красной Девой Монмартра — насчет Вальсингама. Кажется, дело в том, что и она пишет о «Памятнике Пушкину» —более чем о Пушкине... Она где-то (?) вопила, что Вальсингам, мол, — на «черной телеге» (вечно). (А Пушкин, мол, бессмертен, ибо — поэт...) Это — неправда. Так и надо нахамить: мол, никогда!

(Бедный, бедный — «жил на свете» — Лавлинский!)»

* * *

(Это написано в ночь на 14.X. 77 до моего звонка Вам, т. е. в большом пессимизме.)

---

[1] «М-ль де Теруань», «Красная Дева Монмартра» — М. Цветаева; Т. Глушкова выражает свое несогласие с ее статьей «Мой Пушкин».

С театра военных действий

Идет большая война...

Вы, возможно, уже отбитый мой «союзник», и мое донесенье пойдет в корзину для бумаг.

Но тот самолет, что летит в Анголу[1], покружил над моей головой и сбросил тяжелые бомбы.

Тогда и я — запрягла сани и помчалась квитаться.

Оба удара были смертоносны, но тот, кто «умер он и в люди вышел»[2] будет зализывать лысую рану в «нонешнем Париже» натуральном, а я, в лучшем случае, протяжно заболею — и с трезвым отчаяньем бессонно думаю, что статей печатать мне более не дадут.

Эта кипа черных и белых черновиков, листов не менее трех, третьи сутки лежит, как в чуме, известковой яме.

В моих бетонных стенах бывает очень страшно. В такие поры я не могу читать, а только прислушиваюсь к животной боли.

Тип, в горячности, снова, конечно, оскорбил меня — 12-го.

«Рассказывать больше нет мочи!..»

Он объявил посреднику моему, что все — вымысел (мой), что ЧИСТ передо мной («ни сном, ни духом, ни помыслом») и уверен, что я раскаюсь и извинюсь. Что «в жизни дурного слова НИКОМУ обо мне не сказал, а только создавал рекламу». (К посреднику — пришел первый.)

Что денег не возьмет, ибо: 1) оригинал все равно не имеет цены; 2) не станет отнимать у меня — «последнее», хотя и ожидает моего «взрыва»[3].

---

[1] «В Анголу» — очередной вояж А. Межирова за границу, далее — описание новой попытки разрыва с ним.

2 Строка из стихотворения А. Межирова.

[3] Описание «торговли» вокруг книги, которую А. Межиров дал почитать Глушковой, а она книгу (кажется, К. Леонтьева) потеряла и заплатила за потерю по его требованию 100 рублей — большие по тем временам деньги.

Ошибка́ того, кто в санях: Ганичка не выдерживает свидетелей — и падает в благородный обморок перед камином с 10 тысячами.

Но ведь я боялась, что почта — до Анголы — не поспела бы...

«Взрыв», конечно, не заржавел.

«Последнего» у меня не бывает, а есть лишь бесконечное, — и вчера я сама, без свидетелей, опустила ему в ящик эту литературную сотню. И из ближайшего автомата сказала ему: «Подите возьмите мой долг — в ящике». Эта, одна фраза стоила мне 2 коп. То есть — даром. А конверт перестал белеть в ящике (как сообщили добросовестные наблюдатели) ровно через 10 минут.

(Я очень надеюсь, что это — все, п. ч., кажется, сил остается у меня разве что на малую «перестрелку за холмом». Очень я устала. К тому ж у меня всегда хорошие, дорогие и безобманные бомбы, а он — как скунс — напускает химических газов, так что по земле ползет экзема...

Вообще ж, война — вещь хорошая. Но вот Сережа говорит, что я — только тактик оглушительный, у которого нет средств «нанять стратега». И что только с большой высоты птичьего полета я, возможно, как раз именно стратег. «Но, пока разглядят, убьют».

То есть: нужен передых.

Сотня эта — это как бы такие мои «репарации»... Ну а цель — добиться рано или поздно «от противника — безоговорочной капитуляции», то есть по-русски это так: «Переживи, переживи...».

Из-за накануных свежайших оскорбительностей (и нового букета вранья) мне пришлось сопроводить сотню словами нежности письменной, к ней прилипшей в конверте, что, без свидетелей, у него нет причин не взять; что за «бесценность» — каждую осень (в этот день), пока живу, буду слать почтовым переводом такую же сотню.

Так оно и будет, уверяю Вас. А если умру раньше него, напишу в завещании, чтоб, когда продадут книги и прочее мое, высылали и дальше посмертную сотню — день в день. Это можно завещать Сереже.

Вы скажете, что — пижонство?

Нет, это — война.

Это — оборона, как ни проигрышна она — со стороны.

Я не могу быть НИЧЕГО должна человеку, посмевшему угрожать мне административными лицами, угрожать лишить меня возможности работать. Ведь зачем мне — в таком случае жить? Да и зачем терпеть вечную низость?

Вы верите, что он «знает наизусть книгу «Метель заходит в город»[1]? Я не верю НИКАКИМ «добрым словам» лгуна. Завистника. Шулера. (И т. д.)

Он «любит Ахматову»?

Да он бы куска хлеба ей — живой (тогда) — не подал!

Мне попался журнал «Знамя» за 46-й год. В передовой, редакционной статье — РАЗЪЯСНЕНИИ «Постановления по журналам «Звезда» и «Ленинград», пишется:

«...между тем, замалчиваются такие талантливые советские поэты, как: Александр Межиров...».

Какая свирепая участь — быть жалостно противопоставляемым убиваемому! Отчего же не волочь эту участь — любою ценой, хоть по трупам?

Отчего ж — не знать наизусть Ахматову? Не любить?! Из некрещеных крестится только мелкий бес. (Кажется, уж говорила?)

Стасик, я ничего не прошу.

Я — наоборот — скажу Вам: держитесь!

П. ч. жить — очень больно.

Ваша Т. Глушкова

Киплинга передам Вам вскоре (как отлежусь). Обратите внимание там на рефрен (в романе): «она приобрела заслугу», «он хочет приобрести заслугу» и т. д. — прямота и наивность сведений о добре. (Как жалко, что эта книга всуе принадлежит «благородному и бедному литератору».)

---

[1] Название моей книги, которую А. Межиров, по его словам, «знал наизусть».

Мне очень грустно. Я делала (т. е. терпела) все, что могла. Но я не могу сделать из него человека или хотя бы «мужчину»! Вот и остается «поэтом, которого... не вырубишь топором».

* * *

«16 октября 1977 г.

Ох, Стасик, до меня, до опилок[1] моих, наконец дошло! (Трудно переключиться сразу на земноводную эту Лангусту![2] — после, после соображений, как увязать одну мысль Блока — с забытой «опилкой» одною моей...) Вот теперь — что по сердцебиенью нахлынувшему опознала — дошло...

Вот текст этого когтя, вымазанного смолою, полностью (я в лихорадке, читая по телефону, какие-то скобки не разобрала, опустила); со всеми знаками препинания:

«Дорогая Татьяна,

я понимаю, громоотводы и амортизаторы необходимы. Надо было на ком-то сорвать все, в чем я не виноват. Однако выбрать надо было меня. Правильно выбрали, безошибочно, как многоопытный комиссар собственной безопасности (злом на зло я, действительно, никогда не отвечал и не отвечу). Но я люблю Вас и хотел бы, чтобы Вы заботились о своей безопасности в другом и подругому.

Это у Вас пройдет.

М. б., Вы еще раньше решите написать мне. Тогда попросите, пожалуйста, Валентину[3] передать письмо из рук в руки. Я вернусь в последних числах октября.

Ваш (подпись) 12.X.77».

---

[1] Шутливая присказка о том, что у нее голова якобы «набита опилками».

[2] Одна из кличек А. Межирова, письмо которого Глушкова цитирует чуть ниже.

[3] В. Мальми — подруга Т. Глушковой.

Тут — прежняя смесь: трусости и угроз. (И это «приглашение к переписке» — и боязнь, что письмо пропадет или будет кем-то прочитано без него, что ему боязно...)

Вот что такое «многоопытный комиссар собственной безопасности» — видимо:

1) первое мое письмо (к-е Вы читали) есть, конечно, только срывание абстрактной моей ярости; он не принимает его на свой счет и даже, как «великий гуманист» понимает и прощает («Это у Вас пройдет». Он и по телефону, и по-всякому это твердил);

2) «правильно», с «многоопытностью» я «выбрала» громоотвод («безошибочно»), т. к. не раз его оскорбляла (по столь же абстрактным, стихийным причинам), а он ни разу на меня не доносил («злом на зло я, действительно, никогда не отвечал и не отвечу»); я — многоопытна, то есть — в знании его полной безопасности для меня;

3) но есть вещи (люди) для меня действительно ОПАСНЫЕ, и он, любя меня, меня предостерегает: он «хотел бы», из любви этой самой, чтобы я «заботилась о себе в другом и по-другому» (о своей «безопасности»).

Эта речь — только о В А С.

Он чует или учуял (чутье у него, в самом деле, и вообще песье), что я могу прибегнуть или прибегла уже к Вам.

И вот он «предостерегает» меня, как старый, верный, жертвенный друг, в чьей безобидности и доброте я «многоопытно» уверена, множество раз уверялась...

Вот и вся МУДРОСТЬ!

Все это совершенно соответствует тому, что я говорила и писала Вам вчера, на тех листках... Той очень, издавна проводимой им политике РАСКОЛА.

За сим — непременно! — он должен будет сообщить Вам, что я — Ваш враг (что Вы — «змею», «пантеру» и прочую хищную пушнину «на груди пригреваете»; ну, и понесет — по всяким возможно «больным» точкам; стихи Ваши тоже непременно «оплаканы» им будут — в «предвосхищенье» моей злобной, поэтоненавистнической «нападки», ну сами понимаете: все, что он наплетет, я пред-

видеть не могу; но это будет и всякое «бабье лепетанье», и вопль «Гоголя» о России, и кровавый скрежет любви его к Вам, вообще — ко всей ЧУЖОЙ поэзии, ибо он — человек Божий, Алексей,

Иов на гноище, святой поэтолюбец...). Он напомнит Вам также, что Вы «многоопытны» в преданности его Вам — кристальной! И что, любя Вас, он «хотел бы, чтобы Вы заботились о своей безопасности» (ну, слово в слово!)[1]... Да, тут скоро запахнет сумасшедшим домом — и ОН будет еще нас навещать там, точно как Слуцкого[2]!

Придумайте, как нам его перехитрить! Тут хитрость — так же нужна, как и «опилки»!

У меня хитрости ужасно мало! (Сережу бы пригласить? — да у него хитрость несерьезная больше, ну, небольшая, «подростковая» разве с Лангустой не сравнить!)

Зачем он сообщает о сроке приезда, не разгадала я. Либо — угроза, либо — «надежда», что к этому времени «у меня — пройдет»?

Но этот срок все равно меня не устраивает: я могу не успеть статью... Пусть бы он погулял по тропикам!

Страх (или легкая паника) в нем все же передо мной есть: пришел вчера и большой конверт почти со всеми моими бумагами, которые я требовала.

(Он пел, как ему «больно расставаться с ними» — и мне и «Валентине», — и вот: почти все!..

В том числе — моя заметка:

«ОБ ИДИОТИЗМЕ».

Она — очень интересная.)

Вы говорите, я не знаю его оборотистости? Но — зато — я знаю, с его слов, что Вы — «всем обязаны ему». Он «вывез Вас в Грузию и Литву — а то Вы были бы нищим», и многое другое! За некоторых же поэтов он пе-

---

[1] Глушкова была права: когда между мной и Межировым произошел разрыв, он стал посылать мне письма именно такого содержания.

[2] Слуцкий в это время находился в психиатрической лечебнице.

реводил многотысячнострочные поэмы, — чтоб тех спасти, не беря себе «ни копейки. Как можно?!.. Это же товарищеская помощь!» (И: «Люди не прощают ДОБРА. Мне мстят за добро».)

Однако я взялась выплачивать ему по сотне каждую осень... Это, может, и сгоряча (особенно ввиду гнуси нового его письма), но я от слов не отступаю...

Как по-Вашему: а может воспользоваться идеей и написать «Письмо Белинского к Гоголю» и превратить его в первопамятник «нелегальной русской печати» (Ленин)?

Все, сил жалко да лень, а ведь можно бы его написать не хуже, чем я сейчас о поэме «Февраль» и прочем.

(Он ведь так написать не может: у него нет языка, а у нас есть!!!)

Стасик, а что если у него — паранойя?

«Нелегальная русская печать» — это которая нееврейская: только и всего. Ну, и на русском языке, конечно.

Да, он уверен, что человек его произошел от сатаны (сатана сотворил, когда был пьян; либо — чтоб не так скучно было: бесам — у себя, среди бесов же — скучно очень, и они непременно ходят к людям, причем людей — меньше, чем их, и потому они ими дорожат).

И вот — в каком-то смысле — он и ко мне очень привязан: ему будет СКУЧНО без меня; наконец, мои опилки иногда «сдуваются» в такие узоры (складываются), что — очень интересно. (Как он ни высмеивает любое мое занятие, я ведь вижу, что ему — интересно.)

Вот тут-то и надо не «растаять». Но я уж давно не «таю»! (Плетка!)

Год тому (о Вашей ст. о Багрицком) я была не столько глупей, сколько уверенней в превосходстве (нашем) над саранчой... Ну, и в «победе», к-я все-таки наступит, даже — уже наступила... («Моральная».)

Но я вижу: их все больше, больше; я разучилась так ИГНОРИРОВАТЬ, как умела прежде. Т. е. слишком высокомерные, самоуверенные были опилки!»

* * *

«17 октября 1977 г.

Смотрите, ведь я «разбирала» его письмо[1], как какой-нибудь О. Сулейменов (или Л. Гумилев) список «Слова о пълку...» — «великого гусельника» (если вспомните, это выражение того, кто сравнивает Багрицкого... с автором «Слова...»[2])!

П. ч. мучительно чуял мой нос какую-то туманную, но важную дрянь. И покоя мне не было...

Он нарочно так «аккуратно» написал! Ну, чтоб быть «неуличимым» — и зная, что я способна понять (если хочу) что угодно.

Тут только слово «комиссар» темнит на миг, но и то либо спешка («практик»?..), либо нарочно, для «стиля»... А так: как стеклышко ясно мне!

И я вспомнила всю историю РАСКОЛА. «Я — единственный, кто может спасти Вас от черносотенства!» —вопил он. (Вот для таких случаев он и покупал мясо даже!.. Это означало уже, что он — в ужасе, в панике. Мясо было дважды: вырезка. И был как-то рыночный творог. И раза два — какая-то ягода... Но я теперь вспомнила, что это были дни именно ЭТИХ страстей. Ну, когда, например: «Кому Бог даровал скрижали?! Вам — или мне?!» — вопил. Вслед за этим — подобным — он понимал, что надо явить какую-нибудь черту «как бы славянскую». Например, еду. А иначе — конец!.. П.ч. гнев мой бывал неописуем... Я ему — приблизительно — объясняла, что когда б были живы мои деды... И, кроме того, я всегда твердила, что я, а не он: «Кто — метрополия: я — или Вы?» И что я «и в гробу буду метрополия!» Ну, и т. д. Это надо было бы слышать. Да, все — «божья роса»!)

---

[1] Речь идет о послании А. Межирова, процитированном Т. Глушковой в предыдущем письме.

[2] Багрицкого с автором «Слова о полку» сравнил в своих воспоминаниях одессит М. Тарловский.

Он продолжает переписку, дает советы, прощает, жертвует собой, сообщает о планах приезда.

Это же светопреставление!!!

Пожалуйста, давайте его победим!!!

(П. ч. я ведь могу его просто убить каким-нибудь куском мрамора. И тогда его хоронить будет «кавалерийский эскадрон»[1], а Шкляревский напишет стихи «На смерть поэта», а через два года выйдет 2-томник «Воспоминаний» — об Афанасии Никитине (п. ч. его положат «ногами к Индии»)[2].

Шкляревский мог бы написать быстрее всех. Во-первых, начало у него уже есть. Причем такое, которое годится на все случаи: «В клуб не придет...»[3]

Правда, надо будет его попросить непременно употребить выражение: «невольник чести». (П. ч. без этого смерть может оказаться недействительной.) Желательно также, чтобы он изложил все в гекзаметре или близком размере, способном вместить глубь и ширь события.

[В клуб не придет (Александр Македонский), дошедший до Тигра и Ганги, Легкой стопой попирал он Берлин, почку оставил в Двине...» —

и важно закончить тем, что: «Внуки и дети продолжат, толпясь, светлое дело его»...] Я набросала, конечно, самую грубую схему слез.

Так, возможно, лучше сказать: «славное дело» (его), но разве я вправе навязать Шкляревскому меру страданья?

Ах, это все — пошлая шутка, возникшая от отчаянья! П.ч. — вот — кольнула одна опилка: вот что будет (еще): когда (если), когда (уже!) он сделает свою главную гадость мне, — он обвинит в ней Вас; вот чему «учит» еще его письмо, которое читаю я, как Олжас Сулейменов[4]. Теперь

---

[1] Так хоронили Багрицкого.

[2] Насмешка над строками А. Межирова «и ноги мои упираются в Ладогу и Неву».

[3] Стихи Шкляревского на смерть Смелякова: «В клуб не придет Ярослав Смеляков».

[4] Т. Глушкова иронически сравнивает свое изучение письма А. Межирова к ней с толкованиями О. Сулейменова темных мест поэмы «Слово о полку Игореве».

(ведь) есть два читателя — он и Вы; он скажет, что «как поэт», «как дитя», «как Моцарт» (озабоченный только «вещью славной!»), со всей чистотой — не от мира сего — показал... Вам... Ах, конечно, — «неосторожно»! (Но ведь взятки гладки с того, кто слушает «трансцендентальный гул» — «Коммунисты, вперед!» то есть...) Но Вы (ибо Вы — по «крови» — «Малюта Скуратов!!!») — да, это Вы — «погубили» меня (воспользовавшись его простотой!).

Я держу с Вами пари — на Спасскую башню Кремля (ну, кто — кому — ее — из нас — проиграет), что он — ИМЕННО ТАК мне представит все, когда (если; уже?) дойдет до всего! (Тому залог — это письмо. Я же знаю его гнусный, паскудный коготь! Он написал это все с длинным, протяжным «умом»! Ну, конечно, я тогда постараюсь зарубить его топором, как «вошь» —процентщицу. (Я все-таки решила, что мрамор — жалко.) Но продаются ли теперь топоры? Вместо топоров всюду лежат их двухтомники (со скромными вступит, статьями о «другом великом лирике»[1], которому подобен первый)...

Его придется убить хотя бы потому, что он отнимает очень много времени. Этот паук еще ведь сплетет тьму всяких тенет (если не убить).

Пригрозите ему, пожалуйста, натуральным топором! (Мол, я как пантера... Или еще как-нибудь.) Мол, Вы... Чтобы разгрузить свой рабочий день, т. е. — век...)

Он большой трус. (Вообще.) И трусость его такого рода: авось нарвусь на порядочного человека?!. Чем черт-батюшка не шутит!.. Побьют!.. (П. ч. в детстве ему, небось, говорили: «Шурик, не лги. Шурик, не воруй («пирожное эклер»— «в столовой ИТР»)[2]. Ты мальчик хилый — могут побить (эти «ломовики-охотнорядцы»)...». Уверяю Вас, Стасик, именно в этом вся его мораль. В УЖАСЕ перед

---

[1] Ссылка на мою рукописную статью, в которой я высмеял фразу Антокольского, где он поставил в один ряд А. Блока («другого великого лирика» и Г. Багрицкого.

[2] Строка из стихотворения А. Межирова об отце: «В подвале наркомата, в столовой ИТР он прячет воровато пирожное «эклер».

порядочным человеком... Перед этой возможностью порядочного человека (как ни мала она). Отсюда — и холопская любовь к Ахматовой, и многое другое (чем «подкупает» эта мелкая нежить)!

Ваша *Т. Глушкова*».

* * *

«23—24 октября 1977 г.

Ох, Стасик!

это забава жестокая, между тем...

Пока всех более доволен Юра Смирнов, который меня — все время — к миру подначивал, рассказывая трогательности. П.ч. на их Высших курсах[1] происходило ежевторниковое страдание, о котором Тип[2] — мне: «Мы ходили после занятий в пустой класс, курили и вздыхали на запретную тему, т. е. я — вздыхал, а он — понимал; а Юра говорит, что были всякие театральные хватания за голову (мол, что я наделал!!!) и речи столь небранные, что даже, вместо того чтоб сказать: «сумасшедшая», — Тип говорил: «неистовая». И Юра подначивал, считая, что (Тип) «уже достаточно наказан».

(Речь текла про меж них даже про то, что ему, мол, стыдно «людям в глаза смотреть», что я, хоть и «неистовая», но — «наверное, права...», ну, и что деньги — лапу его (копытную) «жгут». «Так унизить», мол! Как я — его. «После такой дружбы!» И — «за такую нежность»! Ну, и т. д. и т. д. Курили и вздыхали. Вздыхали и курили.

Я, впрочем, верю Юре, что ему тот меня не ругал. П. ч. Юра этого так заведомо не допускает, что только дурак сиволапый мог бы тут рискнуть. Вроде Савельева, скажем... Ну, и Тип это прекрасно понял, да и знал, что тут надо — «кудри наклонять и плакать», а не поносить...)

А вот в чем жестокость: в пылу радости Тип забыл про эти бессмертные деньги. Опомнясь же, непременно

---

[1] А. Межиров преподавал на Высших литературных курсах.

[2] «Тип» — он же.

подумает: значит, надо отдать!.. А это — выше его, то есть любви, и дружбы, и нежности превыше. (Юра не верит, а я вот пророчу: вряд ли перейти ему эти деньги...)

Он ведь не знает, что я их ни за что не возьму и скажу: «Это все старое, прошлое, ничего не поминайте мне, а то рассвиреплюсь пуще!».

И вот, Стасик, пока мы смеемся, я уверена, он думает: деньги!!.

Я вспомнила, например, что вчера по телефону, когда я нечаянно помянула, что мне подарили Чаадаева, Тип сказал: «Ничего себе подарок! Да этому подарку цены никакой нет! Целое состояние!» — и была тут та жадная родная интонация...

Я сказала: «Подумаешь!..» — и царапнуло меня это.

Так что вот сейчас Тип муку разную переживает. А еще думает: а не шучу ли я?.. П. ч. голос у меня был веселый и я почти нечаянно насмешничала. Так, он сказал, что похудел и болел, а я: «Да, говорят, Вы плохо выглядите». Он даже и обиделся: «Поэту необязательно хорошо выглядеть», — буркнул. Но я сказала, что знаменитому — очень желательно!

Все это — по-старому печально... П. ч. как переменить воззренье на него???

Мне кажется, за всю жизнь было только — от силы — 2 добрых дня... Так, в июне, кажется, когда напала на меня очень черная и плакучая тоска, Тип, хотя отнюдь виновен во всем не был, приволок (это он позволял себе в ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ случаях) очень фантастической красоты цветы, и было явно видно, что — от жалости, а не из корысти. А также говорил разную утешительность, хотя, видит Бог, я была совершенно виновата в своих печалях, и даже: никто более, как я одна! И он это знал.

Больше, кажется, ни разу он не был похож на человека. А все было: война, война, война («с ливонцами, с поляками, со шведом») — ну, и патологическая привязанность к этой войне! И — периодическая паника: как бы не утратить вполне противника (меня т. е.).

Я очень хотела бы встретиться при Вас[1]. (П. ч., кроме прочего, он ведь не удержится — меня поносить, да и просто врать, что его — «оклеветали « передо мной. И это будет жуткий коммунальный ужас. П. ч. он моментально может утратить выдержанность: столь кровавы обиды!.. Ну а при Вас он покажется с лучшей джентльменской стороны, а мы ему скажем 2—3 важных слова.)

К тому ж надо бы не дать ему думать об этой «Классике и мы» то пошлое, что он думает, п. ч. хочет так думать: про разную предвзятую «партийность» чью-либо.

Нам надо заботиться о своей репутации неподкупных и отважных «антисемитов»!

Не «замыкающихся» в кастовой «злобе»...

Но — вовсе нерассиропливаться. П. ч. никто, кроме нас, не дремлет.

Вот в чем — соленая соль: Пушкин знал мифологию ЛУЧШЕ всех наших «античников», мифологистов.

Он ее очень знал!

Ну а я, конечно, не знаю, но мне сразу видно стало, что бес «другой» —Дионис[2].

(Когда я была на 1 курсе Лит. ин-та, то написала огромную курсовую работу — страниц 100 с лишним — «Сходства и различия между Эсхилом, Софоклом и Эврипидом», все забыла уже, конечно, но помню, как полгода только тем и занималась. Я тогда шпарила наизусть «Прометея прикованного» и все такое... А на экзамене получила четверку, п. ч. мне попался билет: «Периодизация Римской литературы». И честно сказала: «Я знаю только греческую литературу. А про Рим — ничего». И тащила благородно второй билет... Вот теперь я хотела через Пименова найти ту страшную профессоршу Тахо-Годи,

---

[1] В конце концов по просьбе Т. Глушковой эта встреча состоялась и закончилась ее полным разрывом с Межировым. Подробности в главе «Коммунисты назад!» из моих воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия».

[2] Речь идет о стихотворении А. Пушкина «В начале жизни школу помню я».

которая меня жутко стыдила: «Как можно ничего не знать про Рим??!»)

Знаете, Дионис — единственный из богов, кто ходил в маске?

Он очень забавный тип; и у меня о нем осталось, видно, с тех пор дремотное воспоминание.

К тому ж в непотребном отрочестве я читала неприличествующий роман (чей ?..) начала века — то ли «Дары Диониса», то ли (скорее): «Гнев Диониса»[1].

Он был бульварный; дамская бульварная литература (каков жанр?!) — п. ч., кажется, написала — дама. Но там обложки не было, а спросить было нельзя: все уже умирали. Но — «лживый, лживый» — это может быть только Дионис.

По крайней мере, я могу написать: А ЧТО ЕСЛИ— это как раз Дионис?..

Хотя я сегодня и вовсе уверена: он, голубчик...

(Но даже детям ясно, что это — не Венера!)

К тому ж: очень нужен Ницше.

В том доме, который вымер, я читала; о трагедии (Ницше) и даже «Воспоминания о Ницше» одного филолога классического, который учился с Ницше. (И потому, когда мне попался «Доктор Фаустус», я увидела: Т. Манн пользовался этими воспоминаниями!) Но я же тогда ничего еще не соображала. Потом пришлось продать библиотеку мне — ту. А вот теперь бы — эти книги. (Ницше!)

Обязательная — будет цитата — к «Вальсингаму»:

Закружились бесы разны, Точно листья в ноябре.

Осталось додумать:

а почему вообще Пушкин сказал: «двух бесов»? Как он это уравнял: Аполлон — Мефистофель («Мне скучно, бес!») — «бесы разны» («Бесы»)...

Т. е. от мифологии (уже выясненной, кажется, и без Тахо-Годи: только записать надо) перейти к «демонологии» Пушкина. (Но, конечно, без «декадентства» в этом!)

---

[1] Роман бульварной писательницы начала XX века Е. Нагродской.

Боюсь, работа мне скоро станет не столько трудна, сколько скучна («Вся тварь разумная скучает»!), п. ч. скоро получится уже не:

«ОБРАЗ БЛОКА В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА»,

а:

«НАГЛЫЙ ОБРАЗ БЛОКА В ТВ-ВЕ ПУШКИНА».

Т. е. назойливое, «мистическое» ЕДИНСТВО КУЛЬТУРЫ.

(Очень важно, что тот гулял в маске).

Пушкин близко подошел к сомнению в искусстве. Но он был человек очень светский — и поэтому умер, вместо того чтобы прилюдно, как Л. Н. Толстой, «сжигать все то, чему поклонялся» — проклинать искусство... К тому ж уже явился Гоголь, и было совершенно ясно, что русская печка для сожигания рукописей уже топится на славу. Вообще ж, это прелесть — не занятие: написал — сжег!.. И опять — сначала...

Но П-н, конечно, вгляделся в бандитскую рожу Аполлона — с тихим ужасом, п. ч. Аполлон выезжает иногда на серых волках, а не лебедях, и у него есть «музыкальная» привычка — убить, но всегда отводить очи золотые от трупа: он не глядит на убитого, этот «белоподкладочник»!

Главное же, искусство в России,— думал, м. б., Пушкин, — мало чем отличается в свойствах своих от «русского бунта»...

В общем, конечно же — дыбом волоса: если видеть разом два «лика» — Аполлона и Диониса.

Конечно же: «...бесы разны, точно листья в ноябре»! (Я уже почти понимаю, почему: «двух бесов»...)

Но так жить нельзя, и потому, действительно, надо было «облечься умственно рясою чернеца...». Но — легко сказать!

Совсем не обязательно читать Ницше: и так ясно...

Чаадаев был не глупей Ницше и точно так же умен, как Пушкин. Я прочитала такое его письмо! — ну, как нарочно написал к этим «двум бесам», хотя там ни звука о Дионисе...

Только в России умели так презирать собственную гениальность, как эти трое: Пушкин — Чаадаев — Гоголь. Я думаю, стихотворение «Памятник» написано из приличия, а не из нужды. Это — дамское занятие: писать «памятники»...)

Блок — это «болтливый» Пушкин. Но мы не можем его не любить, и должны даже — все «нежней и суеверней», п. ч. мука его сравнима лишь с гоголевской, т. е. — запредельна, и мы не можем себе даже представить ее, как бы мы его ни любили.

(Ходасевича мы любить не должны: ни в коем случае.)

Очень хорошо, что ангольский тип[1] (он же: «деловитая парижанка») гуляет... Он приедет как раз к шапошному разбору, к театральному разъезду!..

Я очень отдыхаю — мыслями и душой, мне легче жить, когда его нет.

(П. ч. «быть спокойной» — мне очень трудно бывает; хуже: я заболеваю почти всегда — «после дружеской встречи».)

Ведь он бы сейчас мне все испортил — каждую мысль постарался бы вытравить, изуродовать.

А так — я совсем беспризорно могу работать и, во всяком случае, что хочу — то думаю (и — про что хочу)!

Дело в том, что Блок-Вальсингам — это еще ничего не сказать почти, и пока я не разобралась в самом гимне, грош мне цена была... Теперь надо всех «бесов» выстроить по ранжиру: мол, «на первый-второй — рассчитайсь!» А также: сказать, что «Маленькие трагедии» есть 4 акта единой трагедии Большой, и Вальсингам — «светлая» (бело-черная) каденция в ней: причинность Вальсингама — самого акта 4-го причинность... «Светлая» (черно-белая) фигура Блока чтоб возникла средь «бурунов» Чумы, «разъяренного океана»...

---

[1] А. Межиров.

Все это, Стасик, конечно, секрет: Пушкина или Блока читать можно только «по секрету», в самых что ни на есть лопухах, репьях «народной тропы», в пыльном, заросшем тайными травами кювете ее...

Если Вы думаете, что я понимаю, в чем соль гордости (долженствующей быть?) — насчет «донского происхождения», то на самом деле я совсем этого не понимаю! Наконец, этот дед-казак в бумаге 909-го года прописан «народным учителем», а потом он еще успел стать инспектором гимназий в этом Войске Донском[1].

Фотографии, попавшиеся мне на антресолях, — «с другой стороны», выдают, к сожалению, польскую кровь (как и фамилии), рожи совершенно белогвардейские: правда, в белой армии никто не служил, а один — убит в Галиции (в 1-ю мировую, т. е. — что я говорю! — в «германскую войну»), а другой, поручик, сам застрелился — от любви, при старом еще режиме... Легенду о нем я смутно помню, от бабки — и потому когда-то сочинила от имени одного типа родственного, Мишеля, клочок:

Ах, прекрасная Розали,
В этом платье, в этой шали
Вас на черный бал зазвали!
В желтозубых кружевах...
Плюньте! Этот вертопрах,
Этот бешеный поручик
Разве стоил ваших ручек,
Вашей дочки, ваших внучек,
Он стрелялся — не за вас!.. (и т. д.)

(Это я сочинила когда-то поэму, героиня которой — такой очень храбрый «австро-венский лоскуток», такая — «суммарная бабка» моя как бы, а я...

...Это не я — это вышел из рая мой темноглазый двойник.)»

---

[1] Речь идет о предках Т. Глушковой.

* * *

«25 октября 1977 г.

Размышления о бесах.

Да, это очень может быть, что он (Пушкин) чаще всего просто бил их (по утрам) комнатной тапочкой.

Конечно, иногда (временами) у них проистекал и разговор.

Какой?

А вот, например.

Лысый и черненький стоял в углу у окошка и одной задней лапой чуть почесывал — из застенчивости и вшивой комильфотности — другую.

«Что там белеет? говори»,—

говорил П-н.

И тот шпарил, взвизгивая на буквах «зяв!», «зяв!» («мерзавцев сотни три», «две обезьяны» и пр.):

Корабль испанский трехмачтовый

(и т. д.).

«Все утопить», —

говорил П-н.

«Сейчас»,—

отвечал вшивый.

(Я думаю, «парижанку»[1] бы он бил тапочкой, например.)

В его Мефистофеле проглядывает русский черт.

Я не вижу ни вельзевульства, ни люциферства особого... Ни даже просто: Дьявола: все — бес... Ну, иногда бывало страшно...

Но страх серьезный — относительно — начался только с приходом Гоголя.

П. ч. когда Гоголь произнес: «Тихо светит по всему миру», — то вот это уже, пожалуй, был голос не «беса», а Начальника... Пушкин Гоголя не любил — всегда твер-

[1] А. Межиров, вернувшийся из Парижа.

жу, — и лучше бы им вживе не встречаться. Тот пришел по его душу...

(Но это уж тема другая!)

В основном же — были ручные, как белки. Ну, докука, конечно, и даже опасность (когда много, как листьев), но — (я очень устала)...

Мне приснились кактусы. Но я думаю (и они очень цвели и только желтым, едко-желтым), что это так разрослись во сне те репьи, которые Передонов срывал для кота:

«В шкуру лепить будете?

— Да.

— Без меня не начинайте!»

Еще во сне была грязная мартовская весна.

Снились мне там также и Вы, но очень трудно вспомнить: что-то важное, интересное; ночью, проснувшись, еще помнила, а утром — уже нет.

Очень бы хорошо заболеть — и чтоб подавали горячее какао. (Но где там?!)

Ах, какая гнусь все-таки в голове!

Дона Анна — похожа на Марфиньку (из «Приглашения на казнь»)! Наверное, это как-то связано с «узенькой пяткой»?..

Всегда надо помнить: «веселое имя Пушкин», — сказал Блок! Протер очи мутны:

Это звоны ледохода[1]...

«Веселое имя» — а то... «гипотеза» станет мелодраматической...

Люди не понимают: черти играют краплеными картами, только когда играют в поддавки — когда надо как раз проиграть... П. ч. они народ, битый тапочкой, умный!

И все-таки, Стасик, они висят гроздьями иногда: с потолка, с люстры, к-й нет, свисают, как виноград «Изабелла».

Но есть разные слова веселые. Напр.: «Невольный чижик» (Пушкин). Невольный чижик».

---

[1] Из стихотворения А. Блока «Пушкинскому дому».

* * *

«Здравствуйте, Стасик!

Это — не письмо, а новогоднее поздравление, и шлю я Вам картинку из очень любимой моей — в детстве — книжки «Макс и Мориц»[1]. А вторую картинку я шлю Вам для того, чтобы Вы на ней написали поздравление Межирову и послали сейчас или к Старому Новому году. П. ч. у меня нет таких знакомых, кому можно было бы послать эту гнусную обезьяну. Межирову — она очень хороша бы!.. (А можно — Эфросу[2].)

А Вам (и Гале, конечно) я желаю всякого разнообразного счастья в будущем году, всяких удач; и стихов, которые пахнут моему носу Буниным, и просто стихов, которые хороши; и чтобы статьи (и разную прозу) Вы тоже писали; и чтобы все у Вас было хорошо.

У меня совершенно нет дара праздничной речи, поэтому перечень мой, должно быть, косноязычен. Но отношусь я к Вам очень хорошо, и благодарно, и уважительно — и надеюсь, что Вы этому поверите, несмотря на сегодняшнюю усталость моего «слога»...

Очень красиво падает снег, и поэтому хорошо бы — елку! Но боюсь, что во всей округе будет елка с игрушками только у Юры Смирнова... А надо — чтобы у всех.

Мне звонил Рейн и рассказывал, что Межиров написал в «Сов. писателе» хорошую рецензию на его рукопись. Я отношу это отчасти к своей заслуге, а также к тому, что он решил с кем-нибудь из кровных сплотиться, п. ч. не из доброты и заботы это ведь!..

Очень хочу, чтобы был январь.

И чтобы писать о Блоке. (О нем очень подходит писать в январе, когда много снега.)

Ваша *Т. Глушкова.*

30.XII.77

---

[1] На второй картинке была изображена обезьяна шимпанзе.

[2] А. Эфрос — режиссер. Один из участников дискуссии «Классика и мы».

* * *

«5 января 1978 г.

Стасик,

Все они — вепсы!

И Кожинов — тоже вепс[1]!

Это — лесные люди, которые выходят из леса за гроздьями водки и уносят ее обратно в лес; а у Кожинова в лапе мелькает притом еще какая-нибудь книжка, но читает он ее в лесу — при свете светляка.

Вы — по-моему — не вепс. И я — не вепс, хотя есть другие недостатки.

Передреев вызывает сплошную жалость.

Вы говорите: тоска по идеалу.

Эта тоска — хороша, но вот что плохо: если кто на волос даже не сходится с идеалом, то растерзает его вепс — точнехонько как врага.

П. ч. мирозданье — у вепса — состоит из двух «действующих лиц»: вепса и идеала. (Опричь же ничего в бездне пространства н е т.)

Теперь о Кожинове.

Вот в чем беда: он мало умен и, главное, литературно мало даровит...

Уж поверьте, что это так!

(Мы с Вами — точно — умнее гораздо, как ни тоскливо это.)

Самое же поразительное — это отсутствие у таких, как Кожинов (т. е. русских), какого-либо народного чувства, чутья. (И чутья социального...) Эти слова непривычно громки — для меня, но я не знаю, как выразить ту важность, которая тут отсутствует. Так, все жалкие идеи о 30-40-х годах хуже, чем жалки! Так не может рассуждать человек, рожденный не из книжки (идеи), а естествен-

---

[1] В нашей игре-переписке «еноты» — означало «евреи», а «вепсы» — «непросвещенные» русские. С этой несправедливой оценки Кожинова и появилась трещина в наших отношениях.

ным образом. Ибо нет и не будет во веки веков оправданья ни единому году того царствования. А пуще всего годам 30-40-м. Они были страшны не только физически, но и морально, и противоядия тому злу, может быть, не сыщется уже никогда. (Все это чудно видно в документах Смутного времени. Когда «брат доносил на брата, сын — на отца, и не было Бога ни в единой душе...») Эта отрава тогда начала в народе течь, а когда случилась Победа (в войне), все уж стало тут необратимо[1]...

И вот, на мой взгляд, все речи такие как раз и есть антинародные, ибо всякий распад (нации и любого единства) начинается, именно когда Бог рушится в человеке. Кожинов ни капли не верит в Бога. Он думает, наверно, что Бог, как недвижимость, всегда, при нем, если он — русский.

Ужасно он не плодотворен!

И очень мало даровит — вот беда!

Он при светляке вычитывает цитату. Ну, хоть из Белинского — про талант!

А это же — глупо! И при том: он Белинского не любит, а я — люблю. Но меня ничуть не смущает — быть против цитаты из Белинского, а его — не смущает: пользоваться ею, хотя он его не любит!

Не любить Белинского может только бесталанность. (И еврейство.)

Знаете ли, что столь роскошный роман, как «Отцы и дети», посвящен:

«Памяти Виссариона Григорьевича Белинского посвящается»?

Мне плевать на все «ошибки» его, даже и на ОШИБКИ. Блок — в чумном страхе своей реальности ругал его. Да ведь и не только ругал!..

Эти носятся с Ап. Григорьевым — против Белинского.

---

[1] После 1991 года ее взгляды на сталинскую эпоху изменились в корне. Более того, она стала даже идеализировать в своих стихах образ вождя.

Дураки потому что.

Белинский талантливее Ап. Григорьева: и это Блок, а не я, сказал:

«Одна пядь значительно более талантливого Белинского затмила все семь пядей Ап. Григорьева».

Он (Блок) мог досадовать на это (в иную минуту). Но он понимал, что талант в России — не шутка. Ничего общего — с немецкими эстетиками. Немецкий язык не располагает этой тонкостью: способность — даровитость — одаренность — дар, талант, гений.

Талант всегда был у нас чудом духовным (а вовсе не суммой метрических способностей, которые всегда презирались).

Ну, разве ж за метрическое чудо дело поэта зовется издревле в мире «святым искусством», «святым ремеслом», «священной жертвой» (и т. д.)? Не может человечество почитать «святой» просто способность к метрической речи.

Ругать Белинского — всегда признак бесталанности. Всякой узости. И «идеи».

Из всей литературы Блок один пытался делать это, будучи ослепленным пародиями своего времени. (Но тут же: вдруг ставит его рядом с Леонтьевым...)

Вот эксперимент:

я подговорила Сережу, чтоб он выписал себе 8-томник Белинского. Он не хотел. Но вот пришел 1-й том. И он каждый день теперь говорит: «Ты не представляешь, что за книгу я читаю!»— «А что? «Говорит: «Так талантливо, — а ему тут пока еще 23 года!— что хоть вой!» И что оторваться не может.

Ошибки?

Мережковский писал, что Белинский имел право на то «Письмо к Гоголю», единственный в России — имел право, и что Гоголь, единственный в России, это понимал. (Да и болен он уж был страшно. Это письмо гениального и умирающего человека — вот что это за письмо. Да его никто понять не умеет!)

А еще:

я написала бы «Защиту статьи Белинского о Баратынском «.Т.е. — почему он «не любил».

(Потому что «зрел сквозь целое столетие».)

Так ведь — никому не нужно это; я говорила когда-то Лазареву[1].

В общем, выходит, я тоже — вепс. Так зла...

Лень продолжать о Кожинове.

Но мне жаль, что нет у него таланта.

(Ведь Он не понимает даже, что значит: «склонность к парадоксальности, выдающей небескорыстность самого мышления» — и ставит тут вопросительный и восклицательный знак! Бедный Кожинов.)

Очень письмо вышло глупое. Но уж как вышло!

Я думаю, та тоска, что почудилась Вам тогда, о (по) Типе[2], есть ложная, во всяком разе, тоска.

Да ведь слишком исчерпано все — хоть письмом тем моим ему!

Разве что-нибудь (из него) отменить — можно?

Каждый дурак ведь знает, что нельзя, невозможно!

Ну, я могу вообразить: ну, выпьем мы с ним водки, вроде станет чуть веселей. Но ведь он ни звука мне — там — не простит, ни слова (п. ч. они не способны к раскаянью). Да и во мне, может быть, теперь вовсе и нет той вечно вспыхивающей страсти — ко всему на свете, т. е. жизни, за которой и ходил ко мне, многие поношенья даже терпя...

И — старая он калоша, вот он что!

Вот — гнусный случай: я попросилась однажды отвезти меня в церковь (в м-ре), ну и попросила не входить за мной туда. (Очень промозглый ноябрьский вечер). Ну, пообещал, конечно. А чем кончилось? Тем, что когда я ставила свечку, то он — не только вошел, но от моей, в моих руках т. е., свечи зажег свою — а я ничего не заме-

---

[1] В Лазарев — текстовик-песенник, притворявшийся патриотом. Ныне живет в Америке.

[2] «Тип» — А. Межиров. Конец письма — о нем.

тила. Он себе вымелся опять на двор, и мне в голову не пришло! А потом, совсем потом — рассказал, как я ничего не видела, и описал, где, пред каким образом...

Как вспомню, так опять ненавижу!

(Ему, видите ли, было интересно, как я — в церкви.)

За такие поступки я устраивала огромные, бессмысленные казни. А на душу ложилась тоска. И это: «мелкий бес», — вилось и вилось.

(И вечно ноябрьский вечер в глазах моросит, как вспомню что. И водку покупать всегда надо было почему-то в ледяном Речном порту, и почти всегда я пила ее злорадно: а как это — объяснить не могу.)

Ну, конечно, конечно, когда уж совсем нельзя было иначе, дарил к.-н. книжку и являлся интеллигентно, на кончике стула держась, и прилежное лопотал.

Но, м. б., только я и знаю, сколь неинтеллигентный это человек!

(А вообще: как опустел мой дом! Ни Слуцкого нет, ни друзей бывалых. Вот отчего тоска!)»

* * *

«17 февраля 1978 г.

Ох, Стасик, не надо бы мне бывать в Союзе и в Домах тв-ва (и, конечно, то, что я стала бывать, с декабря начиная, связано с Вами, но Вам пользы принести не смогло).

Я очень боюсь, что все эти люди поссорят Вас со мной, а меня — с Вами. (И я скажу Вам, в скобках, даже, что Тип, при той встрече втроем, «диспуте», как говорит Сережа[1], очень хотел, чтобы Вы сказали мне то, что, как он знал, я никому не прощала, и потому был «туп» и настаивал, чтобы Вы «приводили примеры» дурного, что он говорил обо мне — Вам... Сам он в жизни бы мне в своих текстах не признался и клялся не зря «здоровьем Зои и Анны», что все — вранье, п. ч. знал, т. е. чувствовал, что

[1] Т. Глушкова вспоминает о нашей ночной дискуссии с Межировым.

тут бы пришла уж полная финита для него со мною; но очень желал, чтоб — текстуально — сказали Вы, п. ч. говорить мне такое в лицо не смел даже он; и когда б Вы сказали, это означало бы — «в моих глазах», — что Вы не «человек чести», как иногда называл он Вас — нарочно, назойливо, всегда подчеркнуто-некстати — мне. Он был туп, чтобы как можно больше вывести Вас из себя. Я давно вычислила эту ловушку, которая поначалу казалась необъяснимой его тупостью и упорством. Это была ловушка — для Вас. (Вот почему я никогда б не доставила ему радости корить его с такою ссылкою на Вас...). Когда я это все вычислила, мне стало скучно совсем как-либо думать, вспоминать о нем.

Скорей бы деревня, весна (там зимой не топят); я думаю о своей деревне, как об Италии или Александрии думал бы кто другой.

Очень грустно. Постарайтесь, чтоб им не быстро удалось поссорить. Это было бы очень печально мне, хотя я, конечно же, меньше всего думаю о выгоде от Вашего секретарства там... В самом деле, все забываю об этой должности, хотя все мне напоминают об этом.

С Симоновым[1] было правильно.

Нам надо поделить речку Непрядву!

Вообще ж: хорошо, что уезжаете. Хотя я буду скучать. И, кроме того, скоро слетятся все коршуны.

Я очень хотела бы увидеть какую-нибудь совсем другую страну. Лучше всего бы — по морю чтобы.

Или хоть деревенский шиповник...

...Я не совсем поняла, что там Вы трактовали о моем «голоде»[2]. И почему никто (почти) не видит, что у меня

---

[1] К. Симонов, узнав о моем выступлении на дискуссии «Классика и мы», отказался вести вечер поэзии в Лужниках, организатором которого был я. «Баба с возу — кобыле легче», — сказал я Симонову и обратился к Анатолию Софронову, который и провел вечер.

[2] Речь идет о моей внутренней рецензии на рукопись Т. Глушковой в издательстве «Современник» («Вепсятник», как говаривала она).

тьма, например, юмора? Вот мне Рейн рассказал, что грузинский народ преподнес Ахмадулиной один экземпляр ее огромной книги, там вышедшей, — такой: обложка — в тонком листовом золоте, и на ней знаменитейший тамошний чеканщик изобразил (не Пегаса) Мерани и еще что-то.

«Это называется: Остромирово Евангелие», — сказала я. (А вы говорите: «голод»...).

И мне ведь весело — а не злобно! — все такое говорить.

Я сержусь редко. А самое гнусное во мне, между прочим, это дикая смесь: брезгливости и доверчивости. И при этой смеси — о каких «стратегических мозгах» может идти речь?!»

* * *

«16 февраля 1978 г.

Стасик! Шлю Вам довоенную картинку — времен Дины Дурбин и Марики Рокк[1] (П. ч. только у меня и есть, м. б., такие картинки.) Она означать должна, что острить с Симоновым — Вам — было бы так же глупо, как мне — «беседовать» — с Карелиным. То, что меня (тьма народу!) не любят — очень правильно; я — первая это очень понимаю! Будет жаль, если Вас со мной (или меня — с Вами) рассорят. Пожалуйста, не обращайте на все внимание (ни на что); я привыкла к «комедии ошибок» — у меня так всю жизнь; и тут — ничего не изменишь уже. Но я знаю одно средство: никогда не защищаться. И ненавижу себя, когда вдруг устаю — и начинаю (что-либо) опровергать: это — низ унижения потому что. Ну а Вас я люблю, п. ч. Вы не внушаете мне того страха, как все. Необходимости обороны — на что уходит вся — почти — жизнь».

Я рекомендовал рукопись к изданию, но сделал несколько замечаний по отдельным стихотворениям.

[1] Послание написано на открытке, изготовленной в 1936 году.

* * *

«14 марта 1978 г.

Здравствуйте, Стасик!

Чтобы не устраивать этого вепсовского разброда, распри и проч. (что — на радость врагам), я предлагаю: напишите сноску — одну ко всей книге; вот какую — примерно[1]:

«Словом «традиция» (здесь и далее) я пользуюсь не в основном, принципиальном его значении, сопряженном с «единосущностью» (Блок) искусства и, в частности, с духовным единством классической русской поэзии, если иметь в виду ее преимущественные тенденции, но в значении суженном, ограниченном пределами конкретного творчества — ради выявления тех частных особенностей художественного опыта, которые интересны для той или иной моей темы. Т. е. пользуюсь им в интересах локального, «рабочего» литературного анализа, задачи которого и выводы из которого не ставлю, однако, выше или в противовес предпосылкам и законам поэзии в целом...»

Все это я сейчас — п. ч. устала — сказала громоздко и гнусно, а Вы это напишите понятней, но зато тем не дадите повода: 1) злорадству светло-сильному[2]; 2) ему же.

И кое-где можете сказать: «линия» (вместо «традиция»), «напоминает опыт (такого-то)...», «можно возвести к творчеству (а не традиции!) такого-то...».

Сноска, о к-й я говорю, избавит, впрочем, от необходимости даже и этого...

В конце концов, такая сноска — свидетельство культуры (авторской), а не заботы «обо мне» — я думаю!..

---

[1] Речь идет о моей работе над книгой «Свободная стихия». Т. Глушкова дает мне некоторые советы для работы над статьей о Куликовской битве и судьбе А. Блока.

[2] «Светлые силы» — наше ироническое название еврейско-либерального лагеря.

Какие новости? — спрашиваете Вы. Евтушенку утвердили (на студии пока, а не выше) на роль Циолковского в кинематографе здешнем. (Что скажет Калуга и Европа?!)

Блок — очень гениальный (стихи.)

Статья «Без божества, без вдохновенья»[1] вдохновила меня тем, что в ней пахнет моей яростью (стилем), — сегодня перечитала. Один абзац там такой: «Это жутко».

С Вальсингамом все хорошо. А с Куликовым полем — плохо. Ума у меня — нет (нужного, т. е. действительного), а к тому ж — во тьме невежества живу всю жизнь.

Надо прочесть про эту битву все, историческое.

Насчет традиции — и всего прочего, что есть вообще в мире, — я сейчас ни на копейку не уверена. Но вот что я думаю: если выйдет Ваша книга, то ведь я должна буду написать про нее. Это нужно, п. ч. я в рецензии, м. б., «доопровергну» все, что надо, поэтому грубого разнобоя (в словах «поэзия», «традиция», «стихотворение» и проч. мелочь) быть у нас не должно. Значит, Вам бы не полениться — написать сноску. Я могу предложить даже вариант на выбор. Меня бы устроила и сноска отрицательная: мол, не согласен со статьей, т. е. со мной... Это тоже все-таки будет вежливость и умность — лучше, чем, как все, делать вид, что «ничего не было» (в дивной нашей литер. критике)... И это — тоже — не помешало бы мне написать рецензию на Вашу книгу.

(Я напишу ее лучше, чем все! Т.е. — постараюсь. П. ч. так надо и хочу.)

Прочла еще «Задонщину» — чтобы все-таки узнать, кто там победил...

Сколько я помню из всего, что мною забыто, долго еще потом дань платили и зависели (от Орды)... Но и не в том даже дело.

«Задонщина» показалась мне сочинением плоховатым: криводушным, с государственным сентиментализмом, притворным... Это какая-то мелкосемейная хроника,

---

[1] Знаменитая статья А. Блока о Н. Гумилеве.

«внутренняя», невеличавая то есть. Порыва творческого там мало, а все — элоквенция «фольклорная»; какой-то член СП писал!..

То ли дело «Слово о полку...»! Те же образы, а все — куда как лучше. (Хотя очень загадочное, конечно, сочинение. И, м. б., Л. Гумилев прав, датируя его 13-м веком — разгаром «неволи»...)

(Очень мне хочется в к.-н. монастырь поехать, либо хоть в Новгород — любимые иконы посмотреть. Напр., «битву новгородцев с суздальцами», а главное — Федоров Стратилатов, которые там так хороши, что никаких сил нет: все — флорентинцы такие, в алых плащах и с балетными ножками, и в собольих шапочках... Вообще: мне хочется поехать всюду, а — не еду никуда... Это, я думаю, такая у меня, терпеливая, планида.

Вообще, чтобы написать толком о «Куликовом поле», надо иметь в памяти тот образ древней России, XI-XIVвеков, который был мне знаком в моей молодости, когда я на память знала иконописные школы, и зодчество, и все, но это уже стерлось у меня...

Между прочим, статья Ф-т-ва[1] очень хороша, и я просто не то ждала, искала в ней. Но она очень хороша! Иона — пример стиля чудный. Она — лучшее в той книге.

Но, с другой стороны, я увидела, что и то, что написано мною, может быть не хуже. Я много верного угадала, и до Гоголя такого никто не догадался, как я, и вообще...

Я теперь об иконах и Дионисии разном судачу — более для Вашего «воина»[2]. Блок-воин должен быть связан с той «святой ратью», которую мы знаем по изобразительному искусству. Хотя бы потому, что только на иконах и фресках есть те «алости», «розовости», «лазурь», которыми окрашен ранний блоковский «образ России». Если

---

[1] Т. Глушкова вспоминает книгу философа и историка первой эмиграции Г. Федотова.

[2] Речь идет о моей статье, посвященной Блоку и его циклу «На поле Куликовом».

бы Ф-т-в знал это искусство, как мы, он написал бы об этом источнике...

Я о Вашем «воине» думаю больше, чем о том, что надо мне. Это потому, что я не такая уж эгоистка!

С ним очень трудно — с «воином». П. ч. он «предал белое знамя», — думаю я. И есть, в итоге, большая «жертва стихии», чем Вальсингам, может быть. Его статья «Интеллигенция и революция», например... Вообще развязка судьбы «воина» — в его публицистике революционных лет. Правда, он везде героичен — и в отступлении этом своем.

Дионисийство Блока в этих статьях куда сильнее, безысходнее, чем в любых прежних стихах про вьюги.

Боже мой, до чего он был несчастен и мужествен!..

Он возвращается к прежним силам в 21-м году. Как ни смешно. «О назначении поэта». «Пушкинскому Дому». Тут опять подымается в небо «белое знамя». Он дотянул до бессмертья, «вытянул» все же на него — чудом каким-то! Глухой подвиг Блока самых последних 1,5-2-х лет — быть может, самый большой подвиг. Он тогда стал поперек стихии. «Это жутко», — опомнился он... Ну, и все такое. Это время — антиницшеанства, анти... того «духа музыки», который он все-таки очень часто хотел понимать не внутренним «чутким» слухом, а лишь воспаленными нервами, измученной, а не просветленной, одиночной душой...

Стасик, он мне надоел (устала), и потому скажу про Вашего Заболоцкого[1].

Писать надо как бы «на века». Т. е. очень хорошо. А я боюсь, Вы не исправили «Шагала — Гоголя». Розанов ведь не прав! Вы могли бы написать, сославшись на него, вопреки тому, что — он... Он Гоголя не любил и совершенно не по делу скандалил.

---

[1] Т. Глушкова говорит о моей статье «Огонь, мерцающий в сосуде», посвященной Н. Заболоцкому, в которой я предположил, что его сборник «Столбцы» и прозу Гоголя (особенно «Невский проспект») мог бы иллюстрировать Марк Шагал. Далее она размышляет о генетическом различии творчества Гоголя и Шагала.

Если Вам лень, давайте я напишу Вам эту одну, нужную, страничку!

Вся соль — в соблазнительности думать, как Розанов, и сопоставить, как Вы... Но это — поверхностность, а не правда.

Искусство Шагала, действительно, иллюстративно, но иллюстрировать Гоголя он не может. Как можно смешивать действительно «полубезумного» и, во всяком случае, очень взволнованного Пискарева с тем достаточно рассудочным разложением Мира, сознательной и рассчитанной гиперболой, что у Шагала?! Говорить о «бездуховном карнавальном движении жизни» у Гоголя — все равно, что говорить о том же относительно Блока, у которого — например:

По улице метель метет,
Шатается, свивается,
Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается...

И многие иные — движущиеся, не вглядывающиеся в лица людей (и проч.) строки...

Надо написать: о соблазне возводить это искусство (20-х и чуть ранее годов) к Гоголю, о школярски понятом Гоголе, о неправоте Розанова...

У Гоголя нет никакого эстетизма, эстетства. Его измена Пушкину — не здесь и не в том. Его измена в том, что «жизнь» он поставил выше «искусства», что ею дал ослепить себя, хотя, быть может, один он и был тогда зрячим в той жизни... Что «Россию» поставил он выше «творчества». Он — антиэстет вопиющий! Это ложь, что он «гениальный живописец внешних форм»[1]! Вы подумайте: все герои классической русской прозы уже мертвы! От Фамусова до Лаврецкого, от Печорина до А. Болконского, от Райского до кн. Мышкина!.. Одни только гоголевские герои и сейчас толкутся на улицах! Медведь всю жизнь,

[1] Слова из статьи В. Розанова о Гоголе.

например, меделянских щенков всучивает; Хлестаков — бесконечен: хоть на Овчинку (Евтушенку) гляньте! Да просто лень говорить об этом — они живут, и живут, и будут жить — и как говорить о «внешних формах», о «невнимании к человеку», о «нереалистичности»? Это же грех! Такой способности схватить непреходящее в национальном характере не имел никто! Что ж тут общего внутренне со «Столбцами» или с Витебском, который весь — намыслен, метафоричен в примитивном смысле метафоры, иллюстрирует «распад мира», а не открывает его... «Невнимание к человеку...» Да ведь после нескольких страниц главы о Ноздреве, или Манилове, или Собакевиче — как будто всю жизнь прожил с этими типами! Вы на диалоги тамошние посмотрите! Да там ведь в двух репликах — весь человек, с множеством подробностей... Это очень психологическая проза! Просто он умел писать так «крупно», как Микеланджело какой-нибудь. Это дар обобщения, а не «смазывания», — зовется!..

А Поприщин, а «Шинель» — это не психологическая проза?.. (Просто: у него нет героев интеллигентов, он пишет лица «стихии», если говорить словами Блока, — но он пишет именно лица, то есть характеры, а не внешности...)

Я говорю плохо, п. ч. возмущена.

Шлю Вам грязный листок, нацарапанный в декабре. Тоже — неубедительный, п. ч. ночной, без перечитывания «Повестей». Но отнеситесь к нему, как к воплю — не смешивать Гоголя с Шагалом...

В том-то и смех, что искусство 20-х гг. решило, что, узнавши «секрет», можно 100 Гоголей явить — в стихах и прозе.

«У вас Гоголи, как грибы, растут...», — проворчал Белинский Некрасову, если помните...

Вот и я — ворчу очень!

Ну, а «антипушкианство» Гоголя сейчас Вам ни к чему. Оно вовсе не в «Шагале» и не в Заболоцком. Оно — в том «соотношении» между творцом (личностью) и «стихией», в том нарушенном соотношении, от которого погиб Блок.

Пожалуйста, поверьте мне на слово! Я потом объясню лучше.

(Пожалуйста, ни в одной строке не уподобляйтесь нашим критикам! Будьте очень внимательны, т. е. аккуратны. Мы живем во время таких «обвалов» и «завалов», что не вправе быть белоручками и небрежниками... Кстати, чем ближе приближалась революция, тем меньшим «белоручкой» становился Блок. Он все больше «объяснял», все больше хотел быть понятым верно. Он унижался и до «банальных истин» тогда... и парадоксов стыдился...

Я очень хочу, чтобы у Вас получилась безупречная книжка. Безупречность — это, хоть и неправота, может быть, но — неповерхностность!)

Ваша *Т. Глушкова.*

27 декабря 1977 г.».

О повестях Гоголя, к-е я и так помню...

«[Надо Шагала сравнить не с Гоголем, а со «Столбцами». А о Гоголе сказать — при этом, — что̀ он лучше всех!]

У Шагала — многозначительность искусства. Он декоративен (в том «периоде») и многозначителен. Его плоскостность, живописная одномерность означают тоску, но — не мировую. Она не имеет — для мировой — глубины, а лишь протяженность (как будто)...

Гоголь — не декоратор, при всей карнавальности, а больше творец. Его композиции (статично-движущиеся) словно бы именно нам издалека видны как плоскостные, декоративно-карнавальные... Мы и он (Г-ль) занимаем разные точки обзора: его взгляд — несколько сверху, наш — издали, но не сверху; он — знает, видит при этом и объемы; мы — не видим. Шагал — «Гоголь «, ставший на место читателя (наше). И если угодно — он смотрит снизу (в облаках, в небесах, над крышами у него проплывают герои...). Он нарочит и, в сущности, литературен. (Ибо литературным может быть, кстати, и бред.) Он

гораздо доступнее Гоголя — для восприятия. Раз найдя точку, с которой смотреть на его картины, испытываешь затем досадливость, скуку, п. ч. все уже разгадано и вперед: так будет всегда. Его мир математичен сравнительно с Гоголем. Нет ощущения импровизации. Он взял какой-то интеграл («тоски», «скорби», «бессмыслицы», «фантастического быта»).

И это — неполная (не вполне) духовность. П. ч. бесплотность, бестелесность, плоскостность — еще не всегда есть духовность. В общем: нудно это, тоска, «высше-математическая» лирика, преждевременная обобщенность... зеленая (а не «мировая»).

Гоголь — творец и участник (т. е. он же и воспринимающий им увиденное: масса оттенков, и главный, быть может, его удивленность видимым и изображаемым. Чувствуется неразрывность между: видит — «изображает», «синхронность» зрения и слов; все это и значит: творец-участник... (Так — в игре детской. А эта нация вообще не способна к игре.)

Шагал — безучастен. Так безучастен автор (скульптор) посмéртной маски: маска (гипсовая) Пушкина, Гоголя...

У него — формула (мира, человеко-быта и т. д.): у Гоголя — отнюдь! — игра, видение и необдуманность воплощения. Его удивленность чаще всего вызывает смех, п. ч. мы не верим, что это — правда. (Он один знал, что у него нет воображения.) Он — случаен, а не нарочит. Это значит: сам не знал, что оно (увиденное) — такое... А Шагал знает — больше Господа Бога. И оттого его «тоска» вызывает скуку. Его «карнавал» картонен; а у Гоголя очень рукой хочется попробовать эту — никакую не условность, а чистую правду и быль, которая НАМ кажется фантастикой».

* * *

«15 марта 1978 г.

Стасик!

Вот что еще забыла: если Вы не исправите Шагала, наступит самое худшее — непременно: Вам никто (свет-

ло-сильный) не поверит, что Вы так думаете, т. е. равняете его с Гоголем, а решат: 1) либо Вы испугались (после дискуссии), 2) либо используете это (параллель невероятную) как тактический прием, «хитрость»...

И то и другое, конечно, плохо. И я Вам просто ручаюсь: в искренность этого Вашего мнения никто не поверит. (Ибо воистину Вы не так глупы!)

Вот почему — еще—я так настаиваю...

Что до сноски о «традиции», надо, конечно, не обессмыслить мою — на Вас: что Вы «сделали разумную попытку остановить поименное дробление традиции»...

Если бы я была уверена, что мне дадут в конце года слово, я написала бы сама о возможностях «бытового» или «рабочего» словоупотребления. Я думала об этом и раньше, но так не хватало мне места для главного, что и не написала об этом...

Я не уверена, что это слово мне дадут.

Я могу сказать и вообще: сторонников у моей статьи чрезвычайно мало. Гробово молчат даже те люди, которым я сама, по их просьбе, послала журнал[1]. Уже прошло много времени, и ясно, что они молчат сознательно. (Сюда относится, кстати, как я и думала, и Евтушенко.)

Есть одиночные очень пылкие мнения — хорошие, но они — с неожиданных, хотя и литературных, сторон.

Среди же тех, кому я сама послала, — молчат вепсы наравне со «светлой силой»[2].

Среди прочего, говорят и «как плохо написано» — у меня...

Вот и Тип нынче воскрес — не успела сказать, что «скрылся»... (А. Межиров. — *Ст. К.*)

Этот — по телефону — очень унижать старался: «Традиция, конечно, одна; но кто же этого не знает?!». И т. д. Вознесенского защищал... «Формальную школу»... И хотя я «ломлюсь в открытую дверь», вывод: «Статья не понра-

---

[1] «Литературное обозрение», где была в 1978 году опубликована ее статья «Традиция — совесть поэзии».

[2] «Светлые силы» — ироническое обозначение еврейства.

вится никому, и это говорит, во всяком случае, о ее бескорыстии...».

Я сказала, что он — зарапортовался: «все знают» и — «никто не одобрит»?.. И что он без меня совсем замшел. (Так и сказала.)

«И все-таки лучшая Ваша статья — «Мастер»[1], — объявил он. «Т. е. ее герой?» — спросила я.

Вообще разговор был вполне скандальный, — просто лень описывать. Я сказала, что поскольку Вы (Вы, Стасик) уехали, то он решил «постеречь нору с мышью».

Принуждает меня прочесть какую-то «Этику иудаизма» (реабилитирующую)...

В том, что у него есть Федотов, не признается. «Зачем бы я скрывал?!» «Как зачем?— говорю я. — Затем же, зачем и все остальное врете». Тогда он говорит: как, мол, я могу доказать, что она у него — есть? Ну, то есть сил нет. Я сказала, что он со мной заедается, как будто ему 11 лет. Он способен говорить по телефону 1,5 часа и более... Про нищету свою говорил. Я сказала, что плачу ему только по 13 числам — в октябре... Что дача тесна... Что... Ну, все то же. Только все статью мою трогал языком при этом, а я отругивалась. Я сказала, что «Этику» (эту самую) непременно потеряю, «и Вы останетесь без этики»... Ну, и все — снова.

Очень советовал мне прочесть статью в «Правде» — про Пиковую даму[2].

Ну, пойду вымою телефон.

(После всего этого...)

Хуже всего, что я сказала ему какие-то слова (мои) о Пушкине. Так злюсь на себя! Вот сижу ведь, как благородная мышь, несколько дней, не вижу никого, носа не кажу — и вдруг все, что придумала в такие дни, кому ни попало ляпну... Очень это я презираю в себе.

---

[1] Статья «Мастер» — о стихах А. Межирова.

[2] Речь идет о статье дирижера А. Журайтиса по поводу постановки оперы «Пиковая дама» в модернистском стиле.

Ах, вот: начало авангардизма — в Боттичелли! (У Типа; так он, то есть, заявил). «В Библии!» — сказала я...

[Эта страничка вышла сердитая? Ну, нечаянно...] Всего Вам доброго!»

* * *

Мое письмо Т. М. Глушковой из Дома творчества «Дубулты» от 16 марта 1978 г.

«Здравствуйте, Таня!

Пока Вас там травят еноты — я спас Вашего любимого кота. Галя подтвердит Вам (она приезжала ко мне), что когда вечером мы вышли гулять, в кустах раздался какой-то даже незвериный вой. Я бросился на вопли о помощи и увидел, что злобный фокстерьер терзает грязно-белого красавца. Красавец впился ему лапами в морду — но что он мог поделать! Фокстерьер выращен специально, чтобы травить не то что котов, а лис из нор вытаскивать! Я заорал нечеловеческим голосом, затопал ногами, и негодяй терьер от неожиданности разжал челюсти. Ободранный кот тут же метнулся на сосну и пропал во тьме. Сейчас он где-то зализывает свои раны. Если бы не я, то повесили бы Вы на стенку рядом с беличьей шкуркой и Вашей вепсовидной собакой кусочек грязно-белой шерсти и проливали бы время от времени у своего мемориала скупые слезы... Вот она, жизнь, какова. А Вы говорите — еноты. Впрочем, вернемся к ним. Я очень хорошо понимаю истоки и масштабы их ярости. Им было даже приятно, когда с ними воевал какой-нибудь Иван Шевцов или другой непроходимый вепс. На этом фоне они выглядели бы благородными, талантливыми, гонимыми и, ей-Богу, в глубине души были бы благодарны своим глупым гонителям. Сейчас же каждый более-менее не дурак из них отдает себе отчет, что Вы умны и талантливы. Над Вами не посмеешься. На меня они злы, потому что я нарушил правила игры, заключающиеся в том, что человек, занимающий пост и обладающий властью, по тради-

ции обязан поддерживать дух умеренной либеральности, чем я заниматься не стал. Их ненависть — замешана на страхе и на слабости. Но она вездесуща. Выход есть, наверное, один. Относиться ко всему спокойно. С искренним добродушием, без ожесточения. Улыбаться. Словом, делать вид — впрочем, это должно соответствовать внутреннему состоянию, — что ты выше злобы дня. Во имя справедливости. Ради бога — нельзя впадать в отчаянье, в истерику. Нельзя показывать, что твои нервы на пределе. Да их и в действительности нужно от этого предела оградить.

Я понимаю, что женщине следовать этим советам куда труднее, чем мужчине. «Нам только в битвах выпадает жребий...» Потому я не буду осуждатъ Вас ни в коем случае, как бы ни развивались последующие события. Не давайте только им поводов торжествовать. Всем этим «порядочным людям». И приличным тоже. Когда Ластик (он же Лангуста) сказал мне ту же самую фразу, что и Вам: «Все приличные люди отвернутся от Вас», — я ответил ему: «Дорогой А. П. Ну что Вы! Я же знаю, что Вы от меня никогда не отвернетесь». Он не понял юмора и даже сделал вид, что растрогался, забормотал, что знает наизусть десятки моих стихов, но кончил тем, что к Льву Толстому в Ясную Поляну приезжал один из последователей Ламброзо с одной целью: изучить необыкновенно уродливое строение черепа графа, как представителя вырождающегося рода, отягощенного всяческими душевными заболеваниями.

О Господи! Вызов брошен. Мятеж[1] состоялся. Со славой он закончится или без славы — нам знать не дано. Но одно я знаю точно: «все миновало, молодость прошла». На нашу долю остался лишь голубой дымок поэзии да темная мгла идей, и если не бросить вызов (а долго ли жить-то осталось!), то последние годы придется коротать бок о бок со старыми калошами, енотами, лангустами, ластиками, слушая их душевно-бытовую болтовню и груст-

[1] Речь идет о моем письме в ЦК КПСС по поводу альманаха «Метрополь» и еврейского засилья в культуре и идеологии.

но поддакивая им. Да при одной мысли об этом хочется пойти на кухню, законопатить окна и отвернуть все газовые краны.

Посылаю Вам свою статью[1]. Я отношусь к ней, как к черновику, потому что многие из мыслей (в частности, параллель «светлый стяг над нашими полками» и «я не предал белое знамя») я не додумал. Просто не хватило сил.

До встречи. *Станислав.*

* * *

«7 апреля 1978 г.

Стасик, я очень рада, что Вы написали про Блока, и очень хочу прочесть.

Но — я не могу писать сейчас письмо. Когда начала, то еще как-то могла, а теперь — второй день уж — не могу. Лучше бы Вы позвонили... Дело в том, что меня совсем заели светлосильные еноты![2] (Я не хотела рассказывать Гале, когда видела ее, п. ч; это — не женского плеча выносимостъ.) Видите ли, они совсем как бандиты ведут себя. Я ничего не могу доказать (как в детективе Чейза, который Галя дала мне прочесть, — «Свидетелей не будет»), п. ч. это все — телефонные наглости и угрозы. Но они — дословно — таковы: если я не пойму, что... (этого не стоит писать в письме), то «буду задушена — не сплетней, так голодом, не безработицей, так сплетней!». Дословно.

Я обязательно должна Вам рассказать хотя бы об одном не-анонимном звонке (вчерашнем), но писать — не хочу.

(Я теперь совершенно верю в то, что Вы рассказывали о Стрешневой...)[3].

---

[1] Статью о творчестве А. Блока.

[2] Речь идет о «Терроре среды», который был развязан против Т. Глушковой после публикации ее статьи «Традиция — совесть поэзии».

[3] Вдова Я. Смелякова Т. Стрешнева рассказала мне, что она получила множество звонков анонимных и угрожающих после того, как посмертно опубликовала его стихотворение, саркастически описывающее семейство Бриков. Я пересказал эту историю Т. Глушковой.

Как они ненавидят!!! (Внешние поводы: 1) формальная школа; 2) Вы.)

Я понимаю, что на все это не следует обращать внимания. Но я не могу—в такие дни — ничего, ничего делать; вчера меня охватил такой ужас и отчаяние, что я даже Кожинову позвонила и сказала, что мне — страшно...

Мне действительно страшно. П. ч. они действительно могут в с е.

Гнусный-прегнусный Дмитриев.

Фогельсон...

(Не хочу говорить все имена — сейчас.)

Уверяю Вас, это — невыносимо, т. е.: это — точнее — маловыносимо. (П. ч. я очень много вообще могу вынести!) Ряшенцев.

Злотников.

(Я защищаю — всегда — строчку о Пентагоне[1]. Очень спокойно: мол, а почему надо любить, в частности, и пентагонских?.. Ну, такая буря начинается всякий раз!..)

Эту строчку — каким-то образом — инкриминируют прямо мне...

Мне сейчас так худо, что слов нет. (Одно хорошо: ясно сказано, чем я буду «задушена». — «И не такие дарования стирались в порошок!» — Все это не выходит из моих ушей.)

Не бойтесь, с Лангустой я не виделась ни разу. А в последние 2—3 недели, скорее даже — 3, и не звонит.

Во вторник, как ни звал Юра Смирнов (передавая приглашение и Лангусты), я не пошла на Юрино обсуждение на Лангустиных курсах. Сказала: фирма «Заря» придет окна мыть, — не могу. Не могу с грязными окнами жить ни одного дня больше.

Но Лангустино пророчество: «Все приличные люди отвернутся от Вас!», — как видите, сбывается. Три недели уж «все приличные люди» ведут себя почти уголовно и не скрываются более, не маскируются...

---

[1] Строка «Не о евреях в Пентагоне» из моего стихотворения.

(Видно, они надеются, что меня еще можно запугать?)

Я не могу описать границ моего одиночества.

Приезжайте.

У меня такая тошнотворная смесь омерзения и печали — ну, именно: тошнит, в горле ком.

Вот какое письмо неинтересное! А Ваше было — хорошее...

Я очень рада, что Вы там столько написали всего. И главное — Блока...

Ваша *Т. Глушкова*».

* * *

«19 августа 1978 г.

Стасик, я сегодня варю крыжовенное варенье (и доперевожу Нерис), п. ч. нет нервов, и вот я их закаляю.

Туфли я купила тоже поэтому, на самом деле: когда огорчаюсь, то надо или что-нибудь купить, или трудное варенье сварить.

А огорчил меня — больше, чем я тогда хотела говорить об этом, —Лавлинский: со своим гнусняком этим...

Баба он, а не донской казак, этот Лавлинский.

Статью свою я, в сущности, продумала — и придумала даже остроумие в ней разнообразное.

Однако не хочу я ее писать, когда уваженья к себе не вижу! Как воспитать Лавлинского?

Не могу я, чтоб меня редактировала эта гнусная «редакционная тайна», этот «доктор наук» плагиатских!

П. ч. я придумала такую теорию развития и остроумную диалектику, что мне жаль...

Теперь вот что:

поскольку все (мужчины) всегда Вам жалуются на меня и особенно — всякое приватное письмо норовят зачесть, то я думаю: вдруг и Лавлинский Вам нажалуется... Ну, так чтоб Вы знали, в чем дело.

А дело в том, что, не умея разговаривать по его домашнему телефону, в котором тараканы шуршат (как у Чехова), т. е. трещит он и грохочет, и не желая излавливать его в редакции снова (чтоб без этой гниды), — написала я ему, действительно, письмо. И вот Вам шлю копию — на случай гневного доноса. К-й очень может быть. Хотя письмо — примитивное и, по-моему, мягкое.

Вы эту копию не выбрасывайте, п. ч. не было у меня копирки более.

(Без копирки я пишу только Вам — в Москве, а все прочее я пишу с копиркой!)

А, между прочим, если Вам вдруг будет очень скучно и захочется кому-нибудь письмо написать, и поскольку я думаю уехать 22-го или 23-го аж до 4 сентября, то мой тамошний адрес:

143632, Московская обл., Волоколамский р-н, Ярополец, Турбаза МАИ, комната 30.

И вот — важно:

ни в коем разе не думайте, что Вы должны спешно читать мою рукопись[1]. Наоборот! Чем позже, тем лучше. У меня нет никакого спеху! (И Вам спешить ни к чему: тьма страниц и тоска!)

[...Насколько я думаю, в этой рукописи (лапописи) что-то, м. б., присутствует примерно во 2-й половине (или в двух третях — от конца). Но даже самые большие мои почитатели (они, конечно, очень большие, но их зато очень мало!) полагают примерно так: редкое, мол, у меня стихотворенье бывает, которое существует внятно само по себе, а вообще же что-то существует (якобы) только в потоке стишков, — тогда, мол, слышат они «ветер между ушами» (из ихних метафор!) и еще что-то там слышат...

Иными словами, это можно назвать также графоманией.

Вот почему никакого спеху нет!

Ей-богу! Правда.]

---

[1] В это время я писал внутреннюю рецензию на стихотворную рукопись Глушковой для издательства «Современник».

У Вашего Ап. Григорьева я уже нашла, и впрямь, одну нудность — для статьи (если она будет)...

Между прочим, ударив не в ту клавишу вместо двоеточия, предлагаю ввести знак препинанья: „, Три когтя. Это очень полезный знак! В письмах надо будет всегда им пользоваться!

Ваша *Т. Глушкова.*

Очень я жду, чтоб скорей к своим совам поехать. Как мне плохо в Москве, слов нет!

(Ал. Стройлиха, наконец, явилась тогда и очень меня распечаловала. Она, правда, смешно познакомила меня с истеричным критиком Гусевым: ну, «Харибда традиции». А он еще раз обиделся: говорит — мы, мол, знакомы. Оказалось, что нес в коктебельском поезде мой чемодан. Но я ж не знала, кто это несет, на лбу не написано! Он же думал, что бессмертный подвиг благородства (вепс есть вепс) совершал. Это было очень смешно.)»

* * *

«10 декабря 1978 г.

Дорогой Волк!

Пишу лапой. Выживу я, конечно, непременно — и жить буду долго. Так говорю я, вымирающий эвенк, и так думаю, п. ч. мало встречала я таких живучих вепсов.

Хочу домой.

(И даже — хочу работать.)

П. ч. очень ненавижу больницы.

У меня кружится голова и подкашиваются лапы, но тут все равно хуже, чем дома.

[...] Нет, сбегу я отсюда, Волк, — ничего тут нет хорошего!

Есть тут цыганка, однако, Маша, 52 лет отроду; проводником на ж/д служит. Всякие рассказы о соплеменниках начинает словами: «Ну, мы — дикие...». Говорит, что курит с 3 лет — и что, мол, ничего, и не в этом суть.

Я тоже не собираюсь бросать курить.

Вы тоже постарайтесь прожить очень долго. Чтобы мне было с кем посмеяться над теми, кто там здоровье свое берег, и чтоб было кому прилично похоронить остальных...

Если поначалу (когда-то летом) предполагалось, что я выступлю в №12 — т. е. в том же году, то теперь, поскольку речь не ранее, чем о № 3, после моей той публикации минует БОЛЬШЕ ГОДА, и что страшного — дать мне 20 страниц?!

Волк-Волчище, пожалуйста, постарайтесь!!![1]

[А со всякими мелкими вопросами, «замечаниями» может ко мне в б-цу приехать их новый мелкий сотрудник — Новиков некто...]

Тут мне снесли разные книжки Самойлова (и даже вырезки из эстонских газет, п. ч. он теперь также и эстонец!) — незадолго до б-цы — и даже упаковали мне все это сюда... (Минутами мне кажется, что скоро я буду что-нибудь работать. И я даже прошу на всякий случай ключ от к.-н. кабинета — на вечера; мне пока не дают, а гл. врач кричит, что мою машинку вышвырнет с 6-го этажа, — но если не заставить себя что-нибудь делать, то ведь я помру от скуки и грусти.)

Меня перевели в лучшую палату — на двоих которая.

Читаю наконец Вампилова: первые 2 пьесы очень плохи, а дальше — не знаю, как будет.

С переводами, к сожаленью, мне отсрочки не дали — и большинство их пришлось вернуть.

Вот какая убогая жизнь!

Не пишу Вам своих точных координат, п. ч. не знаю, умеете ли Вы навещать таких дохлых эвенков и Мусорных, как я.

Но когда задние лапы мои окрепнут, я позвоню Вам, дорогой Волк,

а пока кланяюсь: Младшему и Гале».

---

[1] Она работала над крайне важной для нее статьей «Притча о Сальери», а также о стихах Д. Самойлова (кличка в ее письмах — «Струфиан») и просила моего содействия, чтобы эта статья в «Лит. Обозрении» не подверглась сокращениям.

* * *

«12 декабря 1978 г.

Первый, кто посетил меня (помимо Медведя), был, представьте, Лангуста. Вчера. Он узнал про меня каким-то чудом и нюхом, через М. Синельникова (?), и сам тут отыскал. Принес мне показать ваш (с ним) взаимный фотопортрет, снятый на телевидении, на вечере Ир. Абашидзе. Фотография какая-то кошмарная — объяснить не могу, чем! Это он нарочно принес, п. ч. как бы борется (воюет) с Вами, Волк, — в моих больных глазах...

Мне ж он сказал, что я чудесно выгляжу и что у меня не болезнь, а чепуха, видимо.

— То-то Вы прибежали! — сказала я.

Мне было как раз очень больно, но я терпела. Сказал, что придет послезавтра, — и я попросила еды: пусть принесет пользу!

Вот, кстати, что надо еще сказать Донскому Казаку Лавлинскому, когда он развякается насчет объема статьи: помимо всего (невозможности и бессмысленности больших сокращений), слишком изменились обстоятельства вообще.

Ваша *Т. Глушкова*».

* * *

«19 января 1979 г.

Здравствуйте, Волк-Волчище, Серый Хвостище, Лапа Когтистая, Пасть Зубастая, Глаза Узкие, Вой — Громкий, Шерсть — Зимняя и пр.!

Пишет Вам подданный лесной муравей (труженик).

Который поздравляет Вас с Крещеньем (см. праздничный календарь) и пребывает в верности и печали.

Хочет сказать:

1) что Вы очень ценный в лесу Волк. Например: если б не Вы, то не только М-дь — веселая сладкоежка, но даже

и лучший лесной, подданный муравей куда меньше понимали бы все, даже то, что и не прямо касается известных Вам и совершенно лишних (в лесу) зверей;

2) что ждет пряника. П. ч. кнут при нем всегда;

3) что — заслужил. П. ч. лишний зверь Струфиан[1] уже совсем разлагается в гробу (дай ему бог здоровья) и скоро пора будет выметать сор из избы в чужие люди...

4) Однако публиковать подданный муравей не будет, п. ч. не так труслив, как болен, и желает еще до смерти растащить по шерстинке еще кого из совершенно лишних...

Еще он говорит:

1) что автор «Сказки Гофмана»[2], Лангуста (которая скрылась), не идет у него из головы. Что этот автор мог скрыться не только потому, что хлопочет насчет енотского лавра для всей Бочкотары и обучает Плисецкую на Сент-Бевы, но — может думать, что Мусорный[3] проболтался, и, значит, ему, Лангусте, надо не только сказать, что Мусорный — истеричка и гаденыш, но явиться с новым сюжетом про Волчьи зверства, а свежая «Сказка Гофмана» у Лангусты еще не готова... Муравей ждет и на всякий случай не распечатывает французские духи, хотя ему бывает любопытно понюхать;

2) что Волк должен быть осторожен, т. е. умен, как 1 000 000 000 муравьев. Или — как 2, подданных, муравья.

Еще он думает:

1) если б в его стены входил без троянских стенобитных орудий хотя бы один гвоздь, он повесил бы — для Лангусты — пластиночный конверт с Волчьим портретом. Вот было бы хорошо, думает он.

---

[1] Д. Самойлов — автор поэмы «Струфиан».

[2] Генрих Гофман — Герой Советского Союза, по совместительству член СП СССР, прочитав мои стихи «Настал октябрь. Холодная звезда взошла из мглы и отразилась в луже», написал донос в писательский партком, что я издеваюсь над пятиконечной звездой. Глушкова была уверена, что этому Гофмана научил Межиров, он же Лангуста.

[3] Мусорный — кличка Шкляревского, который участвовал в интригах Гофмана — Межирова.

Еще он думает:

если бы тот заглазный Комментатор был вепс умный, безупречный и полный (и хоть сколько-нибудь похож на муравья), он бы, отвергнув антиенотство, нашел бы другие слова толкования, а не стал бы кидать никакого Волка из огня да в полымя. Он бы пользовался не политическими, а философскими больше словами... Чтоб никоим образом не походить на Гофмана-старшего...

П. ч. вепсовский флаг — флаг осторожный, замазанный всякими пестро-серыми, хоть и легко смывающимися, красками, — и о том знают все труженики-муравьи.

Мало того: умный вепс вообще ходит гулять без флага! Так себе: мол, никакой флаг... Иду себе и гуляю, никого, мол, не трогаю... Серый вепс!..

Еще он считает:

публиковать (произведения) за морем синим есть тщеславие, которое подданный презирает. Сам подданный никогда б не унизился! П. ч. на свете бывает только очень мало произведений всемирно-исторического, можно сказать, значения. Которые, значит, стоит публиковать где угодно.

Все ж прочее — жалкое тщеславье, недостойное муравья!

«А ведь это — письмо!» — скажет Волк.

Нет, — подданный называет это запиской.

Писем он не пишет, п. ч. устал и спешит, — и это он только, чтобы: «роздых дать трудовому уму»!

П. ч. муравьиный день Крещенья в том, что:

подданный работает, лежит, работает, лежит, а чтоб не забыть радость жизни, выпил: капустного и апельсинного соковыжимательного сока. А к ночи выпьет смолы — т.е. облепишного масла.

(Извещение: пряники муравей будет, м. б., принимать в день своего трудового Ангела.)

Секрет:

бывают минутки, так сказать, синкопы, — когда подданный бывает почти гениальный: т. е. как 2 муравья сразу... Но это очень трудно доказать в зимнем лесу!

Еще:

подданный не хочет звонить Волку (хотя у него всегда есть что сказать), п. ч. Волк — рычащий и капризный бывает, как малый какой зверь. А у подданного тоже трудная, м. б., жизнь, но он не кричит: чтоб не подумали, что он — не муравей, а инфузория, например... Правда, у подданного нет государевой службы и разных забот. И нет у него вместе с тем в телефоне Кожинова, а по соседству Чучелы[1] и, главное, подкожно-попутной мелкой пьяни... Но зато подданный волочет ежедневно невидимую, так сказать, «вепсью мысль», хотя мысли у вепсов быть, конечно, не может, а может быть только тоска. Вот ее-то, значит, подданный и волочит, запивая капустным соком!

С праздниковым приветом —

подданный».

* * *

«Ох, Волчище!..

Чтобы превратить прекрасного подданного муравья в Мусорного-2, довольно оставить его без призора, а главное — довольно ему день провести с Лангустой. (Как вот, например, вчерашний, ангельский, день.)

Если б этот муравей, т. е. Мсрн-2, был зверь, он бы вылизывал сейчас языком себе лапы, спину, хвост, брюшко, т. е. умывался бы и умывался... Так ему, можно сказать, гнусно.

1)работать — не хочет;

2) спать — не может;

3) ругаться — не с кем;

4) и главное — сам во всем виноват!

Это совершенно мусорная особенность — обрадоваться красным цветам или зеленым огурцам, французским духам и, извините, водке — и усесться лясы точить с Лангустой.

---

[1] «Чучело» — литературная кличка Олега Михайлова, придуманная Глушковой.

Лангуста доказывает, что, мол, все равно муравья никто, кроме нее, не любит; что Волк — совершенно не любит и не ценит муравья... И подлый Мсрн-2 развешивает не менее чем одно ухо.

Потом приходят самозванные гости, и все говорят: какой замечательный, какой любимый муравей!.. А муравей все более мусореет.

Потом Лангуста обещает повезти муравья погулять по снегу и по монастырю.

Тогда Мсрн-2 развешивает уже и второе ухо, хотя, между прочим, все понимает. Он очень презирает Лангусту и все возвращается к вохровским, ворованным в г. Косове[1] тулупам, и Лангуста охотно, при гостях, все начинает сначала. Муравей свирепеет и кричит наконец: — Тоже мне Артюр Рембо! Вы гнуснее всего, что я помню! — И тут Лангуста уже совершенно счастлив: я, грит, так и знал, не могло быть, чтоб Вы не вспомнили А. Рембо!

Муравей все понимает — но все-таки мусореет. И начинает думать так: мол, действительно, жизнь ужасна-ужасна, и подданный так устал, и какая разница — с кем говорить. (Он, подлый, знает, что разница есть, но он делает вид, что это неважно.)

Потом начинается антисемитская тема. Потом — Волчья.

В связи с антисемитизмом вспоминается муравьиный мемуар про Сельвинского. Правда, Лангуста объявляет, что мемуар — замечательный, замечательный, и начинает кидаться на Волка.

Потом Лангуста объясняет гостям, как любит этого дерзкого и оскорбительного муравья: «П. ч., — говорит, — разве кто вытерпел то, что я?..».

— Это я терплю! — шумит Мсрн-2.— Все эти тулупы...

И, наконец, Лангуста, с другими гостями, в 2 ч. ночи наносит муравью прощальный поцелуй, а потом, по дороге, в своем автомобиле, говорит гостям, что, мол, му-

---

[1] «Кличка» Давида Самойлова.

равей в лапах Волка, хотя Волк не стоит, мол, муравьиного усика.

И так проходит ангельский день.

Ужасно, Волк. Ужасно.

(А тулупов, м. б., не было? Или — не столько?.. Нет, конечно, что-то было!..)

И совсем не могу работать. Надо стены мыть, отмыть.

— А все-таки я имел на Вас влияние, — зудит Лангуста.

— Да, — говорит Мсрн-2, — огромное. Психическое.

— Ничего не психическое, а умственное, — требует Лангуста.

— Ничего не умственное, а психическое, — шумит Мсрн-2. — П. ч. какого ума можно было мне набраться? Я — умнее, я пронзительнее! И вообще только очень умный человек может так ничем не дорожить, даже умом своим!

— Ну, — грит,— давайте выпьем за Ваше здоровье. А если Вы не верите в тулупы, то я Вам подарю в следующий раз замшевый ковер.

— Т.е. Вы продадите его мне, иначе я не поверю.

— Да, — грит, — продам.

Все едят киевский торт.

Потом киевский гость говорит Лангусте:

— А ведь я где-то Вас видел. На картинках...

— Да, — грит Лангуста, — меня обычно видят по телевизору.

Обсуждается вопрос, что мне надо купить телевизор и проигрыватель.

О гнусь, о ужас — Мсрн-2!

Очень низок.

(Ничего он Волка не предавал, а — все равно... Гнусен. Гнусен.)

Конечно, можно найти муравью оправдание: он устал; он работает все — коту под хвост; его так уныло не желают печатать, и, хотя он не тщеславен, от этого очень

трудно жить, извините за выражение... Он устал от всего, больше всего — от себя самого, от своей героической, можно сказать, подданной натуры...

Но это все — объяснение, а не извинение. Мсрн-2 следовало, по крайней мере, закончить до конца свой труд:

«О чем звезда с звездою говорит», — т. е. про зверя Струфиана[1].

Но он вдруг взял и подумал свое: зачем?.. Сочинил несколько стишков. И стал полениваться дорисовывать переднюю Струфианину лапу... (И, значит, не заслужил он пряника еще!)

В политику Мсрн-2 решил не лазать. П. ч. он верит в одно только пораженье. Ему грустно думать про политику.

Лишние звери — до горизонта, одни лишние только и видны. Как Волку победить?..

Ведь, к сожалению, на все (что бы то ни было) нужно положить не менее чем всю жизнь!

Новое в Лангустиной «человечности».

Развозя гостей, не только ругал Волка, но говорил, что, мол, муравей — очень большого таланта муравей и что жизнь у него всю жизнь — очень трудная, «вы, — грит, — и не представляете, какая трудная и ужасная у нее все-таки жизнь, и нельзя сказать, что она плохо держится!».

Что он имел в виду, неизвестно, но гости были растроганы.

Привязанность Лангусты к Мсрн-2, конечно, страстная, только, наверное, он ждет, когда и как муравей сдастся и признает себя раздавленным...

Но этому, скорее всего, не бывать!

Наоборот, Мсрн-2 отлежится, отмоется и, наверно, опять побредет побеждать. «Победю!» — как говорит М-дь. Хотя совершенно неизвестно зачем.

---

[1] Разговор шел о каких-то дубленках, привезенных Межировым из Югославии и якобы обещанных Муравью, т.е. Глушковой.

Волк — немец, и, должно быть, у него не бывает такой гнуси на душе, как у замусоревшего подданного.

Что Волк сентиментален—М-дь неправ.

Мсрн-2 думает, что Волк тверд и сух. И очень завидует Волку.

В этом «Метрополе»[1] есть все-таки что-то оскорбительное и неприличное.

И очень трудное: п. ч. было две возможности: вообще «Метрополь» этот не заметить или наказать...

Но как наказать, когда некоторых там даже и нельзя наказывать, вепсов то есть?!

(Но как хорошо все-таки М-дь сказал о Лангусте: Нече-го-В-Гроб-Класть!)

В политику Мсрн-2 не лазит, п. ч. он, м. б., экстремист, и у него, м. б., на уме одна фраза: «Все утопить» (Пушк., «Сц. из Фауста»)».

* * *

«16 февраля 1979 г.

Волк-Волчище, Серый Хвостище, Стратегище и Рычище!..

Пишет Вам низкий сердцем подданный муравей. Гнусь, тщеславка и капризник. (Ничего он так не хочет, как в Турцию. В Ай-Софию. Он хочет видеть Босфор. А главное — город, через который бежали все, кто был Россией... Но Волк не может этого понять, а муравей все равно не поедет. И Волк говорит: «Зачем мне, — грит, — понимать людей?». Это только Волк и может сказать! Стратегище!..)

Ладно, издаст муравей книжку критики. Пусть она будет на Волчьей совести[2]!

---

[1] Литературный сборник, изданный группой московских «енотов» ради политического скандала.

[2] Я настаивал, чтобы Глушкова как можно скорее составила книгу из последних статей, и обещал ей помочь в издании.

Волк думает, что муравей — сапожник. А муравей — м. б., художник!

Его статьи очень хороши местами и временами. Но Стратегище мог бы помнить, что муравьиная книга должна не только муравью богатство принесть, но енотам — горе. Вот какая это должна быть книга!

Поэтому, хотя подданный и снесет через пару месяцев груду чернильной макулатуры в «Вепсятник»[1] кунцевский, пусть Волк потом не заставляет издать это все непременно в 80-м году, а если подданный не успеет, то пусть в 81-м.

Муравей хочет описать и нарисовать:

1) про Штопаного Фета[2];

2) про «ахейских мужей» (про любовную лирику);

3) переписать Лангусту;

4) про Блока (и про «Пир во вр. Чумы»);

(Кончится тем, что у подданного будет 30 листов — и он начнет скулить, что сократить не может.)

Еще б написать, Волк:

«Классную даму женской поэзии» (про Кар. Павлову).

Еще б написать, Волк:

портрет Ксении Некрасовой.

Еще б написать, Волк:

про кавалера де Грие (всяческой) революции (и т. п.) — Смелякова.

(Вообще муравей обожает строить планы!..)

Очень бы надо написать: «Литература о литературе». Это муравьем было очень красиво написано в прошлом году для семинара, но он боится: непечатно. (Это когда все еноты вынуждены были подданному аплодировать за 20 страниц речи против науки.)

---

[1] Издательство «Современник».

[2] «Штопаный» — кличка Кожинова (у него был шрам на носу). В данном случае имеется в виду ее несогласие с Кожиновым по поводу его размышлений о поэзии Фета.

Это очень бы уместно — ближе к началу книги.

В общем: думает муравей, он думает, Волк!..

(Еще дело в том, что он слишком устал от слишком большого Струфиана[1].)

Да, чтобы вепсы не выбросили «Призраки силы и вольности», про Ю. Кузнецова, — п. ч. это важно для всего, и даже — чтоб чуть уравновесить всех Струфианов!

Начал подданный перечитывать свои 6 листов. Волк не знает: там очень хорошо про «эпоху очарования» в поэзии. Т. е. про начало 60-х гг. Но что-то надо там выбросить... И ведь это надо сделать сейчас: а то потом снова перепечатывать: это ж дорого!..

Затем:

пусть Стратегище представит себе нестратегического каплю.

Пусть представит, что подданный — это, например, Лиля Напельбаум (или Юдахин — или кто там у вас, в секции, хуже всех?); и вот, на правах этих, наихудших, он желает издать книжку стихов.

Вот желает он, как ни гнусно!

Сами научили!

Пока еще желает!..

(И вот почему в пух обиделся вчера подданный: Вы, Волк, сказали: отложить это «на конец жизни».

«Откуда он знает, когда у меня конец жизни?» — подумал ржавый муравей — и заплакал.

«И какой громоздкий получается у меня конец жизни: все больше вещей откладывается туда», — подумал он еще и еще пуще заплакал. И у него стала неметь и неметь правая задняя лапа.).

Шлю самый короткий вар-т «Мемуара». Пусть Волк сам побудет гусельником! Лангусто-мемуаристом!

И пришлет назад муравью, что напишет.

Ржавый».

---

[1] Речь идет о статье про поэзию Д. Самойлова.

* * *

«25 февраля 1979 г.

Здравствуйте, Старый Серый Волк!

То, что Волчище не воет ямбом и не воет хореем, — пусть Волчищу не печалит. Во-первых, это пройдет, а, главное, когда выть, так это еще хуже, чем не выть![1]

Да, муравья надо выдать замуж. (Чтоб не предал белое знамя и тем самым — выжил.)!

Но как уговорить муравья? Он сварливый, неуступчивый и скандальный. Нет, его не уговоришь!

— Старый Волк, давайте устроим какой-нибудь праздник!

— А то — невозможно, невозможно...

Купим все — и устроим праздник!

Муравей перечел Волчий стишок про коней: нашел — и перечел.

— Очень хороший стишок — про то, как Волк был маленький[2]...

Муравей думает, что Волку надо продать автомобиль и купить коней, лошадей и много овса.

Да, пить с Волком — не грешно. П. ч. это, действительно, значит пить «заодно с правопорядком»!

Пусть никто не ценит — хочет муравей — Волчью дружбу с муравьем, п. ч. это седая мужская дружба!

Волк без муравья замшеет, а муравей без Волка станет марсельским грузчиком — и вообще на что он будет похож?

Вообще женский пол муравья никогда не любил! И муравей так к этому привык, что, может быть, как раз

---

[1] Ответ на мою жалобу, что, мол, «стихи не пишутся».

[2] Имеется в виду мое стихотворение «Очень давнее воспоминание», более известное как «Кони НКВД».

даже пуще бы обиделся, если б этот ничтожный пол его полюбил!.. Что ж это значит?— подумал бы он. — Это значит, что я, муравей, — как они?! — И пошел бы в марсельские грузчики.

Так что он решил не обижаться!

И потом: ему жалко Волка. Кто ж с Волком будет играть?

(Невидимый от земли тварь.)»

* * *

«6 июля 1979 г.

Здравствуйте, Волк, Вологодский Волк, Зубами-Щелк!..

Нарочно пишу, п. ч. придет боль скоро — и будет мне на все наплевать. Хочу сказать: если вепсы будут непереборчивы, гнусны, жадны и неблагородны, то плохо их, вепсье, дело! Например:

Страстно я презираю Вашего Чупринина!!! Прочла сейчас необъятную его статью про Морица-Макбета, напечатанную, конечно, у Емельяна. Этот Ваш Чупринин отыскал в помойке «ключевую воду поэзии», традиции Эсхила, Гесиода, Софокла, Вергилия — и прочих по списку, — а также испытывает «радостную сладость благодарного понимания» высокой морицыной поэзии.

Впрочем, пересказать нельзя — словами. («Огнем, только огнем!», Волк) Вот сволочь...

Мало того. Как сообщили мне Емельяновы служки, этот Ваш Чупринин 6 лет тому дочь свою назвал в честь Морица-Макбета — Юнной, и все еноты задрали хвосты, доложив

Вот гнида...

Ну, что в поэзии этот раб понимать не может, — про то знаете и Вы сами. Бить шваброй мокрой надобно этого Вашего Чупринина.

Зря Вы считаете, что Волк умнее муравья!

Ваш *Мсрн-2*».

* * *

«7 июля1979 г.

Ну, Волк, веду бесплодную борьбу — за жизнь. Позвонила вепсу Сохатому[1] и говорю, что уж по всем законам советским должен бы он пойти тут навстречу—заключить договор.

Ахает и обещает «постараться».

Ответ мой в дискуссию действительно идет. Жаль мне, что так краток и обкусан он со всех сторон — гранки не нравятся мне.

И не потому дубинноголовый Емельян[2] печатает его, что он — вепс, или что Вы просили, или что у меня настойчивости было много непомерно, а вот почему:

журнал столь ЕНОТСКИЙ, что сам Чаковский мог бы поучиться!

В 6-м, «пушкинском» № о Пушкине судачит сам Струфиан.

И вообще—глазам больно читать, ушам — слышать.

Ну, и в столь енотском журнале просто нельзя, и именно для маскировки енотства, не дать раз в 1,5—2 года несколько строк вепсьих. Вот почему доблестный Емельян согласился, изгадив мой текст и измытарив так меня, извините за выражение — инвалида труда!..

Ищу год стажа. Он-то у меня был, но нет трудовой книжки и не знаю, где, ничего не помню. Вот беда!

И вот что интересно: этот Ваш Чупринин, Волк, подобно тому, как, расхваливая Струфиана, умилялся струфианьими «думами» в виду «третьего тысячелетья», — здесь упивается очень енотским морицыным сочиненьем: «моя душа — мой маленький народ, забывший ради песен

---

[1] Литературная кличка зав. редакцией поэзии в издательстве «Советский писатель» Егора Исаева.

[2] «Емельян» — П. Лавлинский, автор поэмы о Емельяне Пугачеве. В его журнале шла дискуссия о традициях русской поэзии.

(!) скотоводство,— и бортничество, пахнущее воском», и т. д. (Все труды т. е. забывший, ибо — паразит...)

Надо бить этого енотовидного подхалима!»

* * *

«26 января 1980 г.

Дорогой Волк!

Я искренне благодарна Вам за Ваши хлопоты последних дней.

И я чувствую себя виноватой, что они, такие большие, не увенчались успехом.

Я очень благодарна.

Но вместе с тем я, к сожалению, вижу, что мои неудачи вызывают у Вас не столько сочувствие, сколько раздражение.

Это, конечно, объяснимо — даже и с точки зрения Вашего самолюбия.

И все-таки я опасаюсь, Вы ведете наши отношения к той форме, которую придется (когда-нибудь — м. б., скоро) выразить словами: «сытый голодному не товарищ».

(Я подумала об этой поговорке — как она умна и непереставляема в словах. Так, не скажешь: голодный — сытому не товарищ. П.ч. запросто товарищем может быть! Невозможности для него отнюдь нет: ценности в сытости (самой) не видит, а что помочь надо, например,— легко понимает.)

Мне это жаль.

У меня мало самолюбия — я борюсь с ним (давно и всегда), п. ч. оно очень часто такая помеха достоинству, гордости, что и слов нет.

А Вы носитесь с ним иногда, как с писаной торбой.

На языке христиан (в коих не числюсь) это недоброе, самолюбивое Ваше добро зовется безблагодатным.

(Потому и благодарят за него, обстоятельно обычно благодарят — чтоб компенсировать безблагодатность.)

Это все относится к области непростоты, нехудожественности в жизни.

Я не могу нехудожественности и непростоты, но я устала писать Вам звериные, медвежьи и муравьиные и прочие, естественные, письма, п. ч. с Вами все трудней играть. Вы, в сущности, не любите или почти не умеете играть...

Посмотрите на Наровчатова — на это лысое полено. Ну зачем это — быть пухлым Героем Труда?!

Что Вы всегда забываете мой день рождения и проч., так это, конечно же, не от памяти — это все от той слякоти, которая называется внутренней культурой. Это, Волк, от души!

Потому что, хоть вдвоем с Галей, запомнить что-нибудь, наверное, могли бы.

Тут было и слишком уж много опознавательных примет: хоть бы и та дискуссия, после которой за полночь я сидела у Вас, чтобы Ваш дух поднять или успокоить, и говорила, что вот наступил уже — после полуночи — мой день рождения... И множество раз потом говорила.

Ну, а Татьянин день теперь даже МГУ организованно празднует.

Я думаю, все это надо хотеть не помнить! Надо так относиться к людям, чтобы не помнить!

Вряд ли Вы поверите, что и я — достаточно занята. Поскольку кончился год, я подсчитала, что сделано за год. В частности (за 79-й год), я написала 9 авт. л. этой самой «критической прозы» (не считая черновиков, разумеется). И это при том, что с ноября 78-го по август 79-го я непрерывно и сильно, как знаете, болела.

У меня совсем нет выходных дней — их за год не наберется и двух недель, даже если включить сюда «дни отчаяния».

Если ж Вы думаете (вообще), что Вы «скажете в стихах» что-нибудь из того, что не сказали в жизни, так это обыкновенное енотство (чувства и мысли) — будто сам знойный Лангуста лапой ступил! («Зато, мол, я — «поэт».)

Я давно опасаюсь думать о том, чтобы писать о Ваших, Волк, стихах: я боюсь, что найду в них нечто, сильно пом-

рачающее. П. ч. я не знаю, кто, как я, умеет читать тексты, — и удержать свое зрение я, коль начала б, не могу.

Тут у меня талант настоящий, свободный. Я им не горжусь, п. ч. это большая тяжесть.

Правда, написать о Вашей прозе я бы могла, пожалуй. Проза вообще не так выдает человека, как стихи. Наконец, это — не основной Ваш жанр. Наконец, тут есть повод говорить о ряде безусловных ценностей (Есенин, Блок, Заболоцкий — отчасти) и о ряде безусловных низменностей (отрицательные страницы Вашей книги), — т. е. о чем-то, вне Вас находящемся и, значит, ни мне, ни Вам не «обидном». Но я почему-то все это время не сомневаюсь, что Вы постараетесь и тут все-таки склонить какого-нибудь Чупринина: Вам «не нужно» — по плану Вашей жизни (внешней жизни) моего слова. Хотя бы потому, что оно «неубедительно» для «Державы»...

Каждый из нас хочет этой Державе служить (я разумею, конечно, не струфианье «Царство»).

Но я думаю, что поэт должен любить ее... более сердечной любовью.

Вы же как будто делаете — по большей части — ставку на нее.

Это, конечно, честней (и т. д.) любого Струфиана, о чем тут спорить!

И все же…

И все же...

Есть тут много и от отделения Державы от человека, чрезмерного, заведомого отделения...

Я здесь не за разную там «вольность».

Но я думаю, что Держава может требовать от человека самопожертвования, но не должна требовать самоунижения от него.

Тут многое можно бы сказать — и найти, наконец, точное выражение той «формулы холода», о которой идет речь, но сейчас я не стану этого делать: себя сэкономлю.

О наших вепсьих делах.

Мы всегда высоко ценили Ваши первоначальные заслуги, и я, в частности, была, кажется, вполне многословна на Ваш счет в этом отношении.

Может быть, именно потому—из-за высоких надежд и оценок — теперь столько грусти: и во мне, и в некоторых других.

Когда слишком часто говорят (или думают) слово «тактика», то, хотя я прекрасно помню, что, мол, есть вещи, которые «не делают в белых перчатках» (и т. д.), это все-таки нет-нет и тоже запахнет обыкновенным енотством.

Я думаю, что вне личной чести, абсолютной, естественной личной чести, обесценивается любая идея. И приходится, спасая общую честь, вытаскивать снова из памяти «отдельные поступки», подновлять вывески на них, суетиться, сводя концы с концами, штопать и штопать прореху за прорехой, сцепив зубы, натягивать нити, а они обрываются, выскальзывают из рук и никак не хотят соединить в цельную ткань эти «отдельные поступки», и очень это мучительно, горестно и тяжело.

Я думаю, что если какой-нибудь Гофман имеет право, имеет возможность и право обнимать Вас за плечи — как видела я, — то О ЧЕМ ТУТ ГОВОРИТЬ?!

Мы — говорим, п. ч. вынуждены штопать наш нищий невод.

Но нам это больно, стыдно — и мы можем разве что простить Вас, но вовсе не оправдать — тактикой или чем бы то ни было на свете.

Мне мерещится, что если бы Симонов не успел умереть, я бы и с ним получила возможность наблюдать вскоре Вашу — подобную же — мизансцену.

Я думаю, что в писателе нет (вообще) ничего, кроме таланта и чести.

Все остальные его «деяния» — вне сферы (в отвлечении от) этих двух спаянных вещей — все равно доморощенны, провинциальны в сравнении с профессионалами этих других деяний.

Я должна сказать, что если б не наш Штопаный, я бы, м. б., куда раньше написала бы Вам этого рода что-то.

Но он всегда старался «заступаться» за Вас, хотя, возможно, и не всегда искренне.

Не то чтоб я внятно «жаловалась» ему, но он чувствовал, очевидно, закипание моего гнева. Во-первых, у него лучший характер, чем у меня (без всякой иронии), а во-вторых, он все-таки больший христианин.

А м. б., у него просто — еще меньше надежд... Кто его знает?

Наверное, я покажу ему это письмо.

Когда я Вас брошу, Волк, Вас, пожалуй, больше никто не подберет.

И вот что будет потом:

в следующем воплощении Вы, Волк, будете минералом и будете лежать — такой ровненький минерал — на берегу и распевать в усы пены песню:

«Горжусь, что был рационален!»[1]?

Вепсам надо теперь ОЧЕНЬ помогать друг другу. Без слов, самолюбий и благодарностей.

П. ч. вепсам может стать ОЧЕНЬ ПЛОХО.

Может сложиться так, что:

енот (собирательный) из либерала, нажившегося на «разрядке», как на нэпе, теперь, оскандалившись на своей «разрядке», «Метрополях» и «нравственности», в мгновение ока превратится в такого марксиста, маоиста, ленениста, сталиниста, как в 30-е годы!

Он ударит по вепсу с той стороны, с которой вепс никогда не был силен и умен.

Вепс не то что не может стать марксистом, т. е. знать марксизм, — вепс не сумеет пользоваться этим оружием. Т. е. перевирать, вовремя «вспоминать», цитировать без подлежащих или сказуемых...

Вепс этого совершенно не умеет, что б он ни вызубрил и что б он ни знал. И как бы он даже ни верил.

---

[1] Строчка из моего стихотворения. В сущности, это было ее первое письмо, по-настоящему обозначившее все трещины в наших отношениях.

Енот-марксист станет также и первым русским патриотом. Он докажет нам, что это он штабелями лежал в братских могилах на Куликовом поле, а что я, дезертир пораженец (во всех коленах моих), оболгала «русскую славу».

Прекрасные примеры всему этому — навалом в биографии Симонова!

Кто «обижался» за «русскую гордость», «русскую славу» в 49году?

Кто п е р в ы й вспоминает об этом заступнике нашем — в 80-м?

«...сегодня снова как злободневные...» — чьи слова, как не Симонова?

Вепс будет: немарксист, непатриот — обязательно. П. ч. вепс «не так» и «не ту» Родину любит. Вепс — недобитая сволочь и власовец, вот он кто, вепс!

А Мининым и Пожарским выйдут, к примеру, Лангуста и Струфиан.

И целая рать выйдет, а донской казак Емельян будет этнографической выставкой: алмаз русской короны!

Дальше не хочу говорить».

* * *

Мой ответ на письмо.

«Ох, Муравей!,

И зачем Вы пишете мне письма такие: я сам знаю обо всем, на что Вы так досадуете, но только оцениваю все несколько иначе. Слишком много гордыни во всех Ваших рассуждениях на тему «сытый голодного не разумеет». При чем здесь подобные чувства? Разве я давал повод к их возникновению? Вы правы: я досадую, когда у меня не получаются Ваши дела. Досадую потому, что по натуре не люблю долбить в одну точку. Когда у меня что-то не получается — я просто бросаю это дело и берусь за другое. Натура такая: не там получится, так здесь. А когда я занимаюсь Вашими делами, мне приходится по

нескольку раз тыкаться в одну и ту же дверь. И я понимаю, что оставить это не могу, как оставил бы свое дело, и иду против своей натуры, что, конечно, не может не вызывать у меня раздражения, которое Вы косвенно на себе ощущаете. Я ношу в себе комплекс неисполненного долга по отношению к Вашим делам. Я понимаю, что должен Вам помочь. Я понимаю Вашу скорбную настойчивость по отношению ко мне, потому что помощи от кого-либо Вам пока ждать не приходится. Но поймите и меня: участвуя в Ваших трудно решаемых делах временем, силами, самолюбием (даже помогая кому-то, все равно неприятно стучаться безрезультатно в одну и ту же дверь) — как такое добро может быть благодатным? Когда я воюю с Лавлинским или с вепсами, или с Исаевым, или с Косоруковым, или с каким-нибудь Литфондом из-за какого-нибудь Вашего лисьего воротника и люди говорят со мной раздражительно, недобро, досадливо, и не один раз проводятся эти разговоры — о каком благодатном (!) добре в этой атмосфере может идти речь? Слишком много Вы хотите...

Благодарю Вас за все игровые письма — звериные, медвежьи, муравьиные, — завидую Вашей способности к игре, которая из русских поэтов была разве что у Пушкина. У Лермонтова, Некрасова, Блока ее уже не было. Но почему Вы мне ставите это в вину? — Не понимаю. Я ценю в Вас это качество, но совершенно не обязательно из этого, что оно должно быть и у меня.

Вы слишком эгоистичны, Муравей. Отсюда все эти рассуждения о внутренней культуре, о том, что я забываю, когда у Вас день рожденья и День ангела и т. д. А почему я должен все это помнить? Я путаю дни рожденья своей жены и своей матери, не помню дни рожденья многих моих друзей, с которыми я дружу по пятнадцать-двадцать лет, с чего бы это мне помнить Ваши знаменательные даты? Это совсем не значит, что я не люблю, не ценю, не уважаю этих людей, родных и близких мне. Также это не означает, что я не ценю и не уважаю Вас.

Оставьте мелочные претензии. Вы пишете: «хоть вдвоем с Галей запомнить могли бы», а того не знаете, что когда Вы сообщили мне о моей вине (забвении Дня Вашего ангела), мы с Галей были крайне удручены известием о том, что один наш близкий человек очень тяжело болен. Если бы Вы думали не только о своих ссадинках, а обладали бы той внутренней культурой, которую требуете от меня, Вы бы могли понять, почему так тяжело, неохотно и через силу я разговаривал в то утро по телефону, что мне было совсем не до Вашего ангела.

Вы хотите, чтобы Волк крутился в помойке, отстаивая всякие вепсьи дела, и чтобы шерсть его лоснилась от сияния чести, чтобы ничто к ней не пристало, чтобы он выражал всем своим видом презрение к енотам, чтобы он не замечал их, проходил сквозь них насквозь, но притом умело боролся с ними, чтобы был умнее их... и словом, даже не знаю, как все это возможно. Не требуйте от меня этого. Я, в отличие от Вас, провожу свою антиенотскую линию, наверное, лет пятнадцать: плохо, неумело, непоследовательно, но как могу. А потому не надо меня учить чести. Не мешайте мне. В Вашем понимании для меня честь — лишнее бремя. Понимая ее, как Вы, я должен был бы проходить мимо енотов, не разговаривая с ними. Но — такой роскошно-чистый вариант — не для меня. Я порвал отношения с Гофманом — я и мирюсь с ним. Зачем же Вы вмешиваетесь в мои дела, в мою тактику? Я не осуждаю Вас за какие-то отношения с бывшей Вашей подругой-еноткой, уехавшей за семь морей! Мне нужно победить, а не просто выразить свое честное отношение ко всякого рода Гофманам и Лангустам. Вы что думаете, ежели я с ними заговариваю, они не понимают моих чувств к ним? Понимают прекрасно! И тем интереснее мне быть внешне лояльным с ними, прекрасно зная, что они ощущают (инстинкт-то великий!) всю меру моего презрения к ним... Вы строите свое отношение к ним по-своему — я по-своему. Не осуждайте меня. Каждому свое...

Я сам наговорил Вам, что я всеяден. Но это не значит, что я жру, что попало. Это значит, что у меня хороший желудок и что я могу многое переварить. Так поблагодарите судьбу, что она дала Волку такое душевное здоровье, что он может вымазаться и отряхнуться, что он может неизвестно какими кислотами растворять осадки, скапливающиеся в душе после общения с окружающим бесчисленным енотством.

Ваши рассуждения относительно будущей тактики превращений наших пушистых недругов глубоки и умны. Это самое убедительное место Вашего пространного письма.

Что же касается утверждения о том, что моя тактика последнего времени «политика разрядки», что «эта тактика легко объяснима лишь с одной точки зрения: личной выгоды», — то даже говорить об этом не хочу и списываю на раздражительность и женскую вздорность, которая, видимо, и Вам присуща. Неужели Вы не понимаете, что если бы не мои «выходки», то не меньше Ф. Кузнецова был бы я увешан всякими званиями, дачами, лауреатствами, депутатствами и т. д. И я, каждый раз готовясь к какому-либо шагу, прекрасно это понимал. Разве Вы забыли, что Кузнецов жаловался Вам: мол, его в секретариате удержать не удастся... Что же касается моих изданий — то смею Вас заверить, они были бы те же, будь я тише воды, ниже травы. Может быть, даже, будь я благоразумнее, то и главу о Багрицком удалось бы опубликовать.

Благодарю Вас за то, что Вы поддерживаете меня своим авторитетом, очень огорчен, что с Вас «спрашивается» за все мои обмолвки. Но прошу Вас этого не делать больше. Я всю жизнь отвечал сам за себя, жил только за свой счет и за счет своего авторитета и за все свои ошибки и обмолвки расплачивался сам. Интересно только, кто это меня осуждает и перед кем Вам приходится защищать мою честь? Покажите мне этого идеального, бесстрашного, высокоталантливого незапятнанного вепса. Где он? Почему я о нем ничего не знаю? Почему его нет рядом со мной?

«Каждая моя строчка свидетельствует примерно вот что: «не продается»... — пишете Вы. Так вот в чем дело! А я-то, дурак, все стараюсь продать ее подороже... Как же это можно: безблагодатным способом продать строчки, полные благодати! Конечно, Вы вправе возмущаться моим поведением...

Ваш ВЛКЪ, не желающий больше получать подобных писем, внимающий, когда с ним говорят о литературе, но не внимающий, когда его учат жить, потому что жизнь он прожил уже немалую и выработал в ней свою тактику и стратегию, от которых отказываться не собирается.

* * *

После моего ответа на какое-то время между нами снова воцарился мир... Но уже не прочный... Несколько месяцев, по крайней мере, писем я не получал.

«24 марта 1980 г.

Дорогой Волчинька!

Я веду очень безлюдный образ жизни — и ни про какую водку с кисломордым Вашим Карелиным не может быть и речи: даже поздороваться ленюсь.

Енот тут кишит сплошной, даже латыша нет[1].

Между тем солнечный снег блестит — и гляжу я на него чаще через окошко, п. ч. живот, по-моему, очень плох. Например: почти не шевелюсь, а он все болит, и бурятская трава (уже 30 дней пью) не помогает. Думаю, что в Москве, где пришлось бы бегать и страдать от разных известий и сведений, совсем бы никуда было б...

Еще я разговариваю с неким В. Леванским, недавно принятым, как Вы знаете, в Союз. Большой был скандал на енотскую тему с ним.

Двое суток длился скандал. (Началось, конечно, с Волка...) Правда, М-дь тут выступил, как Пересвет и

[1] В Доме творчества «Дубулты», Латвия, где она находилась вместе с моим сослуживцем по работе писателем Лазарем Карелиным.

Ослябя. «Ты, — говорит (Леванскому), —побыл бы русским хоть год, тогда б не то, чтоб жаловаться — лапы бы на себя наложил от горя!».

Больше я совершенно ни с кем не разговариваю. Хотя чувствую, конечно, что енот смотрит на меня, как на грозную достопримечательность, и смотрит как бы из засады.

Вообще же — перевожу латышские переводы, к тому же — бесплатно, т. е. вовсе неизвестно, где и когда напечатают. Черт знает, зачем я это делаю.

Затем, видимо, что не хочу писать про Блока для пластинки, что очень надо.

М-дь купил за 350 р. историю Карамзина и дал, со скрежетом, мне 1-й том.

Всем вепсам это надо иметь! Всем вепсам!.. Очень написано хорошо, такая нежность... Да, вот что. Цыбин много раз просил (и я как бы соглашалась), чтобы я выступила в апреле на каком-то там собрании.

Но, во-первых, я предполагаю пробыть здесь (если все будет благополучно) до 14 апреля и, значит, могу просто опоздать.

Но к тому ж я думаю, что Цыбин смотрит на меня, как на штрафную роту (так при случае и сказать ему можно!). П. ч. выступить-то мне есть про что, и выступила б я на горюшко себе, конечно, и еноту в горькую досаду. А вот Цыбин — как ежели б мне в чем помочь (с Сохатым или там что), так нет его в природе!

И думаю я: здоровье не поберечь ли?

Как Вы смотрите, Волк?

Для здоровья Стивенсона я снова перечитывала.

Очень тихо живу, как видите.

Но вот про Струфиана — пылко мечтаю. Но совсем нельзя дозвониться Штопаному! И ведь, главное, слышит, небось, автоматную пищалку, так нет, чтобы повесить трубку! — все лопочет, лопочет — сил нет!

Очень хочу в мою деревню весной, но опять боюсь, что если так буду чувствовать себя, то не выбраться... Тут, в загранице, вижу, как соскучилась!

Купила я тут для всех книжонку новую про сионизм: ухи вянут! Это как бы сборник резолюций ООН про землю обетованную.

Ну, Волк, прощаюсь и остаюсь пребывать

Ваш *Мрей*».

* * *

«18 июля 1980 г.

Доброе утро, Волк!

Перечитала свою рецензию на Вас[1] и подумала 2 мысли: 1) очень уж она хвалительная (но вообще она мне понравилась), просто патока, мед и амброзия; 2) я теперь — волковед. (Муравей-волковед.) П. ч., можно сказать, заложен теперь камень в науку — волковедение.

Перечитала свою речь про Вурдалака[2]. Изумительная! Прекрасная! Только жаль, что наука неблагозвучно называться будет: упыриана!...

«Малый Вепсятник» («Наш современник») наконец вежливо вернул мне Блока. Подумать только: не потеряли! Какие благолепные, умытые вепсы!

Вепс Касмынин, между тем, не так плох (пока): снял только несколько стишков, причем 2 — действительно плохих, а за остальные буду воевать, хотя я прекрасно и тут вепса Касмынина понимаю.

Все-таки, Волк, я Вас люблю.

Но если Вы еще раз мне свою партийную скромность в нос сунете — очень рассвиреплюсь!

---

[1] Речь идет о рецензии, написанной Т. Глушковой на мою книгу «Свободная стихия», в которой присутствовала такая оценка:

«Дух Есенина воистину витает над несхожими по внешней теме разделами книги»; «это проза свежесть языка, приближенностью к народному взгляду на жизнь, естественностью самоощущения человека в природе и в традиционном, требующем выносливости и мужества труде напоминает нынешнюю деревенскую, то есть лучшую «нашу прозу»... (Лит. Обозрение», 1980, № 8).

[2] Литературная кличка Ю. Кузнецова — «вурдалак», «упырь», отсюда наряду с «волковедением» — наука «упыриана».

К пленуму по поэзии я сочиню на бумажке речь — прекрасную, как про Вурдалака, и столь же неуязвимую. Ах, жаль, что не скоро еще!

(Но Вы должны как бы про это не знать — и за меня не отвечать, мол.) Привет всем дома.

Ваш *Мрвй-влквд.*

* * *

«9 августа 1981 г.

Я вот почему, Волк, посылаю Вам книжку: п. ч. Вы ничего не читаете, так, может, хоть ее прочтете — она маленькая, дня за 3 можно прочесть[1]!

Теперь, поведясь с Медведем, Вы и грамоте забудете: он быстро Вас отучит. И помрете Вы, Волк, в невежестве, в тоске, на задворке Вепси.

П. ч. — от бескнижъя — у Вас совсем не работает ни ум, ни душа, а только ноги бегают. Срам и стыд!

Мою книжку можете не читать: Вы ее все равно не поймете. Вы думаете, в ней — эпитеты и прочая мура, и цитировали в своей внутр. рецензии разного шмеля — как он, мол, одет и обут... А дело не в том, отнюдь. Дело в том, что в ней, Волк, — весьма небывалый, давно не высказывавшийся (содержится) некий национальный характер (он весь, м. б., в интонации и в разном невидимом), и такого (вепсьего характера, а не просто вепсьей программы, например) в 100 раз больше тут, чем, например, в Волчьей книжке, и потому енот Мрвья ненавидеть будет глубже (чем Волка), ибо Мрей предлагает еноту нечто, ни за что не съедобное еноту, независимо от внешней мысли...

А Вы, Волк, зазнались и ничего не понимаете!

---

[1] Речь идет о книге Т. Глушковой «Выход к морю», которую я получил 5.7.1981 г. с надписью «Дорогому Волку (Серому, Белому и красному кардиналу этой книжки) от благодарного сухопутного Муравья».

Мрвья Вы не цените, Волк, и лень Вам пособить Мрвью.

Стыд и срам!

Вы даже статью Мрвьиную не в силах прочесть, и Мрвей рассердится, все отнимет и никогда больше ничего не подорит!»

* * *

«13 мая 1982 г.

Волк!

Спасибо за все слова о моем Сальери[1]!

Журнал дошел до меня только вчера.

Что сказать?

Это, Волк, не умрет! Мне кажется, я могу спокойно помереть: хоть сегодня... П. ч. это останется надолго-надолго, и я могу только бога благодарить, что он сподобил меня, Волк, «сосуд скудельный», столько всего сказать — родного, больного, правдивого, сердечного столько...

В жизни не испытывал Мрей такого опустошительного счастья: да, Волк, я как во сне принимаю все эти дни «отклики», и они и не смущают меня, и не радуют, а просто я тоже «буду любезен народу», «долго», п. ч. это сочиненье, в учете всех даже жанров, — лучшее из всего, что я «видел и слышал» за ряд лет.

Однако я, Волк, совершенно не хочу помирать, даже и в «любезном народу» виде! Отнюдь! Отнюдь! Я еще должна сочинить про Вальтера Скотта и Пушу (как зовет М-дь). И, наконец, — «Притча о Моцарте»! — о том, как «падают («и тают, и никнут, и падают» в трактирные улицы последние херувимы», — это ж, Волк, пальчики будет облизать: «Притча о Моцарте».

Если в «Сальери» Мрей сравнялся с Белинским, то в «Моцарте» он вызывает, чтобы «сравниться», К. Леонтьева, и будет — «не ниже»! (Как говорил Достоевский о Некрасове.)

---

[1] Имеется в виду статья Глушковой «Притча о Сальери», напечатанная в журнале «Вопросы литературы», № 4, 1982 г.

Да, Волк, впервые в моей жизни не стыдно мне... перед Белинским, Тургеневым и некоторыми другими покойниками, которым: НЕ ОСКОРБИТЕЛЬНА моя речь!..

Ах, Волк, поймите Мрвья: он не хвастун, он — добросовестный!..

Обнимаю Вас и поручаю Вам все перья и крылья: т. е. пусть Ваша статья выйдет и следите, пожалуйста, за каждым словом и этапом публикации! Тут Вы, Волк, КАК ПЕРЕСВЕТ; один — за всех должны биться и победить[1]! Ваш верный (сегодня такое число, к-е надо Мрею упразднить; напишу вчерашнее: 12 мая 82.)

У Моцарта другие «потолки», «интерьеры», другие сферы, хотя в то же время сказать можно, что он «всесферен», «вездесферен»...

Моцарт не может быть сатириком! У него нет никакой узкой специализации, хоть бы эта специализация была и крайне полезной...

«По-моцартовски» — значит: по-гармонически (а не по-сатирически; как, собственно, и не по — сугубо — «лирически»); значит: «сын гармонии» (а не пусть и смешного, пусть и веселого, пусть и «полезного», нравоучительного» диссонанса). «По-моцартовски» — значит: всеобъемлюще... эстрада — всегда специализация, узкая специализация, повернутая к «нуждам низкой жизни» (пусть и необходимой, но и не единственной из сущих областей жизни, бытия...)

Итак, лучше, откровенно являя свою вкусовую субъективность, сказать: «выше Моцарта» (одарен), чем та фантастическая «эстетика» современных культуртрегеров-коробейников...

Это аберрация — думать, что эти коробейники какого-либо X, Y, Зет приравнивают «к Моцарту».

---

[1] Имеется в виду моя статья в «Лит. газете» (№ 23, 1982 г.) «От великого до смешного», в которой я процитировал слова Э. Рязанова о том, что эстрадный юморист Г. Хазанов «одарен по-моцартовски». Отсюда все дальнейшие размышления Т. Глушковой.

Корень тут в том, что они Моцарта — приравнивают к X, Y, Зет... К Хазанову, Райкину... И в этом, в этом, Волк, их истинная задача, сознательная и подсознательная разом (т. е. они даже — порой — и верят, что так это есть: в силу своей субъективности, своего воспитания и «таланта»). И в этом смысле все это вопросы не эстетические, не «современно-оценочные», а — глубже. Не в том беда, что Хазанов — выше Моцарта, а в том, что он равен Моцарту. Вот в чем злодейство!

Все это будет понятней, если Вы вспомните и второе высказывание Рязанова: что Г. Хазанов «уходит корнями» в «русского сказочного Иванушку-дурачка».

Опять же: легче согласиться, что он — выше, тогда все останется в пределах гнусов, а не передергивания сущностей.

На самом деле, он «уходит» не «корнями», а — в лучшем случае: внешне (в широком значении внешности)... П. ч. Иванушка-дурачок только внешне наивен, «дурак», а ведь он — герой, он не жертва, не терпеливец робкий! а он — могучий герой. Он — борец и победитель.

То есть: нет беды, если кто одну листву предпочитает другой (хвою — клену), а беда (и выход за пределы эстетических проблем), когда листва называется корнями, корневой системой...

Волк, я не могу сказать: мне больно!.. Возьмите отсюда все, что найдете возможным, напишите, как хотите, но пора сделать дальнейший шаг: тут не спор амбиций (кто «больше Моцарт» — Есенин или Райкин, кого можно, кого нельзя награждать таким высоким именем), тут другое.

Нужно ясно сказать, что цель, объективный смысл любого Рязанова — это не Хазанова возвеличить, а Моцарта унизить!

В этом, в этом их вовсе не лично самолюбивый смысл!

А Вы делаете вид, что они просто завистливы, просто самолюбивы, просто тщеславны.

Они не тщеславны, Волк! Они скорее жертвенны даже!

И вот дать понять, что Вы это понимаете.

Они же не променяют того, что они говорят, на мое предложение: считать Хазанова в ы ш е!

Не променяют! — клянусь Вам, они не так глупы! (По крайней мере, сегодня — не променяют!)

Все в Вашей статье хорошо, а замечания — оттого, что то дикое раздражение, которое не может не испытывать вепс (у которого как шкуру сдирают, когда поет, например, Пугачева), — это непроизвольно приводит к издержкам (стиля или чего): п. ч. это работа «не для белых»!

Но мы должны победить — силой ярости, яростного ума!

Да, нигде не говорите слово «поэт» и «талант»! Это — важно!

Дорогой Волк! Насчет Хазанова — Моцарта — место очень важное. Тут мало (и банально) обидеться за Моцарта. Тут надо тоньше и серьезней.

Я очерчу только направление возможных рассуждений. Т. е. самые приблизительные вещи (по слову) накидаю.

«...одарен по-моцартовски»!.. Да слышал ли Э. Рязанов музыку Моцарта?!

Скажут: это — метафора?..

Но и метафора, и самое фигуральное даже сравнение должны обеспечиваться все же более или менее ясными, трезвыми представлениями говорящего о существе сравниваемых, метафоризируемых предметов или явлений. Иначе мы попадаем в область дурной фантастики, для которой мало, чтобы на яблоне росли золотые яблоки, — ей нужно, чтобы груши вырастали на вербе!

Иначе — мы получаем сапоги всмятку...

То есть:

я не о самой по себе (высокой, например) оценке кинорежиссером эстрадного актера. Я — об извращении сути обоих участников сравнения, обеих сторон рязановской «метафоры»...

Если бы режиссер, со всей мерой своей эстетической субъективности, сказал, например, что Г. Хазанов, по своему дарованию, выше Моцарта (как и А. Райкин: оба — выше то есть!), такое заявление, как ни парадоксальны будут мои слова, оказалось бы не столь практически антикультурным, чем: «одарен по-моцартовски»; чем это уравнивание несоизмеримого, несопрягающегося, непересекающегося... (Ведь они даже непохожи!)

Дело в том, что Моцарт (выше он, ниже ли какого-либо другого лица, нашего современника) не может явиться в обличий «студента кулинарного техникума» с тем кругом его черт и свойств, даже и привлекательных, которые придал созданному им, образу наш эстрадный артист. Этого он не может, хотя и «бог»!.. Он не может «вжаться « — не выходя из этого круга, «пространства» — в интерьер харчевни, столовки, «трактира «Золотого Льва», пусть там и пьются самые благородные вина... Пусть там и говорятся самые «человечные» вещи...»

Это письмо Татьяны Михайловны — одно из самых серьезных в нашей переписке. Чтобы сегодняшнему читателю были ясны все ее предложения и комментарии, я советую ему познакомиться с моей статьей «От великого до смешного» о массовой культуре, опубликованной в «Литературной газете» в июне 1982 года. Именно после этой статьи я получил письмо от композитора Г. Свиридова — с предложением навестить его, чтобы поговорить и познакомиться поближе.

* * *

Трещины в наших отношениях то сужались, то расширялись, но уже не исчезали никогда. Последним, самым значительным свидетельством дружбы с ее стороны было выступление на вечере, посвященном моему пятидесятилетию. Вот что сказала она в декабре 1982 года со сцены Центрального Дома литераторов.

«Мне кажется, что на сегодняшнем вечере все было празднично. Праздничные были приветствия поэтов, праздничным было выступление Александра Михайлова, праздничным было выступление друзей из Киргизии. По-моему, Куняеву подарили не просто халат, а ханский халат необыкновенного цвета. И мне кажется, что даже то, что возникал некоторый спор — это тоже празднично. Это означает, что поэт, которого мы сегодня чествуем, — живой, абсолютно живой, интересный поэт, люди не могут удержаться от непосредственного изъявления своих мнений. Мне тоже, наверное, придется высказать некоторые суждения, которые, может быть, будут противоречить суждениям, высказанным здесь.

Я прежде всего хочу сказать о задаче поэта. У поэзии, по-моему, не бывает простых и сложных задач. Задачи поэзии, в общем-то, равноценны. Просто каждое время выдвигает в первую очередь ту или иную из них. И вот уже следующему этапу развития литературы кажется, что те задачи были легкими, а вот сегодня новые поэты решают более сложные высшие задачи. Это, конечно, не так. Если подумать внимательно и, так сказать, исторично, станет совершенно ясно, что задачи, которые ставил перед собой Станислав Куняев, были, да, собственно, и есть, очень важные, очень серьезные. Не зря, неспроста на этом вечере чуть ли не с самого первого выступления зазвучал разговор о добре. Не всегда у нас на вечерах так встает вопрос, то есть самый жизненно важный вопрос. И далеко не всегда он так живо обсуждается с поправками, с разноречиями. Лев Аннинский, конечно, написал очень интересную речь. И Вадим Валерианович Кожинов дополнил к ней что-то свое. Опять-таки на эту тему. Знаменитая строчка «Добро должно быть с кулаками», мне кажется, сегодня не должна вызывать столько первоначальных по своему характеру споров. Потому что каждый поймет, если задумается, что у добра нет никакого окончательного образца, тем более это касается добра, исповедуемого поэзией. Все мы помним, какие парадоксальные уроки давала нам на этот счет великая русская литература. Ну,

например, Алеша Карамазов на вопрос Ивана, как же поступить с генералом, который собаками затравил мальчика, он, этот светлейший, добрейший Алеша Карамазов, прошептал: «расстрелять!».

Вот вам прямая угроза, прямая сила, и в этом, конечно, звучит не голос благодати, с которой Лев Аннинский пытался сравнить добро. Речь идет не о благодати самоуспокоенной, так сказать, самогармоничной. Голос добра, в данном случае, являет свой весьма суровый вид. «Добро с кулаками» — это проблема отношения добра и силы. Я считаю, что заслуга Станислава Куняева как раз в том и состоит, что он в лучших своих стихах не противопоставляет добро и силу, добро и правду, красоту и силу.

Вижу заслугу Куняева, что он в своих стихах выступает за возможность союза добра и силы. Можно ему ошибаться в какой-то конкретной силе, как в носительнице и защитнице добра, но он абсолютно прав, когда говорит нам, что добро должно быть сильным, что сила может быть доброй, и не раз в нашей истории мы имели примеры вполне гармоничного сочетания силы с добром. Государственная жилка или даже страсть Станислава Куняева, о которой мы тоже думаем, когда читаем его стихи, состоит в том, что он видит в государстве силу созидательную. Он считает, что государство может, быть не противоположным творческой личности, а поскольку это так, то да будет оно сильным.

Куняев не считает, что поэт это изгой. Он — собеседник государства. Глубокий, серьезный и в то же время всецело ответственный в каждом своем слове. И вот когда я думаю об уроках, которые дает сегодня молодым и немолодым поэтам работа Станислава Куняева, мне кажется, что он в свое время нашел в себе силы настолько резко пойти против течения и настолько ясно обозначить свой путь, что нам теперь кажется, что мы бы это сейчас сделали легко сами. Я не буду подробно характеризовать стиль той эпохи. Но напомню, что тогда в моде была такая вещь, как глобальность. Полагалось говорить непременно с точки зрения всего человечества. Претендовать

на понимание всех народов, всех рас, населяющих землю. А вот Станислав Куняев в один прекрасный момент верным инстинктом понял, что следует выбрать как раз узость. На фоне глобальности.

Эти кручи, и эти поля,
и грачей сумасшедшая стая,
и дорога... Ну, словом, земля
не какая-нибудь, а родная.

Неожиданно сузился мир,
так внезапно, что я растерялся.
Неожиданно сузился мир,
а недавно еще расширялся.

И вот выбрать узость, решиться на это на фоне прогрессивной надменной планетарности означало не только вспомнить малую родину, как у нас говорят, калужскую приокскую землю, не только Россию, которая русскому поэту всегда дороже всего, — тут уж с нами ничего не сделаешь; вспомнить об узости означало сузить фон и границы самого своего понимания вещей, потому что, как говорил историк Ключевский, есть вещи, понимать которые не должен даже самый умный человек.

Непонятно, как можно покинуть
эту землю и эту страну,
душу вытряхнуть, память отринуть,
все забыть — и любовь, и войну.

Все, что было отмечено сердцем,
ни за что не подвластно уму.
Кто-то скажет: а Курбский, а Герцен? —
все едино я вас не пойму.

Я люблю эту кровную участь,
от которой сжимается грудь...

Вот так обозначился путь Станислава Куняева в безусловную сторону поэзии. Путь к России, к простоте народного чувства. Это не было легко. И в этом большая его заслуга. Это один из уроков Станислава Куняева, как я это вижу. И я хочу закончить тем, что это была плодотворная участь. И именно погрузившись в нее, он потом обрел право говорить о народе, который даже и не граничит с нами на карте мира. Я говорю об его интереснейшем и во многом прекрасном цикле «Восточная дуга». Я прочту из этого цикла только несколько слов.

Тяжелое Мертвое море
пропитано солью насквозь,
в него палестинское горе
соленой струею влилось.

Здесь наземь упала косынка,
когда, у себя за спиной
оставив свой дом, палестинка
застыла, как столп соляной.

Здесь выжжены мирные нивы
на этом и том берегу,
И только плакучие ивы
цветут, как на русском лугу.

Вот и здесь он заговорил не от имени каких-то землян, не с Марсом разговор, а с современным фашизмом, вполне земным. А заговорил он от имени русского луга. Только такие голоса и бывают слышны земле. А закончить я хочу тем, что я ни в коем случае не желала бы Станиславу Куняеву боли, новой боли или продолжения боли. Я не хотела бы ему желать никакой боли сверх той, что и так всегда есть в груди русского поэта. Я не хотела бы желать ему и попросту отстрадать свой путь, потому что это значило бы не выполнить ни одной из задач поэта. Это значило бы попросту уйти от ответ-

ственности. Умыть руки. Пусть и слезами, которым, как знаем мы, Москва не верит.

Считаю, что не следует лелеять пресловутую больную совесть. Любить и нежить ее, дабы она никогда не выздоровела. Я считаю, и Куняев прекрасно это показывает в лучших своих стихах, что совесть имеет право быть здоровой, должна уметь быть здоровой. Мы никогда не научимся равнодушию к чужим страданиям.

И новая тяжесть опять
ложится на русскую совесть,—

писал Станислав Куняев, который прав в этом. Равнодушию мы не научимся. И все-таки совесть должна уметь быть здоровой, чтобы пособлять также и самому своему носителю в его собственном горе, если таковое случится. Я считаю, что болезнь, нескончаемая болезнь отнюдь не является залогом чистоты. Чистоты совести, я имею в виду. Так считать могут только никогда не болевшие люди. И поэтому я хочу пожелать Станиславу Куняеву здоровья, спокойствия, уверенности в своем пути. В сохранении того высокого здравого смысла, того возвышенно простого взгляда на вещи, утратив который, можно ли остаться, как говорил поэт о своей родине, «последней надеждой земли».

* * *

Казалось бы — после таких слов, растрогавших меня в тот вечер чуть ли не до слез, ничто не может измениться в наших отношениях в худшую сторону.

Однако к 1984 году наша странная дружба не выдержала накопившегося недовольства друг другом. Все, казалось бы, мелкие несогласия — литературные, мировоззренческие, а пуще всего ее ревнивое отношение к моему окружению (Кожинову, Шкляревскому, Юрию Кузнецову) привели к внешне неожиданному, но давно созревавшему разрыву. Будучи у меня в гостях, Татьяна Михайловна,

зная мои беззаветно дружеские чувства к Кожинову, сознательно стала выговаривать мне о нем столь уничижительными, оскорбительными, несправедливыми словами (мол, и первая его жена еврейка, и вторая полукровка, и вообще он «заигрывает с енотами», и как можно ему верить), что я, вспомнив сопровождавший ее всю жизнь «еврейский шлейф» учителей, друзей и подруг (И. Сельвинский, П. Антокольский, С. Липкин, А. Межиров, И. Роднянская, Ю. Ряшенцев, Е. Рейн, подруги, уехавшие в Израиль),— не выдержал, подумал о том, сколько сверхъестественных усилий, начиная с дискуссии «Классика и мы», я приложил, чтобы вытащить ее из этой трясины, — вспылил и распахнул дверь со словами: «Уходите! Вот Бог, а вот порог!»

С каменным лицом она вышла на лестничную площадку, а я, захлопнув дверь, с облегчением почувствовал, какая тяжесть свалилась с моих плеч. Я устал от нее. От ее капризов, от ее показного смирения, что пуще гордыни, от ее постоянного желания руководить моими мыслями и чувствами. «Свободен!» — пронеслось в моей голове.

...Но, к сожалению, это состояние свободы длилось лишь несколько лет, до 1988 или 1989 года, до поры, когда, предощущая все опасности надвигающейся разрухи, наши друзья Лариса Баранова и Дмитрий Ильин упросили меня ради общего патриотического дела помириться с ней («Волк! Ну не забывайте, все-таки она женщина!»). Я растрогался, извинился за изгнание Муравья из своего дома, и относительный мир между нами был восстановлен... Как раз в это время я начинал переговоры с Сергеем Викуловым о том, чтобы за́менить его в журнале «Наш современник», и, может быть, не случайно, что именно в это же время произошло наше перемирие с Глушковой. Именно перемирие, потому что ее требования и ультиматумы ко мне уже как к главному редактору начались незамедлительно. В первую очередь Глушкова потребовала, чтобы я ввел ее в редколлегию — на что я никак не мог согласиться. Печатать — да, все, что она ни предложит: стихи, статьи, интервью, предисловия к чу-

жим публикациям. Но допустить, чтобы она работала в редколлегии, в коллективе, участвовала в общем деле рядом с Кожиновым, Шафаревичем, Юрием Кузнецовым, Прохановым, Беловым — с любым из которых она могла завести распри, свару, ссору — я-то знал, как она относится к ним! — на это самоубийство я согласиться не мог. Она органически не могла работать в коллективе, в команде, в артели. Она была органически не способна при всех своих достоинствах и талантах к общему делу в роковое время, требующее объединения всех патриотических сил.

Когда она поняла это — то тут же написала мне письмо.

«31 августа 1989 г.

Лишь сейчас дочитала «Русофобию» Шафаревича (в «Кубани»). (А статью в «Нов. мире» прочла внимательно в Москве.)

Это неправда, что его темой является современный либерализм в СССР, как политическое, социально-политическое течение (тем паче — в преломлении его в литературной критике).

А разоблачение эмигранта Янова, скажем, отнюдь не вбирает в себя «автоматически» разоблачение здешних Кардиных-Латыниных-Овруцких-Лихачева-Сарнова-Роднянской и проч., тем паче, что некоторые из них имеют здесь, даже у русских, отнюдь не позорную репутацию, равно отличную и от яновской, и от пайпсовской.

Мрачные подозрения, что на самом деле после Викулова меня не станет печатать «Наш современник»[1], укрепились, когда я услышала об идее отдать полжурнала — критику и публицистику — в вотчину полковнику Ильину.

---

[1] Именно при мне Глушкова стала, как никогда (при Викулове она вообще не печаталась), публиковаться в журнале, если вспомнить ее стихотворные циклы 1990—1994 гг., статью «Хищная власть меньшинства», размышления о творчестве К. Леонтьева, беседу с писателем Н. Дорошенко, участие в «круглых столах». В 1992 г. она стала лауреатом журнальной премии.

Он вошел — с плаца (или из интендантства?) — в литературу публикацией в «ЛГ», в 1982 году, поносительной рецензии на обе мои тогдашние книги стихов («Выход к морю» и «Разлуки нет»), рецензии, по-фоменковски обсуждавшей, «кто»(«известно, кто...») стоит у меня за левым плечом, демонстрируя заодно и полное непонимание русской речи.

Ничего дурного я ему ни тогда, ни после не сделала: давно простила — покуда не развернул он в последние 1,5 года новый виток преследования меня в изд-ве «Современник».

Мне было б трудно переступить даже порог журнала, где правит эта подлая, безграмотная дубина, не имеющая на то никакого профессионального права. (Знакомство с генералами, восхищающее Казинцева, не заменяет ни профессиональных литературных, ни моральных качеств.)

Мне ясен и более общий перспективный расклад.

Все эти «неоИдашкины» из «плеяды» попытаются превратить Вас в нового, «подрастающего» Бондарева, который жмурится сладостно, как сметанный кот, от криводушных похвал — и так ли уж не совершает в итоге важных, трудно поправимых ошибок?

Вас давно уж поставили вне критики, что была бы неrрупповой. Теперь постараются поставить и просто: ВНЕ критики — насколько позволят это коротичи...

Перечитайте, что в № 9 за 1987 г. писала о Вас Баранова. Мол, «делать жизнь с кого»? — С Вас, мол, она делает жизнь! Так пишут мемуары о славном покойнике (который никогда не терял мужества и проч.). И писалто ведь автор, готовящийся: 1) к вступлению в Союз; 2) полученью должностей, квартиры, льгот. (Теперь — руководит на всех совещаниях молодых, куда меня руководить не звали НИ РАЗУ)[1].

---

[1] В 1987 году я, будучи уже 7 лет отстраненным после моего письма в ЦК КПСС от всяческого заметного влияния на «материальную» жизнь Союза писателей, не мог никому помочь ни с изданиями, ни с должностями, ни с квартирами. Т. Г. даже забыла, что именно Баранова и Ильин незадолго до этого письма помирили нас.

(Правда, и я там была названа «духовным учителем». Увы!)

(На все «перечни» издательских заслуг «плеяды» отвечаю одним: годами, под крышей ВЛКСМ-ных изданий, все эти Барановы—Рыбасы не делали НИЧЕГО полезного. Ибо: «было нельзя». В «Современнике» ж «делали», ибо стало «можно». И куда менее делали, делают, чем нужно. И душат всех, кто не поддается вербовке: в собутыльный клан, в постель, в сообщающиеся сосуды взаимных кормушек!)

Тут выросли, в «плеяде», свои: Риммы Казаковы, Шупловы и попросту Иуды (как Карпец). Иудушки с паучьими ручками. Идашкины.

Слишком много я сделала иным из «плеяды» добра, чтоб, возвысившись по службе, могли они не «расквитаться»!

Симптом второй:

Украшение редколлегии громкими именами, чтоб в итоге равноправно-громко соседствовали Шафаревич (Солженицын даже!)[1] и... И. И. Стрелкова при паническом недопущении мысли ввести хоть под конец жизни в редколлегию столь добросовестного ко всякой чужой работе (и не менее Ирины Ивановны известного все ж!) человека, как я, — означает для меня на деле отсутствие какой-либо (авторской) застрахованности даже в рамках журнала «Наш современник».

Вы же знаете, что я загнана уже в столь тесный угол, где есть простор разве что для петли!

(Это не значит, конечно, что я готова перебежать дорогу Ирине Ив. или кому другому. Ей — даже менее, чем кому-либо!)

А пишу Вам все это с памятью, что была у Вас, кажется, и другая часть души. В силу которой Вы и клялись 3 года тому, что «больше не будете» — клеветать, что я «выжила из ума»[2].

---

[1] Глушкова была не права — Солженицын никогда не входил в редколлегию журнала.

[2] Такова была расплата со мной за «извинение», которое я по просьбе Ильина и Барановой принес Т.М. Глушковой «ради общего патриотического дела».

Из-за той части Вашей души я и относилась к Вам столько лет честно. И никогда не отступалась в сложных для Вас обстоятельствах. Не считая «мелочью» Ваши, даже далекие от моей психики, дела.

Т. Глушкова».

* * *

«29—30 августа 1989 г. Малеевка.

Здравствуйте, Волк!

Как мне не повезло, что уходит Викулов. Но я все-таки не могла не желать Вам этого назначения. Хотя был в душе и страх: что же теперь останется — только журнал «Москва»? но и там — Сережа[1], и легко ли мне будет...

После выхода «Лит. России» я еще три дня пробыла дома, и единственный из людей, с которыми я общаюсь и кто не сказал по этому поводу мне ни звука (хоть формального, ради вежливости), были Вы[2].

Вряд ли это по-товарищески.

Но. если учесть, что теперь Вы — главный редактор журнала, о котором в «ЛР» шла речь, — это Ваше молчание говорит, разумеется, о большем.

Я сначала это все очень эмоционально лишь переживала (ну, не спала первые три ночи, после, в Малеевке, разболелась: тошнота и рвота до изнеможения, — как обычно, когда оскорбление берет через край, и единственный способ спастись — заболеть. Но и в самом деле: нормально ли в год тридцатилетия своего литературного стажа, пятидесятилетия — возрастного читать в «русской» газете, как зарвавшийся юнец Фоменко-Бахрах хамски «вздыхает» насчет моих «явно непродуманных (!)» суждений и объявляет мою работу «суетой сует»? И притом: это уж

---

[1] Мой сын Сергей, всегда относившийся с пиететом к Т.Г. Тогда он работал в журнале «Москва».

[2] В «Лит. Росии» была опубликована статья А. Фоменко, в которой были совершенно незначительные претензии к литературным работам Т. Глушковой в «НС».

30-е после «Ариадниной нити»[1] поношение — при отсутствии хоть единого голоса в поддержку! (И притом — 5-е за год печатное шельмование, исходящее из барановско-ильинской «плеяды»!)

Вам это не знакомо: Вас всегда кто-то, не медля особенно, защищал. (Вот и я нашла место в №7, чтоб назвать неопровержимыми Ваши выкладки об ифлийцах. Не говоря уж о том, что и высмеиваю также и Ваших, в том числе, врагов...)

Разумеется, это не «соцзаказ»: просто не люблю несправедливость.

Попытки сказать, что тот, кто остается (в лит-ре, обществ. жизни) «в меньшинстве» или даже, как я, в одиночестве, — заведомо неправ (все, мол, «идут в ногу» и т. д.), — были бы жалкими попытками: это в данном случае более, чем неправда... Это только удобно очень — всем, кому неудобна я. Истины же при этом не ищут. Большинству русских она так же не нужна, как и их игровым противникам.

Но еще важней все-таки позиция «родного» журнала. Казинцев в пятницу утром влетел в корректорскую, как именинник, — только я принялась переносить правку (не видев еще газеты). Первым делом он объявил, что «Фоменко, хотя и гад, в чем-то прав!» (Мол, действительно, мою статью нельзя дочитать и пр.)

Он «забыл», как называл ее «гениальной» и как за один вечер прочел в апреле обе ее части (сделав крохотное замечание к начальным страницам, которое и было мною учтено)!

Поскольку это — идеально пластичный человек, на службе — тип чеховской «душечки» при всяком главном редакторе, я понимаю, что ныне, весело-браво хамя, он, как ему кажется, «в струе»...

Мое совершенно добродушное отношение к нему, многократная помощь ему — ни на что повлиять не могут: «душечка» в штанах! А пожалуй, даже серьезней: эда-

[1] Статья Т. Г., опубликованная в «Литературной газете».

кий маленький Полоний (из «Гамлета»), у которого облако будет похоже и на верблюда, и на все, что скажет «принц датский». (Потом его — через мягкую же портьеру — иногда закалывают, впрочем, шпагой.)

Мне жаль это говорить: одаренный все же человек. И, пожалуй, какая-то доля ответственности за развитие таких натур лежит на старших...

Престарелые молодые, о которых в последние 1,5 года я предпочитала не говорить с Вами (в надежде, что догадаетесь сами; от омерзения к грязным сюжетам? — не знаю: скучно, тошно было говорить!), способны на ОЧЕНЬ МНОГОЕ: на шантаж, на подлог, лжесвидетельствование, клевету — что угодно: каждый — в меру своей бездарности.

Они делают самую низкую ставку на Вас. (И отсюда и в этой, фоменковской, мазне подхалимская ложь, вплетение Вашего имени: и так — в каждой их вылазке против меня! 2 года назад все они, дружно, исподтишка, но подробно, бурно хвалили мою книгу и соответствующую главу — за «оздоровительную» критику, «смелость», «неподкупную правду» и т. п. и, как помните, думаю, — даже доброхотно и страстно мирили меня с Вами. Тогда они делали, видимо, двойную ставку: низкую ставку — и на меня тоже, еще не веря, что для меня недейственна лесть... Теперь им, захватившим литпосты в редакциях, ясно, помимо прочего, что я — так и останусь частным лицом. Ибо, заведуй я хоть каким «отделом» и проч., — разве б отважились на «перманентное» хулиганство??? Никогда в жизни! Так бы и лизали оба порога!)

Если Вы этим словам не верите («не поверите»), я отвечу, что «Лит. Россия», например, печатая о «блистательном министре Уварове», «чутко уловившем духовную потребность общества» и проч. (у Фоменки же), тоже не поверила... Кому? Пушкину! Который, помимо знаменитой сатиры, писал (уже именно о министре и президенте АН):

«УВАРОВ БОЛЬШОЙ ПОДЛЕЦ. Он кричит о моей книге... Его клеврет... преследует меня... Низость до того

доходит..: Он начал тем, что был б.., потом нянькой (детей Канкрина) и попал в президенты». И снова: «Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком?» (см. Пушкин, «Дневник 1835 г.)

А вот «Лит. Россия» — НЕ ПОВЕРИЛА. Даже в скобках не помянула такого, пушкинского, мнения о «сеятеле просвещения». (Блистательном!)

Ибо — «триада»! «Самодержавие — православие...» И что до Пушкина какому-нибудь барановскому собутыльнику, ВЛКСМисту-монархисту Рыбасу, например! (Не говорю уж о сатире на вора, «Промифея наших дней», в «Былом и думах».)

А что Уваров — участник убийства Пушкина?.. Тоже НЕВАЖНО!

И хотя для меня, пожалуй, большая честь, что «русская» газета обхамила и оскорбила меня в компании с... самим Пушкиным (да кто ж его теперь не оскорбляет, впрочем?!), — за него-то не может не тошнить такого, как я, «последнего могиканина» в литературной Москве!

Тут насыпались (в Малеевку): Горилла[1], Рассадин, Шмелев и тьма... Ну, газету, конечно, затаскали, — говорит библиотекарша. И один Коган сказал, что стыдно очень — за всех (левых, правых). А также: что «евреи могут отдохнуть — похоже, Кожинов всерьез взялся за Вас» (за меня т. е.).

(Они расшифровывают «нас» так же, как мы — их: кто дирижирует каким действом...)

Всего Вам доброго. *Т. Глушкова*».

* * *

Но Татьяна Михайловна со своей феноменальной способностью ссорить всех со всеми никак не могла отказаться от соблазнительной мысли свести мировоззренческие и литературные счеты с Кожиновым, но не где-нибудь, а

[1] Глушковское прозвище Юнны Мориц.

только на страницах «Нашего современника», где он, член редколлегии, главный историк, литературовед, идеолог, где главный редактор — его лучший друг. Я знал, что соблазн этой авантюры просто пожирает, как огонь, ее душу. Ей не было заботы о том, что Вадим в начале 90-х годов, печатая одну за другой свои блестящие, прославившие его имя работы, стал для читателей журнала одним из любимейших авторов; ей не было дела до того, что именно в тяжелейшем 1993 году он, как никто из нас, искал основы нового патриотического мировоззрения... Но чем известней и влиятельней становилось его имя, тем маниакальнее взрастало ее желание «разоблачить» Кожинова, «вывести на чистую воду», развенчать все его, как ей казалось, ложные заслуги.

Я этой безумной гордыне потакать не мог, и в ответ стал получать такие письма.

«20—25 мая 1993 г.

Здравствуйте, Стасик!

Ситуация мне видится так:

1) в последнем своем телефонном разговоре со мной Вы порвали со мной отношения литературные.

Задним числом выставляя условия к моей, уже готовой, работе, причем условия несправедливые и оскорбительные, Вы ясно в очередной раз показали, какова, в Ваших глазах, «ценность» моих мыслей и трудов. Она — такова, что Вы готовы пожертвовать всей прошлой, сущей и будущей моей литературной работой ради того, чтобы Кожинов не был подвергнут какой-либо критике («ни слова о Кожинове!»).

Я понимаю Ваш с Кожиновым страх перед моей аргументацией — страх, побуждающий пойти на все в плане безнравственности. Но все-таки трусость лишь объясняет, а не оправдывает душительства тех, кто не трус.

Условия, которые Вы поставили мне, были бы оскорбительны для любого литератора. Они сводятся к тому, что журнал «Наш современник» позволяет Кожинову сколь угодно оскорблять, клеветать и притом обворовы-

вать другого автора[1], но никогда не позволит этому автору — возразить ни по поводу этих безобразий, ни по существу идиотских «воззрений» Кожинова, давно наносящих вред русскому самосознанию.

Ибо этот, другой, автор — заведомое НИЧТО перед Кожиновым!

(«Извинения», к-е Вы приносите мне якобы в № 4, — полностью утаивают существо дела. Да и на это с каким скандалом Вы согласились, хоть и сами с Казинцевым на первых порах предложили это[2].

Но зато в том же, 4-м, номере из моей анкеты о поэзии снято все, что там было сказано о «великом» Кожинове!)

Ваш видимый расчет на то, что я — в моих нынешних условиях — «проглочу» что угодно, — т. е. расчет на мои слишком трудные условия, связанные с болезнью, — вызывает реакцию обратную: я на колени не встану — этой радости ничьему самолюбию или самоуправству не доставлю.

Вы исходите из абсолютного неуважения ко мне и из самого циничного самовластья. А если вдуматься, ради какого ничтожества, какой человеческой дряни Вы пускаетесь во все тяжкие, то возникает вопрос: кто же — Вы?

---

[1] Видимо в состоянии крайнего раздражения или даже помрачнения от гнева Т.М. решила, что В. Кожинов чуть не «украл» у нее то ли какие-то мысли, то ли воспользовался ее формулировками, что, конечно, было полным абсурдом. Он, к сожалению, недооценивал ее и поэтому крайне редко читал ее статьи и никогда не обсуждал их.

[2] Желая хоть как-то сохранить наши отношения (худой мир лучше доброй ссоры), мы с Казинцевым в № 4 «НС» за 1993 год решили написать нечто вроде извинения перед Глушковой: «От редакции: при работе над материалами «круглого стола» «В каком состоянии находится русская нация» («НС», № 3) окончательный вариант текста не был согласован с одним из участников — Т. Глушковой, тем самым она была поставлена в неравноправное положение. Приносим свои извинения Т. Глушковой».

Отказом публиковать мое совместное письмо с К. Мяло[1] вы бросили мне еще один — более чем излишний уже — вызов.

Вы понуждаете меня к поступкам, от которых, при постоянных провокациях, человеку живому воздержаться трудно;

2) то обстоятельство, что после последнего телефонного разговора (три — не меньше — недели тому) Вы прекратили звонить и как-либо интересоваться мною, показывает, что Вы порвали со мной и личные отношения. (И даже Галя повела себя с несвойственной ей невежливостью.)

Вряд ли это похоже на чувства дружеские. И особенно выразительно выглядит это, поскольку нынешнее мое положение не похоже на то, что было при нашей ссоре лет 10 назад.

За 4 месяца, которые я дома, Вы отказали мне во всех просьбах насчет личной помощи. Хотя совсем не всегда действительно сломана была[2] машина. Разумеется, это удобнее — вообще исключить возможность просьб.

Мне не раз казалось, что если бы не Сережа, Вы, возможно, нисколько б и не участвовали в моей болезни: он умеет кричать, трясти за ворот, требовать... А главное: он человек приблизительно равного с Вами социального статуса и, следовательно, для Вас — человек, в отличие от таких социальных «низов», как я. Это мое обстоятельство, как и отсутствие за мною каких-либо «структур», объясняет тяжелую специфику Вашего поведения — во всем (вплоть до коллизии с Кожиновым).

---

[1] Т.М. Глушкова на короткое время в борьбе против Кожинова и меня объединилась с Ксенией Мяло, они даже письмо возмущенное о притеснениях Т.М., со стороны редакции написали. Но я его печатать не стал, а вскоре, как случалось у нее всегда, союзницы поссорились и этот временный союз распался.

[2] В труднейшее для журнала время — летом 1993 года, — когда коллектив практически не получал зарплаты и был юридически бесправен, мы все-таки всегда помогали Татьяне Михайловне и деньгами, и лекарствами, и транспортом.

К этой специфике нелегко привыкнуть человеку другого, неноменклатурного, воспитания. И поэтому мои «срывы», бывшие кое-когда, можно понять.

Теперь, конечно, легче. Я — дома. Просто — третий год взаперти. Но тут уж и вовсе можно было не навещать (хоть и в 3-х шагах от редакции), и, конечно, машине Василия Васильевича положено «ломаться» уже бесперебойно...

Наверное, этот круг внутренней недоброты — неучастливости — разумнее и впрямь разорвать, — и я не осуждаю Вас за эту честность.

За всем тем я, конечно, очень благодарна Вам за помощь, хлопоты во время больничных моих мытарств. П. Ч. конечно же, было б еще хуже, чем было: тут нет слов. И в этом, определенном, смысле, разумеется, — не до жиру! Благодарна — действительно (и молилась за Вас, как умела), и только, может быть, не так слепо благодарна, как сама бы хотела (чтобы просто не на что было «закрывать глаза»).

И мешает еще вот что: не могу понять этого спорта или этой психики: унижать, оскорблять, третировать и изматывать человека; потом, если он помирает, — помочь; а когда ему станет лучше — все начинать сначала!..

Когда я говорю: «начинать сначала»,—я имею в виду, что очень уж Вы не любите моей работы. Никакой. И мало кто (может, и просто — никто) в моей жизни был таким неустанным душителем моей работы, как Вы, — главный редактор. Это ад — как вспомнишь историю моих публикаций у Вас. Каким измором пытались взять меня, начиная еще с публикации К. Леонтьева. Ведь даже о ней не постыдились сказать, что она переносится с 8-го на 7-й номер, п. ч. 8-й — начинает подписную кампанию, «а для подписчиков Ваш Леонтьев не нужен» (это Ваши, «золотые» слова). Для подписчиков «не нужно» было и анонсировать мое имя (хоть бы раз — за все годы): я ведь знаю, как вычеркивалось оно с обложки, если предлагал отдел, — и все это знают! А ка́к мариновали и врали об «устарелости» якобы моей беседы с Дорошенко, перепи-

сывали и располовинили ее — п. ч. мы «защищали социализм»! История же публикации «Хищной власти меньшинства» вообще привела к тому, что я «переходила на ногах» — к Вашим ильиным — уже абсолютный разгар самой страшной болезни. Ведь был миллиард замечаний, вранья, перекидок из № в № !.. Так не мучили и не унижали меня нигде — как «под Вашим крылом», — и не стыдно было ни Вам, ни холуям Вашим с Кожиновым смотреть в мое черное уже лицо, и не видели Вы, что только нечеловеческая воля позволяла мне каждый день снова идти в эту проклятую редакцию, чтоб каждый день принимать новый гнусный сюрприз.

Чего я только не наслышалась о моей «ненужности», «неправоте», «неуместности»!

Неужели Вы думаете, что все это можно забыть? Что обстановка постоянного недоброжелательства, криводушия, обманов и травли — не помогла мне «дойти до ручки» физически? Я вспоминаю все это как потрясающую безжалостность, вопиющую несправедливость.

Или Вы можете доказать, что я заслуживала именно такого редакционного отношения?

А если я уж так «не нужна» подписчикам, как твердите Вы по сей день, то зачем же бы Вам было звонить мне, например, из Новосибирска и Ленинграда, прося, чтобы я приехала хоть на 1 вечер, п. ч. «публика требует»? (Вряд ли хоть раз она так требовала Вашего Кожинова!)

А что печатали мои стихи — и не стыдитесь сегодня попрекать меня этим, — утешьтесь: уж не больше печатали, чем беспомощные вирши Н. Карташевой. Не больше, чем Мирошниченко. Не считая уж членов редколлегии.

Я не дам в Ваш журнал больше ни одной строчки.

И сообразите: я не затем выживала в последние 2 года, чтобы Вы (вместо того, чтобы, как любой нормальный человек, радоваться, что я смогла наконец — конечно, временно — опять приняться за работу) затевали новые глумления надо мной как писателем. Снова — затыкали мне рот. Позволяя притом подонку Кожинову и обкрадывать меня, и печатно клеветать на меня.

Я не дам Вам ни одной строчки. И не буду жалеть об этом, п. ч. журнал Вы провалили. Он жив только ИМЕНЕМ СВОИМ («Наш современник»), только прошлою славой. Мне одной, да еще столь бесправной в этом журнале, все равно не спасти его ни от просионизма, ни от прогитлеризма.

Я прочла в юбилейном № «Дня» Ваши стихи (подборку). И мне пришло в голову простое: да имеете ли Вы сегодня литературное право — судить о какой-либо моей работе?

Ведь теперь полагаю, журналу потребуется мат, чтоб, потрафить распаду «сегодняшнего дня»? Потоки сквернословия? Или шуточки про «Сему Липкина», который никогда не мог быть для Вас «Семой» (это — не Яша Козловский). Шуточки про партбилет?.. Стыдно! Очень стыдно, дорогой Волк!

Желаю Вам всего доброго!

Т. Глушкова».

Интересно то, что за несколько месяцев до этого яростного письма я получил от Т. Глушковой книгу ее стихотворений с подписью, которая ничуть не предвещала окончательного разрыва:

«Дорогому Волку от бессмертного Муравья с благодарностью, не выразимой «здешними словами».

Т. Глушкова. 2 янв. 1993 г.

В издании книги я действительно помогал «бессмертному Муравью»...

* * *

Мой ответ Т. Глушковой.

«30 мая 1993 г.

Таня!

Прочитал Ваше письмо от 20-25 мая. Мог бы ответить по каждому пункту, но нет ни времени, ни желания. Всю жизнь удивляюсь одному: почему Вы, будучи уве-

рены, что я не люблю и не понимаю ни Вас, ни Ваших стихов, ни Ваших статей, будучи Вашим гонителем и недоброжелателем, в роковые или просто трудные для Вас минуты жизни (ночная встреча с Межировым, война с Юнной Мориц, разрыв с Хатюшиным) всегда обращаетесь за участием и помощью ко мне? Почему не оставите меня в покое? Я «не имею права судить о Ваших литературных трудах», я «погубил журнал» (видимо, потому что печатал Вас, Кургиняна, Шафаревича, Бородая, Мяло, иных по несколько раз в год). Ну, печатайтесь тогда у Л. Бородина, у Э. Сафонова. Что тянет Вас только в «Наш современник»? К своему «гонителю»? Одному я рад, что «христианское помрачение», которое постигло Вас в разгар Вашей болезни, прошло, судя по тону Вашего письма. А значит, Вы выздоравливаете и становитесь такой, какой были всегда. Я рад, что Вы нашли новую опору в лице Кургиняна. Но, смотрите, он неврастеник, и его терпения хватит ненадолго. Тогда Вы снова возвратитесь к Волку, и я снова понесу свой крест. А пока, слава Тебе Господи, хоть на какое-то время я отдохну от Вас.

До свидания. *Станислав*».

* * *

Но не такой была она человек, чтобы отступиться от своей «пламенной страсти». Началась эра бесконечных статей и интервью Глушковой, разоблачающих. Кожинова, Распутина, Шафаревича, Бородина, меня и «Наш современник» в целом. В «Молодой гвардии» — подряд пять номеров за год (1995 г.) с продолжением, общий объем 12—14 листов, целая книга. Защищая Вадима, я опубликовал в «Литературной России» статью «Блеск и нищета кожиноведки», и в ответ тут же в очередном номере «Молодой гвардии» (№ 6, 1995 г.) прочитал о себе, что я «адвокат измены», «партрасстрига», «державопевец», «лжекоммунист», «стихотворец», у которого стихи «сухие» и «холодные», а «таланты», «на деле не существующие».

Раздор в патриотическом мире, свара между двумя самыми авторитетными русскими журналами, разделение еще недавно одного войска на два враждующих стана — вот чего добилась она. И это перед лицом всемирно-исторического врага. Понимая, что этот губительный процесс надо остановить, я написал Глушковой, что если она будет и дальше раскалывать русское единство и доказывать сбитым с толку читателям, что главный редактор «Нашего современника» и литератор ничтожный, и патриот фальшивый, то мне придется опубликовать отрывки из ее писем прошлых лет, полных признания с ее стороны моих поэтических и гражданских достоинств.

В ответ я получил приказание возвратить все ее письма, написанные мне в течение двух десятков лет.

Но я тоже закусил удила и ответил ей последним в нашей переписке посланием:

* * *

«1 марта 1995 г.

Уважаемая Татьяна Михайловна!

Письма, в свое время полученные мною от Вас, не являются объектом авторского права и не подпадают под защиту Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». Посему эти письма давно стали моей собственностью, коей я вправе распоряжаться по своему усмотрению.

Если же рассматривать этот вопрос с этической стороны, то мог бы признать правомерность Вашего запрета на цитирование их лишь в том случае, когда бы я собирался приводить откровения интимного свойства или Ваши оценки собственного творчества.

Я же собирался приводить отдельные Ваши высказывания, характеризующие мое творчество и творчество других литераторов. Все эти оценки свидетельствовали бы о Вашем высоком требовании к литературе, демонстрировали бы Ваш точный вкус и глубину Ваших познаний.

Но поскольку такое мое намерение неожиданно для меня вызвало Ваше крайнее раздражение и протест, приобретающий характер публичного скандала, то хочу сообщить Вам, что я отказываюсь, по крайней мере в обозримом будущем, от завершения своих литературных мемуаров о 60—80-х годах; в любом случае отказываюсь, (если что и напишу) от публикации Ваших писем.

Ст. Куняев».

* * *

Однако оскорбления с ее стороны были столь сильны и ядовиты, что я все-таки через некоторое время опубликовал в газете «День» (не хотелось втягивать в эту полемику «Наш современник») у своего друга Александра Проханова ответ Глушковой на серию ее статей в «Молодой гвардии». Думал, что на этом все будет кончено. Мы — квиты. Ан нет... Русские люди, к сожалению, тоже заразились в эпоху демократии вирусом авантюризма, корью публичных скандалов, зудом бесчестия, и для многих из нас перестала быть зазорной пословица «ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца»... Александр Проханов, главный идеолог русской патриотической прессы, дерзко и сознательно принял законы западной журналистики, гласящие о том, что «хорошие новости неинтересны». Ради продолжения нашей войны он дал возможность Глушковой повторить в газете «День» еще раз все ее вымыслы, уже изложенные в «Молодой гвардии».

Открывать «второй фронт» у меня не было ни сил, ни желания, и я ограничился тем, что, завершая эту драму, послал Проханову частное письмо:

«Дорогой Саша!

Долго я ломал голову: почему ты поступил именно так. Ведь можно было своею собственной рукой вычеркнуть штук двадцать прямых оскорблений, которыми на-

шпигованы две ее «простыни». Ну, к примеру, одно лишь «есениновед в штатском» чего стоит! Однако ты не сделал этого, ты пошел на самый крайний вариант, хотя, конечно же, многое из того, что написала она, тебе — умному человеку, должно было показаться абсурдом. Но ты этот абсурд — благословил... Почему? Постепенно до меня дошел смысл происшедшего. Ты предпочел сыграть свою игру: чем больше клеветы, обидных оскорблений, шизофренической ярости выплеснулось с пера Т.М. — тем соблазнительнее тебе показалась интрига, тем сильнее сжималась пружина пятиактной трагедии наших взаимоотношений, тем крупнее и значительнее вырисовывалась в постановке твоя роль как режиссера в сравнении с нами — двумя актерами, не ведавшими, чем и как закончится пьеса, где развязка, каков будет финал...

И только тогда, когда ты по телефону сказал мне, что будешь писать сцену заключительного акта («феномен Ст. Куняева» или что-то вроде этого), я все понял...

Ну, по-своему, с точки зрения режиссуры современной политико- литературной «игры — борьбы», ты, может быть, и прав. Соблазнительно разыграть (подобно Кургиняну) такой спектакль, тем более, когда талантливые и возбужденные актеры лезут сами на сцену... От этого роль режиссера и самого театра только выигрывает... Но есть в этом плане и что-то похожее на невосполнимый проигрыш. Ты сказал мне по телефону, что я сделал ошибку, опубликовав ответ Т. М. Я так не считаю. Мне, публичному человеку, нужно было объясниться перед будущим, объяснить всем — какой тип человека она представляет. Я это сделал — и не жалею. Другого выхода у меня не было... В чем же ошибся ты? Ты разорвал не союзнические отношения со мной, не политические, не литературные. Я думаю, что они останутся. Мы взрослые люди. Ты разорвал нечто другое, более неуловимое, тонкое, эфирное, то, что складывалось у нас во время на-

ших встреч в 1991 году, когда я часто бывал у тебя, а ты у меня на Цветном, то, что складывалось между нами в наших новогодних посиделках, что сплеталось во время поездки в Рогожку и Саровскую пустынь, что могло сложиться, когда я приглашал тебя на севера, на берега моей любимой Угрюм-реки... Словом, ты переступил через те истинно дружеские ниточки, паутинки, блесточки, которые нарастали поверх политических, литературных, партийных и прочих связей. Ты порвал то, что принадлежало или могло принадлежать лишь нам с тобой...

Я ведь человек сентиментальный. И после смерти Рубцова, Передреева, Портнягина, после измены Шкляревского долгие годы живу с пустотой в душе, в том месте, где у человека образуется чувство, которое потом диктует ему, как и где положить живот «за други своя». И потому я и воспринял так болезненно (словно личную катастрофу) публикацию Т. М. в «Молодой гвардии». Она ведь не только общественный счет мне предъявила — но растоптала с яростью все наше дружеское прошлое... Именно на это я не мог закрыть глаза. Ты, в сущности, ради своей постановки, дав до кульминации расширить эмоциональные границы пьесы (ради своего режиссерства), поступил качественно так же, как и она. Нарушил табу, разорвал и растоптал неизвестно откуда и почему возникшую между нами дружескую связь... А может быть, я все преувеличиваю, м. б., лишь с моей стороны было это чувство, а с твоей никогда не было, может быть, такое лишь казалось мне. Ну тогда я во всем виноват и придется мне попрощаться с очередной своей иллюзией.

Если же все это было — и ты сознательно пошел на такой разрыв, то тогда не я, а ты сделал ошибку. В результате которой мы с тобой оба многое потеряли.

И еще. Не надо деспотически упрекать меня (что ты сделал по телефону), что вот, мол, «народ гибнет, а вы с Глушковой выясняете отношения»... Это слишком грубо и недостойно твоего ума. В ответ я могу сказать, ну, допустим,

такое: «народ гибнет, а вы, ребята, в ресторане «Кабанчик» жрете осетрину и запиваете шампанским» и т.д. ...

Ну ладно, нет худа без добра, объяснился, написал — и легче мне стало. Не надо теперь, Саша, приглашать меня на вечера ни к белым, ни к красным, ни на Новый год; жаль мне, но, видимо, семгу мы с тобой на Мегре уже не половим... И над Личуткой-баннушкой уже не пошутим...

Разорвалась паутинка... Много ли ей надо? Эта материя слишком нематериальная... Посылаю тебе номер с чеченскими очерками, жду нового романа, наши литературно-общественные связи останутся прежними. А то, что я пишу — всего лишь невидимые миру слезы... Их больше не будет.

Станислав».

* * *

На этом в нашей драме была поставлена точка. Но Глушкова оставалась верной себе. Незадолго до смерти в интервью, опубликованном в «Независимой газете», № 8 1998 г., она по-своему «отблагодарила» Александра Андреевича Проханова за все, сказав об *«общественной преступности газеты «Завтра»*, о том, что, *«в № 11 и 12 газеты «Завтра» продемонстрирована нерушимая «сплотка» всех беловых-распутиных-балашовых-личутиных-шафаревичей вокруг духовно криминализирующегося «патриотического «издания»*. А сам главный редактор и его заместитель — *«Бондаренко и Проханов для русской культуры — то же, что Киселев и Миткова для российской государственности»*.

Ну что же, Александр Андреевич, поощрив Татьяну Михайловну, на другое и не мог рассчитывать. Она все-таки добилась своего и отравила мою дружбу если не с Вадимом Кожиновым, то с Александром Прохановым. Занавес закрылся. И мы с Татьяной Михайловной публично больше не вспоминали друг о друге.

* * *

Отпевали мы ее в январе 2001 года, в храме Большого Вознесенья... Народу было не очень много, но пришли все, кто так или иначе был связан в жизни с этой незаурядной женщиной, русской Кассандрой, неукротимой воительницей из той породы женщин, откуда вышла Марфа-посадница, Орлеанская Дева, Леди Макбет, Марина Цветаева...

Можно только пожалеть наши мятущиеся души, отразившие русскую трагедию, отравленные воздухом ненависти, розни и раскола.

Пожалеть и вспомнить: «Не судите — да не судимы будете»...

В такие времена Пушкин пишет письмо Чаадаеву, Белинский — Гоголю, Клюев отшатывается от Есенина, Гиппиус не подает руки Блоку...

Я часто вспоминаю ее слова, которые она время от времени повторяла:

—Волк, придумайте, кого бы нам еще победить!..

Ее печальные победы... Мои печальные победы... Победителей не судят... Горе побежденным. Да и победителям — тоже.

2004—2005 гг.

III

ЗАВЕЩАНИЕ РУССКОГО ГЕНИЯ[1]

Мне казалось, что я хорошо его знал. Чуть ли не пятнадцать лет встречался с ним в его квартире на Грузинской, в подмосковных поселках, где он с женой жил на чужих дачах до зимних холодов. Я по его просьбам привозил к нему своих друзей, мы беседовали, обедали, гуляли, чаевничали, а в другие времена писали друг другу письма или подолгу вели телефонные разговоры. Иногда я даже досадовал, что он звонит мне слишком часто, настойчиво приглашая к себе — а у меня дела, нет времени, я чего-то придумываю, отказываюсь, обещаю приехать через несколько дней... Боже мой! Не понимал я от непростительного моего легкомыслия, как ему бывало одиноко и как ему был нужен собеседник! Помню, как во время какого-то посещения концерта его музыки в консерватории я заглянул в антракте в артистическую — Свиридов, окруженный несколькими незнакомыми мне людьми и чем-то расстроенный, вдруг увидел меня и с детской непосредственностью, протянув руку, закричал: «Ну вы-то мне друг, надеюсь! Друг?! Вы же меня понимаете!» Вроде бы и понимал, но, как выяснилось в последние годы, все-таки «большое видится на расстоянье». Читаю-перечитываю книгу его дневниковых и календарных записей «Музыка как судьба» и осознаю, что при его жизни освоил лишь малую, вершинную, внешнюю часть ве-

[1] О книге Георгия Свиридова «Музыка как судьба». М. «Молодая гвардия». 2002 г.

ликого русского материка, который называется «Георгий Васильевич Свиридов».

Книгу эту не советую читать робким душам. Она сомнет их, как стихия, разрушит живущие в них удобные представления о России, о ее знаменитых людях. Она, эта книга, внесет в их умы грозный хаос трагедии, сорвет с резьбы многие легковесные убеждения и мнения, особенно те, которые русский человек вырастил в себе не своей упорной волей к истине, а взял напрокат из лживых книг, расхожих телепроектов, умелых и фальшивых откровений, коими так богато нынешнее время, с его продажными кумирами, услужливыми посредниками и тщеславными лжепророками. С каким страстным презрением и брезгливой ненавистью пишет он об этих ловцах душ человеческих, о великих, а чаще всего малых инквизиторах последних времен!

Чтение книги Георгия Свиридова требует не просто сосредоточенности или умственной работы, но настоящего мужества, независимости взглядов на жизнь и подлинности чувств. Всегда ли он бывает прав? Не знаю! Но если даже ты порой и не согласен с ним в оценках Сталина и Булгакова, Маяковского и Цветаевой, Эйнштейна и Эйзенштейна, то все равно так или иначе Свиридов убеждает тебя в своей правоте, если не как историк, то как человек светлых страстей, открытой души и предельной искренности.

О своих знаменитых современниках он говорит как человек, всей аскетической жизнью своей выстрадавший право на подведение итогов XX века. Он судит о них с высот Пушкина и Есенина, Мусоргского и Рахманинова, а коли так — то не только для Шостаковича с Прокофьевым, но и для Шнитке с Щедриным находится в его иерархии ценностей правильное место. Его убеждения зиждутся, как у Аввакума или Достоевского, на русской правде и евангельских истинах — и потому неподвластны законам исторической коррозии.

Российскому обывателю, человеку толпы, читать эту книгу — все равно что по минному полю идти. О таких слабых, живущих стадным инстинктом самосохранения, его любимый Есенин когда-то писал:

Но есть иные люди... Те
Еще несчастней и забытей.
Они как отрубь в решете
Средь непонятных им событий.

Я знаю их и подсмотрел:
Глаза печальнее коровьих.
Средь человечьих мирных дел,
Как пруд, заплесневела кровь их.

Но эта книга не для них, а для героических и отважных, для людей с живой кровью.

Много ли их в сегодняшней России? Но да будет она настольной книгой для самых несмиренных и непокорных.

Мучительно соображаю: почему он, обдумывая свои откровения на протяжении десятилетий, не публиковал их, не совершал никаких усилий, чтобы они зажили публичной жизнью, чтобы хоть как-то повлияли на ход истории?

Может быть, «страха ради иудейска?» Нет, не таков был Георгий Васильевич, не робкого десятка! Или все-таки сомневался в окончательной правде своих прозрений и пророчеств? А может быть, от отчаяния, чувствуя себя русским человеком такой судьбы, о которых один из проектировщиков нового мирового порядка писал:

«И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способы оболгать и объявить отбросами общества».

Боялся, что уже не поймут... Возможно, возможно. Но нельзя исключить и того, что его душа, страдающая о судьбах Родины, пыталась собрать, освоить весь хаос истории, перемешанной с жизнью, и отлить свои заветные догадки в совершенную форму — не расплескать, не растратить золотой неприкосновенный запас раньше времени в спорах, в неизбежно пошлой полемике, в рукопашной схватке — как растрачивали его многие.

Но, скорее всего, он, видимо, предчувствовал, что его Родину ждут более страшные времена, нежели те, в которые он тянулся к своим тетрадям. А потому он завещал нам, чтобы страницы будущей книги — его войско — вышли во всеоружии на поле брани в самый роковой час русской судьбы, как засадный полк воеводы Боброка на Куликовом поле, который вырвался из рощи навстречу уже торжествующим победу врагам.

Георгий Свиридов — наш воевода Боброк XX века, осенив себя крестным знамением, сегодня как бы говорит каждому из нас: «Теперь твой час настал — молись!» — и выводит навстречу врагам Христа и России народное ополчение своих прозрений и пророчеств.

«Музыка как судьба» — его завещание нам. Это — книга русской борьбы на все времена.

«ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ...»

(Читая рукопись новых стихотворений Марины Струковой)

Героический звук в письменной русской поэзии впервые прозвенел в «Слове о полку...». И сказал князь Игорь дружине: «Братья! Лучше быть убитому, нежели полоненному»... Тысячелетняя история христианства на нашей земле мягко, но настойчиво приглушала этот суро-

вый звук, небезуспешно пытаясь сделать народной душе всечеловеческую евангельскую прививку.

Евангельские истины в русской истории воплощались в столь несовместимых, непохожих друг на друга натурах, что западный человек никогда не мог понять, почему кроткие агнцы Борис с Глебом и суровые воины-иноки Пересвет с Ослябей — и те и другие едино почитаются на Руси как христиане; почему русский читатель, ничуть не сомневаясь, равно считает православными людьми и Дмитрия Карамазова с Мышкиным, и Тараса Бульбу с его сыном Остапом.

История Руси была такова, что в роковые минуты, когда решался вопрос — жить или умереть, внезапные героические протуберанцы прорывали медленно затвердевавшую христианскую «земную кору» и вспыхивали в темном русском небе. В такие звездные часы истории этот звук подхватывал Александр Пушкин:

Так высылайте ж к нам, витии,
своих озлобленных сынов.
Им место есть в снегах России
среди нечуждых им гробов.

От Пушкина героическое эхо летело к Лермонтову, проливавшему чужую кровь в чеченском урочище Валерик и воспевшему поединок смертников наполеоновской армады со смертниками Михаила Кутузова:

И молвил он, сверкнув очами:
— Ребята! Не Москва ль за нами!
Умремте ж под Москвой!..

А через семьдесят лет изнеженная душа Александра. Блока причастилась из той же кровавой чаши:

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.

Доспех тяжел, как перед боем,
Теперь твой час настал — молись!

Звук войны всегда волновал и смущал русское сердце, требуя от него последнего сверхъестественного усилия, чтобы преступить барьер христианского милосердия к врагам и вызвать из глубин доисторического бытия на помощь ошеломленному ходом истории соотечественнику весь исторический, племенной, кровный опыт, загнанный цивилизацией в подполье, в подсознание, в подкорку... Надо правду сказать: редко, но рождалась в России порода людей, которые запредельным усилием души увязывали православное смирение с героической волей самопожертвования. Великий русский философ XX века Алексей Федорович Лосев так соединял эти два начала: «Я многие годы провел в заточении, гонении, удушении; и я, быть может, умру никем не признанный и никому не нужный. Это — жертва... В самом понятии и названии «жертва» слышится нечто возвышенное и волнующее, нечто облагораживающее и героическое... Жертва в честь и славу Матери-Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, что единственное только и осмысливает жизнь...»

Мысли эти рождались у него в 1941 году, когда легендарные русские смертники — Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло, Виктор Талалихин, Александр Матросов — собственной жизнью и кровью утверждали истину слов Алексея Лосева, а заодно и правду народной поговорки: «На миру и смерть красна».

...Русская душа, испив хотя бы чуть-чуть красного вина победы, уже парит в воздухе, ощутив, словно крыло птицы, его духоподъемную силу. Помню, как летом 1999 года, после какой-то небольшой военной удачи в Чечне, наш солдат — худой, жилистый, загорелый, сидя на бронемашине, во весь рот улыбался почерневшими губами в телевизионную камеру:

— Чеченцы хорошо воюют, но мы можем воевать лучше!

И меня охватила от этих слов лихорадочная радость: найдем силы, победим, прорвемся!

...И однако на этом кровавом и святом пути вечные противоречия и соблазны подстерегают русскую душу. В лабиринтах подобных соблазнов бродит и твоя душа, Марина. Она находит в себе силы отречься от многих наших святынь:

Если завтра война, мы поплачем о милом,
перекрестим дымящийся дол,
проведем бэтээры по отчим могилам,
чтоб могилы никто не нашел.

Подожжем златоглавый, истерзанный город,
чтобы городом враг не владел,
а зазубренный серп и заржавленный молот
зашвырнем за небесный предел...

Но если уж ты настолько смела и алчна до истины, «так еще будь бесстрашней!». Зачем тогда тебе вспоминать о «славянском братстве», о «славянских падениях», о «славянском реванше»? Какой реванш? Какое братство? Поляки — славяне, хорваты — славяне, да и болгары, в ходу у которых сейчас бытует поговорка о том, что им «дважды не повезло с освободителями», — тоже славяне. А уж об украинцах-«западенцах» (истинных славянах!) и говорить нечего. Расставайся, Марина, со всеми иллюзиями. Они были естественны для Пушкина и Тютчева, но с той поры прошло более полутора веков. Хотя их младшие современники Федор Достоевский и Константин Леонтьев уже понимали, что, сгибаясь перед мощью и посулами Запада, наши восточноевропейские братья рано или поздно предадут Россию.

Ты, Марина, хочешь выкинуть на свалку истории «зазубренный серп и заржавленный молот», но в то же время искренне клянешься:

Пляшет облако горя
по ночным городам.
Я из партии париев,
и ее не предам.
Искры на пепелищах
загораются вновь.
Я за злых и за нищих,
за бунтарскую кровь.

Никуда тебе, русская валькирия, не деться от «черной и святой злобы», о которой писал Александр Блок в «Двенадцати», от мира «голодных и рабов», «заклейменных проклятьем». Жизнь мощным течением волочит тебя в их великую резервацию. Ты сопротивляешься из последних сил и бросаешь в лицо униженным и оскорбленным из этого гетто страшные, пусть, может быть, и справедливые слова:

Анафема тебе, толпа рабов,
бараньих глаз и толоконных лбов,
трусливых душ и ослабевших тел.
Анафема тому, кто не был смел...
Ты не народ, ты — полуфабрикат.
Тебя сожрут и сплюнут на закат.
Крестом поковыряют меж зубов —
Анафема тебе, толпа рабов.

Я сам иногда едва-едва удерживаюсь на этом краю, но заклинаю тебя: не будь столь самонадеянна. Едва ли сегодня дано кому предугадать, что зреет в темном чреве мира русских изгоев. Никто из прежних провидцев ни при какой оккупации — татаро-монгольской, польской, еврей-

ско-чекистской, немецко-фашистской, ни автор «Слова о полку...», ни безымянные русские летописцы, ни Пушкин с Тютчевым, ни Сергей Есенин не доходили до таких проклятий, которые ты бросаешь своему народу.

Зачем призывать их сражаться?
Рабов проще гнать, чем вести.
Они рождены, чтобы сдаться...
Но мы рождены их спасти.

Но с кем ты хочешь их спасать? Со спецподразделением «Альфа», которая по приказу уничтожит кого угодно — хоть врагов народа, хоть его друзей? Со своими поклонниками из РНЕ, которые после осени 1993 года сидят — не ворохнутся, тише воды, ниже травы? С узником Лефортовской тюрьмы литератором Эдуардом Лимоновым?

Душа твоя мечется в противоречиях:
Морозны горные луга,
Кровь на снегу сквозит огнями...
Как тяжело добить врага,
что скорчился между камнями.

Ты видишь смуглое лицо,
оскал страдания и злости.
Он ранен, он попал в кольцо,
болят раздробленные кости.

Он смотрит русскому в глаза,
в отчаянную ярость взгляда,
где совесть шепчет: «Так нельзя!»
А долг командует: «Так надо».

И русский медлит...

Ты назвала стихотворенье «Добить врага», но и тебе бы помедлить с окончательным словом перед тем, как конвульсивно выкрикнуть:

Патриотизм стал символом фашизма.
Его ль за оскорбление считать?
Коль враг России этого страшится,
фашистами мы все сумеем стать.

Не торопись. Слово-то нерусское, рожденное на ненавистном тебе Западе. А у нас, детей войны, фашисты вызывали ярость не меньшую, чем та, которую вызывают в твоей душе чеченские мясники, перерезающие глотки пленным русским солдатам. Но давай задумаемся вот о чем. Неужели ты не видишь, что опытные загонщики нового мирового порядка загоняют тебя, как редкого зверя, в ловушку? Они-то знают, что героическая воля сыновей самых различных, порой враждующих друг с другом племен и народов испепеляет своей температурой все их «демократические ценности», все устои их гражданского общества, все краеугольные камни рыночной экономики, все легковоспламеняющиеся хартии и талмуды о правах человека. Они не в силах справиться с этой волей одним разом, несмотря на всю свою информационную мощь, несмотря на все свое сверхточное оружие, которым руководят компьютеры и биороботы. Их спасение лишь в одном: чтобы, поочередно попадая во всемирно-историческую западню, наши смертники, наши шахиды взаимоистребляли друг друга где угодно — на Прохоровском поле, в предгорьях Чечни, в ирано-иракских пустынях.

Подумай о том, что за последние несколько десятилетий в мире непрестанно льется кровь исключительно бедных народов. Миллионы людей погибли на гражданской войне в Камбодже и в Сомали. Одно африканское племя хутту вырезало несколько сот тысяч своих собратьев из племени тутси; а сколько полегло арабов и персов во время многолетней бойни Ирака с Ираном — один

Аллах знает... И ни единым пальцем во время этих кровопусканий не пошевелила высшая бюрократическая знать Европы и Америки. Никаких резолюций не приняли, никаких ультиматумов не выставили, никаких «голубых касок» не послали на кровавые рубежи, где освобождалось жизненное пространство для «золотого миллиарда».

Сколько бы ни враждовали бедные народы Индии и Пакистана — идеологи нового мирового порядка никогда ничего не сделают, чтобы остановить их вражду. Да и несчастные талибы до сих пор резали бы глотки строптивым иноплеменным афганцам, если бы не 11 сентября с бен Ладеном...

Когда мы недавно с мрачным чувством торжествующего возмездия смотрели на тонкие змеиные тела чеченских девушек-камикадзе, опоясанных смертными поясами, бессильно свесивших простреленные головы на спинки красных кресел пошлого мюзик-холла на Дубровке(«Пришли умирать — так умрите!»), я с ужасом подумал: быть русским шахидом — это значит убивать шахидов другого племени. Но, Марина, хотя у тебя и у этих гурий разная кровь, думаю, что вы одной человеческой породы. Недаром ты пишешь:

Надежды мирные убиты,
победа к трусам не придет.
Так где вы, русские шахиды,
борцы за веру и народ?

Ты хочешь быть с париями? Но весь мир, кроме золотого миллиарда — это мир париев.

Ты призываешь: «Добить врага». А если не добивать друг друга на радость черному интернационалу маркитантов? Помнишь стихи Юрия Кузнецова?

А живые воздали телам,
что погибли геройски,
поделили добро пополам
и расстались по-свойски...

А если самый великий подвиг, который мы можем свершить в будущем, — это отвести друг от друга автоматы, стать плечом к плечу и повернуться ликами, грудью, стволами к устроителям нового мирового порядка, при котором никаким героям, никаким жертвенным душам, никаким легендарным смертникам — ни с красной звездой, ни со свастикой, ни с серпом и молотом, ни с зеленой повязкой на лбу — не будет места.

Загонщики торопятся, ловушка почти готова. А ты, Марина, не торопись. Оглянись во гневе...

2002 г.

ПИСЬМО ДРУГУ-ПОЭТУ В ЗАМОРСКИЕ КРАЯ

Дружище! Ну что мне делать с тобой? Издаю журнал, где стараюсь донести до читателей, в том числе и до таких, как ты, объективную историческую правду о времени, в котором мы жили. Ты этот журнал выписываешь, прочитал книгу моих воспоминаний и даже восхитился ею, а что толку, если открываю я сборник твоих стихотворений — и смотрю, что в нем написано о событиях осени 1941 года, о битве под Москвой:

Усатый и вся его свита
Рванули за Волгу давно...

или там же:

И Кремль опустел сиротиной.
Там холодно и темно.
«Великий» со всею дружиной
За Волгу рванули давно.

И такое повторяется — много раз.

Это — небылицы! В самое тяжелое время, с 16 по 25 октября 1941-го, когда действительно в Москве была паника, опасаясь попасть под власть немцев, множество обывателей — жителей Москвы, кто на чем мог, убегали на восток из столицы. Но ни Сталин, ни его ближайшее военное и политическое окружение никуда не двинулись ни из Кремля, ни из своих квартир, ни из своих кабинетов. Сталин был человеком отважным. В царской ссылке в Туруханском крае много лет прожил в трудных условиях среди простого народа. Он не был (в отличие от Ленина и Троцкого, вышедших из состоятельных семей) ни еврейским, ни дворянским сынком, он создал сам себя, поднявшись к вершинам власти из беднейшего слоя общества. Для этого надо было обладать особой силой характера. Потому в 1941 году, когда Жуков заверил Сталина, что Москва, если подойдут сибирские части, устоит, Сталин принял решение отстоять Москву во что бы то ни стало.

В Кремле не было в те дни, как ты пишешь, «холодно и темно». Он был полон народу — генералов, политиков, снабженцев, связистов, чекистов, курсантов. День и ночь там кипела работа по организации обороны Москвы, по эвакуации в тыл военных заводов, технического оборудования, документации, кадров — словом, всего, что нужно было для будущей долгой войны и для победы. Если было бы так, как пишешь ты, — немцы взяли бы Москву, как Варшаву в 39-м или Париж в 40-м году, играючи. Тот же Жуков, которым ты восхищаешься, не вылезал из сталинского кабинета, где они в окружении соратников ломали головы, как защитить столицу, подтянуть резервы и организовать контрнаступление. При Наполеоне Москву сдали, а при Сталине — отстояли. Подумай своей седой головушкой — почему. Вроде во времена Александра Благословенного предателей и трусов из элиты не было, а столицу все равно профукали.

Ты даже не понимаешь, насколько фальшиво твое перо, когда оно пишет о «бегстве» партийной элиты за Волгу:

Нет больше парадов гремучих
И нет на трибунах вождей...

Вот тут ты буквально вляпался в лужу неправды. Неужели ты не знаешь, что именно 7 ноября 1941 года состоялся легендарный парад: войска шли через Красную площадь прямо на фронт, и провожал их Сталин с трибуны Мавзолея. Картина была совершенно противоположная той, которую изображаешь ты. Сталин напутствовал их словами о великих полководцах России: «*Пусть вдохновляет вас в этой борьбе мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Михаила Кутузова*». И лгут те, кто говорит, что Сталин вспомнил эти великие имена поневоле, от страха лишь в дни, когда враг стоял у стен Москвы. Да уже в довоенное время — в 38—39-м году по его воле были созданы патриотические фильмы об Александре Невском, о Кузьме Минине, об Александре Суворове, которые воспитали поколение победителей. Так что твоя сцена, в которой «сбежавший за Волгу» Сталин стучит на своих опричников кулаком и кричит: «*Я знаю: солдатская свора не хочет за нас умирать! Так мы ей дадим Суворова, — погоны наденем опять...*» — предельно фальшива. После этого легендарного парада начался перелом в битве за Москву. Именно благодаря мужеству Сталина, не «убежавшего за Волгу», — в солдатах наших проснулась уверенность в победе под Москвой. Весь мир знает об этом легендарном, героическом параде, а ты, поэт, русский человек, в прошлом советский солдат, не знаешь?! И еще берешься писать историческую поэму о том, чего не знаешь? Так нельзя.

О событиях этого времени ты размышляешь так, будто бы, схватившись за православие как за соломинку, бро-

сая русским кость в минуту смертельной опасности 1941 года, Сталин думает:

На время откроем храмы
Для всех стариков и старух.

Опять — неправда. Сталин, убедившись в первые два года войны, что церковь стала его помощницей в борьбе с европейской нечистью, что она молится за победу, жертвует денежные средства на танки и самолеты, принял решение о встрече с иерархами церкви, о восстановлении патриаршества, которого, кстати, не было в императорской России два с лишним века, о том, чтобы освободить многих священников и открыть дополнительно многие храмы, закрытые в 20—30-е годы, но это произошло не осенью 1941 года, как считаешь ты («и церкви многие открыли, конечно, их заставил страх»), а осенью 1943 года, после победы под Москвой, после Сталинградской победы и после главной победы в войне — на Курско-Орловской дуге в июле 1943 года.

В сущности, после этой величайшей танковой битвы судьба войны была решена, и с осени 43-го года мы уже ни разу не отступали, а шли только на запад. Что из этого следует? А вот что. Не в минуту смертельной опасности, не от страха за свою власть и не от конъюнктурного желания угодить русскому народу Сталин восстановил церковь в ее правах. В те дни, когда стало ясно: мы побеждаем, — он наградил русскую церковь за ее патриотизм, за то, что она из его врага в 20—30-е годы во время Отечественной войны стала его союзником. Значит, он думал не о собственной шкуре, в чем уверен ты, а о судьбе России уже после войны, после победы. Значит, он твердо решил восстановить церковное тело, разрушенное во многом в первые два десятилетия после революции. Ты считаешь, что он мыслил, как мелкий политикан:

На время откроем храмы.
На время пусть будет Россия...

Неправда, Он, будучи настоящим стратегом, так не думал, потому что после победы, когда опасность миновала, при Сталине не закрылось больше ни одного храма, наоборот — еще многие были открыты. А историческая здравица во славу русского народа, произнесенная им после победы, когда никакого страха уже не было, — это ли не доказательство того, что твои слова, приписанные Сталину: «На время пусть будет Россия», — неумны и неправдивы.

Ты пишешь об обстановке в Москве той поры: «бежит вся партийная свора, машины накрыв кумачом»... Ну, кто-то действительно бежал (но думаю, никто не накрывал кумачом машины). Во время войн бывает неизбежная паника. Вспомни, как бежали на юг французы, когда немцы в 40-м году вступали в Париж. Вспомни, как бежали русские дворяне в 1812 году из Москвы. Толстой это бегство — пешком, на лошадях, в каретах — живописно изобразил в «Войне и мире». Действительно, кому хочется жить под пятой оккупантов? Но в отличие от тебя Толстой был правдивым историком и не повторял обывательских расхожих слухов, потому и удержался от того, чтобы написать: «бежит вся дворянская свора»... Историю знал, в отличие от тебя.

А знаешь ли ты, сколько коммунистов легло на полях войны? Миллионы. Так что «партийная свора» умела не только убегать в панике и не только сдаваться в плен, как Власов, но в большинстве своем умела сражаться и умирать за Родину, не хуже лермонтовских героев:

И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Кстати, о Власове. Ты пишешь, что осенью 1941 года Сталин так размышляет о Власове:

Да, Власов! Его упустили!
Ведь он поднимает народ!

Опять ты как историк попал впросак. Весь 41-й год и до лета 42-го Власов воевал неплохо, за что постоянно получал награды и повышения по службе. 10 ноября 1941 года он был назначен командующим 20-й армией под Москвой, 6 января 1942 года ему присвоено звание генерал-лейтенанта, 22 февраля 1942 года он награжден орденом Ленина. Никто его «не упускал», как ты пишешь. Сдался он в плен летом 1942 года сам, по своей воле, спасая свою жизнь. Второй раз в мае 1945 года он сдался американцам, а вскоре очутился в руках у советского СМЕРШа. Полководец, трижды во время одной войны попавший в плен — большего позора для военного человека придумать трудно. А вы, бывшие солдаты, среди которых многие были во власовской армии, до сих пор молитесь на него и считаете Власова великим русским патриотом. Я не знаю, служил ли ты сам в Русской освободительной армии Власова, но если служил и принимал присягу, то должен помнить ее слова: **«Я торжественно клянусь честно сражаться под командой генерала Власова на благо моего народа против большевизма. Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами под высшей командой Адольфа Гитлера. Я клянусь, что останусь верным этому союзу».**

И эти слова, сочиненные идеологами нацизма, клятвенно произносили русские патриоты?! Горько все это и фальшиво, как многие места твоей поэмы.

А не помнишь ли ты военную присягу 1939 года, которую ты, видимо, принимал? Во власовской приходилось клясться на верность Гитлеру и Власову, а в советской — Сталин не упоминается, нет даже ни слова о партии, а вот о народе и Родине есть: «Я клянусь... до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине... Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».

Что и говорить — суровая, даже жестокая присяга, но ведь и война приближалась нешуточная — не на жизнь, а на смерть.

И вообще, воинская присяга, на мой взгляд, во все времена (особенно в России) значила не меньше, а больше, нежели конституция. По крайней мере, ее знала мужская половина народа. А кто знал или знает конституцию? Конституция, гражданский кодекс, уголовный — все меняется. Сегодня у нас общенародная собственность священна и неприкосновенна, завтра — частная. Сегодня за педерастию судят — завтра она узаконена как одно из прав человека.

Все меняется в истории народов: нравы, власть, общественный строй, законы. Все — кроме одного: места под солнцем. А за него надо воевать, его надо защищать и отстаивать. Для чего всегда нужна армия. А для армии всегда нужна присяга. Без конституции мы жили аж до XX века. А без армии и присяги — не могли. Она была основным законом нашей истории. Нарушение присяги не только в сталинские, но и в романовские времена считалось не только государственным преступлением, но и грехом, бесчестием. Ты помнишь, друг мой, как старый воин — дворянин, отец Петра Гринева в «Капитанской дочке», получив ложную весть о том, что его сын перебежал к Пугачеву, в отчаянье кричит своей жене: «*Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил. Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна; пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..*»

Так что изменившие во время войны присяге Андрей Власов и Швабрин — так же как Андрей Курбский, гетман Мазепа, Андрей Бульба — принесли «стыд и срам» и своему роду, и своему народу.

А помнишь последнюю фразу из власовского «Смоленского воззвания»: «*Да здравствует русский народ, равноправный член семьи народов новой Европы*». Если ты сам не догадываешься, то объясню тебе, что под «семьей» подразумевалась «Новая Европа», объединенная властью фюрера, то есть «тысячелетний рейх». Вот какому новому мировому порядку давал клятву верности Власов с его триколором. Фашистской Европе он присягал.

Правда, проницательный фюрер знал цену своему русскому слуге, и когда он размышлял о сдавшемся в плен Сталину Паулюсе, то, предполагаю, невольно имел в виду и сдавшегося в плен ему, Гитлеру, Власова: «*Что такое жизнь... Отдельная личность должна умереть, что остается от отдельного человека? Это народ... Мне потому так досадно, что из-за одного-единственного слабовольного, бесхарактерного человека перечеркнуто мужество многих солдат...*»

Гитлер не доверял Власову не только потому, что Власов был русским, а еще и потому, что он по натуре был предателем, всегда спасавшим свою шкуру. И фюрер оказался прав, потому что Власов, клявшийся бороться «под высшей командой Адольфа Гитлера», вскоре предал и его, сдавшись в плен американцам... Неправду ты, друг мой, написал о Власове, неправду пишешь и о Георгии Жукове: будто бы осенью 1941 года Сталин уже завидует Жукову и начинает побаиваться его славы:

«*Но слишком он стал популярным, «народным богатырем», ну что ж! мы в круг заполярный на отдых его пошлем...*». Жуков стал по-настоящему популярным лишь в конце войны. Нехорошо так искажать историю. Всеми мыслимыми наградами Сталин наградил Жукова в течение войны, доверил ему штурм Берлина, доверил подписать Акт о капитуляции Германии, доверил принимать знаменитый Парад Победы в Москве, а ты все долдонишь эмигрантскую злостную байку о том, что вождь уже в 1941 году начал опасаться популярности Жукова!

А сколько всяческой другой «чернухи» о нашей истории рассыпано в твоей поэме:

Создали нэп, и из-за моря
Пригнали транспорты зерна.

Создали нэп и заменили продразверстку продналогом именно для того, чтобы обеспечить себя хлебом, чтобы крестьянин после «военного коммунизма» вздохнул и получил стимул сеять больше хлеба и больше продавать зерна, что и произошло. И во время нэпа никакой необходимости «гнать транспорты зерна из-за моря» у нас не было.

Вожди для будущей победы
Кормили хлебушком Китай...

Возможно ли было это? В 20—30-е годы Китай был разорван на части гражданской войной и японской оккупацией, его как государства просто не существовало, и никаких торговых отношений со страной, находящейся в таком положении, и быть не могло. А вот еще одна клюква:

Тогда до самого Ла-Манша
Хотелось Сталину дойти.

Опять неправда. Он был прагматичный и трезвый политик, который сам остужал горячие головы в своем окружении, требовавшие захватить Босфор, Константинополь, взять под сферу своего влияния Грецию и т. д. Есть исторические документы, подтверждающие разумную осторожность Сталина в этих вопросах... Для чего он яростно и настойчиво требовал от союзников открытия Второго фронта? Для того, что ли, чтобы схлестнуться с ними в борьбе за обладание Западной Европой и за выход к Ла-Маншу?

В завершение хочу сказать вот что. Ты имеешь полное право не любить и ненавидеть Сталина, поскольку в его время твои родители были арестованы и расстреляны, а сам ты молодым человеком в начале войны попал в плен. Неудачи первого этапа войны — также можно списать на Сталина, хотя, на мой взгляд, наш противник, мобилизовавший на борьбу с СССР все экономические и человеческие ресурсы Европы, был просто сильнее нас. (Так же, как Наполеон был сильнее России Александра I. Но не позорить же царя Александра за то, что допустил супостата до Москвы и сдал ему священный русский город!)

Но, имея право на ненависть, ты не имеешь права на злобную ложь, или, мягко говоря, на неправду. Нельзя питать свое творчество из жалких и лживых пропагандистских эмигрантских источников, в них много чувств, но мало правды. А всякой неправдой в своих стихах ты не только вносишь сумятицу в головы своих слушателей и читателей (ты же не простой человек, а поэт! историк!), но и вредишь своей родине — России, в любви к которой так истово клянешься в тех же своих стихах и поэмах... Искажая прошлое, мы обречены вечно блуждать на путях к будущему.

Мы жили в такую эпоху, когда тенденциозная пропаганда лилась с обеих сторон мутными потоками, и с вашей стороны поток был не слабее. Но мы, русские патриоты, должны соблюдать честь и достоинство, нам верят люди, и преступно навязывать им прямую ложь или даже невольные заблуждения.

Вообще, эмиграции нашей давно пора понять, что антиисторические, грязно сработанные фальшивки о советской эпохе вроде сочинений некоего Ушкуйника, или профессора Конквеста с его «Большим террором», или нашего запуганного до смерти историка Мельгунова с «Красным террором» полны слухов, сплетен, легенд, газетных уток, наветов, «фактов», почерпнутых из разговоров, и никак нельзя изучить XX век по ним. Это не ис-

тория, а почти бульварная литература[1]. В них попадаются такие «перлы», что хоть стой хоть падай.

В модной среди второй волны эмиграции примитивно-антисемитской книге Ушкуйника «Каган и его Бек» я, к примеру, обнаружил вот такого рода анекдотические сведения, которыми до сих пор питаются умы наших патриотов-невозвращенцев:

«*Этнический состав советского правительства перед Второй мировой войной: из 500 83% были иудеи, 5% русских, 4% латыши*».

Следует ссылка на книгу А. Дикого «Евреи в России и в СССР». Но Дикой, во-первых, не был настоящим историком, а во-вторых, цифры эти он относит к первым годам советской власти. К концу 30-х годов они были совсем другие уже не в пользу евреев, благодаря 1937 году. А вот примеры еще более развесистой клюквы:

«*Каганович был почти невидим, но он был верховный каган, и верховная власть была в его руках, а Бек Сталин был только его администратором и помощником*»; «*весь сложный аппарат секретной полиции находился в руках двоюродного брата Кагановича грузинского полуиудея Лаврентия Берии*»; «*Роза Каганович, последняя жена Сталина, была сестрой Кагана Кагановича*»; «*Когда Сталин грозил выселить всех иудеев в Биробиджан, окружавшие его агенты Берии подхватили своего «владыку», положили в постель и придушили подушкой*»; «*Жуков застрелил Берия во время заседания в Кремле*»...

Ну, ты понимаешь, что только дремучие антисемиты или полные идиоты могут всерьез относиться к такого рода историческим изысканиям, как и к тому, что генерала Власова повесили за ребро на крюк, как вешают

---

[1] Историю сталинской эпохи следует изучать по историческим работам В.В. Кожинова, С.Н. Семанова, С.Г. Кара-Мурзы, Н.Н. Яковлева, Г.В. Костырченко и других историков объективного склада мышления.

свиные туши, и так далее и тому подобное... Многие из вас отравлены навсегда подобной грязной и пошлой дезинформацией.

На Сталине и так висит немало реальных злодеяний, чтобы еще приписывать ему мнимые.

А не настораживает ли тебя, мой друг, еще одно обстоятельство? В поэме, изображая московскую панику осени 1941 года, ты пишешь:

Машина нагружена хламом —
Все тащит партийная знать.
Проблема у Сони с Абрамом,
Куда им рояль девать.

Читая эти строки я понимаю твое отношение русского патриота к еврейскому засилью, объективно существовавшему в советской истории, особенно в первые ее два десятилетия, и вообще к «еврейскому вопросу».

Но подумай в связи с этим вот о чем. Ты ненавидишь Сталина и сталинизм, но еще яростнее, нежели ты, эпоху Сталина ненавидит мировая еврейская элита с ее историками, журналистами, пропагандистами. Эта мировая элита тебе мерзка, страшна и отвратительна. Но они все сделали, чтобы в оценке Сталина ты был на ее стороне, поймали тебя в примитивную историческую ловушку. Достойна ли такая позиция русского патриота, историка, поэта? Есть еще время подумать об этом противоречии.

Любовь к Родине и ложь (или неправда) о ее истории не могут жить в согласии. Нелепо в твоем возрасте жить теми же злободневными страстями, которыми ты жил в 1945 году, в фашистских и дипийских лагерях разоренной Европы. Пора в 2003 году прозреть, познакомиться с серьезными историческими исследованиями о прошедшей войне, а не питать свое сердце темными страстями и закоснелой обидой. Вспомни хотя бы о том, что дети стрельцов, казненных твоим любимым Петром на

Красной площади, стали верными слугами и помощниками первого русского императора.

Нам ведь, друг мой, скоро встречаться с Высшим Судией. Что мы скажем ему в оправдание своей неразумной и темной любви к России, последнему уделу Божьей Матери?

Твой *Станислав Куняев.*

2000 г.

P.S. Талантливый русский поэт Игорь Смолянинов, солдат Советской армии, попавший в плен в 1941 году, эмигрировавший после окончания войны в Австралию, умер 16 января 2007 г. в городе Мельбурне. Мир праху его.

В КАДРЕ АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ

С Андреем Тарковским я встретился один раз в жизни — в середине шестидесятых годов.

Он пришел со своей киношной компанией в Дом литераторов после триумфального успеха «Андрея Рублева» и каким-то образом мы с Игорем Шкляревским оказались за одним столом с киношниками. Они травили всякие смешные анекдоты из своей жизни. Мы читали стихи. Шампанское лилось рекой.

Ресторан стал закрываться как всегда в то время, когда веселье достигло вершины, и кто-то из съемочной группы Тарковского предложил всем поехать домой, в новую еще не обжитую квартиру на одной из окраин Москвы, чтобы продолжить и свое торжество, и знакомство с поэтами.

А я уже завязал с Тарковским серьезный разговор не только о «Рублеве», но и вообще о кино, разговор, который надо было, по моему разумению, обязательно договорить.

Мы с Игорем втиснулись в одно из двух такси, пойманных на площади Восстания, и помчались по ночной Москве вместе с новыми друзьями в какие-то Черемушки.

В стенах новенькой «хрущобы» спор о кино вспыхнул с удвоенной силой. Я стал поначалу добродушно высмеивать отдельные кадры из фильма, которые показались мне ходульными, исторически нелепыми, неестественными для четырнадцатого русского века.

— Ну, как же у Вас, Андрей Арсеньевич, разговаривают монахи: «Ты мою собаку накормил?» — «А ты меня просил?» — Это же разговор сегодняшних деревенских спившихся мужиков. Да и вообще русский народ в Вашем «Рублеве» грубый, жестокий, невежественный. Если он и был таким — то лишь с сегодняшней точки зрения, и Ваша неприязнь к нему имеет сегодняшнее происхождение. А в те времена подобные нравы были естественными, жизнь другой и быть-то не могла.

В спор ввязался администратор картины — лицо то ли кавказской, то ли семитской национальности — грузное, черноголовое, курчавое. Щупленький Шкляревский, не переносивший крупных людей, сказал ему по поводу его телосложения что-то очень обидное. Тогда вся съемочная группа взбеленилась и на глазах у Тарковского, с молчаливым холодным любопытством взиравшего на ссору, чуть было не перешедшую в потасовку, вытолкала нас взашей на лестничную площадку, пахнущую свежей краской, и дверь за нами с грохотом захлопнулась.

Хмельные и злые, мы очутились на рассветном зябком ветру без копейки денег — черт-те знает где! — вышли на заваленную строительным мусором улицу и стали дожидаться какой-нибудь машины.

Вспоминаю, что кроме оскорбления, нанесенного Шкляревским директору картины, еще одной крупной каплей, переполнившей терпение друзей Тарковского, было обвинение в том, что на съемках они сожгли корову.

— Потому-то и с молоком в магазинах перебои! — зло пошутил я. Этого ребята не выдержали. Но и помимо всего — фильм Андрея при всей блистательности внешних съемок раздражал меня чем-то глубинным, что не так просто было выразить, хотя я и пытался это сделать.

Запомнилась мне эта ночь еще и тем, что когда мы все-таки остановили старенький «москвич», сели, и шофер во время одного из крутых поворотов не снизил скорость, колеса заскрежетали, дверь машины резко распахнулась, и задремавший Шкляревский почти было вылетел на обочину, если бы я в последнее мгновенье не ухватил его за куртку...

А фильм «Андрей Рублев» через год-другой после этой бурной ночи я посмотрел еще раз и вскоре записал в свой литературный дневник все, что начал говорить Тарковскому, но не закончил. Вот они, эти мысли.

«Богатые старики в Японии, чтобы почувствовать себя молодыми и разогнать в жилах старческую кровь, скидываются и устраивают время от времени для себя дорогое зрелище. Они нанимают молодую пару за хорошие деньги, чтобы поглядеть на секс не в кино, а в жизни. Наверное, так же в Средние Века, чтобы поволноваться и попереживать, толпы благонамеренных европейских бюргеров наблюдали смертную казнь или Аутодафе...

Когда мы смотрим в кино акт соития или казни — мы похожи на этих старых японцев или средневековых испанцев: испытываем внезапное волнение, ужас, отвращение, сладострастие и т. д. в гораздо более сильной степени, нежели читаем внешне подобные сцены — у Пушкина, у Толстого, у Бунина, у Шолохова.

Вот почему я разлюбил «самое массовое искусство — кино».

Перестал выстаивать очереди за билетами, перестал запоминать фамилии актеров и режиссеров. Видимо, потому что с годами мне открылось некое хищничество этого жанра. Кино высасывает из человека за один прием все его чувства своим внешним жизнеподобием, сво-

им ошарашивающим давлением на зрителя за короткое спрессованное время — за полтора-два часа. Зрительные ощущения (все как в жизни!) вообще очень сильны. Власть у них недолгая, но захватывающая и полная. Как человек может хищнически в короткий срок при желании истощить кусок земли и превратить его в пустыню, перейдя пределы возможного во имя своего беспечного торжества, точно так же и кино совершает похожее насилие над человеком. Со словом можно спорить, жить, договариваться, вчитываться в него, ощущать себя его создателем, растворяться в нем, а кино создано для одноразового употребления. Его главный принцип: хоть час — да мой! Великую книгу можно перечитывать много раз, с каждым разом открывая для себя все большие ее глубины. Кино же — если смотреть его второй, третий, четвертый раз — производит на тебя все меньшее впечатление, ибо оно запрограммировано на впечатление первое и окончательное.

В кино все разрешено. Попробуйте описать убийство или самый интимнейший акт. С каким бы натурализмом вы это ни сделали — слово все равно поставит вам пределы. Оно сопротивляется откровенному и сознательному бесчеловечию. Кино же лишено целомудрия. В слове есть тайна, в кинокадре ее нет. Читая что-либо, человек может воспринимать прочитанное в меру своего душевного опыта, соразмеряя количество своих чувств с волей автора, руководствуясь своим опытом и своим инстинктом самосохранения души. В слове он воспринимает столько, сколько может вместить. В кино он должен вместить все. Иначе надо закрывать глаза — а что делать с закрытыми глазами в кинозале?

По своим целям и темам кино может быть и нравственным, и человечным, и благородным, но это искусство безгранично в своих агрессивных чувственных возможностях, и в силу их могущества его диктаторское требование эмоций объективно выглядит безнравственным.

Зритель безоружен перед ним, и велик соблазн использовать эту безоружность. Но за это человеческая природа по-своему, как умеет, мстит киноискусству. Я чувствую эту месть в своем нарастающем равнодушии к кино. О кино я вспоминаю только тогда, когда о нем заходит специальный разговор. Чтобы так, сами по себе выплыли кадры, отрывки, эпизоды, как выплывают строки стихотворений или мотивы песен — этого со мной не бывает. Никакие — даже самые лучшие фильмы, — которыми я когда-то был потрясен, восхищен, ошарашен, не стали частью моего душевного мира. Есть какая-то роковая несовместимость души и кино. В соответствующем расположении духа человек может раскрыть книгу Блока и Есенина, пойти в театр на «Гамлета», запеть «Позарастали стежки-дорожки», или «Утро туманное...». Но призвать себе на помощь кадры из Бергмана, Феллини или Тарковского он не может.

«Выхожу один я на дорогу» — написал поэт. Но, произнося эти стихи, каждый из нас живет тем же чувством, что и Лермонтов, каждый слышит, как «звезда с звездою говорит» и как «пустыня внемлет», и со смутной надеждой мечтает о том, чтобы и над ним «темный дуб склонялся и шумел». А кино? Да нет этому синтетическому детищу двадцатого века дела до нас. Не разговаривает оно с нами, а втягивает тебя в мясорубку, в трубу, и чем талантливее его создатели, тем больше пропускная способность машины, выталкивающей обратно в дневной мир не просветленную и очищенную, а усталую и обескровленную душу. Использованную до дна.

Немало фильмов нашего времени я видел. Самых знаменитых. Но ни разу «в минуту жизни трудную», когда нужно было сделать душевное движение, стать выше самого себя, открыть в себе нечто большее, чем ты есть, — никогда кино не помогло мне. Поэзия помогала всегда. Видимо, потому, что все-таки «вначале было Слово». Слово преображает, очищает, высветляет... Кино же, особенно если

оно насыщено физиологическими подробностями жизни, опускает нас в ее «нижнюю половину», поскольку ему не дано «изображать» на экране нематериальную — душевную и духовную составляющую Бытия. Театр — вроде бы родственен кино. Но задумаемся, почему в кино вполне возможно изображение полового акта — и почему это абсолютно недопустимо на театральной сцене.

«Словом останавливали солнце, словом разрушали города», — сказал поэт и добавил: «Потому что Слово — это Бог». А если Бога нет — то все позволено... Безбожное искусство.

Но на этом мой заочный спор с Тарковским, с которым, кстати, я больше не встречался, не закончился.

Вскоре после скандала на окраине Москвы я приехал во Владимир и Суздаль.

Суздаль с его смешением времен, эпох и нравов поразил меня. В то еще не туристическое время я бродил по Суздалю, по булыжным мостовым, заросшим муравою, трогал ладонью кирпичную кладку монастырских стен, погружался в живую историю России, вспоминал Андрея Тарковского, нашу скандальную ночь, его выразительные картинки из «Андрея Рублева»... И все это укладывалось в стихотворение:

ВЛАДИМИРСКОЕ ШОССЕ

На дорогах дежурят посты,
на дорогах стоят карантины,
вылезаем на снег из машины,
отряхаем от снега стопы.
Во Владимире нет молока —
во Владимирской области ящур.
Погруженный в сухие снега,
белый Суздаль в тумане маячил.
Тишина. Воспаленный простор.
Здесь на съемках «Андрея Рублева»
этим летом решил режиссер,

чтобы в кадре сгорела корова,
чтобы зритель смотрел трепеща...
И животное взглядом безвинным
Вопрошало, тоскливо мыча, —
для чего обливают бензином.
Хоть бы ящур, а то фестиваль,
безымянная жертва искусства,
первый приз. Золотая медаль...
Воронье, налетевшее густо,
облепило кирпичный карниз
и орет над потемками улиц.
В монастырь заточали цариц,
а потом заточали преступниц,
не достигших шестнадцати лет...
Но пора, чтобы мне возразили
и сказали: послушай, поэт,
так легко о тревогах России!
Слишком много в России чудес —
иней на куполах позлащенных,
почерневший от времени лес,
воплощенье идей отвлеченных,
белокаменный храм на Нерли,
желтый холод ноябрьского неба,
и дорога в морозной пыли,
и деревни — то справа, то слева.
Снова ящур (вещает плакат).
Карантин (тоже странное слово).
...И вполнеба громадный закат
и снега, как при жизни Рублева.

Стихи 1965 года. А еще через двадцать два года, когда Тарковский уже умер во Франции, либеральная общественность вдруг взяла у меня реванш за мысли и чувства, выраженные в этом стихотворении.

В номере от 4 ноября 1987 года «Литературная газета» разразилась статьей некой Т. Алексеевой о сборнике

«Россияне», в котором было опубликовано «Владимирское шоссе».

«Довольно сомнительной представляется необходимость публикации стихотворения С. Куняева, где есть такие строки:

Тишина. Воспаленный простор.
Здесь на съемках «Андрея Рублева»
этим летом решил режиссер,
чтобы в кадре сгорела корова...
Хоть бы ящур — а то фестиваль,
Безымянная жертва искусства.
Первый приз. Золотая медаль.

Завершивший свой земной путь художник, о котором речь, ни оправдаться, ни объясниться уже не может. Уместно ли повторное предъявление в 1987 году давнего «обвинительного акта» человеку, перед памятью которого и непричастные к горестному финалу его судьбы ощущают безотчетную вину и непоправимость утраты?».

Я, никогда не смирявшийся с ролью «мальчика для битья», а особенно в то время, когда в меня уже со всех сторон летели стрелы за статьи о Высоцком, о массовой культуре, о поэтах-ифлийцах написал гневное письмо главному редактору «Литературки» Александру Чаковскому:

«Любому непредубежденному читателю ясно, что это стихи не о режиссере, а о России, о ее великой и горестной истории, о разоренных деревнях, о разрушенных прекрасных памятниках зодчества и духа, о ящуре, о карантине, о том, что «во Владимире нет молока», словом, обо всем «воспаленном просторе», обо всей русской разрухе, на фоне которой история с несчастным животным выглядит лишь маленьким следствием истребления жизни... Подумаешь — корова! Снявши голову, по волосам не плачут! Эпизод со съемкой — всего лишь деталь громадной трагической картины разорения мира, в котором корова еще недавно, еще во времена моего детства была не

просто сельскохозяйственным животным, и Машкой или Зорькой, чуть ли не членом семьи каждого русского крестьянина. Мое стихотворение — обвинительный акт не модному режиссеру, а всем нам за все, что произошло с нами. Оно, кстати, и самоупрек: «послушай, поэт, так легко о тревогах России!» Хотя вижу, что нелегко мне это было сказать. И только иезуитская логика литературно-групповой борьбы может толковать эти стихи, как «причастные к горестному финалу». Напомню, что опубликованы они впервые в 1966 году. И вздохи автора о том, что режиссер уже не может «ни оправдаться, ни объясниться», поскольку умер недавно, звучат иезуитски фальшиво. Хотел бы объясниться — объяснился, время для этого было. Так же как и демагогический намек на то, что автор стихотворения чуть ли не причастен «к горестному финалу». Каждый из нас выбирает свою судьбу сам, и сам платит за свой выбор. А борьба идей в искусстве была, есть и будет всегда. Люди уходят, а их идеи и взгляды живут, действуют, борются и потому подвластны хуле и хвале потомков. Я же лично считаю «Владимирское шоссе» одним из лучших своих стихотворений и всегда буду переиздавать его в своих книгах».

Конечно, мое письмо в «Литературке» опубликовано не было, да я и не надеялся на это: на дворе все-таки уже был 1987 год — и перестроечная русофобская вакханалия уже набирала силу.

Последняя точка в этом сюжете была поставлена в 1990 году, когда я побывал в столице Австралии Канберре, где был приглашен на обед к нашему послу Самотейкину. Его фамилия была мне знакома: до Австралии Самотейкин числился в помощниках у Брежнева...

Мы трое — посол с женой и я сидели на прохладной веранде, отделанной эвкалиптовым деревом, и вели ничего не значащие светские разговоры. За окнами веранды в зарослях колючего кустарника верещали какие-то австралийские птахи. Жена посла вспомнила про знаменитые советские фильмы ее молодости — «Калину крас-

ную», «Место встречи изменить нельзя», ну и, конечно, про «Андрея Рублева». И тут я рассказал им про сгоревшую корову и спросил бывшего помощника генсека: слышал ли он об этом. Самотейкин развел руками:

— Была ли сожжена корова? Конечно, была. Я сам занимался этой историей, жалобы получал, гасил недовольство, усилия прилагал, чтобы в газеты история не попала... А у Тарковского были еще кадры, в которых лошадей с колокольни сбрасывали... Для того чтобы передать колорит эпохи. Ну, лошади, конечно, и ноги ломали, правда, эти кадры в картину не вошли. То ли сам режиссер не решился, то ли отсоветовали ему...

Впрочем, все это — уже история. И наша шумная ночь, и «Андрей Рублев», и посол Самотейкин, сосланный, как римский сенатор после смерти Цезаря, в далекую провинцию зеленого континента.

«О СТРАШНОМ И СВЕТЛОМ МИРЕ»

Мы встретились с ним в начале восьмидесятых годов прошлого века. Сухой, благообразный, опрятно одетый старик, приподнявшись с кресла в коридоре издательства «Советский писатель», вежливо обратился ко мне:

— Станислав Юрьевич, я давно хотел познакомиться с вами. Позвольте представиться: Виктор Михайлович Василенко.

В 1947 году его, сорокалетнего преподавателя Московского государственного университета арестовали по ложному обвинению в подготовке покушения на Сталина.

После этого восемь лет жизни он прожил в заполярных лагерях: первые четыре года на берегах Инты и Печоры, а вторые в Абези и Воркуте...

В 20—30-х годах он писал стихи, но все они были сожжены при аресте. «Я поэт, у которого отняли его поэти-

ческую молодость» говорил он мне. Но стихи он писал везде и всегда, даже не веря в свою поэтическую судьбу.

Его знали Анна Ахматова и Мария Петровых, с которыми он сблизился после освобождения. Подарив ему книгу «Подорожник», Анна Ахматова сделала на ней надпись, которая ободряла его всю последующую жизнь:

«Виктору Василенко с верой в его стихи. 4 февраля 1963 г.

Мария Петровых на своем сборнике «Дальний Север» благословила пятидесятилетнего поэта, не напечатавшего ни одной строчки, с еще больше щедростью:

«Виктору Михайловичу Василенко истинному поэту»... Вдохновленный таким признанием профессор Московского университета, один из лучших наших знатоков русского народного искусства, все 60-е и 70-е годы писал стихи, которые в конце концов были изданы после нашего знакомства с моей скромной помощью двумя книжками — «Облака» 1983 г. и «Птица Солнца» — 1986-й...

С особым вниманием Ахматова слушала его рассказы о годах неволи, которые Василенко провел в одном лагере с одним из ее бывших мужей Н. Пуниным: «*Мы были в Заполярных политических лагерях, очень жестоких, полукаторжных. У нас были на спинах нашивки с номерами. Я был помечен номером «Р-218». Каждая буква была в лагерях нашей группы (было 9 лагерей и в каждом от 3100 до 32 000 человек, интеллигенции немного, по 50, чуть больше иногда, человек. Основные политзаключенные были крестьяне, рабочие, среднего типа советские служащие). Там и были со мною в лагере Н.Н. Пунин, а потом поэты С. Дм. Спасский (он стал моим другом), Самуил Галкин. И профессор Сорбонны, брат балерины Карсавиной, — о нем теперь стали упоминать, — очень видный богослов, друг Ромена Роллана, Марселя Пруста, Анри Матисса и Леже, проживший часть своей жизни в эмиграции, — Лев Платонович Карсавин. Он был очень дружен с Пуниным. Они были уже очень старенькие, больные и даже там их*

поэтому не брали на работу. Они жили в особом бараке для престарелых инвалидов, и я часто приходил к ним после работы. Эти посещения и беседы с ними очень поддерживали меня. Царство им Небесное!»

«Муза помогала мне, — вспоминает поэт, — *она приходила ко мне, садилась около меня на нары, и я писал. Я был потом поражен раз словами А.А. Ахматовой, которой я рассказал об этом, которая внимательно посмотрела на меня и сказала: «Муза действительно существует, она есть на самом деле. Е. Баратынский раз неуважительно сказал о ней, помните: «Не ослеплен я Музой моею, — красавицей ее не назовут!» Женщины, а Муза — женщина, такого не прощают. Баратынскому это обошлось дорого. Вот и к Вам она приходила и спасала Вас, ограждая в той жестокой жизни».*

Жизнь посреди смертоносных стихий лепила из Виктора Михайловича Василенко поэта.

А тундра подходила прямо к Уралу и замирала возле него,
замирала зверем, встретившим трудное препятствие.
Солнце вставало, не надолго.
Его красный, тусклый шар медленно взлетал кверху,
и начинали блестеть кряжи, мерцали ледяные поля.
Но это зрелище — смутное и великолепное — было кратким.

В те же годы леденящие душу сполохи северного сияния и восходы багрового солнца наблюдали на разных северных широтах Ярослав Смеляков, Николай Заболоцкий, Варлам Шаламов. И каждый из них мог сказать об этой жизни словами гора Василенко: «О страшном и о светлом мире — мои стихи!»

А у нас с Виктором Михайловичем после знакомства сложились очень трогательные отношения. Мы встречались не часто, он был очень занят, работая в свои 75 лет на историческом факультете МГУ, но мы постоянно звонили друг другу. Он любил разговаривать по телефону с моим сыном — об Ахматовой, о Клюеве, о Павле

Васильеве, я писал восторженные (но искренние) рецензии на его рукописи и они становились книгами. А Виктор Михайлович, как старомодный, воспитанный человек одного поколения с моими родителями, посвящал мне стихи и постоянно писал письма, на которые я по своему легкомыслию не отвечал и лишь благодарил за них старика по телефону.

* * *

«Уважаемый Станислав Юрьевич!

Хочу еще письменно поблагодарить Вас за Ваш подарок — книгу стихов, которую я прочитал внимательно, а также за добрые слова о моих стихах. Последнее мне очень дорого, так как я Вас люблю, как поэта, очень ценю и у меня есть несколько Ваших поэтических сборников, которые я часто открываю. Мне еще о Вас говорил мой друг поэт Леонид Николаевич Вышеславский, который в свое время (это было несколько лет назад) посоветовал мне послать Вам мои стихи, но я на это, признаюсь, не решился. Тогда мне Леонид Николаевич сказал: «Станислав Куняев это «Ваш» поэт» — и я с ним полностью согласен. Ваши стихи мне близки тем, что они обращены к России, к древней ее истории, но которую Вы не описываете, а с каким-то особенным проникновением раскрываете всегда что-то очень важное и неожиданное. Вот этот Ваш своеобразный взгляд — он всегда захватывает. Мне очень близко Ваше ощущение природы и то, что Вы так хорошо «видите», «чувствуете» русскую природу. Ваша, если так выразиться, тематика и характер поэтических направлении необычайно разнообразны. Здесь и стихи, обращенные к Востоку, какое-то желание понять его поэтически-философски, и в то же время всегда, везде это пронизывается силой лирического ощущения. А что может быть дороже для поэта — этот характер лирического «познавания» мира и через него «себя», а потому и дар этот читателю.

В Ваших стихах меня очень привлекает энергия вашего ритма, полная, сильная, ваши стихи мужественны, и ясно, что они могут и умеют «за себя постоять». Вы ни на кого не похожи. Вы всегда «Вы» и это прекрасно. Привлекает меня в Вашей поэзии и тяготение к чистому и ясному русскому слову. Не знаю, может быть, это Вам не понравится, я ведь не знаю Ваших поэтических симпатий, но мне полностью далеки такие стихи, которые пишут Андрей Вознесенский, его «школа» (не уверен в том, что она у него есть). Я, кажется, в прошлом году, или позапрошлом, прочел очень сумбурное, непонятное мне стихотворение его в «Новом мире». И там особенно резанули меня строки, которые я запомнил (стихи были написаны модным сейчас верлибром — мой верлибр несколько отличается от этого модного, — но об этом скажу ниже), где есть такая строка: «Я шел и ко мне из-под дверей приближался Чайковский». Все понятно, музыка проникала из-за дверей, но ведь неуважительно и пр. Не знаю — согласны ли Вы со мною? Я с огромным удовольствием ношу Вашу книжку, показываю ее с гордостью моим друзьям, она сейчас в моем портфеле, и я с нею не расстаюсь. Многие стихи мне уже были известны и очень дороги: среди таких «Шахматове» (о А. Блоке), «Карл XII», и многие другие. Мне очень понравился и подбор Вашего, как Вы пишете: «маленького «Избранного». Да, маленького по объему, но столь весомого. Среди библиотечки «Огонька» много выходит стихов, но таких часто посредственных, что просто диву даешься и потому фамилии не запоминаются. Но какое счастье когда — и так широко, в таком тираже — выходит книжка большого поэта. Достать ее было невозможно. Вас любят, знают, и она исчезла сразу, я ее нигде не видел.

Несколько слов о моем «Верлибре» (если я только не слишком утомил Вас моим пространным письмом). Мой «Верлибр» не тот, что у А. Вознесенского, не тот, что так широко распространен в переводах западноевропейских поэтов, что выходят часто в ж. «Иностранная литерату-

ра». Мой «Верлибр» — и мне дорого, что Вам пришлись по душе мои «Северные строки», — иной, совсем иной. Если разрешите — я расскажу, как он возникал. (Надеюсь, что не утомил Вас слишком, Станислав Юрьевич!). В тундре, в Абези, где нас освобождали от труда, иметь бумагу и даже карандаши было сложно, я писал (вернее, наговаривал) строки моих «северных» стихов и запоминал их, да, запоминал их, а почему — Вам должно быть ясно. Поэтому наиболее удобным в той железной обстановке, где моя жизнь трепетала почти как жалкий огонек на свечке (не очень хорошо написалось, но Вы поймете), такой верлибр был единственно возможным и возникал он из какой-то особой интонации такого же особого ритма. Спасибо за то, что Вам эти стихи пришлись по душе (у меня есть и другие, ведь вошло в сборник, легло в его «прокрустово ложе» немногое из-за недостаточного количества строк), как и другие.

Очень бы хотелось, чтобы наше знакомство не прервалось.

Искренне Ваш *В.М. Василенко.*

28 февраля 1984 г.».

* * *

«Глубокоуважаемый Станислав Юрьевич!

Посылаю Вам книжку «Кто есть кто» и два стихотворения — они вошли в мою рукопись, но я их несколько выправил еще и очень прошу, когда будете читать стихи, то ориентируйтесь на посылаемые мною редакции.

Очень хочу в будущем, когда у Вас будет возможность, повидаться с Вами. Может быть, когда потеплеет, явится весна. Я сейчас не очень пока подвижен.

Много времени уходит на работу в Университете, а значит, и сил. Их у меня не так много. Когда увидимся — привезу Вам (очень буду просить подписать мне) Ваши три прекрасных и мне очень дорогих и близких сборника, которые я часто открываю и читаю, читаю чаще все-

го вслух (я всегда люблю стихи больше вслух, а не глазами, и мне было очень приятно, что этот же совет мне дала Ахматова, как-то сказав мне, что «стихи надо читать не глазами, а также и вслух». Правда, приходится и глазами, но это уже от торопливости жизни и т. д. А сборники Ваши у меня: «Озеро безымянное», «Отблеск», «Путь». Недавно ездил в Железноводск, где лечился и не разлучался с «Озером безымянным», часто его открывал и читал. Еще с собою я взял томик (из моей серии) М. А. Волошина, вот два поэта и сопровождали меня в моем пути на Кавказ и были там в виду гор, снежных вершин; если подняться — а это легко — на гору Железную, то в безоблачный день хорошо виден Эльбрус. Удивительное зрелище.

Искренне Ваш *В. Василенко.*

30 марта 1984 г.».

* * *

«Дорогой Станислав Юрьевич!

Поздравляю Вас с днем ПОБЕДЫ и желаю счастья и еще новых прекрасных стихов. Поэзия — это единственно самое высокое из искусств, в нем ярче и полнее звучит голос сердца. Анна Ахматова писала: «Наше священное ремесло существует тысячи лет... С ним и без света миру светло...» Я уверен, что в этом истина. Мне поэзия, я это знаю, помогла жить тогда, когда смерть почти стояла у моего изголовья.

С искренним уважением *В.М. Василенко.*

6 мая 1984 г.»

* * *

«Дорогой Станислав Юрьевич!

Посылаю Вам мой перевод «Ворона». Побудило меня заняться им то, что Эдгару По придавали больше в словах и выраженьях пышности, чем у него их было. Эд. По

все же очень прост, но простота эта высоко изысканная. Бальмонт и Брюсов облачали «Ворона» в слишком роскошные одежды, так мне кажется. Над своим переводом я работал очень долго. Он был начат в 1950 в Абези на Воркуте (я там нашел несколько листков английского текста, вырванных из книжки, каким-то чудом попавших туда, и, уединившись, стал переводить).

Главное, еще что я хотел дать в моем переводе — это восстановить основную мужскую рифму, которая проходит через все стихотворения у Эд. По. Но Бальмонт и Брюсов отступали от этого, и когда текст подходил к появлению «Ворона», рифма менялась. Это не хорошо. У По рифма проходит сквозь все строфы, как тонкая изящная колонна, и на ней, как я уже сказал выше, все держится.

Наконец, «Невермор» Бальмонт один раз оставил, но ведь ворон — англичанин, говорит по-аглицки и потому оставлять в русском с английского только одно слово английского неверно: вот если бы ворон говорил по-гречески с англичанином-поэтом, тогда дело другое.

Брюсовское (и у других) «Никогда», иногда у него же «больше никогда», точно по смыслу, но противоречит замыслу поэта. Во второй публикации «Ворона» Эдг. По писал, что хотел в «Невермор» (простите, что пишу по-русски, у меня в машинке только русский алфавит) передать хриплое карканье ворона. Невермор подходит.

В русском «Никогда» (хотя это по смыслу очень точно) этого хриплого карканья нет и в помине, и основная идея поэта ускользает. В этом звучанье, в его символике было то, что много после очаровало символистов, открывших Эдгара По. Помимо этого в «Невермор», мне кажется, есть что-то от изящной и легкой конструкции, такой, как конструкция, скажем, решеток, вымпергов, «витражей» английской готической архитектуры. Эта «готичность» иногда (очень изящная) звучит в некоторых английских словах! Я не могу принять поэтому и перевода М. Донского. В его переводе, скажем, правда, — и это, безусловно, достоинство — есть единая рифма, но это «ни-

когда». И легкий Э. По очень звучит тяжеловесно: «Гость пожаловал сюда»... «о, Линор, моя звезда!» и пр. Неудачно у него и начало, очень важное в стихотворении: «Раз (?!) в тоскливый час полночный я искал основы прочной (?!). У Э. По ничего этого нет. Нехорошо: «Восседает Ворон черный (у Эдг. По нет нигде нет в целом указания на то, что Ворон черный, это ясно и так, и только в последней строфе он говорит о черных перьях, но это другое), давит будто глыба льда» (это все отсебятина).

Не могу принять и перевод Е. Бетаки (Избран, соч. Э. По в двух томах, 1973). Он переводит: «Грозно каркнул — не вернуть!». Слово «Не вернуть» легковесно, незначительно, чересчур бытовое, а потому и «грозно» не помогает. Я долго искал и пришел к «Возврата нет!» Согласитесь ли Вы? В нем есть легкость готической конструкции «Невермор» и величественность. До меня кроме Бальмонта и Брюсова (их переводы, конечно, все-таки хороши) переводили многие. Оболенский в 1978 г. дал «Возврата нет!», но я об этом узнал лишь недавно. Но остальное у него не хорошо. «Да, я один, ея уж нет, — всю ночь не сплю. Мерцает свет!» и т. д. У Мережковского очень приблизительно; «Тот, кто Ворона видал — не спасется никогда». Вот это и побудило меня попробовать перевести «Ворона», конечно, тоже несовершенно, но внести новое.

Искренне рад. Звоните мне. Я очень рад всегда Вашим звонкам. Поклон Вашей жене и Сереже. Ему большая благодарность за труд «извлечения» моих виршей из недр редакции.

В. Василенко.

18 мая 1984 г.».

* * *

«Дорогой Станислав Юрьевич!

Скоро, видимо, Вы вернетесь. Я очень завидую Вам (самой хорошей и святой завистью), как много Вы, на-

верное, увидели? Впечатлений много у Вас, а значит, будут еще новые хорошие и необычные стихи. Природа, мир, люди — извечный материал для поэта.

Я же очень устал: много было работы в МГУ: защиты по дипломам, выступление оппонентом по одной диссертации. Стихов не писал, но вечерами перебирал стихи, которых нет у Вас в рукописи, и кое-что подобрал. Должен сразу же сказать, что это не означает, что их нужно добавить, я просто так решил послать несколько из них, думая, что, может быть, Вам они покажутся интересными. Буду рад, если найдете время и позвоните. Я вечерами, как правило, с очень редкими исключениями, дома. Мой поклон Вашей жене и сыну (я их знаю по голосам по телефону, голоса у них очень милые, хорошие, и мне было с ними приятно разговаривать). Прочел в «Лит. газете» статью о Солоухине, где (она написана к его 60-летию) А. Вознесенский дает ему «братскую руку» и говорит, что нужно поэтам жить в мире. А я и не знал, что они, т. е. я имею в виду «направления», так уж были далеки друг от друга. Прочтите эту статью, Вам, наверное, она будет интересной.

С глубоким уважением *В. М. Василенко*».

* * *

И вот судьба повернулась так, что однажды в конце восьмидесятых, еще при жизни Виктора Михайловича я попал в места, где он коротал вместе с Карсавиным и Пуниным свои невольные годы.

Ранняя весна вовсю гудела над еще невзрачной, не отошедшей от зимы тайгою. Ровный южный ветер слизывал с берегов последние залежи снега; птицы, захмелев от круглосуточного сиянья, пели не умолкая и днем и ночью; над бело-розовыми цветами толокнянки гудели тяжелые шмели, унося с крошечных соцветий нектар в свои подземные гнезда, чтобы превратить его там в прозрачные капли кисловатого шмелиного меда.

Маленький кулик вылетел из-под моих ног, когда я шел побросать блесну на перекат. Птица растопырила хвост, обнажив белый веер оперенья, заверещала и словно бы поползла среди кустов вереска, как не умеющая летать. Я понял, что самочка, умирая от ужаса, жертвует собой — и подошел к трухлявому пню, из-под которого она выпорхнула. Там, во мху, лежало четыре зеленоватых яичка в коричневую крапинку...

К вечеру я вернулся в лагерь с заплечным мешком, в котором было несколько хариусов, да пара щук и когда мы разлили водку в эмалированные кружки и выпили ее под горячую уху, спросил своих спутников — местных ребят Костю и Михаила, а что это за развалины я видел на том берегу реки Усы.

— А это лагерные бараки, — объяснил мне Костя, крепкий и жилистый парень, понемногу начинающий спиваться.

— Тут заключенные жили... Зона... Здесь же и кладбище, где их хоронили. А рядом с кладбищем печи для обжига извести и кирпича...

Михаил, видимо более начитанный и серьезный добавил:

— Там наш известный писатель Савин похоронен... А после лагерей на этом место раскопки были — нашли стоянку первобытного человека... А завтра мы переплывем на моторе реку и я вам покажу каменные столбы — они, славно бы высеченные фигуры, имена у них есть: «глухарь», «вождь», «женщина», «рыба»... А все берега Усы здесь в халцедонах, агатах и в кусках окаменевшего дерева.

Выпили еще по одной и Михаил с неожиданной злостью произнес:

— А раньше до лагерей тут был хлеб, скот, песни... Лагерная жизнь свела все живое в округе... Заброшенные дома до сих пор еще стоят...

В разговор ни с того ни с чего вмешался запьяневший Костя:

— Спасибо Брежневу! При нем пять лет жил, как хотел, никогда трезвым на работу не выходил.

Михаил, лицо которого было освещено пламенем костра, гневно посмотрел на товарища.

— Костя! Это же твоя родина! Ты здесь родился, дурак ты, Костя!

А Костя, как бы не расслышав его, бормотал свое:

— А как я на лыжах бегал, когда водку не пил. В школу каждый день десять километров туда и десять обратно. Тренер называл меня лосенком...

— Дурак ты, Костя! Ну пойми, здесь же твоя родина!

Михаил хотел сказать Косте что-то важное, но у него не получалось. Я, подозревая, что их спор продлится и в палатке, решил заснуть в спальнике под открытым небом, нашел сухое место под раскидистой елкой, наломал лапнику, залез в спальник, под который предусмотрительно подложил целлофановую подстилку.

К утру проснулся от шума елок — и что-то щеки покалывало. Открыл глаза — свистящие белые нити неслись вдоль черной стены леса. А мой спальник был покрыт снегом. И это в начале июня.

Все было, как в северных верлибрах Виктора Михайловича Василенко:

Снег выползает на тропу,
вздымается облаком, кружит, звенит!
В его звоне предостережение о беде!
Он залепляет глаза, забивается за воротник;
снег прорывается в дыры плохо запахнутого бушлата.
Тропа, где только что шел, исчезает...

В одном из писем к Инне Ивановне Ростовцевой, вспоминая о смерти своего товарища по несчастью богослова и философа Льва Платоновича Карсавина Виктор Василенко писал: «Умирая, он сказал: «*До свидания, не говорю прощайте! Иду туда, о чем я много писал, и посмотрю, насколько я был справедлив*».

Виктор Михайлович умер 15 марта 1991 года.

Лишь много позже, через несколько лет после его смерти я узнал, что он был арестован в 1947 году по делу изумительного русского поэта Даниила Андреева, верным другом и поклонником которого Виктор Михайлович был всю жизнь. Жаль, что я ничего не разузнал об их дружбе в молодости, в 20—30-е годы. А ведь Даниил Андреев один из любимых мною поэтов. Поистине, как сказал Пушкин, «мы, русские, ленивы и нелюбопытны»... И я такой же, как все.

ИЗГОЙ АЛШУТОВ

На темной площади Сыктывкарского вокзала меня встретил круглолицый, покачивающийся местный поэт Витя Кушманов и худой, с иконописным лицом, бородатый художник. Едем к моему товарищу Александру Алшутову. С утра, ожидая меня, он напился и встретил нас богатырским храпом. Я не видел его лет пятнадцать. Он лежал на диване — седой, курчавобородый, с громадным носом, поджав ноги — диван был ему короток. Его живот свешивался с дивана. С трудом растолкали, сели в тесной кухоньке. Кушманов достал бутылку коньяка. Алшутов оживился:

— Ты добрый человек, Витя, у тебя стихи хорошие, раздавленной травой пахнут, но пластики мало...

Пошли разговоры об Аксенове, Гладилине, Максимове, Солженицыне, как будто лишь вчера, а не пятнадцать лет назад загнала его, непутевого еврея, судьба на окраину города Сыктывкара... Рванул он однажды, спасаясь от каких-то неприятностей, на Север, шатался в тундре с оленеводами («мои фотографии во всех чумах висят»!). Потом получил участок в поселке Максаковка, построил времянку на берегу, обшил изнутри вагонкой, камин выложил, бамбуковые занавески повесил. Заложил фун-

дамент еще одного громадного дома — десять на десять. Зимой ловит налимов на крючья и мечтает принимать друзей в новом дому. Женился на полукровке (полурусская-полукоми), она родила ему девочку Ксюшу. Словом, пустил корни, черт бородатый. Местные зовут его здесь Борода, Будулай, думая, что он цыган. Я поражаюсь его способностям ставить жизнь на карту — Москва, Сахалин, Астрахань, Сыктывкар, — ломать ее, начинать все заново, и как она, судьба, неблагодарна к нему, бесталанному, никак не водрузит ему на голову лавровый венок, не наградит за преданность Музе... Все ведь ради нее...

С нежностью вспоминаю
все города моей юности!
Вас еще не было на географических картах,
но по улицам уже не ходили медведи.
Зато голубые песцы еще забредали на помойки.
А белые куропатки, смешавшись с полярной вьюгой,
бились насмерть об электрические провода,
несущие свой яркий, хотя и часто гаснущий свет
в четырехметровые кухни,
каждая из которых
была кухней творчества...

Алшутов (псевдоним) — Бейлин (по отцу) — Голицын (по матери) был представителем любопытной, сегодня вымершей породы советских поэтов, которых мой иркутский друг Вячеслав Шугаев называл «морозоустойчивыми евреями»... Их можно было встретить на всех необозримых просторах Сибири: во Владивостоке — Ян Вассерман, в Хабаровске — Роальд Добровенский, в Иркутске — Марк Сергеев или Сергей Иоффе, в Красноярске — Зорий Яхнин, в Омске — Вильям Озолин... Все они были советские люди, чаще всего полукровки. Жизнь в те времена еще не дошла до развилки, после которой надо было выбирать либо русскую, либо еврейскую судьбу... Алшутов

выбрал русскую. Недаром уже тогда в стихах, посвященных отцу, он писал:

Но, как в старых деревьях,
под усталой корой
в красных сумерках дремлет
его древняя кровь...

Он мне что-то советует,
не стараясь ловчить,
про свое, про заветное
убежденно молчит.

Он поспорил бы жарко,
но не спорю с ним я.
Мне всегда его жалко:
он — чужая семья...

Сидим, выпиваем. И опять разговоры: Высоцкий, Галич, Окуджава... Две жизни — одна призрачная московская, другая реальная сыктывкарская, с плотницкой работой, с дочкой Ксюшей, с дровами, с зимой.

Жена обиделась на него за какое-то грубое слово и исчезла из-за стола. Мы остались втроем, третий — его отец. Тихий старый еврей, инженер по авиастроению. К застолью вышел, надев на лацкан пиджака орден «Знак Почета».

— Я о политике с ним не разговариваю, — тихо заметил отец. — Мы друг друга не понимаем.

За полночь отец с сыном пошли провожать меня на автобус. Сын — громадный, в черном клеенчатом плаще, бородатый, со ступнями, повернутыми внутрь, как у Слуцкого, носками. Ассимилировавшийся полуеврей-биндюжник. И тихий, истаявший, уходящий из жизни отец, который уже не успеет уехать в Израиль. За два-три года до этой встречи я сделал для Алшутова доброе дело: написал в сыктывкарское издательство рецензию на его сти-

хотворную рукопись, благодаря чему она вскоре стала книгой. Многое мне в его стихах не нравилось: ложный, наигранный пафос, пошлое «шестидесятничество», да и с русским языком он не ладил. Но я понимал, как тяжело ему приживаться на новом месте, и, советуя издательству издать книгу приезжего поэта, не коренного и даже не русского, послал ему личное письмо, в котором изложил всю правду о его стихах откровенно и нелицеприятно. Растроганный, он сразу же прислал мне ответ:

«Дорогой Станислав! Прости, что сразу не ответил на твою открытку. Я еще раз искренне благодарен тебе за рецензию и еще в большей мере за те добрые слова, которые ты сказал о моих последних стихах в записке, посланной мне через местный СП (дошла до меня чудом, обычно письма, адресованные мне, а также и большинству других авторов, пишущих на русском, они просто не передают). Что же касается твоей открытки, то ты просто меня неправильно понял. В свое время ты сказал: пиши мне обо всем. Вот я и пишу о том, что меня волнует в первую очередь. Но это вовсе не значит, что я прошу: Стасик, издай в Москве мою книгу, напечатай меня в «Новом мире», не хочу быть мещанкой, а хочу быть столбовою дворянкой и т. д. и т. п. Просто я позволил себе в своем последнем письме высказать свои соображения о будущем. Думаю, что соображения, в общем, верные.

Я всегда ценил твою прямоту и бескомпромиссную категоричность в суждениях, хотя и не со всеми из них согласен. Поэтому меня нисколько не обижает твой тон, когда ты говоришь о моих стихах.

Ты лучше многих знаешь, что всю свою сознательную жизнь я старался поступать так, как мне подсказывала моя совесть. Ни разу я не изменил своим убеждениям в угоду возможности административного успеха своей человеческой жизни, говоря проще — литературной карьеры, скорее напротив, с точки зрения здравомыслящего человека я как будто нарочно делал все для того, чтобы ее

испортить, Поэтому я далек от мысли винить кого-либо в том, как я живу сегодня. Больше того, совершенно честно говорю тебе, что мое сегодняшнее бытие устраивает меня гораздо больше, чем то, как я жил в Москве последние годы.

Ну да сейчас речь не об этом, Я прекрасно понимаю, что ты занят и задерган. Я лучше многих знаю, сколько времени и сил отнимает жизнь литератора в Москве. Думаю, что достаточно понимаю, вернее, в состоянии понять, твою душевную озабоченность всем происходящим (и на словах, и в действительности) вокруг нас. Так что еще раз пойми меня правильно: я пишу и разговариваю с тобой безо всяких корыстных или деловых соображений, а просто как с человеком, который мне небезразличен и даже дорог.

Был бы очень рад повидать тебя и поговорить более подробно, чем довелось в последний раз. Собирался в конце года вырваться дней на десять в Москву, но не знаю, получится ли.

Будь здоров, и храни тебя Бог. С приближающимся Рождеством.

Обнимаю

Ал. Алшутов.

В. Максаковка, 8 декабря 86 г.

P.S. Отправлено 19 декабря. Менялась погода, дико болели все мои старые переломы».

* * *

Я чувствовал, что в его жизни, во внезапном исчезновении из Москвы есть какая-то темная тайна, да и в некоторых местах вышеприведенного письма она угадывается, но раз он ничего мне не рассказал о том, почему бросил Москву, то я и спрашивать не стал. А на прощанье, на полутемном перроне при тусклом желтом свете фонарей, он, укрывая от северного дождичка драгоценный сборник с удачным названием «Затяжной прыжок»,

написал на странице, рядом со своим ликом, обрамленным курчавой шерстью, переходящей в густую бороду и плотную скобку усов:

«Станиславу Куняеву — человеку эталонной честности со старой, проверенной многим дружбой. Ал. Алшутов

Верхняя Максаковка, 20 августа 87 года».

Дружить, правда, мы с ним по-настоящему не дружили, но встречались в Москве, где он изредка появлялся то после службы в авиации, то после походов на судах рыбацкой флотилии в Тихий океан, то из Астраханского заповедника.

У меня к тому времени за плечами уже были дискуссия «Классика и мы» и мое дерзкое письмо в ЦК КПСС насчет «Метрополя». Я уже не раз после этих поступков ощущал на своей шкуре всю силу еврейской ненависти, но рукопись Александра Бейлина, обрусевшего бродяги, полукровки, бастарда, выломившегося из среды своих расчетливых соплеменников, пославшего куда подальше их муравьиную, партийную талмудическую дисциплину, я благословил к изданию с легким сердцем, особенно когда прочитал в ней такие хотя и корявые, но искренние строки:

Когда вопрос нелепый задают —
за что мы любим Родину свою, —
я, словом на него не отвечая,
всем существом до боли сознаю,
что за нее во всем я отвечаю,
чего отнюдь другим не предлагаю,
на посторонних не перелагая
сверхличную ответственность свою.

Разные слухи о том, почему он исчез из Москвы и затерялся в северных просторах, конечно же, доходили до меня. Одни говорили, что он однажды неожиданно вернулся домой и застал у жены компанию хахалей. Началась драка. Ему сломали челюсть, но вскоре Александр под-

стерег главного хахаля где-то на набережной и пырнул его ножом.

По другой версии, грешил он то ли фарцовкой, то ли иконами торговал и почувствовал; что вот-вот заметут — сбежал на Севера.

В последнее наше московское свиданье он хвастался мне, что есть у него возможность устроить свою жизнь в столице, но для этого «надо на Таньке Глушковой жениться», чего ему, видимо, не очень хотелось.

Но вскоре после того, как я вернулся из Сыктывкара, то встретился в редакции журнала «Октябрь» с одной известной поэтессой. Узнав, что я недавно виделся с Алшутовым, она разволновалась и поведала мне тайну, почему Алшутов-Бейлин исчез из Москвы и затерялся в Северном краю. Если верить этой диссидентке, то Алшутов был якобы тесно связан с еврейской компанией из семи человек, которая летом 1968 года вышла на Красную площадь, осуждая наше вторжение в Чехословакию. Протестанты развернули лозунги, но через две-три минуты ребята из КГБ скрутили их и запихнули в машину. По словам моей собеседницы Алшутов должен был прийти в августе 1968 года на Красную площадь восьмым. Но он не пришел... Кто-то из его задержанных друзей решил, что он просто струсил, а кто-то предъявил ему более тяжкое обвинение: что он предупредил комитетчиков о предстоящей акции.

Как бы то ни было, но именно после чехословацких событий Александр исчез из Москвы, видимо, став в глазах еврейских отморозков предателем и изгоем.

Его книга «Затяжной прыжок» завершается строчками стихотворения, посвященного жене Вере:

Единая и неделимая,
ты для меня, как Родина...

А молодой друг Алшутова Виктор Кушманов, когда-то встретивший меня на Сыктывкарском вокзале, у ко-

торого стихи «пахли раздавленной травой», прислал мне перед смертью осенью 2003 года письмо со стихами:

Внезапно вдруг ударит ток по коже —
Дорога, поле, стылая земля...
Мне изгородь родной избы дороже,
Чем изгородь Московского Кремля.

Иду по снегу, не нарочно плача.
Деревни нет. Нет ничего окрест.
Я как поэт здесь что-то в поле значу,
Я не поэт — там, где России нет.

Думаю, что Алшутов был бы рад, прочитав эти волнующие восемь строчек.

1982—2005 г.

РОССИЯ – ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ

Полный текст выступления на Всемирном Русском Народном Соборе 5 апреля 2006 года

Я хочу поделиться с вами своими опасениями по поводу оголтелой антирусской кампании, развернутой в средствах массовой информации. Наше время становится все более похожим на времена 1988—1991 годов, когда, разжигая межнациональную рознь, Галина Старовойтова, желая стать избранницей I Съезда народных депутатов, кричала на митингах в Армении: «Армяне! Карабах — это ваша земля!»; когда она же заявляла, что «русские — это народ с искаженным национальным самосознанием»; когда Собчак, возглавлявший со своим заместителем Станкевичем Комиссию по расследованию трагических событий 9 апреля 1989 года в Тбилиси, вещал на всю

страну, что русские солдаты с саперными лопатками виновны в гибели восемнадцати грузинских женщин; когда член Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлев восхищался «демократическими» действиями прибалтийских народных фронтов. Все они (за исключением соратника Собчака — уголовного преступника Станкевича, скрывшегося от российского правосудия в Польше) лежат в могилах, а мы до сих пор расхлебываем кровавую межнациональную кашу, круто заваренную этими провокаторами.

Именно в эпоху их деяний начали составляться списки «фашистских» и «антисемитских изданий», списки, которые сегодня усиленно тиражируются. В моем архиве сохранилась «Еврейская газета» от 7 мая 1991 года, в которой, как заявлено провокаторами, «подобный список публикуется впервые». В нем «Советская Россия», «Московский строитель», «Вологодский комсомолец», «Красная звезда», «Ветеран», «Литературный Иркутск», «Литературная Россия» и т. д. Всего 38 изданий, в их число даже «Русский голос» (Нью-Йорк) и «Наша страна» (Буэнос-Айрес) попали. И, конечно, несколько журналов: «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва», «Кубань»... Именно в это же время двери и окна «Нашего современника» по ночам разукрашивались шестиконечными звездами, фашистскими знаками, надписями: «Россия — родина свиней», «Белов — мертвец!», «Все, все с голоду передохнете» и т. д. И вот через пятнадцать лет после спровоцированного распада Советского Союза снова, как грибы, растут новые списки «фашистских изданий» и фамильные перечни «русских националистов» — для того чтобы разжечь вторую волну межнациональной ненависти и ускорить распад России. Кто же составляет эти «списки Шиндлера»?

В Генеральную прокуратуру в феврале месяце поступил список некоего В. Энгеля (директора Федерации еврейских общин России), в котором требовалось запретить десятки книг, якобы разжигающих национальную рознь. В списке фамилии известнейших историков и мыслите-

лей прошлого: И. С. Аксакова, М. О. Меньшикова (расстрелянного в 1918 году соплеменниками Энгеля), Л. А. Тихомирова, Б. Башилова, С. А. Нилуса, И. А. Ильина (чей прах недавно был перенесен в Россию и которого цитировал в своем выступлении президент страны) и книги известных патриотических деятелей современной русской культуры: И. С. Глазунова, И. Р. Шафаревича, В. Н. Осипова, И. М. Шевцова и т. д. Есть в нем и моя фамилия. То, как она туда попала, характеризует методы современных провокаторов, раздувающих пламя межнациональной вражды. Как-то раз в одном из издательств мне было предложено: «Станислав Юрьевич! Ваши воспоминания хороши, но слишком серьезны, напишите книгу о своей жизни, которая имела бы настоящий коммерческий успех. И тираж хороший дадим, и гонорар заплатим».

Я подумал и ответил издателям: «В моей молодой жизни было много интересных драк — с Василием Аксеновым, с иллюзионистом Игорем Кио, с одним из эстонских «лесных братьев», автором известной повести 70-х годов «Записки серого волка» писателем Ахто Леви... Я немало раздал пощечин в те времена — критику Станиславу Рассадину, пародисту Александру Иванову, организатору 16-й полосы «Литературной газеты» сатирику Виктору Веселовскому, тележурналисту Мацкявичюсу. И были на то причины: личных оскорблений и клеветы я не прощал, каждая моя пощечина и каждая драка — своеобразная новелла. Хотите такую книгу с эпиграфом из Пушкина: «Безумных лет угасшее веселье // Мне тяжело, как горькое похмелье»?

— Ой, это то, что нам нужно! — завопили в восторге издатели.

— А как назовем книгу? Хотите — «Моя рукопашная» или даже, — тут я не выдержал и захохотал: — «Моя борьба!».

Издатели тоже захохотали.

Ну, посмеялись мы, посмеялись и разошлись. А я дома подумал: «Ну зачем мне вспоминать эти мутные, отнюдь

не украшающие меня страницы моей беспутной молодости? Конечно, я не буду писать эту книгу»...

Но каково же было мое удивление, когда я прочитал в списке Энгеля, что изданную и продающуюся в Москве книгу Станислава Куняева «Моя борьба» надо обязательно изъять из продажи, а автора привлечь к ответственности за ее издание! Вот каковы провокаторы, норинские новой эпохи!

Вслед за списком Энгеля появился в печати в виде брошюры список некоего А. Брода (Московское бюро по правам человека) «Лик ненависти» (даже название — плагиат: у В. Коротича в 70-х годах вышла книга об американском расизме — «Лицо ненависти»). В этой брошюре Брода, разосланной во всяческие государственные и силовые структуры, «фашистами» были объявлены писатели: Проханов, Платонов, Назаров, Хатюшин, некоторые депутаты Госдумы, полковник Квачков, журналисты Мухин, Миронов и т. д. Почти одновременно со списком Брода появился список Гельмана, в котором содержались имена уже 100 «фашистов». Этот Гельман по имени Марат, когда выиграл судебный процесс у православных людей, обвинивших его в религиозном кощунстве, с удовлетворением произнес, выступая на радиостанции «Свобода»: «Мракобесы проиграли!». Вот так-то. Православные верующие для этого «друга народа» — мракобесы.

Какие-то очередные списки составлены в Общественной палате, идет сколачивание антифашистских блоков, создаются «интернационалы», весь этот процесс обслуживается истерикой, хорошо организованной Познером, Сванидзе, радиостанцией «Эхо Москвы», многими газетами...

Но я бы предостерег вольных или невольных провокаторов от истошных криков о «русском фашизме». Все это уже было в нашей истории. Все это мы уже проходили. И не только в 1988—1991 годах, но и гораздо раньше.

Осенью 1924 года была арестована группа в 13 человек — молодых русских интеллигентов во главе с другом

Есенина поэтом Алексеем Ганиным. Они называли себя — русскими националистами, но никогда не призывали к вражде с коренными народами России. Главный их документ назывался «Мир и свободный труд — народам», Они призывали к борьбе лишь с «сектантами-комиссарами», «еврейскими выродками», «бандами латышей». Они так писали в своем программном документе:

«России как государству грозит окончательная смерть, а русскому народу экономическое рабство и вырождение. Смотрите госбюджет России последних лет. Заработная плата рабочих и служащих. Бюджет крестьян. Соотношение цен на фабрикаты и сельскохозяйственные продукты. Соотношение максимума заработка и прожиточного минимума трудового населения».

«Три пятых школ, существовавших в деревенской России, закрыты. Врачебной помощи почти нет... Неслыханное взяточничество, подкупы, клевета, канцелярское издевательство и казнокрадство».

«Россия... превратилась в колонию всех паразитов и жуликов, тайно и явно распродающих наше великое достояние».

«Все многомиллионное население коренной России и Украины, равно и инородческое, за исключением евреев, — брошено на произвол судьбы. Оно существует только для вышибания налогов».

Ну разве эта картина не применима к тому, что было в 90-е годы, да и ныне еще творится?

Ганина и его товарищей, конечно же, окрестили в ЧК «орденом русских фашистов» (хотя в 1924 году итальянский фашизм был социальным движением рабочих и ничего расистского и антисемитского в нем не было). Но ордер на арест был подписан Генрихом Ягодой, а допрашивал несчастных его заместитель Яков Саулович Агранов. Следствие вели также сотрудники ЧК: Коган, Каган, Шульман и Альтман. Ганин с шестью товарищами был в марте 1925 года расстрелян, остальные семе-

ро пошли на Соловки, откуда вернулись через несколько лет только двое.

А «Дело Российской национальной партии», или, как было сформулировано в обвинении, «дело русских фашистов», в 1933—1934 гг.! Это был настоящий погром русской культуры — расстрелы и аресты историков, фольклористов, архитекторов, архивистов, славистов, этнографов, искусствоведов, археологов, музейщиков... Всего в Москве и Ленинграде было арестовано 76 человек. Среди них ученые с мировыми именами — академики Н. Н. Дурново, В.В. Виноградов, М. Н. Сперанский, В. Н. Перетц, А. М. Селищев, профессора А. Ф. Ржига, Н. К. Гудзий, П. Д. Барановский, А. Д. Сидельников, профессор Р. Ф. Куллэ (немец) и многие другие. Из 76 человек 28 были расстреляны или погибли в лагерях.

Как впоследствии писал об этом погроме русской культуры исследователь С.Б. Бернштейн: «Среди арестованных не было лиц с нерусскими фамилиями...». «Точнее говорить о неславянских фамилиях: среди пострадавших по делу были русские, украинцы, белорус, чех... и два обрусевших немца». То есть основными обвиняемыми были славяне, а в большинстве своем — русские.

С обвинениями в монархизме, пропаганде православия и, конечно же, в «русском фашизме» в 1928 г. в Ленинграде началось дело «Братства преподобного Серафима» (следователи А. Геллер, Л. Коган, А. Мосевич, Иоселевич и Халемский). Великие люди России Флоренский и Клюев также были приговорены к тюрьме и ссылке как «русские фашисты» и «православные монархисты». Те же формулировки были в деле «сибирской бригады» русских писателей (Л. Мартынов, С. Марков, П. Васильев), 1932 год. Фамилии следователей по этим и многим другим делам перечислять не буду, а то ведь антисемитом объявят.

Нынешние борцы с «русским фашизмом» ничего этого не помнят. История ничему их не научила. Но мы этого уже никогда не забудем.

Теперь несколько слов о преступлениях скинхедов, об избиении азербайджанцев, о трагедии таджикской семьи, о происшествии в синагоге. Высказать свою точку зрения, отличную от познеровской или сванидзевской, узнать, что говорили на следствии свидетели, обвинители, адвокаты, обвиняемые — невозможно. Познер даже Жириновскому рот заткнул, когда тот попытался сказать, что питерская таджикская семья торговала наркотиками, от которых умер брат одного из тех, кто избивал таджиков. Оправдывать преступление нельзя. Но понимать, почему оно произошло, — необходимо. Не бывает самосудов без причины. Самосуд, как правило, — незаконная месть за преступление. Я не верю в то, что человек убивает другого человека только из-за цвета кожи. Причины национальной розни и самосудов куда глубже. Лучше всех судей, прокуроров и адвокатов в них разобрался Валентин Распутин в повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Вот что надо читать Познеру, Сванидзе и членам Общественной палаты. Наши политические шоумены счастливы, увидев где-нибудь на заборе надпись «Россия — для русских». Сразу — «круглый стол» и дискуссия! Но ведь никто из известных русских писателей, философов, историков никогда не провозглашал этот провокационный лозунг.

Я понимаю, почему авторы радиостанции «Свобода» так часто цитируют его — они боятся, что рано или поздно мы сумеем сказать на всю страну другие слова: «Россия — для всех коренных народов России!» И нас — услышат. Именно тогда все остальные народы, отколовшиеся от России, — грузины, узбеки, азербайджанцы и т. д. — правильно поймут, что их скромное место в России — быть просто гостями, мигрантами или эмигрантами, то есть приезжими людьми. Но какой-нибудь Познер этого боится как черт ладана. Он хочет, чтобы, услышав «Россия — для русских» коренные народы России, татары, башкиры, якуты, мордва, чуваши перессорились бы с русским народом и приползли к Познеру, как к за-

щитнику от «русских фашистов», прибежали бы с благодарностью и в ножки поклонились.

А разве не является одной из причин всех сегодняшних межнациональных распрей память о событиях 15—20-летней давности на окраинах Советского Союза? Память о том, как в спину русским солдатам в Нагорном Карабахе стреляли и с армянской, и с азербайджанской стороны. Память о том, как местные националистические толпы в Таджикистане, Казахстане, Чечне, Узбекистане, Молдавии убивали русских, насиловали женщин, отбирали у русских дома, имущество, как орали им в лицо: «Чемодан — вокзал — Россия!». Десятки, сотни тысяч русских людей были изгнаны в эти страшные годы из нынешних стран СНГ. Их президенты с удовольствием приезжают в Москву, но за эти годы мы ни разу не слышали о том, что где-то в Душанбе, в Алма-Ате, в Кишиневе, в Ташкенте и это особый случай, но о котором тоже забывать нельзя — в Чечне, прошел хотя бы один судебный процесс над погромщиками, убийцами, насильниками, грабителями? Надо понимать, что память об этом — хотим мы этого или не хотим — живет в головах тех, кого называют скинхедами. Они — обездоленные юноши, а «юность, — как сказал Александр Блок, — это возмездие».

Одновременно с изготовлением «фашистских списков» все последнее время российскому обывателю тычут в глаза холокостом. Но при чем здесь Россия? Вот Европа — это да. Она — настоящая родина холокостов. В Европе, между прочим, их было два: первый «христианско-католический» в Средневековье, когда в Англии, Франции, Испании, Португалии, в германских княжествах, как сообщает «Еврейская энциклопедия» 1912 года, была уничтожена почти половина европейского еврейства, а остальные изгнаны в Восточную Европу, чтобы в XX веке получить второй холокост, уже от объединенной фашистской Европы. Не случайно то, что все лагеря смерти, где уничтожались беззащитные евреи, были в европейских странах — в Германии, Польше, Австрии,

Литве, Латвии. В России их не было, потому что немцы, видимо, понимали: русское население не будет выдавать евреев в лагеря смерти, в отличие от населения европейских стран. Выдачей евреев в Освенцим, Майданек, Маутхаузен, Заксенхаузен, Саласпилс занимались венгры, румыны, хорваты, словаки, латыши, поляки и французы петеновской Франции. Все работали на холокост. Даже западные украинцы. Все, кроме русских. «Погром», по убеждению европейских историков, слово русское, но оно по справедливости должно принадлежать Польше: три последних еврейских pogroma в новейшей истории произошли в Парчеве под Люблиным, Кракове и Кельцах в 1945—1946 годах. И это «после Освенцима», после холокоста, после уничтоженных шести миллионов! Нигде в новейшее время не было еврейских погромов — только в гитлеровской Германии и в освобожденной от фашизма Польше. А сейчас Европа ведет себя так, как будто во всем, что случилось на ее фашистских просторах, виновата Россия.

В январе 2005 года Путина чуть ли не силой заставили в Освенциме произнести речь. А когда он сказал там что-то весьма слабенькое с точки зрения холокоста и вины России, его стала «полоскать» европейская пресса. И особенно польская. За то, что плохо и неубедительно покаялся.

* * *

Но я вышел на трибуну еще и затем, чтобы сказать присутствующим на Соборе писателям о том, что осенью этого года журналу «Наш современник» исполняется 50 лет. Это действительно журнал писателей России. Возьмите в руки любой номер, и вы убедитесь, что в нем половина, а то и более авторов это те, кто живут в республиках, краях и областях нашей страны. Не потому ли мы понимаем всю свою ответственность за сохранение межнационального мира в России и за ее пределами?

За последние десять лет мы издали три номера, посвященные нашим отношениям с братской Белоруссией, два номера о жизни и культуре Башкортостана, два аналогичных номера с участием писателей и общественных деятелей республики Коми... А еще был и ханты-мансийский номер. Можно еще вспомнить татарский и якутский номера или выпуск журнала со стихами лучших поэтов Северного Кавказа, в том числе чеченских поэтов (и это в разгар чеченской войны!). Мы щедро предоставляем страницы журнала авторам из Абхазии и Приднестровья, поэтам Северной Осетии. Обычным делом были и есть и нашем журнале публикации поэтов, прозаиков и публицистов с еврейскими фамилиями — Исраэля Шамира, Михаила Агурского, Бориса Слуцкого, Роже Гароди, Марка Голанского, Аркадия Львова, Михаила Грозовского, Семена Сорина. Всех не упомнишь. А потому, когда осенью мы будем отмечать 50-летие журнала и вы в своих республиках, краях и областях, надеюсь, тоже проведете встречи с читателями, посвященные этому юбилею, не забудьте сказать о главном: журнал «Наш современник» открыт для авторов всех национальностей, живущих на просторах России. Лишь бы они жили мыслями и чувствами о судьбе России. Расскажите читателям о журнале, помогите нам увеличить к юбилею журнальную подписку и не забывайте: «Наш современник» — это наша общероссийская литературная судьба — и прошлая, и настоящая, и будущая.

ПУШКИН – НАШ СОВРЕМЕННИК

Судьба пушкинского «Современника» была весьма плачевной. В 1836 году вышло четыре тома. Два первых — тиражом 2400 экземпляров, из которых разошлось не более трети, а тираж четвертого по причине малого спроса снизился почти втрое. После гибели Пушкина жур-

нал стал постепенно чахнуть, и когда Плетнев передавал его Некрасову, у «Современника» оставалось всего лишь 233 подписчика.

А между тем он был любимым детищем Пушкина. Во многих письмах последнего года жизни — жене, друзьям, издателям — поэт с волнением и восторгом рассказывает о каждом из номеров, расхваливает авторов, ругается с книготорговцами и недругами-журналистами. Его шедевры — «Скупой рыцарь», «Родословная моего героя», «Капитанская дочка», «Медный всадник», «Путешествие в Арзрум» — печатаются в «Современнике». Рядом с повестями Гоголя, стихотворениями Тютчева, Жуковского, Боратынского, Кольцова, Лермонтова, Дениса Давыдова... Какие имена! Казалось бы, нарасхват должен идти журнал!

Но все было тщетно. Грамотная светская чернь уже была увлечена бульварным чтивом Булгарина, крикливыми антипушкинскими статьями Греча и Полевого, трескучими стихами Бенедиктова, ходульной прозой Марлинского, коммерческими романами французских сочинителей, о которых поэт в 1834 году написал с беспощадной язвительностью: «**Легкомысленная невежественная публика была единственною руководительницею и образовательницею писателей. Когда писатели перестали толкаться по передним вельмож, они в их стремлении к низости** (! — *Ст. К.*) **обратились к народу, лаская его любимые мнения или фиглярствуя независимостью и странностями** (! — *Ст. К.*)**, но с одной целью: выманить себе репутацию или деньги! В них нет и не было бескорыстной любви к искусству и к изящному. Жалкий народ!**»

Так что Пушкин и его гениальные современники были поставлены, говоря нынешним языком, в положение «маргиналов»... Не напоминает ли нам эта картина сегодняшнее время, если вспомнить судьбы Георгия Свиридова, Юрия Кузнецова, Николая Тряпкина, Александра Панарина?..

Рыночные нравы, хлынувшие в 30-е годы XIX века в русскую журнальную и газетную жизнь из буржуазной Европы, озадачили и даже испугали Пушкина. Почти за два века до господства телевизионных сериалов, детективов, женских романов и прочего «мыла» он почувствовал тлетворный запах перемен и бросил в лицо этой многоликой бесовщине перчатку:

«Явилась толпа людей темных с позорными своими сказаниями, но мы не остановились на бесстыдных записках Генриетты Вильсон, Казановы и Современницы. Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона и на пояснения оных клейменого каторжника. Журналы наполнились выписками из Видока. Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновений для романа, исполненного огня и грязи. Недоставало палача в числе новейших литераторов. Наконец и он явился, и к стыду нашему скажем, что успех его «Записок», кажется, несомнителен».

Не в бровь, а в глаз — сказано о нашем сегодняшнем книжном и гламурном рынке. В другой своей записи о зловонном потоке, текущем в Россию с Запада, отчаявшийся Пушкин, сам настрадавшийся от цензуры, поневоле воззвал к ней: *«Не должна ли гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства».*

Сказано как будто о нашем времени, ежели вспомнить, что Дума российская много лет не может даже сформулировать, что такое порнография, и никакого толкового сопротивления всяческим (позвольте, скажу грубым блатным языком) «отвязанным сукам» оказать не может. А Пушкин — сопротивлялся по-своему, по-пушкински. Он на вызов «цивилизованной черни» ответил «Памятником»:

Я памятник воздвиг себе нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа.
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Вот в чем он увидел спасение от «рыночной демократии», от «пипла, который хавает», — в народной тропе.

Из языка нынешних политиков, столпов «желтой прессы» и телевизионных шоуменов исчезло простое и древнее слово «народ». Они брезгуют этим словом, стесняются и не любят его. Их демократическим вкусам «любезен» «электорат». А мы в «Нашем современнике» спасали пушкинскую суть и честь народного слова, публикуя жизнеописания Есенина и Шолохова, Павла Васильева и Николая Клюева. Это — в последние 15 лет. А если оглянуться на 60—80-е годы, то как не вспомнить великую деревенскую прозу: «Царь-рыбу» Астафьева, «Прощанье с Матерой» Распутина, «Лад» Белова, «Калину красную» Шукшина. Именно эти вехи обозначили «народную тропу» журнала. Благодаря им мы стали самым востребованным литературным журналом для читающей России. Мы не позволили оттеснить наших лучших писателей в «маргинальный» угол. Вот почему благодарные читатели даже в наше враждебное культуре время каждый год присылают в редакцию около трех тысяч писем — из разных мест, куда доходит журнал: от самого северного в России Трифонов-Печенгского монастыря до русского Крыма, от белорусской Гомельщины до магаданского поселка Синегорье... Разве поток этих писем не есть «народная тропа»?

Наш умный, страстный, жаждущий веры и справедливости читатель стал желанным коллективным автором журнала. Два раза в год мы щедро даем ему слово, чтобы в этом стихийном, искреннем многоголосье уловить смысл нынешней народной жизни, понять народную правду и нащупать ответную тропу к ней.

* * *

Многослойный историзм Пушкина, вершин которого он достиг в «Борисе Годунове» и «Капитанской дочке», был не понят «образованщиной» той эпохи. Катенин объявлял пушкинскую трагедию «нулем», Кюхельбекер по-

ставил ее ниже фальшивых пьес Кукольника, журналист Надеждин издевался над поэтом в «Телескопе»:

«Бориса Годунова»
Он выпустил в народ,
Убогая обнова,
Увы! на новый год.

Впрочем, Пушкин все это предвидел:

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Подобно «холодной толпе» тех лет наша новолиберальная чернь не прочитала историческую эпопею Ирины Владимировны Римской-Корсаковой «Побежденные», прошла мимо леоновской «Пирамиды», не заметила личутинского «Раскола», брезгливо отвернулась от блистательных повестей Проханова «Идущие в ночи» и «Чеченский блюз»... А ведь все эти произведения, печатавшиеся в журнале, каждое по-своему продолжает традицию пушкинской исторической прозы. В них народные и государственные начала ищут союза и равновесия, а если находят его в роковые минуты истории, то творец может с облегчением вспомнить заветные слова: «Окрепла Русь, так тяжкий млат, дробя стекло, — кует булат». Верим, что история не прекратила течение свое, что мы еще услышим звон, летящий с этой волшебной пушкинской наковальни.

Пушкин — волшебный историк. Даже в курьезах и в частностях исторической жизни он своим пером мог пролить свет на самые темные загадки бытия.

В 2003 году вся наша либеральная пресса дружно отмечала зловещий юбилей знаменитого «дела врачей-отравителей», возникшего в начале 1953 года. Кого только не клеймили историки и борзописцы желтой прессы, кого только не объявляли ее вдохновителем — одни Сталина, другие Берию, третьи Абакумова.

Одна из революционных фурий мошеннического августовского переворота 1991 года Мариэтта Чудакова в статье «Был август или еще только будет?» («Знамя», № 8, 2006 г.) не смогла обойти этого сюжета. С отчаяньем пишет она о том, как «август» стал сдавать свои позиции: «*Сначала робко, а затем потоком покатились публикации о том, что Тимашук была честным врачом, несправедливо гонимым сначала будущими «убийцами в белых халатах», а затем Хрущевым...*»

Но я бы посоветовал Чудаковой открыть томик Пушкина и перечитать «Скупого рыцаря» — сцену, где ростовщик рекомендует рыцарю Альберу обратиться к аптекарю Товию за чудодейственными каплями:

Жид

В стакан воды подлить... трех капель будет,
Ни вкуса в них, ни цвета не заметно;
А человек без рези в животе,
Без тошноты, без боли умирает.

Альбер

Твой старичок торгует ядом.

Жид

Да —
И ядом...

Так вот кто первым сочинил версию о «врачах-отравителях» — Пушкин! Но как зловеще шутит история: оказывается, в ведомстве Генриха Ягоды была секретная лаборатория, которой руководил потомок и ученик средневекового аптекаря Товия — медик Григорий Майрановский[1].

---

[1] Легендарный П. Судоплатов вспоминал, как при Хрущеве его обвинили в подготовке тайных убийств руководителей страны и в сговоре с Майрановским — бывшим начальником «лаборатории X» для свершения убийств с применением специальных ядов, которые нельзя обнаружить». Ну почти слово в слово, как у Пушкина.

Возможно, что любимый писатель Чудаковой — Булгаков догадывался об этом, когда писал сцену, где Азазелло с Коровьевым подносят Мастеру и Маргарите чашу с ядом...

16 марта 1830 года Пушкин написал в письме к П. А. Вяземскому: «*Государь, уезжая, оставил в Москве проект новой организации, контрреволюции революции Петра. Вот тебе случай написать политический памфлет, и даже его напечатать [...] ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу*».

Он и стал основоположником этого жанра, написав «Путешествие в Арзрум», статью «О народном воспитании», «Воспоминания», «Путешествие из Москвы в Петербург», размышления о «Собрании сочинений Георгия Конисского, архиепископа Белорусского», опубликованные, кстати, в первом номере «Современника».

Проницательная Ирина Ивановна Стрелкова (вечная ей память!) в своей последней статье, написанной для журнала, не зря придала пушкинской мысли о политической прозе особое значение. Она причислила к этому жанру «Мой манифест» Валентина Распутина, книгу воспоминаний Станислава Куняева «Поэзия. Судьба. Россия», почти все работы последнего десятилетия Вадима Кожинова, «Менеджер Дикого поля» Александра Казинцева. Я бы прибавил к этому списку замечательные политические мемуары Николая Ивановича Рыжкова, «Великую криминальную революцию» Станислава Говорухина, ну и, конечно же, трилогию Юлия Квицинского о трех крупнейших предателях в мировой истории — Иуде Искариоте, Андрее Власове и Александре Тыковлеве (он же — Александр Яковлев, ныне покойный). И все труды владыки Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, публиковавшиеся у нас в 90-е годы прошлого века. Можно еще вспомнить и «Россию распятую» Ильи Глазунова, и «Историю русского масонства» Бориса Башилова, изданную как приложение к «Нашему современнику». В обеих последних рабо-

тах Пушкин является любимым персонажем. Словом, куда ни оглянись — в нашем литературном поле везде прорастают всходы, посеянные Пушкиным. Когда мы пишем о наших геополитических интересах, о месте под солнцем и русского народа, и всех коренных народов России, — мы неизбежно следуем Пушкину, когда из-под пера авторов «Нашего современника» выходят убедительные размышления об «извечном споре славян между собою» («Шляхта и мы»), крымские, украинские, приднестровские страницы Ксении Мяло, мудрые изыскания Андрея Убогого об истории, прошумевшей на башкирских просторах Южного Урала. Они и называются по-пушкински — «Путешествие к Пугачеву».

А все наши пятнадцать номеров (за 15 лет), которые были предоставлены творчеству прозаиков, поэтов, историков, краеведов из Татарстана и Башкирии, из Республики Коми и далекой Якутии, из ханты-мансийской земли, из дружественной Белоруссии, разве не есть умножение пушкинского завещания о единстве многонациональной России?

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Не гражданское общество — искусственное, выхолощенное, лишенное исторической глубины и национального лика, а живой, природный союз русского народа со всеми коренными народами России — вот идеал общественного и государственного устройства, за который ратовал пушкинский журнал и ратует «Наш современник».

* * *

И снова о памятнике. «Александрийский столп» — символ государства. Недавно в одном из номеров журнала «Знамя» Наталья Иванова в статье «Лютые патриоты» в охотку поиздевалась над писателями-государственника-

ми. А ведь модная в ельцинскую эпоху практика «разгосударствления», которую исповедовали Сахаров, Собчак, Старовойтова и т. д., — одно из тягчайших преступлений нашей криминальной демократии. Разгосударствление обескровило экономику, породило нищету и вымирание народа, сократило сроки жизней человеческих, открыло «зеленую улицу» «бешеным» деньгам; а вместе с ними наркомании, заказным убийствам, беспризорщине, тотальному мошенничеству и уйме пороков, которые человечество накопило за свою историю...

Но «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», — говорил любимец Пушкина Тютчев. Разгосударствленные «бешеные» деньги везла в чемоданчике в родной Санкт-Петербург Галина Старовойтова. Разгосударствленными «бешеными» деньгами было заплачено киллерам, ждавшим демократическую комиссаршу на лестнице ее родного дома. «Разгосударствленное» оружие хлынуло в криминальный мир, и один из этих начиненных смертью стволов лег в руку убийцы. Пуля — тоже «разгосударствленная» — вошла в висок Старовойтовой. Криминальная революция сожрала свою дочурку. Пушкин так сформулировал в черновой главе «Капитанской дочки» закон исторического возмездия, настигающий идеологов бунтов и революций: **«Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка да и своя шейка копейка».** Обычно цитируют лишь первые восемь слов этой великой заповеди.

О законе этого исторического возмездия, может быть, глубже всех написал Вадим Кожинов в блистательном исследовании «Загадка 1937 года».

* * *

Но как бы ни восхищался поэт Александрийским столпом и Медным Всадником, «нерукотворный» памятник был роднее и ближе его душе.

Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой.

Пушкинская свобода имеет совсем другое происхождение, нежели нынешняя покупная «свобода слова» и фарисейские «права человека», сущность которых русский гений разглядел почти два века тому назад.

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова...
....
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья,
Вот счастье! Вот права...

Этой пушкинской свободой дышали дневники Георгия Свиридова и его вечно печальная мелодия к пушкинской «Метели», стихи Николая Рубцова, «Записи перед сном» Виктора Лихоносова, мифотворческий полет Юрия Кузнецова. Недаром начало своей поэтической судьбы он отсчитал от мгновения, когда «ночью вытащил я изо лба золотую стрелу Аполлона». А завершением была поэма о жизни Христа. Впрочем, и Пушкин тоже начинал с культа Аполлона, но самые проникновенные христианские стихи свои написал в конце жизни.

Свободой мысли и поисками полной Истины дышат исторические работы Кожинова, публиковавшиеся в нашем журнале: «И назовет меня всяк сущий в ней язык», «История Руси и русского слова», а также книга о Федоре Тютчеве. Вадим Валерьянович вырабатывал свой взгляд на историю с помощью Пушкина и Тютчева. Его настольным чтением были пушкинские жизнеописания — Петра Первого и Пугачева, и тютчевские статьи «Россия и революция», «Россия и Германия». Но пределы тайной свободы Пушкин знал: «Выше Александрийского столпа» —

да. Но ниже — высших законов Бытия. «Веленью Божию, о муза, будь послушна». Да и Георгий Свиридов чувствовал эти пределы, когда писал в дневниках: «Для меня Россия — страна простора, страна песни, страна печали, страна минора, страна Христа».

Отговорила моя золотая поэма,
Все остальное и слепо, и глухо, и немо.
Боже, я плачу, и смерть отгоняю рукой.
Дай мне смиренную старость и вечный покой.

(Юрий Кузнецов)

Смирение музы перед Высшей Волей — наитруднейшая заповедь творчества... В пушкинском «Памятнике» есть еще одно молитвенное обращение к музе:

Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца...

Опять же — это идеал, которому не всегда следовал сам Пушкин. Озорничал, развлекался эпиграммами, язвил литературных противников из стана «рыночной литературы», угрюмых цензоров и тупых чиновников, расточал время, жизнь, дарование. Вел себя как Моцарт в трактире при встрече со слепым скрипачом.

Суровый Юрий Кузнецов не прощал такого легкомыслия своему кумиру:

Где пил Гомер, где пил Софокл,
Где мрачный Дант алкал,
Где Пушкин отхлебнул глоток,
Но больше расплескал.

Впрочем, все это — по-славянски, по-русски. Вот и мы не до конца следуем пушкинским заветам. Срываемся на полемику с мелкими бесами из «Московского комсомоль-

ца» и «Знамени», еврейского «Нового русского слова»... Не замечать бы их. Одно нас оправдывает: защищаем от лжи и клеветы не самих себя, грешных, а историю России, ее призвание, ее веру, ее великого сына — Александра Сергеевича.

* * *

Современный мир полон соблазнов, бездуховных тупиков, в которые неизбежно скатывается жизнь золотого миллиарда, потребляющего три четверти земных благ и буквально пожирающего планету. Мир симулякра и безграничного потребления. О нем, о его близком и страшном для всех народов закате пишут наши авторы — Борис Ключников («Две Америки»), Олег Платонов («Почему погибнет Америка»), Александр Казанцев («Симулякр, или Стекольное царство»). И, конечно же, вольно или невольно мы опираемся в своих оценках на фундаментальные пушкинские пророчества о еще молодой в ту эпоху западной демократии, еще приличной, еще не успевшей в те времена уничтожить индейцев или загнать их в резервации. Но от рожденья мерзкой:

«*С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству*».

Роковой поворот мировой истории — варварские разрушения в последнее десятилетие Сербии, Афганистана, Ирака — лишь окончательно подтверждают правоту пушкинских пророчеств. А для того, чья голова еще засорена либеральным вздором о том, что «арап» Пушкин не любил Россию и рвался душой на Запад, приведу еще одну пушкинскую мысль:

«... *в Москве родились и воспитывались по большей части писатели коренные, русские, не выходцы, не переметчики, для коих где хорошо, там и отечество, для*

коих все равно: бегать ли им под орлом французским или русским языком позорить все русское — были бы только сыты...»

Сказано о Булгарине, а заодно о многих нынешних мелких и крупных «переметчиках».

* * *

Отечественные русоненавистники, глумясь над патриотами, постоянно твердят одно и то же заклинание: «свихнулись на идее жидо-масонского заговора». Но если бы дело заключалось только в заговоре! Все обстоит гораздо хуже, и это понимал Пушкин:

«Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна».

Выработать свое отношение к продавцам отечества, к идеологам двойного и тройного гражданства, к истеблишменту, чьи дети постигают в западных университетах науку властвовать над народами России, — помог нашему журналу Пушкин своей молитвой о патриотизме, которую, словно «Отче наш», он выдохнул в письме к Чаадаеву:

«... я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Я верю, что в годы длящейся катастрофы именно эта идея объединяла вокруг журнала потомков дворян и крестьянских сыновей, рабочих и. интеллигентов, коммунистов и монархистов, атеистов и православных: Игоря Шафаревича, Вячеслава Клыкова, Василия Белова, Татьяну Глушкову, Вадима Кожинова, Татьяну Петрову, владыку Иоанна, Валентина Распутина, Геннадия Зюганова.

Всех в лучшие мгновения жизни объединяло пушкинское слово...

* * *

А сколько в письмах Пушкина естественных здравых мыслей о семье, о женщине — жене, о детях, о воспитании чувств.

«*Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку на свете скучно» (П. Нащокину, 1836 г.).*

Вот своеобразное «священное писание» семейной жизни из письма П. Плетневу (1831 г.): «...*Жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо».*

И подумать только, что этот цветущий мир был коварно разрушен, что почти совершенный во всех смыслах русский человек попал в сети, расставленные выродками из сатанинского, содомитского клана. Враги Божественной Гармонии ненавидели и гений поэта, и образ Божий, в нем отразившийся. Пушкин догадывался, что имеет дело с бесами в людском обличье, когда писал старому гею Геккерену: «*Вы отечески сводничали вашему незаконнорожденному или так называемому сыну... подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену»... «бесчестный вы человек».*

А как обострилась по сравнению с пушкинским временем духовная брань за душевное здоровье народа, за цветущие многодетные семьи против самоубийственного для жизни культа однополых браков, от которых пахнет голубой смертью. В этой брани без пушкинской помощи нам не обойтись. О сатанинских правах человека на растление и грех говорит на страницах журнала митрополит Кирилл; о разрушительных соблазнах темной чув-

ственности предупреждал общество Александр Панарин; уловки, которыми пользуется враг рода человеческого в погоне за слабыми душами, — постоянная тема наших отважных подруг Медведевой и Шишовой; о безумных оргиях, творящихся во время многотысячных парадов извращенцев всех мастей — вплоть до скотоложества, — повествуют страницы очерков Олега Платонова «Почему погибнет Америка».

По всему миру шествует сексуальная чума нашего века, как надругательство над образом Божьим в человеке. Человек, заболевший ею, превращается в тень. Недаром за несколько лет до недавнего московского «голубого бунта», во время которого содомиты попытались добиться всех конституционных прав, в «Нашем современнике» была напечатана статья Александра Севастьянова «Тень, знай свое место!». Нет, не знают. Жаждут известности, парадов, лезут на телеэкраны, ползут на священную Красную площадь.

Мчатся бесы рой за роем...

А нам все равно надо стоять по пушкинскому велению на защите сердцевины жизни, которая называется русской семьей.

* * *

Пушкина мы всегда считали спутником и покровителем нашего журнала и в благодарность ему по мере наших скромных сил сплетали поэту свой венок. Дважды в году — в светлый месяц его рождения июнь и в мрачные дни на переходе от января к февралю — мы строили номера журналов так, чтобы их можно было называть пушкинскими. В таких пушкинских номерах были напечатаны главы из ЖЗЛовской книги Ариадны Тырновой-Вильямс о Пушкине, исследования академика Российской Академии наук Николая Скатова, долгие годы возглавлявшего питерский Пушкинский Дом. Вспомним книгу «Пушкин и европейская традиция» Сергея Небольсина,

множество размышлений и заметок о Пушкине Вадима Кожинова, Петра Палиевского, Андрея Убогого, Михаила Лобанова, Василия Белова, Юрия Кузнецова... Всех не перечислить. Только в этом году журнал напечатал повесть Юрия Убогого «Покой и воля» — о жизни Пушкина в Полотняном Заводе и исследование пушкиниста Бориса Конухова, убедительно предположившего, где и когда Пушкин встречался со святым Серафимом Саровским...

К 200-летию, со дня рождения Пушкина мы с сыном составили и двумя изданиями издали в «Детской литературе» книгу «А. С. Пушкин. Стихотворения» — в серии «Школьная библиотека». С моим предисловием, которое начиналось словами Пушкина: «Духовной жаждою томим» и заканчивалось удивительным, пророческим стихотворением нашего покойного друга и члена редколлегии журнала в викуловские времена Анатолия Константиновича Передреева.

Стихотворение написано в 1984 году, накануне роковых перемен в нашей жизни, оно необычайно точно и глубоко выразило особую сегодняшнюю миссию пушкинского наследия.

Все беззащитнее душа
В тисках расчетливого мира,
Что сотворил себе кумира
Из темной власти барыша.

Все обнаженней его суть,
Его продажная основа,
Где стоит все чего-нибудь,
Где ничего не стоит слово.

И все дороже, все слышней
В его бездушности преступной
Огромный мир души твоей,
Твой гордый голос неподкупный.

Звучи, божественный глагол,
В своем величье непреложный,
Сквозь океан ревущих волн
Всемирной пошлости безбожной.

Ты светлым гением своим
Возвысил душу человечью,
И мир идет к тебе навстречу.
Духовной жаждою томим...

Пушкин был и остается нашим современником, потому что мы всегда знали: духовная жажда — единственный путь для спасения человечества от «темной власти барыша» и от «всемирной пошлости безбожной». И на этом стоял, стоит и будет стоять журнал «Наш современник» — духовный наследник «Современника» пушкинского.

СОДЕРЖАНИЕ

I

II

III

Куняев Станислав Юрьевич

МОИ ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ

Ответственный редактор *С. В. Маршков*
Редактор *О. В. Селин*
Художественный редактор *П. В. Ильин*
Верстка *А. А. Кувшинников*
Корректор *Н. Н. Самойлова*

ООО «Алгоритм-Книга»
Лицензия ИД 00368 от 29.10.99. Тел.: 617-0825
Оптовая торговля: Центр политической книги — 733-9789
«Столица-Сервис» — 375-3211, 375-2433, 375-3673
Мелкооптовая торговля: г. Москва, СК «Олимпийский». Книжный клуб.
Торговое место № 30, 1-й эт. Тел. 8-903-519-8541

Подписано в печать 15.10.2007. Формат 84×108 $^1/_{32}$.
Печать офс. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 31,92.
Тираж 4000 экз. Заказ № 2426

Отпечатано в типографии
ОАО "Издательство "Самарский Дом печати".
443080, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.



КУНЯЕВ, Станислав Юрьевич (р. 1932), русский поэт, литературный критик. Окончил филологический факультет МГУ (1952 – 1957). Печатал стихи с 1956 г. Декларировал себя, наряду с Н.М. Рубцовым, Ю.П. Кузнецовым, А.К. Передреевым и др., в качестве продолжателя «почвеннической» традиции в русской поэзии второй половины XX в.

Российская действительность 1990-х годов дала новый стимул политизированной поэзии Куняева, пронизав ее обличительным пафосом ненавистника «антинародных» реформ.

С осени 1989 года Куняев – главный редактор «новопочвеннического» журнала «Наш современник». Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького. Некоторые произведения Куняева переведены на болгарский, чешский и словацкий языки.

Станислав
КУНЯЕВ

МОИ ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ

«Мои печальные победы» — новая книга Станислава Куняева, естественно продолжающая его уже ставший знаменитым трехтомник воспоминаний и размышлений «Поэзия. Судьба. Россия».

В новой книге несколько основных глав («Крупнозернистая жизнь», «Двадцать лет они пускали нам кровь», «Ритуальные игры», «Сам себе веревку намыливает») — это страстная, но исторически аргументированная защита героической и аскетической Советской эпохи от лжи и клеветы, извергнутой на нее из-под перьев известных еврейских борзописцев А. Борщаговского, М. Дейча, С. Резника. Более сложный и глубокий подход к этой теме содержится в одной из важнейших глав книги, «Ифлийство и маркитантство», в центре которой поэт Д. Самойлов и его современники по учебе в Институте Философии, Литературы, Истории...

В книге также присутствуют размышления автора о творчестве Георгия Свиридова, о разговорах с ним, воспоминания о встрече с Андреем Тарковским и речь о русофобии, произнесенная Станиславом Куняевым на Всемирном Русском Народном Соборе...

ISBN 978-5-9265-0451-1

